россия в мемуарах



Иванов-Разумник

Писательские судьбы
Тюрьмы и ссылки

россия в мемуарах

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

Иванов-Разумник

Писательские судьбы
Тюрьмы и ссылки



Составление, вступительная статья
В.Г. Белоуса

Подготовка текста *В.Г. Белоуса* («Тюрьмы и ссылки»), *А.В. Лаврова* («Писательские судьбы»; Приложение I: Автобиографии и «Четверть века»), *Я.В. Леонтьева* (Приложение I: «27 февраля 1917 года»), *Ж. Шерона* (Приложение II)

Комментарии *А.В. Лаврова* («Писательские судьбы»), *В.Г. Белоуса, А.В. Лаврова, Я.В. Леонтьева* («Тюрьмы и ссылки»), *Я.В. Леонтьева* (Приложение I), *Ж. Шерона* (Приложение II)

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
А.А. Брантман

Иванов-Разумник
Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки / Вступ. статья, сост. В.Г. Белоуса. — М.: Новое литературное обозрение, 2000. — 544 с.

В своих полных горечи и сарказма мемуарных книгах литературный критик, публицист и мыслитель Иванов-Разумник, друг А. Блока и А. Белого, С. Есенина и М. Пришвина, пишет о судьбах «погибших», «задушенных» и «приспособившихся» в 1920—30-е годы русских писателей и о собственной судьбе — судьбе человека, испытавшего тюрьму и ссылку, однако не пошедшего на сделку с совестью и не ставшего «советским писателем».

ISSN-0869-6365
ISBN 5-86793-088-2

ИСПЫТАНИЕ ДУХОВНЫМ МАКСИМАЛИЗМОМ

Все растет, ищет и испытывает свою судьбу...
Т. Карлейль

Биография Разумника Васильевича Иванова (1878—1946) — историка русской общественной мысли, публициста, литературного критика, известного под псевдонимом Иванов-Разумник[1], отразила опыт человека, который всегда сам вел свою судьбу, а не она его тащила, «как пьяного в участок» (Л. Шестов). Если смысл жизни становится проницаемым только после ее завершения, то знак будущей судьбы можно распознать уже с момента рождения человека — в его имени. Имя «Разумник», хранящее в себе отголоски древней римской легенды об одном из первомучеников-христиан[2], в стране, где «горе — от ума», звучит нарочито вызывающе. Ивановым-Разумником (именно так, без инициалов) он впервые подписался в 1900 г., чтобы отличаться от других, столь многочисленных в России Ивановых.

Литературной и общественной деятельностью Иванов-Разумник был тесно связан с Петербургом и Царским Селом. В круг его близких литературных друзей и знакомых входили А. Блок, Андрей Белый, А. Ремизов, Ф. Сологуб, М. Пришвин, Е. Замятин, С. Есенин, Н. Клюев и многие другие писатели, поэты, мыслители, общественные деятели, составившие цвет отечественной культуры первой четверти XX столетия. Он редактировал литературные отделы журналов «Заветы» и «Наш путь», газет «Дело народа» и «Знамя труда», был сотрудником издательств «Шиповник» и «Сирин», инициатором сборников «Скифы», организатором петроградской Вольной философской ассоциации (Вольфилы), оказался в центре многих культурных и политических событий «начала века».

Значительная часть жизненного пути Иванова-Разумника прошла в условиях советского государства, и ее можно описать как трагическое столкновение личности и среды, индивидуальности и государственной власти. В этом конф-

[1]См. о нем: *Лавров А.В.* Иванов-Разумник // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1992. С. 121—122; *Леонтьев Я.В.* Р.В. Иванов-Разумник: Биобиблиография // Библиография. 1993. № 3. С. 64—73; Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Сборник материалов международной конференции. Царское Село. 16-17 марта 1996 г. / Ред.-сост. В. Г. Белоус. СПб., 1996; Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. 2 / Ред.-сост. В. Г. Белоус. СПб., 1998.

[2]Иванов-Разумник родился в день памяти (12 декабря по старому стилю) св. Разумника (Синезия) Римлянина (III в.)

ликте кроме своеобразных «правил», диктуемых социумом, присутствовал и непосредственный выбор личности. Ответом Иванова-Разумника на вызов исторических обстоятельств стала полнота самосознания — принцип: все увидеть, все запомнить, все понять. Быть может, именно поэтому он и выжил, пройдя революцию, террор и войну, советские тюрьмы и немецкие лагеря. Когда его насыщенная испытаниями жизнь тихо закончилась в послевоенном Мюнхене, в наследство потомкам остались многочисленные книги и статьи, огромное эпистолярное богатство, но главное — загадка человека, который, несмотря на все невзгоды и разочарования, до конца своих дней исповедовал «духовный максимализм».

Не вписывающаяся в рамки редакторских, историко-литературных или критических занятий, личность Иванова-Разумника вполне соответствовала духу своего времени — тому, что можно назвать жизнетворческим потенциалом Серебряного века. «Шел в комнату, попал в другую... — так, вторя грибоедовской героине, не раз иронически говорил он и добавлял: — С кем не бывает». Будучи студентом-физиком Санкт-Петербургского университета, Разумник Иванов одновременно слушал курс историко-филологического факультета и выступал как литературный критик. «Примкнув» (по собственному выражению) к идеологии народничества, воевал всю сознательную жизнь с марксизмом. Хотя и «не занимался политикой», но постоянно, пока была возможность, высказывался по основным социально-философским вопросам времени с той «принципиальной высоты», которую именовал «мировоззрительной». Тем не менее свои занятия литературой он считал «чистой случайностью». На склоне лет, многократно претерпев от власти за политические убеждения, говорил: «Политика — случайная для меня область». Эти слова не содержали и тени кокетства или же самообмана: главной составляющей пути Иванова-Разумника действительно стали не «литература», не «политика», но сама жизнь.

В конце 1906 г. сначала столичная, а вскоре и провинциальная аудитория открыла нового автора — Иванова-Разумника. Читатель, познакомившийся с капитальной, двухтомной «Историей русской общественной мысли», вряд ли подозревал, что под этим псевдонимом скрывается не какой-то маститый ученый или же литературный мастер, а молодой человек 27 лет. Задумывалась «История» четырьмя годами раньше, в симферопольской ссылке, куда Разумник Иванов был отправлен за участие в студенческом революционном движении. Началась работа над книгой «совершенно случайно»: под рукой не оказалось необходимых для лабораторных опытов физических приборов, зато в его распоряжение была предоставлена великолепная библиотека, изобиловавшая русской художественной и критической литературой XVIII и XIX столетий. Первоначально автор предполагал назвать книгу «Историей русского сознания», потом сменил заглавие на «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.», отмечая, что отдает

на суд читателя «философию истории русской интеллигенции». Пожалуй, впервые объектом исследования стало не столько эмпирическое бытие литературы — авторские умонастроения или поэтика — сколько отраженное в литературных текстах общественное самосознание.

В этой книге автором была предложена универсальная историософская модель противостояния в России свободомыслия и косности, творчества и банальности, индивидуальности и безличия. По мнению Иванова-Разумника, всю историю послепетровской России сопровождает конфликт интеллигенции и мещанства. Интеллигенция характеризуется «творчеством новых форм и идеалов», «активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности». В то же время — «мещанство — это узость, плоскость и безличность, узость формы, плоскость содержания и безличность духа». Если интеллигенция — «группа», то мещанство, прежде всего, — «среда», в столкновении с которой идет процесс развития интеллигенции. Столкновение самосознания и бездуховности — это борьба за освобождение человека, борьба за его индивидуальность. Основным идеалом русской интеллигенции был провозглашен «индивидуализм» как «теодицея» русского сознания: «индивидуализм в самом общем своем выражении есть примат личности; «человек-самоцель», такова формула... этического индивидуализма»[3]. Индивидуализм — «ариаднина нить» для исследователя русского сознания; держась за нее, можно двигаться двумя ведущими путями самосознания, которыми являются «реализм» и «романтизм» — «две основные категории человеческого духа», два «особых мировоззрения». Сам себя Иванов-Разумник относил к «реалистам»-рационалистам, хотя и симпатизировал «романтикам», вечно стремящимся и проникающим «за пределы земной реальности, за пределы разума»[4].

Взгляды, изложенные в книге «О смысле жизни» (1908), Иванов-Разумник назвал «имманентным субъективизмом». Жизнь, согласно ему, объективно бессмысленна, а значит, нелепо вести какие бы то ни было разговоры о ее объективной целесообразности. Все трансцендентные цели — иллюзорны; возможно только субъективное наделение имманентных целей смыслом. «Конечной» целью может быть только субъективный идеал, и таковым является человек. Цель жизни — сама личность; основной смыслополагающий принцип — «человек-самоцель». И хотя такая философская позиция, полагал Иванов-Разумник, близка к нигилистическому солипсизму и индивидуализму «подпольного человека», «имманентный субъективист» предпочитает подполью индиви-

[3]См.: *Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. Изд. 2-е, доп. Т. 1. СПб., 1908. С. 10—15.

[4]См.: *Иванов-Разумник.* Вечные пути (реализм и романтизм) // Заветы. 1914. № 3. Отд. II. С. 93—110.

дуального «я» сотрудничество с миром других людей. Он наделен социальным чувством, позволяющим ему жить «во все стороны»: «Человек, который хочет воистину жить, должен вмешаться в самую «гущу жизни», жить всем и во всем, не замыкаясь на голых вершинах религиозных или эстетических схем, лежащих вне жизни, вне красок мира. И еще одно должен выполнить человек, который хочет воистину жить: он должен любить человека»[5].

Свое критическое творчество Иванов-Разумник также называл философским. «Философская критика», считал он, начиная исследование с истории текста, продолжая его анализом литературной техники и поэтики, должна восходить к целям творчества и далее — к смыслопорождающим вопросам жизни, отвечая от имени автора на глубинные запросы современности, разрешая «последние загадки бытия» (Л. Шестов). Следуя за автором, критик-философ оказывается равноправным субъектом творчества: он не только комментирует текст, но и обнаруживает «смыслы» как имманентные произведению замыслы авторского сознания.

Основной материал для критического анализа предоставила Иванову-Разумнику декадентская, или модернистская, литература. Почти безусловно принимая одних литераторов этого «лагеря» (Блока, Белого, Сологуба, Ремизова, Пришвина, Замятина), он начисто отвергал других, припечатывая убийственными итоговыми формулировками: у Мережковского — «мертвое мастерство»; Розанов — «юродивый русской литературы»; авторы «Вех» — кающиеся разночинцы; руководители петербургского Религиозно-философского общества — «клопиные шкурки» и т.д. Когда в 1910 г. Шестов «затащил» его на «башню» к Вяч. Иванову, это единственное посещение «декадентского сообщества» оставило у Иванова-Разумника, по его собственному выражению, «отвратное впечатление». Основная причина столь откровенного неприятия декадентов — в «неподлинности» их «мистики», в страхе перед жизнью, малодушии, пустых разговорах и мертворожденных идеях. И хотя многие представители этого направления — очень чистые и искренние люди, но они в большинстве своем верят не в народ, а в свои собственные фантазии о народе. «...Бесплодно и ненасыщаемо всякое узкое сектантство, уходящее от мира. И здесь причина того, почему они так бесконечно далеки от всех людей жизни, всех людей живого дела. Они Слово жизни подменили безжизненным словом; они ушли от жизни в словесные схемы. Они думают, что мир должен быть преображен и спасен одним человеком (кто бы ни был этот человек), — и мне уже пришлось указать на величайшее кощунство этой веры. Ибо <...> в мире — спасение человека, а не в человеке — спасение мира... Тут, может быть, и лежит глубочайшая колея расхождения между ними и нами, между тем, что исповедуем «мы» и что проповедуют «они». Мы верим в человека «имманентного», в человечество

[5]*Иванов-Разумник*. Заветное. О культурной традиции: Статьи 1912—1913 гг. Пб., 1922. С. 119.

«имманентное», не «преображенное», мы строим на этой основе и ждем победы на этой почве. И в этом отношении мы — «реалисты», каковы бы ни были мистические переживания отдельных из нас. Они — верят только в человечество, чудом «преображенное», строят свою веру только на нем, ждут победы от чуда, от преображения и вне его не видят спасения. И в этом отношении они «мистики» (хотя, быть может, в переживаниях своих даже и близко к мистицизму не подходившие). Они верят в трансцендентное, мы — в имманентное. Они живут в абсолютном, мы — в относительном»[6].

Двухтомная «История русской общественной мысли», книги «О смысле жизни» и «Об интеллигенции», многочисленные литературно-критические статьи принесли Иванову-Разумнику заслуженную популярность и литературное имя, но не оградили от встречных критических стрел. По отношению к своим оппонентам: марксистам, символистам, религиозным философам и многим другим — Иванов-Разумник действительно нередко демонстрировал беспощадно-ироническую «враждебность», отстаивая «демоническое начало критики и иронии» (Герцен), одновременно признавая за оппонентами право на собственную правду: «центр моей мысли в том, что я допускаю существование *убежденных* черносотенцев»[7]. Агрессивная тактика большинства его критических работ приносила автору не только читательский успех, но и очевидных противников. Одних он не устраивал из-за симпатий к символизму (или же антипатии к декадентству), других — из-за схематизма историко-критических конструкций, третьих — из-за народнического мировоззрения, четвертых — из-за философической наивности. Г. Плеханов назвал его взгляды «идеологией мещанина нашего времени»[8]. В. Розанов, уязвленный определением «юродивый русской литературы»[9], разглядел в принципиальном отсутствии инициалов «безжалостный позитивизм», подавляющий индивидуальность: «...хочется чего-то симпатичного в литературе, с именем и даже с отчеством. «Может, зашли бы выпить чайку». С «Разумником» ничего нельзя «выпить», можно сказать только — «принеси мне вещь». И он «носит» на спине своей — Белинского, Михайловского, должно быть, понесет скоро Лаврова, Огарева, Герцена»[10]. Парадоксально, что подобные обвинения были адресованы человеку, который полагал «индивидуализм» главным содержанием истории русской интеллигенции, «мещанство» — непримиримым противником свободы и культуры, а «имманентный субъективизм» — ориентиром личного жизненного пути.

[6]*Иванов-Разумник.* Заветное. С. 118.

[7]Письма Иванова-Разумника В.Н. Ивановой от 9 августа 1906 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 198. Л. 79 об.).

[8]*Плеханов Г.В.* Избранные философские произведения. Т. V. М., 1958. С. 528—608.

[9]Название статьи Иванова-Разумника (1911), посвященной творчеству В.В. Розанова. См.: *Иванов-Разумник.* Т. 2. Творчество и критика. СПб., [1912]. С. 180—211.

[10]*Розанов В.* Бляха № 101 // Новое время. 1911. 17 декабря. С. 17.

Впрочем, относительно литературной и философской значимости своего творчества Иванов-Разумник не строил иллюзий: «...Из двадцати написанных мною томов три четверти написаны, когда я совершенно не умел писать. Научился писать я приблизительно к годам революции, а к настоящей своей тематике подошел лишь в эпоху «Вольфилы» (т.е. в 1919—1924 гг.); но все, сделанное тогда, десятки докладов, лекций, курсов — было лишь устным творчеством, из которого печатно закреплена лишь ничтожнейшая часть. Я поэтому имею право считать себя одним из самых ярких литературных неудачников»[11]. Может быть, поэтому в мемуарной литературе Иванов-Разумник представлен портретами, имеющими отношение не столько к его оригинальному творчеству, сколько к его общественной «ауре». В «Сумасшедшем корабле» О. Форш это великолепный редактор, «дядька Черномор», пестун тридцати литературных богатырей, благодаря своей влюбленности в русскую литературу создавший оптимальные «условия естественной выгонки творческих сил» и поднявший «трудное дело редакторства» «на особую высоту»[12]. В «Записках писателя» Е. Лундберга это максималист, исповедующий «перманентный революционизм, вечную смену падений и подъемов народной волны», не скрывающий отвращения «к позитивным формам общественности», одинокий в своих идеологических пристрастиях, покорный судьбе и готовый «нести крест и ответить за него» до конца[13].

Максималист, или духовный революционер, по Иванову-Разумнику, преодолевая схематизм надуманных теорий, прорывается к стихийной полноте смысла бытия. Линия такого поведения предполагает два основания: «искренность» творца и «подлинность» его творчества. В 1912 г. Иванов-Разумник впервые подписался псевдонимом «Скиф»[14], и с этого времени доминантой его творчества стал духовный бунт против цивилизации, мертвящей государственности и общественности. Несколько раз Иванов-Разумник начинал писать «Критическую историю русской литературы» (первоначально еще до войны — весной 1911 г., затем дела журнальные отодвинули исполнение этого замысла; лишь в 1915 г. он вновь возвратился к нему), от которой сохранилось лишь оглавление; неудовлетворенный, он бросал в огонь исписанные листы. Крайне негативное, «пораженческое» отношение к войне резко отдалило его от большинства литераторов: «...теперь более чем когда-либо художник должен, в ответ на повальное националистическое озверение, показать ту «основу», на кото-

[11] «Нравственные письма» из 1937 года: Иванов-Разумник А.Н. Римскому-Корсакову / Публ. В.Г. Белоуса // Из фондов Кабинета рукописей Российского института истории искусств. СПб., 1998. С. 170. (Письмо от 10 августа 1937 г.).

[12] *Форш О.* Сумасшедший корабль. Л., 1931. С. 160—163.

[13] *Лундберг Е.* Записки писателя. Берлин, 1922. С. 117—118.

[14] См.: *Скиф.* Человек и культура (Дорожные мысли и впечатления) // Заветы. 1912. № 6. Сентябрь. Отд. II. С. 46—48.

рой ткется современная историческая ткань. Война кончится через годы, а новой «коммуны» раньше или позже все равно не избежать...»[15] Ответ на дилемму, поставленную мировой войной — самоуничтожение или преображение? — Иванов-Разумник сформулировал в письме к М.К. Лемке от 25 сентября 1916 г.: «Жизнь и работу свою считаю оконченной. Кончать так — обидно; писал я раньше, до сих пор — все лишь «пробы пера»; только теперь начал подходить к настоящему, что хотелось бы высказать. Да и не придется, — так тому и быть. — Вы были моим крестным отцом — издателем, будьте же и душеприказчиком. — «Краткую историю русской литературы» буду писать до последней минуты; но на окончание надо не меньше полугода, — а если их не будет, то надо все бросить в печку. <...> Впрочем — и более дорогие для меня работы останутся невыполненными. Еще раз: так тому и быть. Сотни тысяч человеческих жизней обманутых и обманывающихся людей гибнут вот уже третий год, жалеть ли о книгах! А поступить иначе я не могу. Патриоты на службе Союза Городов и социалисты в Земском Союзе, освобожденные от военщины и тепло пристроившиеся, литераторы — о победе взывающие и дома сидящие — всё это омерзело мне с начала войны. В будущее народа русского крепко верю (и вера моя — от видения), но тем менее могу принимать какое бы то ни было участие в этой не народной, а купеческой войне, в одном ряду с обезумевшими социалистами-патриотами. Я не одинок, но у всех нас теперь — горло сдавлено. Когда нельзя ничего сказать, можно и надо сделать»[16].

Подобные максималистские убеждения особенно наглядно проявились в переломном 1917 г.: если история — не данный «сверху» или «извне» алгоритм правильной жизни, а нечто творящееся «здесь и теперь», то интеллигенция должна быть в центре этого процесса — политического, социального, духовного. Иванов-Разумник, объединивший на страницах сборника «Скифы» своих единомышленников, декларировал духовный максимализм как вечную революционность («для любого строя, для любого "внешнего порядка"»), как вечный поиск «непримиренного и непримиримого духа», как вечную борьбу с «всесветным Мещанином»[17].

В какие бы идеологические, государственные или национальные одежды ни рядилось мещанство, каким бы идеологическим нормотворчеством (либеральным, народническим или же коммунистическим) ни прикрывалось, за ним стояло уничтожение индивидуальной человеческой воли. Оттого Иванов-Разумник считал глубоко враждебными для себя «самые разнообразные «линии поведения»: и либеральный «прогресс» с позитивным «человекобожием», и

[15]Письмо Иванова-Разумника к Ф. Сологубу от 27 августа 1914 г. (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 296. Л. 49 об.).

[16]ИРЛИ. Ф. 661. № 473. Л. 77.

[17]*Скифы* [Мстиславский С.Д., Иванов Р.В.]. Скифы. Вместо предисловия // Скифы. Сб. 1. Пг., 1917. С. X.

коммунистическое «человечествобожие», и всяческое «богобожие». Ибо все они, безмерно разные, сходятся в одном: «Да будет воля Твоя» (кто бы ни был для них «Он»). Я же хоть и не хочу «заявить своеволие», как Кириллов, ибо мир приемлю, ибо чувствую даже, что «Он» и есть «Я» (и я), то есть знаю чувство сыновства, но не могу быть и раскаявшимся блудным сыном, для которого заколают тельца. <...> Принимаю мир, не принимаю бога (в себе же!) и в этом месте — “да будет воля моя”»[18].

«Год революции» позволил Иванову-Разумнику ответить на вечный вопрос Понтия Пилата об истине — новой «благой вестью»: пророчеством о «скифской» миссии России[19]. Старые слова, окрашенные яркой религиозной символикой, приобрели новый смысл. Резко изменился стиль письма, наполняясь все более и более возвышенным звучанием, афористической легкостью и силой. Ирония, столь характерная для его обращений в адрес идейных противников, сменилась открытым сарказмом. На смену естественным сомнениям пришло непоколебимое убеждение в собственной правоте.

Интерпретируя евангелическую притчу о Марфе, проводящей жизнь в заботах и суете «о многом», и Марии, избравшей «одно» — «благую участь», которая у нее не отнимется, Иванов-Разумник увидел в «марийности» символ всемирно-исторической судьбы России — духовной революции, окончательно преодолевающей косность в человеке и обществе. Надежда, родившаяся в феврале 1917-го, обернулась суетой сменяющих друг друга правительств и противоборствующих партий. К концу года насильственные действия, трансформирующие привычный ход истории, казались единственно возможным выбором: за политическим и социальным сдвигами непременно должно было последовать их духовное завершение — преображение[20]. Но пока «скифы» всматривались в «современную историческую ткань», «мещане» откровенно боролись за власть. Спустя два дня после большевистского переворота «Скиф» резко отмеже-

[18]Письмо Иванова-Разумника А.А. Блоку от 20 сентября 1918 г. // Лит. наследство. Т. 92, кн. 2. М., 1981. С. 407.

[19]См.: *Hoffman S.* Scythian theory and literature, 1917—1924 // Art, Society, Revolution: Russia 1917—1921. Stockholm, 1979. P. 138—164; *Дьякова Е.А.* Христианство и революция в миросозерцании «Скифов» (1917—1919 гг.) // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 5. С. 414—425; *Белоус В.Г.* Иванов-Разумник и философские основания «скифской» идеи // Slavia Orientalis. 1995. № 3. С. 363—373.

[20]См.: *Лундберг Е.* Указ. соч. С. 119—120. Ср. также с высказыванием Л. Шестова: «Я сам не читал и даже не знаю, как называется эта книга и кто ее автор. Но мне передавали, что какой-то английский писатель выпустил целую книгу о том, что Россия избрала себе роль Марии, в противоположность Европе, которая избрала себе роль Марфы» (*Шестов Л.* Что такое большевизм. Берлин, 1920. С. 20—21). Конечно же, «английский писатель» — это ироническая инверсия Шестова, который из дружеских соображений не хотел в острополемическом памфлете против большевизма называть имя Иванова-Разумника.

вался как от победителей, так и от проигравших: «*свое лицо* — самое дорогое, самое святое, что только может быть у человека»[21].

Собственный путь казался Иванову-Разумнику восхождением на Голгофу, но, вероятно, более походил на абсурдное подвижничество Сизифа: «знаю, что всякое колесо — раздавит, что лучше отойти в сторону, но не отойду»[22]. В каких бы драматических красках ни рассматривалось будущее, за таким стоическим поведением скрывалась тема оправдания человека (или антроподицеи), верящего, что в конечном счете всегда побеждает осмысленная жизнь, путеводной нитью которой является принцип «здесь и теперь». Все вызовы мира — войны, политические перевороты и социальные катаклизмы, последующие изгнания и катакомбы — рассматривались Ивановым-Разумником как испытания, предначертанные каждому человеку. Если выдержит и не сломается, тогда желаемое преображение состоится «здесь и теперь», сломается — «пусть»: преображение неминуемо предстоит пережить последующим поколениям. Поражение в настоящем не должно пугать или смирять; оно означает неминуемую победу в будущем, если человек следует своему выбору до конца.

Соперничавшие политические группировки встретили подобные максималистские пророчества с откровенной злобой. Отношение победителей к «скифству» отозвалось в штампах большевистской критики: «мелкобуржуазная идеология», «идеалистический уклон», «мистическое восприятие революции», «влечение к деревенской «мужицкой» Руси, Расее, Расеюшке», «эсеровщина» и т.п.[23] Антибольшевистская критика расценила проповедь духовной революции как оправдание настоящего, как «осанну» большевистскому политическому режиму. Может быть, самое грозное (и горькое для Иванова-Разумника лично) предупреждение прозвучало со страниц правоэсеровской газеты, в которой активно сотрудничали его близкие литературные друзья — М. Пришвин, А. Ремизов, В. Шишков: «Мчится «красная тройка», пыл, искры и комья грязи летят в лицо Ив. Разумника, скорчившегося на передке... Птица-тройка! И вдруг... вы не боитесь, Ив. Разумник? Вдруг оборачиваются лошадиные головы, все три, и видите вы их длинные морды, и скалятся желтые зубы (как у Гоголя в «Страшной мести»), скалятся, — смеются: и коренник багровый, и пристяжные кровавые...»[24]

[21]*Иванов-Разумник*. Год революции: Статьи 1917 года. СПб., 1918. С. 79 (статья «Свое лицо», опубликованная в газете «Знамя труда» и датированная 27 октября 1917 г.).

[22]Письмо Иванова-Разумника к Андрею Белому от 29 апреля 1917 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 104).

[23]См.: *Сиплов В.* Расея или РСФСР (Заметка о пролетарской поэзии) // ЛЕФ. 1923. № 2. С. 119—130; *Рожицын В.* Крушение мелкобуржуазной идеологии // Октябрьская революция: первое пятилетие. Харьков, 1922. С. 199—235.

[24]*Трилесов Ип.* Подкалыватель // Воля страны. 1918. 24 января. № 8. С. 2. Подр. см.: Письма М.М. Пришвина к А.М. Ремизову / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Е.Р.Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 194—203; Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Вып. 2. С. 119—122.

Пожалуй, более всего политических оппонентов «задевала» его близость к партии левых социалистов-революционеров. В течение ряда лет, сотрудничая с литературными органами эсеровских партийных изданий и входя в их редакционное руководство, Иванов-Разумник тем не менее никогда не считал себя членом этих организаций. Не принимая навязываемых ему ярлыков, он подчеркивал свою близость к идеологии народничества и подтверждал тем самым внутреннее мировоззренческое постоянство, а не изменяющиеся от внешних причин партийные пристрастия и ориентации. Мировоззренческая позиция противопоставлялась партийному поведению: недаром он постоянно сравнивал себя с киплинговским котом, который гулял сам по себе. И когда после революции принцип партийности потребовал отбора — либо сотрудничество с государством, либо уход в подполье, Иванов-Разумник решительно высказался за парадоксальное «третье»: чем слабее в этих условиях левое народничество будет политически, тем сильнее в конечном итоге окажется его «жизненное *идеологическое* зерно»[25].

Власти предержащие имели другое мнение относительно политических намерений Иванова-Разумника. «Первый звонок» прозвенел в феврале 1919 г., когда вместе с друзьями, оказавшимися на страницах его записной книжки в списке будущих членов петроградской Вольной философской ассоциации (Вольфилы), он был арестован по делу о так называемом заговоре левых социалистов-революционеров. Перспектива, годом ранее обрисованная Е. Замятиным, похоже, становилась реальностью: «У подлинного скифа нет никаких междудвухстульных «или»: он работает *только* для далекого будущего, и никогда — для близкого, и никогда — настоящего; поэтому для него один путь: Голгофа, и нет иного; поэтому для него единственно-мыслимая победа: быть распятым, и нет иной. <...> Удел подлинного скифа — тернии побежденных; его исповедание — еретичество; судьба его — судьба Агасфера; работа его — не для ближнего, но для дальнего. А эта работа во все времена, по законам всех монархий и республик, включительно до советской, оплачивалась только казенной квартирой: в тюрьме»[26].

«Скиф», никогда не отделявший «будущее» от «настоящего», ответил на эти прорицания работой «здесь и теперь» в петроградской Вольфиле[27]. После того как революционные бури отшумели даже для самых неисправимых романтиков и подошло время «жатвы», на одном из заседаний Вольфилы прозвучал вопрос о переживаемом ужасе революции, о страхе каждого человека перед смертью и о непонятном отсутствии «убегания от смертного страха» у Иванова-Разумни-

[25]*Леонтьев Я.В.* К истории взаимоотношений левого народничества и «скифов» // Лица. Вып. 7. М.; СПб., 1996. С. 463.

[26]*Платонов Мих.* [*Замятин Е.*] Скифы ли? // Мысль. Сб. 1. Пг., 1918. С. 286.

[27]Подробнее см.: *Белоус В.Г.* Петроградская Вольная философская ассоциация (1919—1924) — антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране. М., 1997.

ка[28]. Ответом была неизменная вера в правоту максималистского выбора: «Да, в Вольфиле мы стремимся не дать угаснуть в нашем поколении искре вечной Революции, той последней духовной Революции, в которой единый путь к чаемому Преображению... Но когда теперь снова придет стихия — мир загорится; нам же еще века, быть может, скитаться по пустыне, но вера наша, столп огненный — перед нами»[29].

Между тем конфликт между личностью и «Левиафаном советской общественности» разрастался. В черный список изгнанников 1922 г. Иванов-Разумник не попал, вероятно, благодаря расписке о «лояльности», оставленной в ЧК в 1919 г. Но уже в 1924-м была закрыта Вольфила, ставшая своеобразным перекрестком, откуда одни ушли в эмиграцию, другие — в «тюрьмы и ссылки», третьи — в относительно благополучные кельи литературоведения и искусствоведения. После выхода последней «душевной» книги о «вершинах символизма» (Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1919) Иванова-Разумника отлучили от советских издательств, запретив высказываться о современности. За творческими ограничениями последовала материальная нужда, достигшая в 1926 г. своего пика. Какое-то время он существовал за счет корректуры книг по бухгалтерии и другой литературной поденщины, однако не чувствовал от этого никакого унижения: стыдно, считал он, должно быть тем, кто довел его до такой работы.

Исход самоустранения, или, по словам Е. Лундберга, «прыжок», «толчок» «из состояния тоски в др[угое] к[акое]-либо состояние» — «к смерти «по Соболю», <...> «по Есенину» — все равно в конце концов»[30], «имманентный субъективист», первой и абсолютной ценностью которого была жизнь, называл «смертью от безверия». Вопрос мог стоять только так: *как* жить «здесь и теперь»? Стихийную полосу «левиафанной государственности», в рамках которой — «большевики — мелочь, случай», как считал Иванов-Разумник, придется «пережить ряду поколений — во имя разрушения государственности. <...> Настали долгие годы катакомб, — не политического, а духовного подполья»[31].

Общее (для бывших «вольфильцев») восприятие атмосферы такого «духовного подполья» точно выразил Д. Пинес: «...живем внешне в разном и по-разному, и при физическом соприкосновении шебаршатся слова и движения, не о том, не о нужном говоря. — А так получается странно: что, живя в кипящей и бурнейшей среде, кружащей в различных направлениях нескончаемое число

[28]Доклад А.А. Чебышева-Дмитриева «Достоевский и К. Леонтьев» на заседании Вольфилы 23 октября 1921 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 151. Л. 28).

[29]*Иванов-Разумник.* — в сб.: Памяти Александра Блока. Пб., 1922. С. 63.

[30]Письмо Е.Г. Лундберга к Иванову-Разумнику от 19 июня 1926 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 289. Л. 1).

[31]Письмо Иванова-Разумника к Андрею Белому от 29 ноября 1924 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 300).

людей, — живем мы одновременно в глухом лесу, куда с трудом доходят голоса. — Когда прорастает одна эпоха в другую и привычных дорог и тропинок нет, — вдруг по каким-то обломанным сучьям — меткам, следам костра, почти невидимым знакам, — узнаешь присутствие близкого другого, странника по тем же лесам. И даже если нет встречи на пути, то есть безгласная (пусть не часто) перекличка»[32].

«Перекликаясь» редкими письмами и встречами, люди чувствовали, что обстоятельства все больше отдаляют их друг от друга. Главный критерий, разделивший Иванова-Разумника и его ближайшее литературное окружение, — отношение к настоящему: предполагает ли принцип «жить настоящим» одновременную «осанну» действительности? Дискуссия о месте и роли художника в современных условиях, которая разгорелась на именинах В.Н. Ивановой (супруги Иванова-Разумника) в декабре 1931 г. (описанная позже на страницах «Тюрем и ссылок» и даже представленная в его собственноручных показаниях на допросах в 1933 г.), продемонстрировала наиболее откровенное несовпадение поведенческих ответов «духовного максималиста» и его «друзей-приятелей».

По свидетельству Иванова-Разумника, в своей основе этот спор имел «политические разногласия». Андрей Белый утверждал тогда, что современность открыта для осмысления, а значит, и для признания. Возможно, это было связано с тем, что советская власть на какое-то время «отступила» от него и писатель решил ответить ей взаимной «благодарностью»? Мир, который прочно «засел» в Иванове-Разумнике, казался Белому давно прошедшим. Он искренне недоумевал, почему нельзя принять мир нынешний, почему надобно вечно ждать пришествия иных, лучших времен? В свою очередь, его оппонент считал, что в условиях абсолютного господства государственности последнее убежище для индивидуальной свободы — это область самосознания, своеобразная «пещера», где индивидуум может, хотя бы временно, укрыться от преследующей его идеологии. Если историческая эпоха предъявляет невыносимые требования к личности, словно желая поставить на интеллигенции эксперимент: до какой стадии можно унизить, ослепить или купить человека, чтобы он сдался, — нельзя говорить о приятии действительности, надо молчать и честно делать свое дело.

«Тюрьма что могила: всякому место есть» — гласит старинная русская мудрость. Максималисту, отрицающему любую власть, работающему для настоящего как для вечного, место в этой «казенной квартире» забронировано самой судьбой. Но даже для самых близких ему людей осознание несовместимости абсолютной власти Левиафана и достоинства личности приходило не сразу. «Сегодня уже три недели, как Р[азумник] В[асильевич] арестован, — писала

[32]Письмо Д.М. Пинеса к Андрею Белому от 11 сентября 1926 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 21. Ед.хр. 19. Л. 4—5).

М.М. Пришвину В.Н. Иванова, — о нем ведется следствие. Для меня эти слова звучат так же дико, как и в первый день его ареста. Если бы Р. В. был полит[ический] деятель, состоял когда-либо членом какой-нибудь партии, принимал активное участие в полит[ической] жизни, тогда дело вполне понятно. Но жизнь Р. В. шла у всех на виду, всем хорошо известно, что Р. В. давно ушел в работу узко комментат[орскую], вел строго научную и историко-литературную работу.

Мне говорят, пока ведется следствие, надо молчать и ждать. Р. В. и — следствие?! Неужели же его арест сразу заставляет всех уверовать в его [вину] и находить данное положение правильным или же, находя, что это [недоразумение], спокойно ждать, пока оно само собою разъяснится?! Р. В. был прав, когда говорил, что теперь не 19-й год, ничего не сделаешь, надо терпеть. Неужели человек такой безупречной жизни не заслужил ни одного слова в свою защиту?!»[33]

Если жизнь расставляет повсюду ловушки, проверяя интеллектуальные декларации на предмет их подлинности, то тюрьма, вероятно, не самое последнее место для подобного рода испытаний. Поведение человека (заключенного или обвиняемого) с экзистенциальной точки зрения являет собой «чистую» субъективность: более не требуются мировоззренческие маски, ухищрения и прочие формы социальной мимикрии. Все эти излишние для тюремной камеры ролевые облачения могут быть отброшены: человек в буквальном смысле предстает перед собой и другими людьми голым. В тюрьме раскрываются свои герои, мученики, иуды; человеческие свойства проявляются в экстремальных, нечеловеческих условиях предельно откровенно и масштабно.

В основу тюремного поведения Иванова-Разумника была положена максима: все видеть, все запомнить, все осмыслить. Память, впитывающая все до мельчайших подробностей, как ни парадоксально, стала важнейшим условием самосохранения духовного максималиста. Существование поддерживали самые мельчайшие «житейские» подробности: книги из «дэпэзэтовской» библиотеки (особенно разнообразные надписи на них), прогулки, банные дни, передачи и свидания. Только благодаря живейшему, хотя и окрашенному иронией (также своего рода «чистой» субъективностью), интересу к быту можно было, находясь внутри этого мира, оставаться самим собой.

Освобождение из столь абсурдной конструкции, какой является тюрьма, могло быть воспринято как самая большая бессмыслица. Спасли Иванова-Разумника, как ни странно, «случайности». Совершенно случайно в страшной ежовской мясорубке 1937—1938 гг. о нем как бы «забыли». Долгие месяцы он «сидел» без допросов и предъявления обвинительного заключения. Примечательно и то, что Бонч-Бруевич, представляя запрашиваемую характеристику в

[33]ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 4. № 179. Л. 1—1об.

НКВД, отозвался об Иванове-Разумнике как о реликтовом и тем самым абсолютно неопасном для советской власти... «народном социалисте»! Конечный результат такого стечения случайных обстоятельств — «свобода» (в переносном и в буквальном смыслах) — совершенно не зависел от субъективности и воли отдельного человека, тем более в условиях массового террора второй половины 1930-х. Однако именно это неожиданное освобождение в июне 1939 г. «в связи с прекращением дела» означало, что судьба предоставила Иванову-Разумнику уникальную возможность рассказать о виденном, слышанном и пережитом, исполнить свою индивидуальную миссию, вопреки произволу государственной диктатуры.

В начале 1940 г. он был приглашен для обработки архива М. Пришвина. По воспоминаниям В. Пришвиной, это был «измученный человек, но сохранивший, несмотря на все свои жизненные катастрофы, необычайный апломб: иметь при нем свое мнение решался <...> один только Михаил Михайлович. Впрочем, он оказался в существе своем добряком, отмеченным двумя основными качествами (или слабостями): всезнанием и принципиальностью»[34]. «Принципиальность» могла означать только одно: этот человек, «несмотря на все свои жизненные катастрофы», действительно «ни на волос» не сдвинулся «с прежнего неприятия» диктата чужой воли. В 1941-м, по мере приближения линии фронта, его высказывания становились все провиденциальнее. «Хоть я и не политик, — писал «Скиф» Л. Слонимской (характерно, что в одном из писем вместо подписи был использован этот литературный псевдоним), — но ясно предвижу, «чем все это кончится»: с самого начала второй мировой войны я не ставил и ломаного гроша на лошадку, именуемую «Гитлер», — и тем менее ставил, чем он больше побеждал. Его песенка спета, — вот только не знаю, в котором году. Мистер Черчилль говорит, что в 1943—1944-м. Так вот — желаю Вашей семье благополучно дожить до этого времени и вспомнить меня при этом»[35].

Вновь только благодаря счастливой случайности, именуемой в мемуарах «судьбой», ему удалось избежать административной высылки в Архангельск как «неблагонадежному элементу». Сентябрьским утром 1941 г. передовые части немецких войск вошли в Пушкин, и «советская» страница в жизни Иванова-Разумника закрылась навсегда. Началась новая и последняя «одиссея», которой было отпущено менее пяти лет. Элементарное «надо на что-то жить» предполагало работу на немцев — в комендатуре, в столовой, на любом месте, за которое можно было получить либо паек, либо рейхсмарки. Но никогда не служивший никаким властям, Иванов-Разумник не стал работать и на «новый

[34]*Пришвин М. М., Пришвина В. Д.* Мы с тобой? Дневник любви. М., 1996. С. 38.

[35]Письма Р.В. Иванова-Разумника Л.Л. Слонимской / Публ. и примеч. В.Г. Белоуса // Звезда. 1996. № 3. С. 112.

порядок», принципиально отказываясь от сотрудничества. Смерть от голода казалась предпочтительней «свободы» из рук оккупантов.

В начале февраля 1942 г. по ту сторону блокадного кольца была объявлена эвакуация всех «лиц немецкого происхождения». В.Н. Иванова, урожденная Оттенберг, дочь лесничего-немца из Владимирской губернии, и ее муж, умиравший от голода, вместе с десятками жителей Пушкина, Гатчины и других прифронтовых городов воспользовались единственным шансом на спасение. Эмиграция всегда представлялась Иванову-Разумнику серьезной нравственной проблемой. Еще летом 1912 г., накануне Первой мировой войны, впервые посетив ряд европейских стран, и среди прочих — Германию, он разглядел в западной цивилизации враждебное отношение к культуре, творчеству, исканиям. «Берлин» вызвал ассоциацию со «стрихнином»: в то время как Россия демонстрировала так называемую органику развития, Европа — самоотравлялась и умирала. Даже когда в большевистской России начались «моральные неистовства», Иванов-Разумник «смотрел на эмиграцию как на грех». «В нем сидел какой-то странный национализм, — вспоминал А.З. Штейнберг, — заставлявший его смотреть на иностранцев как на людей второго сорта в нравственном отношении. Он считал, что если эмигрирует человек с полунемецкой, грузинской или шведской фамилией, так это еще куда ни шло. Настоящий же русский человек НЕ ДОЛЖЕН эмигрировать! Его не должны пугать никакие трудности и противоречия. Он должен оставаться и пройти через все испытания в России»[36]. Спустя десятилетия машинный «интеграл» европейской цивилизации вновь двинулся на Восток. Попавшему в центр этого страшного вихревого потока Иванову-Разумнику, как и миллионам соотечественников, суждено было оказаться в «прусском изгнании» — помимо собственной воли.

В немецком лагере он познакомился с литературными изданиями русской эмиграции: «Современными записками», «Волей России», «Числами»; возобновил активную переписку со старыми литературными друзьями — А. Ремизовым, Ф. Степуном, С. Постниковым, Б. Зайцевым, приобрел новых знакомых — А. Бема, Н. Берберову, вл. Иоанна (Д. Шаховского) и других представителей эмиграции. Выйдя из лагеря летом 1943 г., он поселился у своих родственников в Литве, где написал множество статей и книг. Однако большинству из них не суждено было дойти до читателя: «Холодные наблюдения и горестные заметы», «Письма без адресатов», «Два юбилея», «Человек в очках» погибли в 1944 г. во время бомбардировки, а судьба главного философского труда — «Оправдания человека» — до сих пор неизвестна. Центральным объектом приложения творческих сил стали «Тюрьмы и ссылки» — автобиографическое повествование о сопротивлении отдельной личности советской диктатуре.

[36] *Штейнберг А.* Друзья моих ранних лет (1911—1928). Париж, 1991. С. 110.

«Учреждение, ведающее перемещением граждан по разным областям СССР»[37] в 1939-м поставило условием освобождения Иванова-Разумника «никогда, никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что» он «видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней». Теперь же, когда «удав», ослабивший свою мертвую хватку, казался достаточно далеким, можно было говорить, не таясь: без оглядки. Этим и объясняется, что в течение года (1942—1943) в берлинской русскоязычной газете «Новое слово» появлялись его статьи, которые позже составили книгу «Писательские судьбы». Впоследствии «сотрудничество» Иванова-Разумника с профашистской газетой стало основным мотивом обвинений в коллаборационизме. Тем не менее его друзья и знакомые, представлявшие эмиграцию, при всем своем разномыслии в отношении к германскому режиму и прежних идейных разногласиях с автором публикаций в «Новом слове» не только не отвергли его, но и демонстрировали всяческую поддержку в течение всего «прусского изгнания».

Конец войны застал Иванова-Разумника в английской зоне оккупации. Здесь он угодил под «дамоклов меч репатриации» и потому усиленно хлопотал о визе для выезда в Соединенные Штаты Америки. Весной — после смерти жены в январе 1946 г. — он перебрался в Мюнхен к своему племяннику, Г. Янковскому, где вновь попытался вернуться к своей главной мемуарной книге. Однако вскоре, в ночь с 3 на 4 июня его сразил инсульт, а пять дней спустя, 9 июня, Иванов-Разумник скончался, так и не приходя в сознание.

Хотя жизненный путь максималиста был завершен, посмертная участь оказалась ничуть не милостивее прижизненной. Спустя две недели после кончины (не подозревавшая об этом) нью-йоркская газета «Новое русское слово» поместила анонимную заметку под выразительным заголовком «Судьба Иванова-Разумника» с прямыми обвинениями его в бегстве из России и сотрудничестве с фашистами. Не все представители эмиграции разделили ее точку зрения. Буквально сразу же резко критически высказался Б. Николаевский: «М[ежду] пр[очим], Н[овое] Р[усское] Сл[ово] напечатало паскудную заметку против него (Иванова-Разумника. — *В. Б.*), — прямо доносительского характера. <...> нельзя, не разобрав дела, выносить смертный приговор. Вообще там сидят безответственные в политическом отношении люди, кот[орые] возомнили себя высшими арбитрами эмигрантских дел»[38]. И по эту сторону «железного занавеса» слухи, обрастая домыслами, расплодились уже в военные годы. Впрочем, даже люди, далекие от Иванова-Разумника и, скорее всего, относившиеся к нему предвзято, не могли не признавать мировоззрительной и поведенческой последователь-

[37]Письмо Иванова-Разумника к А.Г. Горнфельду от 9 января 1934 г. (Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 230).

[38]Письмо Б.И. Николаевского к П.А. Берлину от 14 июля 1946 г. (Hoover Institution Archives. B. Nicolaevsky Collection. Box 438; сообщил Ж.Шерон).

ности этого человека, которая делала маловероятным его добровольный «переход к немцам»[39].

Абсурдным трагикомизмом веет от документов о посмертном «всесоюзном розыске» Иванова-Разумника, сохранившихся в архиве КГБ. В 1952 г., спустя шесть лет после его кончины, довоенное «следственное дело Иванова Р.В.» было выдано оперативным работникам «в связи с объявлением его во Всесоюзный розыск». Спустя еще два года, естественно не обнаруженный, он был «снят с учета». Однако в январе 1956 г. власти вновь спохватились и отправили новый запрос в управление КГБ по Архангельской области, вероятно, в надежде, что поиск Р.В. Иванова по месту предполагавшейся в августе 1941 г. высылки даст положительный результат. Через полтора месяца пришел ответ: такое-то лицо в Архангельск не поступало. Только в конце января 1962 г. в письме начальнику 2-го отделения учетно-архивного отдела КГБ при СМ СССР от начальника учетно-архивного отдела УКГБ по Ленинградской области в «деле» Иванова-Разумника была поставлена последняя точка: «Материалов, свидетельствующих о выселении Разумника-Иванова Р.В. из г. Ленинграда не имеется. Архивно-следственное дело № 580993 не пересматривалось»[40]. Воистину левая рука советской власти не ведала, что творила правая...

Иванов-Разумник нашел упокоение на мюнхенском кладбище Waldfriedhof. В 1948 г. Янковские эмигрировали в Соединенные Штаты. Могила осталась без присмотра. По истечении положенных в таких случаях двадцати лет, последнее пристанище Р.В. Иванова раскопали, его останки перезахоронили в общей могиле, а надгробие уничтожили. По иронии судьбы, распорядившись столь цивилизованно, Германия практически буквально воплотила замысел «скифской» судьбы.

Истории культуры известны личности, которые оставили яркий след не символами своей веры, но индивидуальным подвигом во имя ее реализации. Иванов-Разумник как человек с «мировоззрительным отношением к действительности» был одним из тех «русских мальчиков», которым все европейские гипотезы казались аксиомами, требовавшими безусловного «долженствования», которые, в конце концов, так и не поняли, что свойственные им одержимость и нетерпимость во многом вызвали дух революции. Они приняли эпоху перемен, окрыленные гуманными надеждами, надеясь на духовное преображение

[39]См., напр., записи в дневнике литературоведа Л.Р. Когана от 1 и 21 октября 1945 г. (РНБ. Ф. 1035. № 12. Л. 57). На долгие годы статья об Иванове-Разумнике в «Краткой литературной энциклопедии» (Т. 3. М., 1966), где ничего не говорилось о многочисленных репрессиях, но и не было слов о так называемом «сотрудничестве» с немцами, утвердила официальные сведения о его судьбе: «<...> В 1941 оказался на территории, оккупированной гитлеровскими войсками (г. Пушкин), затем жил в Германии, где и умер. За границей опубл. книги антисов. характера».

[40]Архив ФСБ СПб. Дело № П-53416. Т. 1.

человека. Им, не помышлявшим ни о власти, ни о личном благополучии — воздалось сполна: по вере собственной.

Приговор истории прозвучал в двух высказываниях, имеющих косвенное или прямое отношение к судьбе Иванова-Разумника. «Может быть, тридцать седьмой год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит все их *мировоззрение*, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни, — Россию, где *им самим* такая расправа никогда не угрожала»[41] — эти слова Солженицына, адресованные репрессированным большевикам, вполне могут быть применены к любому революционному максимализму. Другой взгляд — из «Дневника» К. И. Чуковского: «...«Тюрьмы и ссылки» — страшный обвинительный акт против Сталина, Ежова и их подручных: поход против интеллигенции. Вся эта мразь хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех *самостоятельно думающих*, не понимая, что интеллигенция сильнее их всех, ибо если из миллионов ими замученных из их лап ускользнет *один*, этот один проклянет их на веки веков, и его приговор будет признан всем человечеством»[42].

В финальной трансцендентности, отрицающей или принимающей «духовный максимализм», безусловно, есть своя правда. Но, быть может, читателю мемуаров Иванова-Разумника откроется и другой смысл его судьбы: главным и подлинным итогом проживаемого пути является сам путь, в данном случае значимый не завершающей «объективной» оценкой, а вечным вопросом о праве человека на сопротивление и изменение реальности, о границах этого права и о субъективной человеческой правде, его объясняющей.

В.Г. Белоус

[41] *Солженицын А.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956: Опыт художественного исследования // Новый мир. 1989. № 8. С. 75.

[42] *Чуковский К.* Дневник. 1930—1969. М., 1994. С. 318. (Запись от 16 июня 1962 г.)

россия в мемуарах

Писательские судьбы



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Время ли, стоит ли говорить о писательских «судьбах», о «фантастических историях», когда мировой историей поставлен вопрос о судьбах народов, об участи целого мира?

Какая малая волна, какая ничтожная капля в народном море — писатели: малые тысячи среди многих миллионов!

И добро бы это была русская литература той поры, когда была она «светом мира», когда писатели были «солью земли»...

Но литература минувшей четверти века в Стране Советов, поставленная под гасильник большевистского террора!

Но писатели, переставшие быть «солью земли» и задыхавшиеся в марксистских намордниках!

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему негодная, как разве выбросить ее вон на попрание людям»[1].

Стоит ли говорить о ней?

Стоит, ибо судьба русских писателей минувшей четверти века была трагичной — у многих, драматичной — у всех (лакеи от литературы не в счет), а драма и трагедия человечества — всегда стоят пристального внимания.

Стоит, ибо —

> Писатель, если только он
> Волна, а океан — Россия,
> Не может быть не возмущен,
> Когда возмущена стихия[2].

Стоит, ибо если литература даже и не волна, а лишь ничтожная капля в народном море, то и в малой капле вод отражается солнце мировой истории.

Стоит, ибо писательские судьбы в Стране Советов за последнюю четверть века отражают в себе судьбы целого народа.

Чтобы узнать вкус воды, достаточно нескольких капель.

Такие капли — отдельные очерки этой книги, и чем мельче отмеченные здесь бытовые черточки, тем они характернее. И не только стоит их собрать, но необходимо заняться этим именно теперь, «по свежим следам»: пройдет еще четверть века — и никто не поверит тем фантастическим историям, участниками которых были мы.

И, однако, по слову поэта, «все это было, было, было»...[3]

1942—1943

Иванов-Разумник

ДВЕ ЖИЗНИ СУЛТАНА МАХМУДА

Среди чудесных сказок «Тысячи и одной ночи» есть одна под заглавием «Две жизни султана Махмуда»[4]. Пришел к султану дервиш, предложил ему сесть в бассейн с водой и погрузить голову в воду. Чуть только сделал это султан, как очутился на каком-то острове, посредине бушующего моря, да к тому же еще (ужасная вещь для почитателей Корана!) султан Махмуд оказался превращенным в женщину! Ею овладел откуда-то взявшийся грубый мужлан, и она (султан Махмуд!) год за годом нарожала ему восемь человек детей... И так далее, и так далее, час от часу не легче, с нарастанием кошмаров этой второй жизни султана Махмуда. А когда наконец он поднял из воды погруженную в нее голову — оказалось, что эту вторую свою жизнь султан Махмуд прожил в течение нескольких секунд...

История султана Махмуда (с одним «маленьким» изменением...) повторилась — да только наоборот! — с нами, со мной и с моими сверстниками, ровесниками Александра Блока и Андрея Белого, вступившими в XX век — в 1901 год — как раз в год своего совершеннолетия (оно тогда считалось в 21 год). Пришел к нему дервиш — имя ему было Революция, — и в 1917 году мы погрузили головы в воду... а когда, задыхаясь, вынырнули, то, оказалось, прошло не несколько секунд, а — страшно сказать! — целых двадцать пять лет, четверть века. Когда мы погрузили в воду головы, нам не было и сорока лет, каждый из нас был (по вежливому французскому выражению) «un jeune homme de quarante ans»[5]: были мы молодыми людьми, а очнулись от второй жизни султана Махмуда (те, кто уцелел и очнулся) в возрасте за шестьдесят!

Стояли мы в свое время за «углубление» политической революции до социальной; мы — это наша литературная группа, так называемые «скифы» (по имени двух сборников такого заглавия, вышедших в 1917 году), — Александр Блок, Андрей Белый, Николай Клюев, Сергей Есенин и немногие другие. Скажу о себе: еще в самом начале Февральской революции я напечатал статью «Вольга и Микула»[6] (вошла в мою книгу «Год Революции», 1918 г.) — о революции политической и социальной, — и не

склонен считать ее ошибкой. Ошибка была, да только совсем в ином плане. Социальная революция висела в воздухе, доказательством чего являются и Италия 1920 года, и Германия 1933 года. Ошибка была в другом. Как мог я, всю свою литературную жизнь боровшийся с русским марксизмом, да еще в лице самого умного его представителя, Георгия Плеханова[7], — как мог я на минуту поверить в возможность хотя бы временного «пакта» с большевизмом, с его обманной «диктатурой пролетариата», с его компромиссами и всем тем, что восхищает его сторонников: «Нет краше зверя сего!» Зверь сей сумел, сперва прикинувшись лисой, поодиночке проглотить всех: в январе 1918 года — учредительное собрание и правых эсеров, в апреле — анархистов, в июле — левых эсеров... Да что там эсеры! Вот и четверть века прошло, а лисий хвост и волчья пасть остаются верны себе: теперь зверь сей пытается обмануть Черчилля с Рузвельтом...

Политика — случайная для меня область, а потому перехожу к примерам из дел литературных, которые лучше всяких теорий расскажут о второй жизни султана Махмуда за эти жуткие четверть века. Начну хотя бы с красочной истории самой «Тысячи и одной ночи» — истории как раз на тему сказки; только сказка сказкой, а здесь пойдет быль.

Жил-был человек, влюбленный в книгу; звали его Кроленко (не смешивать с знаменитым народным комиссаром Крыленко, ныне расстрелянным или вообще исчезнувшим с лица земли). Дело было в самом начале нэпа, о котором Ленин сказал, что она («новая экономическая политика») вводится «всерьез и надолго». Наивные люди поверили — в числе их и энергичный молодой Кроленко, основавший в эти годы издательство «Академия»[8]. Верное чутье прирожденного «книжника» подсказало ему, в какой области книге суждены успехи в эти годы усталости от успехов революции. Разгром Деникина, разгром Колчака, разгром интервентов, разгром за разгромом —

А в душе истома,
И как будто тошно...[9]

Так, вероятно, тошно было султану Махмуду рожать восьмого ребенка... «Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда!»[10]

Книжник Кроленко чутко понял, что в эти годы нэпа, в годы усталости от революции, три разряда книг имеют шансы на успех, и в первую

очередь — мемуарная литература (забыться бы в рассказах о прошлом!). И он начал в «роскошных изданиях» — и с громадным успехом — издавать и переиздавать мемуарную литературу XIX века.

Вторая удача его чутья: он понял, что в середине двадцатых годов, после десяти лет революции, среди «актуальнейших» пролетарских романов, вроде «Фабрики Раблэ» честного, но бесконечно бездарного пролетария Михаила Чумандрина[11], романы которого критика (печатно!) ставила выше «Войны и мира»...

Прерываю себя на полуфразе, чтобы вспомнить, как однажды потряс меня мощный образ первых же строк одного из многочисленных романов этого соперника Льва Толстого: «Наденька вышла на балкон, опираясь на тяжелые дубовые перила», — которые она, бедная, очевидно, так и таскала за собой по всей квартире, из комнаты в комнату, словно палку...[12]

Так вот, чуткий издатель понял, что в эпоху таких даже грамматически беспомощных и абсолютно бездарных сюжетно и композиционно пролетарских Львов Толстых величайшим успехом среди приунывших читателей должен пользоваться такой несомненный сюжетно-композиционный гений, как Александр Дюма (отец). И издатель стал выпускать «в роскошных изданиях» и — надо отдать ему справедливость — впервые в хороших переводах роман за романом Александра Дюма[13]. Успех превзошел все ожидания.

Наконец — третий разряд книг, которые могли рассчитывать на успех в эти годы утомления от победоносного, дубоватого и плоско-прозаического русского марксизма: запретная область СКАЗКИ. К слову сказать, отношение к ней марксизма с годами являло «ряд волшебных изменений милого лица»[14], но это пока выпадает из моей темы. И тут молодой издатель решил, не ограничиваясь изданием отдельными томами областных и национальных сказок, с особенной роскошью выпустить в свет впервые на русском языке полную «Тысяча и одна ночь», переведенную не с французского языка, да еще с сокращениями, как это бывало раньше, а с арабского подлинника и с возможной полнотой. Перевод текста был заказан одному молодому ученому, под редакцией академика Крачковского, а «оформление» книги — стилизованная графика — предоставлено было художнику Ушину, довольно удачно справившемуся с поставленной перед ним задачей[15]. Особенно поражала российского читателя суперобложка, блестевшая золотом, серебром и всеми лакированными красно-сине-желтыми тонами радуги. Впрочем — зачем я все это рассказываю? Издание

это (в восьми томах) дошло и до Европы, а в советской России представляло библиографическую редкость, котируясь у букинистов (государственных, конечно) в 1200—1500 рублей за все издание. Кстати сказать: собрание сочинений Александра Дюма в ужасном издании Сойкина[16] стоило и того дороже: 2500—3000 рублей...

Государственное издательство ревниво следило за успехами издания мемуарной литературы (как это раньше само не догадалось!), но мужественно перенесло эту удачу частного издательства: ведь нэп — «всерьез и надолго», ничего с этим не поделаешь! Терпение стало истощаться, когда Александр Дюма в роскошных изданиях и с блестящим успехом продефилировал на книжном рынке. Кстати — и нэп стала немного колебаться... Но когда появился первый том «Тысячи и одной ночи» и произвел сенсацию, терпение исчерпалось! Для чуткого издателя (не будь чутким!) началась вторая жизнь султана Махмуда.

Значит: пожалуйте в ГПУ! Этому органу власти пришлось волей-неволей арестовать издателя и убедительно объяснить ему все неприличие его поведения. Сравнительно с другими случаями дело кончилось быстро и благополучно: издатель «просидел» сколько-то месяцев, никуда не был ни сослан, ни выслан (редкий случай), но зато убедился в полной антигосударственности своего поведения и «добровольно» решил, что издательство его, «Академия», должно именно под этой зарекомендовавшей себя маркой стать неразрывной частью Государственного издательства (что и случилось), а сам он, издатель, может отныне заниматься чем хочет — кроме, конечно, издательства...

«Академия» после этого существовала еще лет десять как составная часть Государственного Издательства[17], а обкраденный государством издатель мог на досуге вспоминать сказку из «Тысячи и одной ночи» о двух жизнях султана Махмуда...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ СЕБЕ
(История тоже не без фантастики)

Писать о самом себе — и трудное, и скучное дело, но так как и мне пришлось быть одной из иллюстраций к фантастической истории султана Махмуда, то, преодолевая скуку и трудность, скажу несколько слов о себе самом[18].

Никогда не был я членом какой бы то ни было политической партии, но всю свою литературную жизнь продолжал (а по мнению ГПУ, даже «возглавлял») то направление народничества, которое определяется именами Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. К началу XX века направление это политически оформилось в партию социалистов-революционеров («эсеры»), и мне довелось «возглавлять» литературные отделы их журналов и газет («Заветы» 1912—1914 гг., «Дело народа» 1917 г.). Когда эсеры осенью 1917 года раскололись на «правых» и «левых», то в газете последних «Знамя труда» и в журнале «Наш путь» я опять-таки был редактором литературных отделов. Имя мое было, конечно, занесено на черную доску ЧК, ГПУ и прочих органов власти победоносного марксизма. Однако после убийства Мирбаха и разгрома «левых эсеров» в июле 1918 года меня еще временно оставили в покое.

Только в феврале 1919 года последовал первый мой арест в Царском Селе органами ЧК по обвинению в несуществовавшем «заговоре левых эсеров»; через день были арестованы — по адресам в моей записной книжке — Александр Блок, Алексей Ремизов, Евгений Замятин, художник Петров-Водкин, проф. С.А. Венгеров, М.К. Лемке и многие другие, столь же ни в чем не повинные писатели (к слову сказать, история пребывания Александра Блока в недрах ЧК закреплена в книжке «Памяти Александра Блока», изданной Вольной философской ассоциацией в 1922 году[19]; о том, чем была Вольная философская ассоциация — Вольфила — в эти годы, еще расскажу особо). Всех их выпустили после кратковременного пребывания в стенах ЧК, а меня увезли в Москву, на «Лубянку» (центральная московская тюрьма ЧК, ГПУ, НКВД — вплоть до нынешних дней). Фантастическая история этого путешествия и пребывания в

подвалах «Лубянки» заслуживает подробного рассказа, которому здесь не место; скажу только, что на этот раз фантастическое «дело» закончилось благополучно — и султан Махмуд вынырнул через две недели на свободу, с обещанием, что его впредь не будут «зря беспокоить»...

Обещание это органы власти держали чуть не полтора десятилетия; но возможность настоящей литературной работы была с тех пор почти совершенно отрезана. Когда в 1923 году вышла в свет — с великими трудностями и цензурными купюрами — моя книга, посвященная творчеству Александра Блока и Андрея Белого («Вершины»), то петербургские цензурные держиморды тут же объявили издательству («Колос»), что впредь мои книги не будут разрешаться независимо от их содержания. И действительно, после этого ни одна из моих книг не была пропущена цензурой (в том же издательстве — книги «Россия и Европа», «Оправдание человека» и другие)[20].

Правда, заниматься «литературоведением» и библиографией мне было дозволено. В 1926—1927 годах я редактировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина и поместил в нем 30 печатных листов подробных комментариев (связанная с ними фантастическая история — тоже впереди). В 1930 году выпустил в свет сборник «Неизданный Щедрин», и в том же году московская цензура пропустила — снова с великими трудностями —1-й том моей монографии о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина (2-й и 3-й томы погибли в годы моих тюрем и ссылок)[21]. Наконец, в том же году началось по моему плану издание двадцатитомного полного собрания сочинений того же Салтыкова, — как видите, мне пришлось специализироваться на одном авторе, так как свои пути были начисто отрезаны.

Впрочем, не совсем. С 1930 года редактировал двенадцатитомное собрание сочинений Александра Блока; за три года, до весны 1933 года, успел приготовить, а «Издательство писателей в Ленинграде» успело выпустить первые семь томов (стихи и театр). Последние пять томов (проза) обработать не успел, так как в начале 1933 года был арестован — и начались многолетние скитания по тюрьмам и ссылкам. К семи томам стихов и театра Блока написал до 50 печатных листов комментариев (основанных на изучении рукописей), но еще до моего ареста они, уже набранные, сверстанные и отчасти напечатанные, были, по приказу ГПУ, вырезаны из издания и погибли[22]. Впрочем, тоже не совсем. Сменивший меня на посту редактора (после моего ареста) молодой «коммуноид» Владимир

Орлов щедрой рукой черпал из предоставленного ему издательством корректурного экземпляра моих комментариев для последующих изданий Блока. Он оказался достаточно грамотным переписчиком[23].

А для меня начались годы сидений и скитаний. Рассказ о них — дело длинное и особое; здесь лишь — краткая наметка основных вех.

1933 год: с февраля восемь месяцев сидения в одиночной камере ДПЗ (Дома предварительного заключения), а потом ссылка на три года в Новосибирск, вскоре замененная ссылкой на такой же срок в Саратов.

1936 год: «по отбытии ссылки» — разрешение поселиться в Кашире, но отнюдь не вернуться домой, к семье, в Царское Село.

1937 год, сентябрь: арест в Кашире, перевод в Москву, в Бутырскую тюрьму, в общие камеры, где пребывал год и три четверти.

1939 год, июнь: освобождение, без новой ссылки, но и без права вернуться домой, в Царское Село. Удавалось бывать там только хитростью, прописываясь «временно».

Так прошло время до начала войны и до занятия германскими войсками Царского Села 17 сентября 1941 года.

Обвинения?

1. Был «идейно-организационным центром народничества» (обвинение 1933 года).

2. Продолжал после ссылки «контрреволюционную деятельность» в Москве, проживая в Кашире (обвинение 1937 года).

3. Покупал в 1921 году берданку, подготовляя вооруженное восстание против советской власти (обвинение 1937 года).

4. На Втором съезде Советов, в апреле 1918 года, произнес антибольшевистскую речь и «был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов, ныне готовым подтвердить свои слова на очной ставке» (обвинение 1938 года).

Не привожу всех таких обвинений (десятки!), столь же серьезных, но остановлюсь еще на одном, самом замечательном, однако требующем небольшого предисловия. А пока скажу: само собой понятно, что берданки я никогда не покупал («И как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками!» — играя в наивность, удивлялся следователь); на съезде Советов вообще не был (хотя достоверный лжесвидетель и стащил меня там за ногу с кафедры); «контрреволюционная деятельность» моя в Кашире и Москве заключалась, очевидно, в комментировании большого тома (40 печатных листов) для Государственного литературного музея в

Москве — «Письма Андрея Белого к Иванову-Разумнику 1912—1932 гг.»[24]. Но самое фантастическое обвинение — впереди; к нему, однако, и требуется небольшое предисловие.

В камере № 113 Бутырской тюрьмы в конце 1938 года сидело нас не так много — всего человек 60 на 24 места; среди нас один моряк, который служил свыше года в Париже, в торговом секторе полпредства; а полпредом (т.е. послом) был тогда «товарищ Потемкин», к началу 1939 года ставший заместителем и помощником Молотова (а может быть, к тому времени уже дисквалифицированный и назначенный народным комиссаром просвещения РСФСР, не помню). Так вот, моряк этот вернулся както вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских «аргументов» следователя. Впрочем, он был подавлен не самим фактом этих аргументов, а своим «добровольным» признанием в том, в чем он был столь же виновен, как я в покупке берданки. А именно: он признался, что в 1937 году в Париже полпред Потемкин организовал среди членов полпредства боевую троцкистскую организацию, в которой и он, моряк, принимал участие...

Конечно, все это фантастично: фантастично то, что органы НКВД составляют лживый протокол о человеке, являющемся в это же самое время заместителем комиссара по иностранным делам; еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД — «на всякий случай»: авось пригодится, авось можно будет арестовать и товарища Потемкина, так вот обвинение уже и готово, и достоверный лжесвидетель налицо...

«То ли еще бывало!» — в эти ежовские времена...

После этого предисловия возвращаюсь к обвинению против меня; помню, что оно было предъявлено мне в виде новогоднего подарка 31 декабря 1937 года:

«В апреле 1936 года, временно пребывая в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире свидание с академиком Е.В. Тарле, с которым вел беседу по поводу участия в ответственном министерстве после свержения советской власти».

Та же история, что и с Потемкиным. Академика Тарле я никогда в жизни не видел, ни «подпольно», ни «надпольно», даже портрета его не видал — и не знаю: с бородой он или бритый, с шевелюрой или лысый... Но представьте себе, что я согласился бы показать все то, что требовал следователь: в архивах НКВД лежало бы готовое обвинение, если бы пред-

ставился удобный случай изъять из обращения академика Тарле[25]. А я по наивности подумал тогда, что почтенный академик, обвиняемый в таком преступлении, наверное, уже арестован... Ничуть не бывало! Он и не подозревал, какие сети хочет сплести вокруг него НКВД, благоденствовал и продолжает благоденствовать даже до сего дня.

Повторяю: все это на грани фантастики; но ведь в Стране Советов всем известно, что девяносто девять процентов обвинений, предъявляемых ЧК, ГПУ, НКВД, Гособезом или как бы они там ни назывались, — сплошная ложь, фантастика, никого из обвиняемых не удивляющая.

В заключение — существенная оговорка: да не подумает читатель, что, рассказывая обо всем пережитом, я считаю себя страдальцем, столь жестоко претерпевшим от советской власти: годы тюрем и скитаний! В том-то и дело, что сравнительно с другими (миллионами!) претерпел я очень мало: не был приговорен к изолятору, не сидел в концлагерях, в ссылке был в больших городах, во время допросов никогда не подвергался никаким веским «аргументам» следователя, — многие ли могли этим похвастаться? Конечно, европейские понятия о праве совершенно иные; но ведь я рассказываю о жизни в Стране Советов, где моя судьба была еще одной из легчайших.

Чтобы закончить о себе, скажу еще о событиях самого последнего времени. За четыре десятилетия моей писательской деятельности я постепенно «обрастал» книгами; один небольшой шкап с книгами обратился к 1941 году в одиннадцать больших шкапов с десятью тысячами томов. Одновременно с этим в течение ряда лет и десятилетий накопился очень большой литературный архив, с драгоценными рукописными материалами (Блок, Белый, Сологуб, Ремизов, Клюев, Есенин, Замятин и многие другие), десятки папок, тысячи писем, два громадных шкапа.

Осенью 1941 года наш небольшой деревянный домик в Царском Селе, на самой окраине города, оказался в то же время и на самой линии фронта. Разрушение его началось бомбами с аэропланов в августе—сентябре и закончилось артиллерийскими снарядами зимою 1941—1942 года. Когда я посетил его в последний раз, библиотека и архив представляли собою сплошную кашу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трех комнат домика; теперь от него осталось одно только воспоминание...[26]

Ничего не поделаешь: такова, видно, моя писательская судьба...

Но — довольно о себе; интереснее (и для читателей, и для меня) общий рассказ о судьбах писателей, ПОГИБШИХ за эту четверть века (рас-

стрел, изолятор, концлагерь, самоубийство), о ЗАДУШЕННЫХ цензурой и потому замолчавших, ПРИСПОСОБИВШИХСЯ и потому процветавших. «Ему же честь — честь», как сказано в Писании...[27]

Воспоминания эти хочу предварить небольшой «концовкой» к настоящему очерку, которая одновременно послужит и «заставкой» к очерку следующему — о Федоре Сологубе.

Сологуб до конца дней своих (он умер в декабре 1927 г.) люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как «туполобые». Жил он в 1923—1924 годах в Царском Селе[28], стена в стену с нашей квартирой на Колпинской улице, и ежедневно — в ответ на мой условный стук в стену — приходил к нашему послеобеденному чаю. Как-то раз, летом 1924 года, он пришел мрачный, насупленный, сел за стакан чая, помолчал — и неожиданно спросил:

— Как вы думаете, долго ли еще останутся у власти туполобые?

Не имея возможности серьезно ответить на такой вопрос, я отделался шуткой:

— По историческим аналогиям, дорогой Федор Кузьмич, в России триста лет стояли у власти татары, триста лет царили Романовы, вот и большевики пришли к власти на триста лет...

Сологуб очень — и по-серьезному — рассердился:

— Какой вздор: теперь — век телеграфов, телефонов, радио, аэропланов! Время летит безмерно быстрее, чем в эпоху Романовых или татар! Триста лет! Теперь не средние века с их ползучим временем!

— Ну, хорошо, Федор Кузьмич, пусть так; сколько же времени, по-вашему, большевики будут стоять у власти?

Сологуб сперва серьезно задумался, потом искорки юмора блеснули у него в глазах (он был чудесный юморист, о чем знали только немногие), и как будто нехотя, но с полной серьезностью (что было особенно пикантно) он ответил:

— Ну... лет двести!

И тут же сам расхохотался.

Я охотно подарил Сологубу сто лет: триста или двести лет — не все ли равно? И неужели нашему поколению так и остаться навсегда при второй (кошмарной!) жизни султана Махмуда? Неужели так и задохнемся мы под водой?

При подобных вопросах всегда неутешительно вспоминался мне один эпизод из истории средних веков с их «ползучим временем»; ведь у истории другие масштабы и сроки, чем у нас.

Последний крестовый поход закончился большой неожиданностью: крестоносцы, идя в Палестину через Византию, решили, что Константинополь нисколько не хуже Иерусалима, а потому взяли столицу Византии и вообще овладели всей европейской частью этого государства; император Комнен вынужден был бежать в свои малоазиатские владения. Это было в 1204 году. Мой гимназический учебник истории (ведь вот запомнилось же на целые полвека!) бесстрастно и кратко продолжал и заканчивал: «Власть крестоносцев была непродолжительна; уже в 1264 году внук изгнанного императора в свою очередь изгнал крестоносцев из Византии»[29].

«Непродолжительна», — благодарю вас! Шестьдесят лет!

Триста, двести, шестьдесят лет — небольшие сроки для народа, хоть и весьма разные; для отдельного человека между ними почти нет разницы, и юмор Федора Сологуба в этом случае вполне уместен.

Но история умеет делать иногда и неожиданные подарки. Вместо шестидесяти, двухсот или трехсот лет она иной раз укладывает события огромного масштаба на протяжении какой-нибудь четверти века — время, уже соизмеримое с длительностью человеческой жизни. Так, например, от начала Французской революции до Ватерлоо (ее конца) прошло ровно двадцать пять лет. И с октября 1917 года четверть века заканчивается как раз в нынешнем 1942 году...

ФЕДОР СОЛОГУБ

Еще не светало рано утром 5 декабря 1927 года, когда мы с женой получили в Царском Селе телеграмму от О.Н. Черносвитовой (свояченицы Федора Сологуба, у которой он жил): «Федор Кузьмич в агонии, приезжайте немедленно». Оправдывалось его предсказание о самом себе:

Смерть меня погубит в декабре,
В декабре я перестану жить...[30]

Мы с женой сейчас же поехали на Ждановку (Петербургская сторона), где жил, а теперь умирал большой русский поэт, но застать его в живых уже не привелось: он скончался незадолго до нашего приезда и теперь лежал на своей оттоманке под одеялом — похолодевший, бесстрастный, со спокойным, одновременно и строгим и добрым (как было и при жизни) выражением лица. Другие его строки о себе самом — не оправдались:

Перехитрив свою судьбу,
Уже и тем я был доволен,
Что весел был, когда был болен,
Что весел буду и в гробу...[31]

Судьбы своей он не перехитрил и в гробу не был весел, как обещал; но и многомесячные страдания (он тяжело умирал от уремии) не отпечатались на его спокойном лице.

А как ему не хотелось умирать! Это был уже не тот дерзкий Сологуб, который ненавидел «дебелую бабищу Жизнь» и воспевал хвалу Смерти-освободительнице. За несколько дней до прихода к нему этой неизбежной смерти я был у него по литературным делам (по каким — еще скажу ниже) и впервые в жизни увидел его плачущим и тщетно пытающимся скрыть слезы.

— Умирать надо? Гнусность! Только-только стал понимать, что такое жизнь... Разве раньше старости человек понимает это? А вот — надо уходить. Зачем? За что? Как смеют? (Это безличное «Как смеют?» очень мне запомнилось.)

Чем утешить умирающего? Я попробовал сказать ему, что смерть приходит к человеку только тогда, когда сам он теряет волю к жизни, а пока воля эта есть — смерть над ним бессильна. Смерть — явление столько же духовного (вернее — душевного), сколько и физического плана... Но Сологуб не слушал.

— К лягушкам? В болото? Не хочу!

А когда я имел неосторожность (скажем уж прямо: глупость) напомнить ему о «дебелой бабище Жизни», то он до того рассердился, что я даже обрадовался: была еще у него эта воля к жизни!

Но теперь — все было уже решено и кончено. Смерть-освободительница избавила его и от физических, и от душевных страданий.

День прошел в суете, в хлопотах, посетителях, а к ночи, когда гроб с телом, засыпанный цветами, уже стоял посредине комнаты, когда после вечерней панихиды разошлись многочисленные друзья, почитатели, знакомые и незнакомые, я начал разбор оставшихся после Ф. Сологуба бумаг и проработал всю ночь напролет, вызвав на помощь одного доброго приятеля, страстного книжника и большого знатока русской поэзии XX века[32].

В начале тридцатых годов этот приятель был арестован по совершенно бессмысленному обвинению[33]; провел несколько лет в одной из уральских тюрем, а после нее — еще несколько лет в ссылке в одном из северных городов. Когда срок ссылки в начале 1937 года закончился, он снова был арестован и на этот раз бесследно пропал для родных и друзей, был вычеркнут из числа живых[34]. Что с ним теперь и где он, жив ли, нет ли — не знаю; но если жив, то не рискую компрометировать его знакомством с собою, ныне вынырнувшим из воды.

Итак, мы с ним проработали всю ночь напролет. Такая спешка нужна была оттого, что Сологуб — Федор Кузьмич Тетерников — умер бездетным, вообще наследников на оставил, и каждую минуту мог явиться «фининспектор», чтобы наложить арест на выморочное имущество. Всю ночь мы разбирали и переносили бумаги, рукописи, книги с автографами, ящики, альбомы, фотографии, пачки писем из комнаты Сологуба в другие комнаты квартиры.

Настало утро — и я отправился в «Пушкинский Дом Академии наук». Это было как раз незадолго до его разгрома, до разгрома всей Академии, до ареста и последующей гибели в самарской ссылке академика С.Ф. Платонова[35], а в других ссылках — скольких других академиков и профессоров!

Но в 1927 году разгрома еще не было. Пушкинский Дом осеняло еще имя честного и скромного ученого П.Н. Сакулина, а заместителем его был милейший и обязательнейший Б.Л. Модзалевский, один из авторитетнейших наших пушкинистов; рукописным отделом заведовал зять С.Ф. Платонова, тоже «пушкинист», но сравнительно молодой, Н.В. Измайлов. Наконец, секретарем Академии наук был тогда племянник семьи Римских-Корсаковых (композитора), а через них давно знакомый и мне Б.Н. Молас. Привожу все эти имена в связи с последующей их судьбой. Впрочем, Б.Л. Модзалевский счастливо избежал ее — скоропостижно скончался незадолго до разгрома Академии и Пушкинского Дома. Б.Н. Молас и Н.В. Измайлов были менее счастливы — и получили (без вины виноватые) по десять лет Соловков каждый. Измайлов впоследствии снова появился на «пушкинском» научном горизонте, а Молас, отбыв ссылку, был вторично арестован и с начала 1937 года пропал бесследно[36]. Все это — такие знакомые в СССР «переживания»!

Молас, Модзалевский и Измайлов в полчаса «оформили» дело, устроили все, что было нужно, и выдали мне охранную грамоту на весь архив Федора Сологуба, как подлежащий передаче в Пушкинский Дом Академии наук. Теперь мы могли спокойно заняться разбором и описью архива, не боясь фининспектора (он явился в тот же день и пощелкал зубами), и занялись этой работой немедленно после похорон. Она продолжалась каждый день почти три месяца — и лишь в конце февраля 1928 года мы закончили наш труд и сдали разобранный и описанный архив Сологуба представителям Пушкинского Дома[37].

Архив Федора Сологуба представлял собою нечто исключительное не только по богатству материала, но и по величайшему порядку, в котором весь этот материал содержался. Стихи и рассказы были собраны и в хронологическом, и в алфавитном порядке, датированы, разложены по алфавитным ящикам; письма разобраны по фамилиям, фотографии надписаны.

Тремя годами позднее, когда мне пришлось столь же близко ознакомиться с архивом А.А. Блока, находившимся у меня на дому (при редактировании мною собрания его сочинений), я убедился, что не один Федор Кузьмич умел содержать свои бумаги и тетради в образцовом порядке, но все же пальму первенства приходилось отдать Ф. Сологубу. Через десять лет, в 1940 году, мне привелось приводить в порядок и описывать архивы живого Михаила Пришвина и покойного моего друга А.Н. Римс-

кого-Корсакова — и я тогда не раз поминал добрым словом величайшую аккуратность и систематичность Сологуба.

Тяжка судьба писателя, в расцвете сил чувствующего, что ему есть еще что сказать, и вынужденного умолкнуть и писать только «в письменный стол». Такова была и судьба Ф. Сологуба после 1917 года. Десять лет прожил он еще, писал — много (опись архива показала нам это), напечатать не мог почти ничего: он был «неактуален»... Аргумент — поистине идиотский, ибо все великие произведения всегда «неактуальны», они стоят выше узких интересов своего времени. Правда, это не значит, что всякое «неактуальное» произведение должно считаться «великим», ибо, как известно из математики, не все обратные теоремы справедливы: когда идет дождь — я раскрываю зонтик, но из этого не следует, что когда я раскрою зонтик, то пойдет дождь...

Произведения последних десяти лет жизни Ф. Сологуба не были, быть может, «великими», но они были безмерно талантливее того «актуального» и сугубо бездарного, что начало заполнять собою страницы журналов и что получило название «пролетарской литературы». Ужасные стихи Уткиных, Алтаузенов, Светловых и К° — печатались; замечательные стихи Ф. Сологуба этого же десятилетия — складывались им в письменный стол. О судьбе последних тетрадей этих стихотворений мне и хочется теперь вспомнить.

В обычную «школьную» тетрадку Ф. Сологуб почти ежедневно записывал иногда одно, иногда и несколько стихотворений. Лишь ничтожная часть их напечатана в тех сборниках, которые выходили в самом начале двадцатых годов: «Фимиамы», «Соборный Благовест» и немногие другие. А за два последних года жизни Ф. Сологуба (1925—1927) ему уже не удавалось проводить в печать ни своих сборников, ни отдельных стихотворений. Как раз к этому времени он тяжело заболел, на глазах умирал; очень хотелось хоть чем-нибудь скрасить последние месяцы его жизни. Я предложил ему отобрать несколько десятков наиболее «подходящих» стихотворений и взялся хлопотать об их издании отдельным сборником в Государственном издательстве, где тогда литературным фронтом командовал некий Ангерт, известный мне по делам издания комментированного мною в 1926—1927 годах «избранного Салтыкова»[38].

(В скобках: что этот товарищ Ангерт вытворял как «хозяин русской литературы» в Ленинграде — говорить об этом не стоит; делал он, что левая нога его хотела. Но — года через два после описываемого времени — и на

него нашла беда: был арестован, сидел в заточении, а затем был отправлен в многолетнюю ссылку на побережье Лапландии. Дальнейшая судьба его мне неизвестна, да, по правде сказать, и неинтересна.)

Сологуб отказался сам производить отбор «подходящих» стихотворений и передал мне пять толстых тетрадей со стихами 1926—1927 годов, чтобы я проделал эту работу за него; сам он был уже настолько тяжело болен (дело было в октябре 1927 года), что даже и такая работа была для него непосильной. Я взял эти тетради, чтобы из нескольких сот отобрать несколько десятков последних стихотворений Ф. Сологуба (всего я отобрал их восемьдесят); они, действительно, оказались — ПОСЛЕДНИМИ. Самое последнее, замыкавшее собою пятую тетрадь, было трогательным прощанием с жизнью поэта, увидевшего приближающуюся смерть:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым...

Давнишний любитель и ценитель стихов Сологуба, я все же был поражен великой простотой этих последних его стихотворений, экономией слов и образов, отказом от всякого былого «барокко». Вспомнился недавний разговор с ним в Царском Селе (он нежно любил этот городок и мечтал снова переехать туда, — «лишь только поправлюсь»): «Сперва восхищаешься роскошью Растрелли, а к старости начинаешь ценить величавую простоту Камерона»... Поэт Сологуб всегда был «прост», но теперь трудная эта простота дошла до пределов классичности — и величайшим трудом было отобрать восемьдесят стихотворений из нескольких сот: каждое хотелось взять в сборник.

К середине октября работа была завершена, стихотворения отобраны и отбор этот санкционирован Ф. Сологубом; после этого жена моя переписала весь этот сборник на пишущей машинке в трех экземплярах, один из которых я и отнес к Ангерту. Дальнейшая судьба трех экземпляров: один, конечно, погиб в Государственном издательстве; два других после смерти Ф. Сологуба были поделены между О.Н. Черносвитовой и мною. Мой экземпляр погиб с моим архивом; о судьбе экземпляра О.Н. Черносвитовой — когда-нибудь узнаем[39].

Сперва казалось, что Государственное издательство хочет пойти навстречу желанию друзей поэта — издать еще при его жизни последний

сборник его стихотворений. Был даже намечен художник для обложки — общий наш друг и приятель Петров-Водкин. Но потом — дело застопорилось: сборник был признан «неактуальным», а отдельные его стихотворения — «контрреволюционными». Особенно напирал Ангерт на одно стихотворение, которое, считаю я, когда-нибудь войдет во все хрестоматии и которое здесь оглашаю я впервые:

Спорит Башня с черной Пашней:
— Пашня, хлеба мне подай!
Спорит Пашня с гордой Башней:
— Приходи и забирай!

Башня поиск высылает,
Панцирь звякает о бронь,
Острие копья сверкает,
Шею гнет дугою конь.

Пашня Башне покорилась,
Треть зерна ей отдала,
А другой — обсеменилась,
Третьей — год весь прожила.

Шли века. Упала Башня,
И рассыпалась стена.
Шли века. Ликует Пашня,
Собирая семена[40].

— Как же вы не хотите понять, что Башня — это коммунизм, а Пашня — это крестьяне-единоличники! — возмущался Ангерт, услышав мое мнение об этом стихотворении как о «классическом».

Так и не удалось издать книги при жизни Ф. Сологуба. Но не удалось это и после его смерти: сборник замечательных стихотворений большого поэта вот уже 15 лет лежит «готовый к печати» — и никому не нужный; нужны и печатаются «актуальные» вирши пролетарских поэтов. Более того: вот уже 15 лет находится в Пушкинском Доме архив Сологуба — а в архиве этом, как я уже сказал, сотни неопубликованных стихотворений, незаурядные рассказы, планы романов и повестей, не говоря уже о черновиках «Мелкого беса» и других романов Сологуба. И что же? Ни одна живая душа не заинтересовалась за все эти 15 лет ознакомлением с этим исключительным архивом.

И дело тут, конечно, не в Сологубе и его «актуальности» или «неактуальности», а в органическом понижении русской культуры. Когда князь

Д.И. Шаховской открыл новые, неизвестные «Философические письма» Чаадаева (ведь это же исключительная сенсация! В былое время вся печать России трубила бы об этой находке!), то и это прошло в большевистской печати совершенно незамеченным[41]. А то — сотни неизданных стихов Сологуба, подумаешь!

Это органическое понижение культуры и было для Сологуба (не для него одного, конечно) внутренней трагедией.

Жизнь раздвоилась, и чем дальше шло время, тем менее было надежды, что когда-нибудь удастся соединить эти раздвоенные половины. К тому же и в личной жизни случилась трагедия: жена поэта, Анастасия Николаевна Чеботаревская, покончила самоубийством. Скончался Блок; был расстрелян Гумилев, — и А.Н. Чеботаревская решила, что «судьба жертв искупительных просит», намечая к гибели трех больших русских поэтов: третьим будет Сологуб. Но его можно еще спасти, если кто-нибудь пожертвует собой за него: вот она и бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста, рядом с тем домом на Ждановке, где ждал ее к вечернему чаю Сологуб[42].

После этого жизнь его пошла раздвоенно. С одной стороны, Сологуб — бессменный председатель Союза писателей, лояльный гражданин СССР, вполне подчинившийся государственной власти, — одно лицо, одна жизнь. Другая жизнь, другое лицо — ненависть к «туполобым», ожидание чуда, страстное ожидание свержения ненавистной власти.

За чайным столом любил он поговорить о «пролетарской литературе» (он много читал) — и беспощадно приговаривал ее «к небытию». Писал ядовитые эпиграммы на деятелей этой литературы. Мечтал об отъезде за границу — но знал, что его туда не выпустят. Мечтал о том, что ему еще удастся напечатать новые рассказы, новые стихи, но в трезвые минуты сам понимал, что мечты эти — несбыточные и что печататься ему не дадут. Чтобы зарабатывать на жизнь (нельзя же было жить на восьмидесятирублевую пенсию, да и то пожалованную всего за три года до смерти), пришлось обратиться к переводам французских романов и к редактированию других переводов. Конечно, хорошие переводы — дело полезное и почтенное; но заставить Сологуба заниматься ими значило то же самое, как будто Менделеева засадили в гимназию преподавателем химии и физики. Хороший учитель гимназии — дело тоже почтенное, но экономно ли Менделеева делать педагогом, а Сологуба — переводчиком? Но советская власть об экономии не заботилась, ибо органическое понижение культу-

ры входило в ее планы: поднять «пролетариат» до высшего уровня «интеллигенции» — дело долгое и трудное, проще и скорее — понизить этот уровень. В достижении этой цели большевики добились за четверть века больших успехов.

Так и умер Федор Сологуб. За последние месяцы жизни он знал, что умирает и что ему уже не дождаться освобождения. Последнее его стихотворение (первую строфу которого я привел выше) говорит о том, что умирающий поэт примирился с тяжелой своей судьбой:

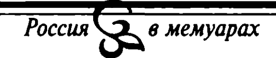
Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.

Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.

Но как прежде — ярки зори,
И как прежде — ясен свет,
«Плещет море на просторе»,
Лишь тебя на свете нет.

Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
И — уйди, как легкий дым...[43]

Это — последнее его стихотворение, такое простое и такое обреченное. Прошло полтора десятилетия после его смерти — и Сологуб, как писатель, совершенно забыт в СССР, точно его и не было («Вот — и памяти уж нет!»); он заслонен десятками калифов на час, память о которых погибнет без шума как раз тогда, когда вновь воскреснет имя Федора Сологуба и начнет разрабатываться замечательнейший его архив, ныне мертвым грузом лежащий в Пушкинском Доме.



I. ПОГИБШИЕ

Велик синодик писателей, тем или иным путем погибших за эти тяжелые годы, — настолько велик, что дать полный перечень их в коротком очерке вряд ли возможно. Расскажу лишь о сравнительно немногих, ибо знаю далеко не о всех; так, например, судьбы провинциальных и областных писателей, подвергшихся «ежовскому» погрому в 1937 году, мне почти неизвестны. Но и без них синодик этот достаточно велик.

Можно сказать, что синодик этот открывает собой Александр Блок (умер 7 августа 1921 года), задушенный той волной духовной контрреволюции, которую обрушили на наши головы большевики. Через полтора месяца после его смерти был расстрелян Н. Гумилев[44] — нельзя ведь было уступить пальму первенства Великой французской революции, которая гильотинировала же поэта Андре Шенье! Гумилев был первой, но не последней жертвой; афишированных расстрелов писателей больше не было, но сколь многие погибли потом «под шумок», не то расстрелянные, не то получившие «десять лет строгой изоляции без права переписки», по официальной терминологии. Вот, например, столь много шумевший Борис Пильняк, — что с ним? В камерах Бутырской тюрьмы в Москве в 1937—1938 годах говорили о его расстреле «за шпионаж»[45], а тюрьма, вообще говоря, хорошо осведомлена о судьбах своих сидельцев.

По тем же моим «тюремным сведениям», несомненно были расстреляны в это же время такие «киты» советской литературы, как пресловутые Авербах и Михаил Кольцов[46]. Первый из них, зять чекистского диктатора Ягоды, возглавлял собою знаменитую ВАПП (Всесоюзную ассоциацию пролетарских писателей) и чувствовал себя хозяином русской литературы. Смешно было читать, как в редактируемых им литературных газетах и журналах («На посту») торжественно сообщалось: «Генеральный секретарь ВАППа, тов. Авербах, вернувшийся из поездки за границу, вступил сего 5-го марта в исполнение своих обязанностей...» Смешно, но смех выходил действительно горький, так как этот полновластный секретарь, автор бездарных, полуграмотных критических статей, травил направо

и налево кого хотел, раздавал литературные чины и ордена, требовал безусловного уничтожения всех «попутчиков», как врагов большевизма. Загадочное до сих пор самоубийство Маяковского (вот и еще один из погибших) в значительной мере объясняется этой травлей.

К слову — о Маяковском. Перед тем как застрелиться, он написал большое письмо и надписал кому-то адрес на конверте; кому — родные в отчаянии и суете недосмотрели. Это досмотрел немедленно явившийся на место происшествия всесильный тогда помощник Ягоды, специально приставленный «к литературным делам» Агранов, — и письмо исчезло в его кармане, а значит, и в архивах ГПУ[47]. Об этом Агранове, его «дружбе» с писателями, его характерных беседах с Андреем Белым и Замятиным надо бы при случае тоже рассказать подробно. После падения и расстрела Ягоды Агранов тоже «пал» и был расстрелян; жена его, пребывавшая в 1937—1938 годах в женской камере Бутырской тюрьмы, покушалась на самоубийство (вскрыла себе вену в бане) и ходила потом с парализованной рукой. Сослана или расстреляна?[48]

Гибель Есенина в 1925 году тесно связана не только с его болезнью (смотри его предсмертную поэму «Черный человек»); ведь и самая болезнь была следствием невозможности писать и дышать в гнетущей атмосфере советского рая. Знаю об этом из разговора с Есениным за год до его смерти, когда он приехал ко мне летом 1924 года в Царское Село[49], — о нем тоже надо будет рассказать подробно. Десятилетием позднее покончила с собой неосторожно вернувшаяся в советский рай Марина Цветаева, [бывшая] наряду с Борисом Пастернаком — самым талантливым поэтом современности...

Возвращаюсь, однако, к всесильному в начале тридцатых годов «генеральному секретарю ВАПП» Авербаху. Закат его начался в 1932 году, когда апрельским декретом, под шумок подготовленным Максимом Горьким (переехавшим из Сорренто в Москву и мечтавшим самому стать во главе русской литературы), уничтожена была ВАПП[50], а сам ее генеральный секретарь сослан на уральские заводы — руководителем одной из провинциальных литературных ячеек: не из грязи да в князи, а наоборот... Это было настоящее литературное землетрясение: все былые друзья и лакеи всесильного литературного временщика поспешили от него «отмежеваться», раскаяться, принести повинную... Еще через три-четыре года, после расстрела Ягоды, такая же участь постигла и Авербаха. Жена его, дочь известного В.Д. Бонч-Бруевича, тоже писательница, в силу больших

партийных связей отца получила «только» бессрочное заключение в одном из женских специальных концлагерей.

Чтобы покончить с этими подонками литературы, надо упомянуть здесь и о пресловутом «очеркисте» Михаиле Кольцове, игравшем не менее крупную роль, чем Авербах. В самом начале периода «ежовщины» родной брат Михаила Кольцова, присяжный карикатурист «Известий» Борис Ефимов, нарисовал появившуюся в этой газете карикатуру «Ежовые рукавицы»: рукавица, утыканная шипами и гвоздями, сжимает мертвой хваткой в ужасе вопящего «контрреволюционера»... Мог ли художник предполагать, что одними из ближайших жертв этой рукавицы явятся не только он, но и только что со славой вернувшийся из Испании его могущественный брат, член редакции «Правды», Михаил Кольцов[51]! В один прекрасный день явились в эту газету два адъютанта Ежова, вызвали М. Кольцова из редакционного заседания и увезли его с собой — в недра Лубянки, откуда он больше не возвращался. К Борису Ефимову судьба была благоприятнее: в 1940 году он вынырнул на страницы газет со своими карикатурами.

Хоть и не на тему — о писателях, — но к слову о художниках: известна тяжкая судьба талантливого Шухаева, приехавшего в середине тридцатых годов с женою из Парижа в советский парадиз. В «ежовские» времена и его и жену, столь не вовремя «репатриировавшихся», сослали в разные лагеря Сибири — конечно, по штампованному обвинению «в шпионаже»: жена и он переписывались с парижскими друзьями...

Но вот и крупный представитель подлинной литературы: князь Святополк-Мирский. Как известно, он занимал видное место в «европейской» русской литературе, был критик и историк, особенно признанный в Англии. Он прельстился увещаниями Максима Горького (много зла натворил этот человек!), его рассказами о расцвете писательской деятельности в России после падения ВАППа, «репатриировался», вернулся на родину и скромно встал там просто «Мирским» в печальные ряды советских критиков и историков литературы, вынужденных поголовно стать марксистами. Не один раз приходилось печатно каяться бедному писателю в якобы совершенных им ошибках и проступках против «марксистской идеологии» в своих статьях; но все же при жизни его высокого покровителя, Максима Горького, его еще терпели и не трогали. Но вот умер Максим Горький, родился пресловутый Ежов — и Святополк-Мирский был немедленно арестован: конечно, и он тоже по обвинению в «шпионаже», ибо и он тоже имел неосторожность переписываться со своими оставшимися

в Европе родными и друзьями. Его сослали на Дальний Восток, в гиблое место — бухту Ногаево, где он и умер в 1939 или 1940 году (не помню). Умер — от голода, как сообщал из этого гиблого места находившийся там в ссылке (если тоже уже не умер) другой писатель, известный Юлий Оксман, еще одна из жертв нелепого террора[52].

Я ручаюсь за достоверность всего здесь рассказываемого, но не всегда могу поручиться за точность сведений о конечной судьбе писателей, вошедших в этот небывалый в мире писательский синодик: расстрел или «десять лет строгой изоляции без права переписки» — как узнать сквозь туман глубочайшей тайны, каким ГПУ окутывает все такие дела? Вот, например, гремевший во всех театрах советской России драмодел Киршон, «советский Шекспир и Мольер» (в эпитетах лакейская критика не стеснялась), друг и приятель Ягоды, заполнявший плохими комедиями театральные подмостки всех городов, зарабатывавший до миллиона рублей в год, имевший дачи на Черноморском побережье — и прямо из собственной дачи попавший в 1937 году в отдельную камеру Лубянской тюрьмы: как знать — расстрелян ли он (о чем в тюрьме уверенно сообщали) или запрятали «на 10 лет» в каменный мешок изолятора?[53] Так или иначе, но вот и еще один писатель (каков бы он ни был), вычеркнутый из числа живых.

А если от этих низин перейти к литературным вершинам — то вот горькая судьба замечательного мыслителя, ученого, писателя о. Павла Флоренского, еще 30 лет тому назад прошумевшего книгой «Столп и утверждение истины». Мужественно отказавшийся снять с себя священнический сан, претерпевший в ряде лет гонения и ссылки — он в начале тридцатых годов неожиданно был возвращен в Москву и поставлен во главе одного ученого учреждения (названия не помню), разрабатывавшего вопросы теории и практики электричества[54]: о. Флоренский — не только писатель и философ, но и острый математик, автор ряда интереснейших книг по метагеометрии и высшему анализу. Опять-таки в «ежовские времена» он был изъят из числа живых: расстрелян? заточен?[55] Семья его, с которой я встретился в 1940 году в Троицко-Сергиевске (ныне город Загорск), считала, что о. Павел погиб, но тоже не знала о путях его гибели.

А вот два-три воспоминания из тюремных встреч. В камере № 45 Бутырской тюрьмы я встретился мимолетно с довольно известным марксистским «литературоведом» А. Лежневым — в самое густо населенное время тюрьмы, осенью 1937 года, когда нас на 24 койки было 140 человек. Дня три мы с ним пролежали рядом, плечо к плечу, на нарах (чтобы по-

вернуться на другой бок, надо было встать, сделать оборот стоя и потом уже снова втиснуться между двумя лежащими соседями). Он был совершенно растерян от недоумения, как могли арестовать его, верноподданного марксиста, автора нескольких лояльнейших критических книг!.. Через три дня его перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянку, и дальнейшая его судьба мне неизвестна, но, во всяком случае, на литературном горизонте он до 1942 года больше не появлялся и находится, несомненно, где-либо в изоляторе или концлагере, хорошо еще, если в ссылке. Обвинялся он по пресловутой статье 58 пункту 10— «контрреволюционная деятельность»[56].

Кстати сказать, этого А. Лежнева не надо путать с известным переметчиком И. Лежневым, который за границей ходил в «сменовеховцах», потом вернулся в Москву, полевел до коммунизма, втерся в доверие власть имущих и был допущен в редакционные святилища самой «Правды»[57]: фигура очень темная. Но не поручусь и за его нынешнюю судьбу: рука ГПУ длинна, а террор во время войны достиг «сверхъежовских» размеров.

Годом позднее и в другой общей камере Бутырок, уже менее густо населенной, я провел несколько месяцев рядом с известным венгерским поэтом и романистом, печатавшим свои объемистые романы в московских журналах, выпускавшим их многотиражными изданиями и вообще весьма благоденствовавшим вплоть до дня ареста. Это был Анатолий Гидаш, венгерский коммунист, женатый на дочери слишком известного Бела Куна, что сперва было причиной всяческого процветания Гидаша, а потом и причиной его гибели, когда в 1937 году Бела Кун попал в тюрьму (в Лефортово, в самую страшную по приемам допросов московскую тюрьму, где самые стойкие люди — за редкими исключениями — через неделю-другую «признавались» во всем и в чем угодно). Анатолий Гидаш был обвинен в принадлежности к троцкистской подпольной группировке и, после ряда убедительных допросов на Лубянке, не выдержал и во всем «признался». Судьба его была предрешена: многолетний изолятор или концлагерь; вряд ли — расстрел[58].

Признаюсь, не без некоторого удовлетворения узнал я от Гидаша, что его тесть, Бела Кун, палач, в свое время заливший кровью весь Крым, — сидит тут же, в соседней камере Бутырской тюрьмы, больной, разбитый допросами, в ожидании решения своей участи...

И еще одна тюремная встреча с писателем, хоть и не личная, а через следователя. Ферапонт Иванович Седенко (псевдоним — «П. Витязев»)

был неутомимым исследователем литературного наследства П.Л. Лаврова, издавал его сочинения, открывал неизвестные из них, составил картотеку в 20 000 карточек, посвященную жизни и творчеству П.Л. Лаврова. В 1919—1926 годах Витязев-Седенко стоял во главе книгоиздательства «Колос», в котором издавались и мои книги; по этим издательским делам мне приходилось встречаться с ним часто[59]. В 1930 году Витязев-Седенко был сослан, картотека его — работа всей жизни — разгромлена, богатый архив по Лаврову погиб. В 1937 году он, уже вернувшийся из ссылки, был снова арестован, заключен на Лубянке, где и подвергался допросам — очевидно, с применением сильно действующих методов. Сужу об этом по тем подписанным им протоколам его допросов, которые предъявил мне следователь в качестве обвинительного материала против меня. Прочитав их, я пришел в ужас — не за себя, а за несчастного Витязева-Седенко. Протоколы — обширнейшие! — начинались примерно так: «Теперь, когда я убедился, что следственным органам НКВД все известно, считаю дальнейшее запирательство бесцельным и готов дать чистосердечные показания...» И дальше на многих листах шло признание во всех семи смертных антибольшевистских грехах, с перечислением десятка фамилий сообщников, признание в подпольной работе, в организации террористической группировки... и мало ли еще в чем, столь же фантастическом. Что это была сплошная фантастика — я вполне уверен, ибо упоминаемое в десятках мест мое имя связано было с никогда не бывшими делами. Я с изумлением прочел, что мною была налажена связь группы Витязева-Седенко с заграницей, что я доставал для него, Седенко, выходившие в Европе антисоветские книги, что он с имярек таким-то и таким-то бывал у меня в Царском Селе, где мы вели контрреволюционные разговоры... (Все эти показания были даны в начале июня 1937 года, а я был арестован в конце сентября: долго же собирались арестовать меня после таких обвинений бдительные следственные органы!) Я заявил следователю, что все, касающееся в этих показаниях меня, — дикий бред (что следователь и без того прекрасно знал), но дело тут не во мне, а в Витязеве-Седенко. Это был энергичный, мужественный человек, член эсеровской боевой организации еще в 1905 году, повидавший на своем веку еще в царское время всякие виды — и тюрьмы, и ссылки, и побеги, и новые аресты. Как же должны были замучить на допросах этого стойкого человека, чтобы заставить его дать такие самоубийственные «признания»! Полагаю, что после них участь его была решена и что Витязева-Седенко можно

причислить к тому сонму погибших писателей, далеко не полный синодик которых дается в этих строках.

В заключение — рассказ о судьбе трех «народных поэтов», имена которых обычно принято ставить рядом: Николай Клюев, Сергей Есенин и Петр Орешин. Судьба Есенина известна, о ней можно еще многое порассказать при случае. Петр Орешин пробовал попасть в стан приспособившихся, что удавалось ему с трудом; в двадцатых годах он кое-как еще держался, приспосабливался; в середине тридцатых годов — стал жертвой очередной волны террора, попал в тюрьму, а из нее — куда-то в ссылку, в концлагерь или изолятор, дальнейшие следы его теряются[60]. Николай Клюев, один из замечательнейших поэтов недавних лет, попал в Нарымский край, в ссылку, еще в 1933 году — и погиб в ней; умер в августе 1937 года. Но судьба его и его литературного наследства настолько горька, что я еще остановлюсь на ней впоследствии подробнее. А пока, для конца — о судьбе еще одного народного поэта, малоизвестного, но подававшего надежды, — Алексея Ганина.

Алексей Ганин вступил на литературный путь в самый год революции — в сборнике «Скифы» (1917) было напечатано яркое его стихотворение «Облачные кони»[61]. Потом, в самые острые годы типографской разрухи, в 1918—1919 годах, он, живя в Вологде, напечатал «китайским способом» (собственноручно вырезая на досках!) в нескольких десятках экземпляров целый сборник своих стихотворений[62], показавших в нем силу растущего мастера. Свободолюбивый и с открытой душою человек, он не умел скрывать своих антибольшевистских настроений. Был расстрелян большевиками в Вологде в 1920 году[63]. Таким образом, не Блок и не Гумилев открывают собою синодик писателей, а Алексей Ганин, погибший еще годом раньше их.

Довольно! Я не перечислил, вероятно, и десятой доли имен погибших за четверть века в советском раю советских писателей, но и этого более чем достаточно. Большевики могут гордиться: они далеко обогнали Великую французскую революцию. Там — один крупный поэт, Андре Шенье; здесь — десятки расстрелянных, погибших и поныне погибающих в ссылках, концлагерях, изоляторах. А сколько погибших иными путями — сколько задушенных цензурой или — что еще хуже — сколько приспособившихся!

II. ЗАДУШЕННЫЕ

Духовно задушенными цензурой были все без исключения советские писатели, физически погибшими была лишь часть их: первые — «род», вторые — «вид», говоря языком естествознания. Эта часть исчисляется многими десятками людей; но уже не десятками, а сотнями надо числить писателей, изнывавших под игом цензуры — и либо замолкавших волей-неволей на долгие годы, либо приспособлявшихся к «веяниям времени». «С волками жить — по-волчьи выть», — говорил мне один из видных советских романистов; за чайным столом он высказывал одни мнения, печатно — диаметрально противоположные. Об этих приспособившихся — речь впереди, сперва же о тех немногих, которые не хотели и не могли идти в коровьем стаде приспособляющихся. Этот список будет очень невелик.

Русская литература издавна знала писателей этих трех типов. Погиб на виселице Рылеев, задушен был Чаадаев (высочайше объявлен сумасшедшим и тем самым отрезан от литературы), приспособился в конце концов Полевой — если брать примеры людей одного поколения. Но не всегда можно определить — по крайней мере нам, современникам, — к какой из этих трех групп относится тот или другой писатель. Вот и пример: на фоне убогой советской философии, на фоне жалких споров «диалектиков» с «механистами»[64] (читая их, вспоминал свои гимназические годы) в течение целого десятилетия выделялся интересный и острый мыслитель, неогегельянец А.Ф. Лосев. Ему удавалось печатать свои объемистые труды лишь потому, что он догадался делать это в глухой провинции, вроде Тулы, где цензура была совсем провинциально-наивной. Таким путем Лосеву удалось напечатать с десяток томов на темы философии культуры, пока предержащие власти не спохватились и не прекратили такое безобразие[65]: провинциальные пути были Лосеву отрезаны, о столичных и говорить нечего. Так был задушен единственный из представителей подлинной философии, ухитрявшийся в течение ряда лет подавать свой голос; но вот вопрос — только ли печатно задушен или потом физически погиб? По крайней мере, 1938 год застал Лосева в одной из московских тюрем; дальнейшая его судьба мне неизвестна[66].

Чтобы закончить речь о представителях подлинной философии, упомяну еще о двух «религиозных философах»: профессоре С. Аскольдове (Алексееве) и А.А. Мейере. Первого сперва задушили невозможностью и преподавать и печататься, а потом погубили и ссылкой: до последних военных дней середины 1941 года он жил в Новгороде (еще очень милостивое место ссылки)[67], — А.А. Мейер испытал, кроме литературного задушения, нечто горшее: десятилетие ссылок, начиная с изолятора Соловецкого монастыря[68]. Скончался все же в Петербурге — в 1939 году, в больнице (от рака).

Но обращусь к «чистой литературе» — беллетристике и поэзии, и к писателям, избежавшим личной гибели, но задушенным литературно — невозможностью печататься. Эта невозможность проявлялась у разных поразному — в большей или меньшей степени: некоторым удавалось до поры до времени пробиваться сквозь цензурные теснины, а некоторых останавливали у самого входа в эти круги Дантова ада. Примером этого может служить судьба Е.И. Замятина, о которой не буду рассказывать подробно, полагая, что «европейскому» русскому читателю судьба эта достаточно известна: последние годы своей жизни Е.И. Замятин провел в Европе, благополучно выехав из советского парадиза. Но все же напомню: когда роман Евг. Замятина «Мы» не был пропущен советской цензурой, а вскоре появился в Европе и Америке в переводах[69], против Замятина началась травля, предпринятая «Литературной газетой», к которой благородно присоединился и Союз писателей (прямой задачей которого было бы наоборот — защита своего сочлена). Замятин ответил выходом из Союза писателей[70], после чего все его литературные приятели, друзья и знакомые попрятались от страха в кусты, — прекратили знакомство с таким опасным человеком. Цензура же сделала свои выводы: не мытьем, так катаньем прекратить литературную деятельность такого вредного писателя. Пьеса «Блоха», шедшая с большим успехом и в Петербурге, и в Москве, была снята с репертуара; пьеса «Атилла», уже дошедшая до генеральной репетиции на сцене Большого драматического театра в Петербурге, была запрещена к представлению[71]. Рассказы и повести не допускались к печати — по мотивам, иной раз более чем анекдотическим. Помню рассказ Е.И. Замятина о том, как цензура запретила ему одну из его повестей за первую же вступительную фразу: «На углу Блинной улицы и улицы Розы Люксембург»...[72] Цензор счел такое сопоставление названий улиц издевательством и потребовал исключения фразы; а так как она была

по духу не одинока в ткани повести, то последняя и не увидела света. Не буду увеличивать числа примеров; подробно обо всем этом могла бы рассказать Л.Н. Замятина, разделявшая и «советскую» и «европейскую» судьбы своего мужа. Скажу только, что благодаря содействию Максима Горького Замятину с женой удалось в 1930 году уехать «на год» в Европу[73]; характерное письмо Е.И. Замятина к Сталину с просьбой об этом отпуске ходило по рукам в писательских кругах Петербурга[74]. Так или иначе, но факт налицо: задушили и вынудили бежать из советского рая. Хорошо еще, что позволили уехать, а не засадили в изолятор! Доживи Е.И. Замятин на родине до «ежовских» времен, до 1937 года, вряд ли избежал бы он за старые свои грехи тюрьмы, изолятора или ссылки. К счастью для него, он не погиб, а был «только» литературно задушен...

Узнав о судьбе Евг. Замятина, о том, что его выпускают за границу, другой затравленный цензурой писатель, М. Булгаков, обратился с такой же просьбой к лицам, «на заставах команду имеющим» (по выражению Салтыкова-Щедрина)[75]. Полагаю, что и «европейскому» русскому читателю известен этот молодой и талантливый писатель (по профессии — врач, Замятин был судостроитель), известен его роман «Белая армия»[76], его пьеса «Дни Турбиных», его ядовитые рассказы «Роковые яйца» и «Дьяволиада». Спохватившись слишком поздно, цензура решила впредь не пропускать ни единой печатной строки этого «неуместного сатирика» (так выразился о М. Булгакове некий тип, на цензурной заставе команду имеющий). С тех пор рассказы и повести его — запрещались (читал я в рукописи очень остроумную его повесть «Шарик»[77]), пьесы либо не допускались на сцену, либо снимались с репертуара («Багряный остров», «Мольер» и др.)[78]. Вообще — литературно задушили. Не выдержав такой тяжкой судьбы и имея в виду пример Замятина, выпущенного «на год» за границу, М. Булгаков обратился с такой же просьбой к вершителю судеб человеческих, мудрому Сталину. Этот положил резолюцию: за границу не пускать, цензурных шлюзов не открывать, а предложить московскому Художественному театру принять М. Булгакова в качестве литературного консультанта[79]. Так и свершилось: вместо того чтобы писать свое, М. Булгаков вынужден был заняться для театра обработкой «Мертвых душ» (последняя постановка Станиславского)[80], литературно-театральной консультацией и прочими, подобными же делами — до самой своей смерти в 1939 году. Еще один из задушенных литературно, но избежавших физической гибели в сетях ГПУ. И на том спасибо!

Мне уже приходилось рассказывать о трагической литературной судьбе Федора Сологуба, вынужденного умолкнуть и продолжавшего писать «не в журналы, а в свой письменный стол» (по его выражению). Но у Федора Сологуба хоть «прошлое» было — собрание сочинений в двадцати томах (в издательстве «Сирин»); но каково было молодым, начинающим писателям, желавшим творить, но не желавшим приспособляться. Характерным примером является «пролетарский поэт» В. Казин, автор тоненькой книжки стихов «Рабочий май»[81]; эта тоненькая книжка была поистине «томов многих тяжелей», — чувствовалось из нескольких десятков стихотворений, что перед нами подлинный лирический, милостью Божией, поэт. Но этот подлинный поэт был в то же время, к сожалению, и членом коммунистической партии, весьма строго контролирующей направление мыслей своих адептов. Писать на заказанные темы Казин не мог, не умел или не хотел — и предпочел замолчать. В течение двух десятилетий он написал (или, по крайней мере, напечатал), кроме многообещающего «Рабочего мая», только поэму «Любовь и лисья шуба»[82], не считая немногих отдельных стихотворений в журналах. А между тем он был несомненно глубже и тоньше дарованием многословного П. Васильева, тоже вынужденного замолчать, но по другой, не менее уважительной причине: был посажен в суздальский изолятор[83].

Надо сказать, что добровольно замолчавших — тоже немало, но называть их имена не всегда удобно, до поры до времени.

Но вот имя, которое можно назвать: Анна Ахматова. В течение двадцати лет она — печатно — молчала; поэзия ее была «неактуальна»... Правда, в конце двадцатых или начале тридцатых годов «Издательство писателей в Ленинграде» получило цензурное разрешение издать в двух томах собрание стихов Анны Ахматовой... под редакцией, с комментариями и со вступительной статьей Демьяна Бедного... От этой чести Анна Ахматова категорически отказалась, предпочитая оставаться неизданной[84].

Кстати сказать, в середине тридцатых годов сам всесильный до того времени Демьян Бедный оказался — ко всеобщей радости даже коммунистов — тоже «задушенным» и несколько лет нигде не мог печататься[85]. Причиной этого была не цензура, а особое приказание оскорбленного Сталина, в руки которого, при помощи ГПУ, попали дневники секретаря Демьяна Бедного, некоего М. Презента. История эта весьма шумела («кому горе, кому смех!») в России, вероятно, дошла и до русских в Европе, а потому я и не рассказываю здесь подробно о литературно заду-

шенном Демьяне Бедном; впрочем, он получил прощение и воскрес к началу войны 1941 года.

Возвращаюсь к Анне Ахматовой: вдруг случилось невероятное, было свыше разрешено издать том избранных ее стихотворений, который и вышел в 1940 году под заглавием «Шестикнижие»[86] и, надо думать, дошел и до «русских в Европе», почему я о нем и не распространяюсь. Не знаю, известно ли зато окончание всей этой эпопеи? Прошло всего полгода после выхода в свет этой книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и из библиотек... Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей. К слову сказать, за эти долгие годы молчания ей удалось сделать ценный вклад в пушкиноведение, указав на истоки «Золотого Петушка» в произведениях Вашингтона Ирвинга (статья об этом Анны Ахматовой была напечатана, если не ошибаюсь, в журнале «Звезда»)[87].

В заключение — позволю и себя включить в этот краткий список литературно задушенных писателей. Когда в 1923 году вышла в издательстве «Колос» моя книга «Вершины», цензура предложила издательству впредь не предъявлять для цензурования книг этого автора, ибо они вообще, независимо от их содержания, пропускаться не будут. Поэтому не могли выйти в свет, а потом и погибли мои книги — «Россия и Европа» и «Оправдание человека»; пришлось укрыться за псевдоним, чтобы напечатать в 1925 году в издательстве «Мысль» сборник «Современная литература», вышедший под моей редакцией, но без моего имени[88]. А под своей статьей «Взгляд и нечто» я поставил в этом сборнике подпись: «Ипполит Удушьев». Действительно — удушили.

Заканчивая этот список литературно задушенных, повторяю: он намеренно краток, ибо о многих, оставшихся по ту сторону рубежа, говорить по разным причинам еще неудобно.

III. ПРИСПОСОБИВШИЕСЯ

О погибших в советских тюрьмах и ссылках писателях рассказывать хоть и горько, но легко: им уж ничем не повредишь. О писателях, задушенных советской цензурой, говорить гораздо труднее: говори с оглядкой, чтобы не повредить людям, доселе живущим в советском раю. И уже совсем трудно говорить о легионе приспособившихся: во-первых, их так много, что не знаешь, о ком и сказать; а во-вторых, никак нельзя передать частные разговоры с ними, в которых эти бедняги, иной раз с почтенными литературными именами, говорят искренне (но — наедине!) о своем подлинном отношении к власти предержащей. Оправдывают они себя лишь бескрылыми поговорками: против рожна не попрешь, плетью обуха не перешибешь, с волками жить — по-волчьи выть; официально говорят они одно, в частной беседе (но наедине!) — диаметрально противоположное. Нельзя же теперь оглашать эти имена и эти разговоры, когда НКВД особенно свирепствует в поисках «инакомыслящих».

Помню ужин в 1940 году в дружеском кругу пяти-шести виднейших советских писателей, среди которых были три «орденоносца», с европейскими именами[89]. Вино развязало языки — и даже не наедине, а в тесной компании люди стали откровенными, — и чего только не наговорили они о себе, о властях предержащих, о горькой необходимости либо приспособляться, либо молчать. В тюремном быту я привык к откровенности, — людям там все равно нечего терять, и они выражаются иной раз весьма круто и солоно о лицах, на коммунистических заставах команду имеющих; но орденоносцы-писатели за этим товарищеским ужином побили все рекорды в выражении своей ненависти к советскому строю. А через несколько дней я читал в «Литературной газете» восторженный панегирик мудрому правительству за постоянные заботы о писателях, — и автором панегирика был как раз тот из орденоносцев, который за товарищеским ужином красочнее других клеймил мудрое правительство.

Таких примеров — десятки и сотни, но примеры все «безыменные»: нельзя же огласить имя этого орденоносца, и поныне пребывающего под

властной рукой мудрого правительства. Но есть имена, которые можно огласить без всякой опасности для «оглашенных», — и во главе этих имен стоит, конечно, имя «пролетарского графа» Алексея Толстого. Талантливый писатель (Федор Сологуб грубо, но метко говорил про него, что он «брюхом талантлив»), весьма беспомощный в области «идеологии» и вполне равнодушный ко всякого рода моральным принципам, он проделал классический путь приспособленчества: от эмиграции к «сменовеховству», от «сменовеховства» (после возвращения в Россию) — к писанию халтурных пиес, вроде «Заговора императрицы», от этой театральной халтуры — к халтуре публицистической, детски беспомощной, на столбцах «Известий». Зарабатывая ежегодно больше сотни тысяч (переиздания сочинений! пьесы! кинофильмы!), он сам откровенно признавал, что делать это он может лишь благодаря беззастенчивой халтуре: рядом с «Петром Великим» или «Хождением по мукам» приходится писать для прославления начальства такие ужасные романы, как «Хлеб» или «Черное золото»[90]. Ничего не поделаешь — приходится приспособляться, чтобы заслужить и благоволение начальства, и сотни тысяч, и титул «пролетарского графа»... Это приспособление «графа» к «пролетариату» происходило на глазах у всех нас в Царском Селе со второй половины двадцатых годов — и можно было бы рассказать не один красочный анекдот об эпизодах характерного процесса этого приспособленчества.

Другой пример, значительно менее яркий, — история приспособленчества гремевшего некогда (очень давно! — в 1906—1910 гг.) Сергея Городецкого, ныне совершенно — и по заслугам — забытого. Он, вероятно, очень хотел бы повторить путь «пролетарского графа», но — переборщил: вступил членом в коммунистическую партию (чего у Алексея Толстого хватило ума не сделать), стал сотрудничать в безграмотном журнале «Безбожник» и печатать в нем во всех смыслах «безбожные» вирши[91]. Не процвел, но приспособился вполне. Последним литературным подвигом его было перелицовывание текста оперы «Жизнь за царя» в текст оперы «Иван Сусанин»[92]. Эта юмористическая история очень шумела в последние годы в Петербурге и в Москве — и не прославила имени Сергея Городецкого, когда-то так славно начавшего свой литературный путь (сборники стихов «Ярь» и «Перун»), для того чтобы так бесславно закончить его к началу сороковых годов.

Лет десять тому назад очень насмешил «читающую публику» яркий эпизод приспособленчества: в апреле 1932 года писатель Алексей Чапы-

гин и поэтесса Елизавета Полонская огласили в газетах заявление о своем вступлении в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей) как раз за неделю до того, как эта организация была уничтожена декретом правительства[93]. Некий остроумец (фамилию знаю, но не могу огласить) сложил такую эпитафию по случаю смерти этого недоброй памяти литературного застенка:

Под камнем сим лежит РАПП божий...
Чего ж ты пятишься, прохожий?

Алексей Чапыгин и Елизавета Полонская не вовремя решили приспособиться, что не мешало Алексею Чапыгину быть автором хороших романов («Разин Степан», «Гулящие люди» и др.), а Елизавете Полонской — посредственной поэтессой, счет которых ведется дюжинами. Советскую власть Чапыгин ненавидел (в беседах — наедине!), и тем не менее шел же он покорно записываться в стадо приспособившихся!

Да что там Чапыгин, что там отдельные имена, когда перед глазами у всех прошел такой массовый пример приспособленчества, как пресловутый съезд советских писателей в Москве, летом 1934 года. Десятки, сотни именитейших и безымянных писателей, начиная с Максима Горького, выступали с кафедры этого съезда — и все эти десятки и сотни, без исключения, явили собой такой махровый цвет приспособленчества, а то и лакейства перед властью, что невольно приходило на память крылатое слово Герцена о бюрократической лестнице в эпоху Николая I. Бюрократия эта, говорил Герцен, представляла собою лестницу восходящих господ, если смотреть снизу, и лестницу нисходящих лакеев, если смотреть сверху[94]. Такой писательской лестницей нисходящих лакеев явил себя и съезд советских писателей (ССП — эти же буквы означают и Союз советских писателей; по грубому выражению того же Максима Горького, они расшифровываются как «сукины сыны приспособляются»... Максим Горький был не лучше других, но с высоты лестницы весьма презрительно смотрел на «нисходящих лакеев»). Десятки и сотни именитых литераторов выступали с кафедры съезда с речами о нуждах писателей, о положении русской литературы — и все эти речи в конце концов сводились к восхвалению советской власти и мудрости Сталина[95]. Хоть бы один из этих лакеев осмелился сказать о диком произволе советской цензуры (я уже не говорю — о свободе слова: где уж требовать такого мужества от закабален-

ных людей!); хотя бы один осмелился критиковать безграмотность редакторов «толстых журналов», разных Гронских и Ставских; хоть бы один осмелился возвысить подлинно писательский, а не лакейский голос! Это была жуткая картина для любящего русскую литературу и привыкшего в старые времена уважать звание русского писателя. Было, впрочем, одно утешение: несколько — очень немного! — из видных старых писателей, присутствовавших на съезде, имели мужество... промолчать и не выступить с речами, несмотря на всяческое понуждение к этому президиума съезда. Иногда и молчание может быть мужественным — там, где все обязаны хором возглашать осанну. Когда-то Шевченко писал про николаевскую Россию, что в ней

На всих языках вси мовчат,
Бо благоденствуют...[96]

В советские времена молчание стало признаком не столько благоденствия, сколько неблагомыслия: молчит, значит, что-то про себя таит... И, промолчавши на съезде писателей, видные два-три (не более!) представителя подлинной литературы своим молчанием только подтвердили старое латинское изречение: cum tacent — clamant (когда молчат — вопиют)...[97]

Погибших в советской действительности писателей были десятки и десятки, задушенных цензурой — сотни, приспособившихся — тысячи: где уж тут говорить о них поименно! А следовало бы: например, о вершине приспособленчества, Максиме Горьком, и его действительно горькой предсмертной участи (за два-три года до смерти), надо было бы рассказать подробно вещи, неизвестные «зарубежной России». Или о погибающем ныне в концлагере талантливом поэте Заболотском — надо было бы рассказать совершенно невероятную историю, связанную с историей тоже талантливого поэта Тихонова, приспособившегося и орденоносного. Да и мало ли еще о ком следовало бы порассказать, пока не стерлись в грохоте мировой войны все эти имена и деяния! А если говорить не об одних писателях, а вообще о деятелях культуры, то здесь и конца-края не будет рассказам о погибших, о задушенных, о приспособившихся. Все ли известно в «зарубежной России» о короле провокаторов, знаменитом ученом Рамзине, европейской известности в области теплотехники — и в то же время сопернике Азефа в области провокации?[98] Или — о гибели Мейерхольда и его жены, артистки Зинаиды Райх?[99] А если ограничиться сферой моих

личных тюремных впечатлений, то вот несколько имен: я сидел в Бутырской тюрьме в 1937—1939 годах, в Москве — либо в одной камере, либо в соседней камере с такими тюремными сидельцами, как знаменитый «АНТ» (А.Н. Туполев), как бывший товарищ министра генерал Джунковский, как начальник всей военной авиации Дальнего Востока советский генерал Ингаунис (сотрудник известного Блюхера), как... да мало ли еще кто, вплоть до пресловутого наркомюста Крыленко! На моих глазах погиб в Бутырской тюрьме (от острой цинги и не менее острых допросов) второй в России, после Рамзина, специалист по теплотехнике, профессор Худяков. Все это мною записано и, надеюсь, когда-нибудь увидит свет.

Но, суживая тему и возвращаясь к писательским судьбам, надо бы рассказать пока о горькой гибели большого русского поэта Николая Клюева и о фантастических причинах заключения в концлагерь талантливого советского поэта Заболотского. И в малой капле вод отражается солнце — то бишь солнце сталинской конституции и радостной жизни счастливых советских россиян.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

«Три горькие доли имела судьба» — этот стих Некрасова[100] применим не только к русской крепостной женщине, но и к русскому советскому писателю. Погибнуть физически (расстрел, тюрьма, концлагерь), быть задушенным цензурой или — третье — приспособиться и начать плясать от марксистской печки и по коммунистической дудке — это ли не горькая доля? И все эти три доли легли на плечи одного из крупнейших поэтов XX века, «последнего поэта деревни», Николая Клюева.

Судьба его вообще была необычна. Уроженец глухих олонецких лесов (около города Вытегры), сын старого николаевского солдата[101] и духовно одаренной крестьянки (ее жизни он посвятил потом целую поэму)[102], воспитанный в глубинах старообрядческой культуры, Клюев с юных лет обнаружил глубокое дарование и «песенный дар». Молва о нем разнеслась по округе — и в возрасте пятнадцати лет он стал «Давидом хлыстовского корабля», то есть присяжным слагателем духовных песен для одной из общин («корабля») секты хлыстов. Здесь, в глубине лесов, в хлыстовском «корабле», он пробыл три года и сложил за это время ряд духовных песен, которые впоследствии составили второй сборник его стихов — «Братские песни»[103]. Снискав полное доверие хлыстов, Клюев был послан ими в Баку, где был хозяином своеобразной «конспиративной квартиры», служившей явочным местом для посетителей из секты «бегунов», державших постоянную «эстафетную связь» между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами жаркой Индии... Все это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем)[104]. Место этим рассказам — в подробной его биографии; здесь же достаточно сказать, что он пробыл в Баку несколько лет, много работая над собой, много читал, пока не почувствовал, что окреп достаточно и может уже попробовать свои силы. Он уехал в Москву, явился со своими стихами к Валерию Брюсову, при содействии которого и был издан в 1908 году первый сборник стихов Николая Клюева — «Сосен перезвон»[105], сразу пока-

завший, что у нас появился новый «поэт Божьею милостью». Через год-другой был напечатан второй сборник — «Братские песни», за ним последовал третий — «Лесные были», а вскоре после начала войны 1914 года и четвертый сборник — «Мирские думы». Уже эти четыре томика позволили Клюеву занять видное и своеобразное место среди таких корифеев русской поэзии того времени, как Блок, Белый, Брюсов, Сологуб, Бальмонт, Вяч. Иванов и немногие другие. Правда, своеобразная поэзия Клюева не сразу получила общее признание — и сам он так рассказывает об этом в одном из прекрасных, но малоизвестных стихотворений[106]:

Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын великих озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной беломорский простор.

На закате пляшут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.

Потянуло душу, как гуся,
В золотой, полуденный край:
Там Микола и светлый Исусе
Приготовят пшеничный рай.

Прихожу. — Вижу: избы — горы,
На водах стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про сосновый звон и скиты.

Мне ученые люди сказали:
«К чему такие слова!
Укоротьте поддевку до тальи
И обузьте у ней рукава!»

Я заплакал «Братскими песнями»,
Порешили: «В рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И «Лесные были» пропел.

В поученье дали мне Игоря
Северянина пудреный том...
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом...

Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар —
И «Мирские думы» болезные
Я принес отчизне, как дар;

Рассказал, как еловые куколи
Осеняли солдатскую мать.
И газетные дятлы загукали:
«Не поэт он, а буквенный тать!»

«Русь Христа променяла на Платовых,
Рай крестьянский — мужический бред...»

Мало-помалу, однако, Николай Клюев добился общего признания; больше того — он стал оказывать влияние и на другие сильные индивидуальности. В подробной биографии Блока еще будет рассказано, какое сильное влияние оказал на него Клюев (около 1910 г.)[107].

Подверглись этому влиянию и Сергей Есенин, и Петр Орешин, и Алексей Ганин — все «последние поэты деревни», все по-разному испытавшие впоследствии горькую долю советских поэтов.

Не только Февральскую, но и Октябрьскую революцию 1917 года Николай Клюев — вместе с Сергеем Есениным, Александром Блоком и немногими другими — встретил восторженно: политическая революция должна была углубиться до социальной. Но разное бывает углубление, иной раз оно выливается в упрощение и уплотнение; в области духовной и культурной жизни это и совершили большевики в первые же годы своего господства. «Последний поэт деревни»[108], Николай Клюев был объявлен «кулацким поэтом» — и сразу же оказался в числе задушенных советских писателей. Редко и с трудом удавалось ему прорывать цензурные рогатки и выпускать два-три маленьких сборника стихотворений; совсем чудом удалось получить разрешение на издание двух томиков собрания стихотворений («Песнослов»)[109]. Вскоре пришлось совсем отказаться от печатания и перейти к писанию «для себя» и для немногих друзей и знакомых. К сожалению, нельзя было уберечься от шпионства и провокации, нельзя было ручаться за «знакомых знакомых», перед которыми приходилось читать новые свои произведения. «Приходилось» — потому что это вскоре стало единственным источником жизни Николая Клюева. «Раскулаченный» в своей вытегорской деревне, он поселился в Петербур-

ге[110], читал свои произведения у друзей и знакомых, которые делали среди присутствующих сборы и вручали этот гонорар за чтение задушенному цензурой поэту. Кто слышал эти чтения, тот никогда их не забудет.

Со второй половины двадцатых годов Клюев на этих собраниях чаще всего читал свою поэму «Погорельщина»[111]; она настолько замечательна, что требует особого рассказа. Скажу только, что слухи о ней распространились очень широко — и послужили причиной гибели поэта. Впрочем, арестован он был только в 1933 году, когда уже переехал на жительство в Москву[112].

Эти годы — конец двадцатых и начало тридцатых — были годами расцвета творчества Николая Клюева. Кроме десятков стихотворений он в эти годы писал обширную поэму (раза в три больше «Погорельщины») — «Песнь о Великой Матери». Поэму исключительной силы и глубокого содержания; но, к сожалению, она, кажется, навсегда погибла для литературы[113].

Арестованный по обвинению в «кулацком уклоне» и в контрреволюции, в чтении и распространении контрреволюционной поэмы «Погорельщина», Клюев, отсидев несколько месяцев в московских тюрьмах, был приговорен к ссылке в Нарымский край. Там он жил в самых ужасных условиях (знаю об этом по его письмам), но продолжал заканчивать поэму «Песнь о Великой Матери» и писал такие стихотворения, выше которых никогда еще не поднимался. В середине 1934 года он обратился с мольбой о помощи к Максиму Горькому, который был тогда на вершине силы и славы (возглавлял съезд советских писателей); Горький «протянул руку помощи» — и Клюева перевели в Томск, но вскоре снова арестовали и в Томске[114]. Так, сперва задушенный цензурой, погибал в сибирской ссылке один из самых больших наших поэтов XX века.

Задушенный, погибший... Но я сказал, что он испытал и третью горькую долю — судьбу приспособившегося. Увы! из песни слова не выкинешь. Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой, потом снова попавший в Нарым, Клюев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся. В 1935 году он написал большую поэму «Кремль», посвященную прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: «Прости, иль умереть вели!»[115] Не знаю, дошла ли поэма «Кремль» до властителей Кремля, но это приспо-

собленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный «Кремль», если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Клюева; а он мог и не сохраниться, как и все поэтическое наследие Клюева этих последних годов его жизни.

Судьба этого наследия была трагическая. Лучшую и крупнейшую свою вещь, поэму «Песнь о Великой Матери» в трех частях, Клюев дописывал в ссылке. Вторую часть он прислал на хранение своему другу, Николаю Архипову, который был тогда хранителем музея Большого Петергофского дворца; не зная, как сохранить драгоценную рукопись, Архипов положил ее на одну из высоких кафельных печей в одной из зал дворца. Вскоре после этого он был арестован, а Петергофский дворец был разрушен войной 1941 года.

В моем личном архиве хранилась объемистая папка — свыше ста писем и пятидесяти стихотворений Клюева эпохи 1933—1937 годов, в том числе и список первой части «Песни о Великой Матери». Папка эта вместе со всем моим архивом погибла в Царском Селе зимой 1941—1942 года.

Но, разумеется, у самого Клюева должны были сохраниться подлинники всех этих произведений. И тут судьба оказалась немилостивой к нему и к его поэтическому наследию. Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь; в августе 1937 года он выехал из Томска — как он сам писал — «с чемоданом рукописей». По дороге, в вагоне, он скончался от сердечного припадка и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали; на какой? — друзья его не могли дознаться до все того же 1941 года; а теперь — им до того ли?[116] Чемодан с рукописями пропал бесследно, как бесследно погибли, надо думать, и вторая и третья части «Песни о Великой Матери», и все замечательные предсмертные стихотворения Николая Клюева. Правда, у одного его близкого друга хранились списки их в Ленинграде, но кто может теперь сказать — сохранились ли они в настоящее время у него и сохранился ли он сам?

К счастью, сохранился — и, вероятно, не в одном экземпляре — список поэмы «Погорельщина», той самой поэмы, которая сыграла такую трагическую роль в писательской судьбе Николая Клюева. Случайно со-

хранился этот список и у меня: перечитывая поэму, вспоминаю ее в изумительном чтении самого поэта, сперва задушенного, потом погубленного, неудачно пытавшегося приспособиться и все-таки окончательно загубленного тюрьмой и ссылкой со всеми их жуткими условиями.

Если «Песнь о Великой Матери» не сохранилась, «Погорельщина» останется вершиной творчества Николая Клюева, памятью о его трагической писательской судьбе.

ЛАКЕЙСТВО

Остроумная и ядовитая характеристика Герценом бюрократической лестницы эпохи Николая I как лестницы восходящих господ — если смотреть снизу — и лестницы нисходящих лакеев — если смотреть сверху — как нельзя более применима к советской действительности. Лакейство в ней доходило и доходит до таких пределов, которым не поверил бы Герцен, если бы ему сказали, что будет среди «русской общественности» через сто лет после этих его пророческих слов. И лакейство это разлилось широким потоком от горных вершин до болотных низин. Примеров не оберешься: хочу рассказать как очевидец об одном из них, красочнее и ярче которого мне не приходилось встречать за всю долгую жизнь в советском раю.

О том, что Алексей Толстой талантливый беллетрист («животом талантлив», по выражению о нем Федора Сологуба), — спорить не приходится. О том, что в многочисленных произведениях его три четверти «халтуры», — сам он откровенно говорил в частных разговорах. О том, что он стоит на верхней ступени лакейства, — достаточно известно по его публицистическим выступлениям, которые не делают чести ни его уму, ни его таланту. Но здесь я хочу рассказать не об его слабой, а о сильной стороне, о настоящем художественном его произведении «Петр Первый» и о том, как даже здесь, в области творчества, махровым цветом может распуститься лакейство.

Два слова о самом романе «Петр Первый» — об одном связанном с ним характерном эпизоде, который мне достоверно известен. Когда профессор и академик С.Ф. Платонов сидел в ленинградском ДПЗ (доме предварительного заключения) на Шпалерной улице, «дело» его вел следователь Лазарь Коган, предложивший однажды своему «подследственному» взять в камеру первый том «Петра Первого» (С.Ф. Платонов его еще не читал)[117] и написать о нем «в свободные минуты» отзыв «с исторической точки зрения». Недели через две С.Ф. Платонов передал своему следователю объемистую рукопись в 80 страниц — о «Петре Первом» Алексея Толстого с исторической точки зрения. В первом томе этого романа

С.Ф. Платонов нашел до тысячи мелких и крупных ошибок против исторической истины. Конечно, роман — не историческое исследование, но все же факт характерен. Знаю о нем со слов того же самого Лазаря Когана, когда через несколько лет его «подследственным» был уже не С.Ф. Платонов (к тому времени скончавшийся в ссылке в Самаре), а я. Интересно, что стало с этой рукописью С.Ф. Платонова, являвшейся собственностью Лазаря Когана, когда последнего расстреляли «в ежовские времена», в 1937 году...

Но все это — только между прочим; перехожу к самому роману Алексея Толстого, или, вернее, к его авторской переработке в пьесу, которая шла и в ленинградских, и в московских театрах[118]. Впрочем, речь должна идти не о переработке, а о переработках, так как таковых было целых три, — и в них автор последовательно опускался все ниже и ниже по ступенькам лакейства, тем самым восходя все выше и выше в иерархии господ. Остановлюсь только на последней сцене пьесы.

В первой редакции переработки сцена эта представляла собою смерть Петра. Царь — в агонии; за окном — буря на Неве; тонет любимый фрегат Петра «Ингерманландия». Для Петра это символ: с его смертью погибнет и все «дело Петрово». В горьком и безнадежном монологе Петр говорит о том, что нет впереди просвета, что гибнет не «Ингерманландия», а вся Россия. Умирает не герой, а слабый, отчаявшийся человек.

В этой первой редакции пьеса была поставлена МХАТом II[119] — и на генеральной репетиции (о которой расскажу ниже) выяснилось, что Петр здесь изображен «недостаточно героически», — однако пьеса была разрешена к постановке и шла в этой редакции целый год на сцене московского МХАТа II, а автор тем временем занялся переработкой этой пьесы во второй редакции, приняв к сведению сделанные свыше указания[120]. Во второй редакции Петр выведен «героичнее»; сцены смерти вообще нет, а пьеса кончается казнью Монса и монологом Петра перед Екатериной на тему о том, что сильные люди — всегда одиноки (взято напрокат из ибсеновского «Доктора Штокмана»). Но этот финал не удовлетворил ни начальство, ни тем самым автора. Пришлось заняться третьей редакцией, в которой пьеса шла потом на ленинградской сцене[121]. В этой редакции финальная сцена — заседание Сената и речь Петра к сенаторам на тему о том, что «дело Петрово» — не пропадет: «знайте, товарищи (!), что хоть и не скоро, а придет человек, который будет по-своему, по-новому, но продолжать дело Петра»...[122] До имени Сталина дело не дошло, но ведь и

без того всякому, имеющему уши, чтобы слышать, было понятно, на кого намекает — не Петр, а лакействующий автор.

Так лакействуют на верхних ступенях лестницы «восходящих господ». Еще характернее это же явление на нижних ступенях лестницы «нисходящих лакеев». Рассказ о генеральной репетиции первой редакции пьесы «Петр Первый» в МХАТе II послужит этому красочным примером.

Почти до конца двадцатых годов директором этого театра и одновременно главной его артистической силой был М.А. Чехов, гениальнейший из русских актеров двух последних десятилетий. После его эмиграции за границу во главе МХАТа II встал неплохой актер и режиссер Берсенев, но он уже не мог удержать театр на прежней «чеховской» высоте. Попыткой поднять театр явилась постановка «Петра Первого» (в первой редакции), пропущенного цензурой Главреперткома (Главного репертуарного комитета) с трудом, ибо опасались, что пьеса эта может быть воспринята как «пропаганда монархизма». Поэтому актеру, игравшему Петра[123], предложено было режиссером «не нажимать на педаль героизма». И, несмотря на это, театр трепетал: удастся ли провести пьесу, разрешение на которую Главрепертком дал под условием, что окончательное решение (разрешение или запрещение) будет вынесено лишь после просмотра пьесы начальством на генеральной репетиции, которая должна была состояться за день до спектакля.

На дневной генеральной репетиции театр был переполнен всеми властями, на коммунистических заставах командующими: от членов Политбюро — во главе с «самим Сталиным» — в ложах до многочисленных представителей «красной профессуры» в партере и до бесчисленных представителей ГПУ во всех щелях театра. Партер и весь театр смотрели не столько на сцену, сколько на «правительственную ложу» и на «самого Сталина» — чтобы уловить, какое впечатление производит пьеса на «хозяина земли русской», и соответственно с этим надо ли ее хвалить или стереть с лица земли. Пьеса подходила уже к концу — и все не удавалось определить настроение «хозяина»: сидел спокойно и не аплодировал. Но часа за четверть до конца, когда Петр уже агонизировал, а «Ингерманландия» тонула, — произошла сенсация: Сталин встал и, не дождавшись конца пьесы, вышел из ложи. Встревоженный директор и режиссер Берсенев побежал проводить «высокого гостя» к автомобилю, чтобы узнать о судьбе спектакля. Он имел счастье довольно долго беседовать в фойе с вершителем судеб пьесы и России, и когда вернулся в зрительный зал — занавес уже упал

при гробовом молчании публики, решившей, что судьба «Петра Первого» уже предрешена...

Маленькое отступление: позвольте напомнить подобный же случай «в анналах русского театра». В собрании сочинений Кузьмы Пруткова, при рассказе о постановке на Александринской сцене в 1851 году водевиля «Фантазия», сообщается, что когда присутствовавший на спектакле Николай I, не дождавшись конца водевиля, «с признаками неудовольствия изволил выйти из ложи» — публика начала свистеть, шикать, выражать негодование...[124] Во все времена и при всех режимах лакеи остаются лакеями.

Занавес упал, но публика оставалась на местах, ибо по окончании пьесы тут же, на сцене, должна была состояться «дискуссия», решающая судьбу спектакля. Через немного минут занавес снова поднялся: на сцене стоял стол для президиума и кафедра для ораторов; записалось уже до сорока человек — все больше из состава «красной профессуры». Заранее можно было предсказать содержание речей, — в иных случаях легко быть пророком в своем отечестве. Один за другим выступали «красные профессора», «литературоведы-марксисты», театральные критики-коммунисты — и, стараясь перещеголять друг друга в резкости выражений, обрушивались на пьесу, требуя немедленного ее запрещения. Требовали привлечения к ответственности деятелей Главреперткома, пропустивших к постановке явно контрреволюционную пьесу; обрушивались на театр и режиссера, изобразивших Петра «героически», явно в целях пропаганды монархизма; взывали к «мудрости Сталина», который, конечно же, разглядел всю контрреволюционность спектакля и несомненно запретит распространение его в массах; нападали и на автора, требуя не только запрещения пьесы, но и конфискации самого романа «Петр Первый» — первого его тома — и запрещения цензурой предстоящего второго тома...[125] В таком же духе высказались в течение часа один за другим десять ораторов, причем каждый последующий старался «увеличить давление» и оставить за флагом всех предыдущих в выражении своих верноподданнических чувств и своего безмерного негодования.

На кафедре появился одиннадцатый оратор — толстый «красный профессор», с таким же толстым желтым портфелем под мышкой. Он прислонил портфель к подножью кафедры, поднялся на нее — и едва начал речь словами: «Товарищи! В полном согласии с предыдущими ораторами, я не нахожу достаточно сильных слов негодования, чтобы заклеймить эту отвратительную контрреволюционную пьесу, в которой так героичес-

ки подан Петр, явно в целях пропаганды монархизма...» — как его перебил директор и режиссер Берсенев, попросивший у председателя слова «с внеочередным заявлением». Получив его, Берсенев, не поднимаясь на кафедру, где оставался одиннадцатый оратор, а стоя за спиной президиума, сказал следующее:

«Товарищи! Французская народная мудрость говорит, что из столкновения мнений рождается истина, — и сегодняшний наш обмен мнениями о спектакле «Петр Первый» несомненно послужит лишним доказательством справедливости этой поговорки. Я рад, что десять-одиннадцать первых ораторов высказались столь единогласно в своем отрицательном и резком суждении о пьесе, рад потому, что уверен, что многие из последующих ораторов выскажутся об этой пьесе в смысле совершенно противоположном. По крайней мере, мне уже известно одно из таких суждений. Час тому назад товарищ Сталин, в беседе со мной, высказал такое свое суждение о спектакле: «Прекрасная пьеса. Жаль только, что Петр выведен недостаточно героически». Я совершенно уверен, что если не все, то, по крайней мере, некоторые из последующих ораторов присоединятся к этому мнению товарища Сталина, и таким образом из столкновения мнений родится истина. А теперь прошу меня извинить за то, что я прервал столь поучительный обмен мнениями своим внеочередным заявлением...»

Впечатление от этой краткой речи, которой нельзя отказать в ехидстве, было потрясающим. Сначала наступило гробовое продолжительное молчание, затем — вихрь землетрясения, буря оваций и крики: «Да здравствует товарищ Сталин!» Волной этого землетрясения был начисто смыт с кафедры толстый «красный профессор» — исчез неведомо куда, забыв даже свой толстый желтый портфель у подножия кафедры. (Берсенев потом рассказывал, что портфель этот три дня лежал в конторе театра, пока за ним не явились от имени толстого «красного профессора».) Его сменил на кафедре новый, двенадцатый оратор, очередной «красный профессор», который начал свою речь примерно так: «Товарищи! Слова бессильны передать то чувство глубочайшего возмущения, с которым я прослушал речи всех предыдущих ораторов. Как! Отрицательно относиться к замечательной прослушанной и виденной нами сегодня пьесе, о которой товарищ Сталин так верно и мудро сказал: «Прекрасная пьеса». Как! Считать героической фигуру Петра, про которую товарищ Сталин так мудро и верно заметил, что он выведен недостаточно героически, — в чем действительно единственная ошибка и автора, и театра...»

И так далее.

Стоит ли досказывать? Ну, конечно же, и само собой понятно, что все последующие ораторы «всецело присоединились» к мудрому суждению товарища Сталина, что они клеймили негодованием контрреволюционные выступления десяти первых ораторов, что пьеса была единогласно разрешена к постановке и что автор немедленно же принялся за вторую редакцию пьесы, чтобы Петр был в ней выведен «более героически»...[126]

Ну разве не пророчески прав был Герцен? Какая замечательная лестница восходящих господ — если смотреть снизу — и лестница нисходящих лакеев — если смотреть сверху!

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В разгаре пресловутой «ежовщины», в 1938 году, в Ленинграде была арестована группа писателей по обвинению в организации «троцкистской ячейки» с террористическими целями. Арестованные, как водится, под давлением неоспоримых физических аргументов признались во всем — и были разосланы по изоляторам, концлагерям и ссылкам, смотря по тяжести обвинения и по размаху следовательского усердия. Среди осужденных был и «подававший надежды», а отчасти и выполнивший их молодой поэт Заболотский, попавший не то в изолятор, не то в концлагерь (не знаю), «на десять лет без права переписки»[127].

Вскоре после этого разразилась эпидемия — награждения писателей орденами. Много курьезов можно было бы рассказать об этом позорном эпизоде в истории русской литературы; достаточно было просмотреть список награжденных, чтобы убедиться, что ордена эти давались не по литературному весу награждаемых, а по соображениям политическим, ничего общего с литературой не имеющим. Бездарные или полуталантливые виршеплеты и беллетристы получали высший из орденов — орден Ленина; многие талантливые представители старой литературы были оттеснены на задворки, в задние ряды, и получили только жетончик «Знак Почета»[128]. Несомненно крупнейший из современных русских поэтов, уже немолодой Борис Пастернак — вообще не удостоился на этот раз никакого ордена. Кое-кто получил сравнительно «по заслугам», — если вообще может существовать литературная табель о рангах и если вообще вся эта орденоносная вакханалия не была бы позором для литературы.

Среди получивших — сравнительно по заслугам — высокие ордена были между другими поэт Тихонов и беллетрист Федин[129]. Не помню сейчас, какие ордена они получили — орден Ленина или Красного Знамени, но не в этом дело; существенно для дальнейшего лишь то, что оба эти писателя были почтены высокою государственною наградою. Кто бы мог предположить, что между осужденными за троцкизм и терроризм писателями и писателями-орденоносцами существует тесная и неразрывная связь?

Пришел 1939 год. Ежов сошел со сцены (не то в могилу, не то в сумасшедший дом)[130], появились новые птицы со старыми песнями; предполагалось, однако, что Берия, заместивший Ежова, склонен подвергнуть пересмотру осудительные приговоры двухлетней эпохи ежовщины. Но ведь приговоров этих были миллионы! На пересмотр всех этих дел потребовались бы годы и годы! Можно бы ограничиться лишь одними «вопиющими случаями»; но ведь все дела одинаково вопияли! Вот хотя бы случай с поэтом Заболотским — случай совершенно фантастический и тем не менее достовернейший.

К концу 1939 года или началу 1940 года стало ходить по рукам в писательских кругах Петербурга и Москвы письмо поэта Заболотского, пребывающего в концлагере или в изоляторе, к поэту Николаю Тихонову, пребывающему в орденоносцах. Каким-то путем удалось Заболотскому (быть может, через одного из выходящих, отбывших срок в изоляторе или концлагере) переслать письмо Николаю Тихонову; письмо это в копии было и в моих руках. Содержание его было приблизительно следующее:

В наше место заключения — писал поэт из тюрьмы поэту на свободе — не доходят сведения из внешнего мира в виде писем или газет; но благодаря неожиданной случайности попал к нам обрывок того номера «Известий», в котором дан перечень писателей, удостоенных высоких государственных наград. Среди ряда знакомых имен я с несказанным удивлением встретил Ваше имя, товарищ Тихонов, а также имя товарища Федина. Искренне рад за вас обоих, что вы живы, здоровы и не только находитесь на свободе, но даже удостоены награждения высокими орденами; несказанное же удивление мое связано с этим обстоятельством, с одной стороны, и с моей личной судьбой — с другой. Полтора года тому назад я и ряд писателей (перечислен ряд имен) были арестованы по обвинению в принадлежности к террористическому троцкистскому кружку; на допросах, под давлением убедительнейших аргументов, мы вынуждены были признать, что действительно состояли членами такого кружка и были завербованы в него возглавляющими кружок писателями — Николаем Тихоновым в Ленинграде и Константином Фединым в Москве[131]. Теперь вам понятна и моя радость за вас — вы живы и на свободе, и мое глубочайшее изумление: каким образом вы, главы террористической организации, завербовавшие в число ее членов и меня, получили высокую государственную награду, в то время как я, рядовой член этой организации, получил за это же не орден, а десять лет строгой изоляции? Оче-

видно, что тут что-то неладно, концы не сходятся с концами, и вам, находящемуся на свободе и награжденному государственным отличием, надлежит постараться распутать этот фантастический клубок и либо самому признать свою вину и проситься в изолятор, либо сделать все возможное, чтобы вызволить из него нас, совершенно невинно в нем сидящих...

О дальнейшем я знаю только по рассказам третьих лиц, так как после этого ни с Тихоновым, ни с Фединым не встречался. Рассказывали, что перепуганные насмерть орденоносцы, Тихонов и Федин, составили коллективное письмо на имя Берия, приложили к нему письмо Заболотского и просили о перерасследовании дела «группы ленинградских и московских писателей-террористов», ибо из выяснившихся обстоятельств видно, что следователь вел это дело приемами, заслуживающими некоторого сомнения, если не сказать осуждения... Было якобы получено обещание о пересмотре дела, — но до середины 1941 года никаких перемен в этой области не последовало: орденоносцы продолжали оставаться орденоносцами (хотя якобы возглавляли собою террористическую организацию писателей-троцкистов), а тюремные и лагерные сидельцы продолжали пребывать таковыми (хотя были только мелкими сошками, якобы завербованными в преступную организацию будущими орденоносцами).

Я нисколько не сомневаюсь, что если бы фантастика мировой войны не свела на нет всю мелкую фантастику советского быта, если бы теперь были мирные времена и мой рассказ дошел бы до властителей литературных русских судеб, то могло бы последовать литературное «опровержение ТАССа»: из глубины тюрьмы поэт Заболотский написал бы, что он никогда не сидел в тюрьме, а орденоносцы Тихонов и Федин сообщили бы, что никогда не получали никакого письма от Заболотского и что все рассказанное выше — сплошная фантастика. Я тоже склонен считать всю эту историю фантастической, но не потому, что ее не было, а потому, что много фантастического совершалось в застенках НКВД. Я был свидетелем и более фантастических случаев, которые, однако, были неоспоримой реальностью, так что не имею оснований не верить и рассказанному выше эпизоду.

«ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»

Когда более года тому назад мне довелось из-за китайской стены Советского Союза попасть в преддверье Европы, передо мной развернулись страницы сотен томов недоступных ранее, и я жадно принялся за пополнение своего литературного образования. Благодаря помощи старого друга, щедро снабжавшего меня книгами, и содействию новоявленных друзей, усердно помогавших в этом же деле, мне удалось за этот год познакомиться с некоторой частью того, что создала «русская эмигрантская литература» за четверть века своего существования. Конечно, судить о ней в целом я еще не могу, слишком многого я еще не знаю, но кое-что уже стало ясным, а кое-что, наоборот, еще вызывает недоумение.

Недоумение вызывает прежде всего эмигрантская литературная критика своим отношением к советской художественной литературе. И не то удивительно, что некоторая часть критики считает эту литературу несуществующей, ибо — что доброго из Назарета?[132] Гораздо удивительнее для меня то приподнятое отношение к ряду советских писателей, которое проявляется в другой части этой критики. С большим изумлением, например, прочел я в одном из журналов статью некоего критика под заглавием «Гоголь и Зощенко»[133]; у нас, в Советском Союзе, никому не пришло бы в голову ставить такую тему, ибо маленький литературный рост Зощенко был ясен всем и каждому. Правда, дружественная автору критика пыталась раздувать значение этого писателя, но кто же обращал внимание на мнения советской критики, упавшей так низко, как никогда еще не падала критика в России! Ведь могла же она, эта критика, убеждать читателей, что романы пролетарского писателя Михаила Чумандрина превзошли собою «Войну и мир»! Да и мало ли что критика эта провозглашала, держа нос по ветру и вынюхивая, что из литературы нравится сильным мира сего там, в Кремле. Отсюда раболепная канонизация Маяковского — сперва затравленного РАППом (Российская ассоциация пролетарских писателей) и доведенного до самоубийства, а потом канонизированного той же са-

мой критикой, которая его травила. Еще бы! Ведь стало известно, что «сам Сталин» считает Маяковского первым пролетарским поэтом!

Итак — с мнениями советской критики никто не считался, ибо все знали, что это критика лакейская: кого прикажут, того и похвалит, кого прикажут, того и затравит. Как-то раз «сам Молотов» изволил отрицательно отозваться о балетной музыке Шостаковича, — Боже ты мой, какая со всех сторон поднялась тут травля![134] Такими примерами — хоть пруд пруди; они общеизвестны, и останавливаться на них не стоит. Но на одном частном случае остановиться следует.

Дан был приказ свыше: разработать понятие «пролетарская литература», подчеркнуть, что основным свойством ее является «социалистический реализм». И — пошла писать губерния! Горы бумаги изведены для этого безнадежного предприятия, ибо никто не знает, что такое «пролетарская литература», и еще менее того — что такое «социалистический реализм».

Пролетарская литература — это, во-первых, такая литература, авторами которой являются пролетарии; а все авторы-непролетарии являются лишь «попутчиками». Пусть так — но не все здесь так просто, как кажется. Вот, например, граф Алексей Толстой: он был в «попутчиках», пока не удостоился кремлевского внимания, после чего его романы стали «украшением пролетарской литературы», а сам он стал ходить под кличкой «пролетарского графа». Значит, не в происхождении тут дело, а в мировоззрении. Вот Федор Сологуб был происхождения самого пролетарского (сын сапожника и кухарки), однако вся советская критика именовала его писателем «буржуазным».

Пролетарская литература — это, во-вторых, такая литература, которая, независимо от происхождения авторов, художественно проявляет идеалы пролетарского мировоззрения. Если бы я знал, что такое «пролетарское мировоззрение», то готов был бы принять такое определение. Но вот, например, — величайший художественный представитель «пролетарской литературы», Максим Горький: с какого конца его мещанское происхождение является пролетарским, а его индивидуалистические концепции — не противоречащими «пролетарскому мировоззрению»?

На помощь этому недоумению идет требование, чтобы пролетарская литература пользовалась методом «социалистического реализма». Час от часу не легче! О том, что такое реализм, идут вековые дебаты в европейской и русской критике, а тут, не угодно ли, надо говорить о реализме

социалистическом. Откровенно скажу, — совершенно не понимаю сочетания этих двух слов, несмотря на блестящее определение, идущее с высоты Кремля: «Литература должна быть реалистической по форме, социалистической по содержанию» — вот что такое пролетарская литература! Здесь сколько слов, столько и недоумений, ибо к прежним присоединяется еще и наивное противопоставление формы и содержания. Не говоря уже о том, что «социалистический» здесь надо понимать как «марксистский», иначе и Глеб Успенский оказался бы пролетарским писателем: несомненный «реалист» и несомненный «социалист», но — народнического толка; значит, не подходит под ранжир марксистского пролетарского писателя.

Да, «социалистический реализм» нисколько не помогает определению «пролетарской литературы»; горы бумаги извели и о нем, но без всякого толка, — воз и ныне там. Мне представляется, что с этим термином надо поступить по примеру одного из героев Диккенса, рассказавшего о рецепте писания статьи на тему «Китайская метафизика»: в энциклопедическом словаре берут слова «Китай» и «метафизика», разбалтывают их вместе — и статья «Китайская метафизика» готова. Возьми спорные слова — «социализм», «реализм», болтай о них вместе и получишь «социалистический реализм», ни для кого не понятный, да и никому не нужный.

Краткий вывод: нет никакого «социалистического реализма», да заодно и никакой «пролетарской литературы». Есть просто — русская литература по ту и по сю сторону границы, одна — в счастливых условиях свободного слова, другая — на прокрустовом ложе цензуры и марксистского мировоззрения. И если эта вторая могла все же дать за тяжелые четверть века несколько неумирающих произведений, которые прочно войдут в историю русской литературы, то честь и хвала ей за это! Но, конечно, это не смешные рассказы Зощенко, которого эмигрантский критик готов сопоставить с Гоголем. Я знаю: он сравнивает не величину талантов, а «комическое» у этих двух писателей; мог же тот же самый критик в другой статье проводить параллель между Сервантесом и... Тэффи![135] Но все же — сравнение обязывает, и лучше не сравнивать несравнимого.

Возвращаюсь к тому, с чего начал: я считаю, что и презрительное, и приподнятое отношение разных лагерей эмигрантской критики к советской литературе — одинаково несправедливо: она и не так ничтожна, как об этом писали критики типа Антона Крайнего[136], и не так замечательна,

как об этом говорят критики другого лагеря. Здесь, конечно, как и во всякой оценке, многое субъективно, но все же можно попытаться наметить ряд имен и произведений, которые останутся в истории русской советской литературы, — хоть абзацем, хоть фразой, хоть упоминанием. О русской «европейской» литературе не говорю, ибо еще слишком мало ее знаю: надо еще много прочитать, чтобы иметь право сравнивать эти два русла единой русской литературы, отделенных друг от друга китайской стеной вот уже четверть века.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
I. Поэзия

Что представляет собою советская художественная литература — проза, поэзия, критика, — если взглянуть на нее «с птичьего дуазо»? (по бессмертному выражению Глеба Успенского)[137]. Четверть века — срок немалый и в человеческой жизни, и в жизни литературы; можно ли прийти к некоторым общим выводам, если проследить течение советской литературы от ее истоков, то есть от революции 1917 года, и до того рубежа, который поставила война, —1941 года? Тема эта — для большой статьи, а не маленького очерка; в последнем можно лишь наметить самые основные вехи, которые все же покажут если и не детали, то хоть общее направление пути.

Я сразу выскажу тот общий вывод, к которому можно прийти лишь в конце пути: все ценное в советской художественной литературе дано людьми старого поколения, вступившими уже в зрелом возрасте в эпоху революции. Исключения — очень незначительные, — как всегда, лишь подтверждают правило.

Прежде всего скинем со счетов один из трех отделов литературы — поэзия, художественная проза, критика, — скинем со счетов последнюю, ибо нет критики там, где нет возможности личного мнения. Характерен эпизод с одним из литературных критиков, Корнелием Зелинским (есть такой, и сравнительно довольно грамотный), который написал критическую статью с некиим твердым суждением о только что вышедшем тогда в свет романе Леонова «Скутаревский», сдал ее в редакцию журнала — и в тот же день узнал, что в высоких кремлевских кругах высказывают об этом романе диаметрально противоположное суждение. Критик немедленно побежал в редакцию журнала, взял свою статью и через день-другой принес ее в исправленном виде: все плюсы в ней были переменены на минусы и наоборот, так что статья в новом виде пела в унисон с нотою, заданной кремлевским камертоном. Нескромность редакции журнала разгласила это событие, после которого Корнелия Зелинского стали именовать Корнелием Вазелинским[138]. Это случай анекдотический, но в то

же время типичный: критика в советской литературе превратилась в сплошное лакейство, в постоянное «чего изволите?» — и тем самым перестала существовать; ее свободно можно скинуть со счетов литературы.

Поэзию — со счетов не скинешь; в ней за последнюю четверть века появились такие произведения, которые прочно войдут в историю русской литературы, — но все они были произведениями людей отнюдь не «революционного поколения». Начиная с изумительной поэмы «Ночной обыск» Хлебникова (изумительно и то, как могла пропустить ее цензура в пятитомном собрании сочинений этого поэта), продолжая исключительным по мастерству «Первым свиданием» Андрея Белого, затем поэмой Владимира Гиппиуса «Лик человеческий»[139] и кончая поэмами Клюева, стихами Есенина — все это было продолжением и завершением «золотого века» русской поэзии, начало которого совпало с началом XX века. Прошумел Маяковский, но и он в эпоху революции не пошел дальше сильного «Облака в штанах» и остроумной, но мелкой «Мистерии-буфф», написанной еще до периода «советской литературы». Почти совсем замолчал незадолго перед смертью ставший членом ВКП(б) Валерий Брюсов; много писал, наоборот, сидя в своем Коктебеле, Максимилиан Волошин; шел своим путем неорденоносный Борис Пастернак, и даже орденоносный Николай Тихонов продолжал поэтические традиции расстрелянного Гумилева. Совершенно умолкла по причинам цензурным Анна Ахматова, а по причинам дипломатического свойства — такой большой поэт, как Балтрушайтис[140] (ставший послом в Москве новоявленной Литовской республики).

Но ведь все это имена, известные еще задолго до «советской литературы»; они-то и дали ей те произведения, которые так или иначе (главой, абзацем, названием) войдут в историю русской литературы. Нарочно не упоминаю десятков имен второстепенных поэтов того же поколения, вроде паточного Рождественского (ставшего верным Личардой власть имущих); острого Пяста (умершего после ссылки непримиримым в 1941 году)[141] — автора ряда ненапечатанных поэм; Павла Антокольского, талантливого эпигона, и еще многих и многих других поэтов «дореволюционного» поколения. Иные из них замолчали, иные «продали шпагу свою»[142] (впрочем, не шпагу, а перо), иные погибли — расстрел, тюрьма, концлагерь, ссылка; но перечисление еще десятков и десятков имен «дореволюционных» поэтов не прибавило бы ничего к тому основному положению, что все «историческое» в советской поэзии было сделано людьми досоветского поколения.

Действительно, какие же имена поэтов можно назвать в противовес выше названным, — кого можно перечислить как поэтов «советского поколения»? Назвать и перечислить можно бы многих — ведь в одной Москве было, как говорили, зарегистрировано 1600 поэтов; но ведь мы говорим не о казенной регистрации, а о поэтах, вошедших в историю «советской литературы» или «имеющих войти» в оную. Выше я назвал — далеко не полностью — ряд имен старших и младших богатырей русской поэзии «досоветского» поколения. Да, —

То был век богатырей,
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки[143], —

разные Герасимовы, Александровские, Уткины, Кирсановы, Светловы и прочие, и прочие, и прочие (имена же их, Ты, Господи, веси, — хотел было прибавить я, если бы Господу Богу было хоть малейшее дело до этих имен).

Однако, если постараться припомнить, да к тому же скромно ограничиться малым, то вот три имени, о которых еще кое-что можно сказать.

Первый — Павел Васильев, поэт не без таланта, губивший себя чрезмерной поэтической многоречивостью; эпигон Клюева, он был тоже причислен к «кулацким поэтам», за что и попал на три года в Суздальский изолятор[144]. Прав на «историю литературы» у него еще нет никаких; но горькая его участь заслуживает всяческого уважения и сожаления. Если судьба пощадит его, а он сумеет много и серьезно поработать над своим дарованием, то из него может еще выработаться хороший поэт. Но и тогда до Клюева ему, как до звезды небесной, далеко.

Второй — Сельвинский, бойкий и ловкий версификатор, поэт не без остроумия, но такой же эпигон Маяковского, как Павел Васильев — Клюева. Когда Маяковский посмертно вошел в силу и славу, то подражателей у него оказалось — несть числа, и какой-нибудь Николай Асеев, старый «дореволюционный» поэт, всегда бывший на задворках поэзии, тут вдруг нашел путь и к славе, и к ордену[145] — хорошим политическим поведением и слепым подражанием стилю Маяковского. Сельвинский в этом отношении несколько выше: он — эпигон Маяковского, но с попытками на самостоятельность, иногда и удающимися, но не Бог весть какими интересными. Не думаю, чтобы в будущей истории русской поэзии ему было отведено больше абзаца.

Наконец — третий... Вот этот третий и есть то единственное исключение, которое, как и всегда, только подтверждает правило. Третий, а в сущности первый и единственный — Василий Казин, автор тоненькой брошюрки — сборника стихов «Рабочий май». В ней все его права на бессмертие, так как после нее он — партийный коммунист — отошел от поэзии: петь то, что в душе пелось, — он не мог; петь то, что свыше приказывалось, — не хотел и предпочел совсем отойти от литературы. После этой первой и последней книжки стихов написал очень немного (поэму «Любовь и лисья шуба») и ушел с головой в партийную работу. И это — не малая потеря для русской поэзии, так как «Рабочий май» подавал большие надежды. Казин — единственный глубоко даровитый «советский поэт» и даже «пролетарский поэт» (рабочий от станка); но в Пролеткульте, юношей, он прошел большую поэтическую школу у преподававшего тогда (в самом начале революции) в этом учреждении Андрея Белого...[146] И пролетариату не обойтись без «буржуазной» преемственности!

Заканчивая этим краткий путь по вершинам «советской поэзии», повторю тот вывод, который высказал в начале: за все двадцать пять лет этой поэзии все ценное в ней дано людьми досоветского поколения, старшими и младшими богатырями предыдущей эпохи. Казалось бы — за четверть века революция могла бы взрастить свое собственное поколение поэтов, но — не взрастила, и по понятной причине: там, где слово заковано в цепи, нет места росту новых сил. Так обстоит дело с «советской поэзией»; интересно поговорить и о советской художественной литературе прозаической.

Перечел написанное выше — и не жду такого возражения: почему это, говоря о советской поэзии, я не упомянул про такого ее кита, как Демьян Бедный? Не жду потому, что к поэзии Демьян Бедный не имеет ни малейшего отношения.

II. Проза

Общая формула — «все ценное в советской художественной литературе дано людьми дореволюционного поколения», — вполне оправдывающая себя в отношении советской поэзии, возбуждает с первого взгляда большие сомнения, когда речь заходит о советской художественной прозе. Действительно, за четверть века — такая плеяда имен молодых талантли-

вых беллетристов и так мало имен писателей предыдущего литературного поколения! Но, конечно, дело не в количестве, а в весе: небольшой рассказ, например, очерк Михаила Пришвина «Охота за счастьем»[147], на весах критики и истории литературы может оказаться «томов премногих тяжелей»[148], — хотя бы, например, многотомного и вполне бездарного романа Панферова «Бруски».

Но это лишь случайный пример; вообще же надо сказать, что эта область оценок в высшей степени субъективна, а потому я нисколько не претендую на общезначимость своих суждений. Должен сказать сразу: не принадлежу ни к числу читателей, огулом отрицающих «советскую литературу», ибо-де, что доброго из Назарета, — ни к числу читателей, склонных приподнято относиться к достижениям советских беллетристов и сравнивать Зощенко с Гоголем. Считаю, однако, что «золотой век» русской прозы начала XX столетия — прошел, что десятилетие, в котором могли появиться такие «эпохальные» романы, как «Мелкий бес» Федора Сологуба и «Петербург» Андрея Белого, не повторится, что после золотого века пришел, как и следовало ожидать, серебряный (хорошо еще, если не медный)[149], что и в области художественной прозы

...смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Счету нет, сколько этих мошек и букашек расплодилось в советской беллетристике, — и, конечно, упоминать о них здесь не приходится. Както, в начале тридцатых годов, меня привело в восторг заглавие одной журнальной критической статьи: «Творчество Ивана Уксусова»[150]. Был такой «пролетарский беллетрист», написал два-три рассказа, повесть, роман — и погибе имя его без шума; и в Советском Союзе никто не вспомнит теперь имени этого беллетриста, о «творчестве» которого печатались статьи. Так вот, вся массовая советская беллетристика — это сплошной коллективный Иван Уксусов, о котором говорить не приходится. Поговорим о подлинной художественной литературе.

Но и здесь, по французской поговорке, есть фаготы и фаготы. Не угодно ли обратить внимание на такой беллетристический фагот (или еще более гнусавый инструмент), как на одиннадцатое издание романа Федора Гладкова «Цемент»[151], переведенного и на ряд европейских языков. Ведь это же типичный Иван Уксусов, средняя рядовая беллетристика, пришед-

шая ко двору и ко времени, но не имеющая ничего общего с литературой художественной. О таких Гладковых, как бы велики ни были их успехи, говорить тоже не буду; прибавлю только, что Федор Гладков — писатель старого поколения, печатавшийся еще до Первой мировой войны, так что никак не может служить представителем «молодой советской литературы». Это же относится и к Пантелеймону Романову, роман которого «Русь» тщетно ходил по разным редакциям и издательствам задолго до революции и процвел, как жезл Ааронов, лишь в советское время[152]. Это все — «старики» (отнюдь не золотого века), а нас интересует поколение молодых советских талантов.

Обращаясь к ним, надо прежде всего скинуть со счетов ряд прославленных имен и произведений «пролетарских писателей»: Михаила Чумандрина, романы которого были объявлены критикой выше «Войны и мира»; Панферова, «Бруски» которого (в четырех томах!) можно было дочитать до конца лишь при большом запасе мужественного терпения; Либединского, тоже «прославленного» за повесть «Неделя», — и многих, им подобных. Все это такой низкий сорт литературы, что останавливаться на нем не приходится; число же литературных имен — безмерно велико. Для меня они все объединяются в двух созвучных именах молодых советских беллетристов — Малашкине и Малышкине. Знаю, что один из них — бездарный графоман, а другой — «подающий надежды» беллетрист, но никак не могу запомнить, кто из них автор романа «Севастополь»[153], кто из них талантлив и кто бездарен. Так вот, о бесчисленных Малашкиных и Малышкиных говорить много тоже не приходится. Знаю, что романы Михаила Слонимского — потрясающе бездарны, что романы Михаила Козакова много грамотнее, что Каверин может состряпать занимательную авантюрную повесть, — но подлинная художественная литература здесь еще и не ночевала. Итак — мимо Малашкиных и Малышкиных: никакого литературного ущерба мы от этого не потерпим.

И еще мимо — мимо таких авторов, которые дали то малое, что могли, и потом ушли из литературы, — либо потому, что исчерпали себя в первой книге, либо потому, что рано ушли из жизни. Примером первого является Бабель, написавший неплохую характерную «Конармию» и исчерпавший ею весь свой талант; примером второго служит Неверов, подававший надежды своим «Ташкент, город хлебный», но рано умерший. Небольшой абзац в будущей истории русской литературы займет, вероятно, каждый из них.

После всего этого не слишком строгого отбора (ибо при более строгом вряд ли такие авторы, как Бабель или Неверов, попадут в историю литературы) остается, быть может, с десяток имен «молодых советских авторов», являющихся вершинами современной советской литературы. Я перечисляю их, чтобы никому не было обиды, в порядке алфавитном, заранее допуская, что в памяти моей могут быть и пробелы: Булгаков, Зощенко, Ильф и Петров, Леонов, Олеша, Пильняк, Фадеев, Федин, Шолохов, Эренбург.

Первые три имени характеризуют собою так называемую «советскую сатиру». Насколько это вещь опасная — показала судьба Михаила Булгакова, который, после двух довольно острых и остроумных повестей («Роковые яйца» и «Дьяволиада») был вообще изгнан из литературы и больше уж ничего не мог напечатать. Зощенко более посчастливилось: благодаря удачно найденной (но очень не новой) форме «мещанского сказа», в большом количестве нестерпимо надоедливого, благодаря, с другой стороны, скромности размаха сатиры, остающейся в пределах дозволенного и даже поощряемого, — Зощенко процвел и стал по распространенности одним из первых советских писателей. Попытки его вырваться из формы «мещанского сказа» кончились неудачей, и, по-видимому, Зощенко писатель уже до конца определившийся; небольшой абзац в будущей истории русской литературы, вероятно, заслужил и он. Наконец, Ильф и Петров, авторы прошумевших «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» — остроумных, но беззлобных гротесков, — тоже в прошлом: Ильф умер, а Евгений Петров получил за него орден[154] и благоразумно прекратил литературное творчество.

Леонид Леонов, автор многих романов и пьес, — имя вполне литературное, но отнюдь не советского происхождения. Его давнишний «Петушихинский пролом» показал в нем хорошего подмастерья школы Алексея Ремизова; в позднейших романах он набил себе руку, усвоил советскую тематику и выдвинулся в первые ряды советской литературы. В главу об этой литературе он, конечно, попадет, но отдельной главы собою не составит. Это же можно сказать и о Юрии Олеше с его хорошо скомпонованной «Завистью»; но в то время как Леонов печет роман за романом и пьесу за пьесой — Олеша далеко не так продуктивен. Надо прибавить кстати, что и он не принадлежит к поколению «советской молодежи», будучи, как и Леонов, далеко более чем среднего возраста.

Борис Пильняк стоит особняком, как по своим писаниям, так и по своей судьбе. Расхлябанный стиль, в котором он пробовал подражать Андрею Белому (недаром кто-то сострил, что Пильняк пишет черным по Белому), попытка стать советским экспрессионистом, многописание, неумение отделывать написанное — все это делало его эпигоном, не имеющим сил подняться до уровня мастера. Горькая его судьба (расстрел или десять лет изолятора — до сих пор неизвестно)[155] будет помянута в синодике русских писателей, но ведь это не повышает его художественного уровня. Мы скорбим об участи Полежаева, что не мешает ему занимать вполне второстепенное место на русском Парнасе. Разница еще в том, что Полежаев был погублен в самом начале своего жизненного и литературного пути, а Пильняк был автором доброго десятка романов, вполне определивших его литературную физиономию и удельный вес (не очень большой).

Спешно прохожу мимо Фадеева, «Последний из удэге» которого был бы неплохим романом, если бы автор не следовал рабски всем приемам письма, взятым им напрокат у Льва Толстого. Константин Федин — хороший, четкий писатель, первый роман которого «Города и годы» является в то же время и лучшим его романом. Наконец, — если пропустить Шолохова, — Эренбург: об этом писателе можно сказать, что у него сколько романов, столько и физиономий: своего лица у него совсем нет, он всегда кому-нибудь подражает. В романе «Хулио Хуренито» он рабски следует по стопам Анатоля Франса; в «Жанне Ней» — пытается подражать традициям романов Диккенса; «Жизнь и смерть Николая Курбова» — неудачное и неумелое подражание ритмической прозе романов Андрея Белого[156]. Не писатель, а подражатель; место таким в лучшем случае — на задворках истории литературы.

Остается Шолохов, автор хорошего романа «Тихий Дон» и плохой «Поднятой целины». Я очень уважаю автора-коммуниста за то, что он в конце романа отказался от мысли (предписывавшейся ему из Кремля) сделать своего героя, Григория Мелехова, благоденствующим председателем колхоза, а предпочел погубить его нераскаянным. Но не в этой частности дело, а в том, что «Тихий Дон» представляет собою наклонную плоскость с вершиной в первом томе; дальше от тома к тому письмо слабеет, образы повторяются и выветриваются, интерес падает. У Шолохова много поклонников, считающих его вершиной советской литературы; может быть, оно и так, но не в обиду им будь сказано — сорок лет

тому назад выходили сборники «Знания», в которых вполне мог быть напечатан и «Тихий Дон». Печатался там Кондурушкин — кто его теперь помнит? На те же «казачьи темы» писал свои очерки Федор Крюков, и писал совсем неплохо, — боюсь, что теперь никто не вспомнит и его имени[157]. И если Шолохов подлинно «вершина советской литературы», то надо сказать, что вершина эта далеко не Эльбрус и не Монблан, а гора значительно более скромной высоты.

Этим я сегодня и кончу, так как разговор о подлинных вершинах «советской литературы» за минувшую четверть века — разговор особый и длинный. Скажу только, что он вполне подтвердит общее положение о том, что все ценное в советской художественной литературе дано писателями старого поколения. Такие романы, как «Москва» и «Маски» Андрея Белого, как «Кащеева цепь» Михаила Пришвина, являются вершинами не только русской, но и европейской литературы[158]. И «пролетарский граф» Алексей Толстой со своим «Петром Первым», и Сергеев-Ценский, и Новиков-Прибой со своей «Цусимой» — все это писатели старого поколения и в то же время вершины советской литературы, намного превышающие тот десяток сравнительно молодых имен, который был назван выше. Но об этом как-нибудь до другого раза[159].

россия в мемуарах

Тюрьмы и ссылки



Памяти Варвары Николаевны Ивановой[1]
(умерла 18 марта 1946 года в Рендсбурге),
вместе с которой мы 40 лет переживали
содержание этой книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ

У каждой книги — своя судьба, даже тогда, когда она еще не книга, а только сырая рукопись. Судьба рукописи этой книги была весьма необычной: целый год лежала она закопанная в могиле, и если уцелела, то лишь благодаря стечению маловероятных случайностей.

Осенью 1933 года, после восьмимесячной одиночной камеры в петербургском доме предварительного заключения, после кратковременной ссылки в Сибирь, попал я на трехлетнюю ссылку в Саратов — на полную «свободу» (умеряемую ежемесячными семикратными явками в ГПУ), на полное безделье. Никакой работы найти не мог, да особенно и не искал ее: благодаря щедрой денежной помощи друга[2], жизнь была обеспечена, и я имел свободных 24 часа в сутки. Стал понемногу писать свои житейские и литературные воспоминания[3], исписал две толстые тетради, всего листов 15 печатных; дошел в них до начала девятисотых годов, до бурных лет нашей университетской жизни. Стал писать большую книгу — «Письма без адресатов»[4] — собрание статей на разные темы. Писал и еще многое — «в письменный стол», без надежды увидеть это в печати: я и до тюрьмы и ссылки был писателем, исключенным из литературы, а ссылка наложила печать окончательной отверженности.

Среди всех этих никчемных работ уделил время и «Юбилею», который теперь составляет главную часть настоящей книги: по свежей памяти записал все то, что случилось со мною в тюрьме, все свое «дело», за которое попал сперва в узилище, а потом и в ссылку, все допросы следователей, весь быт тюремной жизни — «в назидание потомству»:

То старина славна, то и деяние,
Старцам угрюмым на утешение,
Молодцам на поучение
Всем на услышание...[5]

Всем на услышание — хотя бы и через десятки лет: авось рукопись эта сохранится, и когда-нибудь узнают изумленные внуки, как в старину живали деды...

Знал, конечно, что очень рискую: если бы при новом обыске и аресте (а их всегда можно было ожидать) «Юбилей» попал в руки властей предержащих, то результатом была бы уже не ссылка, а концлагерь или изолятор. Поэтому старался припрятывать рукопись так, чтобы при предстоящем обыске, буде таковой последует, всемерно затруднить ее нахождение.

Но в Саратове ни нового обыска, ни нового ареста не последовало, и по окончании срока ссылки я в конце 1936 года благополучно увез свои рукописи на новое место жительства, в Каширу. В это время горизонт уже омрачался, наступали «ежовские времена», и держать «Юбилей» у себя становилось все более и более опасным. Я обратился к одному московскому другу[6], который, казалось (а потом и оказалось), был вне возможных ударов «ежовщины», с просьбой взять на хранение мою рукопись, содержание которой было ему совершенно неизвестно. Кстати заметить — о «Юбилее» я ни единой живой душе (кроме жены) не сказал ни единого слова; и этому московскому другу, согласившемуся приютить мою рукопись, я отвез ее в запечатанном конверте, сообщив только, что дорожу ею и не хотелось бы, чтоб она пропала. Друг взял конверт, — но времена были такие, что и он не рискнул держать у себя дома такое взрывчатое вещество, хотя и неизвестного ему содержания. Он взял большую банку из-под консервов, уложил в нее конверт с рукописью и ночью закопал банку в своем саду... Вот какие были времена, и вот в каком унизительном страхе жили все мы в советском «раю».

И времена эти становились все более и более мрачными, а наши настроения все более и более напряженными: 1937 год показал нам такой размах террора, какого мы не испытывали и в годы военного коммунизма. Аресты шли не десятками и сотнями, а десятками и сотнями тысяч. Не было дома, не было семьи, не было знакомых, которые не оплакивали бы своих близких, невинных жертв дикого и безумного террора. Ведь надо было большевистской контрреволюции сравняться с французской революцией 1793 года! Да какое там сравняться! Не сравняться, а превзойти: детские цифры жертв робеспьеровского террора не идут ни в какое сравнение с числом жертв террора ежовско-сталинского. Запуганность людей дошла до предела, страх и трепет царили во всех домах.

Я в Кашире все время ждал ареста: всех бывших ссыльных подвергали новому заточению. Наступал сентябрь 1937 года — разгар «ежовщины», — когда я вдруг получил от московского друга письмо с просьбой приехать и взять у него мой экземпляр Чехова (под таким псевдонимом скрывалась консервная банка с рукописью). Московский друг мой был запуган не менее других. Он выкопал мою рукопись из ее годовой могилы, вернул ее мне и дал понять, что хорошо бы нам «некоторое время» вообще не общаться — ни лично, ни письменно. Я взял «Юбилей» и вернулся с ним в Каширу. Что было делать с рукописью? Благоразумие требовало — немедленно сжечь ее. Велика, подумаешь, потеря для потомства! Но — жалко было: материал все же был характерный. А потом: вдруг меня и минует новая чаша обыска, ареста, тюрьмы и всего последующего? Я понадеялся на русский «авось» и оставил у себя рукопись.

В моей убогой каширской комнатке, где еле вмещались кровать, столик и стул, стоял, вместо буфета, большой деревянный ящик, поставленный на попа; между двумя верхними досками его я и втиснул свой «Юбилей», прикрыв сверху доски скатертью. И хорошо сделал, ибо «авось» не оправдался: через несколько дней свершилось неизбежное: явились агенты каширского НКВД по предписанию из Москвы, произвели обыск, забрали все бумаги и рукописи, — а «Юбилея» между двумя досками «буфета» не заметили, — арестовали меня, отвезли в Москву — и начался новый круг тюремных испытаний, продолжавшихся почти два года. Только в середине 1939 года, когда Ежова уже убрали и началась эпоха сравнительного террорного затишья, выпустили меня из московской тюрьмы с документом, что освобожден я «за прекращением дела», ввиду отсутствия состава преступления...

Каким же образом уцелел «Юбилей», остававшийся между двумя досками моего импровизированного «буфета»? Не могу не упомянуть здесь добрым словом моего каширского соседа, бывшего железнодорожного кондуктора, Евгения Петровича Быкова. Его долго трепали с допросами в каширском НКВД, требуя, чтобы он показал, какие «контрреволюционные разговоры» вел я с ним в течение года моей жизни в Кашире. Е.П. Быков имел стойкость вытерпеть ряд допросов с угрозами и показать чистую правду, что никаких подобных разговоров я с ним не вел[7]. А для такого показания надо было иметь большое мужество. Ведь показал же мой каширский сосед (и показания его мне были предъявлены следователем как одно из обвинений), с которым я не был знаком и даже не кланялся

при встречах на улице, ведь показал же он по приказанию каширского НКВД, что он своими глазами видел, как ко мне приезжали из Москвы какие-то подозрительные люди, и что он своими ушами подслушал в вагоне поезда из Каширы в Москву, как я, провожая этих подозрительных людей, вел с ними возмутительные разговоры. Нужно заметить, что за весь год моей жизни в Кашире ко мне ни разу никто не приезжал. Несмотря на целый ряд допросов и угроз, Е.П. Быков устоял и показал только правду, — что, по советским нравам, должно рассматриваться как редкое мужество.

После моего ареста жена приехала в Каширу за моими вещами и тут, разбирая «буфет», случайно нашла между двумя досками тетрадь «Юбилея»: видно, не судьба была ему погибнуть ни в земляной, ни в дощатой могиле. Когда в середине 1939 года я вышел из тюрьмы, а еще через год попал в Царское Село, то стал дополнять «Юбилей» новыми главами, описывающими жуткую тюремную эпопею 1937—1939 годов.

К началу войны, к середине 1941 года, я не успел закончить эту работу — и очень сожалению об этом, потому что тогда, по свежей памяти, я мог бы записать многое такое, что за последующие годы скитаний начисто выветрилось из памяти (например, десятки фамилий сокамерников). Всегда ожидая нового ареста — так мы жили! — я держал «Юбилей» запрятанным среди десятка тысяч томов моей библиотеки — и случайно спас его после немецкого разгрома моей библиотеки осенью 1941 года. И здесь, видно, не судьба была ему погибнуть. О разгроме этом я рассказываю в другой книге («Холодные наблюдения и горестные заметы»[8]) и здесь не буду повторяться.

Прошли годы. Вместо советских концентрационных лагерей война занесла нас с женой за проволочные заграждения немецких «беобахтунгслагер» в городках Конице и прусском Штатгарте — на полтора года. Работать в них было немыслимо. В середине 1943 года вышли мы на свободу и поселились у родственников в Литве[9], где я в течение восьми месяцев успел написать, дописать и обработать три книги, частью привезенные в черновиках еще из России — «Писательские судьбы», «Холодные наблюдения» и «Оправдание человека»[10]. Окончательно обработать «Юбилей» все еще не приходилось. В начале 1944 года вихрь войны погнал нас на запад, и мы нашли приют и привет в семье новоявленных друзей, в городке Конице[11]; там я теперь и дорабатываю многострадальный «Юбилей», дописываю свои воспоминания о тюрьмах и ссылках.

«Юбилей» остается основной частью всей книги. Дописываю лишь страницы, посвященные тюремным переживаниям и впечатлениям 1937—1939 годов, а в виде введения — рассказываю о двух первых моих тюремных сидениях, имевших место задолго до «Юбилея». В тетрадях моих воспоминаний, погибших в чреве НКВД, рассказ был доведен до студенческих лет, до известной в истории русского революционного движения демонстрации 4 марта 1901 года у Казанского собора, после которой я попал в Пересыльную тюрьму и получил таким образом первое тюремное крещение. Теперь начинаю с рассказа о нем первое введение в настоящую книгу.

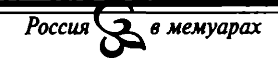
Прошло после этого первого крещения почти двадцать лет — и в 1919 году крещение повторилось уже в «самой свободной стране в мире», в Стране Советов. Рассказ об этом «анабаптизме» составляет второе введение в предлагаемую книгу. Дальше идет давно написанный многострадальный «Юбилей», чудесно избежавший и могилы в земле, и могилы среди досок «буфета», и сожжения в крематории НКВД. Заключает все это рассказ о тюрьме 1937—1939 годов, надеюсь, последней в моей жизни. Я знаю, что все рассказываемое мною — мелко и ничтожно по сравнению с тем, что переживали десятки и сотни тысяч сидевших в советских тюрьмах, концлагерях, изоляторах в течение долгих лет. Великое дело, подумаешь, в общей сложности года три тюрьмы и столько же лет ссылки неподалеку от культурных центров России! Но мне кажется, что и тот тюремный быт, который я описываю, и те следственные методы, объектом которых был не я один, заслуживают описания и закрепления на бумаге —

Молодцам юным на поучение,
Всем на услышание...

Иванов-Разумник

Апрель, 1944
Кониц

4 — 1478



ПЕРВОЕ КРЕЩЕНИЕ

I

Время действия — полдень 4 марта 1901 года, место действия — площадь у Казанского собора в Петербурге. Площадь залита многочисленной толпой: студенты «всех родов знания», главным образом универсанты, но много и технологов, и горняков, и путейцев; молодые девушки — слушательницы Высших женских курсов[12]. Много и штатских людей, среди них немало и пожилых. Вижу в толпе седобородую и всегда весело оживленную фигуру известного публициста Н.Ф. Анненского; неподалеку от меня две восходящие марксистские звезды — ходившие тогда в социал-демократах П.Б. Струве и наш университетский профессор М.И. Туган-Барановский. Но молодежь — преобладает, заливает густою толпой всю громадную площадь. Тротуары Невского проспекта тоже залиты и просто любопытствующими, и втайне сочувствующими зрителями: всем известно, что ровно в полдень, когда ударит пушка с Петропавловской крепости, студенты пойдут демонстрацией по Невскому проспекту.

На демонстрацию эту созвал нас подпольный студенческий Организационный Комитет, чтобы выразить этим протест против мероприятий министра народного просвещения Боголепова, создателя «временных правил» о сдаче в солдаты студентов, наиболее замешанных в бурно развивающемся студенческом движении. Боголепов был убит выстрелом бывшего студента Карповича 14 февраля 1901 года[13], но «временные правила» не были отменены. В виде протеста мы объявили забастовку в стенах университета, а теперь заключали ее демонстрацией на улицах города; тысячи студентов отозвались на призыв Организационного Комитета. Среди толпы — и я, рядовой студент; через год я буду уже в Организационном Комитете, в центре, направляющем новую волну студенческого движения, забастовок и демонстраций.

История студенческого движения конца девяностых и начала девятисотых годов давно уже и подробно описана[14]. Бурно вспыхнуло оно 8 фев-

раля 1899 года, после избиения конной полицией под командой поручика Галля (за этот подвиг получившего ряд наград), избиения нагайками толпы студентов университета, мирно возвращавшихся по домам после далеко не мирного университетского акта, где освистан был ректор, профессор Сергеевич, даровитый ученый и бездарный политик. После этого студенческое движение перекатилось и на 1900 год, залило собою все высшие учебные заведения всей России. Министр народного просвещения Боголепов не придумал для подавления движения ничего лучшего, как сдачу в солдаты на срок от одного года до трех лет главных «зачинщиков», чем одновременно разъярил студентов и оскорбил офицерство: разве армия — каторжное учреждение, куда надо ссылать преступников! Боголепов пал жертвой своей политики, а движение давно уже перелилось за университетские стены. В прокламации, выпущенной 4 марта, Организационный Комитет (официально именовавшийся «Советом объединенных землячеств и студенческих организаций») обращался не только к студенчеству, но и ко всему русскому обществу: «Выступая на защиту попранных прав человека, на борьбу за них на общественно-политическом поприще, мы обращаемся ко всем слоям общества. Идите с нами!»

Итак — мы на площади; шумно оживленная, нервно возбужденная толпа — и ни одного полицейского. Полиция, пешая и конная, вместе с отрядами казаков, до поры до времени запрятана во дворах прилегающих к площади домов. Ждем сигнала. Ударила полуденная пушка — и началось...

В середине площади, в густой толпе молодежи, развернулся красный флаг — и в ту же минуту распахнулись ворота домов на Казанской улице и Екатерининском канале, отряды казаков врезались в толпу, работая наотмашь нагайками. Вопли боли и ярости, кровь, стоны раненых; крики негодования зрителей, которых пешая и конная полиция, разгоняя, избивала на тротуарах. Случайно попавший в толпу князь Вяземский в негодовании прикрикнул на полицию — но тщетно! Избиение продолжалось, а князь Вяземский на другой же день подвергся высочайшей каре «за неуместное вмешательство в действия полиции». Когда я, через месяц после этого, увидел Н.Ф. Анненского — еще сохранившиеся на его лице синяки красноречиво свидетельствовали о том, что кулаки полицейских работали не хуже казацких нагаек. Один из казаков, хлеща нагайкой направо и налево, пробивал грудью лошади дорогу к середине площади через толпу студентов; он наотмашь ударил меня нагайкой по лицу. Если

бы удар пришелся немного выше, по виску, мне не пришлось бы теперь писать этих строк; но, по счастью, удар пришелся ниже и только на всю жизнь повредил левый глаз.

Полная победа в несколько минут оказалась в руках казаков и полиции; мы были разгромлены, избиты, оттеснены к ступеням Казанского собора, куда и ввалились всей толпой, поддерживая раненых; их мы сложили на мраморные скамьи около гробницы Кутузова. Собор наполнился стонами раненых, плачем девушек, возгласами толпы; какой-то высокий студент, вскочив на мраморную скамью, обратился к нам с речью, но его никто не слушал, кроме, вероятно, филеров и шпиков в студенческой форме: много было их тогда рассеяно в толпе. В соборе заканчивалось воскресное богослужение, прерванное нашим появлением, шумом и криками; из алтаря появился командированный священником дьякон, чтобы держать нам увещевательную речь:

— Звери вы или люди? Врываетесь, безбожники, во храм, где идет божественное служение, фуражек не снимаете, бесчинствуете... Устыдитесь!

— Отец дьякон, не мы бесчинствуем, а полиция, — взгляните на окровавленных и раненых; нас загнали в собор, мы не доброю волей сюда вошли...

Раздались и другие возгласы, менее сдержанные и мало лестные для отца дьякона; он поспешил скрыться в алтарь, предоставив все дальнейшее небесной воле и земному начальству.

Земное начальство вскоре появилось в соборе в образе бородатого полицейского полковника, пристава Казанской части. Собор к тому времени до отказа наполнился студентами, искавшими спасения от продолжавшегося на площади избиения и начавшихся арестов. Встреченный вполне враждебно и выслушавший немало «комплиментов» по своему адресу и адресу полиции, бравый пристав ничуть не смутился и обратился к нам с речью такого содержания: западные врата собора широко открыты для тех, кто пожелает спокойно уйти домой, доказывая этим, что их присутствие на площади было случайным и что они — граждане вполне благонамеренные; оставшиеся будут рассматриваться как бунтовщики, и с ними будет поступлено по всей строгости закона; он дает нам полчаса времени на размышление и на исход из храма, после чего оставшихся арестуют («надеюсь, что таковых не будет!»), и пусть они пеняют сами на себя, — сказав эту вразумительную речь, пристав ушел, посмотрев на часы и заявив,

что ровно в час дня он снова явится в собор, чтобы посмотреть, исполнено ли его предложение. Не для того мы шли на демонстрацию, чтобы доказать свою гражданскую благонамеренность! Но надо сказать правду, что после речи пристава толпа в соборе стала редеть и редеть: многие то небольшими группами, то поодиночке, конфузливо таясь, стали пробираться к «западным вратам». Легкораненых мы сами уговаривали уйти; более тяжело избитых товарищей уводили под руки (наиболее тяжело раненные были подобраны полицией на площади). Когда через истекшие полчаса пристав снова явился в собор, в нем оставалось только человек пятьсот-шестьсот студентов и сотня курсисток. Пристав развел руками, сказал: «Вы сами этого хотите» — и предложил нам выходить через «западные врата» на Казанскую улицу, где нас уже ожидал сильный наряд полиции, окруживший нас и во главе с приставом направивший наши стопы прямо в полицейскую Казанскую часть, что неподалеку от Мариинского театра. Нас ввели во двор этого участка, заперли за нами ворота — и предоставили с часа дня и до позднего вечера проводить время по собственному нашему усмотрению. В середине дня нам дали хлеба, который мы по-братски между собой поделили. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Среди толпы студентов и курсисток выделялось только несколько штатских, а среди них — почтенные марксистские Диоскуры, П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановский.

Других студентов, арестованных на площади Казанского собора, развозили уже по разным тюрьмам Петербурга. Как мы потом узнали, в этот день арестовано было около полутора тысяч студентов.

II

Погода была самая мартовская, промозглая; стал хлопьями падать мокрый снег. В легком студенческом пальто я совсем продрог и мечтал о теплой комнате, о стакане горячего чая... Неожиданный случай помог немедленному исполнению этих желаний.

Ко мне, одиноко стоявшему в глубине двора и примачивавшему мокрым снегом больной глаз, подошел тот самый бородатый пристав и спросил, не могу ли я помочь своими услугами раненому товарищу, студенту, он раньше нас попал в участок и теперь лежит в полицейской канцелярии. Я охотно согласился следовать за столь сердобольным приставом, и он повел меня грязной лестницей на четвертый этаж, в канце-

лярию полиции. В ней, несмотря на воскресенье, кипела работа — перья строчили, телефоны звонили; но никакого раненого студента не оказалось. Войдя в канцелярию и предложив мне сесть на диван, пристав подошел к телефону: «Ваше высокопревосходительство! Мною арестован тот студент, который на площади выкинул красный флаг, а потом в соборе произнес возмутительную речь. Как прикажете с ним поступить? — И на какой-то телефонный ответ почтительно сказал: — Слушаюсь, будет исполнено», — после чего повесил трубку и, уходя, бросил мне:

— Сидите тут!

На мои изумленные протесты, что я ни флага не выкидывал, ни речи не произносил, бравый пристав кратко сказал:

— Я знаю, что знаю, — и ушел. А полицейские чины стали перемигиваться и пересмеиваться, очень довольные ловкостью своего начальника.

— Это неважно, что вы — не вы, — сказал мне один из них, — а ему важно, чтобы вы были вы...

Аргумент был понятный, и я перестал спорить. А когда вскоре после этого чиновники, по-видимому вполне сочувствовавшие мне, предложили мне стакан чая, то я весьма примирился впредь до новых событий со своей участью: теплая комната, горячий чай — это было как раз то самое, о чем мечтал я на холодном дворе под мокрым снегом, где продолжали мерзнуть мои менее счастливые товарищи.

Стемнело; полицейские чины разошлись по домам, оставив двух ночных дежурных, зевавших и не знавших, как убить время; бурный рабочий день кончился. Вдруг они вскочили и встали навытяжку: в комнату вошел со свитой, звеня шпорами, какой-то важный военный, старик-генерал весьма добродушного вида. Задав несколько вопросов чиновникам, он с пренебрежением обратился ко мне:

— Филер?

Я в коротких словах объяснил генералу, кто я, как сюда попал и почему я здесь. Он пожал плечами:

— Господин студент, можете идти во двор к своим товарищам, — и ушел со своей свитой, а я спустился во двор к промерзшим и весь день простоявшим на ногах товарищам, благодарный карьеристу-приставу за тепло и диван в полицейской канцелярии. Больше я ничего не слышал ни об этом приставе, ни об его возведенных на меня обвинениях.

Было уже часов девять вечера и совсем темно, когда во дворе участка вновь появился наряд полиции; нас впервые пересчитали, а потом снова

окружили и повели по улицам затихавшего города к манежу Конногвардейского полка, что рядом с Исаакиевским собором; так начали мы утром путь от одного собора, а вечером пришли к другому. Манеж — громадный, усыпанный песком для верховых экзерциций; наша толпа в несколько сот человек распылилась в нем, точно горсточка людей. Курсисток и немногочисленных штатских с нами не оказалось — их отвели куда-то в другое место. У ворот манежа, ярко освещенного электрическими шарами, но до жути холодного, столпились офицеры Конногвардейского полка, рассматривавшие нас точно редких зверей в зоологическом саду; за ними виднелись любопытствующие лица солдат. Однако офицеры отнеслись к нам вполне благожелательно и велели сейчас же принести нам вороха соломы для устройства неприхотливого ночного ложа. Пока солдаты втаскивали десятки и сотни снопов соломы, я подошел к одному из офицеров, показавшемуся мне наиболее симпатичным, и попросил его, нельзя ли отправить с солдатом записку моим родителям; они, узнав о демонстрации на Казанской площади, должны сильно беспокоиться о своем без вести пропавшем сыне. Офицер любезно согласился, и я тут же набросал карандашом на вырванном из записной книжки листке бумаги несколько строк о том, что я жив, здоров и ничего плохого со мной не приключилось. Записку я вручил указанному мне офицером солдату, приложив к ней для поощрения серебряный рубль; моему примеру последовали и другие товарищи, имевшие родных в Петербурге. Так что солдаты немало заработали в тот вечер, благодаря судьбу за то, что «студенты бунтуют»...

Потом я узнал, что уже около полуночи солдатик заявился к моим родителям на Чернышев переулок у Пяти Углов (долго искал), передал записку, отказался принять «на чай», сообщив, что «господин студент уже отблагодарили», и вообще утешил заявлением, что господа студенты в манеже — «веселые и песни поют»...

И действительно — молодость брала свое. Не успели мы разбиться на группы, провинциалы по «землячествам», и устроиться на соломенных ложах, как из разных углов манежа уже раздались веселые хоровые песни. В одном углу хор отхватывал ядовитую и вполне оправдывавшую себя в этот день «Нагаевку»; в другом углу раздавалась игривая «Марусенька чернобровка»; в третьем углу более серьезные товарищи затягивали революционное «Смело, товарищи, в ногу»; в четвертом совсем уже легкомысленные окружали запевалу, по-диаконски возглашавшего:

Вот до зела упившись,
С пирушки возвратившись,
Стоит поп, ухилившись,
Наклонительно...

И хор подхватывал на церковный лад: «Наклонительно, наклонительно, наклонительно». В середине манежа грузинские земляки, составив круг, под хлопанье в ладоши, вскрики и взвизги, откалывали лезгинку. В огромном манеже все эти группы не заглушали друг друга своим пеньем; стоял только общий гул, иногда прерываемый взрывами хохота. А когда в каком-либо углу заводили наш студенческий гимн, то весь манеж подхватывал:

Гаудеамус игитур
иувенес дум сумус...

Действительно — веселились вволю. Более серьезные товарищи, разбившись на группы, вели под шум и гомон жаркие споры на животрепещущие политические и социальные темы; борьба марксизма с народничеством была тогда в полном разгаре.

Офицеры, полюбовавшись всем этим бесплатным и необычным для них зрелищем, разошлись; пенье и разговоры понемногу смолкли; наступала ночь. Но немногие могли сомкнуть глаза, — холод давал себя чувствовать — и заснуть было более чем трудно. Зароешься в солому, сожмешься в своем подбитом рыбьим мехом пальтишке, начнешь дремать — не тут-то было! Ноги замерзнут, весь скоченеешь — и через минуту вскакиваешь, чтобы пробежаться по манежу и хоть немного отогреться; вновь приляжешь на несколько минут — и опять начинай сначала. В эту ночь я серьезно простудился и заболел на всю жизнь, о чем еще будет случай сказать впереди.

Но всему бывает конец, пришел конец и этой томительной ночи. С рассветом мы поднялись — продрогшие, сонные, вялые; о песнях никто уже и не думал. Чтобы согреться и встряхнуться, одни затеяли бег с тотализатором по песчаному грунту манежа; другие в его центре устроили круг для любителей французской борьбы. Но все это мало забавляло, шло вяло и сонно; все ожидали скорейшего изменения в судьбе, — не все же будут держать нас в лошадином манеже! И верно — часов в десять утра ворота манежа снова распахнулись, вместо офицеров снова появился наряд полиции, — и нас постепенно стали выводить, пересчитывая, группами по двадцать человек и усаживать в пароконные дилижансы. В те годы

трамвай еще не ходил по Невскому проспекту, его заменяла конка, а параллельно с ней ходили по Невскому, по Гороховой и по другим главным артериям города допотопные омнибусы; несколько десятков таких экипажей и стояло теперь у ворот манежа. Я попал в одну из самых последних групп, когда первые дилижансы, уже совершив долгий путь в Пересыльную тюрьму, вернулись за новым грузом. Нашу двадцатку втиснули в такой омнибус, на задней площадке поместился кондуктор; хотя мы и были безбилетными пассажирами, но на обязанности кондуктора было следить за целостью и сохранностью вверенного ему дряхлого экипажа. Рядом с кондуктором поместился на площадке городовой, отвечавший уже не за экипаж, а за его груз и долженствовавший сдать нас по счету под расписку администрации тюрьмы.

Сели — и покатили, навстречу неизвестности и неожиданности. И поистине — неожиданность не заставила долго себя ждать. Вчера я хоть минуту, да ходил в «филерах», сегодня мне предстояло удовольствие очутиться в «провокаторах».

III

Мы ехали по узкому и шумному Вознесенскому проспекту; люди останавливались и глазели на наш громыхающий экипаж: «Студентов везут!» Какая-то сердобольная женщина долго крестила нас вдогонку, — может быть, и ее сын разделил нашу участь, а может быть, и просто добрая душа сказалась. Но не все отнеслись к нашему кортежу столь сочувственно. Когда на углу Вознесенского и Садовой поравнялись мы с Александровским рынком, то какой-то парень швырнул в нас увесистым камнем. Камень разбил стекло, оцарапавшее нас осколками, дилижанс остановился, и кондуктор бросился ловить злоумышленника. Последний скрылся в толпе, а встревоженный кондуктор вернулся на свой пост и стал царапать протокол о случившемся, попросив нас расписаться, как свидетелей того, что он не виноват «в разбитом стекле». Мы подписались и дали свой адрес: «Пересыльная тюрьма». На все это ушло немало времени, последние дилижансы с нашими товарищами нас уже обогнали, наш страж городовой весьма волновался и торопил продолжением пути. Двинулись дальше — и совсем последними прибыли в тюрьму, где подлежащее начальство стало тоже волноваться — куда провалились сквозь землю два десятка студентов? Все ранее прибывшие уже были размещены по каме-

рам, причем в каждой из них для нас было оставлено по одной свободной койке.

Меня провели в третий этаж и впустили в камеру, где на двадцать мест было уже девятнадцать студентов; свободной оставалась последняя койка у самого окна. Я вошел, поздоровался с товарищами — и был встречен гробовым молчанием. Дело было в том, что оставленная пустая койка навела студентов на подозрение — не предназначена ли она для «провокатора» в студенческой форме? Совершенно не понимая причин враждебной встречи, я рассказал товарищам о нашем приключении по пути в тюрьму. Рассказ был встречен с явным недоверием; чей-то холодный голос иронически сказал:

— Неплохо придумано!

Другой скептически прибавил:

— Только белыми нитками шито!

А третий ехидно-вежливо сообщил:

— А вам, коллега, заботливое начальство и местечко приготовило!

— Всем нам уготовано местечко, — сухо ответил я и прошел на указанное мне место, все еще не уразумев, в чем дело, а товарищи стали разговаривать между собой, не обращая на меня никакого внимания. Оскорбленный всем этим нетоварищеским отношением, я молча растянулся на своей койке и тотчас же крепко заснул, наверстывая часы бессонной ночи в манеже.

Когда через два-три часа я проснулся, товарищи уже отобедали, не пожелав для этого разбудить подсаженного к ним провокатора.

— А мы вас, коллега, не разбудили к обеду, — при всеобщем молчании изысканно-вежливо обратился ко мне уже выбранный камерой студент-староста, — вы, вероятно, уже покушали в другом месте. А кстати, не будете ли вы любезны сообщить, какого вы факультета?

— Математического, третьего курса.

— Как жаль! У нас здесь все юристы, естественники, восточники, математиков нет. Очень, очень жаль! Но может быть, вы все-таки будете любезны назвать нам фамилии главных профессоров вашего факультета?

Тут только догадался я о подозрении товарищей. Я сказал, пародируя изысканно-вежливый тон старосты:

— Не будете ли вы, в свою очередь, любезны, коллега, сообщить мне, нет ли среди вас филологов?

— Филологов нет.

— Как жаль! А то они могли бы подтвердить вам, что я, будучи на математическом, одновременно прохожу курс и на филологическом факультете, а также принимаю участие в кружке студентов-филологов у профессора Лаппо-Данилевского[15]. Очень, очень жаль! Но среди вас есть, вы сказали, студенты-естественники?

— Естественники есть.

— Как хорошо! В таком случае они должны знать студента-естественника третьего курса Александра Лекаста[16].

— Лекаста все знают! Он мой товарищ по курсу, — отозвался чей-то голос.

— А мой двоюродный брат, — сказал я.

Моего кузена Лекаста действительно знал весь университет. Он постоянно выступал на собраниях, прославился остроумно-едкими речами, был основателем подпольной студенческой «Кассы радикалов», в которой и я принимал участие. Его последующая жизнь была столь красочна, что заслуживает отдельного рассказа, которому здесь не место. Арестованный на площади Казанского собора, он сидел теперь в другой студенческой тюрьме — в Крестах на Выборгской стороне.

— Простите, коллега, — сказал староста совсем другим тоном. — Как ваша фамилия?

Я назвал себя. Фамилия была известна ряду студентов, так как в «Отчете С.-Петербургского Университета за 1900 год», который все мы, студенты, читали, она была приведена при перечислении докладов, зачитанных мною в кружке под председательством А.С. Лаппо-Данилевского. А один из них, недавно зачитанный на злободневную тему, «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции»[17], произвел даже некоторый шум в студенческих кругах.

Староста с извиняющейся улыбкой протянул мне руку:

— Ну, коллега, извините нас! Дураков мы сваляли! — и рассказал мне о возникших у них подозрениях по поводу оставленной «для провокатора» койки. Товарищи окружили меня, пожимали руку, извинялись, знакомились. Все хорошо, что хорошо кончается!

Инцидент был исчерпан. Столь же благополучно были исчерпаны такие же инциденты и в других камерах.

Но все же — как неприятно хоть несколько часов «ходить в провокаторах»!

IV

Итак — я в тюрьме! — в первый, хотя, как оказалось, к сожалению, и не в последний раз в своей жизни. С любопытством стал я осматриваться.

Большая светлая камера шагов в пятнадцать длиною; широкое, забранное решеткой окно, а из него — далекий вид на сады Александро-Невской лавры и на южные кварталы Петербурга. Двери в коридор нет, ее заменяет передвигаемая на пазах решетка с толстыми прутьями, сквозь которые можно просунуть не только руку, но, пожалуй, и голову. Посередине камеры — длинный узкий стол и две такие же длинные скамьи; несколько табуреток. Вдоль правой стены — двенадцать подъемных коек, вдоль левой — восемь, а в левом углу — сплошная железная загородка в рост человека, за ней — уборная, культурные «удобства» с проточной водой, раковина и кран. Какой-то остряк, пародируя наши студенческие «временные правила», уже вывесил в этом укромном уголке «временные правила» для пользования сим учреждением: воспрещается входить в него за час до и час после обеда и ужина. Койки — легкие, подъемные: холст, натянутый между двумя толстыми палками, и небольшая соломенная подушка; поднимал и прикреплял к стене свою койку кто хотел. Тепло — паровое отопление. Чисто — ни следа тюремного бича, клопов, им негде было завестись. Чистые стены, выкрашенные масляной краской. Вообще — тюрьма образцовая.

Зато поведение наше в этой тюрьме было далеко не образцовое, с точки зрения тюремной администрации. С первых же дней нашего пребывания мы завоевали себе такие вольности, что тюрьма превратилась в какой-то студенческий пикник. Шум, хохот, хоровые песни гремели по всем камерам; мы отвоевали себе право по первому же нашему желанию выходить в коридор и посещать товарищей в соседних камерах; коридорный страж то и дело гремел ключами, выпуская и впуская нас. На третий день начальству это надоело — и решетчатые двери в коридор были раз навсегда открыты и днем, и ночью; мы могли свободно путешествовать по всему этажу, воспрещено было только спускаться на второй этаж, где сидели курсистки, отвоевавшие себе такие же права. В первый этаж согнали «уголовников», с которыми мы немедленно вступили в общение, спуская им из окна на веревках и записки, и папиросы, и всяческую снедь.

Чем и как кормила нас тюрьма — совершенно не помню, да это и не представляло для нас ни малейшего интереса: уже на второй или третий

день разрешены были неограниченные передачи с воли. Наша камера была особенно богатой, так как в ней оказалось большинство петербуржцев и мало провинциалов. Что ни день, то один, то другой из нас получал богатые передачи от родных и знакомых. Я получал огромные домашние пироги; семья милых друзей, Римских-Корсаковых, присылала мне целые корзины с фруктами — яблоками, грушами, апельсинами, виноградом. Другие товарищи получали столь же обильные дары. Мы осуществили коммунизм потребления: все получаемое складывалось на стол, и староста делил на двадцать частей. Но съесть все оказывалось невозможным; тогда мы связывали остатки в газетный пакет и спускали на веревочке в первый этаж, уголовникам, откуда тем же путем приходила благодарственная записка. Известный табачный фабрикант Шапшал, сын которого разделял нашу участь, прислал нам 10 000 папирос, время от времени повторяя такой подарок; выкурить все было невозможно, и мы снова делились присланным с первым этажом, доказывая этим свою «сознательность».

Через неделю были разрешены свидания, — они тоже представляли собою нечто вполне необычное в тюремных условиях. В обширной зале первого этажа, заполненной столами и скамьями, собирались два раза в неделю после полудня родные, друзья и знакомые заключенных студентов и курсисток. Нас поименно выкликали по камерам — «на свидание!»; мы спускались вниз и попадали в жужжащий улей, не сразу ухитряясь найти в нем родных и друзей; усаживались за столами. Надзора никакого, да и какой надзор возможен в толпе из сотни посетителей и стольких же арестантов и арестанток? К студентам без родни в городе приходили фиктивные «невесты», к курсисткам — такие же «женихи»; к одному из коллег пришли три невесты сразу, так что начальник тюрьмы, вызвав к себе счастливого жениха, попросил установить его, какая же из трех невест — настоящая? Но в том-то и дело, что «настоящей» среди них не было; тогда невесты эти решили ходить по очереди. Шум и веселье царили на этих необычных тюремных свиданиях, а если какая-нибудь старушка и утирала слезы, оплакивая заблудшего сына, то старалась делать это втихомолку. Час свиданья проходил незаметно, и мы веселыми группами возвращались в свои камеры, еще на лестнице начиная распевать песни.

Нечего сказать, «тюрьма»![18]

Но не все же песни; были в камерах и установленные нами самими часы добровольного молчания после обеда — «мертвый час», когда не разрешалось не только петь, но даже и разговаривать: часы чтения и работы. Книг

было передано нам множество, и выбор чтения был большой. В эти часы я сумел написать давно задуманную работу по исчислению конечных разностей, — «на воле» все не хватало времени для этого. Мой сосед, филолог, по прозванию Юс Большой, копался в это время в санскритской грамматике, а один из юристов работал над кандидатской темой о величине воспроизводства в капиталистическом обороте. Но надо правду сказать, что мы плохо соблюдали поговорку — делу время, а потехе час, предпочитая, наоборот, предоставлять час делу, а остальное время отдавать потехе. В самой большой камере, так называемой «восточной», устраивались из столов настоящие подмостки для театра, где почти каждый вечер давались импровизированные представления, концерты, скетчи[19]. Иногда представления заменялись докладами и лекциями на разные темы, с последующим горячим обменом мнений. Я повторил тут свой доклад «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции»; доклад вызвал много споров, и слухи о нем докатились до второго этажа. Курсистки послали делегацию к начальнику тюрьмы с просьбой, чтобы и им была дана возможность прослушать этот доклад. Разрешение было дано, и вот в какой курьезной обстановке он состоялся. В назначенный для него день, к семи часам вечера всех курсисток «уплотнили» в самой большой камере второго этажа, входную решетку задвинули и заперли, а в коридоре перед нею поставили столик и стул для докладчика. Начальник тюрьмы пришел за мной, привел меня на второй этаж — и сам присутствовал на чтении моего доклада, хотя и не принял участия в последовавших прениях...[20] Да, много курьезного было в нашей тюремной жизни!.

Не обошлось и без скандала. В одной из камер группа «безбожников» (такого звания тогда еще не было, но такие люди всегда были) решила по случаю Великого поста разыграть мистерию в стихах «Воскрешение Лазаря». Взяли «усопшего Лазаря», положили его на стол, «обвили пеленами» (обмотали полотенцами), обвязали веревками — и с пением надгробных песен под балалайку отнесли в «пещеру» (описанную выше уборную) и «завалили ход камнем» (роль камня исполняла табуретка). Наследницы-сестры, деловитая Марфа и витающая в облаках Мария, начали ссориться из-за небогатого наследства. Марфа хотела на полученные деньги открыть шикарный мюзик-холл на одной из бойких улиц Иерусалима; Мария желала основать «Высшие курсы для жен-мироносиц». Спор разгорался, хор вмешивался, происходила перебранка.

Тут появлялся одетый в хламиду Иисус, беседовал корявыми стихами с Марфой и Марией, старался их помирить, а хор подвывал на мотив церковных песнопений: «Так, Господи!», «Тебе, Господи!», «Господи, помилуй!». Видя, что примирить сестер не удастся, Иисус решил воскресить Лазаря:

О, сестры, ныне зрите чудо:
В пещере хоть и пахнет худо,
Но аще верит кто — умрет,
Да после паки оживет!

Сестры-наследницы в ужасе умоляли не делать этого чуда, но Иисус подходил к «пещере», отваливал «камень», — хор шарахался:

Что делаешь! Глядите обе!
Четыре дня, как он во гробе;
Уже смердит, —

и все, зажимая носы, пятились от уборной:

Уже смердит!
Ужасный запах!
Ужасный вид —
У смерти в лапах!

Но Иисус возглашал: «Лазарь, изыди!», и Лазарь, «повитый пеленами», сбрасывая их на ходу, появлялся из «пещеры» и начинал под балалайку плясать камаринскую, припевая:

Хоть и умер, хоть и умер, да воскрес!
Ах, спасибо, ну, спасибо те, Христос!

Все это было в достаточной мере глупо, хотя и далеко еще не доходило до тех кощунств, к каким большевики через двадцать лет старались приучить советскую молодежь. Мистерия с треском провалилась, но вызвала при этом бурю протеста верующих товарищей; их было ничтожное меньшинство, но к ним примкнуло и большинство студенчества. Инициаторам мистерии было вынесено порицание, ибо-де можно не верить, но никому не дано права оскорблять чужую веру. Этот инцидент был единственным, на несколько дней омрачившим нашу товарищескую атмосферу.

Что же еще? Любители карт «винтили» с утра и до вечера. Был устроен «общекамерный шахматный турнир Пересыльной тюрьмы», в котором приняло участие после строгого предварительного отбора пятнадцать человек: играя тогда в первой категории, я легко выиграл все четырнадцать партий подряд и получил приз — красиво разрисованный диплом на звание «шахматного тюремного чемпиона»...

Да, нечего сказать, «тюрьма»!

Конечно, я описываю исключение, а не правило.

Многие тюрьмы царской России были похожи не на этот студенческий рай, а скорее на мрачные преисподние; особенно славились в этом отношении Рижская тюрьма, Орловский централ, а позднее, после революции 1905 года, каторжная тюрьма в Шлиссельбурге и ряд провинциальных тюрем; о застенках в советском парадизе уж и не говорю, — речь о них будет впереди. Пока же я описываю первую свою опереточную тюрьму, какой она действительно была: и в виде заключения расскажу, характеризуя ее, смешной анекдот, не очень умным героем которого был я сам.

В феврале этого года приехал на свои первые гастроли в Петербург Московский художественный театр; простояв ночь на морозе в очереди у кассы, я и другие студенты и курсистки добыли себе абонементные билеты на шесть предстоявших в марте спектаклей. До 4 марта удалось повидать первый из них, «Дядю Ваню», который всех нас свел с ума; «Доктора Штокмана», где потряс своей незабываемой игрой Станиславский, я увидел, насколько помню, уже после тюрьмы[21]. Но так или иначе — пьесы шли, абонементный билет лежал у меня в кармане, а я сидел как-никак, в тюрьме — такая обида! И вот я от великого ума отправился на аудиенцию к начальнику тюрьмы и держал ему примерно такую речь: сегодня вечером в Художественном театре идет такая-то пьеса (насколько помню, «Одинокие» Гауптмана[22]), а у меня пропадает абонементный билет. Разрешите мне на этот вечер выйти из тюрьмы, — даю честное студенческое слово, что не подведу вас и не позднее двенадцати часов ночи снова займу свое место в камере.

Начальник тюрьмы — иронический был человек! — вежливо и с наружной серьезностью объяснил мне, что он вполне верит честному слову господина студента, но не думает ли господин студент, что из сотен заключенных товарищей и товарок могут найтись многие десятки, в карманах которых лежат такие же абонементные билеты? Он охотно отпустил бы на честное слово господина студента, но тогда придется на том же основа-

нии и туда же выпустить целый скоп людей; не думает ли господин студент, что это было бы во многих отношениях неудобно, а для него, начальника тюрьмы, даже и невозможно?

Я согласился с этими доводами и, несолоно хлебавши, возвратился в камеру. Воображаю, как хохотал, выпроводив меня, начальник тюрьмы; да и я еще до сих пор со смехом вспоминаю эту свою глупую эскападу. А все-таки: при каких других условиях тюремной жизни возможна была бы у заключенного самая мысль о такой дикой просьбе?

V

Каким образом все это было возможно? Отчего не были пресечены строжайшими мерами, столь свойственными полицейскому режиму, наши тюремные студенческие вольности?

Как известно, демонстрация 4 марта показала правительству, что боголеповский курс репрессий и сдачи студентов в солдаты не привел к успокоению; решено было немного отпустить вожжи и попробовать утихомирить студенчество и общество (ибо «студенчество — барометр общества» — было ходячей истиной), попробовать успокоить закусившего удила коня не шенкелями, хлыстом и шпорами, а кусочками сахара и ослаблением узды. Целый год продолжалась эта политика: студенты, сданные в солдаты, были возвращены в университет; с осени 1901 года был официально учрежден студенческий «совет старост». Как известно, ничто не помогло, и через год пришлось вернуться к репрессивным мерам, негодность которых была уже испытана. Университет и общество катились к 1905 году.

Но пока что мы сидели в Пересыльной тюрьме, готовые на все худшее, но надеясь на все лучшее. Взрыв ликования произвело у нас известие о выстреле 8 марта Лаговского в ненавидимого всеми Победоносцева[23]: в «восточной» камере, вместо назначенного концерта, был устроен митинг с политическими речами (ну и «тюрьма»), — мы с нетерпением стали ожидать и дальнейших событий, и решения своей участи.

Недели через полторы прибыли в тюрьму жандармские офицеры, и нас пачками стали вызывать на допросы. Дошла очередь и до меня, — я предстал перед сухо-вежливым, неистово курящим и безмерно скучающим жандармским ротмистром. Он предложил мне заполнить анкету (сколько их я впоследствии заполнял в своей тюремной жизни?); в ней после обычных биографических вопросов ставился упор на два пункта: во-первых,

состоите ли вы членом какой-либо партии или организации, и, во-вторых, с какой целью явились вы на демонстрацию 4 марта? Мы заранее решили отвечать на эти вопросы однотипно (чем, вероятно, и объяснялось скучающее выражение лица жандарма): в организациях и партиях не состоим, на площадь Казанского собора явились 4 марта с исключительной целью протестовать против сдачи в солдаты наших товарищей. Анкета была быстро заполнена, жандарм бегло просмотрел ее и сказал: «Вот и все; можете идти».

При таком порядке допросов неудивительно, что несколько сот человек были допрошены в три-четыре дня. Прошла еще неделя — в тюрьму явились те же жандармы и предъявили каждому из нас именную бумагу, гласившую, что имярек такой-то исключен из университета и высылается из Петербурга; предлагается самому ему выбрать то место или город (за исключением университетских), в коем он желает иметь местожительство.

— Какой же срок этой ссылки? — спросил я.

— Это не ссылка, а высылка, — ответил жандарм, — срок же будет определен дальнейшими постановлениями власти. Напишите здесь точный адрес места, какое вы избираете для жительства.

Я написал: имение Д[анилишк]и, [Ковен]ской губернии, П[аневеж]ского уезда; это было имение семьи моего кузена, профессора П.К. Яновского, где я проводил почти каждое лето, теперь мог встретить и весну. Жандарм сообщил нам, что завтра же все мы будем освобождены и должны будем дать подписку о выезде из Петербурга в недельный срок; в случае невыезда будут приняты «решительные меры».

Наступило «завтра». Шумное прощание с товарищами, овация начальнику тюрьмы (с речью одного коллеги: «Хоть вы и тюремщик, а все-таки хороший человек! Желаем вам перестать быть тюремщиком и остаться человеком!»). И всего-то нашего пребывания в этой необычайной тюрьме было меньше трех недель.

Всей нашей очень сдружившейся камерой отправились мы прямо из тюрьмы к фотографу и снялись группой; фотография эта сохранилась у меня до разгрома моего архива войной 1941 года. Потом — по домам: объятия, слезы, соболезнования. Потом — на 10-ю линию Васильевского острова, в знаменитую студенческую «столовку»: веселые встречи с товарищами, выпущенными из других тюрем. Потом — шумная неделя предотъездных сборов, ликвидации университетских дел, хождение в полицию для

выправки «проходного свидетельства». А все же успел я побывать на спектакле Московского художественного театра!

И вот я в деревне, отдыхаю от тюрьмы (было от чего!) и от бурно проведенного университетского года[24]. Первый раз в жизни встречаю в деревне весну. Конец марта, начало апреля, Пасха; жаворонки давно уже прилетели, стаивает последний снежок; через месяц распустится сирень и защелкают соловьи.

Но ни до соловьев, ни до сирени не привелось мне дожить в деревне. В апреле месяце министром народного просвещения был назначен генерал Ванновский, чтобы начать-закончить собою кратковременную эпоху «сердечного попечения» о студенчестве. В конце апреля я получил официальную бумагу: имярек сим извещается, что он снова принят в университет и имеет право вернуться в Петербург для продолжения учебных занятий и сдачи экзаменов.

И вот я снова в Петербурге, в университете, в «столовке», в шумном потоке студенческой жизни. Генерал Ванновский обещает «серьезные реформы» в университетской жизни с начала осеннего семестра. Экзамены, снова деревня на все лето[25] — и осень 1901 года в Петербурге, когда для университета должна взойти «заря новой жизни»...

VI

Заря новой жизни не взошла, «сердечное попечение» не удалось, кратковременная либеральная «весна» осеннего семестра закончилась полицейскими вьюгами семестра весеннего, университетские бури продолжались в 1901—1902 году ускоренным темпом, хотя и в новой форме. Для истории революционного движения этих лет следовало бы подробно описать все перипетии этого бурного года, но здесь не буду уклоняться от темы тюрем и ссылок и буду краток.

К началу учебного года была введена в университете обещанная реформа: был организован институт избираемых студенчеством старост; до этих пор каждый студент рассматривался правительством как «отдельный посетитель университета», теперь студенчество официально было признано организацией, была разработана университетская конституция (как и во всех высших учебных заведениях), был создан студенческий парламент. Если бы в это время конституция и парламент были даны не студенчеству,

а русскому обществу — вся дальнейшая история России могла бы пойти иначе. Но Юпитер, как известно, quem perdere vult — dementat[26].

Наш университетский парламент состоял из пятидесяти шести человек; каждый курс каждого факультета избирал своих представителей, «старост». (К слову сказать, наш «совет старост» тоже снялся большой группой, и снимок этот до последних времен тоже сохранялся у меня.) Выборы происходили по всем правилам конституционного искусства: речи кандидатов, борьба «академистов» — политически «правых» студентов — с либеральной и социалистической частью студенчества, голосование шарами. Правые потерпели полное поражение: от них прошел в старосты только один представитель второго курса филологов, Леонид Семенов, дальнейшая трагическая судьба которого отмечена в истории русской литературы[27]. От четвертого курса математического факультета в старосты был выбран я — и началась для меня бурная зима 1901—1902 года.

Студенческий парламент разделился на крайнюю правую, немногочисленный либеральный «центр», многочисленную «левую» из радикалов и социалистов. Заседания, очень частые, на которые созывали нас официальными повестками, происходили под председательством назначенного для этого университетом профессора философии А.И. Введенского; инициатива собрания должна была исходить либо от председателя, либо от группы старост, числом не меньше, чем треть старостата. Напрасно А.И. Введенский старался ввести заседания в академическое русло, увещевая нас не выходить за пределы чисто университетских требований. Куда там! Мы сразу же предъявили требования общегосударственные, вроде обуздания полицейского произвола, отмены административных ссылок и высылок, свободы слова в университете и за пределами его. Бедного профессора-председателя мы совсем затравили, — раз даже он упал в обморок после бурного заседания... От времени и до времени староста устраивал общее собрание своего курса (устраивалось и общее собрание факультета), на котором выступал с отчетом о деятельности старостата, происходили жаркие споры и прения, голосование всегда давало победу «левому» громадному большинству. Старостат, призванный успокоить студенчество, сыграл противоположную роль, — он революционировал и тех студентов, которые раньше оставались нейтральными, были «ни в тех, ни в сих». Теперь громадное большинство оказалось «в сих», студенчество левело с каждым днем. Партии социал-демократов, социал-революционеров быстро пополняли свои ряды новыми агентами, а ряды «либералов»

(будущих к[онституционных] д[емократов]) редели, не говоря уже о «правых». А так как предъявляемые на заседаниях старостата требования явно выходили за пределы академического обихода и не могли быть приняты во внимание, то правительство понемногу переходило к испытанным полицейским мерам, а студенчество — к испытанным способам протеста: забастовкам и демонстрациям. К началу 1902 года весна «сердечного попечения» закончилась, полиция снова вступила в свои права, начались аресты. Среди многих злободневных стишков ходило тогда по рукам и такое студенческое четверостишие:

Пронеслась весна быстрой птицею,
Отцвела весна, что акация, —
И попали мы вновь в полицию...
Эх, весна, весна! Провокация!

Снова образовались подпольные «организационные комитеты»; в них вошли многие из старост. Первый комитет, собравшись, сразу же намечал членов второго комитета, своего наследника, который принимал бразды правления в случае ареста членов комитета первого; точно так же поступал второй комитет относительно третьего — и так далее. Ввиду достаточного количества провокаторов в студенческой форме аресты организационных комитетов были только вопросом времени. Первый комитет был «ликвидирован» в начале января 1902 года, а к началу февраля в действие вступил уже седьмой организационный комитет, одним из членов которого был и я. И старостатом, и нашим комитетом была назначена новая демонстрация на 4 марта 1902 года — как протест против новых и столь старых полицейских мер ничему не научившегося правительства.

VII

1 марта был, однако, «ликвидирован» и наш седьмой комитет. Рано утром, в пять часов, раздался звонок, — ко мне явился полицейский пристав с городовым и двумя понятыми. Он ограничился тем, что предложил мне быть у него в участке ровно в восемь часов утра, а также решить к тому времени, в какой из городов Российской империи (кроме университетских) желаю я быть высланным. Неявка грозила, конечно, «решительными мерами».

Я был уверен, что высылка на этот раз не ограничится одним месяцем, а потому не решился избрать на долгий срок своим местожительством глухую деревню. И действительно, когда я в восемь часов утра явился в участок, пристав предъявил мне бумагу: имярек такой-то исключается из университета и высылается в (здесь оставлен был пробел для указания места) сроком на два года, с правом весною 1904 года подать прошение в университет о разрешении держать выпускные государственные экзамены[28]. Срок для устройства всех дел дается трехдневный; не позднее 3 марта имярек обязуется выехать из Петербурга в избранное им место жительства.

Я попросил пристава на месте пробела вписать «в город Симферополь», — и тут же получил приходное свидетельство для предъявления его в симферопольскую полицию, под надзором коей я должен был состоять. Симферополь я выбрал потому, что здоровье мое настойчиво требовало юга[29], и потому, что в Симферополе обитал один из моих товарищей по старостату и мог помочь мне устроиться в чужом городе. Пристав предупредил, что за мной будет следить — исполню ли я предписание о выезде из Петербурга в трехдневный срок.

Следить за этим поручено было, конечно, дворникам нашего дома, ведь все дворники были прикосновенны к полиции. Но мне обмануть и дворников и полицию было нетрудно. Вечером 3 марта я нанял извозчика, остановил его у ворот нашего дома, вынес свой немудреный чемоданчик, — дворники глазели, — уселся в сани и громко сказал: «На Николаевский вокзал!» А по пути переменил адрес, отвез чемодан к одним знакомым, ночевать отправился к другим, — и в полдень 4 марта мог лично быть на демонстрации. На этот раз она была назначена не на площади Казанского собора, чтобы избежать повторения пройденного, а вообще на тротуарах Невского проспекта во всю его длину от вокзала и до Адмиралтейства. Несмотря на будний день, все тротуары проспекта были так переполнены не только студенческой, но и штатской толпой, что протискиваться в ней было делом далеко не легким. Однако демонстрация не удалась, — она не имела центра и ограничилась многочасовой прогулкой по Невскому проспекту. В тот же вечер сел я в вагон поезда, остановился на несколько дней (на что проходное свидетельство не давало мне права) в Москве для свидания с невестой — и через неделю надолго бросил якорь в Симферополе[30]. Цвели абрикосы...

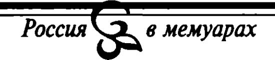
Описывать симферопольскую ссылку не буду, скажу только, что очень похожа была она по своевольности на наше тюремное сидение год тому

назад. Симферопольская полиция выдала мне взамен приходного свидетельства паспорт — и больше меня ничем не беспокоила. Я не имел права выходить и выезжать за черту города, так мне сообщили в полиции; а на деле — мы с товарищем-студентом, коренным тавричанином, надев рюкзаки, немедленно же отправились в путешествие по Крыму, исходили его вдоль и поперек, сделали пешком с полтысячи верст и вернулись в Симферополь черные от загара после месячного путешествия. Никто этим не интересовался, никто за мной не следил. С таким же успехом я мог бы съездить на месяц и в Москву, и в Петербург — и действительно исполнил это осенью того же года, для нового свидания с невестой в Москве.

Нечего сказать — «ссылка»!

И первая моя тюрьма, и первая моя ссылка оказались одинаково опереточными. Много работал, много читал, много писал, много ходил по Крыму.

Ровно через тридцать лет мне пришлось познакомиться и с настоящей тюрьмой, и с настоящей поднадзорной ссылкой. Рассказ о них — впереди, в промежутке этого времени, через двадцать лет, мне пришлось подвергнуться и второму крещению, совсем уже невеселому; о нем теперь и пойдет речь.



ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Свершился дней переворот...
Александр Блок[31]

I

Когда-то в очень ранней юности зачитывался я глупо-талантливым романом Александра Дюма «Vingt ans après» и в память этого заимствую у него заглавие, хотя и с небольшой натяжкой: от первой моей тюрьмы до второй прошло не двадцать, а лишь девятнадцать лет. Потом расскажу в общих чертах о главных вехах на этом жизненном пути, а пока отмечу только, что события 1901—1902 годов совсем переменили направление всей моей жизни.

Был я студентом-математиком, очень увлекавшимся физикой; профессор О.Д. Хвольсон[32] относился ко мне благосклонно и собирался оставить меня при университете по своей кафедре; я написал у него ряд специальных работ[33], но в то же самое время проходил я курс и историко-филологического факультета, отдавая особенное внимание лекциям большого нашего ученого А.С. Лаппо-Данилевского по социологии (его курс назывался «Систематика социальных явлений»)[34], вел работу в его семинаре по комментариям к восьмой книге «Логики» Милля[35], читал доклады в его кружке; слушал лекции по истории литературы у профессора Жданова, по психологии и истории философии у профессора А.И. Введенского, по греческой литературе — у Ф.Ф. Зелинского и целый ряд других лекций. До сих пор удивляюсь, как у меня на все это сил и времени хватало!

Когда попал я в симферопольскую ссылку, то возможность дальнейшей лабораторной работы по физике была начисто отрезана, зато занятия литературой могли продолжаться беспрепятственно: мне посчастливилось познакомиться в Симферополе с владельцем прекрасной библиотеки по русской литературе XVIII и XIX веков. Я стал подбирать материал для давно уже задуманной книги, которую собирался озаглавить «История

русской интеллигенции»[36]. Начал ее с конца этюдом «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции». Проведя год в симферопольской ссылке, получил разрешение переехать в глухую деревню Владимирской губернии, в имение родителей моей невесты, ставшей в начале 1903 года моей женой[37]. Там я вплотную принялся за книгу, которая вышла в конце 1906 года в двух томах под заглавием «История русской общественной мысли»[38]. Это определило мою дальнейшую писательскую судьбу. Если бы не ссылка 1902 года, я, вероятно, не имел бы времени для такой обширной работы, продолжал бы интересоваться литературой, но вряд ли сошел бы со своего «физического пути», был бы оставлен профессором Хвольсоном при университете, сам стал бы в конце концов почтенным профессором такой политически безобидной науки, как физика, избежал бы, надо полагать, позднейших тюрем и ссылок. Впоследствии О.Д. Хвольсон, изредка встречаясь со мной, всегда упрекал за то, что я изменил царице наук физике для такой глупости, как литература. Но как быть! Не сам я выбрал этот путь, мою судьбу решило «сердечное попечение» правительства и длительная ссылка.

Не буду вспоминать здесь о своем дальнейшем литературном и общественном пути; скажу только, что в борьбе марксизма с народничеством я примкнул к последнему, писал против марксизма, скрещивал оружие и с умнейшим его представителем — Плехановым, и с легкомысленнейшим — Луначарским[39]. Все это припомнили мне в свое время — через четверть века — при допросах в ГПУ и НКВД. Но, примкнув к идеологии народничества, я не пошел в партию, в то время политически его выражавшую, — в партию социалистов-революционеров: я был, говоря словами остроумной сказочки Киплинга, «кот, который ходит сам по себе», — партийные шоры были не для меня. Это не мешало мне принимать ближайшее участие во всех литературных начинаниях этой партии. Когда ее представитель, С.П. Постников, организовал в 1912 году в Петербурге большой журнал «Заветы»[40], я вошел в его литературный отдел редактором. Когда в первые же дни революции 1917 года родилась эсеровская газета «Дело народа», я опять-таки вошел в редакцию для заведования литературным отделом. Когда осенью 1917 года эсеры разделились на правых и левых, мои симпатии были на стороне последних, и я стал вести литературные отделы в их газете «Знамя труда» и в журнале «Наш путь». Все это было записано в черных книгах Чеки и ГПУ, и за все это раньше или позже предстояло поплатиться.

Чуть было не поплатился и раньше, в царские времена, но это было дело анекдотическое. В конце 1913 и начале 1914 года выходили в Петербурге легальные народнические (читай — эсеровские) газеты, одна за другой закрывавшиеся правительством и немедленно же одна за другой возрождавшиеся, как фениксы из пепла, под другими названиями[41]; бессменным руководителем их был партийный эсер Неручев, которого я знал еще по Симферополю в 1902 году: там он заведовал отделом земской статистики, а я работал под его руководством в этом отделе как «вольнонаемный статистик», добывал себе этим средства к жизни. Теперь Неручев явился ко мне с просьбой написать для одной из эсеровских газет (кажется, «Крестьянский труд», но не ручаюсь) небольшую статью в память десятилетия со дня смерти Н.К. Михайловского[42], причем просил «цензурой не стесняться». Я и «не постеснялся» — и в номере от 27 января 1914 года появилась эта подписанная мною статейка, за которую номер был конфискован, а я имел удовольствие прочитать в газетах, что по постановлению цензурного комитета автор статьи привлекается к суду по статье 128-й, грозившей ссылкой на поселение. Однако наш юрисконсульт журнала «Заветы», доцент университета М.Н. Исаев[43] разъяснил мне, что «привлечение к суду» — дело длинное; ведь Иванов-Разумник — псевдоним, а надо еще юридически доказать, что Иванов-Разумник — это Р.В.Иванов.

Он был прав: дело оказалось настолько «длинным», что ни до войны 1914 года, ни до революции 1917 года я о нем так-таки ничего и не слышал. Большевики оказались гораздо менее церемонными, их полевая юстиция не стала бы долго возиться с раскрытием псевдонима, а прискакала бы на пожар за час до пожара. Это называлось у них превентивным арестом, с которым мне вскоре пришлось ознакомиться на собственном опыте...

Но вот пришла революция 1917 года: свершился дней переворот! Прошло полтора года после революции; левые эсеры в июле 1918 года организовали в Москве убийство германского посла Мирбаха и восстание против большевиков, закончившееся полным разгромом[44]. Газета «Знамя труда» и журнал «Наш путь» были закрыты[45]; пути литературной работы для небольшевиков и немарксистов были отрезаны. В это время В.Э. Мейерхольд организовал ТЕО (Театральный отдел) и предложил мне войти в Научно-теоретическую и в Репертуарную секции этого отдела: в последней председателем был Александр Блок[46]. Работой в этих секциях я занимал-

ся в 1918—1919 годах, а одновременно с этим стал организовывать вместе с Александром Блоком, Андреем Белым и другими «Вольную философскую ассоциацию» (ВОЛЬФИЛУ), которая потом, в конце 1919 года, действительно родилась и просуществовала целых пять лет[47]. Все это было очень далеко от политики, жило в круге вопросов философии, культуры, искусства, литературы; но большевики не забыли о моем существовании и решили, что пора применить ко мне теорию превентивного ареста.

II

Террор эпохи военного коммунизма был тогда в полном разгаре. Арестовывали и расстреливали «заложников», открывали действительные и мнимые заговоры. Одним из таких был в феврале 1919 года «заговор левых эсеров», никогда не существовавший, но приведший к ряду «репрессий» — вплоть до расстрелов. Тут волна арестов докатилась и до меня. В конце января 1919 года я заболел воспалением легких, а к середине февраля стал понемногу поправляться и мог уже ходить по комнате. Часов в шесть вечера 13 февраля я мирно сидел в моем кабинете в Царском Селе, когда раздался звонок; В.Н. (терпеть не могу слова «жена» и заменяю его здесь и ниже инициалами имени и отчества) пошла открыть дверь — и тотчас же в мой кабинет рысью вбежал с револьвером в руке какой-то штатский низенький человек восточного типа — оказался армянином, — а за ним вошел молодой красноармеец с ружьем. Армянин, агент Чеки, предъявил ордер на обыск и арест[48], спрятал ненужный револьвер в карман, предложил мне не трогаться с места и приступил к обыску. Увидав библиотеку с тысячами томов, архивный шкап, набитый до отказа, письменный стол, заваленный рукописями и письмами, он пришел в уныние, совершенно растерялся и, видимо, не знал, как быть. Стал рыться в письменном столе, отобрал наугад пачку писем, заглядывая в них, отложил толстую тетрадь только что начатой мною книги «Оправдание человека». Она была озаглавлена тогда «Антроподицея», и слово это, очевидно, показалось ему подозрительным[49]. Часа два подряд он беспомощно тыкался то туда, то сюда, отобрал в библиотеке несколько томов по анархизму, махнул рукой на архивный шкап, составил из всех собранных материалов небольшую пачку — и часам к восьми вечера этот «обыск» был закончен. Все это производило курьезное впечатление, и я подумал, что второе мое крещение начинается опять с опереточного мотива.

Закончив с обыском, армянин предложил мне собираться в дорогу и следовать за ним на поезд в Петербург. Стал собираться: в небольшой ручной чемоданчик положил полотенце, мыло, смену белья, кружку. Времена были голодные: В.Н. могла дать мне только краюшку хлеба фунта в полтора и коробочку с двумя десятками леденцов — все наши продовольственные запасы. Денег у нас было тоже в обрез, я взял с собою только две «керенки» по 20 рублей. Сборы были недолгие; я простился с семьей, сговорился с В.Н., что она завтра же сообщит о происшедшем В.Э. Мейерхольду, и отправился на вокзал, эскортируемый слева чекистом, справа красноармейцем. После двухнедельной болезни первая прогулка по морозному воздуху была не слишком легкой, и я просил конвоиров идти помедленнее. Вечерний поезд оказался совсем пустым; чекист и красноармеец беседовали между собой, я молчал и вспоминал о первом своем путешествии в тюрьму двадцатью годами ранее.

Прибыли в Петербург около девяти часов вечера; оставив меня под охраной красноармейца, армянин отправился вызвать по телефону чекистский автомобиль; он прибыл довольно скоро, и меня повезли на Гороховую, 2, в здание бывшего градоначальства, в знаменитый центр большевистской охранки и одновременно с этим — пропускную регистрационную тюрьму для всех арестованных. Меня ввели в регистратуру, заполнили первую, чисто биографическую анкету, а затем отправили по черной лестнице куда-то «все выше, и выше, и выше»... Вскоре мне придется сидеть в подвалах Чеки, а теперь для начала я попал на чердак петербургской «чрезвычайки».

Часть чердака представляла два обширных помещения, соединенных между собой открытой дверью. Конвоир сдал меня на руки хмурому чердачному стражу, который, загремев ключами, открыл дверь в эту поднебесную тюрьму и возгласил: «Староста! Номер сто девяносто пятый!» Староста-арестант подошел ко мне, юмористически приветствовал — «добро пожаловать», вписал меня сто девяносто пятым в список арестованных и повел разыскивать место для ночлега. Две сотни людей густо населяли это чердачное помещение, так что найти свободное место на нарах оказалось делом сложным; наконец, в глубине второй комнаты меня приняла в свою «пятерку» группа людей, сидевших на нарах. Электрические лампочки под потолком тускло освещали помещение, и я еще не мог как следует осмотреться в густой толпе заключенных. Впрочем, большинство уже спало; немногие сидели и беседовали, разбившись на группы.

Группа, принявшая меня, объяснила, что все заключенные разбиты на пятерки; каждая пятерка — самостоятельная «обеденная единица»: ей подается к обеду и ужину одна миска на пятерых. При быстрой текучести населения этой чердачной тюрьмы каждый день составляются новые списки арестованных и происходит новое деление на пятерки. Предложенное мне ложе состояло из голых досок, на них я тут же растянулся, утомленный путешествием и еще не окрепший после болезни.

Состав моей пятерки оказался весьма разнообразным.

Пожилой, обрюзгший человек, бывший военный чиновник, волочивший левую ногу, недавно подстреленный около границы Финляндии. Теперь его обвиняли в попытке перейти эту границу; настроен он был мрачно и не ждал впереди ничего хорошего.

Толстенький, кругленький, сытенький и тоже немолодой еврей, приведенный на чердак незадолго передо мною, еще не допрошенный, но предполагавший — очевидно, не без оснований, — что обвинять его будут в спекуляции сахарином. Этот был настроен оптимистично и все повторял: «Спекуляция! Ну и что такое спекуляция? Простая торговля! Ну и кто же теперь не займается этим?»

Молодой и бравый эстонец-солдат, вся вина которого была в том, что в разговорах с приятелями он не раз говорил, как хотел бы попасть на родину и как плохо, трудно и голодно живется теперь «в этом проклятом революционном Петрограде». Он сидел здесь уже больше недели, и голодный блеск его глаз показывал, как нелегко дается ему такое сидение; говорил все больше о еде, рассказывал о национальных эстонских блюдах и приговаривал: «Вот завтра сами увидите, что здесь называется обедом: жуткое дело!»

Четвертый — бородатый новгородский мужик, церковный староста в своем селе; арестован и привезен в Петербург «по церковным делам», а по каким именно, объяснить не мог, да и сам толком, по-видимому, не понимал.

Пятым был я. А я за что сюда попал?

Пока я, лежа на досках, разговорился со своими соседями, ко мне подошли из первой комнаты два человека и назвали меня по имени и отчеству. Я их тоже признал — рабочие, левые эсеры, не раз бывавшие по делам завода в редакции «Знамя труда» и в Петербургском комитете партии. Они рассказали мне, что вот уже три дня идут аресты среди бывших левых эсеров по обвинению в заговоре, о котором никто из них решительно

ничего не слыхал; они полагали, что и я арестован в связи с этим же делом. Это было вполне правдоподобно, и через несколько часов я убедился, что так оно и было в действительности.

Чердак понемногу стихал, сонные всхрапы слышались отовсюду. С непривычки было трудно заснуть, несмотря на всю усталость, и не только потому, что голые доски давали себя чувствовать, но и потому, что задыхался в густом вонючем воздухе помещения, до отказа набитого людьми. А тут еще полчища клопов стали пиявить непереносно. К тому же часто открывалась тюремная дверь и страж зычно выкликал чью-нибудь фамилию: «На допрос!» Старосте приходилось искать вызванного среди спящих, будить для этого чуть ли не всех поголовно. Не успеешь задремать, как снова зычное «на допрос», и начинается прежняя история. Так провел я между сном и полубдением добрую половину ночи; был уже третий час, когда я сквозь дремоту услышал свою фамилию.

Меня провели во второй этаж, в ярко освещенную комнату, где за письменным столом сидел следователь, молодой человек в военной форме. Я сразу его узнал: год тому назад он ходил в левых эсерах, я часто его встречал обивающим пороги партийного комитета рядом с редакционной комнатой «Знамени труда»; знаком я с ним не был, и он имел все основания полагать, что я его не знаю или не узнаю. Незадолго до убийства Мирбаха он исчез с горизонта, перекинулся к коммунистам — и вот теперь всплыл одним из следователей Чеки. Как бывшему левому эсеру, ему и поручено было разобрать, а вернее — состряпать дело о несуществовавшем заговоре его бывших партийных товарищей. Кто он был — не знаю и фамилии его не помню; по его словам во время моего допроса выходило, что он до революции был студентом университета, чему, однако, плохо верилось. После окончания моего допроса он сделал на его листе заключительную надпись, начинавшуюся словами: «Настоящем удостоверяю...»

Предложив мне заполнить обычную анкету, следователь взял ее у меня, просмотрел и, возвращая, сказал:

— Вы даете ложное показание. На вопрос, были ли вы членом какой-либо политической партии, вы ответили «непартийный» (так всегда писал я в анкетах, вместо обычного «беспартийный»). Зачеркните это и напишите правду: был членом партии левых социалистов-революционеров.

— Никак не могу этого сделать, — ответил я, — так как это было бы неправдой. Никогда членом партии не был.

— Десятки свидетелей покажут противное!

— За свидетелями недолго ходить, — сказал я, — в ваших тюрьмах сидит ряд членов центрального комитета партии: они подтвердят вам, что, вступая редактором литературного отдела их газеты, я заявил центральному комитету, приглашавшему меня принимать участие в его заседаниях, что членом партии не состою.

— Но тем не менее вы постоянно бывали в центральном комитете. Ведь вы состояли его членом?

— Что же из того, что бывал? Вы ведь тоже постоянно бывали в петербургском комитете партии, однако же членом его не состояли?

Следователь густо покраснел, узнав, что я его узнал, и стал вести допрос в более грубом тоне.

— Никакая ложь не поможет! Я вас выведу на чистую воду! Но были вы или не были членом партии, а участие в только что раскрытом заговоре левых эсеров принимали, а может быть, и возглавляли его, мы до этого еще доберемся! Напишите здесь свое чистосердечное признание, оно может облегчить вашу участь.

В указанном мне месте я написал, что о заговоре левых эсеров впервые услышал от следователя, а значит, никак не мог принимать в нем участия, буде такой заговор действительно существовал.

— Вам же будет хуже, — сказал следователь, прочитав мой ответ, — советую вам еще пораздумать.

И он углубился в рассмотрение пачки взятых у меня при обыске писем, бумаг и книг. «Антроподицея» остановила на себе его внимание. Помолчав, он все-таки решился спросить — что значит это слово? Потом усиленное внимание обратил на мою записную книжку, а в ней — на адреса знакомых; фамилии и адреса эти он подчеркивал карандашом, а потом стал переписывать на отдельные листки бумаги. Это мне не понравилось, и, как оказалось потом, не без основания.

Прошел час, в течение которого следователь занимался своей работой, а я должен был сидеть и «еще подумать». Закончив работу и снова связав все бумаги и книги в пачку, следователь спросил:

— Ну что, надумались?

— Не имел этой возможности, — ответил я.

— Очень жаль. Мы с вами люди интеллигентные, я ведь был студентом университета, мы могли бы понять друг друга. А вот вы не хотите меня понять, но ваше запирательство только отягчит вашу вину и самым пе-

чальным образом отразится на вашей дальнейшей судьбе. Подпишитесь под допросом — и ждите всего худшего.

— Буду надеяться на все лучшее, — сказал я, подписывая бумагу[50], после чего и он «настоящем удостоверил», потом позвонил и велел стражу отвести меня обратно на чердак.

Было четыре часа утра.

III

В пять часов утра — как я потом узнал — ряд автомобилей с чекистами подъезжали в разных частях города к домам, где жили мои знакомые, адреса которых я имел неосторожность занести в свою записную книжку (с этих пор никогда больше я этого не делал). Были арестованы и отвезены на Гороховую, 2: поэт Александр Блок с набережной реки Пряжки, писатель Алексей Ремизов[51], художник Петров-Водкин, историк М.К. Лемке — с Васильевского острова; писатель Евгений Замятин — с Моховой улицы; профессор С. Венгеров — с Загородного проспекта, — еще и еще со всех концов Петербурга, где только ни жили мои знакомые. Какая бурная деятельность бдительных органов советской власти!

Лишь один из моих знакомых писателей, адрес которого, однако, значился в моей записной книжке, уцелел среди всей этой вакханалии бессмысленных арестов: Федор Сологуб. Когда позднее я спросил его, каким чудом он в ту ночь избежал ареста, он ответил, что чудо это объясняется хорошим к нему отношением управляющего домом. Автомобиль подъехал и к их дому, чекист потребовал от управдома справки — живет ли в квартире номер такой-то некий Федор Сологуб (не подозревая, что это не фамилия, а псевдоним). Управляющий, играя в наивность и удивление, ответил, что в квартире номер такой-то живет гражданин Тетерников, а никакого Сологуба в вверенном ему доме никогда не бывало. Поразмыслив немного, чекист сказал: «А-ну его в болото!» — махнул рукой и уехал, не пожелав более разыскивать какого-то Сологуба. Так последний и избежал удовольствия познакомиться с чердаком Чеки.

Всех остальных доставили на Гороховую, но не отправили из регистратуры на чердак, где они могли бы встретиться и сговориться со мною, а держали в других помещениях и стали поочередно вызывать на допросы. Там их огорошивали сообщением, что арестованы они как участники заговора левых эсеров. Каждый из них реагировал на эту глупость соот-

ветственно своему темпераменту. Маститый профессор С.А. Венгеров спокойно сказал: «Много нелепостей слышал на веку, но эта — царица нелепостей». Е.И. Замятин стал хохотать, что привело в негодование следователя, все того же малограмотного студента: над чем тут смеяться? Дело ведь серьезное! Но как ни старался следователь внушить арестованным, что они — левые эсеры и заговорщики, ничего из этого не выходило; тогда он предложил каждому из них заполнить лист подробным ответом на вопросы: как и когда они познакомились с левым эсером писателем Ивановым-Разумником? В каких отношениях и сношениях находятся с ним в настоящее время? Какие беседы вел он с ними обыкновенно, а за последнее время — в особенности?

Каждый из арестованных кроме обычной анкеты заполнил и лист ответов на эти вопросы, после чего этих опасных государственных преступников, продержав на Гороховой меньше суток, стали отпускать по домам. Какая бессмыслица — и с каким серьезным видом она делалась!

Исключение составили два человека — писатель Евгений Замятин и поэт Александр Блок: первого выпустили немедленно же после допроса, так что пребывание его во чреве Чеки было всего часа два; второго задержали на целые сутки и отправили на чердак.

Е.И. Замятин так рассказывал мне о сцене допроса. Нахохотавшись вдоволь по поводу предъявленного ему обвинения, он подробно описал о нашем знакомстве и отношениях, а также заполнил лист неизбежной анкеты, причем на вопрос — не принадлежал ли к какой-либо политической партии, ответил кратко: «Принадлежал». После чего между ним и следователем произошел такой диалог.

— К какой партии принадлежали? — спросил следователь, предвкушая возможность политического обвинения.

— К партии большевиков!

В годы студенчества Е.И. Замятин действительно входил в ряды этой партии[52], ярым противником которой стал в годы революции. Следователь был совершенно сбит с толка:

— Как! К партии большевиков?

— Да.

— И теперь в ней состоите?

— Нет.

— Когда же и почему из нее вышли?

— Давно, по идейным мотивам.

— А теперь, когда партия победила, не сожалеете о своем уходе?

— Не сожалею.

— Объясните, пожалуйста. Не понимаю!

— А между тем понять очень просто. Вы коммунист?

— Коммунист.

— Марксист?

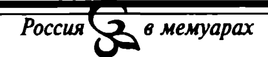
— Марксист.

— Значит, плохой коммунист и плохой марксист. Будь вы настоящим марксистом, вы бы знали, что мелкобуржуазная прослойка попутчиков большевизма имеет тенденцию к саморазложению и что только рабочие являются неизменной классовой опорой коммунизма. А так как я принадлежу к классу мелкобуржуазной интеллигенции, то мне непонятно, чему вы удивляетесь.

Эта ироническая аргументация так подействовала на следователя, что он тут же подписал ордер на освобождение, и Замятин первым из арестованных вышел из узилища.

Иное дело было с Александром Блоком. Он был явно связан с левыми эсерами: поэма «Двенадцать» появилась в партийной газете «Знамя труда», там же был напечатан и цикл его статей «Революция и интеллигенция», тотчас же вышедший отдельной брошюрой в партийном издательстве. В журнале левых эсеров «Наш путь» снова появились «Двенадцать» и «Скифы», вышедшие опять-таки в партийном издательстве отдельной книжкой с моей вступительной статьей. Ну как же не левый эсер? Поэтому допрос Александра Блока затянулся, и, в то время как всех других вместе с ним арестованных мало-помалу после допросов отпускали по домам, его перевели на чердак. Меня он там уже не застал, я был уже отправлен в дальнейшее путешествие, но занял он как раз то место на досках, где я провел предыдущую ночь, и вошел в ту же мою «пятерку». Одновременно с ним попал на чердак и стал соседом Блока наш будущий «ученый секретарь» Вольфилы А.З. Штейнберг.

Через год после смерти Блока он напечатал в вольфильском сборнике, посвященном памяти покойного поэта, свои очень живые воспоминания о том, как автор «Двенадцати» — «весь свободы торжество» — провел этот день 14 февраля на чердаке Чеки[53]. На следующий день Александр Блок был освобожден.



IV

Вернувшись с допроса, я попытался вздремнуть на голых досках, но уже с семи часов утра весь чердак проснулся и пришел в движение. Теперь, при дневном свете, я мог рассмотреть своих товарищей по заключению, потолкаться среди них, поговорить с ними. Вот уж подлинно — *какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!*[54] Русские, немцы, финны, украинцы, армяне, эстонцы, евреи, грузины, латыши, даже несколько китайцев; рабочие, крестьяне, бывшие офицеры, студенты, солдаты, чиновники, даже несколько «действительных статских советников», беспартийные и партийные, а из последних — главным образом социалисты разных толков, до анархистов включительно; политические и уголовные, а среди последних группа «бандитов», так себя именовавших; ватные тулупы и пиджачные пары, рабочие куртки и потрепанные остатки былых сюртуков, френчи и толстовки — *все промелькнули перед нами, все побывали тут...*[55]

Во всех группах, к каким я ни подходил, разговоры вращались вокруг одной и той же темы — возможной «интервенции» мифических «союзников» и неизбежной тогда эвакуации Петербурга большевиками: всю ночь глухо докатывались до нас орудийные удары. Придется большевикам уходить из Питера — что тогда они с нами сделают? Отберут овец от козлищ? Надо сказать, что громадное большинство отвечало на эти сомнения бесповоротно: всех перестреляют!

Рано утром внесли громадные чайники с горячей жидкостью, именовавшейся чаем; выдали по восьмушке хлеба на человека. В нашей пятерке еврей-спекулянт щедро подсластил чай сахарином, в изобилии имевшимся в его карманах, — и это было большой гастрономической роскошью. Солдат-эстонец, в один прием проглотив свою восьмушку хлеба, меланхолично заметил: «И это на весь день». Но горячая жидкость все же немного меня подкрепила и разогнала сонное настроение. Однако настроение у большинства было подавленное. Какая разница с моей первой, студенческой тюрьмой двадцать лет тому назад! Ни смеха, ни шуток, даже громких разговоров я не слышал. Беседовали, разбившись на группы, и чаще всего вполголоса. Можно было подумать, что здесь собрано не две сотни, а десятка два человек, настолько тихо было в помещении, — раздавалось только беспрерывное жужжание голосов. Даже «бандиты» и те, поддаваясь общему настроению, присмирели. Даже анархисты не выходи-

ли из общих рамок тревожного ожидания. Все смотрели на себя как на заложников, кандидатов на расстрел, столь частой меры «социальной защиты» в эту эпоху военного коммунизма и чекистского террора. Пониженное настроение объяснялось, быть может, также и острым чувством голода у тех, кто просидел на этом чердаке уже несколько дней.

Действительно, когда в полдень подали «обед», я вспомнил вчерашние слова солдата-эстонца: жуткое дело! Сперва было много суетни, проверка «пятерок»; потом от каждой пятерки отправлялся ее представитель к тюремной двери и там получал миску с бурой жидкостью и пять деревянных ложек; после обеда он должен был сдать все это по счету обратно. Пятерки рассаживались вокруг своих мисок; каждый черпал ложкой и ждал, когда снова дойдет до него очередь. Что представляла собою жидкость, именовавшаяся супом или борщом, описать довольно трудно, а дать понятие о вкусе и совсем невозможно. Немного мелко искрошенной свекольной ботвы и черных листьев капусты, две-три ложки какой-то крупы, очень мало кусочков картофеля, очень много горячей воды, запах селедки: на каждую миску полагалось по небольшой селедке, уже разрезанной на пять частей. С трудом проглотил я доставшийся мне гниловатый кусок, а упитанный еврей-спекулянт, очевидно, более избалованный, чем я, сейчас же вынул изо рта недожеванный кусок, удивленно заметив: «Ну и это называется селедка!» Солдат-эстонец голодными глазами посмотрел на недоеденный кусок селедки, попросил разрешения взять и мгновенно проглотил. Я достал из чемоданчика краюшку хлеба и разделил ее на пять частей; хоть и немного пришлось каждому, но все же мы могли слегка утолить голод. В шесть часов вечера предстоял такой же ужин. Но я не подозревал, что ужинать буду только через пять суток[56].

Прошло немного времени после обеда, когда за дверью послышалось движение, шум шагов, бряцание оружия. Вошло несколько чекистов, у одного из них был в руках список. Чекист стал выкликать фамилии, вызываемые выходили («с вещами», было сказано) и становились у дверей. Скоро и я услышал свое имя. Всего собрали нас шестьдесят человек, повели вниз по лестнице, пропустили через проверочную регистратуру и вывели на двор. Там командующий этим отрядом чекист отчеканил, что поведет нас в тюрьму на Шпалерную улицу и что того, кто во время пути выйдет за черту цепи охраны, пристрелят тут же на месте.

Ворота распахнулись, мы вышли на улицу; цепь охраны была совсем не густая, так, человек с двадцать. День был морозный, но солнце ярко

светило; улицы были полны народа, публика хмуро смотрела на наш кортеж, ничем не выражая своих чувств, — каждый знал, что не сегодня-завтра сам может оказаться участником такого же шествия. Только одна дама на тротуаре в голос заплакала, сейчас же уткнув лицо в муфту, чтобы заглушить рыдания (кого вспомнила?); на это невдалеке от меня охранник с ружьем громко отозвался: «Пальнуть бы в тебя, стерва...»

Без других инцидентов дошли мы до Шпалерной. Пересекая Литейный проспект около обгорелых развалин здания Окружного суда, шедший рядом со мной анархист проворчал: «Жгли, да не сожгли!» Через несколько лет на месте этих развалин поднялось массивное девятиэтажное здание ГПУ. Когда его будут жечь?.. На Шпалерной ввели нас в ворота ДПЗ (Дома предварительного заключения), сдали на руки тюремной администрации — и началась обычная регистрационная процедура. Усатый тюремщик, очевидно опытный служака царских времен, был груб, деловит. Быстро сам заполнил мою анкету, в которой между прочим был пункт: «состав преступления». Я коротко ответил «писатель», на что усач грубо сказал:

— Не о профессии тебя спрашивают, а о твоем преступлении.

— А я тебе и говорю, что преступление мое именно в том, что я писатель.

Усач не стал настаивать дальше, что-то записал и угрожающе протянул:

— Ничего, голубчик, разбере-емся!

После регистрации нас развели по камерам. Я попал в одиночную камеру № 163 на четвертом этаже. Много лет спустя мне пришлось долгие месяцы провести именно в этой камере, так что описание этой тюрьмы я отложу до предстоящего рассказа о том времени. Приятно было попасть в тихую одиночку после хоть и не шумной, да все же толпы. Было два часа дня. Отдыхать в одиночестве мне пришлось только до семи часов вечера.

Часов в шесть вечера мне принесли ужин — кастрюльку какого-то пойла. Попробовав, я отложил ложку в сторону и вернул ужин нетронутым: это было нечто еще более жуткое, чем чердачный обед. Ограничился на ужин несколькими леденцами и запил их водой из крана.

В восьмом часу вечера отворилась дверь и меня потребовали «с вещами» в регистратуру. Тот же усач проэкзаменовал меня, глядя в анкетный лист: фамилия, имя, отчество, год и день рождения, местожительство, партийность, состав преступления. Дойдя до последнего пункта и получив от меня прежний ответ, усач снова многообещающе посулил:

— Ничего, голубчик, уж тебе там покажут!

Там! Где это «там»? Куда это собираются меня отправить?

Усач сдал меня на руки конвойным, трем молодым парням-красноармейцам, с ружьями в руках и с туго набитыми заплечными мешками. Во дворе нас ждал автомобиль. Я и конвой уселись — и покатили по темным улицам на Николаевский вокзал.

Меня везли в Москву.

V

Весь этот день, 14 февраля, был для В.Н. исполнен тревог и хлопот. Утром отправилась она в ТЕО к В.Э. Мейерхольду. Узнав о моем аресте, он пришел в негодование и немедленно же принял со свойственной ему энергией самое деятельное участие во всей этой истории: стал звонить в разные высокие места по телефону, куда-то сам ездил и к середине дня выяснил положение дела: меня должны были в тот же вечер отправить с девятичасовым скорым поездом в Москву. В.Э. Мейерхольд тут же распорядился выдать В.Н. специальную бумагу, что она командируется в Москву по делам ТЕО (без командировочного документа нельзя было в те времена получить проездной билет), дал ей указания — к кому в Москве надо обратиться, сам немедленно написал в Москву ряд писем. В.Н. успела съездить в Царское Село, устроить домашние дела, вернулась в Петербург — и в девять часов вечера тронулась в Москву, уверенная, что и меня везут туда же в одном из вагонов этого скорого поезда.

Приехав утром 15 февраля в Москву, В.Н. стала искать меня по московским тюрьмам, а главным образом — на Лубянке, 14, в распределителе областной Чеки, куда меня должны были доставить прямо с поезда и где меня уже поджидали. Однако меня там не оказалось. Пять дней прошло в тщетных поисках, В.Н. побывала с письмами В.Э. Мейерхольда во всех инстанциях, кои ведали моей судьбой. Ей обещали все выяснить, звонили по телефону в Петербург, — меня и там не было, петербургская Чека сообщила, что я был отправлен под конвоем в Москву со скорым поездом 14 февраля. Искали по всем московским тюрьмам — меня и в них не было. Так прошло 15 февраля, и 16-е, и 17-е, и 18-е, и 19-е. Что случилось со мной — об этом никто не мог дознаться ни в Петербурге, ни в Москве.

Случилось же вот что.

На Николаевский вокзал конвой доставил меня за полчаса до отхода девятичасового скорого поезда[57]. В нем, как я узнал потом, было «забронировано» Чекой четырехместное купе для меня и трех моих конвоиров. Два из них с ружьями остались сторожить меня в зале, третий отправился со всеми документами раздобывать билеты. Все эти три мушкетера были молокососы, необломанные парни деревенского вида и, как оказалось, великие растяпы. Ушедший за билетами Ванюха долго тыкался по разным местам, ничего не мог узнать толком, вернулся несолоно хлебавши, передал все документы товарищу и сказал: «Ну-ка, Петруха, потолкайся теперь ты!» Петруха ушел и где-то пропадал, потом вернулся и растерянно сообщил: «А ведь поезд-то тю-тю — уже ушел!» Тогда третий, Гаврюха, с ругательствами отобрал у Петрухи бумаги и в свою очередь пошел куда-то, потом вернулся, потом забрал на подмогу Ванюху, и они вдвоем куда-то бегали, потом перебрали все комбинации из трех по два — и с ругательствами возвращались обратно. Вся эта канитель продолжалась часы. Все вечерние поезда на Москву уже отошли, вокзал опустел. Было уже далеко за полночь, когда, наконец, Ванюхам удалось выяснить нашу судьбу. Они повели меня по каким-то дальним платформам, потом по полутемным рельсовым путям куда-то во мрак. Где-то, далеко на запасных путях, стоял состав товаро-пассажирского поезда, готовясь к отбытию в Москву. Впрочем, товаро-пассажирским состав этот можно было назвать лишь с натяжкой: среди трех десятков товарных вагонов сиротливо стоял один летний вагон третьего класса. Мы взобрались в него и заняли одно из отделений. Низенькие спинки между ними позволяли видеть весь вагон, в котором сидело уже с десяток пассажиров. Как я потом узнал, в поезд этот стремились попасть люди, не имевшие никаких «мандатов» и удостоверений, никаких проездных документов и даже никаких билетов: дело улаживалось частным соглашением с главным кондуктором поезда.

Понемногу вагон стал наполняться, и вскоре не осталось ни одного свободного места. Публика была все простая, «не командировочная»: группа артельщиков заняла соседнее отделение, партия ходоков-крестьян возвращалась в родную Окуловку, семья татар пробиралась через Бологое на Волгу; много женщин с малыми ребятами и с бесчисленными узлами и котомками.

Ровно в два часа ночи на 15 февраля поезд тронулся — и шел черепашьим ходом до рассвета, часами останавливаясь на станциях, и на полу-

станках, и в поле между ними, перед закрытыми семафорами. Светало, когда мы доползли до Тосны, всего в нескольких десятках верст от Петербурга. Здесь нас перевели по соединительной ветке с Николаевской дороги на Витебскую. Пассажиры об этом и не подозревали. Кондуктора при нашем вагоне не было, из поездного начальства никто к нам не показывался. Лишь в середине дня, когда ходоки-крестьяне стали беспокоиться, что все еще желанная Окуловка не показывается, а татары соображали, что близко уже и Бологое — мы подъехали к станции Сольцы, и тут только пассажирам стало известно, что мы едем по совершенно другой кружной дороге, и хотя попадем в ту же Москву, но сделав большой крюк в несколько сот верст. Ехавшие в Москву отнеслись к этому известию спокойно, но те, целью которых были промежуточные между Петербургом и Москвой станции по Николаевской дороге, пришли в ярость: раздались крики, ругательства, слезы женщин, рев детей. Всю эту «промежуточную» публику высадили на станции Дно, чтобы переправить через Старую Руссу на Бологое, и мы поехали дальше, тем же черепашьим ходом, через Дно, Ново-Сокольники, Великие Луки, Ржев — в Москву. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: этот путь в какую-нибудь тысячу верст мы тащились ровно пять суток и прибыли в Москву в ночь на 20 февраля[58].

Эти пять суток я провел весьма своеобразно. Книги с собой не было, газеты на станциях были старые, да и выходить из вагона конвоиры мне не разрешали; с Ванюхами я не вступал в разговоры — и весь день либо смотрел в окно, либо спал, либо думал свои думы. Между прочим вспомнил, как ровно год тому назад ехал по этому же именно пути — через Великие Луки из Петербурга в Москву с поездом генерала Бонч-Бруевича[59]. Тогда правительство переселялось из Петербурга в Москву, переезжал туда и центральный комитет левых эсеров, которому генерал Бонч-Бруевич уступил салон-вагон в своем поезде. Ехал с ними тогда и я, чтобы поставить в Москве «Знамя труда». На больших станциях собирались толпы народа; Маруся Спиридонова, Прош Прошьян и другие члены центрального комитета говорили с площадки вагона речи народу, поездная воинская охрана жадно слушала (что испытывал бедный генерал?), а народ, как водится, безмолвствовал... В нашем салон-вагоне разъезжал когда-то по России Столыпин — проводник вагона был все тот же! — теперь ехал в нем центральный комитет левых эсеров: поистине «свершился дней переворот...». Он свершился для меня еще раз и за этот год: тогда я

ехал свободным гражданином, а теперь везут меня по этому же пути под конвоем; тогда мы ехали хоть и медленно, но все же на третий день были в Москве, а теперь ползем-ползем, когда-то доползем; тогда дорога прошла незаметно — в оживленных разговорах, спорах, столкновениях мнений, всяческих прогнозах (ни один не оправдался!), а теперь я ехал один, молча, словно воды в рот набрал. А почему я не вел беседы с Ванюхами — причиною тому было одно характерное обстоятельство.

В первое же утро нашего пути Ванюха на ближайшей большой станции принес чайник кипятку и конвоиры мои расположились завтракать. Развязали заплечные мешки, битком набитые всяческой снедью. В какой такой дальний путь снарядили моих конвоиров — неведомо. Во всяком случае, меня тюремное начальство не снабдило никаким продовольствием. Да его и не требовалось: скорый поезд выходил из Петербурга вечером, приходил в Москву рано утром. Кто же мог предполагать, что я пробуду в пути ровно пять суток! Весь мой продовольственный запас состоял из полутора десятков леденцов.

Когда Ванюхи разложили на скамьях обильные свои припасы и стали смачно закусывать, я думал, что в их мешках имеется провизия и на мою долю. Однако они завтракали, мне ничего не предлагали, а я не спрашивал. Видя, что завтрак подходит к концу, я вынул из чемодана кружку и попросил у одного из Ванюх налить мне кипятку, достал леденец — и позавтракал горячей водой с леденцом. Они молча посмотрели на мой завтрак, ничего не сказали и убрали свои припасы. Меня это заинтересовало — я решил и впредь не обращаться к ним ни с какими продовольственными просьбами и посмотреть, что из этого выйдет.

В середине дня, за обедом, снова повторилась совершенно такая же история: разложенные припасы, накромсанные ломти хлеба, раскупоренные банки консервов, нарезанные селедки — и полное игнорирование моего присутствия. Разница была лишь в том, что Ванюха, обратившись ко мне — без малейшего следа иронии — великодушно предложил: «Хошь кипяточку?» Я снова выпил кружку горячей воды с леденцом. Это был мой обед. Полное повторение этой истории и к ужину. Три кружки кипятку и три леденца были моим питанием за целый день.

Следующий день повторял картину предыдущего, с одной, впрочем, разницей. Во время моего «обеда» я спросил сидевшего рядом со мной Ванюху:

— Не продадите ли мне кусок хлеба? Вот у меня двадцать рублей.

— Не, — пробурчал с набитым ртом Ванюха, — хлеба самим не хватит. Вот хошь за керенку коробку папирос?

Но от папирос я отказался — боялся курить на пустой желудок.

Так — три кружки кипятка и три леденца в день — прошло 15 февраля, и 16-е, и 17-е, и 18-е, и 19-е. Интересно, если бы эти парни везли меня таким образом не в Москву, а во Владивосток, то в течение месяцев двух пути столь же равнодушно смотрели бы они на мою голодовку, или в их первобытных душах шевельнулось бы наконец человеческое чувство?

Относился я ко всему этому юмористически, — знал, что путь предстоит всего в несколько дней и что от голодовки за такой короткий срок, да еще голодовки с кипятком и леденцами, никто не умирал. Но все же на пятый день пути ослабел сильно. Когда я через два десятка лет после этого очутился в преддверье Европы, мне попались под руку изданные в Белграде курьезные книги А.А. Суворина о лечении голодом[60], в них приводятся десятки примеров добровольного голодания и по двадцать, и по тридцать, и чуть ли не по шестьдесят суток, причем пациенты не только не слабели, но исполняли при этом все свои привычные ежедневные работы. Мой личный опыт не подтвердил этого. Правда, я приступил к невольному голоданию после голодной зимы 1918—1919 года и истощенный серьезной болезнью; может быть, поэтому после пятисуточной голодовки я настолько ослаб, что передвигаться мог с трудом.

Вечером 19 февраля мы были уже недалеко от Москвы. Конвоиры принялись за свой последний ужин, а я — за кружку кипятку с последним леденцом. В соседнем отделении ужинали артельщики. Один из них, седобородый, тронул меня за плечо:

— Хотите хлеба?

Очевидно, он давно уже стал замечать нечто не совсем обычное в моей системе питания. Я поблагодарил и взял большой ломоть хлеба, но есть его не мог: кипяток я уже выпил, а сухой хлеб при всем моем желании не проходил в горло. Я спрятал хлеб в чемоданчик. Мои конвоиры хмуро покосились, и один из них отрывисто заметил:

— Запрещено разговаривать с арестованным!

— А морить его голодом не запрещено? — сердито спросил старик.

— Не ваше дело, гражданин! Арестованный сам ничего не просил.

— Он-то не просил, а вы-то чего глазели? Ох, парни, что-то с вами в жизни будет, если вы в молодых годах столь звероподобны?

И он отвернулся.

А конвоиры молча увязали свои заплечные мешки и закурили, сплевывая на пол и о чем-то вполголоса переговариваясь. Как оказалось, темой разговора было опасение: а вдруг арестованный нажалуется, что его пять суток голодом морили, — не вышло бы нам, Ванюхам, от этого худа?

VI

В два часа ночи на 20 февраля, час в час пять суток после отбытия из Петербурга, наш поезд дополз-таки до Николаевского вокзала в Москве. Ванюхи, никогда не бывавшие в Первопрестольной, не знавшие, где находится Лубянка, а на ней Чека, не умевшие даже, как оказалось, говорить по телефону, — попросили меня оказать им содействие во всем этом; они вдруг стали очень ласковыми и услужливыми. Довели меня до телефонной будки, я позвонил и попросил дать мне «Лубянку»; соединили.

— Алло!

— Привезли из Петербурга арестованного, — сказал я, — конвой просит выслать автомобиль для доставки.

— Звоните в областную Чеку, на Лубянку, 14. — Позвонил туда; ответили:

— Да что вы, с неба свалились, что ли? Все ночные поезда из Питера давно уже пришли.

— Мы ехали поездом особого назначения, — сказал я. — Нужен автомобиль для доставки арестованного.

— Все автомобили в разгоне, в ночной работе. Пусть ведут его пешком.

— Да идти-то он не может.

— Болен, что ли?

— Не болен, а ослаб.

— Конвоя сколько?

— Трое.

— Пусть понесут!

Ванюхи внимательно слушали весь разговор и, услыхав «идти он не может», «ослаб», не на шутку струхнули; им казалось, что близится час расплаты. Все трое наперебой стали просить меня:

— Барин, уж вы нас не выдавайте, ведь это мы по глупости...

— Сами вы, барин, не просили, а нам и невдомек было...

— Вот вам крест, барин, что мы это не со зла...

Они думали, что чем чаще будут употреблять слово «барин», тем мне будет приятнее.

— Стыдно, ребята, — сказал я. — Ну, да что там много говорить: автомобиля за нами не пришлют, сам идти я не могу по вашей же милости, значит, берите меня под руки и ведите, я буду показывать вам дорогу.

Ванюха и Петруха подхватили меня под руки, Гаврюха услужливо схватил мой чемоданчик — и мы поплелись на «Лубянку, 14», куда заявились около трех часов ночи.

Областная Чека помещалась в обширном двухэтажном здании в глубине большого сада, выходившего на улицу. Через несколько лет на этом месте выросло многоэтажное здание областного московского ГПУ. У ворот стоял охранник с ружьем, в глубине сада у входной двери — другой. Меня ввели в регистратуру. Там в одиночестве за столом восседал дежурный чекист в военной форме, пожилой, толстый и сонный армянин, — везло мне на армян. Получив от конвоя сопроводительные документы и взятую у меня при обыске пачку бумаг и книг, он громко прочел мою фамилию и сказал с типичным акцентом:

— Ну вот, скажи пожалуйста, наконец-то приехал! Тут уже сколько дней две гражданки все хадют и хадют, тебя ищут!

Я не очень удивился, так как догадался, что В.Н. приехала в Москву. Вместе со своей родственницей она, что ни день, ходила на Лубянку и справлялась о бесследно исчезнувшем муже.

Подписав какую-то бумагу, чекист вручил ее моим конвоирам и отпустил их. В полном восторге Ванюхи немедленно исчезли, причем один из них бросил мне на прощание: «Счастливо оставаться!» Какой иронический смысл приобретает при некоторых обстоятельствах обычно отнюдь не ироническое выражение!

Армянин позвонил и сдал меня вместе с сопроводительным пакетом другому чекисту. Тот повел меня по ряду освещенных комнат первого этажа в правый конец здания. Комнаты были уставлены столами, за ними сидели люди в военной форме, что-то писали, шумно переговаривались. У некоторых столов чинили допросы обвиняемым. Ночная жизнь кипела. В Чеке, а позднее в ГПУ и НКВД вся работа шла ночью. Лишь впоследствии я на опыте понял причины такого обстоятельства, — но об этом

я расскажу впоследствии. В последней небольшой комнате стояло четыре следовательских стола, за тремя из них велись допросы. На четвертый стол, за которым никто не сидел, конвоир положил мой сопроводительный пакет, а мне предложил пройти в дверь, распахнув ее передо мною. Дверь вела во мрак. Чекист предупредил: «Три ступеньки!» — и захлопнул за мной дверь.

Мрак был неполный: под потолком тускло горела электрическая лампочка, но после яркого освещения следовательских комнат надо было еще приучить свои глаза к полутьме. Когда я немного огляделся, то увидел мрачный и темный полуподвал, по двум стенам которого были настланы деревянные нары; на голых досках спали заключенные. Их было, как я узнал утром, сорок пять человек, но, что ни день, число менялось, население было очень текучее. Посредине стоял стол; вправо от двери было тусклое зарешеченное окно в уровень от земли, с широким подоконником. У окна сидел на стуле какой-то человек, закутанный в длиннополую шубу, хотя в подвале было совсем не холодно.

— Только что взяты? — спросил он меня.

— Нет, только что привезен из Петербурга, — ответил я.

— Ого! Значит, важная шишка, если затребовали в Москву! Позвольте узнать вашу фамилию?

Я назвал себя, он был знаком со мной по книгам, а я в свою очередь был знаком с его фамилией: кто же не знал знаменитых московских Прохоровских мануфактур? Передо мною был последний их владелец, Иван Прохоров, молодой фабрикант с европейским образованием. Днем я его разглядел: это был человек лет тридцати, настоящий богатырь, «косая сажень в плечах», русский красавец с окладистой русой бородкой. Я спросил его, почему он не спит на нарах, как другие, и почему сидит в шубе, когда в подвале совсем тепло?

— По одной и той же причине, — ответил он, — на нары не ложусь потому, что там вошь кипит; в шубе сижу потому, что вошь меха не любит. А вот на столе и объявление висит, вы полюбопытствуйте!

Я «полюбопытствовал» — и увидел вырезанное из газеты объявление, прикрепленное к стене каким-то мрачным юмористом. В объявлении указывалось, что сыпной тиф развивается, что для борьбы с ним необходимо соблюдать чистоту, не жалеть мыла, менять почаще белье; объявление заканчивалось по большевистскому трафарету: «Все, как один, на борьбу с вошью!» Утешительно было читать это объявление в подвале Чеки,

где даже на полу под сапогами хрустели эти отвратительные насекомые. Прохоров сказал, что вот уже третью ночь проводит он на этом стуле; впрочем, полагает, что не сегодня-завтра переведут его в Бутырскую тюрьму, как и раньше бывало. Я спросил его, часто ли это с ним бывало раньше, он ответил, что этот раз — шестой, и рассказал о себе целую курьезную историю.

— Месяца через три после Октября захотелось мне взглянуть — что делается на моих мануфактурах? Пришел, окружили меня рабочие: «Иван Николаевич (за отчество не ручаюсь), что же это делается? Посмотрите — сплошной развал!» — и начали выкладывать про все фабричные непорядки, а потом: «Иван Николаевич, скоро ли к нам вернетесь дело налаживать?» Я им говорю: «Нет, братцы, теперь ладьте дело своим умом!» — и поскорей домой. Ну, разумеется, в ту же ночь меня забрали, посадили в этот подвал, на третий день перевели меня в Бутырку и там стали допрашивать о моей контрреволюционной агитации среди рабочих. Однако сами видят — никакой агитации я не вел, ну, через недельку и выпустили меня, строго-настрого приказав, чтобы не смел совать носа в бывшие мои мануфактуры. Терпел я месяц-другой — снова любопытство овладело: что-то теперь там делается? Не наладилось ли? Пошел тихонечко посмотреть — опять прежнее: «Иван Николаевич, совсем развал, когда же вы к нам?» Конечно, опять меня забрали, опять сюда в подвал, опять в Бутырку, опять выпустили. Зарекся ходить — не вытерпел: через два-три месяца — прежняя история. Но в последний, в пятый раз, следователь меня предупредил: «Хотя агитации никакой не ведете, но самое появление ваше на бывших ваших фабриках — прямая агитация. Смотрите, в следующий раз дело добром не кончится». Долго терпел я, но вот четыре дня тому назад снова не вытерпел и снова попал в этот подвал. Теперь жду по старой памяти перевода в Бутырки, и чем на этот раз дело кончится — сам не знаю...

В тот же день Прохорова действительно взяли из подвала и перевели в Бутырку. Я думал, что никогда уже больше ничего о нем не услышу и не узнаю. Но лет через десять, в конце двадцатых годов, при разговоре с нашим царскосельским соседом, старичком-виолончелистом Бров-Суриным, узнал я с удивлением, что «Ванюша Прохоров» — его крестник и что он знает про его судьбу. Почему Чека относилась к нему столь терпеливо — понять трудно. Единственное объяснение: быть может, считались с отношением к нему рабочих бывших его мануфактур. Во всяком случае, ни Чека, ни позднее ГПУ не расстреляли Ивана Прохорова, даже не сосла-

ли его, даже не выслали из Москвы. В конце двадцатых годов он заболел крупозным воспалением легких и скончался, чудесным образом избежав концлагеря или расстрела. Доживи он до ежовских времен — ему было бы обеспечено либо одно, либо другое.

Во время разговора он спросил меня, ужинал ли я? Услышав про мою дорожную эпопею, искренно взволновался, вытащил какие-то лепешки, указал мне на подоконное ведро с остатками ужинного борща. Не знаю, был ли этот московский подвальный борщ съедобнее петербургского чердачного или долгодневный пост сыграл тут свою роль, но только этот жиденький холодный борщ показался мне вполне приемлемым, и я с удовольствием поужинал. Или позавтракал? Ведь было уже четыре часа утра.

VII

Только закончил я этот ужин-завтрак, как отворилась подвальная дверь и кто-то назвал мою фамилию. Я поднялся по ступенькам и был ослеплен ярким светом после полутемного подвала. Меня пригласили к столу, на котором часом ранее были положены мои бумаги, за которым уже сидел просмотревший их следователь, совсем еще молодой человек интеллигентного вида: вот этот мог быть студентом и уж, конечно, «настоящем не удостоверял». Так и оказалось. Стоя у стола, он тихим голосом, чтобы не слышали другие следователи, сказал мне, что еще в университете читал мои книги, давно хотел познакомиться и очень сожалеет, что знакомство это происходит в таких условиях и что вряд ли я хорошо чувствую себя в подвале.

— Я сейчас ухожу, — прибавил он, — мое кресло остается свободным. Займите его, может быть, вам удастся подремать; работа здесь скоро закончится.

Я поблагодарил и не отказался от предложения. Спать мне не хотелось, да и не на нары же было ложиться; пришлось бы просидеть на табуретке рядом со стулом Прохорова до утра. А тут, в следовательской комнате, было и удобное кресло, и, главное, редкая возможность присутствовать при следовательских допросах, которые продолжали идти своим чередом.

Следователь попрощался и ушел, а я уселся на его кресло и, как говорится, открыл глаза и навострил уши. За соседним столом только что начинался допрос какого-то человека вполне приказчичьей наружности. Сесть ему не предложили, он стоял у стола в почтительной позе и пре-

дупредительно отвечал на задаваемые вопросы. На вопрос, признает ли себя виновным, с готовностью ответил:

— Вполне сознаюсь, согрешил против социалистического отечества!

Обвинялся он в том, что откуда-то достал такой «дефицитный товар», как дюжину гроссов[61] катушек с нитками и распродавал эти катушки в розницу по спекулятивным ценам. («Ну, и что такое спекуляция? Простая торговля! Ну, и кто же теперь не займается этим?» — вспомнились мне слова спекулянта сахарином.) Этот факт установлен, обвиняемый сознался, что согрешил против социалистического отечества, но следователя интересовало другое: откуда и от кого именно достал обвиняемый такую большую партию катушек? Тут обвиняемый стал плести явно выдуманную историю, что сам не знает, от кого достал, что он случайно познакомился с одним «человечком», который предложил ему ежедневно в полдень встречаться на углу Кузнецкого моста и Петровки. Там они встречались, обменивались товаром и деньгами. Следователь записал это показание и потом сказал:

— Сегодня к полудню вы пойдете на угол Кузнецкого моста и Петровки. Надзор за вами будет такой, что со стороны никто ничего не заметит. Если вы встретите этого «человечка» — мы вам поверим, его арестуем, а вашу участь смягчим; если не встретите ни сегодня, ни завтра, ни в следующие дни — значит, вы все выдумали, и тогда уж не взыщите!

Обвиняемый клялся, что встретит, найдет, представит, с чем и был отпущен обратно в подвал. Он еще раз повторил, очевидно, понравившуюся ему фразу: «Горько каюсь, согрешил против социалистического отечества!» Когда перед полуднем он в нашем подвале приготовлялся к экскурсии на поимку злоумышленника, то все повторял: «Ну, скажите на милость, ну, как же я его там встречу, когда его там и отродясь не бывало!» И тут же рассказал нам, что катушки привозит ему раз в месяц брат, заведующий складом на нитяной фабрике в Ярославле. Вернулся с поднадзорной бесплатной прогулки на Кузнецкий мост, ночью получил разнос от следователя; потом каждый день нарочно водили его в полдень на это место мифических свиданий с несуществующим «человечком» и совсем замучили его этим. Но вдруг на пятый день дали ему очную ставку с арестованным в Ярославле и привезенным оттуда братом.

— И от кого только могли узнать! — наивно удивлялся и плакался разоблаченный спекулянт.

— От тебя же, дурня, — флегматично заметил хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода.

— Как так от меня! Нешто я следователю это говорил?

— Ни, следователю не казав, а чи нам не казав?

— Ну и что?

— Ну и то. Як ты годуешь: нам, сюди, у пидвал не пидсодили курю, шоб яйки клала?

Курица — шпион, яйцо — донос: этот тюремный жаргон сохранился еще с царского времени. Чем поплатились достойные братья — мне неизвестно; катушечного спекулянта увели из подвала раньше меня.

За другим столом шел допрос другого рода. Обвиняемый, бородатый мужик, ломал дурака и на все явные улики отвечал по поговорке — я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик. Однако он действительно был ломовой извозчик, нанятый перевезти вещи, и, пользуясь недосмотром хозяев, он скрылся с вещами и лишь случайно был обнаружен, а вещи обнаружены не были. С ним следователь не церемонился и обкладывал его ассортиментом самых забористых ругательств, стуча по столу кулаком, угрожая расстрелом. Тот тупо повторял все одно и то же: «Ваша воля, а мы неповинны».

У третьего стола горько плакал какой-то великовозрастный парень, имевший неосторожность при споре с охранником-чекистом сказать ему: «Эх ты, советская сволочь — жандармерия!» Это было явной контрреволюцией, и парню грозили немалые неприятности.

Допросы чередовались допросами, и если бы я захотел записать все, что пришлось слышать за эти несколько часов, то получилась бы объемистая тетрадь; должен только одно заметить: ругательства слышал, кулачной расправы — не видел; до последней советская юстиция дошла лишь в «ежовские времена».

По мере приближения утра допросы стали идти все более и более медленным темпом, все более и более вяло; следователи, видимо, утомлялись от ночной работы, позевывали, потягивались. Часов в шесть утра закрыл свою лавочку и ушел один из них, двое других досидели до семи часов и тоже ушли. Я остался один сидеть за четвертым следовательским столом в пустой комнате, стал подремывать и крепко заснул.

Разбудил меня в девять часов утра какой-то чекист в военной форме, с недоумением стоявший передо мной:

— Что вы здесь делаете?

— Сижу и сплю.

— Кто вам позволил здесь быть?

— Следователь этого стола.

— Кто вы такой? По какому делу?

Вместо ответа я указал ему на мои документы, так и остававшиеся лежать на столе. Он просмотрел их, пожал плечами и с прежним недоумевающим видом отрывисто сказал:

— Извольте отправляться к остальным заключенным, а с товарищем следователем я сам поговорю.

И я отправился в свой подвал после столь странно проведенной ночи.

— Ну, однако, и допрашивали же вас! — встретил меня Прохоров. — С четырех до девяти! Очень устали?

— Наоборот, — ответил я, — отдохнул в мягком кресле, слегка соснул и провел очень интересную ночь.

— А я все дивился, — сказал катушечный спекулянт, — что это за чудной следователь сидит: штатский, никого не допрашивает, молчит и слушает.

— Вот кабы все следователи такие были! — от души вздохнул ломовой извозчик.

VIII

Подвал давно уже проснулся, дежурный собирался идти за так называемым чаем; я стал знакомиться со своими товарищами по подвалу, в котором мне предстояло, как оказалось, провести целых пять суток. Правда, за эти дни многие ушли, многие новички появились. А почему я оставался здесь пять дней — было мне непонятно: ведь меня давно уже, именно пять дней, «искали», наконец «нашли» — так в чем же дело? Почему меня никуда не вызывают, ни о чем не допрашивают? Почему мой любезный студент-следователь как сквозь землю провалился? — я его больше не видел и ничего о нем больше не слышал. Потом выяснилось, что все это происходило от «маленьких недостатков механизма» еще только оформлявшейся Чеки: на Лубянке, 14 рассматривались лишь мелкие дела, мое же дело было в руках следователя по особо важным делам, находившегося в доме через улицу. Но если я мог из Петербурга в Москву ехать пять суток, то нет ничего удивительного и в том, что мое «дело» в течение пяти дальнейших дней не могло перейти через улицу, из дома 14 в

дом 11. И если бы не одно случайное обстоятельство, о котором расскажу ниже, то я мог бы просидеть в этом подвале не пять, а пятью пять дней. Об этом — речь впереди, а пока два слова о делах и людях в нашем подвале за это время с 20 по 25 февраля.

Прохорова увезли в Бутырку; я остался наследником единственного находившегося в подвале стула и провел на нем пять бессонных ночей. После пяти дней без еды — пять ночей без сна: это было новое и довольно острое впечатление. Первые две ночи я ни на минуту не сомкнул глаз, на третью ночь усталость взяла свое и я крепко заснул — и тут же свалился со стула. Приходилось только дремать, «клевать носом», и тут же просыпаться от стука двери, вызовов на допросы, разных ночных инцидентов. Так, например, на четвертую ночь мой полусон-полубодрствование был прерван необычным шумом: в подвал ввалилась толпа в восемь человек, мужчин и женщин, весьма нарядно одетых; ввалились они с криками, с плачем женщин, с ругательствами мужчин — и наперебой, с чисто южным темпераментом, стали мне, единственно неспящему, рассказывать о постигшем их злоключении. Это не были «нувориши» — нэпа тогда еще не существовало, — это были упитанные и хорошо одетые коммунисты из среднего слоя власть имущих, какие-нибудь начальники отделений по старой терминологии; жены их были в потрясающих манто и шляпках. После театра они целой компанией отправились на чьи-то именины, изрядно там выпили и, выйдя на улицу, имели несчастье столкнуться с такой же компанией подвыпивших чекистов и их дам сердца; имели неосторожность затеять с ними уличную ссору, перешедшую потом в драку. Рассвирепевшие чекисты при помощи милиции отправили своих уличных врагов не в милицейский участок, а в свое чекистское царство, обещая показать им кузькину мать, и втолкнули их в наш подвал. Мужчины негодовали, кричали, потрясали своими партийными билетами, жены плакали, упрекали мужей и с брезгливостью смотрели на проснувшихся обитателей нашего подвала; потом понемногу успокоились и уселись на краю нар. Я посоветовал им внимательно рассмотреть, на что они садятся; разглядев стада ползающих насекомых, дамы с визгом, а мужчины с ругательствами вскочили на ноги и простояли так, плача, ругаясь и причитая, до утра, когда всех их освободили. Вперед наука — не спорь с чекистами!

Ночи были трудные, а дни шумные. Уводили одних, приводили других. На пятый день нас, длительных жильцов подвала, осталось наперечет. Увели спекулянта-катушечника, увели молодого извозчика, увели и

многих других; на смену приходили новые люди, рассказывали о своих бедах, ругались, негодовали или трусили. Всего не расскажешь. За эти дни более всех понравился мне спокойный хохол-телеграфист из Нижнего Новгорода; с добродушным украинским юмором рассказывал он, как дошел до жизни такой. Давно мечтал он съездить на отпуск в Москву — вот и приехал: прямо с поезда зашел к родственникам, а у них на квартире оказалась засада: «От-це-ж и влип я!» Хозяина квартиры обвиняли в том, что у него — явочное место для эмиссаров Колчака из Сибири, вот телеграфист и попал в их число.

«Я кажу: я ж нэ з Сибири, я ж з Волги, а оны мене: а як-жешь и приехать з Сибири до Москвы, яко не чрез Волгу? Бачите, яко дило!»

Хохол этот бы бессменным дежурным по подвалу и признанным нашим старостой. Часов в девять утра уходил он с конвойным на кухню за кипятком; в полдень — туда же за ведром борща, который повторялся и на ужин в шесть часов вечера. Хлеба давали вдвое больше, чем на петербургском чердаке, — по четверть фунта в день; зато мисок не было, и все мы, вооружившись ложками и разбившись на очередные группы, стояли вокруг ведра и черпали из него буроватую свекольную жижу. Ни мясным, ни селедочным наваром жижа эта не пахла, зато давали ее вволю: не хватало одного ведра, можно было получить и второе. Утром и вечером на обязанности старосты лежало выносить неизбежную тюремную «парашу», а днем — составлять постоянно меняющиеся списки заключенных для подчисления хлебных рационов.

Из кого состояла вся эта подвальная толпа? Наполовину из таких «политических», как Прохоров или хохол-телеграфист, наполовину из уголовников вроде спекулянта-катушечника или ломового извозчика. В центре Чеки, на «Лубянке, 2», были сосредоточены более крупные политические дела, с ней мне предстояло познакомиться много позднее; а пока что — я застрял в текучей толпе этого подвала и не знаю, сколько бы еще просидел в нем, если бы не одно случайное обстоятельство, как я упомянул уже выше.

В ночь на 25 февраля я обычно сидел и дремал на своем стуле. К слову сказать — стул этот не мог спасти меня от кишевших и на полу отвратительных насекомых, но все же на мне было их не такое количество, как на обитателях нар. Было уже за полночь, когда в соседней следовательской комнате послышались более шумные, чем всегда, голоса. Через некоторое время дверь в подвал распахнулась и чей-то голос прокричал:

— Имеющие сделать заявление — к комиссару!

Я «имел сделать заявление», и так как сидел я на стуле у самой двери, а остальные спали на нарах, то я первый и вышел в следовательскую комнату. Посередине ее группа чекистов окружала комиссара, которого я сразу узнал: это был сам Дзержинский, возглавитель Чеки; мне приходилось встречать его и в 1917-м, и в 1918 году. Я назвал себя и сказал, что «имею сделать заявление».

Заявление мое заключалось в том, что вот уже скоро две недели, как был я арестован в Петербурге по совершенно дикому обвинению, был везен в диких условиях пять суток из Петербурга в Москву и в диких условиях продолжаю сидеть пять дней в этом подвале, кишащем насекомыми. Думаете ли вы, что это — достойное обращение с русским писателем? И могу ли я надеяться, что вы распорядитесь немедленно расследовать это дело?

Дзержинский сдержанно ответил, что ему известно мое дело, что оно уже закончено следствием и что мое пребывание здесь является непонятным для него недоразумением. Он вынул записную книжку, что-то отметил в ней и сообщил, что завтра же я буду вызван к следователю по особо важным делам, товарищу Романовскому.

Я удовлетворился этим ответом, мы сделали друг другу полупоклон — и я вернулся в подвал, откуда уже тянулся хвост «имеющих сделать заявление». Из подвала через открытую дверь я слышал, как хохол-телеграфист спокойно объяснял товарищу комиссару, что Волга — не Сибирь, а Сибирь — не Волга; потом пошли одно за другим разные заявления — и лишь к середине ночи успокоился наш взбудораженный муравейник.

IX

Наступило и «завтра», 25 февраля. Утро прошло как обычно; прошел и обед; начинало уже темнеть — никто меня никуда не вызывал. Я уже думал, что придется еще неопределенное время ожидать в подвале решения своей участи, несмотря на записную книжку товарища комиссара, как вдруг, около шести часов вечера, меня вызвали в следовательскую и предложили собираться «на допрос»; конвоир с ружьем уже дожидался. Мы пошли, конвоир предъявлял стражам дверей и ворот ордера на пропуск; мы вышли на Лубянку, пересекли ее наискось, вошли в подъезд четырехэтажного дома, охраняемый часовым с ружьем; предъявили пропуск и

ему. Поднялись на третий этаж, конвойный приоткрыл дверь какой-то комнаты, сказал: «Заключенного доставил!» — и пропустил меня в комнату, а сам остался стоять на часах в коридоре у двери.

Следователь по особо важным делам, товарищ Романовский, поднялся из-за стола и встретил меня буквально с распростертыми объятиями. Он знал, что руки я ему не подам, а потому и не пытался протянуть свою, но с театральным жестом распростертых рук, точно хотел обнять меня, он воскликнул:

— Ну, наконец-то! Вот уже сколько дней, как мы вас по всей Москве ищем, а вы затерялись, точно иголка в сене! Где мы только вас не перерыскали: и в центральной Лубянке, и в Бутырке, и в Таганке, и в Лефортове...

— Незачем было далеко ходить, — сказал я. — Вот уже скоро неделя, как я сижу на Лубянке, 14 в подвале, наискось от вас...

— Да, да, теперь мы знаем, но это только счастливый случай, что товарищ Дзержинский увидел вас там вчера; нам и в голову не приходило, что вас могли оставить в этой клоаке!

Недурное признание! Видно, были еще весьма велики «маленькие недостатки механизма» — не только потому, что возможна была в сердце Москвы такая чекистская клоака, но и потому, что человек мог затеряться среди этих клоак, как иголка в сене.

Товарищ Романовский с изысканной любезностью предложил мне сесть и театральным жестом придвинул стул. Вообще в нем было много актерского; я уверен, что до революции он играл роли первого любовника во второстепенных провинциальных театрах. Человек еще молодой; черные волосы до плеч, пышный галстук, синяя пиджачная пара; нечто назойливо актерское в жестах и интонациях. Он, видимо, играл теперь новую в своем репертуаре роль — любезного следователя, но, конечно, тут же мог обратиться в следователя трагического, завращать глазами, застучать кулаками, взреветь рыкаловским басом. Сегодня роль его была идиллическая.

— Мы очень, очень огорчены, что все так случилось. Мы поторопились: вызвали вас в Москву, а вскоре выяснилось, что этого совершенно незачем было делать. Но раз вы уже в Москве, то давайте оформим все до конца. Нам известны ваши петербургские показания (папка с моими бумагами лежала перед ним на столе), может быть, вы пожелали бы что-либо к ним прибавить?

— Нет, не имею такого желания.

— И прекрасно! Вот это дело теперь уже закончено, виновные понесли должную кару, а в вашем неучастии мы уже убедились. Сейчас составим обычную анкету, напишем маленький протокольчик, вы дадите нам небольшую подписку — и вы свободны! Мне поручено заверить вас, что таким недоразумениям вы впредь подвергаться не будете и сможете свободно и спокойно работать на благо нашей социалистической родины!

Почти слово в слово, как катушечный спекулянт! Les beaux esprits se rencontrent[62]...

Началась обычная процедура анкеты, следователь быстро заполнил «протокольчик» допроса, в котором я подтверждал свое петербургское показание о том, что ни о каком заговоре левых эсеров ничего не слышал (да и слышать не мог, ибо его не было) и что политикой вообще не занимаюсь. С этим всем было быстро покончено, оставалось дать «небольшую подписку», текст которой был уже написан; следователь предложил мне ознакомиться с ним. Не могу теперь, через столько лет, привести его текстуально, но главный смысл его был таков:

Нижеподписавшийся обязуется — ни в какие партии и контрреволюционные организации не вступать, ни в явной, ни в скрытой форме противосоветской агитации и антимарксистской пропаганды не вести, оказывать всемерную поддержку при разоблачении известных ему контрреволюционных элементов общества.

Последний пункт сильно смахивал на завуалированное предложение стать «сексотом» — секретным сотрудником — Чеки. Я сказал следователю, что в такой форме подписка эта для меня неприемлема. Он сыграл огорченное недоумение и спросил, в какой же форме я могу дать это необходимое для них обязательство? Я предложил ему — опять-таки привожу не текстуально, но твердо помню основные пункты — следующее заявление:

Я, писатель такой-то, вел, веду и буду вести исключительно литературную работу, политикой не занимаюсь; в партии никогда не входил и впредь входить не собираюсь. Что же касается направления литературной работы, то, не будучи марксистом, не могу ручаться за совпадение ее с официальным мировоззрением; но для пресечения нежелательных идейных направлений существует РВЦ (революционная военная цензура, — другой тогда еще не было), которой и надлежит блюсти интересы правительственной точки зрения[63].

Следователь Романовский долго меня уговаривал подписаться под его редакцией и в ответ на мой категорический отказ — театрально развел руками, сказал «ну что же с вами поделаешь!» и согласился на мою формулировку. Этим была исчерпана вся наша беседа, продолжавшаяся не больше часа. Стоило из-за этого везти меня в Москву, морить голодом пять суток в вагоне, кормить мною пять суток насекомых в грязном подвале и вообще весь огород городить!

Окончив всю процедуру, следователь сложил взятые у меня при обыске бумаги и книги в пачку и вручил мне, пожелав успешно продолжать «Антроподицею». (Уверен, что слова этого он так же не понимал, как и петербургский следователь.) Потом он прибавил:

— Для вашего освобождения нужны еще кое-какие формальности, а сейчас уже вечер. Уж извините, вам придется у нас провести еще одну ночь, но даю вам слово, что завтра в десять часов утра вы будете на свободе.

Написал какой-то ордер, позвал из-за двери конвоира, в его присутствии официально простился со мной (кивнул головой, я ответил тем же), сказал: «Можете увести арестованного». Конвойный повел меня в недалекий путь к месту последнего ночлега. И не думал я, что ночлег этот мог бы стать последним в буквальном смысле этого слова.

X

Толстый армянин-чекист сидел на обычном своем месте за столом регистратуры. Он отпустил конвойного, взяв у него ордер, бесстрастно поглядел на ордер и на меня, непонятно сказал: «Ну, сегодня харашо спать будешь!» — и велел вызванному звонком охраннику сопровождать меня. Тот повел меня не в правое, а в левое крыло здания; мы прошли цепью полупустых и полутемных комнат, только последняя была ярко освещена, и в ней за столом с бумагами сидела за стаканами чая целая семья чекистов-латышей: седоусый старик, человек средних лет, третий помоложе и мальчишка лет пятнадцати, все в военной форме, с револьверами в кобурах. Это были дед, сын и два внука, как я узнал из их полурусского, полулатышского разговора между собой; не хватало здесь для полноты коллекции только бабушки и матери в этой почтенной чекистской семье. Переговорив между собой, они велели моему конвоиру вернуться в подвал, где я просидел столько дней, и принести оттуда мой чемодан-

чик. Через несколько минут он принес его и вручил мне. Тогда мальчишка-чекист встал, загремел ключами и открыл металлическую дверь в место уготованного мне «последнего ночлега». Я полагал, что это будет такой же мрачный подвал, перешагнул через порог — и увидел перед собой нечто совсем другое.

Ярко освещенное матовым шаром под потолком помещение. Окон нет. Пола нет — то есть он есть, но не на уровне пола комнат всего этажа, а метрами четырьмя ниже; десятка полтора ступеней крутой витой лестницы вели вниз. И стены, и пол — изразцовые и блещут чистотой. На уровне обычного пола всего этажа — узкая, с ажурной решеткой металлическая галерейка вокруг всех четырех стен комнаты. Не знаю, что раньше было в этом помещении, — какая-нибудь несгораемая кладовая банка или страхового общества; в старом справочнике Москвы можно узнать, что было в царские времена в этом здании на Лубянке, 14.

Спустившись вниз по крутой лестнице, я очутился на изразцовом полу помещения, которое и подвалом называть не приходилось, слишком оно было для этого светло и парадно. Внизу, вдоль всех четырех стен, было устроено десятка полтора деревянных стойл, отделенных друг от друга стенками. В каждом стойле — нары, на них тюфяк и набитая сеном подушка. Посередине — небольшой квадратный стол и несколько табуреток. Пять человек сидели вокруг стола и пили чай; я пришел шестым.

Навстречу мне приветливо поднялся пожилой человек невысокого роста с широкой бородой, отрекомендовался «старостой нашего корабля» и предложил принять участие в чаепитии. Я пожал руки остальным путешественникам, представился им и уселся за стол, радушно угощаемый «чем Бог послал». Спросил старосту, где я нахожусь и что это за привилегированное тюремное помещение?

— Действительно, привилегированное, — сказал он, — разве вы о нем ничего не слыхали? Это — Корабль Смерти.

— Какой Корабль Смерти?

— Значит, ничего не слышали. Корабль Смерти — помещение для смертников, приговоренных к расстрелу и ожидающих окончательного решения своей участи.

— А вы?

— И я, и все мы здесь — смертники. А раз вы сюда попали...

Должен признаться: кусок остановился у меня в горле. Староста осторожно стал расспрашивать о моем деле, когда и как меня судили. Я рас-

сказал им короткую свою эпопею, включая и недавнюю беседу со следователем Романовским. Староста недоверчиво усмехнулся:

— Две недели тому назад обвинили в контрреволюционном заговоре, а завтра утром на свободу! Этого в Корабле Смерти при мне не бывало. Уводят нас больше ночью. Если скажут «с вещами» — значит, переводят куда-нибудь, если «без вещей» — ну, значит... На днях увели «без вещей» троих; «с вещами» взяли только одного, с неделю тому назад, да и то ночью.

— А сами вы, — спросил я старосту, — давно здесь сидите?

— Второй месяц пошел, — ответил он мне.

В голове у меня все перепуталось. «Даю вам слово, что завтра в десять часов утра будете на свободе» — и Корабль Смерти! Быть может, актер Романовский играл заранее выученную роль, а теперь бархатно посмеивается, воображая себе мое положение и вспоминая, как он меня одурачил? Может быть, «дело» мое вовсе не закончено? А может быть, и совсем закончено? А что, если действительно в десять часов утра или вечера — «без вещей»?.. Кстати, все это нелепость. Суда надо мной никакого не было, но и то сказать — какие там суды в эпоху чекистского террора! А с другой стороны, все это слишком невероятно и нелепо; может быть, следователь Романовский и вправду хотел только предоставить мне с удобством провести «последнюю ночь» в Чеке? Благодарю за такое внимание! Ночь на стуле во вшивом подвале казалась мне теперь недосягаемым идеалом!

Должно быть, все эти мысли ясно читались на моем лице, так как староста мягко сказал:

— А вы бросьте думать обо всем этом и положитесь на судьбу; думами тут делу не поможешь.

Я послeдовал его совету, постарался «бросить думать» и принялся за прерванное чаепитие. Но не могу сказать, чтобы «бросить думать» мне удалось; о чем бы я ни говорил, в подсознании все время одна и та же мысль: Корабль Смерти! Чтобы заглушить ее, я стал расспрашивать спутников по Кораблю, давно ли они свершают в нем свое плавание и как в него попали. Должен признаться, что смутно помню все их рассказы: слушал вполуха, думая о своем. Но все же кое-что доходило до сознания и осталось в памяти. Вот только фамилии начисто забыл.

Староста — бухгалтер в каком-то большом учреждении — и в царские времена, и в революционные был одинаково далек от какой бы то ни было

политики. Как-то пришел к нему уезжавший на время в Сибирь знакомый и попросил приютить его чемодан с особенно ценными для него вещами, который он боялся оставить в своей холостяцкой комнате. Уехал — и исчез; а вскоре к бухгалтеру нагрянули ночные гости, произвели повальный обыск, забрали чемодан и его самого. Держали на «Лубянке, 2», подвергали строжайшим допросам, обвиняя в принадлежности к широко разветвленной контрреволюционной «колчаковской» организации, эмиссаром которой был его знакомый, а он, бухгалтер, якобы был московским явочным центром этой организации, — не к нему ли попал в засаду и мой хохол-телеграфист? Я спросил — оказалось: к нему! На его постоянные уверения, что он ни сном ни духом не причастен к этому делу, ответили кратко: «Все равно расстреляем», — и отправили ждать решения своей участи в Корабль Смерти.

Молодой солдат, партийный эсер, принимавший участие в восстании какого-то из волжских полков, — в Самаре? в Саратове? После подавления восстания бежал, скрывался, был пойман; если не расстреляли сразу, то лишь оттого, что требовали точного указания — где находятся другие, тоже скрывшиеся и еще не пойманные главари восстания, с которыми он якобы был связан и в бегах. Указать он не мог, — думали, что не хотел, — сказали: «Не миновать тебе расстрела!» — и посадили в Корабль Смерти.

Тот же молодой человек, называвший себя анархистом. После разгрома советской властью анархистов в Москве, в апреле 1918 года, он скрылся в провинцию и организовал там анархистские группы с боевыми заданиями. Чем его идейный анархизм отличался от простого бандитизма, в кратком разговоре я усвоить не мог; во всяком случае, после нескольких удачных «эксов» (экспроприаций) группа его была «ликвидирована», и он сравнительно недавно очутился в Корабле Смерти.

Четвертый — матрос, хмурый и неразговорчивый. Его рассказ о себе совсем не помню. Помню только, как он вскользь бросал отрывочные фразы: «Ничего, всех не перестреляют!» или: «Пожди, мы еще себя покажем!» Когда ровно через два года вспыхнуло Кронштадтское восстание, я вспомнил этого матроса с его уверенным «мы». Сидел и в петербургском ДПЗ, и на «Лубянке, 2»; с месяц тому назад ему сказали: «Ну, теперь скоро!» — и отправили в Корабль Смерти.

Наконец, пятый — истовый старик крестьянин, староста какого-то подмосковного села, в котором очень «безобразничал» поставленный из

Москвы «комиссар». Мужики долго терпели, безрезультатно жаловались, но однажды «комиссар» был убит выстрелом из ружья в окно. Виновного не нашли, старосту взяли как заложника, сказали: «Найдем виновного — тебя отпустим, а не то — не взыщи!» — и вот теперь сидит он в Корабле Смерти.

А шестой — я. Какими судьбами попал я в Корабль Смерти, что мне предстояло впереди? Действительно ли это моя «последняя ночь» (какая бессмыслица думать об этом!) или это только любезная услуга, черт бы его побрал, следователя Романовского?

Как будто бы в ответ на эти мои мысли староста сказал: «Утро вечера мудренее» — и предложил всем нам ложиться спать.

XI

Улегся в указанном мне стойле на соломенном тюфяке, — надеялся наверстать пять бессонных ночей. Насекомых здесь не было (кроме тех, что я принес с собой); тюфяк, по сравнению с жестким стулом, был мягкий; сверху засаленной подушки я положил полотенце — и собирался заснуть. Не тут-то было!

Соседи мои крепко спали. Я изумлялся внешнему спокойствию этих людей, каждый из которых в любую минуту ночи мог ждать вызова «без вещей». Я был уверен, что мне не грозит подобная участь, и то не мог заснуть. А впрочем — кто ее знает, чекистскую юстицию! Могут и расстрелять безданно и беспошлинно, а потом объявят в газетном сообщении: «Подвергнут высшей мере социальной защиты за участие в левом эсеровском контрреволюционном заговоре». Поди опровергай! Через два с половиной года так и расстреляли поэта Гумилева за участие в заговоре монархическом; кратко сообщили об этом в газетах — и верь на слово!

На «капитанской рубке» — так звали галерейку над нашими головами — стал мерно ходить, отбивая шаги и позвякивая ружьем, часовой — все из той же латышской семейки: сперва дед, потом через два часа его сменил младший внук, потом старший, потом их отец, — а я все еще не спал, тщетно уговаривая себя попытаться заснуть. Матовый шар под потолком ярко освещал наш «трюм» — так назывался наш подвал — и тоже мешал приходу сна. И яркий свет, и ночные часовые были для того, как мне объяснили утром, чтобы «смертники» не могли покончить самоубийством... Мне рассказали за чаем, что такой же Корабль Смерти находится

и на Лубянке, 2, но только там он значительно обширнее и временами густо заселен. Когда не хватает места на том Корабле, присылают на этот.

Латыши-часовые безостановочно ходили или присаживались на стул в углу галерейки; матовый шар неистово светил; навязчивая идея безустанно сверлила мозг. И все-таки я к самому утру забылся сном — и проснулся от шума шагов и голосов: пассажиры трюма уже встали и готовились к чаю. Чекисты-латыши перестали ходить по капитанскому мостику: этим они занимались только ночью. Встал и я, но голова была в тумане.

Пили чай, разговаривали. Вспоминал я мемуары сидевших в парижских тюрьмах в эпоху гильотины: смерть была тогда столь обычным делом, что и самые робкие встречали ее мужественно; крик Дюбарри перед гильотиной: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»[64]— был редким исключением среди проявлений мужества и героизма. Как видно, нет революции без гильотины и нет недостатка мужества в сердцах людей.

Пили чай и разговаривали спокойно, тем более что ночь — опасное время — миновала. Староста написал что-то на клочке бумаги и, подавая его мне, сказал:

— Знаете что, ведь и невероятное иной раз случается: а вдруг вас сегодня и взаправду выпустят? Тогда просьба к вам: вот номер телефона моей жены — не позвоните ли вы ей? Скажите только, что здоров и пока жив. Если вам не трудно...

— Труда здесь нет, — ответил я, пряча записку, — а только после наших вчерашних разговоров мало что-то верится, что я сегодня выйду на свободу. Вот и десять часов уже скоро...

— Кириллов день еще не прошел, — улыбнулся староста, показывая этой цитатой из Алексея Толстого, что и он не чужд литературного образования[65]. И чуть только произнес он эти слова, как наверху отворилась дверь, и латышский мальчишка-чекист с капитанской рубки прокричал в трюм мою фамилию, прибавив:

— Собираться... с вещами!

* * *

В регистратуре сидел все тот же вечный армянин, спросил меня: «Харашо спал?», исполнил все анкетные формальности, вручил удостоверение на право выезда из Москвы и— что еще важнее — ордер на право ухода

из Чеки. В яркое солнечное утро 26 февраля вышел я на улицу; с большим трудом — и голодовка, и бессонница сказались — доплелся до дома одних знакомых и застал там и В.Н. Отмылся в ванне, отоспался, подкормился, так что на следующий день мог уже простоять часы в очередях за билетами. В последний день февраля вместе с В.Н. покинули мы Москву, на этот раз не в товарно-пассажирском, а оба в скором поезде, и 1 марта были уже дома в Царском Селе.

Двадцатью годами раньше, в марте месяце, получил я первое крещение тюрьмой; два десятилетия прошло, «свершился дней переворот», а тюрьма все-таки не отошла от меня... Хорошо еще, что хоть я-то теперь вышел из нее... И всего-то моих тюремных чердачно-вагонно-подвальных переживаний было только две недели — приблизительно столько же, сколько пришлось провести в тюрьме во время первого крещения. Теперь я испытал второе, был в некотором роде анабаптистом и очень хотел надеяться, что этим наука и ограничится и что я смогу свободно (в кавычках, разумеется) работать, если и не на пользу «социалистической родины», как выражались катушечный спекулянт и следователь Романовский, то, по крайней мере, для русской литературы, буде ей дозволено будет существовать.

Целых пятнадцать лет после этого меня не трогали и позволяли, хоть и на больших тормозах, двигаться в литературе. Но, видя все, что творилось кругом, я никогда не верил в прочность своего дома, построенного на песке: знал, что для ГПУ я — «идеолог народничества» и убежденный противник марксизма, хотя бы противник и с заткнутым ртом. Ждали только случая, искали только повода, только предлога, а когда усиленно ищут, то чаще всего и находят.

Но все это было еще впереди: двадцать лет от первой тюрьмы до второй прошло, пятнадцать лет до третьей тюрьмы осталось. И если первая тюрьма была только веселым предисловием, а вторая — ничуть не веселым введением, то третью и последующие тюрьмы можно охарактеризовать старинной русской поговоркой: «раньше были только цветочки — ягодки будут впереди».

Май, 1944 год
Кониц

ЮБИЛЕЙ *

Юбилей — это издевательство.
Чехов

Не пожелаю никому такого юбилея.
Н.А. Римский-Корсаков
(«Летопись»)[66]

I

Литература — жизнь, но жизнь — не литература.

Да, но в то же время (и именно потому) жизнь умеет создавать такую мелодраматическую литературщину, что в повести или романе никто не поверил бы плохой придумке и неудачному домыслу столь вяще изломившегося автора. Поэтому часто, боясь «литературы», умудренные авторы ограничиваются лишь «оттенками», сознательно или бессознательно утончая жизнь: писатель должен-де давать «rien que la nuance», ибо «tout le reste est littérature»[67]. А вот сама жизнь — она поступает не по-декадентски, она не боится самых нарочитых и грубых литературных эффектов; она вместо «оттенков» преподносит изумленным зрителям такой необузданный тяп-да-ляп, что любо-дорого смотреть, а тем паче — самому переживать. Все это думалось мне в связи с устроенным жизнью празднованием моего житейского и литературного юбилея в 1933 году — и рассказ об этом праздновании будет очень удачным (ибо «продиктованным жизнью самой») введением к тем житейским и литературным воспоминаниям, которые я все еще собираюсь написать.

В очаровательной книге «Жизнь Бенвенуто Челлини, им самим написанная» есть такое всегда восхищавшее меня место:

«Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственной рукой описать свою жизнь; но не следует начинать столь бла-

*Писано в Саратове, в ссылке, в 1934 году.

го предприятия прежде, нежели минет сорок лет... Вспоминаю о кое-каких благих отрадах и кое-каких неописуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти пяти лет, с каковым, столь счастливо, я, благодаря милости Божией, иду вперед»[68]. Так вот, не единожды после революции, когда мне как раз минуло сорок лет («не следует начинать столь благого предприятия прежде...»), садился я писать воспоминания; однако, подобно одному чеховскому герою, никак не мог пойти дальше первой фразы: «Я родился в...»[69] И не потому не мог пойти дальше (каюсь), что меня останавливала мысль: «А кому это интересно, когда и где именно ты родился?»; и не потому тоже, что не сделал в жизни ничего «доблестного или похожего на доблесть». Кто из нас посмеет назвать свою жизнь доблестной? Довольно и того, если она была просто честной; а если к тому же она была еще и интересной, то такому человеку и перо в руки. А у кого же могла быть неинтересная жизнь в нашу водоворотную эпоху? Нет, смело садись, бери перо и пиши: «Я родился в...»

Однако не писалось. И житейская суета сует мешала, и не было какого-то последнего толчка, властно усаживающего за письменный стол. Вот уже минуло мне и пятьдесят лет, пора бы оглянуться назад. Вот пришел и 1933 год, когда, еще раз говоря словами Челлини, «я достиг до этого возраста, пятидесяти пяти лет», — год для меня вдвойне знаменательный: год двойного моего юбилея, литературного и житейского. Литературного — потому что ровно тридцать лет назад, в январе—феврале 1903 года, написал я первые строки первой моей книги[70]; житейского — потому что ровно тридцать лет назад, 20 января, а по новому стилю —2 февраля 1903 года, была наша с В.Н. свадьба. Вот мы и собирались праздновать 2 февраля 1933 года наш тридцатилетний двойной юбилей. Но как же быстро прошли эти тридцать лет!

Вот осенью 1906 года выходит первая моя книга — и я «вхожу в литературу». Так как в ней проходит вся следующая жизнь, то не здесь вспоминать об этом, хотя и есть о чем вспомнить. Блестящий период расцвета русской литературы и искусства начала XX века прошел перед глазами, с лучшими его представителями и выразителями судьба дала мне возможность стать в близкие и дружеские отношения. Семья, дети, друзья, литература, искусство, общественная деятельность, победы и поражения, жизнь, полная борьбы. Пусть это был только быт, пусть подлинные события пришли позднее, но одни и те же люди связали быт с событиями.

Быт, люди и события — вот поэтому три части будущих моих воспоминаний.

И вот — пришли события: война и революция; полное неприятие первой, полное приятие второй, снова победы и поражения. Не здесь об этом рассказывать, но есть о чем порассказать, есть о чем вспомнить. Потом — напряженная работа пять лет (1919—1924) в «Вольфиле» — «Вольной философской ассоциации», о чем рассказываю в другом месте*; потом — работа над Салтыковым[71] и работа над Блоком[72], о чем скажу ниже: обе были в разгаре, когда подошел 1933 год. Можно бы и подвести итоги. Худо ли, хорошо ли работал тридцать лет, он написал два десятка томов и работал честно; худо ли, хорошо ли жил, он прожил жизнь интересно; есть что благодарно вспомнить, есть чему (и кому) благодарно поклониться. И если жизнь эстетически закончена и справедлива, то и этот двойной юбилей мой должна она ознаменовать (для меня) чем-либо, отмечающим новую веху на жизненном пути. А жизнь — внутренне всегда справедлива, или, говоря по-книжному, всегда действует она по непреложным законам субъективного телеологизма: в этом и заключается ее справедливость...

С такими «подсознательными» думами и чувствами встретили мы с В.Н. наступающий новый 1933 год, год двойного нашего юбилея. Казалось бы, чего проще! ознаменуй сам для себя этот юбилей тем, что примись наконец за книгу воспоминаний. Не тут-то было! Как раз в 1933 год вступал я в разгаре увлекательной двойной работы, поглощавшей все мое время. Так как работа связана (как вскоре оказалось) с юбилейными моими празднествами 1933 года, то здесь надо сказать два слова и о ней.

После смерти Александра Блока десять лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством, так что, когда осенью 1930 года «Издательство писателей в Ленинграде» предложило мне составить план полного собрания сочинений Блока и редактировать его, я охотно принял это предложение. В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе все поэтическое наследство Александра Блока; в течение 1933 года должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. Большую работу эту я мог выполнить в такой сравнительно короткий срок только потому, что все эти два года деятельно помогал мне в ней приятель мой Дмитрий Михайлович Пинес[73], прекрасный и тонкий знаток Блока, а кроме того, и исключительно сведущий библиограф. Все

*В предисловии к книге «Оправдание человека».

эти два года (1931–1932) он почти каждый день самоотверженно приезжал ко мне в Детское — бывшее Царское — Село, где мы работали над хранившимися у меня на дому рукописями Блока. Два тома прозы тоже были уже в наборе к началу 1933 года. И мне казалось, что двенадцатитомное собрание сочинений Блока — неплохой литературный памятник, которым я ознаменовал свой тридцатилетний литературный юбилей. Правда, под сильным давлением одного высокого учреждения — ГПУ — и при подобострастном «чего изволите» двух его сотрудников, «пролетписателей» Чумандрина и Лаврухина, возглавлявших правление «Издательства писателей», это издание весною 1932 года было кастрировано: из него были вырезаны все уже набранные, а отчасти и отпечатанные фактические примечания мои (около 50 печатных листов), заключавшие в себе до пяти тысяч неизвестных строк из черновиков стихотворений Блока. Но подробней об этом — ниже.

Вторая большая работа, которой я был занят в это время, была связана с творчеством Салтыкова-Щедрина. Над этим писателем работал я с 1914 года, хотя и с перерывами, изучая сперва первопечатные тексты, а позднее — рукописи и архивные материалы. В 1925 году мне было предложено Государственным издательством прокомментировать юбилейное шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова; труд этот занял у меня два года, и результатом его было 30 печатных листов комментариев к основным салтыковским циклам[74]. После всей этой многолетней работы я счел себя достаточно подготовленным для большой монографии о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина; первый том ее вышел (с большими препятствиями) в 1930 году[75], второй и третий тома подготовлялись (без больших надежд) к печати, а тем временем в том же году в «Издательстве писателей» вышла собранная мною небольшая, но острая книжка — «Неизданный Щедрин»[76]. Но вот осенью 1931 года Государственное издательство предложило мне составить план издания полного собрания сочинений Салтыкова и принять ближайшее участие в его редактировании. План был составлен, работа началась; к 1933 году она была в полном ходу. И мне думалось, что и эти работы — моя монография и многотомное собрание сочинений Салтыкова — были неплохими литературными памятниками тридцатилетнего моего литературного юбилея.

Блок и Салтыков (какие, однако, полюсы!) — вот в какой напряженной работе встретил я 1933 год. Кстати: не кажется ли вам, читателям далекого будущего (если эта книга дойдет до вас), что насильственно пре-

рвать такую, пусть весьма скромную работу было явным «вредительством» в области культуры, заслуживающим сурового возмездия?

Итак, работа была напряженная, мне было не до воспоминаний, не до юбилеев. К тому же, не примыкая к официальной идеологии, я не мог подвергнуться мытарствам официального юбилея — и слава Богу! Знаю я эти юбилеи, навидался, в устройстве одного из них сам принимал близкое участие (Федора Сологуба, в 1924 году)[77] — благодарю покорно! «Юбилей — репетиция похорон», сказано про такие юбилеи с надгробными (то бишь приветственными) речами; а кому же весело присутствовать на репетиции собственных похорон! Нет, лучше в одиночестве и радостном труде провести этот день 2 февраля 1933 года, чтобы вечером, за стаканом вина, благодарно вспомнить минувшее тридцатилетие жизни и работы, чокнуться с В.Н. за прошлое и бодро встретить будущее, каким бы оно ни пришло.

Но тут-то и начались юбилейные празднества.

II

Весь день 2 февраля я с увлечением работал в своем кабинете — сперва над гранками VIII тома сочинений Блока, потом («отдых есть перемена работы») над материалами VIII тома сочинений Салтыкова. Часов в девять вечера, довольный проведенным днем, закончил я работу, чтобы за стаканом чая, в тихом уюте отпраздновать вдвоем с В.Н. общий наш юбилей.

В это время пришли гости — престарелый писатель Вячеслав Шишков[78] с молодой женой, — «на пять минут», по какому-то бытовому делу. Они уже собирались уходить, когда я сказал:

— Хоть вы и торопитесь домой, а придется вам остаться, когда вы узнаете, какой у нас с В.Н. сегодня день.

И, переглянувшись с В.Н., рассказал им полушутя о двойном нашем юбилее.

Гости ахнули: им, «молодоженам», показались чуть ли не невероятными тридцать лет нашей семейной жизни; да и тридцать лет литературной работы — тоже «впечатляющее» число. Сели мы вокруг самовара и бутылки вина, чокнулись — и уютно провели этот юбилейный вечер. Вячеслав Шишков между прочим спросил, почему мы этот наш юбилей держали в секрете от друзей и знакомых, надо-де было устроить широкое и многолюдное чествование.

— А вот погодите, — сказал я, — чествование еще может состояться. Уйдете вы домой, ляжем мы спать, а тут как раз и явится тетка с поздравлениями.

«Теткой» прозвали мы в небольшом писательском кругу — ГПУ, а поводом к этому послужили две строчки из поэмы «Комсомолия» замечательного поэта земли русской Безыменского.

Комсомол — он мой папаша,
ВКП — моя мамаша...[79]

Этот запоминающийся дистих, без ведома автора очаровательно пародирующий пародию Глеба Успенского («который был моим папашей, который был моим мамашей...»[80]), как-то к случаю позволил мне сказать, что хотя не у каждого из нас есть трехбуквенная мамаша, но зато у каждого имеется трехбуквенная тетка ГПУ; еще Фамусов о ней знал, грозя сослать дочь «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!».

Визита этой тетки я не удостаивался с 1919 года, но за последние ночи она усиленно навещала моих близких и далеких знакомых. В конце января арестован был упомянутый выше Д.М. Пинес, к большому ущербу для издания томов прозы Блока и библиографии о нем; были взяты и кроме него два-три знакомых — все бывшие эсеры, правые и левые; но тогда же арестованы были в Царском Селе и еще знакомые, не имевшие никакого отношения к политическим партиям. Один из них, Г.М. Котляров, библиотекарь Академии наук, милый человек и любитель-шахматист, нередко заходивший ко мне сыграть в шахматы партию-другую[81]; второй, писатель А.Д. Скалдин (автор острого романа «Странствия и приключения Никодима Старшего»), в последний раз был у меня года два тому назад[82]. Я не поверил своим ушам, когда вскоре узнал (уже в апартаментах тетеньки), что оба они арестованы за принадлежность к моему «кружку». И хотя никакого кружка не было, обоих их сослали в Алма-Ату. Но все это еще впереди.

На слова мои Вячеслав Шишков рассмеялся и сказал, что таких совпадений в жизни не бывает.

— Если даже и допустить, что тетенька нанесет вам визит (чему я не верю), то уж сегодняшнюю ночь вы будете, во всяком случае, спать спокойно: такое юбилейное совпадение слишком невероятно, его не встретишь даже в плохом романе неумелого автора. Жизнь — умнее.

— Дорогой мой, она — смелее, — ответил я. — Литература — жизнь, но жизнь — не литература.

Далее — смотри первые строки этой части: то, что я сказал тогда, я записал теперь.

Около полуночи мы проводили гостей, посидели и поговорили еще немного, а в половине первого я потушил у себя в кабинете электричество и собрался было заснуть. В это время в саду раздался лай Сулхана (чудесный друг дома, дворянин-гордон), потом топот многочисленных ног по лестнице, потом стук в дверь. Стало смешно: хотя я только что и отстаивал «жизнь» против «литературы», но, сказать по правде, никак не думал, что окажусь таким блестящим пророком и что тетка явится с поздравлениями именно в эту ночь.

Наскоро одевшись, я вышел в переднюю и встретил вышедшую из своей комнаты В.Н.

— Все-таки явились! — сказала она.

Спросив для проформы «кто там?» и получив ожидавшийся ответ, я открыл дверь и был поражен количеством юбилейных поздравителей, явившихся под командой молодого гэпэушника, оказавшегося особоуполномоченным секретно-политического отдела ГПУ, неким Бузниковым.

Несомненно, что секретное (для меня) политическое преступление мое было очень велико, раз понадобилась целая армия для обыска, а потом и конвоирования. Одни, во главе с Бузниковым, заняли мой кабинет, другие — комнату В.Н., третьи отправились в сад обыскивать дровяной сарай. Что там могло у меня храниться? — пулеметы? склад бомб? печатный станок? Не знаю, да и вообще ничего не знаю о подробностях обыска, так как Бузников попросил меня не покидать кабинета, где он уселся за мой письменный стол, раскрыл ящики и занялся чтением лежащих на столе и в ящиках писем и бумаг.

Я закурил трубку, сел в кресло и просидел, не вставая, все время шумного обыска — до пяти часов утра. Курил, молчал и думал. Очень о многом думается в такие часы ночного обыска.

И вот первая, юмористическая мысль: что, если бы тетенька знала о двойном моем юбилее — явилась ли бы она именно в эту ночь или нанесла бы свой визит несколькими ночами раньше или скорее наоборот: а, ты празднуешь свои тридцатилетние юбилеи? ну вот и я явлюсь поздравить тебя в эту самую ночь и создам эстетически законченную рамку для дальнейших юбилейных празднеств.

Шуточная мысль эта мелькнула, чтобы смениться более серьезными. В четвертый раз на своем веку подвергался я теперь аресту (первые три были в 1901, 1902 и 1919 годах) и второй раз обыску, испытывая при этом совершенно одинаковое чувство: отвращение к самому процессу обыска и жалость к производившим его людям. Пусть полицейский обыск по политическим мотивам есть неизбежное условие определенных форм государственного быта, но от этой неизбежности он не становится менее отвратительным, а совершающие его люди — менее жалкими. Конечно, в своих собственных глазах, они — чуть ли не герои, или, по меньшей мере, мужественные борцы с революцией и контрреволюцией (в разные времена или в разных государствах формулировки эти, естественно, бывают противоположными), но для человека со стороны в обоих случаях они — жертвы государственного строя, заслуживающие сожаления гораздо большего, чем их жертвы, объекты их деяний. Ибо — что может случиться с «объектом»? Оставят ли его в покое, сошлют ли, заточат ли на долгие годы за тюремную решетку, расстреляют ли, повесят ли, отрубят ли голову топором (как это теперь делают «в самой культурной стране мира»*) — во всех этих случаях нисколько не пострадает самое главное: его человеческое лицо, которое безмерно дороже жизни. Часто бывает достойна скорби (но не жалости) его судьба — и мы глубоко скорбим, например, об участи Чернышевского и Лавуазье, Рылеева и Андре Шенье; но их человеческое лицо, их дело озаряется лишь тем более ярким светом от лучей их судьбы[83]. А государственные вершители и решители их судеб, вплоть до тюремщиков и палачей, заслуживают лишь человеческой жалости, какими бы индейскими петухами ни распускали они свои хвосты во имя государственной необходимости, вечерними жертвами которой сами они и являются.

Я знаю, что такой взгляд совершенно неприемлем для всех знаменосцев государственных истин вроде: salus rei publicae (или revolutiae, или monarchiae) — suprema lex[84], «цель оправдывает средства» и т.п. Знамена эти одинаково подъемлют ввысь представители диаметрально противоположных государственных форм, подставляя противоположный смысл в одни и те же слова. Но — простите за мелкобуржуазный вопрос — что, если никакая, даже великая цель *не* оправдывает гнусных средств? Самая великая цель всемирного блаженства на земле может ли радостно осуществиться людьми на слезах и муках загубленной жизни маленького ребен-

*Писано в 1934 году.

ка? Достоевский когда-то ярче яркого осветил этим вопросом построение Хрустального Дворца, будущего рая на земле[85]. И каждый должен твердо решить, может ли он идти под знаменами современных строителей Хрустальных Дворцов — Муссолини, Гитлеров, Сталиных и им подобных архитекторов мирового счастья.

И еще мысль по поводу этих мыслей. Конечно, все они коренным образом расходятся с государственными идеологиями половины мира — от Японии на востоке до Германии включительно на западе; в идеологии же эти, диаметрально противоположные, объединяются общим средством их проведения в жизнь — террор и «диктатура». Для любой диктатуры — и красной, и черной — мысли эти одинаково неприемлемы. Конечно.

Но вот вопрос: являются ли подобные мысли сами по себе, an und für sich[86], поводом применения санкций государственного аппарата? Раньше, в царские времена, во всем культурном мире издевались над непонятным европейцу русским бытовым словом: «неблагонамеренность».

Теперь в ряде европейских стран поняли это по собственному опыту. Но как же в стране диктатуры пролетариата? Пусть я человек и писатель «неблагомыслящий» (очаровательное расширение былой «неблагонамеренности»!), но подлежу ли я только за это, только за идеологию, а не за действия — аресту, тюрьме, ссылке? Или надо будет во что бы то ни стало придумать фиговый листок, изобрести какую-нибудь организационную группировку? Посмотрим, будет ли покрыт стыдливым флером этот ночной обыск.

А обыск шел своим чередом. Входили и выходили разные тетушкины адъютанты, пугливо косясь на десяток больших книжных шкапов с десятками тысяч книг, — работы-то сколько предстоит! Спрашивали — где чердак? где дровяной сарай? спускались в подвал, ходили по саду. В комнате В.Н. работа тоже кипела: опустошали ящики комода, рылись в белье, переворачивали матрацы. Одним словом — все по старой, классической форме, так хорошо известной.

Все это было малоинтересно, ибо слишком известно. Гораздо интереснее было мне следить не за людьми, возбуждавшими только жалость, а за животными, молчаливо присутствовавшими всю ночь при обыске. Это были пес Сулхан и кот Мишка.

Читая житейские воспоминания художников слова, не один раз удивлялся я, как мало места отводится в них четвероногим друзьям человека. Да и вообще — велика ли посвященная им художественная литература? Из

наших писателей только один Михаил Пришвин вплотную и любовно подошел к «психологии собаки»[87]. Нехудожникам за такую тонкую тему лучше и не браться. И все-таки не могу не рассказать здесь о друге дома Сулхане, так как глубоко поразило и тронуло меня его поведение в эту мою юбилейную ночь.

Бенвенуто Челлини в красочном своем жизнеописании рассказывает, как сидел он в римской тюрьме св. Ангела, а пес его разделял с ним одиночество камеры. Ночью пришли тюремщики и палачи вести Бенвенуто на казнь — и вдруг пес, всегда добродушный, с яростью бросился на вошедших; они едва отбились от его нападений.

Сулхан вел себя совершенно иначе. Добрейший, но всегда настороженный и враждебный к незнакомым людям (как и подобает уважающему себя цепному псу, спускаемому с цепи на ночь), он и теперь, при первом появлении юбилейных поздравителей, кинулся на них с грозным лаем, но, обнюхав среди них знакомого соседа, обывателя-понятого, молча ворвался вместе с поздравителями в комнаты, подбежал ко мне и все пять часов обыска (удивительно!) простоял у моего кресла не двигаясь, уткнув нос в мои колени и поджав хвост. Люди входили, выходили, хлопали дверью, разговаривали — он ни на что не обращал ни малейшего внимания, и это поразительно отличалось от его обычного поведения. Каким это верхним собачьим чутьем учуял он, что на долю хозяина выпало юбилейное чествование?

Но если уж рассказал я об этой трогательной собачьей интермедии, то отчего бы заодно не рассказать о случившейся тут же юмористической интермедии кошачьей? Тем более, что о «психологии кошки», существа куда более сложного, чем собака, нет ровно ничего в художественной литературе...

Не для восполнения пробела, а просто потому, что к слову пришлось, скажу я здесь о нашем чудесном черном Мишке, ласковом и нежном со своими, но гордом и самолюбивом, как и всякий уважающий себя кот. Он спал на оттоманке в моем кабинете и не обратил никакого внимания ни на вошедших с шумом чествователей, ни на своего друга и приятеля Сулхана. Ночь подходила к концу, когда один из гэпэушников бросил на оттоманку какую-то пачку бумаг, слегка задевшую Мишку. Мишка медленно встал, выгнул спину, презрительно обвел глазами всех присутствовавших, затем отправился, задрав хвост, в угол к камину, и тут он — вежливейший и воспитаннейший кот, все четыре года своей жизни все-

гда просившийся выйти в сад, — с демонстративным громом и шумом свершил crimen laesae majestatis[88], после чего величественно прошествовал к двери и попросился выйти.

Мне, конечно, совестно за введение этих интермедий — слегка сентиментальной собачьей и вполне непристойной кошачьей, — но из песни слова не выкинешь, а юбилейная ночная кантата включала в себя и такие ноты. К тому же я рассказываю теперь то, о чем думал тогда, и в мои серьезные и несерьезные мысли тех часов входило все то, о чем пишу теперь.

III

Юбилейная ночь подходила к концу. Часам к пяти утра теткины сыны собрали большой мешок писем и рукописей; никогда в жизни не подозревал я, что являюсь обладателем такого большого количества нелегальной литературы. Что было в этом мешке? — для меня это до сих пор покрыто мраком неизвестности. Случайно знаю, что взяты были со стола все письма ко мне такой серьезной преступницы, как Вера Фигнер[89]; взята была обработка для сцены «Истории одного города», сделанная Евг. Замятиным[90], взят был, конечно, и мой дневник за годы революции, на девять десятых — чисто литературный и без которого я уже не смогу теперь в своих воспоминаниях написать как следует об Александре Блоке, Андрее Белом, Сологубе, Есенине, Клюеве, о многом другом (тогда это писалось под свежим впечатлением). Взято было все без всякой описи — и, повторяю, я до сих пор не имею представления о том, какие же пудовые историко-литературные материалы перешли из моего архива в архив тетушки. Но все это — в порядке вещей.

Затем — мне было любезно предложено собираться в путь. Кабинет был опечатан. (В скобках сказать — через два месяца он был без всякого повторного обыска распечатан в один прекрасный апрельский день.) В.Н. наспех приготовила мне чемоданчик с необходимыми вещами и вышла проводить меня до автомобиля, поджидавшего в липовой аллее перед домом. Это был так называемый (всюду — от Москвы до Владивостока) «черный ворон»: тюремная без окон камера на автомобильных колесах. Кстати сказать: месяца через три я встретил в Москве, в Лубянском изоляторе, человека, арестованного за то, что он сказал на улице: «А вот и черный ворон едет»; очевидно, термин этот не является официально утвер-

жденным. Попрощавшись с В.Н., я сел в эту тюремную камеру в сопровождении трех конвойных с винтовками; как и где ехала остальная армия и ее предводители — мне неизвестно. Ворон каркнул и полетел[91].

Менее чем через час влетел он в просыпающийся город: слышны стали звонки трамваев, грохот колес о мостовую; потом — плавный ход по торцам: значит, едем по Загородному проспекту, пересекаем Невский; еще через несколько минут круто заворачиваем: Шпалерная и ДПЗ (Дом предварительного заключения, в просторечии — предвариловка). Ворон прилетел в свое гнездо и привез корм воронятам.

На третий этаж, в регистратуру; там дежурный, слегка уже уставший от кипучей ночной работы, заполняет обычный анкетный лист; затем приглашают в соседнюю комнату для производства личного обыска, и нижний чин со скучающим видом (сколько десятков раз в ночь надо проделывать все то же самое!) приступает к процедуре.

Но тут — маленькое лирическое отступление. Ровно через сутки, во время первого «допроса», следователь Лазарь Коган (вместе с упомянутым выше Бузниковым ведший мое «дело») без всякой иронии сообщил мне, с каким «глубоким уважением» они ко мне относятся; они вполне готовы предоставить мне те исключительные условия, которыми три года тому назад пользовался академик С.Ф. Платонов[92] во время своего пребывания в ДПЗ. Он сидел не в камере, а в отдельной комнате со всеми удобствами; и даже (даже!) у него в шкапчике стояла бутылка водки — ввиду его многолетней привычки выпивать рюмочку перед обедом...

От всех предлагаемых льгот я категорически отказался; но не без юмора часто проводил потом параллели между собой и «академиком Платоновым», — и первую параллель я провел бы, если бы знал ее тогда, в первые же минуты пребывания в ДПЗ, в комнате личного обыска.

Скучающий нижний чин тщательно осмотрел сперва все содержимое чемоданчика — и конфисковал такие опасные предметы, как кашне, роговой фруктовый ножичек, запасную вторую трубку и, наконец, сам чемоданчик; к этим вещам он присоединил и золотое обручальное кольцо, предложив мне снять его с пальца. Золотое пенсне почему-то не подверглось конфискации. Затем он отрывисто сказал: «Разденьтесь догола!» — и по мере того, как я раздевался, внимательно осматривал и ощупывал платье и белье. Контрабанды не оказалось; но с брюк моих он срезал стягивающий их сзади клапан с застежками: у заключенного не должно быть «ничего острого». Это, конечно, верх идиотизма, нисколько не мешаю-

щий постоянным случаям самоубийства в тюрьме. И мало ли «острого» может найтись у заключенного, начиная с осколков оконного стекла, которое так нетрудно бесшумно выдавить в камере!

Пока происходил медлительный осмотр платья и белья, я сидел в этой весьма прохладной комнате в виде арестованного Адама. Когда же осмотр кончился, то нижний чин все тем же скучающим тоном (бедняга!) сказал мне:

— Встаньте! Откройте рот! Высуньте язык! (Черт побери! что же я мог туда спрятать? Но дальше пошло еще неожиданней.) Повернитесь спиной! Нагнитесь! Покажите задницу! Раздвиньте руками задний проход! Повернитесь лицом! Поднимите...!

Древние греки в своих комедиях не только не ставили здесь трех точек, но даже снабжали персонажей хора огромными «двумя точками с запятой» (говоря словами Пушкина)[93]; под ними действительно можно было бы пронести любую контрабанду. Но в нашей советской действительности?! Решительно недоумеваю. Но факт остается фактом: et voila ou la contrebande va-t-elle se nicher![94] И еще недоумеваю: как же было дело с «академиком Платоновым»? К нему отнеслись со столь же «глубоким уважением»? Во всяком случае, юбилейное чествование мое было закончено на этот раз реминисценцией из Аристофана; я оделся и был отведен в предварительную камеру ожидания, размером два на два шага, где и просидел без всякой еды с шести утра до двух часов дня.

Немного прерву рассказ о дальнейших юбилейных чествованиях и вообще о тюремном быте следующими арифметическими соображениями, которыми я забавлялся в этой камере «два на два». ДПЗ, набитый до отказа, вмещает в себе единовременно до 3000 обитателей*; можно считать, что состав этот, вечно текущий, полностью обновляется 3—4 раза в год (кто сидит месяц и два, кто — полгода и более). Таким образом, цифрою в 10 000 человек преуменьшенно определится приблизительное число ежегодно проходящих через этот изолятор (вероятно, гораздо больше). Кипучая деятельность учреждения, населяющего ДПЗ и прочие четыре подобных же «дома» в Петербурге их временными обитателями, продолжается после революции уже лет пятнадцать; умножив десять тысяч на число «домов» (пять) и на число лет (пятнадцать), преуменьшенно вероятно, исчислим, что за это время через эти «дома» прошло три четверти милли-

*Примечание 1939 года: тысяча девятьсот тридцать седьмой и восьмой годы показали, что эта детская цифра нуждается в прибавлении еще одного нуля.

она человек. А если — тоже преуменьшенно — предположить, что у каждого из них было в семье только три-четыре человека, тесно связанных с каждым «сидельцем», то общее число людей, кровно затронутых существованием в Петербурге ДПЗ и прочих подобных «домов», определится умножением трех четвертей миллиона на четыре. Получим в круглых числах —3 000 000, число, с избытком покрывающее количество жителей в нашей северной столице. Один безвестный дэпэзэтовский поэт — впрочем, я знаю его фамилию* — следующим четверостишием охарактеризовал такое положение дел, когда каждый обыватель города либо был, либо будет временным гостем в этом «доме»:

On nous dit que l'homme propose?
On nous dit que Dieu dispose;
Proposez ou disposez —
Tous nous sommes en De-Pe-Ze[95].

Все это — шутка, но за ней кроется и вполне серьезное соображение, а именно следующее: в каждом большом городе СССР (да и в каждом малом) имеется такое учреждение и такие дома отдыха, всегда переполненные. Через восемь месяцев мне пришлось познакомиться с таким же учреждением в Новосибирске: целый квартал! многоэтажные домины! кипучая деятельность! В Саратове — то же самое. О Москве я уже не говорю. Помножьте же петербургские три миллиона человек на число крупных центров СССР, да и вообще на все города, уменьшая каждый раз эти три миллиона пропорционально числу жителей города, — и вы получите *десятки миллионов* людей. Иначе говоря — это явление типичнейшее, охватывающее добрую половину населения нашей страны. Цифра достаточно импозантная. И при этом — никем до сих пор у нас в СССР не зарисована типичнейшая бытовая сторона такого явления! Как жаль, что до сих пор ни один подлинный художник не прошел личным опытом через этот быт, чтобы потом красочно зарисовать его для потомства! «Балтийско-Беломорский канал» — казовая сторона; но где же и кем же зарисована его же обратная и просто бытовая сторона! Конечно, такой роман нельзя было бы напечатать в настоящую минуту, но он остался бы в наследство будущему бесклассовому (й, значит, бесцензурному?) обществу.

Но — на нет и суда нет. Материал все же остается богатейший. Вот почему я, совсем не художник, все же хочу подробно записать этот быт —

*В. Воинов.

такой характерный, такой всеэсэсэсэрский и такой в то же время исключительный. Конечно, я смогу описать его только очень розовыми красками — ввиду того «глубокого уважения», с которым ко мне относились (и пример которого уже дан выше); но все же можно представить себе и более общий случай, сделав поправку на обычное «неуважение». Впрочем, пожалуй, и поправки делать не надо: ведь ясно, что когда я говорю «уважение» или «юбилей», то, по Чехову, произношу это как «издевательство».

IV

Итак, сначала — исключительно о «быте» и лишь потом — о самом моем «деле».

В два часа дня за мной пришел некий чин (ужасно скучающий вид у всех у них) и повел меня внутренними переходами в канцелярию, где ему дали бумажку с «направлением»; затем он повел меня в святая святых — в самый ДПЗ, построенный еще при Александре II по последнему слову тогдашней тюремной техники. Подробно описывать это здание — не приходится; оно ни в чем не изменилось за эти десятилетия и слишком часто было уже описано в ряде воспоминаний политических заключенных прежнего времени. Поэтому лишь в двух словах. Всем известно, что на Шпалерную выходит лишь «фальшивая стена», являющаяся стеной коробки, в которую заключено само тюремное здание. Шагах в десяти от этой стены воздвигнута уже настоящая стена с пробитыми в ней (железными) дверьми одиночных камер; по всем этажам бежит паутина металлических галереек (в шаг шириной), доверху забранных проволочными сетками. Узенькие ажурные лестнички, по восемнадцать ступенек, в разных местах перекинуты от этажа к этажу, от галерейки к галерейке. Над четвертым этажом — потолок, являющийся, однако, полом для следующего этажа, за которым есть и еще один; эти этажи, пятый и шестой, — так называемый «первый корпус», для особо строгого содержания преступников нераскаянных и к которым относятся без «глубокого уважения»: там месяцами сидят на голодном пайке (300 грамм хлеба, болтушка к обеду и ужину, три раза в день кипяток), без свиданий, без передач, без прогулок; без книг и в строгом одиночестве. Сидят по полгода и больше. Нижние четыре этажа — так называемый «второй корпус», где чаще всего в одиночных камерах сидят по двое, а в зимние месяцы перенаселенности — и по трое, и по пятнадцати человек. Здесь обычно раза два-три в месяц

разрешаются свидания, четырежды в месяц — передачи (по строго нормированному списку), прогулки (пятнадцать минут в день), книги (четыре тома на камеру в десятидневку), табак и спички и даже — газеты. Кроме того, здесь выдается усиленный «политпаек», заключающий в себе 400 грамм хлеба, обед из селедочной болтушки и каши, такой же ужин, 600 грамм сахарного песка в месяц, 25 грамм чая, четыре кусочка мыла и три коробки спичек. Mein Liebchen, was willst du noch mehr?[96]

Меня ввели в камеру № 7 первого этажа (всех таких камер в обоих корпусах — около трехсот), где сидел изможденный юноша, отныне мой «сокамерник». Но о нем и о другом юноше, через месяц сменившем первого, — потом, теперь же о внешнем и о быте. Кстати: об общих камерах, с многими десятками обитателей, ничего не говорю, потому что не пришлось побывать в них. Впрочем, ниже пробел этот восполнится — в Москве и Новосибирске.

Размер камер — приблизительно одинаков: восемь на четыре шага (мой шаг — аршин), впрочем, полугодом позднее я сидел в третьем и четвертом этажах, где размер камер был семь на три шага. Против двери — окно; подоконник — на высоте подбородка человека среднего роста — идет вверх под углом градусов в 30—40; за ним — двойная рама окна с массивной чугунной решеткой; окно снаружи забрано железным щитом почти до самого верха, так что свет проходит через узкую серпообразную щель. Кто же не помнит картины Ярошенко в Третьяковской галерее, с заключенным, влезшим на приставленную к окну табуретку (или стол?), чтобы сквозь щель окна и железного щита взглянуть на свет божий[97]? Впрочем, никаких «движимых» столов в камерах ДПЗ нет: к стене приделан спускной железный столик-доска, размером с квадратный аршин, и большое, тоже опускное, железное сиденье. Если в камере сидят двое и более, то по числу сидящих прибавляются и деревянные табуретки. Около стола — высокая колонка парового отопления. На другой стене — железная койка с тюфяком из стружек, поднимающаяся на день; вторая железная койка, если в камере сидят двое, становится под первую на день, а на ночь отодвигается к противоположной стене. Около двери — двухъярусная железная полочка для продуктов и посуды; последняя состоит из металлической мисочки, деревянной ложки и объемистой кружки для кипятка. В углу около окна — «уборная», рядом — небольшая раковина с водопроводным краном. Над столиком, в пол-аршина над ним — электрическая лампочка; рядом с нею — обширный печатный лист с изложением прав и

обязанностей заключенного. Жаль, что нельзя было запомнить наизусть этот продукт тюремного творчества. Наконец, — чтобы кончить началом, — массивная, обитая железными листами дверь, в которой на высоте полуроста прорезана деревянная форточка — путь общения заключенного с миром сменяющихся дежурных; несколько выше, на высоте роста, прорезан «волчок» или «глазок», закрывающийся снаружи; в него через каждые 10—15 минут круглые сутки заглядывают уныло бродящие от камеры к камере дежурные, сменяющиеся трижды в сутки. Около двери — кнопка звонка (вы подумайте!) для вызова дежурного по коридору.

Все это — внешняя обстановка; теперь — о внутреннем быте. В шесть часов утра (может быть, в семь? заключенному иметь часов не разрешается) дежурный обходит камеры, стучит в двери и провозглашает: «Вставать!» Не успеешь одеться, как гремит форточка, в нее просовывается щетка для подметания пола и совок для собирания сора. Пол подметен, щетка и совок отданы, можно и умываться. Тут снова гремит форточка, и дежурный просовывает 400 грамм хлеба — дневной паек. Вскоре и еще раз гремит форточка: принесли кипяток, который наливают в вашу кружку, куда вы предварительно опустили несколько пылинок чаю (выдававшийся «чай» был неизменно чайной пылью). Итак — чаепитие. Мудро дели свой хлебный паек, чтобы не увлечься утренним аппетитом и не остаться без хлеба к ужину. С чаепитием надо торопиться: уже раздаются шаги специальных «прогульщиков», стук в двери и возгласы: «Готовься к прогулке!» Каждый «прогульщик» ведет на прогулку одновременно две камеры, причем дело дежурного — следить (по данным ему спискам), чтобы заключенные по одному и тому же «делу» не вызывались «прогульщиком» одновременно. Шествие: впереди гуськом двое (или трое) заключенных из одной камеры, за ними — «прогульщик», за ним — двое (или трое) заключенных из другой камеры; выходят на внутренний двор тюрьмы.

Двор этот — сколько раз измерял я его шагами! — имеет сто шагов в длину, шестьдесят в ширину; слепые, забранные щитами окна камер выходят на этот двор, — зрелище исключительное. Стены с этими окнами «покоем» закрывают двор; в восточной стене — по 24 окна в каждом из шести этажей, в северной — по шестнадцати окон, в южной — по четырнадцати; западная стена, замыкающая куб, более разнообразного вида: в ней есть и обыкновенные окна — канцелярии, коридоров, следовательских комнат. Боюсь, что я здесь перепутал румбы компаса, но не в них дело. Посредине двора, но ближе к северной стене — место для прогу-

лок, асфальтированное и обнесенное сквозным зеленым забором в сажень высоты, представляющим собою правильный восемнадцатиугольник, периметр которого равен 120 шагам, а значит, диаметр — около сорока шагов. В середине этой загородки — деревянная восьмиугольная башня, приземистая и толстобрюхая, 45 шагов в периметре; над ней — конусообразный колпак, защищающий от стихий дежурного красноармейца с винтовкой в руке.

В этой загородке, в каждой половине ее, должны описывать эллипсы «гуляющие», — камера от камеры на расстоянии не меньшем десяти шагов, — в полном молчании, не обмениваясь никакими знаками с гуляющими во второй половине загородки двумя другими «камерами»; за загородкой, по мощенному булыжником двору, в это же время совершают прогулку еще и еще «камеры», так что одновременно гуляет до десяти камер, двадцать—тридцать человек. Много раз видел я на таких прогулках заключенных по моему же «делу» — Д.М. Пинеса, А.И. Байдина, А.А. Гизетти[98] (о которых — ниже) — и считаю это маленькими недостатками механизма: заключенные, конечно, не должны видеть друг друга. Это верчение на одном месте двадцати—тридцати человек вокруг оси — толстобрюхой башни — каждый раз заставляло меня вспомнить картину М.В. Добужинского «Дьявол»: посредине огромной, с собор величиной, тюремной камеры возвышается гигантский мохнатый паук с огненными глазами и в маске; между мохнатых лап его маленькие люди замкнутым кругом совершают свою прогулку[99]. Здесь вместо паука возвышалась башня с караульным, а маска — совершенно не нужна: во всех режимах, при всяком строе под ней скрывается одна и та же сущность — лицо государства. Художник метил, конечно, дальше: тюремная камера — мир, заключенные — человечество, маска паука — Дьявол. Но, гуляя по двору ДПЗ, охотно суживаешь смысл этой картины.

«Прогульщик» сидит у ворот загородки и поглядывает на часы-браслет: срок прогулки — четверть часа, потом — обратным порядком в камеры. Уже восемь-девять часов утра; кипучая утренняя жизнь закончена, теперь до ночи камера предоставлена самой себе. Впрочем, незадолго до обеда — развлечение: открывается форточка, и дежурный просовывает в нее навощенную плоскую щетку, асфальтированный пол камеры должен быть натерт ею до блеска. Заключенные превращаются в полотеров; сверху, справа и слева слышится шарканье щеток о пол.

...А что, кстати спросить, «академик Платонов» тоже вертелся на прогулке вокруг башни и тоже шаркал щеткой, натирая пол? Или «глубокое уважение» к нему проявлялось в каких-либо иных формах?..

В полдень — кормление заключенных. Открывается форточка, в нее подаешь металлическую мисочку и тут же получаешь ее обратно, изобильно наполненную — чаще всего — селедочной болтушкой; настолько изобильно, что иногда большой палец дежурного омывается этой селедочной жижей. За все пребывание мое в ДПЗ четыре раза — не шутите! — был мясной суп; это можно было заключить из того, что он не пах ни селедкой, ни треской (тоже иногда попадавшей в меню «супа»). Суп съеден — или вылит в «уборную», смотря по аппетиту и по вкусу заключенного; надо успеть вымыть под краном мисочку, чтобы получить второе блюдо — почти всегда пшенную размазню без малейшего признака масла и в количестве далеко не столь изобильном, как первое блюдо. Еще раз гремит форточка, кружка кипятка. Обед кончен.

После этого заключенный имеет право лечь на кровать; во все прочее время дня не то что лежать, но и сидеть на кроватях строго воспрещается. «Мертвый час» продолжается полтора часа, потом дежурный снова обходит камеры с возгласом «Вставать!» и затем — надо ждать ужина. Чаще всего в это время появляется некий нижний чин, открывающий форточку с приятным сообщением: «Газеты!» У кого есть деньги — можно купить; денег при себе разрешается держать до пяти рублей, остальные должны лежать «на текущем счету» в канцелярии ДПЗ, и заключенный может их выписывать через «корпусного» по мере надобности.

В шесть часов вечера — ужин: повторение обеденного блюда и кипяток; получающие «политпаек» пользуются привилегией иметь к ужину два блюда, то есть ту же селедочную болтушку на первое. Не знаю, как другие «политзаключенные», но ни я, ни мои «сокамерники» никогда не пользовались этой привилегией.

День подходит к концу. В девять (может быть, в десять?) часов вечера дежурный обходит камеры, возглашая: «Ложиться спать!» Минут через десять-пятнадцать он снова обходит камеры, заглядывает в «глазок», чтобы убедиться, улеглись ли заключенные, и тушит свет (выключатель, разумеется, на наружной стене камеры). «Тюрьма погружается в сон...» Через каждые десять минут дежурный зажигает свет, смотрит в «глазок» и снова щелкает выключателем — тушит свет. И так всю ночь до утра. А кроме того, надо сказать, что «тюрьма погружается в сон» — выражение

шаблонное, беллетристическое и нимало не отвечающее тюремной действительности: ночь — как раз самое оживленное время в жизни ДПЗ. То и дело раздается отовсюду лязг ключей и грохот открываемых и захлопываемых дверей: заключенных водят на допросы, происходящие почти исключительно ночью. Число допросов варьируется в широких рамках: меня, например, допрашивали в течение первых трех месяцев шесть раз, а остальные месяцы я просидел в dolce far niente[100] днем и в нетревожимом сне ночью. А вот технического директора завода «Большевик» (с этим измученным человеком я провел полночи и день в мае месяце в Москве) в течение четырех месяцев допрашивали, по его подсчету, сто три раза, то есть — сто три ночи. Немудрено, что каждую ночь в ДПЗ со всех сторон беспрестанно слышатся возгласы дежурных: «К допросу!», топот шагов, звон ключей и выстрелы захлопываемых дверей. Жизнь бьет ключом. Где уж тут — «тюрьма погружается в сон»...

V

Чай, обед, ужин, сон — но чем же заполняется время заключенного между этими размеренными вехами ежедневного обхода? Говорю, конечно, только о жизни «второго корпуса», где есть книги и газеты, и прогулки, и передачи, и свидания: в «первом корпусе», где ничего этого нет, где жизнь течет в условиях строгой изоляции, где единственным развлечением являются ночные допросы, о какой «жизни» можно говорить? Надо иметь большой запас «внутренних ресурсов», чтобы выдержать такой искус; нечему удивляться, если неприспособленные люди после немногих месяцев, а то и недель такой изоляции — совершенно падают духом, теряют самих себя и готовы на допросах показать что угодно. Бывают случаи и нервных заболеваний, и душевных расстройств, и покушений на самоубийство.

Как-то раз, в августе, когда я «сидел» уже много месяцев совсем один, был болен, не ходил на прогулки и почти весь день лежал (по предписанию врача), пришло мне от скуки в голову испробовать, как проведу я ровно неделю добровольной самоизоляции. У меня было много книг, каждый день покупал я две газеты — и, казалось, тем труднее будет задержать этот искус ad libitum[101]. Однако я справился с ним легко, как ни тянуло каждый день заглянуть в свежую газету (я их потом просмотрел залпом — четырнадцать газет в один день), и я думаю, что мог бы про-

должать свой искус; но это — исключительно благодаря хорошей памяти и разнообразию «внутренних ресурсов». Вот как я проводил время все эти семь дней, мысленно «задернув траурной тафтой»[102] полку с непрочитанными книгами и газетами.

Между утренним чаем и обедом я «занимался классиками». Когда-то, в гимназические годы, я знал наизусть — от первого стиха до последнего — все «Горе от ума» и значительную часть «Евгения Онегина». Интересно было через сорок лет вновь сделать попытку припомнить наизусть максимум из них. Два утра занимался я этим — и не замечал, как пролетало время. Остальные пять «утр» ушли на стихотворения Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Фета — вплоть до Бальмонта, Сологуба, Брюсова (поэму «Царю северного полюса» до сих пор помню наизусть), Белого, Блока — и дальше вплоть до Клюева и Есенина. Запас казался неисчерпаемым, особенно если прибавить поэтов от Гомера и Горация до Бодлера и Верлена — и сколько еще других. А попытка воскресить в памяти мастерскую конструкцию объемистых романов Диккенса! А вообще вся мировая литература!

После такой «утренней зарядки» можно было добросовестно заснуть в послеобеденный «мертвый час». Время до ужина я употреблял потом на осуществление юмористического замысла — самому «написать роман» («написать» — разумеется, в голове). Задание было такое: написать большой роман, полуавантюрный, полупсихологический, для самого «широкого читателя», которому осточертела современная беллетристическая продукция. Через неделю был «дописан» до последней точки большой роман: «Жизнь Полторацких», и мне теперь оставалось бы лишь перевести его на бумагу, от чего, конечно, избави меня Бог. Совершенно уверен, что «широкий читатель» читал бы его взасос (для него и «написан»); выйдя на «свободу», я раза три-четыре сделал, шутки ради, опыт: в разных кругах, куда забрасывала меня ссылка, от типично обывательских до более «квалифицированных», я подробно рассказывал этот, якобы недавно прочитанный мною роман; и с каким же захватывающим вниманием меня слушали! «Широкий читатель» на тысячи верст не дошел еще до последних романов Андрея Белого; читателю этому — как раз по плечу «Жизнь Полторацких»[103].

После ужина вечер посвящался музыке. Я — любитель-дилетант, с очень развитой музыкальной памятью; благодаря ей, я мог каждый вечер устраивать себе симфонические концерты, исполняя (разумеется — весь-

ма и весьма «про себя») изысканную программу из произведений от Баха до Прокофьева (извините за сопоставление); раза два-три устроил себе оперу, исполняя про себя со словами такие любимые вещи, как «Садко», «Китеж» и «Мейстерзингеры»[104]. Каждая из них заняла около трех часов, так что до окрика «Спать!» время прошло незаметно.

Но и после этого окрика — вечер не кончался: как же заснуть в девять (или в десять) часов! Лежа с открытыми глазами в темноте, я пользовался тем, что в юношеские годы не совсем плохо играл à l'aveugle[105] в шахматы, и вообще отдавал этому полуразвлечению-полуискусству больше времени, чем следовало бы (и до сих пор люблю его как отдых). Долго бился я, два-три «предночия», пока не восстановил в памяти ход за ходом всю первую партию из матча Алехин—Капабланка; когда вышел на «свободу» — проверил, и оказалось, что все в точности верно. С такими шахматными партиями, задачами, этюдами мирно засыпал до первого выстрела соседнею дверью и возгласа: «На допрос!»

Так незаметно пролетели семь дней. Конечно, не могу ручаться, что так же незаметно пролетели бы и семь месяцев.

Написал все это — и подумал о впечатлении того самого «широкого читателя», до которого, надеюсь, когда-нибудь, в бесклассовое (и бесцензурное?) время дойдут эти мои воспоминания: не предстану ли я перед ним как некий плавтовский miles gloriosus[106]? И романы-то я пишу, и оперы исполняю, и à l'aveugle в шахматы играю... Как раз наоборот, дорогой широкий читатель: мне не приходится хвастаться этим моим дилетантизмом во многих областях, он не сильное, но слабое мое место; без него я в области своей основной работы достиг бы гораздо большего. Но я не жалею об этом, и если бы надо было снова повторить земную жизнь, то выбрал бы путь с тем же самым «дилетантизмом», который есть не что иное, как интерес ко всему в мире, ко всем областям жизни. Но это только так, к слову.

Так забавлялся я на седьмом месяце своего заключения — вместо того, чтобы заканчивать работу над Блоком, над Салтыковым в немногие оставшиеся мне годы жизни — ту работу, которую другие исполнят, может быть, через десятилетия. А мохнатоногий паук в маске, он же — государство, считает, что все это в порядке вещей.

Возвращаюсь, однако, к описанию нашего тюремного быта и скажу два слова о передачах и свиданиях. Раз в неделю получали мы передачи с воли — по строго установленной продовольственной норме. Дежурный

открывал дверь и вносил в камеру объемистый мешок с приложением записки, написанной рукою В.Н. и заключавшей в себе опись посылаемого. Посылать можно было хлеб и булки (нарезанные), масло, котлеты (непременно нарезанные), лук, фрукты, конфеты, яйца (непременно крутые). Если хлеб, колбаса или котлеты посылались не нарезанными, то тюремная администрация сама производила эту операцию, выискивая в этих продуктах запрещенные для передачи вещи, — какие-нибудь записки, или бритвенные лезвия, или иголки и тому подобные опасные предметы. Яйца передавались в раздавленном виде, так как была открыта уловка «уголовных» — получать под видом яиц чистый спирт в яйцах, на вид нетронутых. К нам, «политическим», можно было бы и не применять такой меры, — да где уж тут разбирать! Кроме продуктов в передаче пересылалось еще белье. Приняв все это и сверив с описью, я клал в мешок отправляемое в стирку белье и на обороте описи расписывался в полном получении передачи; эту записку немедленно же получала, вместе с мешком, В.Н., ожидавшая среди других жен заключенных в тюремной канцелярии — и, увидев мою подпись, знала, что я все еще нахожусь в этой тюрьме и никуда еще не переведен.

Впрочем, это доказывали и свидания, разрешавшиеся раз в десятидневку. Приходил за мной некий страж, приглашал «на свидание» и вел паутинными галерейками вниз, потом банными коридорами, потом снова наверх в следовательские комнаты. В одной из них уже ожидала меня В.Н. — и приставленный к нам для надзора какой-нибудь помощник следователя. Он усаживался посередине стола, с одного края которого садился я, с другого В.Н., и мы могли беседовать о чем угодно, только не о моем «деле» и связанных с ним людях и обстоятельствах. Следователь читал газету, мы разговаривали через стол — обо всем, но не о том, о чем хотелось бы. Полчаса проходило незаметно, после чего страж отводил меня обратно в камеру[107].

Что же еще? Раз в десять дней водили в баню — небольшую камеру в нижнем этаже, с ванной и душем. Раз в месяц можно было в одной из камер четвертого этажа, обращенной в парикмахерскую, постричься и побриться. Раз в неделю обходил наши камеры доктор с запасом элементарных лекарств. Насекомых в камере не было, с клопами велась жестокая война.

Надо, однако, вернуться к началу моего пребывания в этой тюрьме, к тому времени, когда я был в камере не один, а с «сокамерниками» —

сперва с одним, потом с другим. Первым был некто Михайлов, студент последнего курса математического отделения ЛГУНа (что означает – Ленинградский государственный университет). Арестован был он еще в сентябре (1932 года) по обвинению в организации «ОРФ», что расшифровывается как «Общество русских фашистов»; четыре месяца сидел в одиночке «первого корпуса» и, совершенно истощенный, падавший в обмороки, за месяц до моего прибытия был переведен во «второй корпус». Он порассказал мне много интересного об «ОРФ», участия в котором не отрицал на следствии, и о составе этого общества, в которое входили и студенты, и служащие, и простые смертные, и коммунисты (один из последних и оказался, конечно, теткиным сыном). Еще более интересные вещи рассказал он мне о спортивном движении — области, для меня мало известной. Сам он оказался профессиональным «бегуном» на 100 метров и в конце двадцатых годов был даже отправлен с какой-то спортивной командой в Ригу на состязания, так что портрет его был тогда напечатан в наших специальных спортивных изданиях. Весь этот мир — и нравы его, и сама техника «бега», и методы тренировки, и все тому подобное — был для меня неведомым миром, так что я часами и с интересом слушал его рассказы. Много рассказал он мне и об университетской жизни, и о преподавании математики – и сам я, бывший студент-математик, мог сравнить, насколько шагнуло это преподавание за прошедшие тридцать лет; шагнуло сильно, но, увы, не вперед, а назад – по общему уровню развития и успеваемости студентов и по объему проходимых курсов. Впрочем, по его словам, за последние годы наблюдалось значительное улучшение.

Больше всего интересовало меня, однако, совсем другое в общении с этим юношей следующего за нами поколения: его общее развитие, его этический уровень, его конечные цели и идеалы (простите за старомодные слова). Но тут результат оказался очень невеселым. Нельзя сказать, чтобы это был юноша совсем неразвитой; напротив, в своем кругу — по его словам — он считался и развитым, и начитанным; кое-что (очень немногое) он действительно прочел — и даже пытался дойти до построения философской системы собственного производства, которая, однако, являлась не чем иным, как детской попыткой обоснования наивного реализма. При этом он все же утверждал, что читал Канта. Все это было, конечно, довольно обычно и малоинтересно; интересное для меня было другое: его этические нормы, его социально-политические взгляды и путь,

как «дошел он до жизни такой» — до теории русского фашизма. Тут он оказался плотью от плоти и костью от костей самого рядового большевизма, с принятием на веру всех его истин, с одной лишь «небольшой разницей»: диктатура должна принадлежать не «пролетариату», а «мелкой буржуазии», которая воспользуется всеми методами коммунизма. Никаких «свобод», террор и насилие над всеми инакомыслящими; и при этом — полное не то что непонимание, а какое-то невосприятие элементарных этических норм. Помню, как поразил меня один случай уже в конце нашего общего с ним сидения. Как-то раз был я вызван на «допрос» необычно рано, сразу после ужина, и необычно рано же возвращался в камеру, еще до вечернего возгласа «Спать!». В следовательском коридоре больно задела меня одна сценка: молоденькая девушка типа комсомолки уходила с допроса, поддерживаемая под руку «дежурной», — сама она идти не могла; останавливаясь на каждом шагу и захлебываясь слезами, она бессильно ударяла кулачками в стену и недоуменно вскрикивала: «За что? За что?» Ее увели. Взволнованный этой сценой, я, вернувшись в камеру, рассказал Михайлову о виденном; не забуду, как изумило меня его поведение: он стал весело хихикать, как будто бы я рассказал ему очень забавный случай. Подумалось: неужели же это типично для современной молодежи?

Как это часто бывает, ответ явился сам собою через несколько дней. 10 марта Михайлов был увезен для дальнейших допросов в Москву, а через четверть часа после его ухода ко мне был переведен из другой камеры (где сидело трое) новый сожитель — тоже молодой человек, тоже кончающий студент (гидротехник), некто Анатолий Иванов, представлявший решительно во всем полный контраст с первым моим соседом. Насколько тот был мрачным и озлобленным, настолько же этот оказался веселым и жизнерадостным; насколько тот был ниже элементарного этического уровня, настолько этому далеко не были чужды основные этические запросы; и даже в мелочах, хотя оба они происходили из одного и того же социального слоя (отец первого — доктор, второго — юрисконсульт), но насколько первый был неотесан и «невоспитан», настолько второй был даже изысканно вежлив и церемонен. В шутку я прозвал его «графом», а за веселость и юмор — пародируя Островского — «комиком XX столетия»[108]. С этим «графом» мы прожили без малого два месяца — на этот раз уже до моего отбытия в Москву в начале мая.

«Граф» попал в ДПЗ за месяц до меня, по обвинению в организации «ССС», что означает — «Союз социалистического студенчества». Это было для меня, конечно, понятнее «Общества русских фашистов»; но что было еще приятнее — так это серьезные нравственные запросы, стоявшие перед юношей. Начитан он был не больше первого (и это, по-видимому, общее свойство всего современного «молодого поколения»), но в то время как первый уже достиг полной истины и не искал больше ничего, второй был весь в поисках «системы социальной этики», но беспомощно не знал, куда же за ней обратиться. Тут бы мне, «главному идеологу народничества» (по любезному утверждению следователя), и завербовать себе еще одного «последователя», но я сделал другое — подвел юношу к истокам более крайней этической и социальной системы: выписал из тюремной библиотеки сочинения Льва Толстого. Юноша часами читал мне вслух (вполголоса, конечно) «Так что же нам делать?» и другие подобные произведения Толстого, вдумчиво разбираясь в прочитанном, то не соглашаясь, то восторгаясь; а когда он требовал моего суждения, то никогда его не получал: дойди своим умом! Не думаю, что я сделал из него «толстовца», но полагаю, что посодействовал ему кое в чем разобраться и указал пути дальнейших поисков в области свободной мысли. Оставил я его, во всяком случае, в период еще не изжитого увлечения Толстым. На Пасху (она была 16 апреля) мы сделали друг другу съедобные подарки (из очередных передач), а кроме того, обменялись поздравительными стихами; до сих пор помню мои вирши:

Анатолия Иванова
Посадили в каземат;
В нем он бродит вроде пьяного,
Свету Божьему не рад.
— Но привычка — дело знатное:
И полгода не прошло —
У сидельца казематного
Прояснилося чело.
Уж не бродит он по камере,
Хныча жалкие слова,
И душою так и замер он —
Весь ушел в Толстого Льва.

Вряд ли ушел надолго и окончательно, — но мне приятно было видеть, что в современном поколении есть не только нашедшие или принявшие на веру, но и упорно ищущие социально-этических путей. Второй мой сокамерник был приятным ответом на довольно грустный вопрос, каким был мой сокамерник первый.

VI

Пора, однако, возвратиться к «делу».

Проведя без сна юбилейную ночь со 2 на 3 февраля, просидев потом с шести утра до двух часов дня в камере «два на два шага», где невозможно было заснуть, поужинав (первая еда за целые сутки) в камере № 7, я не без удовольствия услышал вечерний возглас «Спать!». Но не успел заснуть, как раздался грохот двери и не весьма приятный для сонного человека новый возглас: «К следователю! Одевайтесь!»

Два следователя, Бузников и Лазарь Коган, ждали меня в самой большой комнате из следовательских, в кабинете начальника ДПЗ, — вероятно, ради почета и «глубокого уважения». Я имел удовольствие просидеть с ними в этой парадной комнате до пяти часов утра, после чего мог вернуться в свою камеру и заснуть на часок-другой до возгласа «Вставать!». Особоуполномоченный Бузников, он же — следователь, производивший у меня обыск, надо полагать, прекрасно выспался днем; мне же пришлось проводить вторую бессонную ночь подряд. Тут я понял, почему все допросы ГПУ происходят по ночам: игра на утомлении и нервах допрашиваемых. Такое юбилейное чествование производилось, разумеется, намеренно; но, к слову спросить, — как же было дело с «академиком Платоновым»? И его тоже засадили, без всякой еды, на восемь часов в камеру «два на два» и тоже не давали спать двое суток подряд? Этот шутливый рефрен — «академик Платонов» — стал сопровождать меня впредь во все время тюремного сидения начиная как раз с этого первого «допроса», ибо именно на нем следователи заявили о своем «глубоком уважении» ко мне и предложили мне такой тюремный режим, которым пользовался «академик Платонов». Чувствительно благодарен, пользоваться благами такого режима не желаю; но отчего было, без всяких вопросов и предложений, не избавить писателя, достигшего тридцатилетия литературной деятельности, от слишком подчеркнутых юбилейных чествований?

Особоуполномоченный секретно-политического отдела Бузников и следователь Лазарь Коган — молодые люди, которым в совокупности вряд ли больше лет, чем мне. Они вполне корректны и вежливы (бывает при допросах и диаметрально противоположное обращение); вполне осведомлены в своей специальности — программах разных партий, оттенках политических разногласий; гораздо менее знакомы с историей мысли, — оба твердо убеждены, что Чернышевский был «марксист»; наконец — совсем беспомощны в вопросах философских, о которых, однако, пробовали говорить со мной в эту ночь. Вопросы были наивны, что возбуждало лишь улыбку. Так, например, один из следователей спросил меня, разделяю ли я «философское учение», изложенное в десятом томе собрания сочинений Ленина?[109] А на мой отрицательный ответ — сделал заключение: «Значит, вы — идеалист, а не материалист?» Когда же я ответил, что я — не метафизик, а материализм и идеализм — одинаково метафизические течения, то этот элементарный ответ оказался для обоих следователей настолько непонятным, что впредь они уже не возобновляли бесед со мной на подобные темы.

Не надо думать, что эти ни к селу ни к городу не идущие вопросы были промежуточными и случайными в этом всенощном разговоре: наоборот, весь он только и состоял из таких ненужностей и самоочевидностей. Следователям надо было установить в протоколе, закрепленном моею подписью, что я — не марксист, что в течение всей своей литературной деятельности я развивал идеологию «народничества», социально-философское учение, родоначальниками которого последовательно являлись Герцен, Чернышевский, Лавров и Михайловский. Когда я иронически спросил, не были бы арестованы и они, доживи они до наших дней, то Лазарь Коган с апломбом ответил, что Чернышевский — марксист, за что ему и поставлены памятники, а вот Михайловского «пришлось бы побеспокоить». И это — с ясным лицом и с медным лбом.

Разговор всей ночи был сжат следователями в написанный ими небольшой — в полстраницы — «протокол»[110], начинавшийся словами: «Я — не марксист»; и далее повествовалось, что всю свою литературную жизнь был я «знаменосцем» народничества и что от этого знамени не отказываюсь и сейчас. Что же касается об отношении моем к «советской власти», то, не имея никаких причин скрывать что бы то ни было, я тем не менее отвечать на этот вопрос в условиях тюремного заключения считаю ниже своего достоинства.

Стоило ли тратить всю ночь до пяти часов утра, чтобы прийти к столь самоочевидным результатам? Но этот первый «допрос» был только установкой трамплина для следующего прыжка следователей. На следующую ночь (третью ночь подряд! а как же было дело с «академиком Платоновым»?) они резво разбежались и использовали трамплин первого протокола.

Народничество как социально-философское мировоззрение, Герцен и Михайловский — все это превосходно; но есть еще неотделимая от первой и вторая сторона вопроса — социально-политическая; есть народничество как мировоззрение, и есть социалисты-революционеры как политическая партия. Был ли я социалистом-революционером? Нет, не был. Во-первых, я — «кот, который ходит сам по себе» (сказка Киплинга), человек, не приемлющий подчинения «партийной дисциплине» какой бы то ни было партии. Это, говоря современным жаргоном, весьма «мелкобуржуазное» свойство; мой первый сосед по камере слепо верил в эту жаргонную дичь — и он, разумеется, типичен для всего поголовья омарксиченной молодежи. Спорить с этим не буду, но самый факт подтверждаю. Он даже печатно зафиксирован в протоколах ноябрьского съезда (1917 года) партии социалистов-революционеров[111]. Следовательно, не будучи членом партии, я не имел оснований ей подчиняться, что позднее и было отмечено в печатных протоколах ноябрьского съезда 1917 года. К тому времени образовалась партия левых социалистов-революционеров; в их газете «Знамя труда» и в журнале «Наш путь» я редактировал литературные отделы и, как редактор, был кооптирован в Центральный комитет партии, заявив, однако, что членом партии не являюсь; заявление мое было принято к сведению[112].

Значит ли все это, что я хочу сложить со своих плеч ответственность за всю деятельность этих партий? Нимало. Несу всю ответственность полностью, но не хочу, чтобы меня делали тем, чем я не был. Всю свою литературную жизнь развивал я социально-философское мировоззрение Герцена. В юношеской своей «Истории русской общественной мысли» я выяснил для себя тот путь, который и по сей час считаю правильным; в более зрелой книге «О смысле жизни»[113] развивается и углубляется (не без Канта) основа мировоззрения Герцена: «человек-самоцель». Подходили или не подходили все эти социально-философские воззрения для партии социалистов-революционеров и ее социально-политических идеологов — никогда этим не интересовался. Когда в 1912 году был основан «толстый журнал» социалистов-революционеров «Заветы», я, однако, стал в нем,

как один из редакторов, заведовать литературным отделом. А через два-три года, в начале мировой войны, я не стал интересоваться, как относится к ней партия социалистов-революционеров (какое мое дело?), но написал совершенно еретическую статью «Испытание огнем»[114], отвергающую войну и призывающую революцию, — статью, встреченную в штыки со всех сторон (Циммервальд и Кинталь были далеко)[115]; напечатали ее, когда пришла революция. И в статьях 1917 года «Год революции» я шел «Своим путем» (заглавие одной из статей)[116], продолжаю своим путем, пусть совершенно одиноким, идти и поныне.

Все это говорится (и говорилось мною следователям в «третью ночь») вот к чему: ни от какой ответственности за свои социально-философские и социально-политические взгляды — не отказываюсь; но ставить на себе штамп «партийного эсера» — не позволю. Мое мировоззрение — не «партийное»; оно — само по себе, и с ним предоставляю кому угодно сводить счеты.

Но следователям все это было совсем не нужно — все это был уже установленный прошлой ночью трамплин; теперь нужно было им совсем другое, а именно:

«Я, Иванов-Разумник, являюсь идейно-организационным центром народничества; вокруг меня за последние годы организационно группировались следующие правые и левые эсеры...» Дальше шел составленный следователями (за все время «допросов» они ни разу не предложили мне самому назвать какое-либо имя) список пяти-шести имен, весьма фантастически скомбинированных; о них — ниже[117]. Разумеется, следователи прекрасно знали, что никакой организации не было; однако — position oblige[118]. Раз начальство велело, то найти необходимо.

Сделаю, однако, крайне маловероятное предположение: допущу, что бывшие партийные эсеры действительно создали «организацию», но лишь не сообщали о ней мне как человеку непартийному. Совершенно неправдоподобно, так как среди фантастического «списка» значилось лицо, теснейшим образом связанное со мной и знакомством, и ежедневной работой, — упомянутый выше Д.М. Пинес. Но, еще раз, допустим. Однако — при чем же тут я?

Как при чем? — отвечали мне. — Да вы же главный и единственный идейный центр, хотите вы этого или не хотите; вы — многолетний знаменосец социальной философии народничества. Известно это вам или неизвестно — дела нисколько не меняет. Вот, например, в Воронеже, в

Херсоне, в Тамбове, еще и еще — существовали кружки молодежи, собиравшейся вместе, чтобы читать и обсуждать народническую литературу, в том числе и ваши книги. Вам известно было о существовании таких кружков? Конечно, нет; но разве это в чем-либо меняет дело? И вот пример: двое юношей, друг с другом совершенно не знакомые, на допросах отозвались о вас, что читали ваши книги, знают даже, что вы живете в Детском (бывшем Царском) Селе, и — каково совпадение! — оба выразились совершенно одинаково, что Детское Село является теперь для них Меккой народничества...

Вот оно до чего дошло: нет Бога, кроме Бога, и Магомет — пророк его! Ни минуты не сомневаюсь, что оба юноши с их Меккой любезно выдуманы следователями; но в выдумке этой концы плохо вяжутся с началами. Пусть существуют эти мифические юноши в разных городах и весях благоденствующего СССР; не ясно ли в таком случае, что мое пребывание в ДПЗ — вода на мою же мельницу! Не ясно ли, что для таких юношей, буде они существовали бы, чем выше кара, тем выше и Мекка? И если Мекка — Детское Село, то какой же сверх-Меккой станут Соловки, если вы меня сошлете, или безвестная могила, если вы меня расстреляете?

Но Мекка — это только любезная шутка; я — не Пер Гюнт[119] и не Хлестаков. Вот почему не могу я подписать в протоколе: я, имярек, являюсь идейно-организационным центром народничества. Во-первых, организационного центра никакого нет, а если он и есть (пусть существует!), то он мне неведом; во-вторых, никаким «центром» чего бы то ни было, хотя бы только идейным, назвать себя не могу, не будучи болен хлестаковщиной; пусть другие считают и называют меня кем и чем угодно, но мне невместимо говорить о самом себе в таких хлестаковских тонах.

VII

Когда «третья ночь» кончилась бесплодно (то есть беспротокольно), то на следующую ночь меня оставили в покое. (А бывает, что допросы идут много и много ночей подряд.) Очевидно, следователи совещались с высшим начальством о дальнейшем методе действий. На новом ночном допросе итог этих совещаний вполне для меня выяснился, когда один из следователей обратился ко мне со следующей, шитой белыми нитками речью:

Нас с вами разделяет только терминология. Вы говорите: «Со мной знакомы...»; мы говорим: «Вокруг вас группируются...» Из ложной скром-

ности вы отказываетесь принять вторую формулировку, мы же только ее считаем соответствующей действительности. Каждый протокол подписываете не только вы, но и мы. Вы не можете подписать нашей формулировки, мы — вашей. Поэтому предлагаем вам такой выход: параллельно будут вестись два протокола, один — выражающий точку зрения следствия, другой — выражающий вашу точку зрения на те же самые вопросы. По старой терминологии — первый будет суммировать в себе взгляд «прокуратуры», второй — взгляд «адвокатуры». Оба протокола будут подписываться обеими сторонами. По совокупности таких протоколов «А» и «Б» — высшая инстанция будет иметь возможность объективно взвесить все дело.

На такой способ ведения «дела» я (конечно, напрасно) согласился: если мне дается возможность высказывать свои взгляды на точку зрения следствия и всецело отвергать ее, то отчего же и не закрепить эти свои взгляды? Конечного результата всего «дела» решительно ничего не изменит: он уже предрешен. Когда тетушка в январе 1933 года (почему именно в это время — скажу ниже) решила начать «дело об идейно-организационном центре народничества», то ее адъютанты получили твердые задания, которые им надлежало выполнить. Анахронизмом звучат слова Некрасова:

На Литейной есть страшное здание,
Где виновного ждет наказание,
А невиновен — отпустят домой,
Окативши ушатом помой[120].

Так было в добрые старые времена. Теперь «невинных» не отпускают домой, а сажают в изоляторы, в концентрационные лагеря, ссылают в Алма-Ату или Чимкент (знаю об этом как раз по «делу об идейно-организационном центре народничества»). «Виновных» — тоже. Эта «уравниловка» и делает четверостишие Некрасова анахронизмом.

Значит, шитая белыми нитками хитрость следователей ни на минуту не ввела меня в заблуждение: я прекрасно знал, что им нужны протоколы «А», то есть собственная их, заранее установленная точка зрения («твердое задание»!), и что протоколы «Б» не будут иметь ни малейшего веса и даже интереса для «высшей инстанции». Но не все ли это равно, раз дело и без того предрешено? Протоколы «Б» имеют вес — для меня, и этого мне довольно.

Теперь, когда все это «дело» имеет за собой уже годичную давность, я иногда жалею, что не избрал более простого пути — короткого письмен-

ного заявления, что, прекрасно уясняя себе задачи и цели всего этого «дела», от всяких дальнейших разговоров решительно отказываюсь. Конечно, это ни на волос не изменило бы результатов и итогов; но при таком методе действий я был бы избавлен от всяких «протоколов» (и «А», и «Б») и от сомнительного удовольствия ночных бесед со следователями, очень любезными молодыми людьми, но пустыми и сухими, как выжатая губка.

Перехожу, однако, к этим протоколам «А» и «Б». Первый же из них совершенно ясно вскрыл «твердое задание», полученное следователями: создать фиговый листок, который позволил бы стыдливо прикрыть тот факт, что в стране пролетарской диктатуры ссылаются на идеологию и «неблагомысленность» совершенно так же, как и в странах диктатуры буржуазной. И тут и там стыдливость требует фигового листка, каким является «организационная группировка»: если ее нет, то ее надо выдумать[121].

И вот пример из первого же протокола «А». С первых месяцев революции 1917 года я дружески сблизился с М.А. Спиридоновой; октябрьские дни еще более закрепили эту дружбу. Когда после долгих лет советской тюрьмы М.А. Спиридонова очутилась в ссылке — в Самарканде, в Ташкенте, потом в Уфе, — мы стали обмениваться письмами, чаще всего — открытками, раз-два в год всего-навсего[122]. Я посылал ей новые свои книги; раз или два, узнав о ее болезни и трудном финансовом положении, послал ей небольшой денежный перевод. Делал все это, нисколько не таясь, прекрасно зная, что все до одного письма наши внимательно читают перлюстрационные тетушкины «красные кабинеты», находящиеся при каждом почтовом отделении. Но считал бы постыдным для себя отказываться от былого знакомства и былой дружбы страха ради иудейска, — и теперь, хоть без всякого удивления, но и без всякого уважения смотрю на былых знакомых и «друзей», того же страха ради трусливо вильнувших в кусты, когда я очутился в ссылке. Но не в этом дело, а в том, как же формулировал протокол «А» изложенные выше факты? А вот как: «...в течение ряда последних лет поддерживал постоянную связь с М.А. Спиридоновой и организовывал пересылку ей денег». Недурно? Слово «организовывал» я отказался принять, и следователь заменил его словом «устраивал». Bonnet blanc, blanc bonnet[123].

Другой пример. Долго пробывший в изоляторах и ссылках левый эсер Я.В. Браун[124] получил в самые последние годы разрешение жить в Москве. Раз или два приезжал он в Петербург, чтобы попытаться устроить в

издательствах сборник критических статей (об А. Белом, о Евг. Замятине), и оба раза был у меня по этим делам. Летом 1932 года явился ко мне с письмом от него какой-то молодой человек; в письме значилось, что имярек («имя» — начисто забыл), приехавший из Симферополя, желал бы услышать мое мнение о своих стихах. Молодой человек прочел мне ряд стихотворений, мы поговорили о них; потом я расспросил его о Симферополе, знакомом мне по студенческой ссылке. Из разговора выяснилось, что он — тоже ссыльный; я даже не спросил, по какому делу, какой партии; из некоторых выражений готов был заключить, что ему близки были взгляды анархизма. Следователи откуда-то были осведомлены об этом посещении, напомнили мне фамилию молодого человека (опять забыл начисто) и следующим образом сформулировали в протоколе «А» соответственный пункт: «Поддерживал личную и письменную связь с Я.В. Брауном, от которого летом 1932 года был прислан ко мне левый эсер имярек...» Имярек оказался левым эсером; но кем бы он ни был — факт тот, что это было мне совершенно безразлично и что мы с ним ни слова не говорили о политике. Нашло ли это хоть малейшее отражение в протоколе «А»? Конечно, нет; ведь мне же предоставлено было писать об этом в протоколе «Б». Таким образом, протоколы «А» являлись сплошной фальсификацией.

И еще пример, особенно характерный тем, что вскоре вскроет последние глубины «обвинительного акта». С видным представителем «центрального» эсерства Е.Е. Колосовым[125] я случайно встречался лишь несколько раз, в переписке с ним не состоял. Поэтому меня очень удивила настойчивая просьба следователей припомнить, с кем именно заходил ко мне Е.Е. Колосов (еще до изоляторов и ссылок) в Царском Селе в середине двадцатых годов? Вспомнить я не мог. Тогда следователи сами напомнили мне: с А.В. Прибылевым[126], старым народовольцем и каторжанином. Вспомнил — верно; следователи откуда-то и на этот раз были хорошо осведомлены! Но все же меня удивляло — отчего они так подчеркнуто занесли в протокол этот факт? Что в нем было особо криминального? И отчего особый протокол был посвящен допросу о моих знакомствах со старыми народовольцами — милым и вечно молодым душою А.В. Прибылевым, первомартовкой А.П. Прибылевой-Корба[127], В.Н. Фигнер, М.П. Сажиным[128] и другими? И отчего были взяты у меня письма В.Н. Фигнер? Все это анекдотически разъяснилось лишь впоследствии.

Не буду умножать примеров, и приведенных достаточно. Скажу лишь еще об одном обстоятельстве, тоже немало меня удивлявшем. Следователи сами составили список левых, центральных и правых эсеров, с которыми я был знаком (а с кем из них я не был знаком в 1917—1918 годах?) и с которыми «поддерживал связь» (то есть попросту — был знаком) и в настоящее время; среди этого списка из пяти-шести человек первым, конечно, значился Д.М. Пинес, но тут же за ним, к моему удивлению, шел А.И. Байдин, о котором поэтому здесь несколько слов. Этот очень симпатичный человек, отбыв за свое эсерство сроки сидения в изоляторах, получил в конце двадцатых годов разрешение жить в Петербурге; он и служил здесь библиотекарем сперва в одном, потом в другом сельскохозяйственном институте, одно время проживал в Царском Селе. Но, даже проживая в соседстве со мной, бывал у меня крайне редко, а переселившись в Петербург — совсем исчез из вида[129]. Зная, однако, его страстную любовь к цветам (как и к книгам), я был уверен, что непременно увижу его в каждом мае месяце, когда в нашем саду вокруг дома пышно расцветала сирень. И действительно, в это время он всегда появлялся на нашем горизонте и уезжал, обремененный огромным букетом; в остальное время года бывал у меня раз или два, а до моего юбилейного чествования я не видал его около года — с прошлого мая. Очень меня удивило поэтому, отчего следователи не раз и не два упорно допытывались о моей «связи» с А.И. Байдиным; ничего интересного не мог им сказать, кроме эпизодов с букетами сирени, которые, однако, не попали в протоколы «А». Разгадка появилась тогда же, когда и разгадка интереса следователей к народовольцам. Тогда выяснилось, почему следователи допрашивали меня о «связи» с А.А. Гизетти, который в это время был уже два года в ссылке в Коканде (с удивлением увидел я его уже в марте месяце в коридоре перед следовательскими комнатами, — привезли из Коканда![130]). Никогда не был я с ним в переписке, а после революции, когда он обрушился на меня сердитой статьей за мою «левизну», отношения наши были вполне прохладные; за последние годы они выправились, но без всякой близости. Бывал у меня раза два-три за лето, когда все бывают в Царском Селе; характерно, что за все эти годы у нас с ним ни единого раза не было разговора на политические темы, — разговоры велись исключительно на темы литературные. Тем не менее в протоколах «А» была тщательно зафиксирована моя «связь» с А.А. Гизетти. Для чего это понадобилось — выяснится потом.

7 — 1478

VIII

В протоколах «Б» я имел возможность самым решительным образом отвергать не факты, а освещение фактов в протоколах «А». Поддерживал ли я «связь» с пятью-шестью бывшими эсерами? Совершенно настолько же, насколько и с десятками бывших меньшевиков, анархистов, кадетов — вплоть до большевиков и до беспартийных, так как знакомых у каждого из нас много. Но называть эту «связь» — «организационной группировкой» столь же бессмысленно, как вечерний чай в кругу семьи и друзей называть нелегальным подпольным собранием. Могут быть и такие «чаи», но ни у меня, ни у моих знакомых никогда их не бывало. «Организационная группировка» по отношению ко мне — бездарно вырезанный фиговый лист, который никого не обманет. И к чему такая стыдливость? Пролетарская диктатура должна была бы поступать смело, заявляя открыто: да, сажаю в тюрьмы и ссылаю не только за «организацию группировок», но и за идеологию, за инакомыслие.

Инакомыслия своего я никогда и ни перед кем не скрывал — не имел основания умалчивать о нем и в протоколах «Б». И как раз третий «протокол» был целиком посвящен этому моему инакомыслию. Кстати сказать: протоколы третий, четвертый и пятый были исключительно протоколами «Б» и не имели своих двойников «А»; там, где дело шло об идеологии, а не о мифической «организационной группировке», перо, чернила и бумага предоставлялись в исключительное мое распоряжение[131]. Первый протокол («трамплин») — наоборот, имел своего двойника «Б». Наконец, протоколы второй, а также шестой и седьмой (написанные в Москве, о чем ниже) были двойными. Интересно отметить, что следователи (все те же Бузников и Коган), писавшие шестой и седьмой московские протоколы «А», с таким трудом составляли их, так много вычеркивали и перечеркивали, что, утомившись к концу ночи, просили меня перебелить их начисто. Я это сделал, после чего тут же написал и протокол «Б». Каюсь в своей наивности: лишь потом мне подумалось, что причиной следовательского утомления могло быть желание представить эти написанные моею рукою протоколы «А» за протоколы «Б», а последние просто бросить в корзину. Но и то сказать — кто мог помешать им и без этого кунштюка бросить в корзину протоколы «Б»? Их рука — владыка.

Возвращаюсь, однако, к третьему протоколу, в котором должна была быть обнаружена моя неблагомысленность. Говорить в условиях тюремного

сидения о моем «отношении к советской власти» я отказался еще на первом допросе; но на вопрос, почему с точки зрения моей «идеологии» неприемлемы многие пути и методы современной социальной системы, мог ответить с полной определенностью. Я сделал лишь одну оговорку: я — не политик и никогда им не был, политический жаргон мне совершенно чужд, а потому говорить я буду тем языком, которым вот уже тридцать лет говорю в своей литературной деятельности. И о четырех основных пунктах современной жизни — диктатуре, коллективизации, индустриализации и культурном строительстве — я высказываюсь со своей основной точки зрения, являющейся фундаментом социальной философии Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. Это основное положение — «человек-самоцель» — критерий, прилагаемый ко всем практическим вопросам.

Конечные цели коммунизма — бесклассовое общество, уничтожение государства — вполне соответствуют норме «человек-самоцель»; методы и пути большевизма для достижения этой цели — резко ей противоречат, а поэтому для меня и неприемлемы.

Диктатура? Несомненная гибель десятков миллионов для проблематического будущего благоденствия человечества. Коллективизация? Родная дочь диктатуры. Индустриализация? Машинофобия настолько же далека от нормы «человек-самоцель», как и машиномания; но когда в жертву последней приносится человек, когда в жертву национальному богатству приносится народное благосостояние, то индустриализация становится в противоречие с основной нормой. Все дело — в методах и путях для достижения конечной цели. Представьте себе, что с целью увеличить народонаселение страны государство ввело бы во все большие города дивизии войск и велело бы солдатам изнасиловать всех девушек города. Цель была бы достигнута; но что сказать о пути к ней? Видно, не всегда цель оправдывает средства.

Наконец, последний пункт — культурное строительство. Если в первых трех вопросах может казаться спорным — достигнет или не достигнет такими путями государство поставленных целей, то в вопросе о культурном строительстве и спора быть не может о полной безнадежности построить культуру методами диктатуры. Само большевистское правительство убедилось в этом, когда вынуждено было в апреле 1932 года уничтожить всяческие РАППы[132] — ассоциации пролетарских писателей, — пытавшиеся «администрировать» в области литературы: плоды таких попыток ока-

зались кислыми и горькими. То же самое было и в области музыки и живописи; искусство — свободно и на штыках сидеть не умеет. Можно декретировать в области культурного строительства все, что угодно, но собрать лишь горькие плоды лакейства, бездарщины и всяческого приспособленчества. Норма «человек-самоцель» оправдывает себя в этой области с бьющей в глаза очевидностью.

То, что здесь я суммирую в нескольких строках, в третьем «протоколе» изложил я на четырех листах, прибавив на пятом, в виде заключения, и некоторые практические выводы, вытекающие из этих теоретических положений. Действительно, если все это так — «так что же нам делать»? Сложить руки или бороться? А если бороться — то как? Устраивать «организационные группировки»? подпольные кружки? террористические организации? вести нелегальную пропаганду среди разных слоев населения? При создавшихся в Европе (и во всем мире) условиях все эти былые методы борьбы одинаково бесплодны и даже вредны.

Мы привыкли мыслить все еще старыми, «довоенными» категориями, в то время как мир перевернулся на своих основаниях, сошел со своей оси — и лишь Гамлеты от революции могут думать, что прежними методами можно прийти к каким-либо результатам. Народничество — это социализм, социализм — это демократия, а в итоге войн и революций нашей эпохи демократия погребена быть может на весь XX век под обломками рухнувших миров. Все политические партии сыграли свою роль — и впредь до воскресения демократии не воскреснут; воскреснет же она лишь в итоге ряда новых мировых войн. Мировая война между двумя станами диктатуры — неизбежна, но наше место — au dessus de la mêlée[133]. Стан фашизма — буржуазной диктатуры — враждебен нам и по целям, и по методам действий; стан коммунизма неприемлем по методам. Бесплодно вести с этими методами борьбу путем старых приемов; говоря словами Герцена — нелепо ставить себя в положение человека, желающего подняться по лестнице в то самое время, когда с нее сходят сплошным и сомкнутым строем шеренги солдат. Значит — стать в сторонке и сложить руки? Нет, но делать свое дело. Это дело теперь, при новых условиях и задачах, заключается единственно в работе над старыми и вечными культурными ценностями. Надо не лакействовать, не приспособляться, не чегоугодничать, а делать в своей области ту работу, которая переживет и диктатуру, и коммунизм, ибо оба они — лишь переходные формы (что оба и сознают в наиболее видных своих представителях). О себе скажу: как ни

скромно мое дело, но в области «культурного строительства» оно ближе к подлинной духовной революции, чем устройство десятка «организационных группировок».

Мысли эти я высказывал всегда и всем, в том числе и тем немногим молодым людям, — не мифическим меккопоклонникам, — которые спрашивали меня: «Так что же нам делать?» Написал я это и на заключительном пятом листе третьего «протокола». Но этот последний лист следователь отказался «принять», заявив, что это им «неинтересно». Позвольте — как это так: неинтересно? Для объективного следствия это был бы самый интересный пункт. Не говорю уже о том, что этим нарушалось основное условие: протоколы «Б» выражают мою точку зрения, а вовсе не то, что интересно или неинтересно для следователя. Но я не стал настаивать: к чему, раз вообще все протоколы «Б» могут быть отправлены в сорную корзину? Однако мне захотелось сделать с этим вопросом (о «практике») experimentum crucis[134], — и я сделал его в следующем же протоколе.

Впрочем, нет, не в следующем, так как следующий — не в счет: это был маленький «протокольчик», в котором излагалось, с кем именно из старых народовольцев я знаком (почему, однако, «знаком», а не «поддерживаю связи»?), давно ли познакомился, часто ли вижусь и переписываюсь. Меня все еще удивляло это никчемное любопытство. Знаком; давно; с В.И. Фигнер — с 1912 года, с А.В. Прибылевым и с другими — позднее; в переписке состою; письма взяты при обыске; чего же еще надо? Лишь через месяц выяснились глубокомысленные причины этого непонятного любопытства.

Через несколько дней последовал протокол четвертый. Третьим высшее начальство осталось неудовлетворено: слишком необычный язык, слишком странная формулировка, какие-то «нормы», какой-то «человек-самоцель». Нужно совсем другое: подчеркнуто политическое выражение тех же самых основных мыслей. «Ваш единомышленник, Д.М. Пинес, написал целый ряд листов на эти же темы, но с политической, а не социально-философской точки зрения; то же самое мы желали бы получить от вас», — сказал мне следователь. Не без иронии я предложил ему следующий выход: пусть он даст мне эти листы, а я, прочитав их, припишу в конце: «Сию рукопись читал и содержание оной одобрил», — и подпишусь[135]. Следователь обрадовался такому выходу, но все же побежал советоваться с начальством; вернулся немного сконфуженный и заявил, что такой образ действий признан неудобным. Все-таки он очень просит

меня — хотя бы несколько развить точку зрения предыдущего протокола. Отчего бы и не развить? На эти темы можно написать не один том. И я стал писать «протокол четвертый».

Боюсь, что этим своим писанием я совершенно не удовлетворил следователя: форма четвертого протокола была отнюдь не протокольная. Я припомнил содержание одного ночного разговора именно на такие темы (диктатура, коллективизация, индустриализация, культурное строительство); он имел место с год и два тому назад. И вот теперь, в четвертом протоколе, я изложил сущность этого разговора, даже назвал имена собеседников. Последнее сделал намеренно и тоже не без иронии: пусть эти собеседники заслужат за свою благомысленность если и не орден Красного Знамени, то, по крайней мере, доброе мнение тетушки.

Дело было так. В декабре 1930 года[136], на именины В.Н., собрались к нам многочисленные «друзья и знакомые»; вечерний чай и ужин затянулись до трех часов ночи, так как добрых четыре часа подряд продолжался оживленный спор на те самые темы, которые теперь столь интересовали следователей. Гостей было много, но деятельное участие в этом споре принимали только четверо царскоселов. Прежде всего — Андрей Белый, проживавший с женою у нас весь этот год[137]. Давняя дружба соединяла нас, но за последнее время стали омрачать ее непримиримые политические разногласия; не то чтобы черная кошка пробежала между нами, но черный котенок не один раз уже пробовал просунуться — с тех пор, как в книге «Ветер с Кавказа» Андрей Белый сделал попытку провозгласить «осанну» строительству новой жизни, умалчивая о методах ее. Вторым был Петров-Водкин, старый приятель, самый большой из наших художников, но в области мысли социально-политической — путаная голова. К тому же — «трусоват был Кузя бедный»[138] и потому приспособлялся, как мог, ко всем требованиям минуты, стараясь найти какое-нибудь теоретическое оправдание для своей трусости. Третьим был ни друг, ни приятель, ни даже просто хороший знакомый — Алексей Толстой. Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом, ходячее подтверждение мысли Пушкина о поэзии, совершенно беспомощный в вопросах теоретических, всю жизнь, однако, умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло; разумеется, он был теперь самым верноподданнейшим слугою коммунизма. Четвертым собеседником был, как принято говорить, «пишущий эти строки». Вмешивались в спор и другие гости, но я их не называю — во-первых, потому, что ограничива-

лись они немногими словами, а во-вторых, и потому, что не все их высказывания были достойны ордена Красного Знамени. Спор вели четверо, и притом — трое против одного. Что говорили трое — ясно из приведенных выше их характеристик; что говорил четвертый — об этом можно сказать подробнее.

Говорил же я следующее. Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды — значит именно лгать. Вот не так давно явились ко мне четыре начинающих писателя, авторы коллективной книги о Мурманском крае; они узнали, что я отрицательно отнесся к их полупублицистическому, полухудожественному произведению, и приехали ко мне поговорить на эту тему. Я сказал им, что бывают эпохи, когда писатель не имеет права быть публицистом, ибо если можно сказать только полуправду, то она будет вреднее и постыднее полной лжи. Уж лучше тромбонно провозглашать «гром победы раздавайся!» — как это и делают девять десятых современных писателей, — чем монотонно расхваливать лицевую сторону медали, не имея возможности сказать хотя бы одно слово об оборотной стороне. «Индустриализация» — лицевая сторона медали, «коллективизация» и миллионы ее жертв — сторона оборотная. Ты ничего не смеешь сказать о последней? молчи же и о первой; бывают эпохи, когда писатель обязан не быть публицистом.

Но все, что касается публицистики, относится и вообще к литературе, и вообще к искусству. Художник должен быть целомудренным в выборе темы и в формообразовании ее; порнография — детская игрушка по сравнению с тем разлагающим души социально-политическим ядом, который особенно заманчив в художественных произведениях и может отравить иной раз целое поколение молодежи. Вот где именно евангельское слово о соблазне малых сих: лучше бы жернов повешен был на шее его и потонул бы он в пучине морской[139]. Лучше бы потому, что ведь впоследствии, когда придет время суда истории, жернов осуждения будет повешен на имени этого художника. Кукольники и Булгарины, источая яд патриотической лжи, благоденствовали при жизни; кто позавидует их участи? Но полуправда — хуже лжи; она заливает гноем души несчастной молодежи. Зачем же вам, художникам слова и кисти, вступать на этот гибельный путь? Для персональных пенсий, для тетушкиных пайков, для житейского благоденствия? Ведь нам четверым уже больше двух сотен лет; всем нам вместе не осталось, быть может, прожить и полстолетия. Да и

не в этом дело, а в том лице каждого из нас, которое мы предаем и продаем за чечевичную похлебку житейского успеха; а оно — дороже не только всякого благоденствия, но и самой жизни.

И — заключение: надо ли нам, писателям и художникам, не имеющим возможности рисовать обратную сторону медали, вообще складывать руки и отказываться от работы? Конечно, нет. Андрей Белый может писать не «Ветер с Кавказа», а следующие тома романа «Москва»; Петров-Водкин может писать не «Смерть комиссара», а превосходные свои натюрморты; Алексей Толстой может писать «Петра», а не беспомощные публицистические статейки[140]. Что касается меня, то мне цензурой заказаны пути критической, публицистической, социально-философской работы, но остался путь историко-литературных исследований. Если цензура преградит мне и этот путь — перестану писать, сделаюсь корректором, техническим редактором, сапожником, кем угодно, но только не писателем, который готов поступиться своим «я» ради мелких и временных интересов. Ведь «временно бремя и беременно время!». Останьтесь же самими собой. Не будем ни Личардами верными, бегущими у стремени хозяина[141], ни Дон-Кихотами, воюющими с ветряными мельницами. Политическая борьба с коммунизмом бессмысленна и вредна; но ликующая осанна — позорна и постыдна.

Так говорил я тогда, так писал (гораздо подробнее, чем здесь) и теперь, в четвертом протоколе. Прочитавший его следователь — вновь «не принял» последней страницы, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы с коммунизмом: «не представляет интереса». Не правда ли — интересный факт? Experimentum crucis блестяще удался; я решил при случае повторить его и в третий раз.

Случай представился очень скоро. Через несколько дней я вновь был приглашен на беседу со следователями, которые предложили мне написать свое мнение по следующему неожиданному вопросу: какими путями народничество может проникать и проникает в широкие круги молодежи? Отвечать было очень нетрудно. Прежде всего — совершенно ясно, что при современных политических условиях целиком отпадают всякие возможности пропаганды и агитации, устной и письменной; если же где-либо такие ручейки и пробиваются, то они так ничтожны, что вряд ли с ними можно серьезно считаться. Этого мало (и тут я намеренно поставил в третий раз свой поучительный проверочный эксперимент): если бы даже такая

политическая борьба была возможна, то она была бы в то же время никчемна и даже вредна; мотивировка — та самая, которая была в конце (непринятом) протокола третьего. Однако имеются на деле не ручейки, а полноводнейшие реки, которые до сих пор безвозбранно текут по равнине русской литературы и из которых может утолять жажду каждый желающий. Это — ни мало ни много — вся русская литература второй половины XIX века. Во всех библиотеках, во всех читальнях можно получить пока еще не запрещенные сочинения таких величайших представителей народничества, как Герцен или Чернышевский. Михайловский — запрещен и изъят; теперь — благодарю за честь! — изъят и запрещен также и я: жалкая компенсация! Запретите тогда уж и Глеба Успенского, и Салтыкова-Щедрина либо постарайтесь перекрасить их в «марксистов» (этим тупоумным делом уже заняты юные марксистские литературоведы). А Лев Толстой, анархизм которого так близок к левому народничеству! Попробуйте-ка преградить плотиной эту Ниагару! Вам надо изъять из библиотек всю русскую литературу от Герцена до Льва Толстого включительно; а если не можете или стыдитесь (почему бы, однако, не изъять? стыд не дым, глаз не выест), то и не удивляйтесь, что народничество проникает и будет проникать в широкие круги молодежи.

Таков был протокол пятый (и пока что — последний), как я и ожидал — на этот раз следователь отказался «принять» начало его, где речь шла о ненужности и вредности политической борьбы против коммунизма. Мотивировка — прежняя: «Это нам неинтересно и к делу не относится...»

Очаровательно, не правда ли?

Перечитывая в те же дни «Войну и мир», я с удовольствием отметил описание Л. Толстого французского военно-полевого суда над поджигателями Москвы в 1812 году: как это изумительно похоже на тетушкину юрисдикцию! Закончу этой цитатой:

«...Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь, куда ей угодно... Единственная цель этого собрания состояла в том, чтобы обвинить его. И поэтому, так как была

власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов, и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности»[142].

До чего же этот военно-полевой суд маршала Даву[143] похож на суд тет-киных сынов!

IX

Согласно юрисдикции маршала Даву и тетушки — обвинительный акт не вручается обвиняемому, который остается в полном неведении о его содержании. Однако последнее мне стало известно: завершив круг допросов (скольких десятков неизвестных мне человек, прикосновенных к моему «делу»?), следователи собрались ехать в Москву для доклада всего «дела» в высших тетушкиных инстанциях. Это было уже месяца через два после моей юбилейной ночи. В самый вечер отъезда следователи пригласили меня для разговора на тему — не имею ли я против них лично каких-либо заявлений или жалоб. Что же могу я иметь против двух этих несчастных молодых людей, добросовестно выполнявших данное тетушкой «твердое задание»? Разговор поэтому был краткий.

Но тут же следователи порадовали меня сообщением, что «дело» для них теперь «совершенно ясно». Ясным было оно и для меня; с тем большим интересом выслушал я дальнейшее сообщение следователей — и услышал вещи, поистине удивляющие неожиданностью и богатством фантазии. Точки зрения «А» и «Б» должны были расходиться, это само собою разумеется, но лишь в пределах разницы между формулами «поддерживал связь» и «был знаком» (если ограничиться этим случайным примером). Оказалось, однако, что на этой разнице можно вышить такие богатейшие узоры фантазии, что им позавидовала бы сама Шахерезада. Вот это «дело об идейно-организационном центре народничества» в сжатом изложении следователя, и вот, значит, содержание не врученного мне обвинительного акта:

Народничество продолжает свое существование, и притом не только в мировоззрительном содержании, но и в форме организационно-групповой. Основными передатчиками идейного, социального и политического, содержания от старого народничества к новому являются старые народовольцы, носители народнических традиций. Эти основные истоки приходится, однако, оставить в покое, ибо неудобно трогать ветеранов с

такими заслугами перед революцией. К тому же — почти все они люди восьмидесятилетние, скоро и сами сойдут со сцены, можно и подождать; но остается фактом — нежелательное влияние их идей и представляемой ими традиции на людей следующего за ними поколения. И не случайно то обстоятельство, что главный идеолог народничества XX века, писатель Иванов-Разумник, состоит в близком знакомстве и «поддерживает связь» с рядом наиболее выдающихся старых народовольцев.

Этот писатель является идейно-организационным центром у целой сети разветвляющихся на весь СССР группировок. Организация эта может быть представлена в общих чертах следующим образом:

Идейный центр ее — в Детском Селе, в доме названного писателя; с ним организационно связана центральная группа в пять-шесть человек бывших левых и правых социалистов-революционеров; кроме того, он поддерживает личные и письменные связи с видными эсерами, находящимися в Москве, за границей и в ссылке. Центральная группа в пять-шесть человек делит между собой ряд основных организационных функций; так, личный секретарь названного писателя, Д.М. Пинес, бывший левый эсер, поддерживает постоянную связь с бывшими левыми эсерами, а также и с заграницей; «центральному» эсеру, А.А. Гизетти, поручено поддерживать связь с эсерами своей группировки. Но главный нерв всей этой организационной работы — практический: связь с беспартийными и руководство вредительской работой в тысячах колхозов и совхозов. Это звено связи поручено А.И. Байдину, который далеко не случайно выбрал себе работу и службу — библиотекаря в сельскохозяйственном институте. Здесь он имел возможность ежедневно общаться с десятками, а ежегодно — с тысячами студентов, оказывать на многих из них разлагающее народническое влияние, а затем — направлять их вредительскую работу в колхозах и совхозах. Совершенно не случайно срыв колхозной работы в 1932 году, начиная от сверхраннего сева и кончая хлебосдачей, выявил ряд народнических настроений среди руководителей — и вредителей — низового колхозного и совхозного аппарата, главным образом среди агрономов. Совершенно не случайно также, что в целом ряде провинциальных центров обнаружены народнические группировки молодежи, как не случайно и то, что два незнакомых между собой представителя этой молодежи охарактеризовали одними и теми же словами местожительство незнакомого им лично писателя Иванова-Разумника как Мекку современного народничества.

Кроме того, названный писатель группировал вокруг себя не только партийно-эсеровские, но и вообще беспартийно-народнические элементы, — под видом случайных своих знакомых и гостей. Влияние его шло, конечно, и дальше — к знакомым его знакомых, к гостям его гостей; но это были уже группировки не организационные, а идейные. Что же касается группировки идейно-организационной, то она представляется, на основании всего изложенного, в виде следующей схемы.

На периферийной высоте — старое народовольчество, от которого идет непосредственная традиция и живая связь с народничеством второй половины XIX века. В центре — идеолог народничества XX века, писатель Иванов-Разумник, со штабом из пяти-шести человек, между которыми разделены различные организационные функции. Одно звено этого штаба в свою очередь является центром охватывающей весь СССР народнической группировки для вредительской работы в колхозах и совхозах; это — звено практической социально-политической работы. Наконец, в периферийных низинах — многочисленные подпольные кружки народнической молодежи, связанные с центром если и не организационно, то идейно...

Когда Лазарь Коган закончил это изложение сущности обвинительного акта по делу «об идейно-организационном центре народничества», то спросил меня, что я думаю об этой точке зрения «А»? Я ответил, что в лучшем случае — это сказка из тысячи и одной ночи допросов, в худшем — бред сумасшедшего. Нисколько не обидевшись, он возразил: «А для нас — это совершенно ясно, это совершенно ясно...» Но ведь и мне тоже все было здесь «совершенно ясно».

Очевидно, что из двух «совершенно ясных» и диаметрально противоположных точек зрения («А» и «Б») одна является истинной, а другая ложной. Не задаваясь пилатовским вопросом «что есть истина?», можно спросить, однако, где же эта истина? Всякий непредубежденный читатель найдет ответ на этот вопрос очень просто и легко. Ведь «читатель» этот, для которого я пишу, — читатель очень далекого будущего, когда на свете не будет ни меня, ни тетки. Для этого далекого будущего я мог бы, ничем не рискуя, пышно распустить павлиний хвост, приделанный мне в «обвинительном акте», и пред лицом далеких потомков «признаться» во всем том, что теперь является для меня «обвинением», а тогда послужит восхвалением. Так что в этих моих воспоминаниях мне не было бы причины отвергать ту арабскую сказку, которая делает меня всероссийским центром народнической группировки и посылает ко мне со всех концов

страны тридцать пять тысяч курьеров[144]. Но курьеров этих я не принимаю, павлиний хвост отвергаю, лестную сказку называю ее подлинным именем — глупой ложью; я хочу быть тем, чем я был, писателем и гражданином, а не оходуленным «вождем», каким представляет меня тетушкина филькина грамота. Где истина — решить после этого нетрудно.

Мало того, я совершенно уверен, что и сама тетушка превосходно знает, что ее обвинительный акт по делу об идейно-организационном центре народничества — сплошной фантастический бред и глупая фальшивка; но «твердое задание» должно быть выполнено, десятки людей должны быть законопачены в тюрьмы и ссылки; о подлинных причинах этого я еще скажу ниже. Все это меня нисколько не удивляет, все это в порядке вещей и в порядке системы управления; но удивляет только одно, повторяю еще раз: для чего столько церемоний, трудов, хлопот, попыток придать акту чистого произвола вид «революционной законности»? Для чего эта стыдливость, этот фиговый лист? эти попытки придумать несуществующие организационные группировки? Царская охранка была менее стыдливой и более смелой, она прямо заявляла, что карает не только за неблагодейность, но и за неблагонамеренность; тетушка же не имеет мужества признаться, что ее кары распространяются даже и на неблагомысленность. А насколько упростилась бы вся процедура, насколько облегчилась бы работа самих теткиных сынов, насколько разгромоздились бы ночные допросы! Но именно все это и невыгодно теткиным сынам, у которых всегда хлопот быть должен полон рот[145].

Возвращаюсь к «обвинительному акту». Сколько десятков (или сотен?) совершенно невинных людей попало в эту трудами бессонных ночей сплетенную сказку — мне неизвестно[146]. Знаю о судьбе моего «штаба»: Д.М. Пинес заключен на два года в Верхне-Уральский изолятор, А.И. Байдин — на три года в изолятор Суздаля, А.А. Гизетти — на три года в изолятор Ярославля. Сам я, после ряда юбилейных чествований, попал в ссылку — и куда же? «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» (о, бессмертный Фамусов!). Совершенно случайно знаю о судьбе еще немногих (из сколь многих!) заговорщиков. Так, упомянутый выше библиотекарь Академии наук Котляров заслужил пять лет ссылки сперва в Алма-Ату, а потом в Чимкент — за то, что был знаком со мною и этим самым ясно выразил свои народнические симпатии. Правда, симпатии эти оказались мифом даже для следователя, но зато явно выявилась неблагомысленность оного Котлярова: на вопрос, верит ли он в построение царства подлинного

коммунизма большевиками, Котляров ответил: «Не верю!»; и на вопрос, верит ли он в народнический социализм Иванова-Разумника, отвечал: «Тоже не верю!» Так сообщил мне (если не выдумал) сам следователь на одном из допросов. И хотя Котлярова, этого добросовестного и опытного работника, нельзя было обвинить ни в народничестве, ни во вредительстве, его все же за неблагомысленность (под каким фиговым листком — не знаю) отправили на край света. «Иванову-Разумнику мы устроим почетную ссылку, — заявил следователь, — а вас за знакомство с ним и за мысли отправим куда Макар телят не гонял!»

Глубоко виноват перед ни в чем не повинным Г.М. Котляровым и приношу ему здесь искреннее извинение за мое знакомство с ним. Совершенно аналогичный случай произошел и с писателем А.Д. Скалдиным, о котором я тоже упоминал выше. Арестованный за народнические симпатии (ибо отец его был крестьянин) и за знакомство со мной, Скалдин тщетно указывал следователю, что никаких симпатий к народничеству не питает, и хотя живет в Детском Селе, в двух шагах от «главного идеолога народничества», но не был у него уже полтора или два года. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»[147], — мог ответить ему следователь; аргумент неопровержимый — Скалдин отправился на пять лет в ссылку в Алма-Ату*.

Еще два-три подобных случая я знаю, но скольких же десятков я не знаю! Поэтому о результатах всего «дела» в его целом не имею ни малейшего понятия. Вот только один пример, случайно известный мне, только один, но зато характерный за добрую сотню мне неизвестных. В одной камере с названным выше Котляровым сидел некоторое время агроном из какого-то совхоза, обвинявшийся во «вредительстве». Однажды он вернулся с допроса в полном недоумении и стал спрашивать Котлярова, не знает ли он, кто это такой — Иванов-Разумник? «Я и имени-то такого никогда не слыхал, и что такой писатель у нас есть — совершенно не знал, а следователь требует, чтобы я сознался, что нахожусь под влиянием его книг и вообще «народнической идеологии». Не знаете ли вы, что это за идеология такая и что это за писатель такой?..» Бедняга был, очевидно, одним из сотен агрономов, получавших от А.И. Байдина вредительские задания, а от меня — идеологические обоснования[148].

*Позднейшее примечание: Г.М. Котляров в «ежовские времена» был снова арестован в Чимкенте и отправлен в один из сибирских концентрационных лагерей, где и скончался в 1938 году. А.Д. Скалдин продолжает пребывать в ссылке в Алма-Ате; о нем — смотри в моей книге «Писательские судьбы».

Мне кажется, что всех этих примеров более чем достаточно и что все дело, по совершенно справедливому мнению следователя, более чем ясно.

X

Я был вполне уверен, что «дело» подошло к своему естественному концу и что высшие тетушкины инстанции скоро вынесут решение и сообщат свой революционно законный приговор всем прикосновенным к этому «совершенно ясному» делу. Последняя беседа со следователями, сообщившими мне содержание «обвинительного акта», происходила в самых первых числах апреля; весь апрель месяц я спокойно спал по ночам, никем не тревожимый, и со дня на день ожидал последнего «вызова» в следовательскую для сообщения мне окончательного тетушкиного решения. Я жестоко ошибался: подлинное юбилейное чествование мое только еще начиналось.

Ровно через три месяца после начала юбилейных торжеств, 2 мая, часов в восемь вечера, меня наконец-то пригласили в следовательскую, где сообщили, однако, совсем не то, что я предполагал: высшими инстанциями признано необходимым отправить меня в Москву; поезд отходит через полтора часа, надо спешно собраться. Вернувшись в камеру, я «спешно собрался», споспешествуемый в этом корпусным надзирателем, производившим внимательный осмотр всех укладываемых вещей. Затем меня повели с разными процедурами пропусков; во дворе ДПЗ ждал меня «черный ворон», в котором сидели уже два молодых человека, один в форме, другой в штатском, как оказалось — оба следователи. Им поручено было доставить меня в Москву. Железная дверь захлопнулась, ворон каркнул — и partie de plaisir[149] в Москву началась[150].

Очень странно было сразу после тихой камеры очутиться на шумном вокзале, «свободно» идти рядом со своими двумя спутниками, потом сидеть вместе с ними в мягком купе, стоять в коридоре вагона, смотреть в окно, сталкиваться с десятками проходивших людей. Молодые люди (военный — с «ромбом» на воротнике) были, как водится, очень любезными, занимали меня разговорами о литературе, уложили спать на верхнее место, а сами вдвоем улеглись внизу, — купе было двухместное. Очень странно было утром в Москве сесть вместе с ними в трамвай и «свободно» ехать до Лубянской площади, где высится громадина бывшего страхового общества «Россия», ныне являющаяся всероссийским центром ГПУ. В

боковой подъезд этого здания ввели меня мои спутники и вручили комендатуре. Было 11 часов утра 3 мая; начиналась московская часть юбилейных торжеств.

Началась она, конечно, с анкеты, а потом и с личного обыска. Тщательнейше осмотрены были все вещи, из которых тут же конфискованы такие опасные орудия и оружия, как золотое пенсне и карманный гребешок. А затем — знакомая процедура: «Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь спиной! нагнитесь!» — и так далее, вплоть до многоточия и до реминисценций из Аристофана. Снова припомнился «академик Платонов».

По совершении этого обряда (нечто вроде обряда «крещения» в теткиной религии) некий нижний чин повел меня через двор в помещение «для прибывающих» и сдал с рук на руки дежурному надзирателю; тот немедленно ввел меня в первом же этаже в камеру № 14. Она была без окон, с электрической лампочкой у потолка, с обычным «глазком» в двери; вся меблировка этой камеры (размера четыре на пять шагов) состояла из двух небольших колченогих железных кроватей, с досками вместо матрасов; в углу металлическая «параша». Народонаселения в этой камере не было, и я довольно долго пребывал в ней один; но к середине дня камера мало-помалу заполнилась, и к вечеру в ней было уже шесть человек, тесно сидевших по трое на каждой из застланных досками кроватей. Все пять моих соседей были только что привезены из какой-то провинциальной тюрьмы, куда они попали по обвинению в колхозном «вредительстве»; это были заведующий хозяйством колхоза, бухгалтер, агроном, кооператор и «животновод»: не мои ли ученики, связанные с практическим звеном организационной группировки народничества? Достаточно было взглянуть на эти перепуганные лица, чтобы сразу убедиться в полной идеологической невинности их обладателей.

В середине дня был сервирован обед — похлебка и каша; часов в восемь-девять вечера загремели соседние двери, открылась и наша; нижний чин прокричал: «В баню собирайся!» В баню, на том же дворе, повели сразу человек двадцать; бросилось в глаза, что среди этих двух десятков не было ни одного пожилого человека. Пока мы стояли под горячими душами, все наше белье и платье отправлено было в дезинфекцию и ко времени одевания вернулось горячим и пропахшим какими-то неблаговонными парами. Баня была жаркая; когда я оделся — я был уже в седьмом поту. Нас повели обратно, но меня ввели не в прежнюю камеру, а наи-

скось от нее открыли дверь в камеру № 4. Я вошел и с любопытством огляделся.

Это была сравнительно довольно большая комната неправильной формы, шагов по десяти в длину и ширину; против двери — большое и настежь открытое окно, забранное решеткой и металлическим щитом. Единственная мебель — «параша» в углу; ни кроватей, ни нар, ни стола, ни табуреток, — только стены, потолок и пол. Но на полу вдоль стен тесно жались тела двух десятков людей, лежавших на подостланных под себя пальто. Ни подушек, ни вещей. Один я, с вещами и одеялом под мышкой, выделялся своим буржуазным имуществом среди этой беспризорной толпы. Помолчали.

— Ну что ж? Выбирайте себе место и ложитесь, — посоветовал мне чей-то голос.

Это легче было сказать, чем исполнить. Люди лежали вповалку вдоль стен, опираясь на стены головами; свободных мест не было. Впрочем, было два: одно — рядом с протекавшей «парашей» в углу, другое — под самым окном, откуда попархивали, несмотря на 3 мая, снежинки и дул морозный ветер. Я выбрал это второе место под окном, хотя был еще весь в поту после бани и хотя чувствовал надвигающуюся лихорадку. Но что было делать? Не расстилать же одеяло около «параши» и ее ручейков? Я положил свои вещи под окном и сел на них среди порхающих снежинок; как всегда — иронически подумалось: как бы почувствовал себя «академик Платонов» при столь явных знаках «глубокого уважения»?

Не знаю, кончилась ли бы для меня эта ночь воспалением легких или нет, но тут произошло событие, сразу предоставившее мне лучшее место в камере. Один из лежавших на полу спросил меня голосом довольно безнадежным, точно заранее ожидая отрицательного ответа: «А что, не найдется ли у вас при себе папирос? Мы здесь уже второй день не курили». Папирос у меня не было, но зато в вещах лежал довольно большой — фунтовый — мешочек с табаком; ни табак, ни трубка не подвергались конфискации при обыске. Когда выяснилось, что я охотно поделюсь табаком, все вскочили и окружили меня; в камере нашелся и староста, который сейчас же приступил к «организованной» дележке. Я отсыпал две трети мешочка, и «староста» стал делить спичечной коробкой табак между всеми желающими. Желающими оказались все, — все курили, а кто и не курил — закурил в тюрьме. Через минуту камера наполнилась клубами дыма, а «староста» тут же предложил улечься рядом с ним, в противопо-

ложном углу камеры, одинаково далеком и от «параши», и от окна. Он и сосед его немного потеснились, и я разостлал свое одеяло в «теплом» углу камеры. Так мешочек табака спас меня от вероятного воспаления легких.

Мы улеглись и курили, и тем временем «староста» рассказывал мне, новичку, что это за камера и кто это за населяющие ее люди. Эта камера и соседние с нею, весь этаж — «распределитель» всех вновь арестованных и заключенных в сей Лубянский изолятор (так называемая Лубянская «внутренняя тюрьма» при ГПУ); таким же «распределителем» является он и для всех других тюрем Москвы. Все арестованные, пройдя через баню, ждут в этих камерах решения своей участи — куда их направят дальше. Сидят в этой распределительной камере разное время, кто сутки, а кто и неделю; некоторых отсюда вызывают и на допросы, чтобы выяснить, куда «распределить» их далее. Каждый вечер, часов в одиннадцать, приезжает «железный ворон» и развозит свою добычу по разным тюрьмам Москвы. Как раз во время этого рассказа под окном каркнул прилетевший «ворон», — и через несколько минут из нашей камеры было вызвано пять человек. «Ворон» снова каркнул, — увез добычу. Камера немного освободилась, но на следующее же утро снова стала заполняться вновь прибывающими. Мне рассказали, что в «горячее» время года, осенью и зимою, в эту камеру набивается по много десятков человек, и тогда приходится не только занимать вповалку всю площадь пола, но и лежать лишь поочередно.

В этой камере я пробыл только сутки — до ночи 4 мая, когда прилетевший «железный ворон» унес и меня с собою. Но если бы я вздумал подробно описать эти сутки, понадобилась бы не одна глава; и на этот раз не для описания быта, а для рассказа о людях. Быт — обычный, с тем лишь московским ухудшением, что в камере нет уборной, а стоит только «параша», предназначенная для малых дел; все же дела высшего порядка должны свершаться дважды в день — в 9 часов утра и в 9 часов вечера. А если ты не умеешь и не можешь соразмерить отправлений своего организма с вращением земли вокруг оси, то это дело твое: справляйся, как знаешь. Как-то справлялся с этим делом «академик Платонов»? Или ему было дозволено, в знак «глубокого уважения» к нему, «ходить на час» по часам собственного организма, а не солнечным?

Вот и все о быте камеры № 4, потому что надо перейти к рассказу о людях, хотя бы самому краткому. И первое: почти все они были взяты не

из дому, а с улицы — и вот почему ни у кого не было с собой вещей. Один — шел на службу и по дороге был остановлен неким штатским с предложением «пожаловать» куда надобно; другой — возвращался со службы и был арестован у ворот собственного дома; третьего арестовали на бульваре, четвертого — при выходе из магазина, и так далее, и так далее. Общим во всех случаях было только одно: дома ничего не знали об их судьбе, — ушел человек и пропал. «Это тебе не Англия!» — как сказано у Чехова[151].

Столь же разнообразны были и причины, по которым люди эти очутились в одной камере; за день я наслушался рассказов, которых хватило бы на том. Вот сосед мой, технический директор одного из московских заводов. С неделю тому назад шел он с одним своим знакомым, видным инженером, по Красной площади. У инженера, на днях только, бессмысленно погиб единственный и уже взрослый сын; в гибели этой инженер обвинял советскую власть и, глядя на Кремль, сказал: «Взорвать бы все это одной бомбой». Технический директор промолчал, уважая горесть отца и понимая, что это говорит она, а не он. На следующее утро, когда директор отправлялся на завод, некий штатский, поджидавший его у подъезда дома, предложил директору несколько изменить маршрут — привел его на Лубянку. Вот уже шестой день сидит он теперь в камере № 4, спит на летнем пальтеце, накрываясь полой его и опираясь головой о стену вместо подушки; каждый день его вызывают на короткий допрос — по делу о заговоре, имевшем целью взрыв Кремля, причем сообщают, что инженер «уже во всем сознался». К делу привлечен еще целый ряд лиц, общих их с инженером знакомых.

Сосед мой с другой стороны — летчик в военной форме, учащийся в московской авиационной школе, юноша лет двадцати; отец его, польский еврей, эмигрировавший из Польши ввиду своих коммунистических убеждений, ныне со всей семьей живет в Москве, получая персональную «политпенсию». Юноша попал на Лубянку прямо из школы по весьма удивительной причине: его обвиняют в том, что он развращал своих товарищей антисемитскими анекдотами. «Вы только подумайте: я, еврей, буду рассказывать глупые анекдоты о самом себе!» — плакался он горько. Фамилия его была — Левитан.

Рядом с ним лежал человек, попавший сюда, как он говорил, «за птицу». Несколько дней тому назад, проходя по улице со своим знакомым, он сказал: «А вот черный ворон летит». Некий штатский, услышав

эти слова, предложил ему немедленно пожаловать на Лубянку. На допрос его еще не вызывали.

Припоминаю в порядке «живой очереди» лежащих: следующим был насмерть перепуганный «советский служащий», вышедший 1 мая погулять по бульварам вместе с женой; дома они оставили двух маленьких детей под надзором соседей. Погуляв по Тверскому бульвару, присели они отдохнуть недалеко от памятника Пушкина на незанятой скамейке — и увидали, что в траве лежит револьвер. Муж поднял его, а жена, испугавшись, стала просить, чтобы немедленно же сдать это оружие милиционеру, стоявшему около памятника; встали и пошли. Одновременно с ними подошли к милиционеру двое неких штатских (сколько же их развелось!), и, не внимая уверениям и клятвам мужа и жены, что револьвер только что найден в траве, что они несли отдать его милиционеру, штатские повели их «куда надо», то есть на Лубянку, куда ведут ныне все пути. Жену посадили в женскую камеру, мужа — вот в эту, где он сидит уже третий день в смертельном ужасе от всего происшедшего и в страхе за судьбу своих детей. На допрос его еще не вызывали.

Еще один: здоровеннейший детина, без трех пальцев на правой руке. Был забойщиком в одной из шахт Донбасса, пока не исковеркало руку взрывом гремучей ртути; совсем малограмотный, поступил он тогда на рабфак, с громадными трудами одолел его, стал коммунистом, поступил затем в какой-то институт внешней торговли (названия не помню) и теперь, весной, уже кончал его и имел в виду место по Внешторгу в Улан-Баторе. Внезапно был арестован на улице, сидит здесь уже четвертый день, на допрос вызывали два раза; в первый раз — сообщили, что он обвиняется в «правом уклоне» и в организации соответствующей группировки, во второй раз — дали очную ставку с каким-то его запуганным приятелем, который «уже во всем сознался». Надо было видеть и слышать, с каким недоумением и негодованием рассказывал этот непосредственнейший человек, что его хотят заставить сознаться в том, к чему он не имеет ни малейшего прикосновения. Где-то он теперь? В Улан-Баторе или в столь же дальней ссылке за организацию группы «правых уклонистов»?

Довольно и этих примеров, не перечислять же несколько десятков столь же красочных и столь же простых историй; да к тому же и рассказанные выше я изложил самым сжатым образом, не входя в подробности, иной раз характернейшие. К чему? Ведь я описываю здесь свой собственный юбилей, так что поневоле являюсь центральной фигурой в рассказе; все

остальное — только деталь, только обрамление. А ведь и каждый человек в этом обрамлении — тоже центр, для которого я явился лишь проходящим маревом, мелькнувшей тенью. Но даже и эта мимолетная встреча теней убедительно показывает, какая масса никчемных безумств творится в теткиных апартаментах.

XI

Весь день 4 мая просидел (вернее — пролежал) я в этой камере, все еще не справившись с лихорадкой. Днем меня водили разными ходами и переходами в главное здание, где фотограф увековечил мою небритую физиономию; к слову сказать — и в питерском ДПЗ я был увековечен подобным же образом. Весь остальной день прошел в рассказах вновь прибывающих или возвращающихся с допросов; незаметно подошел и вечер. Меня продолжала трясти лихорадка.

Часов в 11 вечера под окном зашумел обычный «ворон» — это был час его прилета. Звук ключей, стук дверей — открылась дверь и в нашу камеру; дежурный назвал мою фамилию и предложил мне «собираться». Собраться было недолго. Короткое прощание с товарищами по камере — и вот я уже на дворе, у дверцы «ворона». На этот раз внутренность железной птицы была совсем иного устройства, чем той железной коробки, которая везла меня три месяца тому назад из Царского Села в ДПЗ. В этом «вороне» от горла до задней дверцы шел узенький проход-коридорчик, по бокам которого были расположены крошечные клетушечки, изолированные друг от друга; сечением в квадратный аршин и высокие до потолка, они напоминали какие-то вытяжные трубы. В такую железную трубу еле-еле можно было втиснуться, кое-как сжавшись и поместив узел с вещами на колени, после чего дверь клетушечки задвигалась. В соседних клетушечках усаживали таким же образом других путешественников; когда внутренность «ворона» была набита — он каркнул и медленно двинулся. Московская partie de plaisir продолжалась, чтобы привезти меня, как оказалось, к кульминационной точке юбилейных чествований. Местом чествования была Бутырская тюрьма, в просторечии — Бутырка. Здесь когда-то сидел в башне, прикованный цепями к стене, Емельян Пугачев; где же было найти лучшее место для изъявления «глубокого уважения» писателю в год его тридцатилетнего юбилея?

Приехали. Прошло довольно много времени, пока одного за другим — и так, чтобы «один» ничего не знал о «другом», — вывели путешественников из железных клеток; дошла очередь и до меня. Я очутился в большом и светлом помещении, на тюремном жаргоне — «вокзал», где царило оживление, — очевидно, по случаю прибытия очередного вороньего транспорта; но не успел я оглядеться, как передо мной открыли какую-то дверь, потом захлопнули — и я очутился снова в трубе, но на этот раз не железной, а парадно выложенной голубыми кафелями. Два шага в длину, шаг в ширину, узкая скамья, где-то высоко электрическая лампочка. В этой «камере ожидания» я провел, вероятно, часа три. Сидел, курил, дремал. Лихорадило.

Потом началась (в третий раз) обычная процедура крещения по теткиным обрядам. Предложено заполнить анкету; заполнил. Затем скучающий, но добродушный нижний чин приступил к тщательному обыску; на этот раз почему-то была конфискована подушка, — что ни край, то обычай, что ни тюрьма, то свои понятия об опасных предметах. Потом началось (в третий раз!) знакомое: «Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь!» — и так далее, до многоточия включительно. Очевидно, эта сакраментальная формула объединяет собою все тюрьмы СССР, от Финского залива до Золотого Рога; по крайней мере, я убедился через полгода, что in mezzo de camin[152], в новосибирском ДПЗ, эта формула при обряде теткиного крещения повторяется с ритуальной точностью.

Обряд был закончен; я оделся — не без озноба. Нижний чин предложил мне следовать за ним — и вывел меня на широкий внутренний двор Бутырки; в середине двора — здание бывшей церкви. Чуть светало; вероятно, был час четвертый в начале. Мой Вергилий привел меня в какое-то здание, ввел внутрь коридора, открыл какую-то дверь, предложил войти и сказал: «Раздевайтесь!» Как! еще раз?! — но тут я увидел, что нахожусь в «банном номере» с душем и скамьей для раздевания. Я категорически отказался от этого номера юбилейных торжеств, заявив Вергилию, что сутки тому назад я уже прошел через подобную процедуру на Лубянке, что к тому же нездоров и вторично простужаться не желаю. Нижний чин добродушно и сонливо сказал: «Нас это не касается, вы обязаны вымыться, а платье и белье надо пустить в инфекцию» (не я это ради красного словца выдумал, а именно он так и сказал), после чего ушел, захлопнув за собой дверь. Я уселся на скамье и стал ждать; капельки воды из душа гулко падали на каменный пол. Минут через десять явился ниж-

ний медицинский чин — санитар, чтобы взять для «инфекции» мое белье и платье; я объяснил ему, в чем дело, и он, по долгом размышлении, предложил мне пойти на компромисс: дать ему только пальто и верхнее платье, так как «форма требует», чтобы каждый вновь прибывший проходил через дезинфекцию. Я согласился, разделся, дал санитару пальто и платье, а сам остался сидеть в нижнем белье. Не сделал бы этого, если бы заранее знал, что санитар пропадет с моим платьем на добрых полчаса, и если бы сообразил, что в этом «банном номере» совершенно не банная температура. Не прошло и несколько минут, как озноб стал пронимать меня до костей; тогда я, чтобы поднять температуру «номера», решил пустить из душа горячую воду — и понял, почему в «номере» так прохладно: из обоих кранов шла одинаково холодная вода. А на дворе — чуть морозило (это в ночь-то на пятое мая!). Так просидел я, дрожа от холода и озноба, пока не явился санитар с платьем, а через несколько минут за ним и нижний чин, чтобы вести меня по дальнейшим кругам этого ночного пути. Пошли.

Впрочем — путь теперь был уже короткий и вел прямиком к кульминационной точке юбилейных чествований. Вергилий ввел меня в первый этаж красного кирпичного здания с решетками на окнах, сдал с рук на руки дежурному по коридору, а тот, погремев связкой ключей, распахнул дверь в одну из камер и предложил войти. Дверь захлопнулась.

Должен сознаться в своей наивности. Когда я слышал речи следователей о «глубоком уважении» и об «академике Платонове», я воспринимал их иронически, а воспроизвожу их здесь юмористически. Но все же я не думал, что тетушка пожелает до такой степени подчеркнуть свое глубокое уважение ко мне. Я очутился в большой комнате — это была камера № 65— шагов двадцати в длину, шагов пятнадцати в ширину. Белесый свет начинающегося утра позволял лишь в общих чертах обозреть внутреннее убранство помещения. Первое, что бросилось — и не столько в глаза, сколько в нос — это три огромных, многоведерных металлических «параши» около дверей; в противоположном конце камеры — большие окна, с решетками, но без щитов, широко раскрытые, несмотря на холод. Но в камере не было холодно; наоборот, душный зловонный воздух был достаточно нагрет испарениями многих десятков человеческих тел. По стенам шли голые деревянные нары, а на них вповалку, плечом к плечу лежали, спали, стонали, бредили, курили люди в одном белье; общее впечатление от камеры было поэтому в час брезжущего рассвета — белесое; днем все за-

чернело одеждами. Но нар не хватало для обильного народонаселения камеры; поэтому вдоль всего прохода между нар лежали деревянные щиты, сплошь застилающие весь проход, и на этих щитах, тоже плечом к плечу, лежали десятки людей. Этого мало: когда началась утренняя поверка, я увидел, как десятки людей выползают на свет божий из-под нар. Камера эта в царские времена предназначалась для 24 человек; в ночь моего прибытия я был семьдесят вторым. Мне рассказали потом, что в горячее и рабочее время (осень и зима) в камеру эту набивают человек по полтораста и более, так что тогда спать приходится по очереди. И еще узнал я, что внутренний распорядок в камере, демократически установленный самими сидящими, таков: вновь прибывающий получает место ночлега под нарами, затем, по мере передвижения народонаселения (одних — уводят, других — приводят) получает место на щитах и, наконец, став уже старожилом, достигает места на нарах. Такого повышения в чине приходится ждать иной раз днями, а иной раз и неделями.

Войдя в камеру и бегло оглядев ее, я с вещами в руках присел на узенькое местечко в ногах счастливца, спавшего крайним на нарах, в приятном соседстве с бочкообразными «парашами». Среди спящих то и дело вставало белое привидение (рассвет еще не перешел в голубые тона), шагало гулко по нарам через ноги спящих, направляясь к «парашам», на свое место. Каждое из них, оправившись, подходило ко мне и расспрашивало — кто, когда, откуда? Узнав, что из Питера, все показывали на спящего вторым от края нар человека и говорили: «Вот этот старожил — тоже питерский».

Так прошел час, может, и два. За окном уже голубело, потом небосвод осветился первым лучом где-то там из-за зданий всходившего солнца. А я все сидел — и вспоминал, как приходилось бывать раньше в общих камерах. В первый раз — в марте 1901 года, когда мы, студенты, весело провели две недели в общих камерах Пересыльной тюрьмы; к слову сказать — двадцать нас сидело в камере как раз с двадцатью подъемными полотняными койками. Второй раз — в феврале 1919 года, когда я провел с неделю в подвале ВЧК на Лубянке, в то время как А.А. Блок, арестованный по моему же «делу» (о «заговоре левых эсеров», которого не было), сидел на чердаке ВЧК в Петербурге; советская власть и тогда уже умела оказывать «глубокое уважение» русским писателям. Об этих эпизодах я уже рассказал выше; теперь же продолжу рассказ об этом третьем юбилейном, торжественном случае.

Было уже совсем светло (как оказалось — шесть часов утра), когда загремел ключ в замке и распахнулась дверь: вошел «корпусной» для утренней поверки. «Вставать!» Начался шум, отодвигание щитов, вылезание из-под нар; все выстроились на нарах в два ряда, третий — сидел на нарах лицом к проходу. Дежурный, со списком в руках, быстро считал, проходя, выстроившихся; сосчитав, провозгласил: «Семьдесят два!» — и проверил по списку; оказалось — верно. Он ушел, двери захлопнулись, и снова началось залезание под нары и шумная укладка щитов: после поверки разрешалось спать еще до времени раздачи кипятка. Впрочем, многие уже не спали и просто лежали, курили или вполголоса разговаривали. Мне предложил место рядом с собой тот самый «питерский», ныне «старожил» камеры № 65, на которого мне указывали еще ночью. Он потеснился, потеснился и его сосед, лежавший с краю нар; я втиснулся в образовавшееся местечко и лег, положив мешок с вещами под голову, — впрочем, лечь мог только боком, так как лежать на спине было невозможно за недостатком места.

В этой камере я был временным гостем, так что не буду много рассказывать ни о быте, ни о людях; но об этом «питерском» и «старожиле» благодарность обязывает меня сказать хоть несколько слов. Он не только приютил меня рядом с собой, он и весь день продолжал свои заботы обо мне: пошел к «старосте» в «дворянский» угол камеры (около окна; каков тюремный пережиток былого времени: старое название сохранилось до сих пор!), с трудом, но добился разрешения, чтобы мне, «новичку», было дано право спать не под нарами, а на нарах, где он, в согласии с своим соседом, уступил мне «одну доску» (вершка в три шириною), да достал и подарил мне деревянную ложку, которая потом пошла со мной «по тюрьмам и ссылкам» (до сих пор пользуюсь ею и храню ее как память). И мне думается, что все это он делал не потому, что был поражен, узнав мою фамилию, и не потому, что книги мои («в переплетах!») стоят в его библиотеке (шесть тысяч томов!), а просто по доброте сердечной. Отблагодарить его могу только одним — рассказать здесь, хоть вкратце, его историю, — только одну среди десятков других, которые я услышал в этот день.

Инженер-технолог, директор завода «Большевик» в Петербурге, А.И. Михайлов был виноват в большой неосторожности: получая от иностранных фирм разные машины для завода, он не отказывался принимать

от представителей фирм небольшие подарки — часы для дочери, лыжи для сына и еще немногое, что он наивно считал «сущими пустяками»[153]. Арестованный в самом начале этого 1933 года, он узнал, что «пустяки» на языке тетушки именуются «взятками»; и хотя, по глубочайшему своему убеждению, во взятках он был совершенно неповинен, но тут выявилась обычная тетушкина нюансировка терминов, по уже известному нам типу: «был знаком» и «поддерживал связь»; так и тут: «принимал подарки» и «получал взятки». Итак — он признал, что «получал взятки», признал, совершенно этого не признавая. Но этого оказалось мало: он должен был «признаться» и еще в одном, на этот раз «совершенно недопустимом, отвратительном, гнусном», как рассказывал он, волнуясь, — должен был признаться в шпионаже для этих иностранных фирм. Обвинение это предъявлено было в первые же дни допросов; отвергнув его с возмущением, он теперь в течение четырех месяцев выдерживал убедительные теткины доводы, что должен «во всем сознаться». Доводы были простые, но сильные: содержание в «первом корпусе» ДПЗ, без прогулок, без передач, без свиданий, на голодном пайке; потом — перевод в Москву, в Бутырки, в общую камеру с уголовниками; допросы — еженощные, по его подсчету — сто три раза за четыре месяца; обращение следователей — грубое, на «ты», с постоянными фиоритурами истинно русских слов. И все-таки он не мог «сознаться во всем», так как ему не было в чем сознаваться; за последнюю неделю его несколько оставили в покое. «Я им сказал: вы можете меня расстрелять, можете напечатать в газетах, что я сознался в шпионаже, но вы не получите от меня такого показания, написанного моею рукою, так как заявляю вам в сотый раз, что это обвинение — гнусная ложь».

Только день провел я рядом с этим замученным человеком, в голубых глазах которого мелькали искорки душевного надлома; но никогда не забуду, как он рассказывал мне о своей попытке, после тридцатого допроса, повеситься на полотенце в одиночной камере ДПЗ. И еще, и еще, о чем и вспоминать не хочется. Где-то теперь этот человек, уже тогда стоявший на грани психического надлома? Выдержал ли он до конца? Или «во всем признался»? Расстреляли ли за «шпионаж»? Заключен ли в какой-нибудь изолятор? Или в больницу для нервнобольных? Где бы он ни был — только этими строками могу почтить его память, если его уже нет, и поблагодарить его за доброе отношение, если он жив.

XII

Весь день 5 мая провел я в этой камере, о «быте» которой много рассказывать не буду и о «людях» — тоже, чтобы эти мои воспоминания не превратились в сборник Плутарховых биографий. Из бытовых картин особенно врезалась в память одна: открывается дверь, и дежурный гонит людское стадо камеры в уборную для совершения высших физиологических отправлений организма. В уборной — шесть каменных ям; перед каждой выстраивается живая очередь из десятка человек. Как чувствовал себя «академик Платонов», восседая «орлом» (вопреки строгому запретительному указу Петра Великого совершать подобный crimen laesae majestatis[154] «неподобает орлом сидя срати, орел бо есть знак государственный!») перед лицом десятков ожидающих очереди и нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу? Или сам он нетерпеливо переминался в очереди, с вожделением взирая на счастливцев, воочию нарушающих указ Петра Великого?

Стоя в очереди, я спрашивал себя: был ли весь этот эпизод с московской partie de plaisir и с кульминационным пунктом ее, камерой № 65, случайным «недостатком механизма» или намеренным изъявлением «глубокого уважения»? Второе из этих двух предположений представляется мне наиболее правдоподобным, а психология тетушки в этом случае — вполне совпадающей с психологией того плац-майора Достоевского («Записки из Мертвого дома»), который тоже оказывал знаки «глубокого уважения»...

Плац-майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и такой же художник, но каторжный, и «хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю»[155]. Я, конечно, не «раз-Брюллов», но, при всем моем скромном суждении о себе, все же — писатель, тридцать лет проработавший на своем поприще «небесчестно» (как говорили наши предки), переводившийся на иностранные языки[156], попавший в энциклопедические словари; и все это я говорю, приноравливаясь к пониманию тетушки. И если все же я теперь стою в хвосте длинной очереди перед орлом восседающими, подвергаясь насильственным баням, простудам, испытывая издевательские обряды крещения («Разденьтесь! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!»), лежу на голых нарах в общей камере, катаюсь в «железных воронах», дрожу в лихорадке, то все это более чем достаточно говорит в пользу второго

ответа на поставленные выше вопросы, ибо все это как раз и входит в программу юбилейных чествований (по Чехову).

На этом — прощусь с камерой № 65, так как и в действительности я простился с ней в тот же день. Было часов семь вечера, когда дежурный, открыв дверь, провозгласил мою фамилию и прибавил: «Собирайтесь!» Собрался. Нижний чин вывел меня во двор и повел к четырехэтажному зданию (кажется), окна которого были забраны решетками, но без щитов; как вскоре оказалось, это был корпус камер одиночного заключения. Меня ввели в первом этаже в темную узкую камеру с железной кроватью и сказали: «Подождите!» Я уже догадывался, чего ждать. Через некоторое время явился служитель для свершения обычного ритуального обряда (в четвертый раз): «Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!» Лихорадило. Потом — тщательный обыск вещей; на этот раз конфискованы такие зловредные предметы, как трубка и мешочек с табаком: какая, однако, неувязка между дозволенным и воспрещенным даже в стенах одной и той же тюрьмы! Наконец все ритуалы были соблюдены — и меня повели наверх, в третий этаж, по железным лестницам, устланным линолеумом, открыли дверь и предложили войти в предназначенное для меня жилище — камеру № 46. После живолюдного садка, каким была общая камера № 65, эта одиночная камера представляла собою нечто вполне отдохновительное; можно было думать, что кульминационный пункт уже позади.

Комната — не подходит даже называть ее камерой — была довольно большая (девять шагов на шесть), с широким трехстворчатым окном (подоконник — на уровне глаз человека среднего роста); у стены — широкая кровать с соломенным тюфяком и соломенною же подушкой; рядом с кроватью (вы подумайте!) — ночной столик, в котором стоят металлическая миска, кружка и большой чайник. В углу у двери — неизбежная «параша» и половая щетка; пол — деревянный, крашеный (давно не ходил по деревянным полам!). Заходящее солнце откуда-то посылает в камеру отраженный луч. Одним словом — идиллия! Жилплощадь в 24 квадратных метра и абсолютная тишина! Какой москвич не позавидовал бы?

Табуретки не было — значит, можно весь день лежать и сидеть на кровати: какое блаженство для человека с температурой! Чтобы не докучать больше читателям этой температурой, скажу кстати, что она не покидала меня с этих пор в продолжение четырех месяцев, когда, наконец, и сказалась в острой форме, выявив болезнь; но об этом — в своем месте. Те-

перь я мог отдохнуть от смены впечатлений последних трех дней, и отдых этот продолжался целую «пятидневку», которую я пролежал, почти не вставая с кровати. Впрочем — выходил каждый день на прогулку.

Порядок дня в этой образцовой санатории («мертвый час» продолжался там круглые сутки — ни звука, ни стука, ни голоса) был следующий. Часов в семь утра раскрывалась дверь, дежурный впускал «корпусного», совершавшего утренний обход; убедившись, что заключенный никуда за ночь не улетучился, «корпусной» молча поворачивался на каблуках и уходил, дверь захлопывалась. Вскоре она снова открывалась — для передачи дневного пайка хлеба (400 грамм) и чайника с «чаем», какою-то желтоватой жидкостью неизвестного происхождения и неопределенного вкуса. Часа через два — новое появление дежурного; на этот раз он приносит дневную порцию папирос — тринадцать штук — и к ним — тринадцать спичек (ни одной более, ни одной менее); еще часа через два заключенному вручается «завтрак» — два куска пиленого сахара и горячий кусок зажаренной соленой рыбы. Между часом и двумя — обед: всего одно блюдо, но в изобильном количестве, — или очень густой суп, или густая каша (и притом не дэпэзэтовская ужасная «пшенка»). Между тремя и четырьмя часами — получасовая одинокая прогулка во внутреннем квадратном дворике, у подножья Пугачевской башни; пока гуляешь, дежурный сонливо сидит на ступеньках крыльца, поглядывая на большие часы, висящие на стене около башни. Часов в семь — ужин (каша) и «чай»; в девять часов — «Можно ложиться!». Лежать-то можно и целый день, но теперь можно раздеться и улечься на казенную, только что выстиранную и еще сыроватую, но не очень чистую простыню. Часа через четверть снова открывается дверь и входит «корпусной», совершающий вечерний обход; молча входит, быстро поворачивается на каблуках и молча уходит. День закончен. Всю ночь горит электрическая лампочка под потолком, и через каждые десять минут слышно шуршание крышки дверного «глазка» — и так до утра.

Ко всему этому санаторному распорядку надо прибавить еще утреннее и вечернее хождение в уборную, ибо и здесь пищеварение должно было быть точно соразмерено с поворотом земли на 180 градусов вокруг своей оси, и здесь завершалось оно по способу, воспрещенному указом Петра Великого. В углу уборной в каменном полу — отверстие, ведущее в фановую трубу; справа и слева от него нарисованы ступни, чтобы знать, куда ставить свои ноги. Извините за все эти подробности, но ведь через этот

быт прошли буквально миллионы граждан СССР за последние полтора десятка лет; вероятно, пройдут и еще миллионы и миллионы. Неужели же не поучительно сохранить для потомства то базовое и типичное, что когда-нибудь на широком полотне изобразит художник слова? Автомобильные и тракторные заводы, Магнитогорск и Беломорстрой — прекрасно; но у медали этой есть и обратная сторона — тюрьма и ссылки, нисколько не менее типичная. Ее пока еще нельзя изобразить художественно, но можно собрать фактический материал, который в этих ли моих воспоминаниях, в других ли, но дойдет до грядущих поколений.

Пять дней провел я в этом тихом приюте. Тишина, спокойствие и — главное! — комната, по которой можно ходить не только вдоль, но и поперек! И широкое, ничем не загороженное (решетка — не в счет!) окно, в которое вместе с солнцем льется сравнительно чистый воздух окраин Москвы! И небо, которое видно из этого окна (ничего другого, впрочем, и не видно) не узеньким полусерпом, а настоящим четвертесводом! Без всяких шуток — из всех квартир, перемененных мною в 1933-м юбилейном году, отдаю пальму первенства камере № 46 корпуса одиночного заключения в Бутырках; искренне желаю всякому измученному жилплощадными передрягами москвичу попасть хотя бы на месяц в такое бутырское заключение. Пожелание не столь неудобоисполнимое, если проделать для Москвы те подсчеты, которыми я забавлялся в первые часы пребывания своего в ДПЗ.

10 мая я лег уже спать, «корпусной» уже прошел статуей командора, круто повернувшись на каблуках; из открытого окна «повеяла прохлада» — моросил дождик. Я прислушивался к его наводящему сон шелестящему звуку, но не мог заснуть, — плохо спал все эти (и последующие) ночи. Прошел час-другой; вдруг снова распахнулась дверь и снова вошел «корпусной», на этот раз уже не молчаливой статуей командора, а со словами: «Собирайтесь!» Встал, оделся, собрался. Вскоре явился за мной нижний чин (но до чего же они все одинаковы — вялые, скучающие, добродушные! Видно, скучная должность обыскивателей кладет на всех их одинаковый отпечаток) и повел меня прежним путем в прежнюю камеру первого этажа, запер меня в ней, а через полчаса явился для свершения теткиного ритуала. Произвел осмотр всех моих вещей, а потом лениво сказал: «Разденьтесь догола!» И пошло: «Встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!» В пятый раз.

Совершив весь обряд, повел меня сперва двором, потом разными ходами и переходами на «вокзал» — в то большое и светлое помещение, которое является входом в Бутырки и выходом из них; ввел меня в знакомую трубу из голубых кафелей (таких труб — десятки вдоль стен всего помещения) и запер дверь. Я остался один — и просидел в этой голубой трубе часа три-четыре. За дверью царило оживление, откуда-то доносилось громкое карканье, очевидно, многочисленных прибывающих или отбывающих вороньих транспортов. Раздавались голоса и шаги, хлопали двери многочисленных «труб», сипели гудки — ночная жизнь была в полном разгаре. Я сидел — и не мог даже курить, так как трубки у меня не было. Наконец часа через три оживление стало мало-помалу спадать. Тогда открылась дверь и моей «трубы»; мне вернули конфискованные вещи, и какой-то молодой человек с «ромбом» предложил мне следовать за ним и повел во двор к открытому автомобилю. Признаюсь, я предпочел бы, чтобы это был «черный ворон», во внутренности которого сухо: моросивший дождик обратился в косой дождь, кожаное сиденье автомобиля было мокрое, и хотя парусиновый тент защищал от перпендикулярных капель, но не мог уберечь от обильных душей косого дождя. Не проехали мы и десять минут, как пальто мое было — «хоть выжми».

Со мною ехали (вернее, меня везли) четыре человека, среди них — одна женщина; из разговоров между ними я мог понять, что это партия следователей, возвращающихся по домам после рано оконченной ночной работы; то одного, то другого ссаживали у подъезда его дома. Остался, наконец, последний, которому, очевидно, было поручено доставить меня по назначению. Мы мчались по пустым и залитым дождем улицам Москвы; иногда попадался навстречу то такой же автомобиль с теткиными сынами, то «железный ворон», летевший, надо думать, на ночлег, а может быть, перевозивший запоздалую ночную добычу. Плохо разбираясь ночью в сети московских переулков, я не знал, куда мы едем; но вот — Лубянская площадь и громада бывшего страхового общества с символическим названием «Россия». Автомобиль остановился у бокового подъезда, и мой новый Вергилий ввел меня в последний из предначертанных мне московских кругов.

«Пойдешь на восток — придешь с запада»; все пути ведут в Рим. Но для чего же все-таки совершал я это недельное кругомосковское путешествие и, отбыв с Лубянки в ночь на 5 мая, прибыл на Лубянку же в ночь на 11 мая? Для усиления юбилейного чествования в общей камере № 65?

Или по другим причинам? Или просто потому, что «хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю»?

XIII

По узкой боковой лестнице я был введен на пятый этаж и там сдан какому-то нижнему чину — все того же самого ритуального вида; отличался от прежних он только тем, что все время усиленно копал в носу. Чин этот развязал мои вещи и, начиная тщательнейше осматривать их, сказал мне: «Разденьтесь догола!..»

Так как я находился в самой «страшной» из всех эсэсэсэровских тюрем, во «внутреннем лубянском изоляторе», то и обыск был соответственный. Например: среди моих вещей находился полотняный мешочек с сахарным песком; при всех предыдущих пяти обысках его внимательно прощупывали снаружи, здесь же ковыряющий в носу нижний чин развязал мешочек, залез в него грязной лапой и глубокомысленно перетирал пальцами сахарный песок. Пришлось его в то же утро отправить в «парашу». Весь обыск происходил в таком же стиле; среди опасных вещей на этот раз были конфискованы шнурки от ботинок и небольшой мешочек с чаем. А затем — повторился ритуал: «Встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!» В шестой раз. Однако!

Когда я оделся и собрал вещи, меня повели к двери на площадке того же этажа против лифта; страж открыл дверь, и я спустился на десяток ступеней в помещение, устланное линолеумом и дорожками, с рядом дверей направо и налево; в глубине стоял столик «корпусного», над ним на стене — часы, показывающие начало пятого часа. «Корпусной» подошел ко мне и чуть слышно сказал: «Назовите свою фамилию, но только шепотом». Услышав ее, повел меня к крайней у лестницы двери, на которой выше «глазка» («форточки» нет в московских тюрьмах) стояло: № 85. Дверь открылась — и я очутился в «номере».

До сих пор я по два-три часа сиживал в вертикальных трубах, а теперь попал в трубу горизонтальную, так как ни комнатой, ни камерой назвать ее было нельзя. Скорее всего она была похожа на отрезок узенького коридорчика — семь шагов в длину, меньше двух шагов в ширину; да и то из этих двух шагов один был занят узкими и короткими железными кроватями, стоявшими голова к голове вдоль стены. Окно с решеткой,

забранное щитом, над верхним краем которого виднелись еще три этажа восьмиэтажного, выходящего на тот же внутренний двор здания. Под окном, в ногах первой кровати — небольшой столик; между ним и кроватью еле можно протиснуться. На кровати этой спал какой-то человек; вторая кровать, у двери, предназначалась для меня. Под ней стояла металлическая «параша», — в этой образцовой тюрьме пищеварение тоже должно было происходить по солнечным часам. Воздух в этой трубе был соответственный, ибо держать окно открытым не дозволялось, оно было заперто на ключ, и дежурный открывал окно только по утрам.

Промокнув в автомобиле, продрогнув на обыске, я поспешил раздеться и лечь, но заснуть не мог, так как дрожал в ознобе. Не спал и мой сосед, разбуженный моим приходом, и мы, чтобы убить время, стали вполголоса разговаривать. Так как в последней главе я говорил только о «быте», а не о «людях» (ибо сидел в одиночке), то теперь расскажу в двух словах об этом моем соседе, каким он обрисовался после моего почти трехнедельного пребывания с ним в этой душной горизонтальной трубе.

Коммунист с 1919 года; национальность и культура — смешанные: отец — поляк, мать — украинка, образование — в чешских школах. Судя по проскальзывающим намекам — Федор Федорович Б. (фамилию забыл) был едва ли не теткин сын; по крайней мере, имел закадычных друзей среди следователей-гэпэушников и даже арестован был при следующих пикантных обстоятельствах. Во втором часу ночи к нему позвонил по телефону один из закадычных друзей и спросил: «Федя, ты дома? еще не спишь? Ну так мы к тебе на минутку по дороге заедем». И действительно — заехали, произвели обыск, арестовали и привезли вот в эту камеру № 85, где он до сих пор сидел один уже пять месяцев. Обвиняется в организации контрреволюционной «правоуклонистской» группировки «ОРТ», что означает — «Общество русских термидорианцев». Относится к этому обвинению иронически — но это в разговорах со мной; а в беседах со своими бывшими «закадычными друзьями», ныне его допрашивающими, быть может, и «сознается» во всем, что прикажут. Болен туберкулезом. По старой дружбе находится на усиленном пайке: ежедневно получает мясной обед из трех блюд со сладким. Покупает добавочно к пайку масло, молоко, яйца, булки. «Глубокого уважения» к нему, быть может, и не питают, но за здоровьем дружески следят: каждый день в камеру заходит доктор, приносит лекарства, термометр. У этого доктора и я раздобыл несколько аспиринных таблеток. Но без улыбки вспомнил я потом,

8 — 1478

опасно заболев после трех месяцев непрекращавшейся температуры, об этих нежных заботах; доктор, правда, и ко мне приходил, но когда я как-то раз спросил его, нельзя ли мне «выписать» за свой счет хотя бы молоко (про «обед из трех блюд» я даже не упоминал), то он, с недоумением посмотрев на меня, ответил, что «доложит начальству». И доложил — следователям, питавшим ко мне «глубокое уважение». Молока, однако, я так и не получил.

Занятно было поговорить с человеком из другого мира, хотя и поседевшим за пять месяцев в тюрьме, несмотря на свои тридцать с небольшим лет, но глубоко уверенным, что коммунизм именно и должен действовать такими методами, какими действует. Правда, иногда случаются ошибки, — и он тому живой пример; но какая же система гарантирована от ошибок? Когда я иронически заметил, что вот, например, в системе английского судопроизводства, состязательного процесса и суда присяжных возможность таких ошибок сводится на нет, то он резонно ответил мне: «Да, но не можем же мы принять английскую систему!» Свое привилегированное положение даже в тюрьме он считал вполне естественным, а на воле — само собою разумеющимся. С аппетитом рассказывал, как по одному только пайку (а он имел их несколько) получал он три килограмма сливочного масла в месяц. Правда, народ на Украине умирал в это время от голода, — но как быть? Мы управляем страной и за это заслуживаем привилегированного положения, мы — коммунисты вообще и теткины сыны в особенности. Когда я, по-прежнему иронически, поставил ему на вид, что совершенно такими же доводами обосновывали свое право на привилегированное житье правящие классы «старого режима», то он, по-прежнему резонно, возразил: «Да, но это было дело совсем другое».

И это все с ясным челом говорил не какой-нибудь замухрышчатый провинциальный партиец, не какой-нибудь опопугаенный туповатый молокосос, не какой-нибудь высокосортный «спец», партийный прохвост карьеры ради, а «идейный коммунист», человек с европейским образованием и немало ездивший по Европе. Дело в том, что это именно и был типичный европейский мещанин, ставший коммунистом. Но мало ли подобных гибридов произрастает на интернациональном древе коммунизма! И разве громадное большинство коммунистов — не такие же мещане?

Понятно, что после двух-трех попыток мы совсем не разговаривали на темы социально-политические — за отсутствием общего языка. А вот за помощь, оказанную мне в польском языке, я должен помянуть этого

польско-украинско-чешского мещанина добрым словом: благодаря его помощи я за эти недели целиком перечел находившегося в камере «Пана Тадеуша». Польский язык я знал с юности, но перезабыл, а знаменитую поэму Мицкевича, читанную в ранней юности, давно мечтал уже перечитать, теперь, с помощью Б., прочел ее в неделю. Какая изумительная, вечно молодая, сильная и ни с чем не сравнимая вещь! Впрочем, всякое великое произведение искусства — «ни с чем не сравнимо». Читая эту поэму, я забыл о том, где нахожусь, забыл о лихорадке, забыл обо всем на свете. Сто лет пронеслись над этой поэмой, как один год, а неделя чтения ее — как один час.

Кстати — по поводу выражения «забыл, где нахожусь». Интересно, что в Лубянской «внутренней тюрьме» я за три недели слышал эту фразу трижды (а в других узилищах — ни одного раза). В первый раз произошло это как раз во время чтения «Пана Тадеуша»: увлекшись, я стал скандировать знаменитое место про охоту на медведя немного громче, чем полушепотом. Немедленно распахнулась дверь, и дежурный чин величественно (не шепотом) изрек: «Не забывайте, где вы находитесь!» А я-то как раз и забыл о том, где нахожусь, весь уйдя в описание литовского леса. В другой раз сосед мой положил хлеб не на стол, а на окно, что почему-то возбраняется мудрыми «правилами»; снова распахнулась дверь и последовала сакраментальная фраза. В третий раз — сосед мой в середине дня почувствовал вопиющую необходимость пойти в уборную; он постучал в дверь — и явившийся дежурный посоветовал ему потерпеть до вечера. На убеждение, что он никак не может терпеть, что необходимость экстренная, последовал в прежнем величественном тоне прежний ответ: «Не забывайте, где вы находитесь!» И дверь захлопнулась. Надо прибавить, что все три раза дежурные были разные, так что формула эта является, очевидно, не индивидуальным идиотским творчеством, а общелубянским запугивающим ритуалом. Мы потом забавлялись, переводя эту фразу на все известные нам языки (в сумме у Б. и у меня таковых набралось десять, включая сюда и древние), и я проектировал — украсить две стены нашей камеры надписями на десяти языках: на одной стене — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а на другой — «Но не забывайте, где вы находитесь!»

Не буду описывать «быт» этой внутренней Лубянской тюрьмы, так как он ничем не отличался по наружности от быта бутырского изолятора. Совпадение доходило до тринадцати ежедневных папирос, а разница

заключалась в двух блюдах к обеду вместо одного, но гораздо худших. «Мертвое молчание» одинаково царило и тут и там, но в Бутырках оно было легким, объясняющимся незначительностью народонаселения сравнительно с величиною комнат, а на Лубянке оно было спрессовано в узких и душных камерах-трубах и потому являлось искусственно нагнетенным. То же самое и с прогулками. На бутырском дворике под Пугачевской башней гулялось легко, так как над головой было широкое небо; лубянский внутренний двор (тридцать шагов в длину, двадцать в ширину) был, наоборот, дном узкого колодца между стен восьмиэтажных зданий. Так и во всем. Быт был совершенно одинаковый по существу и совершенно различный по тональности.

Прошло уже больше двух недель от начала моей московской partie de plaisir, а мне все еще оставалась совершенно неизвестной причина этой юбилейной увеселительной поездки. Но вот уже в двадцатых числах мая меня впервые вызвали в «следовательскую». Хотя в этот день у меня была особенно высокая температура, но я не без любопытства отправился на «допрос» — и вернулся с мутной головой и в полном недоумении. Действительно, представьте мое удивление, когда в следовательской я нашел — того самого «особо уполномоченного» Бузникова, который и производил у меня обыск в Детском Селе, и беседовал со мною в ДПЗ. Неужели стоило и мне и ему ехать за шестьсот верст для продолжения разговоров? Столь же удивил меня и самый «допрос»: он был точным повторением одного из питерских, на тему — с кем из социалистов-революционеров «поддерживал связь»? Несмотря на лихорадочный туман в голове, я все же обратил внимание на одну фразу, написанную Бузниковым в проекте протокола: «Моя группа, которую я в предыдущих показаниях именовал идейно-организационной...» Я тут же заявил ему, что ни в одном из предыдущих протоколов я не мог подписать ничего подобного, и особенно подчеркнул это тут же в протоколе «Б». Неужели же вся поездка в Москву имела единственной целью ссылку на петербургские протоколы, которые я мог забыть (для того и московские мытарства) и которых-де они не имеют возможности здесь предъявить? Неужели же все лубянско-бутырско-лубянские переезды и юбилейные чествования имели единственной целью «вышибить из памяти» точные формулировки питерских протоколов? Удивил меня и тот кропотливый пот, с которым следователь составлял этот (шестой) протокол: марал, чиркал, перечеркивал, пыхтел, отдувался — и в конце кон-

цов попросил меня перебелить этот протокол «А»[157]. Все это было очень удивительно. А впрочем, удивительно ли?

Еще более был, однако, удивлен, когда дней через пять меня вызвали на второй (и последний) московский допрос, — и на этот раз я увидел перед собою следователя Лазаря Когана, того самого, который вместе с Бузниковым вел мои допросы в Петербурге. Седьмой протокол был двойником шестого во всех подробностях содержания и составления; жалею, однако, что мутная голова моя не удержала в памяти никаких подробностей[158]. Помню только, что по окончании ночного разговора следователь любезно сообщил мне, что теперь все московские дела кончены и что на днях меня отправят — обратно в ДПЗ!

Конечно, Чехов прав, и всякий юбилей — это издевательство; но я еще раз каюсь в своей наивности, заявляя: все же я никак не думал, чтобы издевательство по отношению к справляющему тридцатилетний юбилей писателю могло зайти так далеко. Как! Везти специально в Москву, упарить в жаркой бане, простудить на голом полу «распределительной камеры» Лубянской тюрьмы, катать в «черных воронах», швырнуть к трем «парашам» в общую камеру под нары, дать отдых дней на пять в одиночке Бутырок, снова вернуть (под проливным дождем) на Лубянку, продержать в узкой трубе-коробке внутренней тюрьмы три недели, потом снова отвезти в питерский ДПЗ — и все только для того, чтобы те же самые питерские теткины сыны вели со мною те же самые разговоры, но лишь в московских тетушкиных апартаментах! И все это — при «глубоком уважении»! Можете же представить себе, что они вытворяют без «глубокого уважения»! И как же, черт побери, обстояло дело с «академиком Платоновым» или с иным каким «раз-Брюлловым»?

XIV

В десять часов вечера 29 мая мы по молчаливому сигналу (трижды тухнет электрическая лампочка, горящая здесь всю ночь) улеглись спать; часа через два неожиданно открылась дверь и дежурный кратко прошептал: «Одевайтесь!» Так как он не сказал «Собирайтесь!», то можно было думать, что это просто приглашение на новый допрос; но во «внутренней тюрьме» самые простые действия облекаются покровом таинственности и неожиданности: оно выходит хотя и глупо, но торжественно и впечатляюще. Меня повели — но не на допрос, а в комнату личного обыска; туда

же вскоре принес дежурный и собранные им в камере мои вещи. Затем — знакомый обряд: тщательнейший обыск, перетряхивание всех вещей, перещупывание всех съестных припасов; затем — как вы уже угадали: «Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!» В седьмой раз.

Меня повели вниз, во дворе ждал открытый автомобиль; уселись четверо: я, «спецконвой» из одного начальственного и одного нижнего чина и московский сопроводитель, глава экскурсии. Хорошо было проехаться в звездную ночь по ярко освещенным улицам Москвы и подышать свежим воздухом после трехнедельной спертой атмосферы трубы-коробки. На вокзале экскурсовод вручил билеты моему конвою и усадил нас в купе «жесткого» вагона; поезд отходил в половине первого ночи. Московская partie de plaisir окончилась.

Утром в Петербурге, на перроне, юбиляра поджидала делегация: некий штатский и некий военный «ромб». На площади ждал открытый автомобиль; штатский и «спецконвой» исчезли, а «ромб» уселся рядом со мной, и мы помчались по солнечному Невскому, по Литейной, завернули на Шпалерную, въехали во двор ДПЗ, поднялись в комендатуру — и сказка про белого бычка началась. Анкета. Обыск.

«Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь! покажите! поднимите!» В восьмой раз. Потом, без всякой «камеры ожидания», меня сразу повели в святая святых — на этот раз по паутинно-железным галерейкам в третий этаж, в камеру № 114; она была пустая; дверь закрылась, и я остался в одиночестве. Так 30 мая я вернулся на старое пепелище.

Теперь можно и сократить описание юбилейных чествований, и не потому, чтобы они пошли более быстрым темпом, а по противоположной причине: ближайшие три с половиной месяца протекли решительно без всяких событий и все чествование заключалось в «строгой изоляции». Через три дня после вторичного прибытия в ДПЗ я был приглашен в «следовательскую», где неизвестное лицо предложило мне к подписи бумажку о том, что мне предъявлено обвинение по делу об «идейно-организационном центре народничества»; лицо сообщило мне, что «дело уже решено». И затем в течение более трех месяцев — полное спокойствие, ни вызовов, ни допросов; тихая и регулярная жизнь. В той же бумажке стояло, что «мерою пресечения» (чего?!) избрано «дальнейшее содержание в одиночном заключении»; в этом бессмысленном «заключении» теперь, конечно, и «заключалось» юбилейное чествование.

Я бы мог, к удовольствию будущего бытописателя и историка, еще страницы и страницы заполнить рассказами о дэпэзэтовском быте — но довольно; всего не упишешь. Разве только вскользь упомянуть еще, как обрадовался я, взглянув в угол камеры и узрев уборную и рядом с ней водопроводный кран. «О, радость свободы, — не есть, или есть, испражняться, иль не испражняться, пред блещущими писсуарами!» (Андрей Белый. «Маски»)[159]. И потом — как приятно было, снова получив книги из библиотеки, на каждой из книг увидеть вежливо-убедительный и слегка многословный дэпэзэтовский штамп (заучил наизусть), очень добродушно поучающий:

Берегите книгу, не покрывайте ею
котелков, не вырывайте листов, не
делайте надписей. Портя книгу, вы
лишаете других заключенных воз
можности ее прочесть и своих то
варищей по камере оставляете без книг.
— В случае порчи книги камера
лишается права пользоваться
книгами библиотеки ДПЗ.

Какая разница со штампом Лубянской «внутренней тюрьмы», в котором тот же смысл вложен в фельдфебельски-грубое и столь же безграмотно-краткое приказание:

Воспрещается —
делать на книгах надписи, по-
метки и вырывать листы, за что
будут лишаться чтения вплоть
до наказания.

И если уж дело пошло о надписях, то как умилительно было вновь иметь возможность курить трубку и читать на ленинградских спичечных коробках увеселительное сообщение: «По стандарту в коробке не менее 52 спичек, каждая спичка зажигается и горит (вот это — достижение так достижение!). Намазка на коробке обеспечивает зажигание 52 спичек». Конечно, спичек никогда не бывает 52, а всегда меньше (сколько раз считал!), треть из них не зажигается и «намазки» не хватает и на половину спичек. Ну кому придет в голову, сидя за письменным столом, считать или обратить внимание на эту идиотскую надпись! А в тиши одиночки внимание обостряется и всякая мелочь становится интересной. Но надо

тут же прибавить, что в тюремном быту спички — далеко не «мелочь», и нет ничего удивительного в том, что их сплошь да рядом приходится считать и пересчитывать. Бывало так: мешочек с табаком — на полке, трубка — в кармане, а спички все вышли, и тогда днями ожидаешь вожделенного часа появления спичек, стараясь забыть про табак и трубку и разыгрывая в лицах басню Крылова «Лисица и виноград».

Или вот: кто «на воле» будет часами следить за перемещением по стене солнечного луча? Но я вспоминаю, с какой радостью мы с «графом» увидели в конце марта или начале апреля первый солнечный луч, тонким мечом упавший на стену нашей темной и сырой камеры нижнего этажа. Как тщательно «граф» отмечал каждый день на стене все более глубокое проникновение этого меча, дошедшего наконец и до двери! Каким событием бывала баня (раз в десятидневку), парикмахер (раз в месяц), передачи (раз в неделю); о свиданиях уж и не говорю. Правда, разговоры на свиданиях были строго ограничены по своему содержанию и напоминали в этом отношении детскую игру: «Барыня прислала сто рублей; что хотите, то купите, «да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупайте, не смейтесь и не вздыхайте». Но все-таки хоть просто увидеть дорогое лицо раза два-три в месяц!

Так вот и сидел я с 30 мая в ненарушимом спокойствии и в полнейшем одиночестве. Впрочем, его ежедневно нарушали мыши, водящиеся в ДПЗ изобильно и проникающие по фановым трубам решительно во все этажи. «Граф» до жути боялся мышей и, подходя по личным делам к уборной, всегда предварительно мяукал, чтобы напугать возможного посетителя. Пребывая теперь в одиночестве, я не без интереса наблюдал за этими ежедневными юбилейными поздравителями. Булькнет вода в уборной — и через минуту осторожно высовывается маленькая мордочка, поводя ушами и глазами; потом гость тихонько спускается на пол и начинает принюхиваться — в углу вкусно пахнет нарочно положенный туда кусочек колбасы. Такое посещение продолжалось иногда и час, и два; тихо сидишь, читая книгу и искоса поглядывая на гостя.

Развлекали и дежурные, сменяющиеся через каждые восемь часов. В Лубянской «внутренней тюрьме» это были вымуштрованные и идиотсковеличественные истуканы («Не забывайте, где вы находитесь!»); здесь, в ДПЗ, это были большею частью простые парни, еще не утратившие человеческого образа. Я очень жалел их — впрочем, как и московских: ведь и они, подобно мне, заключены в тюрьму. Но разница в том, что я от-

сюда выйду, а они, несчастные, приговорены к бессрочному тюремному заключению — правда, с правом ежедневного выхода из тюрьмы.

Все эти развлечения и удовольствия занимали собою, конечно, весьма незначительную часть дня; все остальное время я читал, пополняя свое литературное образование. Я неверно сказал выше, что отказался от всяких льгот, любезно предложенных мне следователями, как и «академику Платонову»: одной льготой я все-таки воспользовался, потому что ею пользовались и другие (тот же Д.М. Пинес, например). Это было право выписывать книги из тюремной библиотеки вне очереди и в неограниченном количестве; и право это я широко использовал — на моем столе стояло в два этажа иной раз свыше пятидесяти книг. Библиотека ДПЗ, когда-то славившаяся, теперь, после ряда «чисток», представляет собою нечто весьма жалкое; но, к счастью, «чистка» не коснулась иностранного отдела, и я мог перечитать в подлинниках всех Rougon-Maccart'ов[160] (первый раз в жизни подряд и на французском языке), всего Флобера, почти всего Гюго, еще раз «Пана Тадеуша», а заодно и всего Мицкевича; толстый том черновиков, вариантов и перворедакций «Фауста»; ряд позднейших писателей, вплоть до Метерлинка (дальше в библиотеке шел зияющий провал). Из русских перечитал — в который раз? — всего Толстого и Достоевского, — когда-то пролетарская литература доползет до их колен; с разноречивыми чувствами перечел и бедного, забытого Л.Н. Андреева. Прочел и ряд только что вышедших книг — вплоть до «Поднятой целины» Шолохова, — чаще всего серость и второстепенность; прочел и изумительные «Маски» Андрея Белого, года за два-три перед тем уже прослушанные мною в столь же изумительном чтении самого автора. Мог ли я подумать, что как раз в эти дни (15 мая 1933 года) в далеком Коктебеле его постиг первый мозговой удар и что через полгода второй и третий прервут жизнь величайшего писателя нашего времени!

Однако и я чувствовал себя довольно плохо; полугодовое пребывание в сырых и темных камерах ДПЗ, московская partie de plaisir, наградившая меня упорной температурой, — все это мало-помалу сказывалось острее и острее. Мне не повезло с камерами; сначала это была камера № 7 в углу первого этажа восточной стены, темная и сырая. Затем, после очаровательной московской поездки — более приемлемая камера № 114 в третьем этаже, но в ней я пробыл недолго, всего три недели — до 20 июня, когда был переведен этажом выше в камеру № 163, где и провел до 9 сентября; в этой самой камере я провел несколько часов в 1919 году! Эта

последняя камера, находящаяся на самом стыке восточной и северной стен, освещалась скудно; солнце проникало в нее по утрам только на час. В жаркое лето это было бы еще не так плохо, но лето 1933 года выдалось прохладное, и камера моя оказалась весьма сырой; я мог судить по всегда мокрой соли, стоявшей у меня на полке в коробочке. Все это, а также res omnes quibusdam aliae[161], которые необходимо сюда прибавить, привело к тому, что температура моя не поддавалась никаким аспиринным таблеткам, которыми снабжал меня доктор, обходивший камеры раз в неделю.

Маленькое, но небезынтересное отступление — о причинах моего перевода в эту последнюю камеру. Объяснялся он тем, что все камеры третьего этажа, где я был раньше, ремонтировались и стояли теперь с настежь распахнутыми дверьми; да и не только в третьем этаже можно было увидеть теперь эти необычно раскрытые двери. ДПЗ — опустел; прошло лето, следователи разъехались по курортам отдохнуть от трудов праведных; по ночам уже не слышно было звона ключей и дверных выстрелов. Удивительное дело, как от времени года зависит кривая преступности в СССР! Осенью и зимой — преступники кишат, тюрьмы задыхаются от их количества, камеры набиты до отказа, теткины сыны сбиваются с ног, «железные вороны» без устали летают, все ночи напролет — допросы. Но вот Земля совершила половину своего оборота вокруг Солнца, зазеленели листочки — и сердца не открытых еще злоумышленников смягчились: весною и летом весьма мало новых гостей принимает ДПЗ и прочие узилища — очевидно, потому, что и новых преступлений очень мало. Осенние и зимние сидельцы понемногу рассылаются в разные стороны; ДПЗ пустеет и начинает чиститься и приводить себя в порядок, готовясь к осеннему и зимнему приему обильного числа новых злоумышленников. Ибо когда Земля завершит вторую половину своего годового пути, когда снова наступит осень и сердца преступников, размягченные теплом, снова закостенеют и закоснеют, — именно тогда (о, провиденциальное совпадение!) вернутся из курортов отдохнувшие теткины сыны, чтобы с новым рвением возобновить годовой круг. Из всего этого астрономически-психологического рассуждения можно сделать целый ряд выводов, но они сами собою понятны, а мое маленькое отступление и без того растянулось. Прибавлю только, что ранние весенние и поздние осенние уловы так и назывались у сидельцев: «весенняя путина» и «осенняя путина».

Итак — с середины июля я почувствовал себя не только недомогающим, но уже серьезно больным; доктор не мог доставить мне никакого облегчения, но предписал «постельный режим» в течение дня. От утренних прогулок я уже давно отказался. Лежал и читал, прекрасно зная, какое течение последует в этой болезни; а почему знал — для рассказа об этом надо вернуться на тридцать лет назад.

Дело было в начале 1901 года; я что-то недомогал всю зиму, а тут подошли «студенческие волнения», в которых принял деятельное участие. 4 марта состоялась демонстрация на площади Казанского собора, откуда нас, несколько сот студентов и курсисток, сперва развели по полицейским участкам, а к ночи согнали в огромный и сырой Конногвардейский манеж. Здесь мы и провели ночь, лязгая зубами от холода, на вязках соломы, милостиво отпущенных нам конногвардейскими офицерами; утром развезли нас по тюрьмам. Обо всем этом я подробно рассказал в первой части настоящей книги. Всего через две недели вышел я из Пересыльной тюрьмы совсем больным, а месяца через два — хлынула горлом кровь. Знаменитый тогда д-р Нечаев (именем его теперь названа бывшая Обуховская больница, которой он издавна заведовал) внимательно выстукал и выслушал меня, а потом, помолчав, сказал: «Запущено; осталось месяца три жизни, если будете по-прежнему жечь свечу с обоих концов; а можно вылечиться, если будете исполнять мои предписания». Предписанный режим был суровый, лекарства, по тогдашнему обычаю, в лошадиных дозах; мне хотелось бы здесь помянуть добрым словом покойного Афанасия Александровича Нечаева, — он вылечил меня, сослав на лето в глухие сосновые леса и прописав свой режим и свои лекарства. Осенью я мог снова вернуться в университет, но подвергнувшись «ссылке» с приходом новой весны, я выбрал местом «ссылки» Крым (о, наивные старые времена!). Потом — три года прожили мы с В.Н. в вековых сосновых лесах Владимирской губернии. Когда после этого я вернулся в Петербург и явился к А.А. Нечаеву, то он, выслушав и выстукав меня, сказал с довольным видом: «Ну, могу поздравить: умрете от какой-нибудь другой болезни». Однако, предосторожности ради, все же рекомендовал поселиться в Царском Селе и шутя прибавил: «Имейте только в виду, что все может начаться сначала, если опять проведете зимнюю ночь в Конногвардейском манеже...»

Прошло больше четверти века — и все было вполне благополучно, вплоть до эпизода с «глубоким уважением» тетушки и до московской увесе-

лительной поездки. Но подумайте, какие бывают повторения! В 1901 году — холодная ночь в сыром манеже, потом недолгая тюрьма, потом месяца через два — кровь горлом; в 1933 году — три месяца сырой тюремной камеры, потом, после жаркой бани, ночь на холодном полу «распределителя» Лубянской тюрьмы; потом опять сырая камера; потом... И добро бы я был профессиональным революционером! А то и в тюрьме-то сидел всего три раза в жизни, да и то на короткие сроки, и вот — не угодно ли!

Кровь горлом пошла у меня 16 августа. Я вызвал доктора, который не пришел (возможно, что и дежурный не пожелал беспокоиться из-за таких пустяков), а сам, вспомнив совет А.А. Нечаева, лег и стал пить глотками крепкий раствор соленой воды. Кровь шла недолго, но обильно. Через два дня пришел при обычном обходе доктор, прописал новые лекарства и подтвердил необходимость «постельного режима». Но — живуч человек! Новые ли лекарства, теплый ли август, но к концу месяца я стал чувствовать себя несколько лучше, а в начале сентября возобновил даже утренние прогулки.

Теперь на прогулках не встречал никого из знакомых, никого из заговорщиков центральной идейно-организационной группы народничества. Позднее я узнал, что еще в июле и августе все они были разосланы кто куда; оставался между зенитом и надиром один я, центр круга; очевидно, от «глубокого уважения» ко мне тетка все еще не могла решить мою участь. А между тем — сентябрь подходил уже к середине. Пришла пора переменить тюрьму на ссылку.

XV

Навсегда прощаясь с ДПЗ, хочу остановиться еще на вершителях наших судеб, товарищах следователях: что это были за фигуры и какая эволюция произошла с ними в ряде долгих лет, от начала большевистской революции и до расцвета большевистской контрреволюции тридцатых годов.

ВЧК вербовала в следователи случайных, с бору да с сосенки, людей; среди них были и малограмотные «студенты» («настоящем удостоверяю»), политические авантюристы, и подлинные бывшие студенты, люди образованные и, вероятно, идейные, и провинциальные актеры, игравшие новую для них роль на подмостках «чрезвычайки», и вообще всякий сбродный элемент, с которым мне пришлось столкнуться в тюрьмах Петербурга и Москвы в 1919 году. Никакого специально юридического образова-

ния люди эти не получали и вели следствие как Бог на душу положит, работа шла ощупью, состав следователей был случайным и текучим.

Когда в первой половине двадцатых годов эти кустарные времена прошли и ВЧК превратилась в ГПУ, дело было поставлено на более твердые основания. Аспиранты на звание следователя проходили некоторые предварительные курсы, в которых их знакомили, однако, отнюдь не с юридическими нормами, но лишь с программами и историей враждебных партий, — разумеется, с большевистской точки зрения. Следователи специализировались: одни из них делались «знатоками» разных течений социал-демократии, другие становились специалистами по социалистам-революционерам, третьи — по анархизму, четвертые — по либеральным группам русской общественности, пятые — по религиозным вопросам. Само собою разумеется, что все эти разнообразные течения и группы признавали одинаково «контрреволюционными» и «мелкобуржуазными»; аспирантов насвистывали с марксистской дудочки, но все же учили разбираться в тех группировках и течениях, судьями которых им предстояло стать. Как-никак, а в этих полугодовых и годовых курсах приходилось много читать, со многими знакомиться, многое запоминать. Могу засвидетельствовать, что оба моих следователя, Бузников и Лазарь Коган, были достаточно насвистаны в области своей специальности и довольно грамотно разбирались — с большевистской точки зрения — в разных течения эсерства. Мало того, имея дело с писателем, со мною, они специально ознакомились и с моими произведениями, худо ли, хорошо ли, но прочли их, и часто щеголяли передо мною разными цитатами из моих же книг, — разумеется, цитатами, наиболее «контрреволюционными», с их точки зрения, то есть антимарксистскими. На первом же допросе, когда протокол был начат словами: «Я — не марксист», — следователь Лазарь Коган со вздохом удовлетворения сказал мне:

— Как приятно иметь дело с вами! С другими часами и днями бьешься-бьешься, чтобы вынудить его признание, что он контрреволюционер, а вы вот сразу признаете, что вы — не марксист...

— А разве «не марксист» и «контрреволюционер» — синонимы? — спросил я.

— Ну разумеется! — ответил он с полным убеждением.

Конечно, кроме «научных» курсов о партийных программах были для аспирантов и практические занятия по ведению допросов; но мы уже достаточно знакомы с этой юрисдикцией маршала Даву и теткиных сынов.

А чтобы не возвращаться потом к типам следователей, скажу здесь и о новой их генерации в «ежовские времена».

Не много времени прошло с 1933 года, когда я сидел под властной рукой ГПУ в петербургском ДПЗ, до года 1937-го, когда мне пришлось под не менее властным НКВД почти на два года засесть в московские тюрьмы, но за это короткое время в следовательском деле произошел настоящий переворот. В «ежовские времена», когда аресты шли десятками и сотнями тысяч, а по всей России и миллионами, прежний состав следователей оказался и количественно и качественно совершенно непригодным для новых широких задач. После расстрела главы ГПУ, Ягоды, громадное большинство прежних его сотрудников разделило с ним его участь, — кто был расстрелян, вроде Лазаря Когана, кто попал в тюрьму, вроде Бузникова. Спешно был набран новый состав «ежовских следователей», чаще всего из комсомольской молодежи старших возрастов; ни о каких специальных курсах не приходилось и думать, надо было спешно оболванить огромное число этих несчастных молодых людей, дать им только краткую подготовку по методу ведения следствий новыми приемами; рассказ об этом еще впереди. В одной Москве число следователей доходило до 3000, как сообщил нам в 1933 году в Бутырской тюрьме один из таких следователей, попавший в качестве обвиняемого в наше тюремное общество. Где уж тут было думать о курсах, об элементарной грамотности! И лейтенант Шепталов, следователь, который вел мое «дело» в 1937—1938 годах, с пренебрежением сказал как-то мне в ответ на мою ссылку на одну из моих книг: «Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контрреволюционный вздор!» Он совершенно не был знаком с книгами писателя, которого обвинял во всех семи смертных писательских и неписательских грехах. Приходилось с сожалением вспоминать о столь недавней эпохе Бузниковых и Лазарей Коганов: те хоть и были такими же мерзавцами, но, по крайней мере, хоть грамотными. Но и то сказать: быть может, безграмотный мерзавец — лучше грамотного, во всяком случае непосредственнее его. А впрочем — может быть, некоторые из них, грамотные и безграмотные, вполне искренне, по убеждению, делали свое грязное дело обмана, лжи и подтасовок. Но, во всяком случае, поколение следователей ГПУ резко отличалось от поколения следователей НКВД эпохи Ежова.

Лазарь Коган, например, был неплохо знаком с русской литературой и оказался собирателем разных литературных материалов; в его собрание

перешло, надо думать, немало рукописей из моего архивного шкапа, начиная с автографов Есенина и Клюева. Допросы он чередовал многоразличными литературными экскурсами; один из его рассказов («Сказочная история») я записал в своей книге «Писательские судьбы»[162]. Как-то раз он принес на допрос показать мне литографированное подпольное издание 1884 года сказок Салтыкова-Щедрина[163], чтобы узнать, большую ли библиографическую редкость представляет собой это издание. А в другой раз положил передо мной действительную редкость — «гордость моего собрания», сказал он, — автограф Пушкина, листок из черновиков «Евгения Онегина». Рассказ о способе получения им этого листка был столь занятным, что хочу воспроизвести его здесь.

— Недавно сидел в ДПЗ один литератор. Просидел он у нас месяца четыре и увидел, что не так страшен черт, как его малюют: он думал, что здесь его будут пытать, колоть иголками, поджаривать на огне, а вместо этого встретил самое корректное отношение. Это его так тронуло, что он решил отблагодарить меня — я вел его дело — и предложил мне вот этот листок. История его была такая: когда-то, в очень юные годы, занимаясь в Харькове у одного присяжного поверенного, большого любителя литературы, он увидел у него этот листок из черновика «Евгения Онегина». Сам страстный поклонник Пушкина, юноша поддался искушению — и похитил у своего принципала драгоценную страничку, прибежал с ней домой и заклеил ее в переплет одной из книг своей библиотеки. Прошло тридцать лет, харьковский принципал давно умер, молодой человек стал почтенным литератором — а листок все еще лежал заклеенным в книжном переплете: рука не поднималась достать его, так стыдно было юношеского своего поступка. И вот теперь литератор этот, чтобы избавиться от старого греха и вместе с тем выразить мне свою благодарность, предложил мне в подарок этот листок. Я разрешил ему написать письмо к жене, чтобы она на первое же свидание принесла такую-то книгу из его библиотеки; на свидании в моем присутствии он подпорол перочинным ножичком крышку переплета, достал этот листок и, подавая его мне, сказал: «Ну, слава Богу, избавился!..»

Прошло несколько лет после этого рассказа следователя Лазаря Когана; проведя три года в ссылке, попал я в начале 1936 года на два месяца в Царское Село в Петербург. Как-то на Невском проспекте встретил я известного пушкиниста, ныне покойного Н.О. Лернера, он незадолго до

меня тоже прошел через обиды теткиного крещения, но сидел в ДПЗ недолго, всего месяца четыре.

— Как это вам удалось, — спросил я его при этой встрече, — так скоро выйти из тетушкиных апартаментов?

Он хитро посмотрел на меня и, подмигнув, сказал:

— Взятку дал! Только не деньгами, а борзым щенком, по-гоголевски!

И не стал далее распространяться, а я и не расспрашивал: он и не подозревал, что я знаю всю его историю и своими глазами видел его борзого щенка...[164]

В заключение этой главки хочу еще немного остановиться не на самих следователях, а на методах их допросов. Приемы эти достаточно ясны уже и из одного моего «дела», но что оно было не единичным — пусть покажет другой типичный пример, который стоит сотни иных, ему подобных.

Одновременно со мной сидел в ДПЗ сын одних наших старых знакомых, кончавший курс студент-технолог; назову его здесь сокращенным именем Гога. Он был арестован в январе 1933 года и посажен в общую камеру ДПЗ; их там было тридцать человек (в том числе и Г.М. Котляров, о котором я упоминал выше). Его обвинили в переходе со шпионскими целями маньчжурской границы; когда изумленный Гога ответил на это, что никогда в своей жизни не переходил даже границ Волги, то следователь сказал: «А вот мы сейчас очной ставкой докажем вам обратное, — и в следовательскую был введен арестант, однокурсник Гоги, по товарищескому прозвищу «Харбинец», так как он приехал с Дальнего Востока, из Харбина. Он сказал Гоге: «Ну зачем же ты запираешься? Ведь мы вместе с тобой переходили маньчжурскую границу!» Гога, по его позднейшему рассказу, сперва остолбенел, а потом пришел в ярость, вскочил, хватил стулом об пол и завопил: «Лжец! Негодяй! Мерзавец!» А следователь, литературно образованный, ограничился лишь ироническим замечанием: «Хоть вы и шпион, но зачем же стулья ломать?»[165] Этой очной ставкой дело было решено; Гога так и не узнал, являлся ли этот «Харбинец» агентом ГПУ или был просто запуган угрозами следователя и показывал все, что тот приказывал. Но как бы то ни было, Гога был признан виновным и приговорен теткиным судом... к трем годам лагеря! Это за шпионаж-то! Вместо расстрела! Самая мягкость этого приговора вскрывала всю подоплеку: нужны были бесплатные квалифицированные работники — и Гога три года проработал на этом канале.

Окончив срок лагерных работ cum eximia laude[166] и выйдя на свободу, получил он от НКВД волчий паспорт, не дававший возможности жить ни в Петербурге, ни в Москве. В таких паспортах, выдававшихся всем нам по окончании срока ссылки или лагеря, в пункте: «На основании каких документов выдан паспорт» — значилось: на основании справки НКВД за номером таким-то. Это и было тем самым волчьим клеймом, по которому нас легко узнавали в любом месте прописки.

Не имея возможности вернуться к семье в Петербург или жить в Москве — а жить и работать где-нибудь надо было, — Гога решил поселиться между Петербургом и Москвой и выбрал себе местом жительства городок Б. Явился в местный НКВД, получил разрешение жить в Б. и даже великодушное предложение работать на местном заводе. Отправился на завод переговорить с «красным директором»; тот был в восторге, узнав, что имеет дело с нужным заводу специалистом, но сразу помрачнел, ознакомившись с паспортом.

— По какому делу были осуждены? — сухо спросил он Гогу, возвращая ему паспорт.

— По делу шпионской дальневосточной организации, — ответил Гога, — я со шпионскими целями переходил границы Маньчжурии.

Лицо красного директора озарилось радостью; он облегченно вздохнул и воскликнул:

— Ах, только-то! А я было думал, что вы троцкист! Пожалуйте, пожалуйте, работа для вас есть!..

Что можно прибавить к этой классической сцене? И «красный директор», и сам следователь, и сам Гога одинаково знали цену юрисдикции теткиных сынов; официальному штампу ГПУ никто не верил. Вот «троцкист» — другое дело, в эти годы их особенно преследовали, а то «шпион», эка важность, подумаешь! Пожалуйте, пожалуйте!

Гога — шпион, я — организационный центр народничества; как ни различны масштабы и направления, но по существу между ними нет никакой разницы: одинаковые следовательские методы, одинаковая юрисдикция маршала Даву. Повидав сотни заключенных, подробно ознакомившись с их «делами», могу сказать уверенно, en connaissance de choses et de causes[167]: быть может, только два дела из сотен (из тысяч!) были не «липовые», не обманные, не выдуманы теткиными сынами; а остальное —

— Остальное — ложь, мечта,
Призрак бледный, пустота, —

как сообщает публике звездочет в конце «Золотого петушка»[168]. Сплошь ложь, сплошная пустота всех следовательских построений — очевидны, но от этого не легче было тем бледным призракам, которые населяли собою советские тюрьмы, концлагеря и изоляторы.

На этом бы можно и закончить рассказ о ДПЗ, о следователях, о следовательских методах, но в заключение хочу нарисовать одну очаровательную концовку, переданную мне тем же Гогой. Когда он в начале 1933 года сидел в общей камере ДПЗ, они там, как и мы в одиночке в это же время, получали газеты и интересовались событиями, бурно развивавшимися тогда в Германии. Особенно прошумел поджог рейхстага и поиски виновных в этом поджоге; вся камера целыми днями только и говорила об этом. Среди заключенных был ломовой извозчик Анюшкин, бородатый, мрачный, безграмотный и молчаливый мужик; в чем его обвиняли, он сам не знал, — следователь, вызывая его на частые и краткие допросы, ограничивался словами: «Ну что, сознаешься наконец?» А в чем надо сознаться — не говорил, обкладывал извозчика отборными извозчичьими словами и хотел довести его до того, чтобы сам Анюшкин первый признался в неведомой вине; совсем замучил мужика такими непонятными допросами. «Уж, пожалуй, была ни была, сознаюсь в чем ни на есть!» — иногда приговаривал он, впадая в отчаяние.

Раз как-то поздно ночью Анюшкина вызвали на допрос; пробыл он на нем недолго и вернулся в камеру мрачнее тучи. Гога не спал и спросил Анюшкина:

— Ну как?

Тот махнул безнадежно рукой и сказал:

— Сознался!

— В чем? Да что ты! Ну и что?

— Следователь по морде вдарил.

— Как! Когда?

— А вот когда я сознался.

— Что такое! Почему?

— А вот потому. Я пришел, он спрашивает: «Ну что, сознаешься наконец?» Я махнул рукой и говорю: «Будь по-вашему, сознаюсь!» — «Ага, — говорит, — давно бы так! Ну, в чем сознаешься?» А я говорю: «Рейштаг поджег!» Тут он кэ-эк вскочит, кэ-эк развернется, да кэ-эк даст мне... И говорит: «Пошел, сукин сын, обратно в камеру! Я тебя в тюрьме сгною!» А я чем виноват? Что ни день, слышу кругом разговоры, ищут виновато-

го, кто рейштаг поджег; дай, думаю, признаюсь, авось, он от меня отстанет. А он меня — по морде...

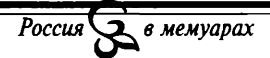
Этот рассказ привел меня в восторг, потому что случай Анюшкина — типический случай. Ведь его поджог рейштага — совершенно то же самое, что шпионаж Гоги, что мой организационный центр; разница лишь в том, что Анюшкин вздумал сознаться в поджоге рейхстага (за что и получил по морде), а мы не могли сознаться в поджоге (за что и получили ссылку или лагерь). Но все же когда меня в Новосибирске или в Саратове спрашивали, за что я попал в ссылку, я неизменно отвечал формулой Анюшкина:

— За то, что рейштаг поджег!

Так ведь оно и было в действительности...

Но, однако, пора попрощаться с ДПЗ и пора оттуда отправляться в ссылку*.

*Эта глава вписана в текст «Юбилея» уже после саратовской ссылки и московских тюрем.



ССЫЛКА*

В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!

«Горе от ума»[169]

I

В тюрьме считаешь не месяцы и недели, а дни. Наступил день моего сидения двести девятнадцатый. Какая бессмысленная трата времени! И сколько же за это время я сделал бы, работая над Салтыковым и Блоком! Впрочем, корректуры пятого тома Блока[170] были как-то в марте доставлены в мою камеру и вернулись в издательство (где были напечатаны с дикими ошибками), оба раза пройдя, конечно, через тщательный просмотр следователей. Вряд ли А.А. Блок мог предугадать, в каком месте злачном, месте спокойном будут правиться корректуры «Двенадцати» и «Скифов», революционных его поэм!

9 сентября, после обеда, я был вызван на свидание; было два часа дня. В разговоре В.Н. сообщила мне, частью прямо, частью обиняками («“да” и “нет” не говорите, черного и белого не покупайте»), что следователи предложили ей приготовить для меня вещи в дорогу — деньги, платье, белье, продукты. Она приготовила все это и перевезла чемодан к знакомым — как раз напротив ДПЗ, — чтобы сразу передать его мне, лишь только будет назначен день отъезда; о нем следователи обещали предупредить ее заранее. Так как свидания всегда происходили в присутствии третьего лица, восседавшего между нами, то никаких других подробностей узнать не пришлось. Я вернулся в камеру, почитал, поужинал и улегся спать с книгой в руке, соблюдая предписанный доктором «постельный режим».

Был седьмой час в начале, когда в камеру вошел «корпусной» и сказал: «Собирайтесь!» Неужели же будут ремонтировать и четвертый этаж? Но нет: «корпусной» стал производить тщательный обыск собираемых мною вещей; значит, дело не в переводе в другую камеру. Наконец вещи были

*Писано в Кашире в 1937 году.

просмотрены и сложены; меня повели по паутинным галерейкам вниз, а потом в комендатуру. Там кроме дежурного коменданта находился еще некий нижний чин (с двумя «шпалами» на воротнике) и двое мордастых конвойных из «войск особого назначения», в полном походном вооружении, с винтовками и сумками. Дежурный сказал мне: «Прочтите и распишитесь». Я прочел и расписался. В бумажке стояло, что имярек высылается в Новосибирск сроком на три года, считая со 2 февраля 1933 года[171]. Дежурный продолжал: «Поедете со спецконвоем; поезд отходит в восемь с половиной часов вечера».

Я очень удивился, хотя пора бы, кажется, было привыкнуть к «глубокому уважению» и «юбилейным чествованиям», и спросил:

— А приготовленные для меня, по предложению самих же следователей, вещи и деньги?

— Надо поторопиться, — невозмутимо ответил дежурный комендант, взглянув на стенные часы.

— Но как же я поеду в Новосибирск без вещей, без еды и без денег? — настаивал я.

— Поезд отходит через час с четвертью, — по-прежнему невозмутимо ответил дежурный, очевидно, глухой от рождения. Тогда я повернулся к «двум шпалам» и повторил ему свои вопросы.

— Мне об этом ничего не известно, — мягко ответил он, — мне поручено доставить вас в Новосибирск, но ничего не сообщено ни о каких деньгах и чемоданах. Впрочем, о продовольствии не беспокойтесь: вот вам приготовлен на дорогу паек на пять дней.

На столе лежало полтора «кирпичика» хлеба, три больших селедки, маленький пакетик с сахарным песком.

— Все это прекрасно, — сказал я, — и, по-видимому, я не умру от голода в дороге; но как быть в Новосибирске — без вещей, без знакомых и без денег?

— Знаете, — столь же мягко ответили «две шпалы», — в самых трудных положениях люди как-нибудь да устраиваются; не пропадете и вы в Новосибирске.

Это было сказано очень добродушно и вполне убедительно, так что я перестал настаивать, поняв, что издевательство с чемоданом и деньгами входит в программу юбилейных торжеств и подстроено заранее «под занавес» — для эффектного отбытия из ДПЗ. Жаль, однако, что я не знаю, столь же эффектно или нет отбывал в свою самарскую ссылку «академик Платонов»?

— Надо поторопиться, — невозмутимо повторил глухой от рождения дежурный комендант.

Меня повели к «черному ворону». Да сбудется реченное в Писании: пока ты был молод, ты сам препоясывался и ходил, куда хотел, а теперь препояшут тебя и повезут «амо же не хощеши»...[172]

На Московском вокзале мы сели в общий жесткий вагон грязного и обдрипанного новосибирского поезда, заняв отделение; у окна сели друг против друга я и «две шпалы», по бокам, к проходу, сели друг против друга мордастые «особоназначенцы», держа винтовки между колен. Какой воинственный эскорт для мирного писателя! Публика, сразу поняв, в чем дело, испуганно косилась, недоумевая, какого это татя или убийцу везут со столь внушительным конвоем? Особенно торжественно выглядело шествие в уборную: арестанта эскортировал конвойный с винтовкой и становился на карауле у открытых дверей уборной; тут же в коридорчике толпились курящие, с диким любопытством созерцая всю эту торжественную процедуру. А что, интересно, с таким же почетом или нет ехал в свою ссылку «академик Платонов»?

Итак, поехали: «прямо, прямо на восток»[173]. Медленно влекся поезд, медленно вертелись мысли. Чудесно описана такая поездка в книге «Золотой рог» М.М. Пришвина[174], только ехал он без спецконвоя и мог разговаривать с пассажирами, я же мог разговаривать только с «двумя шпалами» или смотреть в окно. Никогда не относился я с предубеждением к форме и всегда помнил слова Герцена, что и к жандармскому мундиру надо уметь отнестись как к человеку; а «две шпалы» оказались человеком тихим и скромным, больным и усталым. Полной противоположностью ему были оба конвойных, молодые владимирские парни, вконец развращенные легкой и сытой жизнью; судя по их разговорам — законченные мерзавцы. Как уродует людей жизнь!

Разговаривал с «двумя шпалами» мало, все больше смотрел в окно. Проехали Вологду, подъезжали к Вятке. С интересом смотрел я на проселочные дороги, то и дело пересекавшие железный путь: почти сто лет тому назад по этим дорогам много раз ездил вятский чиновник, ссыльный Салтыков; в первом томе монографии о нем я подробно рассказал об этих его путешествиях, а вот теперь и сам еду в ссылку. Его вез в ссылку жандармский чин на перекладных, а меня везет теткин сын в поезде; почета мне больше — Салтыкова не сопровождали два конвойных с ружьями.

Пермь. Урал. Сибирская равнина. Очень удивляли меня несжатые пшеничные поля; мы проезжали их десятками верст. Потом — сжатые полосы, потом — снова хлеб на корню, давно уже осыпавшийся: ведь было уже 12 сентября! Еще день пути, и еще день (читайте «Золотой рог») — и поезд подошел к широкой и мутной Оби: Новосибирск. Вокзальные часы показывали московское время — два часа дня, но уже вечерело: на местных часах было шесть часов вечера. Пятнадцать лет тому назад я под таким же «спецконвоем» пять дней тащился от Петербурга в Москву; теперь же в пять дней мы доехали от Петербурга до центра Сибири.

Конвой повел меня в вокзальное ГПУ, откуда «две шпалы» позвонили куда следует по телефону, чтобы вызвать автомобиль. Часа через полтора явился грузовик — и я свершил торжественный въезд в столицу Западной Сибири, прямо к зданию тетки; впрочем, не к зданию, а к зданиям, так как в Новосибирске (как и во всех больших городах) учреждение это занимает обширные кварталы. «Две шпалы» сдали меня дежурному коменданту, а тот позвал некого нижнего чина, который сонливо и кратко сказал мне: «Пойдемте!»

Мне очень интересно было — куда он меня поведет? Ведь в Новосибирск я был доставлен на «свободное житье», а краткое «Пойдемте!» очень пахло тюремной камерой. Но что поделаешь: перепояшут и поведут тебя «амо же не хощеши»! Пошли. Нижний чин повел меня через улицу (конечно — «Коммунистическую») к воротам главного и нового большого здания новосибирской тетки, ввел во двор. В глубине двора стояло дряхлое двухэтажное здание с решетками и щитами на окнах; вошли внутрь мимо дежурного, предложившего мне заполнить анкету, и проследовали в какую-то узенькую клетушку. Там нижний чин занялся осмотром моих вещей и конфисковал коробочки с лекарствами; а затем — о, праведные боги! — сонно сказал: «Разденьтесь догола! — Встаньте! — Откройте рот! — Повернитесь спиной! — Нагнитесь! — Покажите задницу! — Повернитесь лицом! — Поднимите...!» В десятый — и последний — раз!

> ...На берег радостно выносит
> Мою ладью девятый вал!
> Хвала вам, девяти Каменам![175]

Я был совершенно потрясен — и не тем, что обряд этот производился надо мной уже в десятый раз (хотя интересно бы знать, сколько же раз «академик Платонов» испытал эти знаки «глубокого уважения»?), а бук-

вально совпадением этой обрядовой формулы с петербургской, лубянской, бутырской! In mezzo del camin между Финским заливом и Золотым Рогом я слышу ту же самую формулу; уверен, что услышал бы ее и во Владивостоке! Я как-то раз спросил Михаила Пришвина, попавшего из-под Москвы во владивостокские края, — что его там сразу больше всего поразило? «А вот что, — отвечал он мне, — я проехал прямо в глухую дебрь, за сотни верст от Владивостока, попал в далекий совхоз, и в избе, где остановился, нашел женщину, горько плакавшую о том, что потеряла заборную книжку. Тогда я сразу понял, что хотя и проехал десять тысяч верст, но от Москвы так и не отъехал». Вот такое же чувство было и у меня, когда я в новосибирском ДПЗ услышал буквальное повторение формулы ДПЗ петербургского.

По совершении обряда нижний чин ввел меня через дверь-решетку в коридор первого этажа, там дежурный распахнул передо мною дверь камеры № 42. В низкой и темной квадратной комнате справа и слева вдоль стен шли подъемные деревянные койки, по десять с каждой стороны; в углу — зловонное ведро без крышки, изображающее собою «парашу»; у окна высокий столик-шкапчик, за которым ужинали три унылых человека, один из них — в ужасающих отрепьях. Это была камера для уголовных; я очутился в ней четвертым. Юбилейное чествование продолжалось и в Новосибирске.

В этой камере я провел почти девять суток, причем на другой же день камера стала заполняться, так что ко времени моего отбытия свободных коек уже не оставалось: наступала осень, подходила «осенняя путина», и потому всяческая преступность в СССР начинала давать усиленные ростки. Быта камеры этой я описывать не буду, он ничем существенным не отличался от быта общей камеры Бутырской тюрьмы; не буду много распространяться и о людях, хотя художник слова собрал бы среди них богатый и красочный разнообразный материал. Был здесь и двадцатилетний беспризорник в лохмотьях, кишевших насекомыми, арестованный за попытку перехода китайской границы. Был здесь и тихий тридцатилетний пахарь из далекой деревни, обвиняемый в распространении фальшивых «червонцев»: ему всучили такой «червонец», а когда сам он пошел с ним за покупкой, то был арестован вместе с женой; сидят уже три месяца, трое детишек в деревне остались без призора. Человек совершенно невинный. Был здесь и нагловатый гэпэушник, обвинявшийся «в преступлениях по должности»; он нисколько не унывал и был уверен, что во вся-

ком концентрационном лагере снова всплывет на командные высоты. Был здесь и доставленный по этапу из Петербурга бывший помощник инспектора милиции по обвинению в бандитизме; красочно рассказывал, как в отделениях милиции избивают арестованных до полусмерти, «да так, чтобы никакого знака на теле не оказалось». Был здесь и рабочий из Минусинска, арестованный за то, что брат его принимает участие в каких-то «черных бандах». Был здесь и бывший красный партизан, ныне служивший в каком-то учреждении; целая группа лиц там «созналась» во вредительстве, а вот его никак не могли уговорить и убедить, что он тоже должен «сознаться». То, что он рассказывал, было до того потрясающим, что не только в Англии, но даже где-нибудь в Сербии немедленно арестовали бы следователей, так ведущих дело.

Но довольно, — всего не расскажешь. Думалось: сколько выросло тюрем по лицу земли родной, сколько миллионов людей через них проходят и сколько же миллионов среди них совершенно ни в чем не повинных людей, если даже я, при ничтожном числе встреч и столкновений в двух общих камерах двух тюрем, встретил десятки невинных, уже месяцами сидевших и ожидавших — кто изолятора, кто концлагеря, кто ссылки, но никто — освобождения.

II

Четвертый день уже пребывал я в этом обществе, но никакой ангел еще не приходил возмутить воду в сей купели Силоамской[176]. Наконец 17 сентября, в третьем часу дня, меня вызвали и повели через двор в главное здание. Там меня вполне любезно принял какой-то чин из «секретно-политического отдела» и сообщил, что я буду выпущен на свободу «через полчаса». Я поинтересовался — что же я буду делать «на свободе», не имея с собой ни денег, ни вещей? Узнав о петербургском юбилейном номере с чемоданом и деньгами, он на минуту задумался, а потом сказал: «Мы дадим вам сейчас два-три адреса ссыльных, которые могут помочь вам устроиться, а также на днях выдадим вам и деньги». Порывшись в каких-то бумагах, он действительно выписал мне три адреса, а затем позвал нижнего чина, который препроводил меня обратно в камеру № 42.

Вернувшись в камеру, я собрал свои вещи и стал ждать. Однако ждать пришлось довольно долго, так как обещанные «полчаса» протянулись ровно пять суток; это был очередной номер юбилейного чествования и «глубо-

кого уважения» тетки. И — если спросить еще и еще раз — как же обстояло дело с «академиком Платоновым»? Его повезли в Самару тоже под конвоем и с винтовками, тоже посадили там в общую камеру с уголовными, тоже держали в ней девять дней? Затем — позвольте спросить: где же здесь «революционная законность»? Мое «дело» — закончено; «приговор» — объявлен; я отправлен на житье в Новосибирск; но на основании какого же нового «дела» я вновь ввержен в новосибирское узилище? по какому праву? по какому закону? На все эти наивные вопросы — только один вразумительный ответ: это тебе не Англия!

Итак — еще пять суток в камере. Мой рассказ о ней был бы, однако, неполон, если бы я обошел молчанием те необозримые колонны поздравителей, которые выползали изо всех щелей с наступлением ночи. Несмотря на мой опыт 1919 года, я и представить себе не мог, какие полчища клопов могут ютиться в щелях между досками нар и какие мириады вшей могут гнездиться в рубищах уголовных сидельцев. Спать по ночам я совершенно не мог: чуть задремлешь, как со всех сторон в тебя впиваются сотни выползших на промысел клопов; а уберечься от батальонов вшей, наползавших и справа и слева, не было никакой возможности. Кстати сказать — именно в это время по Новосибирску (как, впрочем, и по другим российским городам) разгуливал сыпной тиф; случай избавил меня от этого юбилейного поздравителя.

Когда «полчаса» продлились в двести раз больше, чем следовало по астрономическому времени, я решил, что по теткиным часам время движется слишком медленно и что следует подтолкнуть маятник. Утром 22 сентября я вручил дежурному для передачи в «секретно-политический» отдел следующее текстуальное заявление:

«Отправленный в политическую ссылку (а не тюрьму) в Новосибирск и заключённый 14 сентября в камеру для уголовных (№ 42) новосибирского ДПЗ, я имел удовольствие услышать от Вас 17 сего сентября, что незаконное мое заключение является «ошибкой» и что я буду освобожден «через полчаса». Так как с тех пор прошло почти пять суток, то, очевидно, имеются новые и серьезные — хотя и неизвестные мне — причины продолжающегося содержания моего в тюрьме. Настоящим прошу Вас: или поставить меня в известность об этих причинах, или сообщить, когда же истекут указанные Вами полчаса. В случае неполучения ответа в течение сегодняшнего дня вынужден буду избрать самые решительные формы протеста».

В начале десятого часа отправил я это послание, а в 11 часов утра явился дежурный и кратко сообщил: «Собирайте вещи!» И через несколько минут я очутился «на свободе» — на улицах Новосибирска. День же пленения моего был двести тридцать второй. Долго отмывался я, выйдя на свободу!

Здесь заканчивается тюремный календарь и серия юбилейно-тюремных торжеств, так что обо всем дальнейшем можно рассказать вкратце. И чтобы покончить с новосибирской теткой, надо сообщить еще, что мне предложено было явиться к ней через три дня для получения «вида на жительство» и сообщения своего адреса. Когда я явился, то мне было вручено 12 рублей и 50 копеек! Деньги эти я вернул тетке почтовым переводом, когда сам получил денежный перевод от В.Н.; двенадцать с полтиной — это двойной месячный оклад, который имеют право получать все ссыльные. Шесть рублей с четвертаком в месяц — двенадцать копеек золотом, — не шутите!

Итак — я «на свободе». Выход ли из затхлой тюрьмы, солнечный ли новосибирский сентябрь, но в тюрьме осталась моя лихорадка, мучившая меня и в пути, и в уголовной новосибирской камере. Я пошел по трем указанным мне теткой адресам. О первом не буду говорить: это оказался молодой петербургский инженер, заканчивавший в Новосибирске трехлетие своей ссылки и смертельно напуганный вопросом: почему вздумалось тетушке дать мне именно его адрес? Но два других встретили меня истинно дружески и во многом помогли советами и делами; это были — профессор-кооператор В.А. Кильчевский[177] и старый меньшевик (вернее, член польской социалистической партии) И.С. Гвиздор, пребывавший в сибирской ссылке с короткими перерывами с 1903 года — тоже тридцатилетний юбилей! Им обоим этими строками приношу искреннюю мою благодарность.

Об И.С. Гвиздоре следовало бы рассказать подробнее — настолько интересная история. Приговоренный в 1903 году, как член партии ППС, к двенадцатилетней каторге и проведя весь этот срок в кандалах, он за два года до революции вышел на поселение и обосновался на жительство в Барнауле[178]. Революция сделала его городским головой этого города — и в течение ряда революционных лет волны революции то взносили его на свой гребень, то низвергали «в преисподния земли». Приходили «красные» — и сажали его во главе городского управления, приходили «белые» — и сажали его в тюрьму, угрожая расстрелом; такие взлеты и падения пе-

ремежались не один раз. То он инспектировал тюрьму, как стоящий на вершине барнаульской власти, то сам сидел в этой тюрьме — и такая смена происходила не один раз; одни и те же тюремщики уже не знали, как к нему относиться. Он рассказывал такой смешной эпизод из своей жизни в эти годы.

— Пришли «белые» — и в шестой раз попал я в тюрьму. Ничего, сижу, дело привычное. Однако опасно было — уж очень сильно грозились расстрелять на этот раз. Вот как-то тюремный надзиратель мне и говорит: «Товарищ Гвиздор, ну что вам здесь сидеть, еще неровен час и расстреляют; а тут опять придут красные, опять старшим в городе будете». — «Ну что ж, — говорю, — за чем дело стало? Бери ключи и выпускай меня на свободу!» — «Не так-то просто, — говорит, — за воротами ограды часовой стоит, он не наш, того и гляди донесет; ну да мы это дело устроим. Сегодня на вечерней прогулке по двору, когда будем всех вас в тюрьму загонять, вы громко попросите, чтобы мы вас по малому делу еще на минутку на дворе оставили». — «Ну а потом что?» — «А потом сами увидите». Ладно, не стал я расспрашивать, дождался вечерней прогулки и все поихнему сделал. Зима была лютая, снежная, снегу — выше головы. Как остался я один на дворе с четырьмя надзирателями, один из них подскочил ко мне, да как даст под ноги — так я и растянулся на снегу. А двое других схватили меня, один за ноги, другой за голову, раскачали да как перекинут через ограду — высоченную, сажени в полторы. Я в своей тяжелой шубе летел-летел вверх, а потом еще быстрее вниз, прямо в сугроб, точно в сено вкопался. Однако вскочил, смотрю — санки стоят, в них жена моя сидит, лошадь сдерживает. Я — в сани, лошадь рванула, а за частоколом слышу свистки, крики: «Держи, держи, бежал!» Стрелять из револьверов стали, часовой тоже с их примеру неведомо в кого выпалил. Примчались мы на знакомую заимку, я там с месяц и отсиделся; потом пришли «красные» — и снова я городским головой тюрьму инспектирую. Надзиратели рады, кланяются: «Поздравляем, товарищ Гвиздор!» А я им говорю: «Не спасибо, такие-сякие! Только смотрите, чтобы при мне таких штук не было! Знаю я теперь, как из вашей тюрьмы убежать можно!»

Еще до революции женился он на фабричной работнице, ярой большевичке. Но когда у власти в Сибири утвердились большевики, то Гвиздора начали мотать по тюрьмам и ссылкам как бывшего меньшевика, а значит, и контрреволюционера; жена стала после этого ярой антибольше-

вичкой, и если бы записать все ее яркие рассказы о борьбе за мужа с чекистами и гэпэушниками, то тетради бы не хватило. Но так и быть, запишу хоть один ее бесхитростный рассказ.

— Сидели мы в Чимкенте, в ссылке на три года. Поздно вечером я с квартирной хозяйкой доспевший квас по бутылкам разливала, вдруг стук в дверь — с обыском пожаловали! Главный из них развалился в кресле и говорит: «Вот хорошо, кваску попить можно, ночь такая жаркая!» А хозяйка и рада, несет ему на подносе бутылку кваса и стакан. Я подскочила, хвать бутылку — и вдребезги об пол. «Еще чего недоставало, говорю, незваные гости с обыском пришли, да их тут квасом угощать! Пускай воды напьются, и того с них довольно!» Чекист посмотрел на меня, да видит, что я женщина не робкого десятка, и ничего, промолчал, стал в ящиках стола рыться. Вынул цепь, спрашивает мужа: «Это что такое?» А муж говорит: «Это мой революционный орден, я на этой цепи двенадцать лет в каторге сидел». А чекист отвалился на спинку кресла да эдак презрительно: «Ха! ха! ха!» Тут вскипело все во мне, бросилась я к нему, двумя руками за горло схватила и трясу: «Мерзавец, говорю, выродок, над чем смеешься! На колени должен встать пред этой цепью да приложиться к ней! Какой же ты после этого революционер, собачья ты шерсть!» Он вскочил, за револьвер схватился, однако опомнился, присмирел и стал молча после этого обыск вести. Ничего не нашли, ушли, оставили нас в покое. На следующее утро стою в очереди за молоком, и поссорилась за очередь с какой-то гражданкой, шум подняли, народ собрался; смотрю — проходит вчерашний чекист, подошел, спрашивает, в чем дело. Ему объяснили, а он поглядел на меня, признал и говорит той гражданке: «Вы, говорит, гражданка, с этой язвой лучше не связывайтесь, добра вам от этого не будет». И ушел...

После ссылки в Чимкенте И.С. Гвиздор попал (еще раз!) в барнаульскую тюрьму, где просидел два года по обвинению в организации меньшевистской группировки в Барнауле; оттуда попал на три года в ссылку в Семипалатинск, оттуда снова в тюрьму и вот теперь досиживал трехлетний срок ссылки в Новосибирске. В конце сентября 1903 года был арестован и начал свой круг каторги, тюрем и ссылок; поэтому теперь, в конце 1933 года, он праздновал свой тридцатилетний юбилей, — не моему юбилею чета! Устроил вечеринку и пригласил нас — проф. Кильчевского, меня и еще трех новосибирских товарищей ссыльных на «настоящие сибирские пельмени». Если сказать, что на нас семерых было изготовлено, как сооб-

щила его жена, полторы тысячи пельменей и что (это самое удивительное) мы их без остатка съели, то сибирский пир будет обрисован достаточно ярко. Правда, сибирские пельмени — очень маленькие, но все-таки...

Семья Гвиздоров оказывала мне самое дружеское внимание во время всей моей короткой новосибирской ссылки; уехав из Новосибирска, я переписывался с ними и питаю глубокую благодарность к этим добрым и мужественным людям, истинным революционерам по духу. В царстве большевиков место этим людям, конечно, не у власти, а в тюрьме и ссылке.

Но пора закончить рассказ о моей новосибирской ссылке.

Быт моей жизни в Новосибирске был очень красочен, и я юмористически описывал его в письмах к В.Н., но к теме юбилейного чествования имеет отношение разве только одно обстоятельство: я приютился в обывательской семье, относившейся ко мне очень мило, но имевшей возможность предоставить мне только диван (увы, с клопами) в небольшой комнате, где и без того помещались муж с женою и двумя маленькими детьми. Ни о какой работе в таких условиях нечего было и думать.

Три раза в месяц должен был я, как и всякий ссыльный, являться «на регистрацию» (не уехал ли, не сбежал ли). Но мне только трижды пришлось нанести тетушке этот визит: совершенно неожиданно получил я «повестку» от «ППОГПУ Западной Сибири» (первые две буквы означают: «полномочное представительство») с предложением «явиться по делу» 31 октября в означенное «ПП». Явившись, я узнал, что по предписанию из Москвы Новосибирск заменяется мне Саратовом, куда мне и предназначается выехать незамедлительно. Откуда подул такой ветер — не знаю, ибо ни я, ни В.Н. не предпринимали решительно никаких шагов, не возбуждали никаких «ходатайств»[179].

Пришлось прощаться с Новосибирском, что, по правде сказать, я сделал без большого огорчения. На этот раз я ехал — вы подумайте! — без конвоя, свободным гражданином, и даже по бесплатной «литере» ГПУ, так что и контроль, и публика принимали меня за теткиного сына. 9 ноября выехал я из Новосибирска — и снова в окне вагона замелькали бескрайние сибирские степи, теперь уже запорошенные первым снегом (зима была очень поздняя). Из-под снега грустно торчали несжатые колосья пшеничных нив — тысячи и тысячи десятин; за два месяца моей поездки туда и обратно никакого улучшения заметно не было. Я, разумеется, сразу

догадался, что это дело вредительских рук нашей организации, идейным центром которой был я, а периферийной группой практической работы — звено А.И. Байдина. Не могу признаться, чтобы меня охватило раскаяние при виде этого злого дела рук моих, но должен сказать, что, глядя на эту грустную картину, я ясно понял, почему я теперь еду по сибирским степям, а не работаю за своим письменным столом. Предлог, повод и причина моего «дела» выяснились мне с совершенной очевидностью. Однако — сперва закончу свою одиссею.

13 ноября, в 13 часов дня, в вагоне № 13, с плацкартой № 13 (и опять Чехов вспомнился!) прибыл я в Саратов. Город только начал оправляться от ужасов голодного года, сыпного тифа и жуткого лета, когда трупы умерших от голода валялись по всем улицам; саратовцы порассказали мне такое, перед чем наш петербургский голод 1919—1920 годов кажется детской шуткой. Первым юбилейным поздравителем в Саратове явился трамвайный жулик, ловко выудивший из моего кармана кошелек, так что и в Саратове я очутился в новосибирском положении. Но это уже — быт, рассказывать о нем не стоит; повторяю только, что провинциальный быт Симферополя в 1902 году и Саратов через тридцать лет — два сапога пара. Новое — не в быту, а над бытом.

Так попал я «к тетке, в глушь, в Саратов». К тетке явился я в день приезда, получил от нее «вид на жительство». В нем значилось: «Дано адмвысланному (имярек), прикрепленному к месту жительства гор. Саратов. Упомянутый высланный обязан ежемесячной (зачеркнуто и надписано: два раза в месяц) явкой в органы ОГПУ на регистрацию». Безграмотно, но кратко. Однако не прошло и месяца, как мне было заявлено, что впредь, в исключение от общего правила, я обязан являться на регистрацию через каждые четыре дня в пятый. Считаю это еще одним — и, быть может, не последним — проявлением нежной заботливости тетушки, ее «глубокого уважения» и юбилейного чествования. Тут кстати спросить: а как же обстояло дело... Впрочем, не будем больше повторять этого юмористического, иронического и надоевшего лейтмотива...

III

Только иронически и юмористически можно было описывать всю эту эпопею издевательств и юбилейных чествований — другого тона по нынешним временам не найти. Издевательства заключались, конечно, не в

формах, вполне обычных, а в том соусе «глубокого уважения», под которым эти формы подавались. Это первое. А второе: главным издевательством было, разумеется, само «дело» об организации, которое тетушка стряпала, потешаясь втихомолку. Но можно поговорить и серьезно; тогда выяснится — где те причины, по которым я отпраздновал тридцатилетний юбилей своей литературной деятельности в тюрьме и ссылке.

Предлог, повод и причина всего этого дела — ясны как на ладони. Предлогом для действий ГПУ послужила речь Сталина, напечатанная в газетах в самом начале января 1933 года[180]; в ней, между прочим, провалы колхозной политики 1932 года объяснялись «вредительством», к искоренению которого необходимо принять самые решительные меры. Не успела просохнуть краска на этих газетных листах, как работа теткиных сынов закипела. Весь январь 1933 года приходилось слышать о десятках арестов, — а они шли сотнями и тысячами — «весенняя путина!»; людей арестовывали пачками по самым диким и неправдоподобным обвинениям; тюрьмы были набиты и переполнены; кривая преступности взлетела вверх стрелой самым фантастическим образом. Вся эта вакханалия продолжалась до конца зимы, до летнего сезона отпусков и курортов. Теткины архивы могут подтвердить все это точными статистическими цифрами.

Один только пример, о котором я узнал уже по выходе из тюрьмы. В середине марта 1933 года жители Царского Села были удивлены зрелищем ранней утренней процессии: гнали стадо в несколько десятков голов — известных местных педагогов, мужчин и женщин. Это были арестованные и препровождаемые в тюрьму преподаватели и преподавательницы разных школ Царского Села, обвиняемые, как потом оказалось, в организации вредительской контрреволюционной группировки. Перевезли их в Кресты, продержали в тюрьме несколько месяцев, а потом большинство было возвращено по домам. Впрочем, одну учительницу из этой партии я встретил в Новосибирске, а другого педагога — в Саратове; значит, были и другие высланные и сосланные, столь же ни в чем не повинные люди. Они порассказали мне потом столь замечательные вещи об обвинении и допросах, что много страниц понадобилось бы для записи их красочных рассказов. Но довольно и сказанного выше: этот один пример характеризует ту вакханалию бессмысленных арестов, предлогом для которых послужила январская речь Сталина.

Повод для моих юбилейных чествований придумать было очень нетрудно; надо было только протянуть ниточку от «вредительства в колхозах» к

«народнической идеологии» и найти человека, к которому бы можно было привязать эту ниточку. Таким человеком оказался — А.И. Байдин, служивший библиотекарем не где-нибудь инде, а именно в сельскохозяйственных институтах! Ага! К этому можно вполне удобно прицепить ниточку и начать протягивать ее далее — к «народнической идеологии»; а отсюда уже один шаг до создания шаблонного сюжета об организационной группировке и о едином центре. «Дело» об «идейно-организационном центре народничества» было выдумано и проработано до последней запятой — задолго до ареста обвиняемых; потом оставалось только подогнать все допросы и протоколы под заранее предрешенное дело.

Так вершится революционная законность по теткиной юрисдикции (это тебе не Англия!); десятки разговоров с людьми, прошедшими через все подобные горнила правосудия, убедили меня, что все это — не предположение, а подлинная система, применяемая постоянно.

Предлог и повод — вполне ясны, что же касается причин моего юбилейного торжества, то они лежат значительно глубже. Как писатель, не разделяющий официальной идеологии и не скрывающий своих убеждений, я уже лет десять был бельмом на теткином глазу. Еще в 1924 году, при выходе в свет моего сборника «Вершины», цензорша Быстрова (бывшая курсистка) потребовала изъятия ряда мест из моей речи о Блоке, полностью напечатанной двумя годами ранее (в издании Вольфилы)[181]. В чем заключались курьезные изъятия — будущий историк цензуры когда-нибудь сравнит по этим двум изданиям. В разговоре со мной бывшая курсистка хоть и краснела (было все-таки стыдно), но стояла на своем, заявляя, что-де «1924 год — не 1922-й, когда еще многое разрешалось». Она была права; в последующие годы кривая цензурных запретов круто пошла вверх, причем цензора уже и краснеть перестали. Не прошло и года после появления «Вершин», как один из таких некраснеющих цензоров заявил издательству: «А книг Иванова-Разумника вы нам лучше и не представляйте, — все равно мы их не пропустим, независимо от содержания». Однако он на несколько лет поторопился с этим заявлением.

Прошло два года. Я работал над комментариями к шеститомному избранному Салтыкову; первые два тома уже вышли в свет. Как-то раз встретился я в Пушкинском Доме, где изучал салтыковские рукописи, с покойным Б.Л. Модзалевским, стоявшим тогда во главе Пушкинского Дома. Он изумленно спросил меня: «Что вы там такое натворили в комментариях к Салтыкову? Госиздатовский цензор получил жестокий разнос за не-

досмотр какого-то места; что же это за место такое?» Интересно, что в самом Госиздате мне об этом эпизоде никто не сказал ни слова.

Я без труда догадался, что причиной грозы было то место из комментариев к «Истории одного города», где я излагаю содержание сказки Лабулэ «Prince-caniche». У меня нет теперь под рукою этого тома Салтыкова, у читателя тем более, так что я по памяти изложу здесь эту пикантную историю.

Исследуя истоки творчества Салтыкова и многоразличные на него влияния (например, Диккенса), я обратил внимание на политический памфлет Лабулэ «Принц-собака», гремевший во Франции в конце шестидесятых годов. В своих комментариях к «Истории одного города» я привел следующую страничку из этого ядовитого памфлета.

Принц Гиацинт после смерти отца вступает на престол королевства Ротозеев (сравни с салтыковскими «глуповцами»). К нему приходят три министра и предлагают ему ознаменовать восшествие на престол тремя декретами. Первый министр предлагает: отобрать во всем королевстве детей до десяти лет и образовать из них под руководством государственных инспекторов отряды «пионеров», чтобы с юных лет внедрять в них правила ротозейского мировоззрения. Второй министр советует дополнить это полезное начинание декретом о конфискации всех частных библиотек и об изъятии из государственных библиотек всех произведений, не соответствующих ротозейскому мировоззрению. Третий министр соглашается с пользой этих двух мероприятий, но считает необходимым дополнить их третьим декретом: о закрытии всех журналов и газет не ротозейского направления и об издании единой официальной газеты под названием «Правда», которую и обязать всех ротозейских граждан читать ежедневно утром и вечером.

Должен признаться, что не было никакой необходимости целиком помещать всю эту страницу из памфлета Лабулэ в моих комментариях к «Истории одного города», но искушение было слишком велико[182]. Ведь и у нас, в Советском Союзе, были организованы отряды пионеров, и у нас изымались из библиотек все вредные книги не ротозейского (то бишь не марксистского) направления, и у нас были закрыты все газеты и журналы не марксистского направления, и у нас главный партийный, официальный орган именовался «Правдой»... Совпадение было так изумительно, что иные готовы были думать, что это сам я подсочинил к памфлету Лабулэ такую ядовитую страничку. И мог ли думать Лабулэ, направляв-

ший острие своей сатиры против правительства Наполеона III, что ядовитые выпады его подойдут, как перчатка к руке, через полвека к деяниям победившей революции!

Но каким образом эта совершенно нецензурная страничка могла пройти сквозь горнило большевистской цензуры? Я был почти уверен, что цензура эта вычеркнет ехидную страничку из моих комментариев — и очень веселился, увидев ее неприкосновенно напечатанной. Случилось это так: во главе цензуры Госиздата (Государственное издательство), где печаталось это издание, стоял некий армянин Гайк Адонц, которого в самом же Госиздате называли самым глупым человеком во всем Петербурге; однако, несмотря на всю свою глупость, он, конечно, досмотрел бы неприемлемость этой возмутительной странички, если бы прочел ее. Но в том-то и дело, что объемистые, напечатанные петитом и чисто фактические комментарии мои к циклам Салтыкова казались ему настолько скучными и безобидными, что он и не вникал в них, даже и не прочитывал их полностью. За это и поплатился: слетел с цензурного места, получил разнос и был посажен на какой-то другой, менее ответственный пост. А мне, повторяю, никто в Госиздате ни единым словом не обмолвился обо всей этой истории; только цензура следующих томов издания вдруг стала и действенной, и придирчивой; начиная с третьего тома ряд мест в моих комментариях подвергся изъятиям, хотя ничего подобного «ротозейской» страничке в них больше не попадалось... Нисколько не сомневаюсь, что всю эту историю тетушка немедленно записала на мой счет в своих приходо-расходных книгах.

Бельмом на глазу было и то, что в 1931 году я вновь был привлечен (салтыкововедов — мало) писать комментарии и принимать ближайшее участие в редактировании Полного собрания сочинений Салтыкова. Бельмом на глазу были и мои обширные примечания к стихотворениям Блока; в последнем случае тетке удалось, однако, через своих сотрудников в «Издательстве писателей» добиться того, что эти, целиком разрешенные цензурой (подумать только!) примечания, полностью сверстанные и частью отпечатанные, были вырезаны из первых четырех томов Собрания сочинений Блока. У меня остался корректурный экземпляр этой верстки, но его присвоил себе следователь Лазарь Коган, большой любитель библиографических редкостей. По какому праву? — смешно спрашивать! Конечно, по праву революционной законности!

Вот и еще один эпизод, который не переполнил чашу гэпэушного терпения только потому, что тетка все равно записала это на мой счет и знала, что раньше или позже предъявит его, найдя подходящий случай. В конце 1931 года я выпустил в «Издательстве писателей» сборник «Неизданный Щедрин», соединив в нем несколько произведений Салтыкова, до сих пор не входивших (или входивших не полностью) в Собрание его сочинений; напечатал в том числе «Испорченных детей» и полную редакцию «Сказки о ретивом начальнике». В предисловии я указал, что произведение Салтыкова остается злободневным и для настоящего времени. Это само собою очевидное утверждение (которое часто можно встретить и на страницах официальной прессы) страшно всполошило трусливое издательство. Книга была уже отпечатана, 50 экземпляров было уже сдано в книжные магазины, когда издательство распорядилось книгу задержать и опасную страницу из предисловия перепечатать с пропуском страшной фразы[183]. Снова очаровательный чисто щедринский эпизод. Тетушка немедленно была осведомлена о нем своими агентами из правления «Издательства писателей»; во всяком случае, весь этот эпизод был детально известен проводившим мое «дело» следователям.

В связи с этой книгой — еще одно курьезное сообщение. В камере № 85 Лубянской «внутренней тюрьмы» сосед мой, коммунист Б., как-то рассказал мне, что «у них» (я понял — в ГПУ) книжку «Неизданный Щедрин» буквально «рвали из рук друг у друга», раскупили весь московский запас этой книги, ибо «Сказка о ретивом начальнике» была сенсацией дня. Казалось бы, что я тут ни при чем, что не имею я ни малейших прав на лавры Салтыкова; но тетушка была, очевидно, совсем другого мнения.

Придется привести здесь краткое содержание и этой сказочки, чтобы читателю стало понятно, почему весь сыр-бор загорелся.

Салтыков доканчивал свой ядовитый цикл «Современная идиллия» в начале восьмидесятых годов, когда прошумела пресловутая черносотенная подпольная «Священная дружина»[184], составленная для борьбы с народовольческим террором группой великосветских «взволнованных лоботрясов». Говорить о ней печатно было невозможно, но Салтыков нашел способ осмеять ее в одной из своих главок «Современной идиллии», во вставной «Сказке о ретивом начальнике». Ввиду цензурных препон сказка эта далась ему с трудом: в черновиках Салтыкова я нашел целых пять вариантов этой ехидной сказки. От первого до четвертого варианта она все

разрасталась и разрасталась в объеме — и становилась все более и более нецензурной; наиболее острый четвертый вариант «Сказки о вредном начальнике» был в то же время и наиболее обширным. Убедившись в совершенной нецензурности его, Салтыков стал подчищать, сокращать, кромсать эту сказку — и получился сравнительно бледный пятый вариант, который и вошел в печатный текст «Современной идиллии». В книге «Неизданный Щедрин» я напечатал четвертый вариант этой сказки, наиболее обширный и по тем временам нецензурный; оказалось, что он не менее нецензурен и по нашим временам... В кратком и бледном изложении (у меня нет под рукой книги «Неизданный Щедрин») содержание этой сказки такое:

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник, у которого на носу была зарубка: «Достигай пользы посредством вреда». Дали ему в управление целый край — стал он применять в нем свою систему: земледелие — прекратил, рыболовство — уничтожил, привел народ в страх и трепет, все по норам попрятались; а он сидит, радуется и мечтает: вот все уничтожу, сокращу, в прах превращу, и тогда вдруг из великого вреда родится великая польза: всеобщая каторга. Тогда народ поумнеет, жизнь процветет, а я буду смотреть да радоваться, дарить мужикам по красному кушаку, а бабам по красному платку. Однако вредит он год, вредит другой, а пользы от этого никакой не приходит: нивы заскорбели, реки обмелели, торговля прекратилась, народ обнищал. Думал, думал, отчего бы это так, — и догадался: оттого, что вредил он с разумением, а вредить надо безо всякого разумения. Пошел к колдунье, та ему клапанчик в голове открыла, разуменье — фьють! — улетело, и стал ретивый начальник вредить без разумения, но и тут ничего не выходит. Стал придумывать разные проекты, например, проект о закрытии Америки, и спохватился: «Но ведь, кажется, сие от меня не зависит?» Бился, бился — ничего не выходит: вредит, а пользы нет. Тогда решил он призвать на помощь мерзавцев, которые тут как тут, словно комары на солнышке вьются, и говорит им: так и так, господа мерзавцы, врежу я много, а пользы выходит мало; не можете ли помочь мне? Мерзавцы охотно взялись помочь, но поставили условием: чтобы мы, мерзавцы, говорили, а все прочие чтоб молчали, чтобы нам, мерзавцам, жить в холе и неженье, а остальным прочим — в кандалах; чтобы нам, мерзавцам, жить в полное свое удовольствие, а всем прочим чтобы ни дна, ни покрышки; чтобы наша, мерзавцев, ложь за правду почиталась, а остальных прочих

хоть и правда, да про нас, ложью числилась; чтобы прочие и пикнуть не смели, а мы, мерзавцы, что про кого хотим, то и лаем... Согласился на их условие начальник, хотя и сказал: вижу, господа мерзавцы, что из работы вашей вреда действительно будет много, но выйдет ли из этого вреда польза — это еще бабушка надвое сказала. И господа мерзавцы стали действовать...

Окончания сказочки можно и не приводить; достаточно и этого, чтобы понять, почему господа коммунисты стали «рвать из рук друг у друга» книгу с этой сказкой, — так все это, как перчатка к руке, подходило к нашей советской действительности. И мог ли думать Салтыков, что его сатира, направленная против «Священной дружины», через пятьдесят лет окажется как нельзя более злободневной! Недаром же и испуганное «Издательство писателей» изъяло из моего предисловия фразу о злободневности сатиры Салтыкова. Все читатели понимали, что эта сказка о вредном начальнике попадет не в бровь, а в глаз тому начальнику, который довел советскую Россию начала тридцатых годов до голода и разорения. Один мой приятель, живший в подмосковной деревне[185], дал книжку с этой сказкой прочитать соседним мужикам; возвращая ему книгу, они сказали: здорово здесь про Сталина пишут! И «сам Сталин» тоже прочел мою книгу, — как я услышал это в декабре 1936 года из его речи по поводу введения пресловутой «сталинской конституции»[186]; в этой речи он буквально цитировал фразу о проекте закрытия Америки — «но ведь, кажется, сие от меня не зависит?» — не понимая (или делая вид, что не понимает), что здесь de te fabula narratur[187]. Басня Крылова «Зеркало и обезьяна» лишний раз получила здесь блестящую иллюстрацию.

Запретить напечатание этой сказки Салтыкова было невозможно — это значило бы признать, что между господами мерзавцами и господами коммунистами стоит знак равенства; лучше было сделать вид, что сказка эта имеет только историческое значение. Но что тетушка занесла в свою черную книгу весь этот эпизод — никакому сомнению не подлежит.

Наконец — последний случай. В апреле 1930 года вышел первый том моей монографии о Салтыкове, вышел с большими препонами и с неизбежным «марксистским предисловием». Все такие предисловия пеклись по одинаковому рецепту: сперва доказывалось, что автор книги — совершенно не понимает методов диалектического материализма, а потом указывалось, что книга все же имеет некоторые достоинства, почему ее следует издать. Предисловий этих обыкновенно никто не читал, но такие

марксистские пропилеи были неизбежны, и с ними приходилось мириться. Иногда эти предисловия бывали наглого тона — вроде предисловий Каменева к книгам Андрея Белого «Начало века» и «Мастерство Гоголя»[188], иногда вполне корректные — вроде предисловия к моей книге о Салтыкове марксиста Десницкого-Строева. В предисловии этом указывалось, однако, что автор — неисправим: каким антимарксистом был он четверть века тому назад в первой своей книге «История русской общественной мысли», таким остался и теперь в книге «Жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина»[189]. Что верно, то верно; но, однако, если вспомнить убеждение следователя Лазаря Когана, что антимарксизм и контрреволюция — синонимы, то понятно, что и эту мою книгу тетушка взяла на прицел и записала еще один пункт в тот счет, который собиралась предъявить мне рано или поздно.

Вот настоящие причины всех моих юбилейных торжеств. Конечно, причины эти ни разу не были поставлены мне на вид, этот счет никогда не был предъявлен. Помилуйте! Мы никогда не ссылаем за идеологию! Но у тетушки не только двойная бухгалтерия, но и двойные книги — подлинные и фальшивые. В подлинных книгах ведется счет истинных причин, но книги эти остаются лишь для внутреннего теткиного обихода; параллельно стряпаются книги фальшивые, которые и предъявляются обвиняемому. Так, в моем «деле» истинными причинами юбилейных торжеств были обстоятельства только что изложенные, о которых следователи и не заикались, а фальшивым счетом был несуществующий «идейно-организационный центр народничества». Надо было найти только подходящий предлог и повод; как только они нашлись — предрешенное «дело» закипело.

В этом фальшивом двурушничестве, сдобренном столь же фальшивым «глубоким уважением», и лежат корни того издевательства, которым ознаменовался мой «юбилей». Я вполне понимаю, что государство, стоящее на определенном уровне правовых норм, может карать всякое инакомыслие самыми суровыми карами, но скрывать истинные причины, идеологические, под фиговым листком несуществующей в данном случае «организационности» — недостойный признак не силы, а слабости. (Пусть это к лицу диктатуре буржуазной, но, еще раз спрошу, к лицу ли это диктатуре пролетарской?)

Я знаю, что даже среди писателей есть наивные тупицы, которые повторяют по-попугайски: «У нас не карают за идеологию». С тупицами

разговаривать не приходится, но людям менее наивным можно предложить для нетрудного решения следующий вопрос. Вот я написал рассказ о моем «Юбилее» как введение к моим житейским и литературным воспоминаниям; предназначен он для далекого будущего читателя бесклассовых времен; давать его на прочтение кому бы то ни было и вообще распространять каким бы то ни было образом я совершенно не собираюсь; я сохраню его для будущего — в чаянии, что он дойдет до времен бесклассового (и бесцензурного?) общества. Но представьте себе, что моя рукопись попадет случайно в руки тетушки; что тогда произойдет? «Организации» — никакой нет; распространения вредных мыслей — никакого нет; «за идеологию у нас не ссылают». Все это так, и тем не менее можно быть вполне уверенным, что в результате последует новая серия юбилейных чествований, столь пышных, что я лишен буду даже возможности их описать.

IV

Ну вот я и у берега — каким оказался для меня саратовский берег Волги; досказать осталось немного. Полтора года прошло от моего юбилейного дня. С трудом восстанавливается и, конечно, не восстановится оставшееся в тюрьме здоровье. Литературной работы иметь никакой не могу, — были неудачные попытки[190]. Надо бездеятельно проводить «прочее время живота». Значит, самое время взяться за житейские и литературные воспоминания, сесть за стол и начать по Чехову: «Я родился в...» Но и тут беда: по одной памяти ничего точного не напишешь, а весь «архив» мой (то есть уцелевшая от разгрома его часть) находится в Мекке, то бишь — Царском Селе; так что не знаю, что выйдет и из этой работы.

Немного в сторону от темы, но о чем хотелось бы сказать: чем же я живу — в самом простом «физическом плане» — без всякой возможности получить работу? У каждого из нас много друзей-приятелей до черного дня; но естественно, что на другой же день после моего ареста все эти друзья-приятели забились в кусты, — очень запуганы и зайцеподобны стали теперь люди, иной раз носящие весьма громкие имена[191]. Истинные друзья познаются в несчастии, и хотя никакого несчастья со мною не произошло, а случилась лишь маленькая неприятность, но только два-три друга (из десятков друзей-приятелей) оказались действительными друзьями, не побоявшимися даже (даже!) переписываться со мною, жителем саратовским. Таков был старый друг еще с гимназических времен,

А.Н. Римский-Корсаков; но здесь подробнее скажу только о другом старом друге, М.М. Пришвине. Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и в Саратов, не только присылал новые свои книги, не только хлопотал в московских издательствах о какой-нибудь работе для меня, но даже, когда хлопоты эти не увенчались успехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать мне ежемесячно по двести рублей[192]. Только благодаря ему я еще и существую в сем «физическом плане» — и не могу умолчать об этом.

Поведение же прочих, не друзей-приятелей, а братьев-писателей, было как раз таким, какого и следовало ожидать. По крайней мере, я нисколько не удивился, когда в номере от 10 февраля 1934 года газеты «Литературный Ленинград» прочел письмо одного почтенного пушкиниста (с ним, в скобках сказать, мы всегда были в самых корректных отношениях); в письме этом он между прочим выражает удовлетворение, что работа над Салтыковым не находится ныне (возблагодарим тетушку!) в моих руках; он подчеркивает «необходимость некоторых гарантий от повторения Ленгихлом таких, например, ошибок, как имевшее место монопольное закрепление всех примечаний по всем томам Салтыкова за Ивановым-Разумником и его учениками»[193]. Первая половина этого утверждения — ложна, а заключительные слова — загадочны: о каких это моих «учениках» идет речь? Никогда не имел их ни вообще, ни в салтыкововедении в частности. Из этого же письма в редакцию я узнал, что почтенный пушкинист развивал эти же мысли в каком-то словесном «выступлении», подчеркивая в нем необходимость «марксистско-ленинского истолкования художественного творчества Щедрина», и именно поэтому настаивал на изъятии из литературного обращения немарксиста Иванова-Разумника. И это говорилось и писалось тогда, когда я был уже в тюрьме и потом в ссылке. Давно ли почтенный пушкинист сам стал марксистом — не знаю, но каково же благородство всего этого выступления! До очень низкого этического уровня докатилась наша литература; и если я остановился на этом одном примере, то лишь потому, что он очень показателен*.

Конечно, мне очень грустно, что остаются незаконченными две основные работы двадцати последних лет моей жизни; но что поделаешь! «Все-

*Примечание конца 1936 года: только что узнал из газет и из писем, что этот почтенный пушкинист и заместитель директора Пушкинского Дома, проф. Ю. Оксман, объявлен «врагом народа» и пребывает в том самом Лубянском изоляторе, в котором я был гостем три с половиной года тому назад[194].

му положен свой предел». И здоровье, и возраст не позволяют мне надеяться, что «после дождика в четверг» еще удастся завершить эти работы. Ведь я уже «достиг до этого возраста пятидесяти пяти лет, с каковыми, столь счастливо, я, благодаря милости Божьей, иду вперед»... Правда, европеец рассмеялся бы: какая же это старость — пятьдесят пять лет! это только расцвет «возмужалости», которую физиологи (европейские!) заканчивают 67-ми лет! Недаром во Франции без всякой иронии говорят — un jeune homme de quarante ans[195]; недаром добродушный Сильвестр Бонар[196] огорчился, когда его назвали стариком: est-on un vieillard à soixante-deux ans[197]; недаром восьмидесятилетний Клемансо на предложение «омолодиться» по способу Штейнаха[198] ответил, что он с благодарностью воспользуется этим предложением «quand la vieillesse viendra»[199]... Но мы, россияне, пережившие уже полтора десятилетия революции, в которых месяц считается за год, безмерно старше наших европейских собратьев, мы все прожили уже мафусаиловы века, и сроки наши уже исчислены.

Но — dum spiro, spero[200], и потому, все еще не желая окончательно отказаться от надежды закончить свои работы по Салтыкову и Блоку, я, когда исполнилось уже полтора года со дня моего «юбилея» и когда все это описание его было уже закончено, написал письмо в Москву Максиму Горькому. Это письмо, подводящее итоги и вкратце суммирующее содержание всего моего «Юбилея» и моей «Ссылки», явится к ним вполне подходящим эпилогом; потому привожу его здесь дословно:

«Содержание настоящего письма моего к Вам, Алексей Максимович, — чисто литературное, но, к сожалению, оно требует хоть и краткого, но вполне нелитературного предисловия.

Нисколько не сомневаюсь, что Вы, возглавляющий Союз писателей, были в свое время (полтора года тому назад) осведомлены о моем аресте, тюремном семимесячном заключении и последующей ссылке (по фамусовской традиции: «в глушь, в Саратов»). Не сомневаюсь также, что мимо такой судьбы писателя, тридцать лет работавшего в русской литературе, Вы не могли пройти безучастно и, вероятно, наводили справки у тех, кому о том ведать надлежит, о причинах, заставивших столь необычным в летописях литературы способом почтить тридцатилетний юбилей писателя (по шуточной прихоти судьбы, арест мой —2 февраля 1933 года — состоялся как раз в самый день этого тридцатилетия моей литературной деятельности). Возможно даже, что Вы простерли свою внимательность до того — по крайней мере, поступил бы так я на Вашем месте, — что пожелали

ознакомиться с самими протоколами «дела об идейном организационном центре народничества», — при Вашем положении это не могло встретить затруднений. Но если даже Вы и ознакомились с этими протоколами, то боюсь, что Вас все же неверно информировали, — а именно, показали Вам протоколы «А», излагавшие точку зрения следствия, и не показали параллельных протоколов «Б»; написанных мною лично и точку зрения следствия совершенно отвергавших. Но дело не в этом, и все-то «дело» это — давно прошедшее, имеющее годовую давность; да и «дела»-то моего в действительности никакого не было, оно было пристегнуто ко мне ad hoc[201], с целью насильственным путем прекратить мою историко-литературную работу, особенно напряженную как раз в последние годы. Вот об этой работе я и хочу написать Вам, полагая, что если Вам совершенно безразлична моя личная судьба, то не может быть безразлична потеря тех культурных ценностей, возместить которые не так-то легко, а в некоторых случаях и невозможно. Заканчивая этим краткое нелитературное предисловие, перехожу к вопросам той литературы, которой все мы, писатели, хоть и по-разному, по мере разумения служим.

Впрочем — еще одно слово. Следователь, который вел мое «дело», все время уверял меня, что мне в дальнейшем дана будет полная возможность продолжать ту литературную работу, которую я вел последние годы: «Если этого не будет, то вы можете громко заявить, что советская власть вас обманула». Конечно, следователь — небольшая сошка, но все же и он является носителем какой-то части «советской власти». Прошел уже год — и за это время я вполне убедился, что всякая возможность «дальнейшей работы» для меня отрезана. И это очень печально — не столько для меня (ведь всех нас раньше или позже насильственно отрешат от нашей земной работы), сколько для той работы, которую, по создавшимся условиям, никто, кроме меня, выполнить не может. На этой чисто литературной стороне дела я и остановлюсь несколько подробнее.

С 1914 года, в течение двадцати лет, усиленно работал я над Салтыковым-Щедриным, изучая сперва его первопечатные тексты, потом современную ему русскую и иностранную литературу и, наконец, — рукописи и архивные материалы, одновременно собирая и записывая иной раз ценнейшие воспоминания ближайших сотрудников Салтыкова (например, М.А. Антоновича, умершего в начале революции). После многолетней подготовительной работы я счел себя достаточно вооруженным для большой монографии в трех томах о жизни и творчестве Салтыкова; первый том

вышел (с большими препятствиями) в 1930 году, второй и третий подготовлялись мною (без больших надежд) к печати. Первый том, наряду с положительной оценкой его наиболее сведущими «салтыкововедами» (которых очень немного), встретил, разумеется, неблагоприятное отношение со стороны газетных критиков (которых очень много). Вряд ли это способ удивить: если бы Вы напечатали теперь очень слабую вещь, то, как сами хорошо знаете, она встретила бы восторженный прием среди газетной и журнальной критики. Лакейство это, конечно, должно Вас огорчать, но я боюсь, что при нынешних литературных условиях от него нет лекарства. Ценят не вещь, а имя; мое же имя, естественно, должно особенно резко влиять на критические отзывы. Между тем без всякой нескромности (которой я никогда не был грешен) я имею основания совершенно «объективно» считать, что моя монография о Салтыкове, хотя и не марксистская (но обезвреженная марксистским предисловием), является и для марксистского литературоведения незаменимым сводом фактического материала, собранного с большими трудами в течение двух десятилетий; часть этого материала невосстановима, поскольку нет уже в живых многих знакомых мне сотрудников или друзей Салтыкова (Антонович, Пантелеев, Унковский, Караев и др.). Мне оставалось года два работы над салтыковскими бумагами (главным образом — в бывшем Пушкинском Доме в Ленинграде), чтобы окончательно завершить второй и третий тома монографии, когда вмешательство сил нелитературных прервало эту работу; разумеется — нечего и думать об окончании этой работы в Саратове.

Прибавлю в заключение этой своеобразной салтыковиады, что до 2 февраля 1933 года я принимал ближайшее участие в редактировании выпускаемого ГИХЛом Полного собрания сочинений Салтыкова; план этого собрания был составлен мною; все тома проходили, кроме того, после редакторской работы, через мои отзывы для устранения возможных ошибок и недосмотров. Не думаю, чтобы мое устранение от работы послужило на пользу этому изданию; по вышедшим томам видно, как исковеркана и обнищена сама идея издания, задуманного широко и научно; какие были богатые возможности (опубликование сотен неизвестных и интереснейших вариантов) — и какие скудные плоды! Чье тут «головотяпство», чье тут «вредительство» — не разберешь; грустно и за Салтыкова, и за читателей. Но — продолжаю.

Салтыков-Щедрин был моей первой и центральной работой в течение двадцати последних лет; была и вторая работа, которой я, параллельно с занятиями над Салтыковым, посвятил последние десять лет. После смерти

А.А. Блока десять лет собирал я материалы, связанные с его поэтическим творчеством, а с осени 1930 года — редактировал по составленному мною же плану Полное собрание его сочинений в «Издательстве писателей в Ленинграде». В течение двух лет вышли первые семь томов, заключающие в себе все поэтическое наследство А.А. Блока; в 1933 году должны были выйти остальные пять томов, соединяющие в себе всю его прозу. После моего выдворения из литературы и водворения в Саратов — кто-нибудь другой (или другие) занимаются этой работой. Но главное не в этом, а вот в чем. Еще весною 1932 года, под давлением учреждения, годом позднее вообще пресекшего мою литературную деятельность, тома стихотворений А.А. Блока были кастрированы: из них были вырезаны уже целиком пропущенные цензурой, наполовину отпечатанные и полностью сверстанные все мои примечания, заключающие в себе варианты, черновики, историю текста — и вообще до 10 000 стихотворных строк А.А. Блока, доселе неизвестных. Когда я после этого попробовал издать этот исключительно фактический и библиографический материал, потребовавший десяти лет труда, отдельной книгой (в 50 печатных листов), хотя бы «на правах рукописи», хотя бы в 200—300 экземплярах, — это тоже встретило неодолимые препятствия. И опять: что это «такое»? «головотяпство» ли, по слову Щедрина, «вредительство» ли, по нынешнему выражению? Я склоняюсь к Щедрину. Прибавлю только, что единственный мой экземпляр сверстанных и прокорректированных «Примечаний к стихотворениям А.А. Блока» взят у меня и не возвращен представителем все того же учреждения. Так может погибнуть десятилетняя работа о Блоке, двадцатилетняя — о Салтыкове. Если все это — только «маленькие недостатки механизма», усердие не по разуму людей, беззаботных по отношению к культуре и литературе, то кому же, как не Вам, возглавляющему Союз писателей, исправлять подобные перебои, задевающие наследие таких писателей, как Салтыков или Блок, как ни различны они по величине и значению в русской литературе XIX и XX века.

Этим — в самых общих чертах — исчерпывается то дело, с которым я обращаюсь к Вам. Мне, разумеется, было бы очень грустно не довершить этих двух основных — и последних — работ моей жизни; как ни скромны они по сравнению с современными «Магнитогорсками литературы»[202], но вряд ли в интересах нашей скудной культуры беззаботно швыряться даже такими — пусть — мелочами. Если бы возраст и, особенно, здоровье (о состоянии которого хорошо осведомлено все то же учреждение) позволяли мне спокойно выжидать несколько (а может быть, и много) лет до

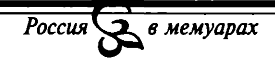
возможности возвращения к заключительной работе над рукописями Салтыкова в б. Пушкинском Доме и над примечаниями к Блоку в архиве его вдовы, то я не стал бы обращаться к Вам с этим письмом, как ни бессмысленно само по себе мое пребывание в Саратове без всякой работы. Завершение же работ над Салтыковым и Блоком я, без ложной скромности, считаю делом, которое имеет не только личное, но и общекультурное значение. Поэтому обращаюсь к Вам со следующим:

Срок, необходимый мне для завершения в ленинградских архивах работ над Салтыковым и Блоком — два года. После такого завершения — для меня совершенно безразлично, где заканчивать «прочее время живота» (если оно продлится более двух лет) — в Ленинграде, в Саратове ли, на свободе или в тюрьме. Думаю, что Вы имеете полную возможность, если пожелаете, устроить это мое возвращение к работе в Ленинград на два года. Я говорю — «если пожелаете»; возможно, что не пожелаете, — в таком случае заранее приношу извинение за то, что отнял у Вас время настоящим письмом.

В заключение хочу прибавить только одно. Часто приходилось и приходится слышать, — а Вас об этом, вероятно, извещают «анонимные письма», — что Вы «оторвались от действительности», что с высоты своего положения не обращаете внимание на «мелочи жизни». Возможно, что и работа моя над Салтыковым и Блоком — одна из таких же мелочей. Но я предпочитаю думать о людях согласно слову Герцена: думай о людях лучше, чем о них говорят. А так как на протяжении четверти века наши литературные отношения с Вами никогда не были ни близкими, ни даже особенно дружелюбными, то именно это позволяет мне думать («думай о людях лучше...»), что тем более Вам не будет безразлична судьба работ о Салтыкове и Блоке, какими бы мелочами ни были эти работы на фоне современной жизни. Впрочем, в области культуры — нет «мелочей»; есть только ценное и вредное или ненужное. Насколько «ценны» и «нужны» мои работы о Салтыкове и Блоке — в этом я, конечно, пристрастный судья; но что и вредно и позорно перед литературой насильственное уничтожение этих работ — с этим, думается мне, согласятся все беспристрастные судьи.

С пожеланием Вам всего лучшего

Иванов-Разумник
Июль 1934
Саратов».



V

Все предыдущее было написано в первой половине 1934 года в Саратове; берусь теперь за перо в сентябре 1937 года в Кашире, чтобы в немногих словах рассказать об этом трехлетии. Начну с того, что на мое письмо к Максиму Горькому я не получил никакого ответа — и нисколько этому не удивился; а что письмо это было лично ему вручено — знаю наверное. Все это — в порядке вещей[203].

В Саратове помогла мне устроиться семья старого моего приятеля, проф. А.А. Крогиуса, о котором упоминаю в своих литературных и житейских воспоминаниях: начал-таки писать их в Саратове, спасибо тетушке! Повторю здесь, что сам А.А. Крогиус скончался в Ленинграде от сыпного тифа за несколько месяцев до моего прибытия в Саратов; вдова его, О.А. Крогиус, приютила меня в первые дни после моего приезда в эту «столицу Поволжья», а потом нашла мне замечательную комнату, в которой я и прожил все три года моего пребывания в Саратове. Комната была эта в дряхлой избушке на курьих ножках, стоявшей среди других подобных избушек над обрывом Волги — в пяти минутах ходьбы от центра города, пресловутых «Липок». Избушка состояла всего-навсего из кухни с русской печью и двух комнат; большую из них занимала семья сапожника Иринархова — он, жена и десятилетний сын, — а меньшую предоставили мне. По размерам это была точная копия моей камеры в ДПЗ — семь на три шага; узкая кровать, столик, стул, этажерка — вот и вся мебель; два покосившихся окошечка в двух стенах; тонкая, фанерная перегородка, не доходившая до потолка. Садик, размером с чайное блюдечко; вид на Волгу. Через дом — музей Чернышевского. Я уютно прожил в этой комнатенке (от которой приходили в ужас саратовские знакомые) почти три года; спасибо О.А. Крогиус! Кстати сказать — переехала она с семьей в Петербург в 1935 году, откуда (только что узнал) в августе сего 1937 года выслана среди многих других, ей подобных, в Казахстан, — за то, что старший сын ее, Арсений[204], находится в «концентрационном лагере»... Это тебе не Англия!*

Дважды приезжала ко мне В.Н. — зимою 1933-го и осенью 1934 года и гостила по месяцу; просветы были эти очень короткими. Но постепенно

*Арсений умер в концентрационном лагере в 1938 году; О.А. Крогиус получила волчий паспорт с клеймом «ОМЗ», что означает, что-де она отбыла наказание в «местах заключения», в которых она никогда не была. Это в буквальном смысле фальшивый паспорт — и ничего нельзя поделать! (Примечание 1939 года).

и случайно образовался небольшой круг знакомых, а главное! — целых три рояля оказались в моем распоряжении; игра в две и четыре руки утешала в последние два года пребывания моего в гостях у тетки. Летом происходили частые экскурсии на лодках, пикники и купанье на пляже — полная идиллия! Спасибо тетушке, — я поправился в этой бездельной жизни; бездельной потому, что все попытки получить из Москвы литературную работу оказались бесплодными, как я об этом уже рассказал. А о бытовой провинциальной саратовской жизни рассказывать нечего: она ничем не отличалась от бытовой симферопольской жизни тридцатью годами ранее.

В Саратове нас, ссыльных, было немного, — это все была ссыльная «элита», которую надо было иметь под глазами; или, быть может, к которой относились с «глубоким уважением»? Остальных разослали по Аткарску, Вольску, Каменке и разным другим городкам и местечкам области. Была группа человек в пятнадцать меньшевиков, была такая же группа правых и левых эсеров. Я имел благоразумие избегать встреч и знакомств с эсерами — и хорошо сделал, как оказалось впоследствии. Зато с меньшевиками знакомств не избегал и сошелся с семьей одного из видных и партийных меньшевиков, Кибрика; эта семья много скрасила мне первое время моего пребывания в Саратове. Но Кибрик оказался менее осторожным, чем я, он дружил и поддерживал знакомство с былыми товарищами по партии, за что и понес должную кару: в середине 1936 года он и все саратовские меньшевики были арестованы по обвинению в организации саратовской подпольной меньшевистской группировки, долго сидели в тюрьме, а потом были разосланы по разным северным и сибирским ссылкам.

Предпочитал вести знакомство с людьми менее «опасными», с местными саратовскими обывателями — и с благодарностью вспоминаю три семьи, пригревшие меня, в свою очередь, «опасного» человека; хотел бы назвать их здесь — да не могу, это было бы с моей стороны поступком черной неблагодарности. Зато могу назвать одного «своего брата», ссыльного Д.П. Коробова[205]; это интересная фигура. В царские времена он стоял во главе всего Центросоюза с его многомиллионными оборотами; испытав и тюрьму и ссылку в глухие дебри Марийской области, он попал на заключительную ссылку в Саратов, где ему предложено было, ввиду его большого кооперативного стажа, стать во главе кооперации Саратовской области. Он попробовал — и вынужден был месяца через два сложить оружие. Рассказывал мне, что в Центросоюзе, обнимавшем своею рабо-

той всю Россию и всю Сибирь, у них в Москве, в центре, было всего два бухгалтера — и записная книжка в его кармане. Здесь же, для небольшой области, в Саратове сидело двенадцать бухгалтеров, были пуды входящих и исходящих — и дело шло так, что сам черт ногу сломит. Испугавшись, что его раньше или позже обвинят во «вредительстве», он поспешил отретироваться и ограничился скромной должностью юрисконсульта при одном саратовском деревообделочном заводе. Мы с ним очень сдружились — и во все летние месяцы ездили вместе купаться на превосходный саратовский пляж — широкую песчаную отмель посередине реки, густо заросшую в центре лозняком. Купаться необходимо было вдвоем: пока один плавал, другой сторожил платье, которое без этого немедленно пропало бы бесследно, — саратовские жулики славились по всей Волге.

Разнообразие жизни дополняли обязательные явки в ГПУ «на регистрацию» через каждые четыре дня на пятый. Являлся я в комнату комендатуры, подходил к одному из трех окошечек и сообщал дежурному: «Пропуск в комнату № 72 для явки на регистрацию». Дежурный звонил по телефону в указанную комнату и, получив ответ, вручал мне пропуск, с которым надо было идти в соседний подъезд на третий этаж. Там я находил — все три года! — одного и того же следователя, который раскрывал книгу живота, делал в ней какую-то отметку и всегда задавал один и тот же вопрос: «Нового ничего?» Это значило — не переменил ли я квартиры и не переменил ли места службы. А так как я квартиры не менял и нигде не служил, то три года подряд на стереотипный вопрос я давал стереотипный ответ: «Ничего нового», — получал штамп на пропуске и мог идти домой. Процедура не сложная, но до чего же она мне надоела за три года! Я подсчитал, что за это время она повторилась почти двести раз.

Однажды только за все три года моя явка прошла с некоторым вариантом. Задав обычный вопрос и получив обычный ответ, следователь сказал мне, что со мной желает познакомиться новый, только что прибывший из центра начальник секретно-политического отдела, — и привел меня к нему. Начальник оказался вполне любезным, сказал, что знает мое дело и хочет спросить меня: почему я нигде не служу в Саратове? Со стороны ГПУ это не встретит никакого препятствия; наоборот, он может сейчас же позвонить в университетскую библиотеку, где открылась вакансия библиотекаря, и предложить меня на это место. «Я совершенно уверен, — сказал он, — что наша рекомендация будет для них вполне убедительной...» Я тоже был в этом совершенно уверен, но не имел желания

попасть куда бы то ни было по рекомендации ГПУ, а потому отказался от предложения, заявив, что в службе не нуждаюсь...

Это напомнило мне, кстати, один из разговоров со следователем Лазарем Коганом за год до этого. Ведя со мной беседы на литературные темы, Лазарь Коган сообщил мне, что в дневниках Зинаиды Гиппиус, ныне лежащих в секретном отделении Публичной библиотеки, не раз встречается моя фамилия — «впрочем, в контексте, нисколько вас с нашей точки зрения не компрометирующем»*[206]; затем стал вообще рассказывать об эмигрантских настроениях, одобрял Милюкова за то, что тот в своей парижской газете выступает против идеи об интервенции, и прибавил: «Он мог бы теперь и вернуться для работы в советской России; мы могли б предложить ему место — ну, скажем, директора в Публичной библиотеке...» Воображаю, как польщен был бы П.Н. Милюков, если бы знал о столь лестном предложении! Столь же польщен был и я аналогичным предложением, хоть и меньшего масштаба.

Еще один эпизод в главку о саратовских ссылках. Как-то в феврале или марте 1935 года, рано утром, едва я успел встать, явился незнакомый мне пожилой господин с рекомендательным письмом из Петербурга от О.А.Крогиус; педагог, преподаватель математики Герман Германович Брандт. Он сказал мне, что хоть мы теперь и незнакомы, а все же тридцать с лишком лет тому назад ежедневно встречались, участвуя в студенческом шахматном турнире Пересыльной тюрьмы, где я взял первый приз, а он второй... Верно — вспомнил! В чем же дело? Оказалось, что через месяц-другой после убийства Кирова (в декабре 1934 года) десятки тысяч петербуржцев с семьями были приглашены к выезду из бывшей столицы; им было дано кому пять, кому десять дней на ликвидацию всех дел и всего имущества, а разослали их по разным градам и весям Советского Союза — кого в Саратов, кого в Самару, кого в Оренбург, кого в Казахстан: земля наша велика и обильна, а порядок в ней правит ГПУ[207]. Он с женой и сыном-студентом очутился в Саратове, без единой души знакомых, и не знают теперь они, как быть: или сразу в Волге топиться, или еще подождать немного? В квартире у Д.П. Коробова была лишняя комната, — он немедленно и радушно приютил новых ссыльных; вскоре они нашли и отдельную квартирку. В этот день у меня была очередная явка в ГПУ; пошел — и не мог протискаться в комнате комендатуры, — так густо была заполне-

*Позднейшее примечание: о Зинаиде Гиппиус и обо мне см. в моей книге «Холодные наблюдения и горестные заметы».

на она этими только что прибывшими выселенцами из Петербурга: в Саратов их было направлено полторы тысячи человек. Какая дикая бессмыслица, сколько горя человеческого, сколько слез!

В комендатуре, приходя на явку, часто встречался я со ссыльным профессором и академиком Перетцом[208], с которым был знаком и раньше; он охотно разговаривал на разные литературные темы, но уклонялся от домашнего знакомства: очень меня боялся. Да и мало ли еще было знакомств и встреч — всех не перечтешь.

Время — крылато; подошел и февраль 1936 года. Явившись 1 февраля на очередную регистрацию, я на обычный вопрос следователя: «Нового ничего?» — очень удивил его ответом: «Нового много: завтра кончается срок моей ссылки». Он засмеялся и предложил мне зайти 5 февраля на очередную явку, когда он мне вручит соответственный документ. Я знал, что за эти дни он телеграфно снесется с Москвой: освободить такого-то или арестовать, начать новое дело и продолжить срок ссылки еще на три года? Когда я, не без некоторого опасения, явился к нему 5 февраля, он выдал мне за номером 21 239 (ого!) следующую «Справку»:

«Дана Иванову Разумнику, 1878 года рождения в том, что он по отбытии от ссылки освобожден».

Вполне безграмотно, но достаточно для того, чтобы по этому документу получить в саратовской милиции паспорт; однако дело оказалось не столь простым. Когда я с этой «справкой» явился в милицию за получением паспорта, то начальник паспортного стола спросил меня, где я родился. «В Тифлисе». — «А может быть, в Вятке? Где доказательство?» Доказательства у меня под руками не было, — метрика хранилась в Царском Селе. «Ваша профессия?» — «Писатель». — «А может быть, балетный танцор?» Я предложил ему навести справки в университетской саратовской библиотеке, но он резонно ответил, что это мое дело представить справки, а не его дело — искать их. Поэтому, впредь до предъявления нужных справок, он выдал мне вместо паспорта трехмесячный «вид на жительство», в котором рубрику «Профессия» он заполнил так: «Человек без определенных занятий», а в графе «На основании каких документов выдан паспорт» — «На основании справки НКВД за № 21 239». Это был настоящий волчий билет, с которым я не мог уехать из Саратова.

А уехать пришлось спешно: В.Н. тяжело и опасно заболела (плеврит с осложнениями) — и я немедленно выехал в Москву, где, по совету бывшей жены Максима Горького, Е.П. Пешковой, стоявшей во главе поли-

тического Красного Креста, оставил ей заявление в Главное управление милиции о разрешении мне пробыть месяц в Царском Селе ввиду тяжелой болезни жены[209]; не ожидая ответа, в тот же день я уехал в Ленинград и Царское Село. Через два дня я получил телеграмму от Е.П. Пешковой, что разрешение дано и послано в царскосельскую милицию. Я прожил в Царском Селе два с половиной месяца вместо одного, так как все «ждал» получения милицией этого разрешения; оно так и не пришло. Маленькие недостатки механизма!

Итак — я снова дома, после трехлетнего путешествия! Два с половиной месяца прошли как один день. В.Н. медленно выздоравливала, а я занимался разбором и приведением в порядок своего литературного архива; описи его у меня тогда не было, и я не мог точно установить, что именно было похищено у меня в ночь со 2 на 3 февраля 1933 года. Установили лишь, что пропали два больших пакета с оригиналами стихотворений Николая Клюева и Сергея Есенина[210], не могу квалифицировать изъятие из моего архива этих рукописей иначе, как простой кражей, совершенной у меня следователем Бузниковым. Не знаю, сам ли он такой ценитель автографов этих поэтов, или, что вероятнее, передал рукописи своему приятелю, следователю Лазарю Когану, который «собирал автографы» (легкий способ «собирания»!), но факт остается фактом. Что еще было похищено ретивым следователем — установить по памяти не удалось; я использовал два с половиной месяца пребывания дома, чтобы составить хотя бы краткую опись своего литературного архива — на случай знакомства в будущем с теткиными сынами, подобными Бузникову и Лазарю Когану. Кстати о последних, чтобы (надеюсь!) попрощаться с ними: весною 1937 года, будучи в Ленинграде, я узнал, что Бузников арестован и сидит в том самом ДПЗ, в котором допрашивал меня, а Лазарь Коган не то расстрелян, не то сослан куда-то «на периферию»... Сегодня — я, а завтра — ты...[211]

К середине мая 1936 года я «добровольно» вернулся в Саратов, чтобы провести там (надо же было где-нибудь проводить!) лето, а заодно получить и паспорт вместо волчьего билета; теперь у меня была с собой метрика, а также «справка» от ленинградского отделения Союза писателей, что «предъявитель сего» имярек «действительно является профессиональным литератором». Вооруженный этими документами, наконец мог получить от саратовской милиции паспорт, в котором место «человека без определенных занятий» заняло «служащий писатель». На мое замечание паспор-

тистке, что «служащим» я никогда не был, получил убежденный ответ: «В нашей стране есть лишь два класса — либо служащие, либо рабочие...» Как быстро, однако, приближаемся мы к бесклассовому обществу!

Однако паспортистка эта оказала мне большую услугу, за которую хочу помянуть здесь эту девицу добрым словом.

Когда я подал ей в окошечко свой волчий билет, она меня спросила:

— Почему вам был выдан временный вид на жительство?

— Потому что у меня тогда не было нужных документов.

— А теперь есть?

— Теперь есть. Вот метрика, вот справка о профессии.

— Подождите немного.

Взяла документы и захлопнула окошечко. Минут через десять оно снова открылось, и девица вручила мне паспорт, сроком на пять лет, пожелав всего хорошего и обменявшись со мной репликой по поводу «служащего писателя». Когда я, вернувшись домой, стал рассматривать паспорт, каково было мое приятное удивление; в графе «На основании каких документов выдан паспорт» вместо сакраментального и закрывающего все двери «на основании справки НКВД» стояло просто — «на основании метрического свидетельства за № 5632». Я готов был расцеловать милую паспортистку за такое непростительное с ее стороны служебное упущение.

Месяца через три, в палящий августовский день, поехали мы с Д.П. Коробовым на пляж, переполненный сотнями мужчин, женщин и детей в купальных костюмах. Мы спустились в самый конец пляжа, где народа было мало, Д.П. Коробов остался сторожить наше платье, а я пошел по пляжу далеко вверх по течению, чтобы потом сама вода понесла меня вниз, на расстояние с добрую версту.

Когда я среди толпы купальщиков вошел в почти парную воду, за мной вошла какая-то тоненькая блондинка с кудряшками и отдалась течению по середине реки рядом со мной.

— А я вас знаю, — сказала она.

— А я вас что-то не признаю, — ответил я.

— Вы живете на Чернышевской улице рядом с усадьбой Чернышевского.

— Верно.

— А я живу рядом, на Бабушкином взвозе. Вы писатель.

— Тоже верно.

— Вас зовут (она назвала меня).

— Опять-таки верно.

— А моя фамилия (она назвала себя). Значит, вы так-таки и не хотите меня признать?

— Простите, не вспомню.

— Какой же вы неблагодарный человек! А кто вам выдал весной этого года чистый паспорт?

— Как!

— Ну да. Я паспортистка первого отделения милиции...

Значит, с ее стороны это не было служебным упущением, не было ошибкой, а было сознательным добрым делом — избавить бывшего ссыльного от волчьего паспорта! Я не знал, что сказать ей, а в это время река донесла нас до того места, где на берегу сидел Д.П. Коробов, ожидая своей очереди. Выходя из воды и отряхиваясь, точно болонка, паспортистка сказала:

— Заходите ко мне, будем знакомы, ведь мы соседи.

Недели через две я навсегда простился с Саратовом и, каюсь, каюсь, так и не зашел к милой девушке. А надо было бы зайти, занести ей букет цветов или коробку конфет, поблагодарить за добрый поступок. Немного стыдно мне признаться: помешала этому мысль, что она служит в милиции, мало ли кого я могу у нее встретить! Мундир часто заслоняет от нас человека. Так я и уехал из Саратова, не поблагодарив ее; хоть с опозданием, но делаю это теперь.

И вот я — вольный советский гражданин! У меня «чистый паспорт»! Могу ехать — куда мне угодно; могу жить — где мне угодно... за исключением того места, где хочу жить: дома; ибо в запретной зоне ста километров вокруг Петербурга и Москвы провинциального паспорта не пропишут. Значит — надо было выбирать какое-либо место за пределами этих стокилометровых зон; а так как, во-первых, вокруг Петербурга нет такого ожерелья уездных городков, как вокруг Москвы, а во-вторых — лишь в Москве я надеялся получить какую-либо литературную работу, то я и остановил свой выбор на одном из подмосковных городков. В начале сентября попрощался я с Саратовом, благодарный ему за все то, что он мне дал, и поселился в Кашире (108 километров от Москвы!).

Полная противоположность Саратову! Там у меня были милые знакомые, три рояля, прогулки и песчаный пляж летом; здесь — вот уже год прошел — ни единой души знакомой, совершенное одиночное заключение, которое я называю заключением кубическим — так как комната моя

является точным кубом: четыре аршина в длину, четыре в ширину, четыре в высоту. Тишина и молчание. Идеальные условия для работы.

Да, но сперва надо было найти работу. 1 октября 1936 года я написал три одинаковых письма трем литературно-издательским китам (через лет десять никто, наверное, не будет помнить имен этих рыбешек, постараюсь хоть здесь помочь беднягам): главному редактору Государственного издательства художественной литературы, некоему Лупполу; главному редактору отдела классиков в Государственном издательстве, некоему Лебедеву-Полянскому; заведующему Государственным издательством, некоему Накорякову. Текст всех трех писем был одинаков: «Поселившись в Москве, я хотел бы узнать, могу ли рассчитывать на какую-либо литературную работу в ГИХЛе — текстологию, комментарии и т.п. Прибавлю к этому, что у меня лежит в совершенно законченном виде работа в 50 печатных листов о черновиках и вариантах стихотворений Александра Блока (в ней до 10 000 неизвестных его строк), а также материалы ко второму и третьему томам монографии о Салтыкове, 1-й том которой вышел в издании «Федерация» в 1930 году».

Через месяц будет ровно год, как я жду ответа на эти письма. Все это — в порядке вещей.

В это время (осенью 1936 года) Государственный литературный музей — директор В.Д. Бонч-Бруевич — собирался издавать том писем Андрея Белого к Александру Блоку, приобретенных музеем у Л.Д. Блок*. Я предложил музею приготовить к печати письма Андрея Белого ко мне (200 писем за время от 1913-го до 1933 года, около 40 печатных листов). Музей принял мое предложение, дважды дал мне командировку в Детское Село (в декабре 1936-го и в апреле 1937 года, оба раза на месяц), — и вот я, после трех лет отдыха, засел за работу по шестнадцати часов в сутки: по договору надо было представить законченный том в 50 печатных листов к 1 июля 1937 года: сорок печатных листов текста и десять печатных листов комментариев[213]. День в день, 1 июля, я сдал музею всю эту работу, над которой просидел, не разгибая спины, семь месяцев. Когда она увидит свет — это вопрос другой; подождем наступления бесклассового (и бесцензурного?) общества.

Как много значил для меня в жизни Андрей Белый, как потрясен я был, узнав в начале января 1934 года в Саратове о его неожиданной для меня смерти — обо всем этом говорю в посвященной ему главе воспоминаний, а потому повторяться здесь не буду.

*Позднейшее примечание: том этот вышел в 1941 году[212].

И вот — с июля 1937 года я снова могу приняться за продолжение моих житейских и литературных воспоминаний. Они двигаются медленно вперед, так как все материалы к ним лежат в бывшем Царском, бывшем Детском, ныне городе Пушкине; а когда получу я возможность завершить цикл моих юбилейных путешествий и вернуться домой? Для этого надо получить от специальной комиссии ЦИКа «снятие судимости» (ведь меня же судили! и без меня судили!), а для этого, в свою очередь, надо подать в означенную Комиссию особое заявление, в коем надлежит раскаяться в прошлом и обещать верноподданничество в будущем. Но как же я могу раскаяться в том, что был «идейным центром народничества»?! Это напоминает мне рассказ старого знакомого, ныне покойного Д.П. Носовича, которого в 1919 году посадили в «концлагерь» Чесменской богадельни по обвинению в том, что его брат — министр в правительстве Деникина; срок пребывания в концлагере был обозначен в сопроводительной бумаге кратко и вразумительно: «Впредь до раскаяния». Безвыходное положение! Как можно раскаяться в том, что мой брат — министр?

Однако я все же попробовал найти выход — и обратился в указанную Комиссию (через политический Красный Крест) в конце марта 1937 года со следующим заявлением:

«В немногие оставшиеся годы (мне скоро 60 лет) мне хотелось бы довести до конца две основные работы моей жизни: 1) Монографию о Салтыкове-Щедрине, в 3-х томах (над которой я работал в изд. «Федерация» в 1930 году), — и 2) Почти готовое к печати исследование о черновиках стихов А.А. Блока (том в 50 печатных листов), над которым я работал со дня смерти поэта (1921 г.).

Работа эта была прервана моей ссылкой в Саратов, которая закончилась год тому назад (февраль 1936 года); работа может быть доведена до конца только в условиях занятий в архиве А.А. Блока и в рукописном отделении ИРЛИ (б. Пушкинский Дом), находящихся в Ленинграде, который мне недоступен ввиду невозможности для меня получить ленинградский паспорт.

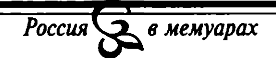
Прошу Комиссию Всероссийского Центрального Комитета по снятию судимости рассмотреть мое дело, дать мне разрешение на ленинградский паспорт — и тем самым дать возможность закончить книги, которые (полагаю это без самомнения) вносят немало нового в область литературоведения и которыми мне хотелось бы завершить свою более чем тридцатилетнюю литературную работу».

В конце апреля я получил от Красного Креста (официальное наименование его: «Помощь политическим заключенным») сообщение: «Ваше заявление мы переслали в Комиссию по делам Частных Амнистий при ЦИКе. Ответ получите непосредственно».

Через месяц будет ровно полгода, как я жду ответа на свое заявление. Все это в порядке вещей.

Однако ответ пришел гораздо скорее, чем я думал, когда писал эти строки, да только пришел совсем с другой стороны.

1934—1937



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО*

Repetitio est mater studiorum[214]

Латинская пословица

I

Последние строки писал я в сентябре 1937 года в Кашире; продолжаю теперь ровно через два года, в сентябре 1939 года, в городе Пушкине, бывшем Детском, бывшем Царском Селе. За эти два года чествование мое приняло особенно яркую окраску, так что рассказ о нем — продолжается.

29 сентября 1937 года я спокойно сидел в своей кубической комнате в Кашире и работал над воспоминаниями. Написано было уже до пятнадцати печатных листов, но надежды беспрепятственно работать над ними было мало: с самого начала года волна арестов захлестнула всех, кто был четырьмя годами ранее привлечен к моему «делу». В январе кончался срок архангельской ссылки Д.М. Пинеса, просидевшего до того два года в Верхне-Уральском изоляторе; в самый день окончания срока он был арестован и заключен в архангельскую тюрьму, после чего следы его навсегда пропали. В апреле месяце арестована была его жена, Р.Я. Пинес. Тогда же арестован был в Чимкенте и отправлен в один из лагерей Сибири Г.М. Котляров, где через год и скончался. И еще, и еще, и еще. Так что одна из наших петербургских знакомых, во время апрельского моего пребывания дома, не очень умно, но очень искренно вопрошала: «Отчего вас не арестуют?» Я успокоил ее старой поговоркой: что отложено — не потеряно. Но проходили месяцы — меня не трогали; может быть, и не тронут? Как раз 29 сентября днем я отправил В.Н. большое письмо, в конце которого привел прелестную басенку Даля, якобы написанную русским немцем, взявшимся за литературу (привожу ее по памяти):

«Один молодой козел пошел себя прогуливать. К нему подошел городовой и спросил:

*Первая глава настоящей части написана в 1939—1940 годах в Пушкине, остальные — в 1944 году в Пруссии, городишке Конице.

— Молодой козел, что ты делаешь?

Молодой козел отвечал:

— Я ничего не делаю, я просто себя прогуливаю.

Тогда городовой оставил его и пошел по своим делам.

Нравоучение: какой великодушный бывает русский человек!»[215]

Приведя эту басенку, я писал В.Н., что авось-де и старого козла оставят в покое, а великодушный городовой пойдет по своим делам, — мало ли их у него! Вот только великодушие современных городовых — под большим сомнением: мы далеко шагнули вперед со времен Даля.

Так вот, 29 сентября 1937 года, в 9 часов вечера, когда я спокойно работал в своей кубической комнате, раздался стук в наружную дверь. Квартирохозяин мой, Евгений Петрович Быков (оказавшийся очень порядочным человеком, что по нынешним временам явление не очень частое), пошел отворять; а через минуту распахнулась дверь и моей комнаты.

А дальше — стоит ли рассказывать? Повторение пройденного!

Конечно, повторение — мать учения, а потому советская власть решительно пренебрегла другой, не менее почтенной латинской поговоркой: non bis in idem[216]. Не повторяй дважды одного и того же, не сажай в тюрьму дважды по одному и тому же делу одного и того же человека, не повторяй ему дважды старых обвинений, пусть совершенно нелепых, но за которые он однажды уже подвергся незаслуженной каре. Но ведь и то сказать: а кто мог помешать теткиным сынам придумать еще кучу и новых обвинений?

Следователь каширского НКВД предъявил московский ордер на обыск и арест; сопровождавший его нижний чин начал с обыска моих карманов в поисках оружия. Затем — с 9 до 12 часов ночи — обыск во всей комнате, опустошенные чемоданы, перевернутые тюфяки, прощупанные подушки, забранные письма и рукописи. Тут погибли и мои «воспоминания», две толстейшие клеенчатые тетради, — всуе трудился пишущий! Погибла и целая папка материалов по студенческому движению начала девятисотых годов: гектографированные прокламации, стихи, протоколы студенческого Совета старост 1901—1902 годов — и многое невосстановимое. Почти через полтора года я прочел среди документов моего «дела» акт о сожжении взятых при обыске бумаг, как «не имеющих отношения к делу»[217]. Но чего же и требовать от малограмотного великодушного городового! А вот тетрадь «Юбилей» сохранилась чудом, хорошо была запрятана, — теткин сын ее не заметил!

В двенадцать часов ночи автомобиль повез меня в Каширу. (Город расположен в трех верстах от станции и станционного поселка, в котором я жил.) Накануне день был жаркий, я вернулся 28 сентября из Москвы еще в летнем пальто; но теперь, умудренный опытом, я надел в дорогу шубу и шапку с наушниками. Следователь только покосился на такую предусмотрительность: не на новичка напал!

Каширский НКВД, каширская тюрьма ДПЗ, одиночная камера и бессонная ночь (лютые насекомые). В десять часов утра — автомобиль; два следователя (один — в штатском, с чемоданчиком взятых при обыске бумаг) везут меня в общем вагоне дачного поезда в Москву. Жарко. Публика с изумлением взирает на мою шубу и шапку с наушниками: что сей сон значит? Москва, час дня; такси на Лубянку, 14, в московский областной НКВД. Здесь, на Лубянке, 14, я уже гостил в 1919 году; но теперь на месте небольшого двухэтажного дома с садом выросло многоэтажное, массивное здание: сильно разрослись теткины дела!

Меня провели на шестой этаж в дежурную комнату, где за письменным столом одиноко скучал очередной дежурный, и оставили с ним в молчаливом tête-à-tête[218]: ни он на меня, ни я на него не обращали никакого внимания за все те пять часов, которые я просидел на диване в этой дежурной комнате. За все это время было только два небольших развлечения.

Часа в три раздался шум в коридоре, возбужденные голоса, и в комнату втолкнули молодого и прилично одетого человека с толстой книгой в руках. Он был очень возбужден и восклицал с явным немецким акцентом: «На каком основании меня задержали? Что за безобразие! Требую немедленного освобождения!» Сопровождавшие его агенты сообщили, что взяли его у трамвайной остановки в Охотном ряду за агитацию среди толпы. Дело было вот в чем: пользуясь воскресным днем и хорошей погодой, он решил отправиться в гости к знакомым, которым давно уже обещал привезти показать имевшуюся у него Библию с известными иллюстрациями Густава Доре. Отправился и стал перелистывать Библию, рассматривая рисунки. Вскоре вокруг него столпилась группа любопытствующих, ему стали задавать вопросы, он стал показывать разные рисунки и объяснять их. Не успел он оглянуться, как к нему подошли два «великодушных городовых» в штатском и, несмотря на его уверения, что он только «просто себя прогуливает», — отвели его сюда на Лубянку. Дежурный отобрал у него книгу, бегло просмотрел и небрежно бросил на пол за своим столом.

— Почему вы мне ее не возвращаете? — возмутился молодой человек.

— А потому, что она — вещественное доказательство.

— Доказательство чего?

— Того, что вы вели религиозную пропаганду среди воскресной толпы...

Потом дежурный позвонил по телефону и сказал кому-то:

— Петя, тут есть подходящий субъект для твоей специальности, дело идет о религиозной агитации; я сейчас его к тебе пришлю.

И молодого человека, совершенно ошарашенного, увели, а какой-то нижний чин понес за ним и «вещественное доказательство». Сколько лет тюрьмы, ссылки или лагеря получил этот неосторожный молодой человек, который так неудачно «пошел себя прогуливать» в воскресенье? И при какой другой юрисдикции, кроме самой свободной в мире «сталинской конституции», возможно что-либо подобное?

Пока все это происходило, в соседней комнате все время раздавались голоса; вскоре дверь распахнулась, и в дежурную комнату вошла целая толпа, человек тридцать молодых людей, кто в форме, кто в штатском, все с портфелями в руках; возглавлял эту группу пожилой высокий и плотный человек, лет пятидесяти, начисто бритый, «некто в желтом» — с головы до ног в желтой коже: желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней какой-то знак отличия. Остановившись, «некто в желтом» сказал:

— Ну, на сегодня довольно; надеюсь, что вы достаточно усвоили книжку товарища Заковского[219]. В следующий раз — в воскресенье — продолжим занятия.

Я догадался: молодые люди были следователями, «ежовский набор», которых насвистывал теткин сын старшего поколения. С этим желтым человеком я через месяц встретился при весьма необычных и очень памятных для меня обстоятельствах, имел с ним краткую, но поучительную беседу; тогда же я узнал, что это был начальник секретно-политического отдела областного московского НКВД, товарищ Реденс. Но об этом — речь впереди.

Часов в шесть вечера за мной пришел нижний чин и повел меня с шестого этажа дежурной комнаты в подвал, в «распределитель». Повторение пройденного: личный обыск, отобрание столь опасных вещей, как чемоданчик, кашне, часы; спарывание с брюк столь опасных орудий, как металлические пуговицы; анкета. Смешной разговор при заполнении анкеты дежурным; он меня спросил:

— Фамилия?

— Ивáнов.

— Иванóв?

— Ивáнов.

— Почему Ивáнов? Иванóв!

— Степáн — Степáнов, Демьян — Демья́нов, Иван — Ивáнов; почему же Иванóв?

Аргумент этот настолько поразил дежурного своею неожиданностью, что он не стал спорить, мой филологический довод, по-видимому, его убедил; по крайней мере, поздно вечером, выкликая меня для посадки в «черный ворон», он провозгласил: «Ивáнов!»

Из анкетной комнаты меня втолкнули (буквально) в распределитель, густо населенную комнату ожидания в том же подвале. Время шло к вечеру; распределитель все больше и больше наполнялся вновь прибывающими арестованными — мужчинами и женщинами. Одна из них, молоденькая, в легком платьице, с завистью сказала мне: «Какой вы счастливый: и шуба, и вещи... А меня взяли со службы, вот как есть...» Брали и со службы, и с улицы, и из дома, и без обыска, и с обыском. Перепуганные лица, вытаращенные от ужаса глаза... Картина незабываемая.

Надо вспомнить, когда все это происходило: это был 1937 год, когда во главе НКВД стал либо явно ненормальный, либо явный провокатор Ежов, когда по всему лицу земли русской аресты шли не тысячами и не десятками тысяч, а сотнями тысяч и миллионами, когда все тюрьмы, центральные и провинциальные, были набиты до отказа, когда спешно строились (знаю это про Челябинск, про Свердловск) новые и новые бараки для новых табунов арестованных. Худшего и подлейшего «вредительства» нельзя себе и представить, а участь совершенно ни в чем не повинных миллионов людей нельзя оправдать никакими государственными соображениями. Явному дегенерату Ежову не за страх, а за совесть деятельно помогал явный мерзавец Заковский, прославившийся в 1937 году совершенно фантастической брошюрой о шпионаже, а в 1938 году сам арестованный (и расстрелянный) как шпион... Интересно, вскроет ли когда-нибудь история подоплеку тех невероятных гнусностей, которые совершались за эти два года (1937—1938), или виновникам удастся замести следы и свалить вину на стрелочников?

Так или иначе, но я попал в волну массовых сентябрьских арестов — и прекрасно сознавал, что теперь это уже «всерьез и надолго»[220]. Так и случилось: просидел я в тюрьме 21 месяц.

Поздним вечером набитый до отказа «черный ворон» забрал партию арестованных и повез нас в Бутырскую тюрьму. Здравствуй, старый знакомый 1933 года, бутырский «вокзал»! И одиночная камера ожидания! И личный обыск по старинному ритуалу: «Разденьтесь догола! встаньте! повернитесь! нагнитесь!» — и так далее, с одним лишь усовершенствованием (всюду прогресс!): «Раздвиньте руками задний проход!» Потом баня; потом перекличка — и группу человек в двадцать повели разными ходами и переходами на оседлое местожительство в камеру № 45, во втором этаже над банями (через год камеры были перенумерованы). Я пробыл в ней полгода.

Если четырьмя годами ранее камера № 65 показалась мне перенаселенной, когда в ней было семьдесят два человека на двадцать четыре места, то что же сказать теперь о моем новом жилище, где нас набилось сто сорок человек? Днем мы сидели плечом к плечу; ночью бок о бок впрессовывались под нарами (это теперь называлось: «метро») и на щитах между нарами (называлось: «самолет»), на нарах. Градация была прежней: новички попадали в «метро», по мере увеличения стажа попадали на «самолет» и с течением времени достигали нар, мало-помалу передвигаясь на них от «параши» к окну; движение это было столь медленным, что я два месяца спал в «метро» и лишь через полгода достиг вожделенных нар у окна. Об академике Платонове я больше не вспоминал: до него ли было, когда под нарами лежали и нарком Крыленко, и многие замнаркомы, и важный советский генерал, «четырехромбовик» Ингаунис (командующий всей авиацией Дальневосточной армии при Блюхере), и знаменитый конструктор аэропланов «АНТ» — А.Н. Туполев, и многочисленные партийные киты, и ломовые извозчики, и академики, и шоферы, и профессора, и бывший товарищ министра генерал Джунковский. И члены Коминтерна, и мальчики шестнадцати лет, и старики лет восьмидесяти (присяжный поверенный Чибисов и главный московский раввин), и социалисты разных оттенков, и «каэры» (контрреволюционеры), и мелкие проворовавшиеся советские служащие, и летчики, и студенты, и... да всех и не перечислить! Полная демократическая «уравниловка». Начни я описывать все свои тюремные встречи, знакомства, впечатления — описанию конца-краю не было бы: ведь за двадцать один месяц прошло никак не менее тысячи человек. Однако кое о ком и кое о чем расскажу. Сперва — о быте тюрьмы, потом — о людях и встречах, а потом уже — о моем «деле».

II

Утром в шесть часов — оклик дежурного по коридору «Вставать!», а иногда сразу же и другой, более желанный: «Приготовиться к оправке!» Ибо, вставая, мы часто мечтали о том, когда же нас поведут в уборную. Но тюрьма была переполнена, в уборную мы попадали иногда и в первую очередь, сразу же после вставания, а иногда и в последнюю, перед самым обедом; также и вечером — иногда перед сном, часов в девять, а иногда будили нас для этого и в первом часу ночи. Наши сто сорок человек не вмещались в уборной, так что приходилось разбиваться на две группы; староста выкликал: «Кому спешно?» При выходе из камеры в уборную дежурный выдавал каждому по маленькому листочку бумаги, — разумеется, не газетной и вообще не печатной. Мы умели экономить ее для других надобностей — особенно для надобности корреспонденции, о чем речь будет ниже. Перед семью устроенными в полу отверстиями с нарисованными рядом ступнями ног выстраивались очереди, и, в нарушение указа Петра Великого, происходило публичное оскорбление государственного орла. Тут же, в соседней комнате, — ряд умывальных кранов; очередь перед каждым из них.

В половине седьмого — окрик в дверную форточку: «Приготовиться к поверке!» Мы выстраивались на нарах в три ряда, еще один ряд стоял на полу. Отворялась дверь, входил корпусной, староста докладывал: «В камере сто сорок человек, двенадцать на допросе, пять в лазарете, налицо сто двадцать три человека». Корпусной шел по узкому проходу (к тому же в середине его еще длинный стол мешал), молча пересчитывал нас, иногда путался в счете и начинал поверку сначала. Та же история повторялась и в половине десятого вечера, перед сном. Для чего происходила эта ежедневная двукратная процедура — неведомо: куда же мог испариться заключенный? Разве только — покончил самоубийством и лежал под нарами. Об одной из таких попыток к самоубийству еще расскажу.

Вскоре после поверки открывалась дверная форточка, и наш выборный камерный староста принимал фунтовые куски хлеба и миску пиленого сахара — по расчету два с половиной куска на человека, таков был дневной рацион; происходил дележ сахара и хлеба, причем постоянно раздавались просьбы: «Мне горбушку! мне горбушку!» Горбушки считались экономнее и питательней, но их было мало и получали их в порядке очереди. Появлялись два громадных, ведерных металлических чайника с

желтеньким настоем из сушеной моркови или яблочной кожуры; каждому из нас была выдана кружка, и староста разливал этот «чай».

В полдень подавался обед — вносились ведра с супом или борщом; каждый имел металлическую мисочку, вместимостью тарелки в полторы, и деревянную ложку; староста разливал. Надо признать, что по сравнению с 1919 годом (и даже с 1933-м) прогресс был большой: порции были достаточны, а супы и борщи совсем неплохие и даже разнообразные. Каждый день меню менялось: по понедельникам бывал густой борщ из свеклы и капусты, с микроскопическими кусочками мяса; по четвергам — густой рыбный суп из трески; в остальные дни — разные супы, тоже густые, но в которых всегда поражал какой-то необычный вкус, как оказалось — от большого количества прибавленной соды. Для чего это делалось — объяснил мне сосед по нарам, доктор; в своем месте упомяну о причине такой странной гастрономической приправы. Часов в шесть вечера подавался ужин — большие ведра каши, каждый день разной и опять-таки по строго выдержанному расписанию: по понедельникам — гречневая размазня, по вторникам — пшенная каша, потом перловая, ячневая, манная и всякие другие. Каша была полита ужасным хлопковым или конопляным маслом, полагалось ее, по тюремному расписанию, 200 грамм на человека. Не скажу, чтобы мы были сыты, но нельзя было и умереть от голода. Однако цингой заболевали, особенно проведя в тюрьме год, два, три (были и такие); и это несмотря на то, что существовала возможность сильно пополнять свое питание продуктами из «лавочки», о которой скажу ниже. После ужина — вечерний «чай», такой же, как утром.

В разные часы дня или даже ночи — прогулка; двадцать минут мы могли беспорядочно толкаться и бродить по тюремному двору, специально предназначенному для прогулок. Иногда и в два часа ночи нас будили окриком: «Кто желает на прогулку!» А так как спали мы наполовину одетыми, то делать больших сборов не приходилось и желающих оказывалось всегда много.

Когда в тюремном режиме с весны 1938 года пошли разные строгости, то и прогулка была введена в строгие рамки: надо было молча ходить попарно, кругом, совсем как на картине Добужинского; по середине круга, вместо паука в маске, стоял дежурный по прогулке и наблюдал за гуляющими. Вскоре было введено еще одно правило: гуляя, закладывать руки за спину. Мне не нравилось быть иллюстрацией в такой паучьей картине, и я тогда совершенно отказался от прогулок: безвыходно просидел

10 — 1478

в разных камерах с весны 1938 года по лето 1939 года. Лишение прогулки было одним из тюремных наказаний за разные провинности: вступал в неуместные пререкания с дежурным, засиделся в уборной и не успел выйти из нее вместе с камерой, нагнулся и что-то поднял с земли во время прогулки, царапал на стене уборной какие-то условные знаки — и многое подобное. Выпуская камеру на прогулку, корпусной со списком в руке возглашал ряд фамилий, прибавляя: «Без прогулки!» Таким образом, я добровольно сам себя подверг годовому наказанию — «никем не мучим, сам ся мучил» — и нисколько не сожалел об этом: слишком противно было вертеться по собачьему кругу под окрики паука в маске: «Руки назад! не разговаривать! не нагибаться!» Правда, просидеть больше года в душных и вонючих камерах — особенно в палящее лето 1938 года — без движения и без воздуха дело было нелегкое, и я вышел из тюрьмы на волю «краше в гроб кладут». Но зато до чего же приятно было раз в день оставаться в просторной камере одному и либо гулять по ней, либо молча лежать на нарах в обществе лишь двух-трех очередно наказанных! Тишина, безмолвие, покой... Вот уж подлинно —

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина![221]

Только тот может ее оценить в полной мере, кто месяцы и годы провел в шумной камерной толпе, впрессованный в нее и лишенный возможности хоть на миг уйти в одиночество. Я ходил по камере либо ложился на нары и наслаждался симфонией тишины больше, чем на воле наслаждался любимыми симфониями лучшего оркестра. Возвращалась с прогулки камера — и прощай, возлюбленная тишина, до следующей прогулки!

Около десяти часов вечера — окрик в дверную форточку: «Приготовиться к поверке!» — и снова повторение утренней процедуры: доклад старосты, молчаливый подсчет коридорного. И вскоре приказ: «Ложиться спать!» День кончен; наступает ночь.

Как спали мы на голых досках нар и в дикой тесноте? Ко всему человек привыкает, даже к синякам на боках от твердых досок. Ночь была томительным временем. Заснешь на боку, подложишь под голову мешок с вещами, накрывшись шубой и тесно впрессовавшись между правым и левым соседом, — лежать на спине не приходилось, места для этого не было. Через полчаса-час проснешься от боли в костях — отлежал себе бок;

встанешь, поворачиваешься на своей оси на 180 градусов — и снова впрессовываешься другим боком между двумя спящими соседями. Попробуешь подложить шубу под бок — нечем накрыться, холодно; опять встаешь, опять поворачиваешься, опять впрессовываешься, засыпаешь. Но тут сосед справа начинает проделывать такую же операцию и этим будит тебя; чуть заснешь — этим же начинает заниматься и сосед слева. А через полчаса начинаешь и сам вновь проделывать всю эту процедуру — сначала. Какой уж тут сон! К тому же поминутно то один, то другой из обитателей нар встает и шествует по нарам к «параше», через ноги и по ногам густо спящих товарищей; раздаются сонные ругательства разбуженных. Иногда шествующий (раз это случилось и со мной) спотыкался и падал всем телом на спрессованную массу спящих — можете себе представить, что тут происходило! В этом отношении счастливее были обитатели «метро»: по крайней мере, никто не мог пройти ночью по их телам. Какой уж тут был сон! Так проходила ночь. Наконец — побудка: «Вставать!» Слава Богу, ночь прошла. Встаешь, нисколько не освеженный сном, точно весь избитый, с мутной и туманной головой. А впереди — длинный день томительного безделья и утомительного торчанья на тычке скамейки, бок о бок и плечо к плечу с такими же сонными соседями. И подумать только, что это будет продолжаться изо дня в день, из ночи в ночь — неделю, месяц, год...

Забегая несколько вперед, скажу, что такая скученность населения камер продолжалась лишь до нового года. Сентябрь—декабрь 1937 года были вершиной волны массовых арестов; сразу же началась и массовая фильтрация забранных. На допросы — теперь не только ночью, но и днем — водили людей пачками; раз в неделю, вечером по субботам, являлся корпусной со списком в руках и оглашал фамилии: такие-то и такие-то — «собираться с вещами!» Обыкновенно партии эти заключали в себе человек двадцать и были предназначены к отправке в дальние лагеря; отправляли их из разных камер в большую распределительную «этапную камеру» — в здании бывшей тюремной церкви посередине двора и оттуда уже большой партией в сотни человек — на поезда, для следования по этапу в лагеря. О том, что девяносто девять и девять десятых процента из них были люди ни в чем не повинные, говорить не приходится; осуждены были они быстрым шемякиным судом после двух-трех допросов, чаще всего по статье 58 пункту 10 за контрреволюционные разговоры. Достаточно было доноса соседа по коммунальной квартире, зарившегося на комнату оговоренного, достаточно было любой анонимки, написанной по злобе,

чтобы людей хватали направо и налево: потом разберемся! И разбирались в два счета. На волю не выходил никто, быть может, один из тысяч, а остальные шли партиями этапным порядком дополнять собою число египетских рабов в далеких лагерях.

Приток новых арестованных происходил ежедневно, но утечка превышала этот приток, в течение трех последних месяцев 1937 года число обитателей нашей камеры № 45 постепенно уменьшалось: из ста сорока на 1 октября нас стало через месяц лишь сто десять, а к новому, 1938 году число наше стабилизировалось: нас осталось восемьдесят, крепко засевших в тюрьме по более серьезным обвинениям: «шпионаж», «вредительство», «троцкизм», «терроризм», «организации»... Число это незначительно колебалось — то от прихода новых заключенных, то от ухода старых; так продолжалось все то время, пока я пробыл в этой камере № 45, до начала апреля 1938 года.

Восемьдесят человек после ста сорока — да ведь это земля обетованная! Есть старый-престарый анекдот о бедном местечковом еврее, обитавшем с женою и шестью детьми в тесной халупе и жаловавшемся раввину на свою горькую и тесную жизнь. Мудрый раввин приказал: возьми в свою халупу еще и козу и приходи через неделю. Еврей взял козу и через неделю пришел к раввину с еще горшей жалобой. Раввин велел: возьми в халупу еще и корову. Взял — через неделю пришел в полном отчаянии: жить стало совсем невозможно! Тогда раввин сказал: убери козу. Убрал, немного полегчало. Еще через неделю раввин велел: убери и корову. Убрал и пришел к раввину сияющий: так просторно и хорошо стало жить ему с семьей в прежней тесной халупе, точно в землю обетованную попал!

Когда я в 1933 году мимолетно попал в общую камеру Бутырской тюрьмы, густо населенную семьюдесятью двумя несчастными людьми, то мне она показалась с непривычки одним из кругов Дантова ада; тогда я еще не испытал на себе, что значит жить в камере такого же размера с населением вдвое большим. Теперь же, когда нас осталось всего (всего!) человек восемьдесят (а это на двадцать-то четыре нормальных места!) — как стало просторно и хорошо! Правда, по-прежнему приходилось и впрессовываться, и поворачиваться на 180 градусов (ибо разрядилось главным образом население «метро»), но какое же сравнение с прежним! «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», — возгласил около этого времени товарищ Сталин во все советское всеуслышание. А к тому же — к новому году администрация тюрьмы сделала нам неожиданный подарок:

в один прекрасный вечер широко распахнулась дверь камеры, и дежурный по коридору стал бросать нам тюфяк за тюфяком! Радость была неописуемая. Нам выдали мочальные тюфяки в холщовых мешках по расчету два тюфяка на трех человек и по одеялу на каждого человека. Мы густо устелили тюфяками нары; спать было по-прежнему тесно, но бока уже не болели.

Вообще должен отдать полную справедливость администрации тюрьмы: она образцово справилась с трудной, поставленной перед ней ежовскими сынами задачей — организовать жизнь в тюрьме, в былые времена вмещавшей не более двух-трех тысяч человек, а теперь вынужденной вместить в себя двадцать—тридцать тысяч одновременно. Вопросы размещения, питания, чистоты свалились на тюремное начальство как снег на голову, оно блестяще справилось с поставленной перед ним задачей. Прибывшие к нам из провинциальных тюрем рассказывали, что творится там; эти кошмарные рассказы и вспоминать не хочется: вши, клопы, клоака, теснота. Наша перенаселенная Бутырка казалась им землей обетованной — точь-в-точь как еврею в анекдоте о козе и корове.

Чистота: соблюдать ее среди такой массы людей было задачей нелегкой, но она была разрешена в полной мере. Насекомых на нас не было, с клопами велась неутомимая борьба. Раз в десять дней нас водили в баню, отсутствие наше из камеры продолжалось часа два; за это время приходили в камеру дезинфекторы и спрыскивали каким-то пахучим раствором все щели между досками, все углы и закоулки в камере, все скамьи и табуретки, и даже обеденный стол. Правда, весь следующий день у каждого из нас трещала голова от запаха ядовитой жидкости, но зато клопы пропадали, чтобы снова понемногу появляться в течение недели и снова исчезнуть при очередной бане.

Баня! Это всегда было для нас великом праздником, когда бы она ни происходила — утром, днем или ночью. Нас вели в нижний этаж, вводили в жаркий предбанник, свободно вмещавший сотни полторы человек. Мы раздевались на изразцовых скамьях, все платье, пальто, шубы, одеяла, холщовые мешки для тюфяков, все, кроме белья, вешали на выдававшуюся каждому металлическую вешалку — и становились в очередь перед широкими окнами, ведущими в дезинфекционное отделение, где какой-то усатый старик (мы его прозвали «банным дедом»), окруженный несколькими нижними чинами, принимал от нас вешалки и вставлял их за крючья внутрь огромных металлических шкапов. Шкапы наглу-

хо запирались, через них пропускался сухой пар, насыщенный дезинфекцией, потом температура в них поднималась до ста градусов — и по окончании мытья мы получали обратно наши вешалки (как трудно было найти свою среди сотни других!) с горячим и продезинфицированным платьем. Белье мы брали с собой в баню.

Не баня, а рай: обширное, ярко освещенное помещение с четырьмя каменными столбами посередине и с изразцовыми скамьями вдоль стен; в столбы вделаны попарно краны с горячей и холодной водой. Каждый из нас, входя в баню, получал металлическую шайку и кусочек мыла: надо было не только вымыться самому, но и выстирать свое белье. У большинства из нас не было сменной пары белья; мы стирали в шайках, — на эту процедуру давалось полчаса, — а потом развешивали выстиранное на специальных передвижных высоких вешалках на колесах, и банный дед увозил их в сушильное отделение.

Стирка для неопытного мужчины — дело хитрое; я начал первый свой опыт с того, что заварил белье крутым кипятком, а потом удивлялся, почему же это мое столь тщательно выстиранное белье не отстиралось? В следующий раз мне помог своими указаниями молодой китаец; он работал в Москве в прачечном заведении и теперь с недоумением повторял о себе: «Был пирлачка, стал шипиона!» Так вот, этот самый «Пирлачка-шипиона» (как мы его прозвали) и научил меня всем тонкостям прачечного искусства, так что белье выходило у меня на редкость чистое. Впрочем, с течением времени белье это стало обращаться в жалкие лохмотья...

На стирку нам давалось полчаса, а пока белье сохло, мы имели еще полчаса для мытья и прочих банных развлечений и удовольствий, а именно: в предбаннике появлялся голый парикмахер (свой же брат Исаакий), вооруженный машинкой для стрижки волос, желающие могли стричься и бриться. Впрочем, «бриться» — это сказано условно: бритв, разумеется, не было, и волосы с подбородка снимались той же машинкой. Тут же рядом можно было и обстричь ногти: на изразцовой скамье в предбаннике лежал с десяток — не ножниц, избави Бог! — а щипчиков-кусачек, которые не то чтоб обстригали, а как бы обгрызали ногти. Научиться искусству владеть этими кусачками было нелегко, но «повторение — мать учения», и мы в конце концов научились владеть этими странными инструментами.

Пока все это происходило, а наше платье дезинфицировалось и белье сохло, мы не теряли времени даром: баня была почтовым отделением всей

тюрьмы. Переписка велась со всеми камерами, мужскими и женскими, и как ни бился тюремный надзор, но заключенные всегда умели перехитрить его. Строго было запрещено иметь в камерах карандаши, их беспощадно отнимали при обысках, а виновных в хранении сажали в карцер, — ничего не помогало: в каждой камере имелись карандаши, чаще всего — кусочки графита, тщательно припрятываемые в стельках башмаков, во всех швах пальто и шуб. И вот по стенам бани, часто даже на высоте двойного человеческого роста, пестрели многочисленные и часто сменявшиеся надписи: «Дора Никифоровна —10 лет концлагеря»; «писатель Пильняк приговорен к расстрелу»; «Щуренок, отзовись — где ты?»; «Валя ждет письма» — и многие подобные. Но кроме этой стенной литературы шла и настоящая переписка, так что Валя не напрасно ждала письма: попав в предбанник и баню, мы быстро и незаметно обшаривали пол под изразцовыми скамьями и находили там хлебные катышки разных размеров. В изжеванный мякиш хлеба вкладывались записки, иногда целое письмо, хлеб скатывался шариком, шарик засушивался — и предоставлялся на волю случая под изразцовыми скамьями предбанника и бани. Первый нашедший «распечатывал» это письмо, если адресат находился в этой камере — письмо сразу доходило по назначению; если же нет, то письмо снова «запечатывалось» тем же манером и оставалось ждать своей судьбы под скамьей. А так как за одной камерой немедленно же шла в баню другая, третья, и так вся тюрьма проходила баню в одну десятидневку, то письма чаще всего безотказно доходили по своему назначению. «Почтовое отделение № 2» — так мы называли баню; номером первым была уборная, где камеры бывали два раза в течение суток и где таким образом переписка происходила быстрее и интенсивнее, но зато не со всей тюрьмой, а лишь с камерами нашего коридора.

Но вот закончены все процедуры — стирка, мытье, стрижка волос и ногтей, почтовые хлопоты, — и банный дед выкатывает в предбанник вешалки с горячим и сухим бельем; потом мы толпимся перед окнами выдачи платья — и получаем его тоже горячим и пропахшим острым дезинфекционным запахом. Выстраиваемся попарно и отправляемся «домой», в свою камеру, освеженные и развлеченные.

Кстати — о банном деде. Прошел уже год моего пребывания в тюрьме, я сидел в камере № 79, в третьем этаже другого корпуса, как вдруг однажды открылась дверь и в камере появился собственной персоной банный дед! Кто же из нас не знал его! Изумленные, мы стали спрашивать —

какими судьбами попал он в наше общество? Оказалось, что в разговоре со своими помощниками по дезинфекционной камере, нижними чинами, он имел неосторожность сказать: «При Ленине этого бы не было...» Он, старый коммунист, имел в виду ежедневно проходившие перед его глазами рубцы на спинах от резиновых палок при допросах, синяки от кулачных ударов и вообще разные видимые результаты физических аргументов ежовской юридической системы. Среди нижних чинов один (а может быть, и не один) оказался «наседкой», высидевшей донос, — и банный дед стал нашим товарищем по камере. Судьба его была решена скоро: месяца через два он получил пять лет концентрационного лагеря.

Мы с интересом расспрашивали банного деда о разных неизвестных нам подробностях административного тюремного распорядка и с удивлением узнали между прочим, что во время купанья женских камер он продолжал исполнять свои обычные банные функции, только молодые нижние чины заменялись женским персоналом из уголовниц. На вопрос, не стыдились ли его женщины, он отвечал: «Чего меня стыдиться, я старик»; его спросили, много ли бывало избитых женщин, он кратко сказал: «Бывали!»; а когда ему задали вопрос, как же сам он не стыдился, то он махнул рукой: «Кабы была одна голая баба — ну это точно, было бы совестно, а сто голых баб — вполне невпечатлительно!..»

III

Баня была праздником — и отдыхом, и развлечением; но развлечения бывали у нас и другие. Вот, например, каждую пятницу — обход камер комендантом, помощником начальника тюрьмы, для приема заявлений и жалоб. Рано утром корпусной предлагал старосте выяснить число желающих писать заявления; число это бывало всегда очень большим — не менее трех четвертей камеры. Когда число было выяснено, дежурный по коридору выдавал такое же количество четвертушек бумаги, три-четыре чернильницы, с десяток ручек с перьями. (И как это не боялись выдавать нам такие опасные острые орудия, когда даже металлические пуговицы спарывались с платья при первом же обыске!) Вплоть до обеда камера погружалась в сравнительную тишину: перья скрипели, разговоры шли шепотом, ожидавшие очереди получения перьев молчаливо обдумывали предстоящие заявления. Писать вы могли о чем угодно и кому угодно: своему следователю, начальнику отдела, начальнику тюрьмы, прокурору НКВД, про-

курору республики, наркомам, Политбюро, «самому Сталину». (Вот только нельзя было писать письма жене, дать ей знать о своем существовании...) И писали, писали, писали: жаловались на методы допросов, просили о свидании с больной женой (тщетные просьбы!), указывали на свою полную невинность, на оговоры, отказывались от ранее сделанного вынужденного сознания... Камерные «наседки» пользовались случаем и строчили доносы, сообщали о разговорах в камере, называли ряд фамилий. Одну из таких «куриц» удалось разоблачить: дальнозоркий сосед по писанию прочел несколько фраз в изготовлявшемся доносе. Произошел скандал, «курицу» изрядно потрепали, и начальство немедленно перевело эту «курицу» в другую камеру, а мы через почтовое отделение 1 и 2 поспешили оповестить об его фамилии всю тюрьму.

Но вот — заявления написаны, обед пришел. Часа в два раздавался окрик: «Встать!» — и в камеру входил в сопровождении корпусного помощник начальника тюрьмы, молча проходил по рядам, молча принимал заявления; их по счету должно было быть ровно столько же, сколько было выдано четвертушек бумаги. Во время этого обхода можно было делать и устные заявления — например, о недостаточном количестве получаемых камерой книг из тюремной библиотеки, о плохом качестве пищи, о недостаточном времени для прогулок (дежурные по прогулкам часто уменьшали наш «прогулочный паек») — и о тому подобных мелочах тюремного обихода. Выслушав эти жалобы и приняв письменные заявления, помощник начальника покидал камеру, чернила и перья отбирались — и наш писательский зуд проходил до следующей пятницы. Как-никак, а все же это было развлечением.

Я ни разу не написал ни одного заявления: знал, что это решительно ни к чему. Полагаю, что и большинство писавших прекрасно знало, что заявления эти не пойдут дальше следовательского стола, или, вернее, корзин для сорных бумаг. Был такой случай: один из заключенных, московский педагог, написал на имя прокурора республики очень яркую жалобу на действия своего следователя; он был приглашен к последнему, получил от него несколько затрещин, а разорванное на клочки его заявление тут же было брошено ему в лицо. Все это знали — и все-таки писали, писали, писали, быть может, надеясь на русский «авось», а может быть, и ни на что не надеясь, просто для развлечения. Только один род этих заявлений приносил немедленные плоды: заявление об отказе от прежних показаний, вынужденных физическими аргументами следователя.

Тогда взбунтовавшегося тюремного раба немедленно вызывали к следователю — и система допросов начиналась сначала. Плохое это было развлечение.

Но вот уже не развлечение, а настоящее событие, происходившее три раза в месяц: «лавочка»!

Никаких личных передач не полагалось, да они были и невозможны при создавшихся условиях. Когда в тюрьме сидело три тысячи человек, как это было в 1933 году, еще можно было устраивать передачи продуктов и белья; но теперь, когда в той же тюрьме было скучено 30 000 человек, о возможности таких передач не приходилось и думать, вместо них были разрешены денежные передачи. Каждый заключенный имел право получать от семьи (буде таковая оставалась на воле) по 50 рублей в месяц; получки эти могли происходить и не единовременно, а различными суммами. Надо сказать, что это обстоятельство давало возможность получать некоторые известия с воли. Например, уходит из камеры «с вещами» один из заключенных: куда? в другую камеру, в лагерь или на волю? Если на волю, то он дает обещание какому-нибудь своему товарищу, остающемуся в нашей камере, выслать ему в счет месячной суммы три рубля. Этого оставшегося товарища мучает вопрос: арестована ли его жена или еще на свободе? Уславливаются: если она на свободе, то она пришлет мужу не три, а семь рублей, а если на свободе и старший сын, то восемь. И так далее, условия бывали многоразличны. Но к середине 1938 года тюремное начальство дозналось через своих «наседок» обо всей этой телеграфической махинации, и прием денежных передач был ограничен условием: можно было передавать или сразу 50 рублей, или два раза в месяц по 25 рублей. Это сузило телеграфические возможности, но не прекратило их, так как уславливались по-новому: если сумма будет передана сразу — это значит то-то, если в два приема — означает то-то и то-то.

Получаемые деньги на руки не выдавались, а вносились в тюремную кассу; заключенный получал на руки только квитанции с указанием имеющейся у него «на текущем счету» суммы. Он имел право расходовать ее на покупки из тюремной «лавочки», не более 16—17 рублей в десятидневку. В квитанции после каждой «лавочки» отмечался произведенный расход и остававшаяся на текущем счету сумма.

День «лавочки» был днем великого волнения. Утром староста получал от корпусного прейскурант тюремной лавочки и оглашал нам его во всеуслышание. Прейскурант делился на две части — продуктовую и ману-

фактурную; оглашался список имеющихся на этот раз в лавочке товаров и цены на них. Некоторые запомнились: белые батоны —1 р. 40 к.; маргарин —12 р. за килограмм; конфеты —5 р. кило; пиленый сахар —10 р. кило; осенью яблоки —60 к. кило; можно было получить черный хлеб, бублики, сушки; иногда — селедки, соленые помидоры или огурцы, лук; всегда — махорку, спички и папиросы разных сортов, от 35 к. за четверть сотни до двух рублей. Из мякиша черного хлеба мы ухитрялись выделывать прекрасные трубки для курения махорки, и после каждой «лавочки» дым столбом стоял в камере.

Мануфактурная часть прейскуранта состояла из разных вещей: рубашки — 10 р., кальсоны — 12 р., носки — 4 р., ватная куртка — 16 р., калоши — 10 р., башмаки — 45 р. Чтобы купить такие дорогие вещи, надо было копить деньги и поголодать; например, чтобы купить башмаки, надо было пропустить две «лавочки» и лишь на третью позволить себе этот расход.

Каждый может покупать что ему угодно в пределах 16—17 рублей, накупить хоть двенадцать штук белых булок, хоть три кило конфет, хоть полсотни пачек папирос самого дешевого сорта, — полная свобода выбора, может накупить хоть на семнадцать рублей, хоть на один рубль. Но — при одной нагрузке «обязательного ассортимента»: каждый, покупающий на любую сумму, должен непременно приобрести 200 грамм чеснока. Можете себе представить, какой чесночный аромат стоял в камере! Однако мы его не замечали: когда каждый ест чеснок, то не чувствует его запаха из уст другого.

Этот обязательный ассортимент объяснялся антицинготными свойствами чеснока. Мой сосед по нарам, доктор, указал, однако, что другое свойство чеснока находится в полном противоречии со свойствами той соды, которою так обильно приправляли наши супы. Чеснок, хорошее противоцинготное средство, имеет, однако, свойство сильно возбуждать половую деятельность, а сода в больших количествах имеет свойство эту деятельность погашать. Так и производился этот опыт борьбы соды с чесноком.

Прейскурант оглашен; староста записывает на выданном ему листе бумаги все заказы каждого поименно; потом пять-шесть наиболее дюжих товарищей отправляются во главе со старостой и предшествуемые тюремным стражем в тюремную лавочку в первом этаже тюрьмы — и возвращаются, сгибаясь под тяжестью мешков. За это время расчищаются на на-

рах места, куда складываются все покупки — и староста производит дележ по именному списку; начинается пир горой...

Все это, вместе взятое, занимало добрую половину дня, который считался настоящим праздником; лишение же «лавочки» за какие-либо тюремные провинности камеры — было одним из самых больших наказаний. Наш доктор подсчитал, что дневной тюремный рацион плюс средний лавочный «приварок» составляют в день по 1600 калорий на человека — количество, достаточное при условии сидячей и бездеятельной жизни, какою мы жили. Вот только расходы нервной энергии при допросах не входили в этот подсчет...

Не все заключенные, однако, имели денежные передачи; были «бедняки», не получавшие денег или потому, что некому было их посылать (например, если вся семья арестована), или потому, что следователь по своим соображениям лишал узника этого права. Я принадлежал к числу последних: следственные органы категорически отказались сообщить В.Н., где я нахожусь, и она в течение почти полутора лет ничего не знала о моей судьбе, а значит, и не могла пересылать мне деньги. Таких по разным причинам «бедняков» или «лишенцев» бывало в камерах обыкновенно процентов десять, и камера приходила им на помощь, организовав так называемый «комбед» (комитет бедноты). Было принято за правило, по добровольному соглашению, отчислять десятую часть «лавочных» денег в пользу комбеда. Расчет происходил примерно таким образом: нас в камере 80 человек, из них — 8 человек «бедноты»; каждый из имеющих деньги покупает в эту «лавочку» рублей на 16—17, а значит, все они вместе — на тысячу сто, тысячу двести рублей, так что на долю «комбеда» приходится рублей сто десять или сто двадцать, а на долю каждого «лишенца» по 14—15 рублей. Иначе говоря, мы, «бедняки», могли покупать каждый раз почти на такую же сумму, как и наши богатые товарищи. Случалось, что число «лишенцев» в камере возрастало — тогда на долю каждого приходилось меньше; наоборот, если число их падало настолько, что каждому из них при такой системе распределения пришлось бы получить более семнадцати рублей, то процент отчисления понижался до семи и даже до пяти процентов. Вообще организация была продуманная.

Староста каждый раз сообщал общую сумму покупок по «лавочке», вычислял долю «комбеда» и каждого из нас и принимал наши заказы. Должен сказать, что не испытывал никакой горечи от такой товарищеской помощи, ибо делалась она обычно от чистого сердца. За все тюремное время помню только один случай, когда прибывший в нашу камеру

коммунист Золотухин отказался отчислять в пользу «комбеда», заявив, что он — против всякой личной благотворительности. Когда, вскоре после этого, его, избитого следователем, привели с допроса в камеру и он попросил у соседа по нарам воды, сосед имел жестокость ответить, что и он тоже — против всякой личной благотворительности. После этого Золотухин стал отчислять в «комбед», но все «лишенцы» отказались принимать его отчисление.

Надо прибавить ко всему этому, что ежемесячная передача в 50 рублей была далеко не у всех единственным источником расходов: у многих камерных «богачей» иной раз лежало на текущем тюремном счету и по нескольку сот, и по нескольку тысяч, а у одного нашего миллиардера — даже целый капитал в 17 000 рублей. Это были те сотни и тысячи, которые находились при них во время ареста или намеренно были захвачены с собою в тюрьму. При вступительном обыске деньги отбирались и отправлялись в тюремную кассу на именной текущий счет, а обладатель этих тысяч видел себя богатым, яко же во сне, ибо все равно не мог истратить в месяц на «лавочку» более пятидесяти рублей, как и все прочие, менее богатые товарищи.

IV

Баня и «лавочка» были событиями; какие же еще развлечения были в нашей гиблой тюремной жизни? «Газеты»!

Не подумайте только, что мы действительно получали газеты; нет, приток каких бы то ни было новостей в тюрьму был глухо-наглухо закрыт. Никаких свиданий никому не полагалось, ни о каких газетах и помину не было. «Газетою» мы называли каждого новоприбывшего в нашу камеру. Иногда он почему-то переводился к нам из другой камеры или, что бывало чаще, приходил из другой тюрьмы, — тогда мы узнавали новости из соседнего или вообще из тюремного мира; иногда, что бывало еще чаще, он приходил «с воли» — и тогда мы узнавали новости из мира свободного. Можете себе представить, с какой жадностью набрасывались мы на «газету», как расспрашивали обо всем, что происходит на свете! «Газеты», очень частые в конце 1937 года и в первой половине 1938 года, становились потом все более и более редкими, а для меня и совсем прекратились с 6 ноября 1938 года по одному необычному случаю, о котором расскажу в своем месте.

Зато кроме «газет» были у нас книги. Раза два в месяц тюремный библиотекарь приносил нам стопу книг — по расчету одной книги на трех человек, — а выбранный нами камерный «библиотекарь» распределял книги «по стажу»: первым выбирал себе книгу дольше всех сидевший в тюрьме, за ним в порядке такой же очереди и остальные. К концу 1938 года стаж мой был уже настолько велик, что я мог выбирать себе книгу из первого десятка, хотя передо мной были люди, сидевшие в тюрьме уже третий и четвертый год (все еще в периоде «предварительного следствия!»). Книги были главным образом по переводной беллетристике, затем русские классики, несколько книг по математике и технике, но ни в коем случае не иностранные книги и не самоучители языков. Среди книг попался однажды том воспоминаний Аполлона Григорьева, вышедший в издательстве «Академия» под моей редакцией и с моими статьями[222], — недосмотр тюремного библиотекаря! Том этот привлек особенное внимание камеры, — всякий хотел прочитать книгу своего сокамерника.

Кроме книг помогали проводить время и многочисленные «кружки по самообразованию». Таких кружков в камере обыкновенно существовало несколько: кружки по изучению французского, немецкого и английского языков, по низшей и высшей математике, по астрономии (этот вел я), по автомобильному делу и даже по бухгалтерии; самыми многочисленными были кружки бухгалтерский и автомобильный. Каким образом можно было вести эти кружки без бумаги и карандаша — дело загадочное, но, однако, они велись целыми неделями. Свой «курс астрономии» я закончил в шесть недель при ежедневных занятиях часа по два между обедом и ужином; кружки языков были еще более продолжительными. Конечно, они велись по «звуковой системе», все бралось только на слух и на память; один только руководитель автомобильного кружка лепил из мякиша черного хлеба детали автомобиля, конфискованные при первом же обыске (об этих обысках — речь особая). Как-никак, а время проходило.

А тут еще дополнительные развлечения, прерывавшие наши занятия. Ежедневно между обедом и ужином появлялся в коридоре фельдшер с тележкой лекарств; мы заранее слышали скрип ее колес, и болящие выстраивались в хвост перед дверной форточкой. Диагноз фельдшер не ставил, а просто давал по просьбе каждого какие-либо немудрящие лекарства: таблетку аспирина или салола, зубные капли (смочив ими кусок ватки), пригоршню ромашки; смазывал йодом порезы (и откуда только брались!), а главное — записывал в книжку тех, кто просился к врачу той

или иной специальности. За все время моего пребывания в тюрьме никаких серьезных эпидемий не было; лишь в начале 1938 года все мы поголовно переболели гриппом, которым нельзя было не заразиться при нашей скученности от одной больной «газеты».

И еще ежедневное развлечение — кормление голубей, десятками слетавшихся на наши подоконники; голубей мы кормили остатками каши и хлебными крошками. Кормление это было строго воспрещено и каралось, но тем не менее происходило. Ходили тюремные легенды, что какие-то одиночные камеры приручили голубей и связались между собой голубиной почтой; так это или не так, но тюремное начальство запрещало нам кормить голубей, а мы все же кормили — и не один раз были за это лишены прогулок, а один раз и «лавочки».

Что же еще? Нас поочередно водили фотографировать; затем — нововведение! — водили даже в дактилоскопический кабинет, где мы оставляли отпечатки своих пальцев; при миллионах преступников дело совсем бессмысленное, но — чем бы дитя ни тешилось...

Наконец — последнее: когда камера несколько поредела, козу и корову увели, и остались мы в комплекте около восьмидесяти человек закоренелых преступников, то утром после сна и вечером перед сном желающие занимались массовой физкультурной гимнастикой: утренняя зарядка и вечерняя зарядка. На нарах выстраивались в затылок и повторяли по указанию «физкультурника» многоразличные движения, вплоть до «бега на месте», что производило на деревянных нарах потрясающий грохот. Начальство сперва не препятствовало, но вскоре, когда пошли разные режимные строгости, всякая гимнастика, массовая и индивидуальная, чтобы легко было бы сломить моральное сопротивление заключенного, была строжайше воспрещена.

При столь разнообразных наших занятиях и развлечениях (не считаю допросов) наш тюремный день был достаточно заполнен. Но вот наступал длинный вечер, осенний или зимний; читать было невозможно — одна тусклая, слабосильная лампочка бледно мерцала под потолком. Тут приходило время деятельности выбранного камерой «культпросветчика»: его задачей было организовать между ужином и сном ряд культурно-просветительных развлечений, — лекций, докладов, литературных вечеров. Тюремное начальство сперва не только снисходило, но даже и поощряло: не один раз дежурный по коридору и сам господин (то бишь товарищ) корпусной, открыв дверную форточку, прислушивались к происходившему

на сцене. Впрочем, сцены никакой не было, а просто на нары водружалась табуретка, и на ней восседали лекторы, докладчики, декламаторы. Каждый вечер между ужином и сном камера нетерпеливо ждала очередных выступлений, всегда очень разнообразных. Бывали и научные доклады, — один табаковод прочел очень интересную для нас, курильщиков, лекцию о культуре и способах выработки табака (в камере все закурили, даже и те, кто не курил на воле); в другой раз инженер-конструктор поделился с нами сведениями о конструкции аэропланов и их истории; его лекции дополнил летчик по прозванию «Миллион километров» (столько налетал он), я читал популярный курс истории русской литературы.

Серьезные доклады перемежались выступлениями «легкого жанра»: артист какого-то второстепенного московского театра Греков рассказывал довольно живо разные сценки и анекдоты; опереточный актер по прозвищу «Дальневосточник» пел и исполнял в лицах целые оперетки; выходили любители-декламаторы и читали на память стихи, иной раз целые поэмы. Один из видных деятелей ГПУ (жаль, что не припомню его фамилии), попавший на наш бал прямо с корабля, из трехлетнего кругосветного путешествия, совершенного по заданиям Коминтерна, увлекательно рассказывал нам о своих путевых впечатлениях[223]. Но самым большим успехом пользовались живые лекции помощника директора Зоологического сада, профессора Сергея Яковлевича Калмансона[224], о жизни животных: это был блестящий курс популярной зоологии, и все с нетерпением ждали отведенных для этих докладов дней. Один из наших сокамерников, шофер, сказал как-то раз: «Вот думал — дураком умру, не до книг нашему брату! Спасибо, Сталин и НКВД позаботились, посадили в тюрьму!»

Однажды «культпросветчик» устроил интересный литературный вечер — чтение стихов «на всех языках мира»: в нашей камере такая смесь языков племен и наречий, что хоть и не на всех языках мира, а на двадцати двух такое чтение удалось устроить, — а камера должна была большинством голосов решить, какому языку по его яркости и благозвучию она дает пальму первенства. Началось с «мертвых языков», греческого и латинского: я прочел начальные десять строк «Одиссеи» и оду Горация о памятнике; потом пошли живые языки — русский, украинский, польский, чешский, сербский, болгарский, румынский, финский, эстонский, латышский, венгерский, французский, английский, немецкий, итальянский, персидский, турецкий, арабский, китайский и древнееврейский

(впрочем, тоже «мертвый язык»; на нем была прочитана знаменитая «песнь Деворы»)[225]. Вот какой конгломерат языков был в нашей камере! Особенно отличался кругосветный путешественник по заданиям ГПУ—Коминтерна: каких только языков он не знал! Ему же была присуждена и пальма первенства за декламацию стихов на арабском языке.

Так заполняли мы гиблое тюремное заключение...

К весне 1938 года всей этой тюремной идиллии в один непрекрасный день был положен резкий конец: пошли разные строгости, всякие доклады и лекции были решительно запрещены; отменен был институт выборных старост — они теперь назначались свыше, тюремной администрацией; воспрещена была гимнастика; воспрещен был и «комбед» — впрочем, мы легко обошли это запрещение. Обошли мы также и запрещение лекций, но только читать их теперь надо было с осторожностью: лектор ложился на нары, соседи закрывали его собою от всевидящего ока — «глазка», — и доклад мог произноситься только вполголоса. Но и при таких предосторожностях начальство дознавалось — конечно, через «наседок» — об именах главных лекторов, и последним грозили немалые неприятности, какие именно — об этом позднее расскажу по собственному опыту. Кружков самообразования уничтожить не удалось: сидят себе люди за столом и разговаривают — как тут помешать?

Баня, «лавочка», прогулки, книги, кружки самообразования, лекции — все это были розы нашей тюремной жизни; но, как известно, нет розы без шипов. Правда, настоящие шипы и тернии ждали нас в следовательских комнатах, но и в тюремном быту был среди других такой острый шип, который время от времени больно вонзался в тело каждого из нас. Я говорю об отвратительных и оскорбительных обысках, неожиданно производившихся два раза в месяц.

Дело происходило так. В самой середине ночи, обыкновенно между часом и тремя, открывалась дверная форточка и нас будил окрик: «Все с вещами!» Сонные, поднимались мы, собирали все свои вещи и выходили в коридор, там выстраивались парами — и нас вели через двор на «вокзал». Там загоняли нас в обширную изразцовую камеру, из которой вводили по восемь человек в соседнюю комнату, ярко освещенную и со столами посередине. На столы мы вытряхивали все свои вещи, раздевались догола (а в комнате бывало иной раз и очень холодно), и каждый смотрел, как один из восьми нижних чинов производил тщательный осмотр всех его вещей — платья, белья, продуктов. Обыск был артистический: вспарывались науда-

чу швы платья и шуб, наудачу выдирались стельки из башмаков, отдиралась в разных местах подкладка пиджаков и пальто, протыкались иглою шапки и платье, осматривались калоши, исследовались каблуки. Вся эта процедура продолжалась для каждого от четверти до получаса, смотря по усердию сыщика, а мы, голые, стояли и смотрели, дрожа от холода. Затем начинался унизительный «физиологический обыск» по старому ритуалу: «Откройте рот! высуньте язык! повернитесь! нагнитесь! раздвиньте руками задний проход!» — и так далее до аристофановского многоточия включительно. Четырьмя годами ранее я насчитал таких тюремных теткиных крещений девять за почти девять месяцев — детское число! За повторный курс тюремной выучки в 1937—1939 годах обряд этот совершили надо мною по меньшей мере раз пятьдесят.

Обряд окончен, обыск тоже; нам разрешают одеться, собрать разгромленные вещи — и выпроваживают в третью комнату, а новую восьмерку вводят для нового обыска. Когда нас в камере было человек восемьдесят, то вся эта процедура занимала часа три-четыре. Затем нас, сонных, злых, оскорбленных, снова вели через двор в нашу камеру. Начинало уже светать.

Пока нас обыскивали на «вокзале», наша пустая камера подвергалась такому же разгромному обыску: дежурные по коридору переворачивали в ней все вверх дном, поднимали нары, перевертывали столы и скамьи, исследовали каждую щель — и мы находили в камере картину такого полного разгрома, «точно шел Мамай войной»; поэтому и весь обыск носил название «Мамаева побоища». Приходилось приводить в прежний порядок всю камеру, а с утра требовать от дежурного по коридору иголку и ниток, чтобы по очереди зашивать распоротые швы и отодранные подкладки. Иголка, иногда и две выдавались старосте под его ответственность и подлежали сдаче до ужина. Весь день уходил на зашивание швов, подшивание подкладок — для того, чтобы старая история повторилась при новом обыске. Он мог произойти через неделю, через две, через месяц (это уж обязательно), но несколько раз случалось, что следующий обыск происходил через две-три ночи после предыдущего, а один раз даже и на следующую ночь. С проклятиями поднимались мы среди ночи и шли на очередное издевательство. Такое быстрое повторение обыска значило, что теткины сыны желают поймать нас врасплох или что «наседки» спешно высидели очередное яйцо.

Чего же искали столь тщательно и столь тщетно? Тщетно потому, что за все десятки подобных обысков, происшедших при мне, ни разу не

обнаружили в наших вещах и платьях ничего запрещенного, в то время как это самое запрещенное было у целого ряда заключенных. Искали главным образом четыре вещи: карандаши, бумагу, иголки и лезвия бритв, искали и никогда не находили, хотя и велели «открывать рот», «высовывать язык», «раздвигать руками задний проход», — а вдруг найдется там огрызок карандаша или завернутая в бумажку иголка? Но, конечно, никто не прятал их туда, зная обычный ритуал обыска, и все же припрятывали, что хотели. Во-первых — владельцы всех этих сокровищ старались попадать в одну из последних «восьмерок» при обыске, когда производившие его нижние чины будут утомлены трехчасовой работой и станут менее внимательными. Впрочем, начальство вскоре дозналось (через «куриц», конечно) о таковой хитрости и предписало производить обыск в алфавитном порядке фамилий. Но и это не помогло. Действительно, не самые карандаши, а мелкие обломки графита и тонкие рулончики бумаги зашивались в швы платья, — но ведь не все же они распарывались, и вероятность открыть один сантиметр графита во многих местах швов была совсем ничтожна, едва ли равнялась и одной тысячной. Лезвия бритв и иголки ловко запрятывались под корки краюшек черного хлеба, где усмотреть их было почти невозможно. Впрочем, мне не приходилось заниматься подобными ухищрениями — ни карандашей, ни бумаги, ни бритв, ни иголок я не имел, они были мне ни к чему. А многомесячный сосед мой по нарам, доктор Куртгляс, обладавший всеми этими сокровищами и еще многими иными, вроде карманного русско-немецкого словарика, ухитрялся сохранять все это крайне простым способом: на черной ниточке длиной аршина полтора, прикрепленной к оконной раме, он выбрасывал за окно драгоценный пакетик и спокойно шел на обыск, а вернувшись с идиотского обыска, благополучно выуживал этот пакетик обратно. Но эти шипы тюремного быта были ничто по сравнению с терниями, произраставшими в это же время в следовательских камерах Бутырки и Лубянки. Пора перейти к рассказу и о них.

V

Был конец октября 1937 года; я, еще «новичок», спал в «метро» — под нарами (вернее, не спал, а задыхался, так как воздух под нарами был с непривычки — невыносим), — только месяц сидел в тюрьме. Мы собирались укладываться спать; на дворе было довольно тепло, и фрамуга (вер-

хняя часть окна) была откинута. Вдруг в камере наступила мертвая тишина, и все стали прислушиваться; откуда-то из-за окна доносились заглушенные крики:

— Товарищи, товарищи, помогите! Изверги, что вы делаете? Товарищи, помогите, убивают!

И после короткого молчания — нечленораздельный вопль:

— А-а-а-а-а!

Потом опять короткое мертвое молчание — и снова исступленные крики:

— На помощь! Спасите! Товарищи!

Вопли и крики эти с перерывами продолжались минут пять, нам показалось — целую вечность...

Староста наш, профессор Калмансон, очнулся первым — сорвался с места, схватил табуретку и стал неистово колотить ею металлическую дверь, вся камера вопила; сбежались дежурные со всего коридора, прибежал корпусной; соседние камеры тоже неистовствовали. Нас старались успокоить заверением, что крики эти идут из окна камеры душевнобольных. Наступила тишина — крики прекратились. Молча улеглись мы спать, но вряд ли многие могли заснуть в эту ночь...

Прекрасно понимали мы, что душевнобольные тут ни при чем, что здесь мы были свидетелями non oculis, sed auribus[226] следовательского допроса. Надо прибавить, что случай этот был первым и последним: следователь, вероятно, получил нагоняй за неумелое ведение допроса (еще бы — забыл закрыть фрамугу!) и за произведенный этим бунт в тюрьме. С тех пор избиения в следовательских камерах стали производиться при закрытых окнах.

Что в тюрьме бьют — об этом до нас и на воле доходили слухи, что в тюрьме пытают — тоже слыхали мы за достоверное; но здесь впервые услышали мы собственными ушами вопль истязаемого. Следовательские комнаты были в третьем этаже над нами — из открытой форточки одной из таких комнат и донеслись до нас эти вопли.

Пытки применялись, несомненно, и раньше в ГПУ, но как исключительное явление, если не считать пресловутых массовых «парилок», в которых выпаривали у «буржуев» золото и доллары в середине двадцатых годов. Но вот в те же годы поэт Николай Клюев попал на три дня в «пробковую комнату» петербургского ГПУ и потом с ужасом рассказывал о своем там пребывании; для чего-то и для кого-то была устроена ведь там комната, не миф, а доподлинная правда. Рассказывали о разных формах пы-

ток — например, о системе допросов «конвейером», но все это были только рассказы; теперь же нам суждено было стать свидетелями, а многим и страдательными участниками ряда ничем не прикрытых пыток: ими, по приказу свыше, ознаменовал себя «ежовский набор» следователей.

Впрочем, должен сразу оговориться: пыток в буквальном смысле — в средневековом смысле — не было; были главным образом «простые избиения».

Где, однако, провести грань между «простым избиением» и пыткой? Если человека бьют в течение ряда часов (с перерывами) резиновыми палками и потом замертво приносят в камеру — пытка это или нет? Если после этого у него целую неделю вместо мочи идет кровь — подвергался он пытке или нет? Если человека с переломленными ребрами уносят от следователя прямо в лазарет — был ли он подвергнут пытке? Если на таком допросе ему переламывают ноги и он приходит впоследствии из лазарета в камеру на костылях — пытали его или нет? Если в результате избиения поврежден позвоночник так, что человек не в состоянии больше ходить, — можно ли назвать это пыткой? Ведь все это — результаты только «простых избиений»! А если допрашивают человека «конвейером», не дают ему спать в течение семи суток подряд (отравляют его его же собственными токсинами!) — какая же это «пытка», раз его даже и пальцем никто не тронул! Или вот еще более утонченные приемы, своего рода «моральные воздействия»: человека валят на пол и вжимают его голову в захарканную плевательницу — где же здесь пытка? А не то следователь велит допрашиваемому открыть рот и смачно харкает в него, как в плевательницу: здесь нет ни пытки, ни даже простого избиения! Или вот: следователь велит допрашиваемому стать на колени и начинает мочиться на его голову — неужели же и это пытка?

Я рассказываю здесь о таких только случаях, которые прошли перед моими глазами, но спорить о словах не буду — пусть это были не пытки со сложными средневековыми инструментами, пусть таких пыток не было. Буду говорить поэтому не о пытках, а об истязаниях: под это слово одинаково подходят случаи и «простого избиения», и лишения сна, и перелома ребер, и плевания в рот, и перелома ног, и обливания головы мочой. Свидетельствую: никаких орудий пыток ни на Лубянке, ни в Бутырке я не видел и о них не слышал (они были, судя по рассказам, в Лефортовской тюрьме); но одновременно с этим заявляю: все те случаи физических и моральных истязаний, которые десятками прошли перед моими

глазами, сводились к той же цели, что и пытки, — вынудить сознание в несовершенном преступлении. Средневековой «ведьме» надевали на ноги «испанские башмаки», утыканные внутри гвоздями, и раскаляли их, «ведьма» сознавалась, и ее сжигали на костре. Современного «шпиона» или «вредителя» бьют резиновыми палками, плюют ему в рот, неделю не дают спать, — он во всем «сознается» и идет на расстрел или в лагерь. Велика ли разница? Все дороги ведут в Рим!

Повторяю: все перечисляемые мною случаи — не рассказы, слышанные из третьих и десятых уст, а впечатление очевидца. Несколько случаев из многих десятков — приведу, выбирая наиболее типичные. Оговорюсь только: далеко не все фамилии истязаемых остались в моей памяти, чаще помню прозвища, под какими они слыли в наших камерах, — но это дела нисколько не меняет.

В жаркое лето 1938 года распахнулась дверь нашей камеры № 79— и дежурный впустил нового заключенного, средних лет человека в военном френче, на костылях. Он представился:

— Позвольте познакомиться, товарищи: Гармонист!

Помню, я удивился: такое типично русское лицо и такая типично еврейская фамилия! Но я ошибался, — это была не фамилия, а профессия: он был баянистом в знаменитом московском Красноармейском хоре песни и пляски. Мы набросились на новую «газету», и хотя не узнали от него никаких политических новостей, так как он пришел к нам не «с воли», а из этапных скитаний по разным тюрьмам, однако с немалым интересом выслушали мы одиссею Гармониста, — это стало его камерным прозвищем.

Он был знаменитым виртуозом на баяне, первым из шести баянистов Красноармейского хора песни и пляски; хор этот недавно, летом 1937 года, совершил триумфальную поездку в Париж, на всемирную выставку; вернувшись на родину, часть хора отправилась в турне по Сибири. В Хабаровске Гармонист имел несчастье крупно поссориться с председателем «месткома» хора, приставленным к хору видным агентом НКВД; дело дошло до взаимных оскорблений действием. На другой же день Гармонист был арестован и полгода подвергался допросам в хабаровском застенке. Его надо было в чем-то обвинить, но в этом отношении теткины сыны никогда не испытывают никаких затруднений; тюремная поговорка гласит: «Был бы человек, а статья пришьется». Вот к Гармонисту и «пришили» обвинение по одному из параграфов пресловутой статьи 58-й: обвинение в «индивидуальном терроре». По его рассказам — несколько лет подряд в Москве вызывали его на вечеринки, то к Сталину, то еще чаще к Вороши-

лову: эстетические вкусы в Кремле стоят как раз на таком уровне, чтобы услаждаться игрою виртуоза на баяне. За последние перед арестом два-три года Гармонист, по его словам, приглашался к кремлевским владыкам не менее раз шестидесяти. «Бывало, по вечерам, а то и в середине ночи — за мной автомобиль: везут на домашнюю вечеринку к Климу (Ворошилову), либо к самому Сталину; поиграешь им, а потом с ними же да с гостями за одним столом и ужинаешь...» Хабаровский НКВД обвинял Гармониста по этому поводу в террористическом умысле: он-де ездил к Ворошилову и Сталину каждый раз с револьвером в кармане, и если не произвел террористического акта, то лишь потому, что каждый раз мужества не хватало — все шестьдесят раз подряд. Чтобы Гармонист сознался в этом «задуманном, но несовершенном преступлении», к нему обратились с обычными аргументами в виде резиновых палок, а он заупрямился и сознаться не пожелал. Били его нещадно; пыток не применяли, было простое избиение. Во время одного из таких «допросов» ему переломили обе ноги ниже колен и замертво отнесли в лазарет. Вышел он оттуда на костылях — и был этапным порядком отправлен в Москву, ни в чем не сознавшийся. В нашей камере Гармонист каждую пятницу неустанно строчил заявления на имя Ворошилова, в твердой надежде, что «Клим не выдаст и выручит». С одинаковым успехом он мог бы адресовать послания и на Луну; следователь, конечно, просто отправлял их в сорную корзину. Месяца через три меня увели из этой камеры, и дальнейшая судьба Гармониста мне неизвестна.

Но эти «допросы» имели место в далеком Хабаровске; нам незачем было ходить так далеко, эти юридические методы были у нас перед глазами. В апреле 1938 года меня из камеры № 45 повезли на допрос из Бутырки на Лубянку, где я неделю провел в битком набитом «собачнике». Рядом со мной на голом каменном полу лежал мой сокамерник, пожилой русский немец, коммунист, «красный директор» треста «Пух и перо» (я прозвал его, по Кузьме Пруткову, — «Daunen und Federn»[227]). Обвиняли его по пункту 6-му статьи 58-й — в шпионаже, а заодно уж и во вредительстве, и стали его ежедневно водить из «собачника» на допросы в следовательскую камеру. Возвращался он оттуда иногда на собственных ногах, а иногда и на носилках. Пыток не было, было простое избиение. В «собачнике» была дикая жара и теснота, мы лежали в одних рубашках, я — спиной к спине с несчастным «Daunen und Federn»; моя рубашка стала прилипать к телу, я думал — от пота, оказалось — от крови, обильно сочившейся из его исполосованной спины. Нас вместе с ним отвезли на

«черном вороне» обратно «домой», в Бутырку, где поместили в новой камере № 79, откуда его немедленно отправили в лазарет. Недели через две-три он снова появился в камере — тенью прежнего человека, ходил с трудом, кашлял кровью, сломанные ребра еще не срослись. Пришлось снова положить его в лазарет, откуда он уже не вышел: месяца через два мы узнали из нашей банной почты о его смерти.

Майор охранных войск НКВД, приволжский немец Сабельфельд[228], сидевший в это же время в камере № 79, подвергался таким же «допросам» уже в самой Бутырке, — зачем так далеко возить! Еще не так давно сам он, хотя и по-иному, крутобойничал, а теперь пришлось испытывать все это на собственной шкуре. Обвинялся в шпионаже в пользу Германии. С «допросов» возвращался в камеру избитый и даже со следами юридических методов допроса на лице, что, вообще говоря, редко бывало: следователи предпочитали работать над менее видными частями тела, а Сабельфельд иной раз возвращался из следовательской с опухшим лицом, с синяками под глазами, с исцарапанными щеками. Долго терпел, не сознавался — и наконец, доведенный до отчаяния, решил объявить голодовку. Голодал дней десять (очень трудное дело в общей камере, где кругом едят) и был вызван к следователю:

— А, ты голодовкой запугать нас вздумал! Не надейся, голубчик, не запугаешь! Издыхай с голода! А впрочем — открой рот!

И густо харкнул в рот Сабельфельда:

— Вот тебе питание!

Вернувшись в камеру, Сабельфельд решил покончить самоубийством. Когда вся камера ушла на прогулку и остались в ней только я да двое очередно наказанных «без прогулок», он подошел ко мне и тихо проговорил, что «покончил самоубийством»: только что проглотил кусочек стекла, незаметно подобранный во дворе во время прогулки. В ответ я рассказал ему о случае, когда за несколько лет перед этим один мой хороший знакомый, писатель, пытаясь покончить самоубийством в тифлисском застенке, разбил на кусочки, разжевал и проглотил электрическую лампочку, окровавил рот, исцарапал пищевод и кишки и остался жив. (Эту изумительную историю я рассказываю в другой книге.) Посоветовал я Сабельфельду не думать о самоубийстве и прекратить голодовку, что он и исполнил. Вскоре был взят «с вещами» и бесследно исчез с нашего горизонта; почему-то думали, что он переведен в Лефортово.

К слову о самоубийствах: в моих камерах кроме случая с Сабельфельдом знаю еще две попытки, и обе неудачные. В самом начале 1938 года,

в камере № 45, как-то раз за вечерним чаем, среди сравнительной тишины, нас поразили какие-то странные хрипы, доносившиеся из «метро». Бросились смотреть — и вытащили из-под нар полумертвого руководителя нашего бухгалтерского кружка. Тоже доведенный до отчаяния «допросами», он придумал такой род самоубийства: завязал шею жгутом носового платка, просунул у затылка между платком и шеей деревянную ложку и стал ее вращать, туго затягивая жгут. Если бы мы не услышали его хрипов, то, может быть, он и довел бы до конца свою попытку.

Другой случай произошел через полгода в камере № 79. В августе месяце меня вызвали на допрос, причем я был весьма удивлен способом моего эскортирования. Бывало, приходил дежурный из следовательского коридора, выкликал фамилию и предлагал идти, сам шествуя сзади. Теперь же явились за мною три архангела, двое крепко схватили меня с двух сторон за руки и повлекли, а третий замыкал шествие. Вернувшись с допроса в камеру, я рассказал об этом удивленным товарищам, но с этого дня всех стали водить на допросы с таким же церемониалом. И еще одно событие случилось в тот же день: не вернулся с допроса в камеру полковник Лямин, давно уже измученный истязаниями на допросах. Так мы его больше и не видали, но из банной почты узнали, в чем дело. Оказалось вот что: Лямина вел дежурный на допрос, надо было спускаться по лестнице в нижний этаж; лестницы в Бутырке, как и во всех тюрьмах, обтянуты проволочными сетками, чтобы не было соблазна броситься в пролет. Но полковник Лямин избрал другой способ: он ринулся по лестнице вниз и с разлета ударил лбом о радиатор центрального отопления на лестничной площадке. (Незадолго до этого он прочел у нас «Трое» Максима Горького[229].) Удар был недостаточно силен, он не разбил головы, но все же Лямина замертво отнесли в лазарет, а по выздоровлении перевели в другую камеру. С этих пор и был введен новый церемониал с тремя архангелами.

VI

Возвращаюсь, однако, к истязаниям. О «простых избиениях» я рассказал достаточно, перейду теперь к другим, более утонченным приемам пыток.

Соседом моим по «метро» и нарам в камере № 45 был военный доктор Куртгляс; не очень твердо ручаюсь за фамилию, но ее можно было бы

восстановить по телефонной книжке Москвы за 1937 год: последние годы доктор Курттляс занимал должность старшего санитарного врача Московского военного округа. Обвиняли его в прикосновении к известному заговору Тухачевского[230]. Допросы с истязаниями, издевательствами, оскорблениями не привели ни к чему, — доктор упорствовал и не желал «сознаться». Возвращаясь в камеру с допросов, измученный физически и морально, он часто говорил мне: «Ну что там мучитель Достоевский! Мальчишка и щенок Федор Михайлович!» Вскоре ему пришлось проделать опыт, который был бы действительно «сюжетом, достойным кисти» Достоевского[231].

Рано утром, сразу после побудки, в понедельник 3 декабря 1937 года его увели на допрос, продолжавшийся шесть часов подряд и заключавшийся в том, что он все это время молча простоял около стены («Не сметь опираться!»), а следователь сидел за письменным столом, разбирал бумаги, перелистывал дела, занимался и лишь изредка приговаривал: «Ну что, мерзавец, не хочешь сознаться? Ничего, стой у стены, стой! Дай срок, скоро запоешь!» В полдень дежурный отвел доктора к нам в камеру на обед, с приказанием быть готовым через четверть часа, а сам все это время наблюдал в «глазок». Доктор наскоро пообедал — и его снова увели на допрос; вернулся он к ужину, часам к шести вечера, и рассказал, что «допрос» заключался в прежнем стоянии у стены, только следователь был другой, сменивший первого. Это называлось системой допроса «конвейером»; следователи сменялись через каждые шесть часов, днем и ночью, и пропускали через такой своеобразный конвейер свою жертву.

После спешного ужина снова отведенный в следовательскую камеру доктор простоял в ней у стены всю ночь, двенадцать часов подряд, до шести часов утра вторника 4 декабря, когда был снова отпущен в нашу камеру на четверть часа — пить чай. Истомленный сутками стояния у стены без сна, доктор попробовал прилечь на нары — и был сейчас же поднят окриком следившего за ним в «глазок» специального дежурного: «Не сметь ложиться!» — после чего был немедленно же уведен в следовательскую для продолжения пытки конвейером.

Так прошли и понедельник, и вторник, и среда — в сплошном стоянии *и без минуты сна*. Когда истязаемый невольно задремывал стоя и начинал шататься (опираться на стену было запрещено), то следователь вскакивал, дергал его за бороду, приводил в сознание и осыпал ругательствами и угрозами. В пятницу утром, простояв без сна полных четверо

суток, доктор был, как всегда, приведен на четверть часа в нашу камеру; он сказал мне: «Какой молодец моя жена! Ведь ухитрилась же пробраться в Бутырку и незаметно от следователя сунула мне в карман четверку трубочного табака! Только куда же я задевал ее, эту четверку?» — и он стал растерянно шарить руками по карманам. Такие галлюцинации повторялись всю пятницу, пятый день конвейера, и потом прекратились. Как доктор, он нашел средство хоть чем-нибудь поддерживать свои сломленные бессонницей силы: он набивал карманы кусками пиленого сахара, которым мы снабжали его в изобилии, и незаметно от следователя клал в рот кусок за куском, этим только поддерживаясь.

Суббота 8 декабря и воскресенье 9 прошли без всяких перемен — и все же доктор стойко выдерживал пытку (вот где действительно подходит слово «стойко»!) и ни в чем не пожелал «сознаться». Как долго еще могло продолжаться это истязание? В шесть часов утра понедельника 10 декабря доктора Куртгляса привели, как обычно, в нашу камеру «на четверть часа»; как еще он мог двигаться, ходить, говорить — непонятно. Прошло четверть часа, полчаса, час — никто его не вызывал, в «глазок» никто не подглядывал. Мы поняли: пытка, продолжавшаяся ровно неделю, закончена, конвейер прекратил свою работу. Мы уложили доктора на нары, накрыли его шубой, подложили самодельные подушки под голову — а он не мог заснуть. Лишь понемногу, день за днем, стал он приходить в себя и все повторял: «Мальчишка и щенок Федор Михайлович!»

От опытных тюремных старожилов мы узнали, что пытку лишением сна производят с разрешения прокурора НКВД не долее недели — таков закон (закон!!). Выдерживают ее немногие, доктор Куртгляс выдержал. Через месяц его взяли «с вещами» и, как мы узнали потом, перевезли в самую страшную из московских тюрем — в Лефортово.

В Лефортове, судя по рассказам, применялись и настоящие пытки (железные скребницы, ущемление пальцев и многое иное в этом роде), но только, так как я о них знаю не от очевидцев или, вернее, не от страстотерпцев, то и не буду говорить о них. Скажу только, что через год, когда я сидел в камере № 113, в соседней с нами камере сидел знаменитый конструктор аэропланов «АНТ» — А.Н. Туполев. Он рассказывал о себе следующее: его арестовали и привезли в Лефортово, подсадив в одиночную камеру к известному военному и партийному киту Муклевичу, который после недельных лефортовских «допросов» уже во всем «сознался», Муклевич стал убеждать Туполева «сознаться» на первом же допросе

и развернул перед ним картину всего того, что его ожидает в случае упорства. Картина была, по-видимому, настолько убедительная (Туполев о ней не пожелал рассказывать), что несчастный АНТ не решился испытать на личном опыте то, что уже проделали над Муклевичем, и последовал совету последнего: на первом же допросе признался во всем том, что было угодно следователю. Его избавили от пыток и перевели в Бутырку, где он и ожидал решения своей участи.

Вспоминаю еще, как в лубянском «собачнике» в ноябре 1937 года я мимолетно встретился с одним бородатым инженером; он только что вернулся с допроса и рыдал, как ребенок: ему сказали, что раз он не хочет сознаться, то его немедленно отправят в Лефортово — и пусть тогда он пеняет сам на себя. Через несколько часов его действительно увели из «собачника».

Доктор Куртгляс попал в это страшное Лефортово; что с ним там делали — не знаю, но через год я узнал от одного переведенного к нам в Бутырку из Лубянки, что доктор сидит в общей камере Лубянки, «во всем сознался» и ждет расстрела или отправки в концлагерь, если не изолятор.

Еще один из этой жуткой картинной галереи: студент (фамилии не помню), обвинявшийся в участии в студенческой контрреволюционной организации. Он заболел ангиной в острой форме с температурой до 40 градусов и заявил корпусному о необходимости лечь в лазарет. Через полчаса за ним пришли и повели, но не в лазарет, а в следовательскую, где его усадили за стол, дали перо в руки и предложили подписать протокол допроса с полным «сознанием». Он швырнул перо на пол, получил удар массивным пресс-папье по голове (вернулся в камеру с багровой шишкой на лбу), упал со стула и впал в забытье. Очнувшись, увидел себя снова сидящим на стуле, с пером в руке, перед открытым листом протокола. До трех раз повторялась эта история — и наконец его вернули в нашу камеру в полубессознательном состоянии. Лишь к вечеру он попал в лазарет, а когда недели через две вернулся из него, то никак не мог вспомнить и мучился сомнением — подписал он в конце концов или не подписал этот проклятый протокол?

«Василек» — его фамилия была Васильев — таково было ласковое прозвище одного нашего сокамерника (в камере № 79), очень милого человека, военного. Вообще надо сказать — военных среди нас было довольно много, и, как правило, все они обвинялись в прикосновенности к «делу Тухачевского». Василек заслужил свое прозвище, — это был нежный и с

открытой душой человек лет тридцати, прекрасный товарищ, увлекательный рассказчик: он был специалистом по «высокогорным походам», брал приступом не один пик на Памире, — мы часами слушали эти его рассказы. Верил в людей и даже в черном старался находить белое. Палачей-следователей жалел: несчастные, исковерканные люди! А потом — не все же звери! Раз, вернувшись в камеру с допроса, избитый в кровь даже по лицу, он стал рассказывать нам не об истязаниях, а о том, «какой великодушный бывает русский человек»!.. Когда окровавленного Василька отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним и, вместо того чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран — и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по-бабьи подперши щеку ладонью. И вдруг:

— Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем несладко живется, а терпеть надо. Ну избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе теперь, может, еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?..

Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть ли не веселый — так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного...

Часто подвергавшийся на допросах избиениям и истязаниям, Василек ни в чем не сознавался. Но однажды утром он вернулся с ночного допроса мрачнее тучи, лег на нары и до обеда молча пролежал, накрывшись с головой. Потом, немного успокоившись, рассказал нам, что во всем «сознался» — подписал нужный следователю протокол; выдержал десятки избиений — и не мог выдержать пустяка. Следователь повалил его на пол, таскал по полу за волосы и втиснул лицом в наполненную до краев плевательницу, тыкал в нее и приговаривал: «Жри, жри, мерзавец!» Этот «пустяк» переполнил чашу — Василек сказал: «Довольно! подписываю ваш протокол!»

Такой же случай «морального воздействия» сломил волю и другого нашего сокамерника. С нами сидел молодой и пылкий грузин Лордкипанидзе, сын знаменитого социал-демократа, который вместе с пятью партийными товарищами, членами Четвертой Государственной думы, был приговорен к каторге в связи с известным процессом 1915 года[232]. Отец, не дождавшись революции, умер в саратовской пересыльной тюрьме, а

сироту сына пригрел Ленин, сказал ему: «Партия будет тебе вместо отца...» Впрочем, у него оставалась и мать; она не нашла ничего лучшего, как в первые годы революции выйти замуж за слишком известного прокурора ГПУ Катаньяна[233], который усыновил пасынка, так что тот носил теперь грязное имя Катаньяна вместо чистого имени Лордкипанидзе. При такой высокой протекции юноша пошел далеко — и к моменту разгрома шайки Ягоды—Катаньяна занимал пост личного секретаря наркома легкой промышленности[234]. Но в ежовские времена нарком попал в Лефортово, где во всем «сознался», а его секретарь Катаньян-Лордкипанидзе — в Бутырку, где ни в чем не сознавался. Мужественно переносил все допросы — и с чисто грузинской экспансивностью восклицал, что нет той пытки, которую он не выдержал бы: пусть убьют, а ложного сознания не получат! (Обвиняли в шпионаже.) Но, как и Василек, был повержен не большой горой, а соломинкой. Вернулся к нам в камеру после «сознания» — в истерическом припадке и долго не мог успокоиться, а потом рассказал: после обычных издевательств и избиений следователь велел поставить его на колени и держать, а сам стал мочиться на его голову... Восточная мудрость говорит: соломинка может переломить спину перегруженного верблюда...

А бывало, что переламывали спину и в буквальном смысле слова. Сидевший с нами летчик по прозванию «Миллион километров» долго подвергался в Пугачевской башне не пыткам, а простым избиениям; на последнем «допросе» ему так повредили позвоночник, что замертво отнесли в лазарет, где он пролежал месяцы, а потом попал в нашу камеру. Ходил он с трудом, согнувшись в три погибели, но утешался тем, что сидеть он еще может, а значит, сможет сидеть еще и за рулем аэроплана. Кстати сказать — он был одним из немногих, несмотря на все истязания, ни в чем не «сознавшихся»; таких из всей тысячи прошедших передо мной заключенных я насчитал всего двенадцать человек...

Не довольно ли этого кошмара? Я мог бы прибавить еще десятки портретов к этой жуткой картинной галерее, но ограничусь для концовки только двумя и, начав с Хабаровска, закончу Ашхабадом и Баку, чтобы показать, что по всему лицу земли советской творились одинаковые преступления в эти страшные годы.

Поздним летом 1938 года появился в нашей бутырской камере № 79 капитан Димант, привезенный со спецконвоем из Ашхабада после вынесенных там «допросов». Был обвинен в шпионаже; «сознался». Он был

комендантом одной из многих крепостей, пограничных с Афганистаном, и рассказывал нам много красочных и интересных историй из своей десятилетней боевой жизни (война с афганскими «шайками», иной раз численностью в десяток тысяч человек, никогда не прекращалась); записать бы все эти рассказы — вышел бы целый том захватывающего интереса. Весною 1938 года капитана Диманта вызвали в Ашхабад по делам службы; он сделал 200 верст верхом и явился по начальству. Начальник посмотрел на Диманта и покачал головой:

— Старый боевой командир, а револьвер не в порядке, и запылен, и заржавел; покажите-ка!

Изумленный Димант передал ему свой блестевший чистотою браунинг — и в ту же минуту на него напали, накинувшись сзади, схватили за руки, отправили в ашхабадскую тюрьму и в тот же день вызвали на допрос. Следователь предъявил ему обвинение в шпионаже в пользу Англии, а когда возмущенный Димант в резкой форме отверг это обвинение, следователь позвал четырех дюжих чинов с резиновыми палками и во главе их сам приступил к острому ежовскому приему допроса. Димант пришел в ярость, а, на беду их, он был хорошо знаком с приемами борьбы джиу-джитсу; в результате «допроса» избит был не он, а следователь и четверо его подручных, заплечных дел мастеров. Один лежал без сознания — получил удар ладонью плашмя в горло («я боялся — не убил ли?»); другой корчился на полу и стонал от боли — получил полновесный удар ногой в пах; третий лежал врастяжку от «кнок-аута», удара кулаком в подбородок; четвертый вопил от боли — ему Димант в пылу борьбы вонзился зубами в мякоть руки повыше локтя и оторвал кусок мяса, после чего свалил на пол ударом кулака в живот; а после всего этого («все с полминуты кончилось») — избил следователя до потери сознания резиновой палкой и «превратил морду в кровавый бифштекс».

На шум сбежались, одолели Диманта, повалили, связали, пришел начальник отделения и составил акт о происшедшем, — после чего можете себе представить, как били связанного Диманта. Унесли его без сознания в лазарет вместе со всеми пятью жертвами системы джиу-джитсу. Когда он немного поправился, стали продолжать такие же «допросы», принимая, однако, меры предосторожности: каждый раз связывали. Пыток не было, были простые избиения. Однако после одного из них, на одиннадцатый раз, когда его стали бить резиновой палкой по половому органу, он не выдержал и «сознался». После всего этого месяцы ле-

жал в лазарете с отбитыми почками и мочился кровью, а когда выздоровел, был отправлен в Москву, где в нашей камере ждал решения своей участи.

К концу октября этого 1938 года подул какой-то новый ветер, — мы стали замечать, что избиения происходят все реже и реже, допросы начинают происходить без избиений. В первых числах ноября Диманта вызвали на первый в Москве допрос (месяца три просидел он у нас без допросов). Седовласый полковник НКВД начал вопросом:

— Скажите, товарищ Димант (товарищ! такого слова заключенные от следователей не слышали!), как вы могли сознаться в шпионаже?

— Я сознался на одиннадцатом допросе, — ответил Димант, — разрешите доложить, что если бы такие же приемы допроса я применил к вам, то, может быть, вы сознались бы в чем угодно в первый же день допроса.

Полковник показал ему «дело», из которого Димант узнал, что, пока он сидел в Бутырке, в Ашхабад был направлен военный следователь НКВД для рассмотрения его дела, что начальник ашхабадского дела, допустивший избиение (!) без разрешения начальника ашхабадского НКВД (а с разрешения, значит, можно?!), подвергнут взысканию и что вообще вокруг этого дела в военных кругах поднят шум. Мы были очень рады за Диманта, ему повезло, но как же с тысячами (миллионами!) других, столь же ни в чем не повинных Димантов? Они до сих пор продолжают заселять собой изоляторы и концентрационные лагеря.

— В Туркестан вы, конечно, уже не вернетесь, — сказал в заключение полковник (а почему бы и не вернуться с полной реабилитацией?), — мы устроим вас на Дальнем Востоке...

Это единственный известный мне случай из почти двухлетней тюремной жизни, когда «сознание» повлекло за собой не расстрел, изолятор или концлагерь, а вероятное освобождение. Впрочем, не знаю — через несколько дней после этого я покинул камеру № 79.

Около этого же времени, в конце октября или начале ноября, был привезен из Баку и попал в нашу камеру обвиненный тоже в шпионаже (на этот раз в пользу Турции) старый революционер, а потом член азербайджанского ЦИКа Караев. Я провел с ним в общей камере не более недели, так что не слышал продолжения интереснейших его рассказов, но и слышанного было достаточно. Он, узнавая про московские, хабаровские и ашхабадские истязания, только снисходительно улыбался и говорил:

— Ну это что! Пустяки! Вот посидели бы вы у нас в Баку!

У него тоже был перелом ребер, его тоже били резиновыми палками, он тоже мочился кровью, но считал все это «детскими штучками».

— А вот когда у меня содрали ногти на ногах, а следователь топтал окровавленные пальцы тяжелыми каблуками, тут — запоешь! Это уже не игрушки!

И однако — он не «сознавался», долго лежал в лазарете и был отправлен в Москву.

Довольно, слишком довольно! Заканчивая эти кошмарные страницы, хочу прибавить: истязаниям подвергались, разумеется, далеко не все допрашиваемые, только избранное меньшинство их. Для большинства достаточно было одних следовательских угроз, подкрепленных затрещинами и главное — криками и стонами из соседних следовательских камер, а также и рассказами страдавших на их глазах товарищей. Такие напуганные люди — большинство — «сознавались» легко, вроде А.Н. Туполева: будь что будет, лишь бы не было пыток. Впрочем, как мы уже знаем, пыток не было — были лишь «простые избиения».

VII

О тюремных днях я рассказал много, о делах людей — достаточно; пора теперь перейти наконец к себе самому, к моим собственным «делам и дням».

После ареста и водворения в камеру № 45 настроен был я мрачно. Не только знал, что ежовское пленение это «всерьез и надолго», но был уверен и в большем: не сомневался, что на этот раз решено со мною так или иначе покончить. Расстрелять не расстреляют, а засадят в изолятор или в концентрационный лагерь «на десять лет без права переписки»; и хотя законных причин для этого никаких нет, но мало ли можно придумать для этого причин незаконных: был бы человек, а статья найдется!

Юрисдикцию теткиных сынов я по опыту знал хорошо, чтобы не сомневаться в таком исходе своего дела, а потому был убежден, что на этот раз дело не ограничится тремя годами ссылки, что выхода на волю мне нет и не будет. А если так, то и решил — с самого же начала, с первого же допроса поставить вопрос ребром и требовать быстрого свершения шемякина суда. А что суд этот свершается теперь быстро — этому я был свидетелем весь октябрь месяц, первый месяц моего пребывания в тюрьме: десятками уходили люди из камеры после двух-трех незначительных

допросов, уходили по этапу в концлагеря, на место их приходили десятки других и уходили столь же быстро. Я думал, что и со мной покончат таким же ежовским темпом, — зачем тянуть?

В этом я ошибался — со мной не торопились. По закону (закону!!) предъявление обвинения заключенному должно быть сделано не позднее двух недель со дня ареста; но вот и середина октября, две недели со дня моего ареста прошли, а на допрос меня не вызывают. Передо мной пестрым калейдоскопом проходят десятки и десятки вызываемых на допросы и отправляемых в концентрационные лагеря; приходят новые десятки, чтобы испытать ту же судьбу. При допросах еще не прибегают к палочным доводам, незачем тратить силы для такой мелкоты: статья 58, параграф 10! Это все — ежовская «вермишель», которую можно отцедить через следовательское сито в два счета и без применения сильно действующих средств; а что ни в чем не повинные люди эти пойдут заселять миллионами бесчисленные лагеря — велика важность!

Но в калейдоскопе сменяющихся десятков (сотен!) лиц мы стали замечать в камере некое неподвижное ядро: люди, как тени, приходили и уходили, а ядро это оставалось на месте. Сотни прошли мимо, несколько десятков нас осталось; мы все мало-помалу перезнакомились друг с другом, удивлялись — почему же это с нами тянут, и решили, что мы, остающиеся без движения, — очевидно, закоренелые преступники, с которыми и поступать будут более серьезно. И действительно: всю человеческую вермишель отцеживали быстро, проводя через допросы тут же, в Бутырской тюрьме; а со второй половины октября мы стали замечать, что отдельных членов нашего преступного ядра увозят допрашивать на Лубянку. Вызовут человека «без вещей» — значит, на допрос, — а он исчезает на два-три-четыре дня; потом возвращается и рассказывает довольно жуткие вещи о Лубянке, о «собачнике», о допросах. Вся камера разделилась на «бутырщиков» и на «лубянщиков», и надо сказать, что вторые завидовали первым: по крайней мере, дела их решаются просто и быстро, а результат все равно будет одинаковый — лагерь. Кандидатов на расстрел мы между собой не находили и лишь позднее убедились в своей наивности.

Как бы то ни было, но прошло две «законных» недели — и никто и никуда меня не вызывал; прошел и беззаконный месяц — товарищи поздравили меня со званием «лубянщика». И верно — прошло еще несколько дней, и настал мой черед испытать partie de plaisir на Лубянку. Это было

2 ноября 1937 года, число очень запомнившееся, так как ночь со 2 на 3 ноября явилась одной из кульминационных точек моего тюремного чествования.

Рано утром 2 ноября меня вызвали «без вещей». Повели через двор на «вокзал», посадили в изразцовую трубу, держали в ней часа три. Потом — повторение пройденного: явился нижний чин, велел раздеться «догола», произвел тщательный осмотр платья и белья, совершил по обычному ритуалу тюремную ектенью — «Встаньте! откройте рот! высуньте язык!»... и ушел. Еще час ожидания — и меня повели во двор к «черному ворону»; он был, по-видимому, весь заполнен, все железные трубы-одиночки были уже заняты, — с открытой дверцей стояла лишь первая от входа кабинка, куда меня и втиснули. «Ворон» каркнул — поехали.

Приехали. Дверь «черного ворона» открылась — мы во дворе Лубянской «внутренней тюрьмы». Меня спускают по десятку каменных ступеней куда-то вниз, вниз, в глубокий, но ярко освещенный электричеством подвал. Здесь я еще ни разу не был, это знаменитый «собачник», о котором знаю по рассказам уже побывавших здесь товарищей по камере. Прямо против входа — комендантская, там вносят меня в список «собачника», краткая анкета (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, из какой тюрьмы прибыл), производят беглый наружный обыск, отбирают почему-то такую невинную вещь, как очки, — и уводят по коридору в назначенный мне номер «собачника». Недлинный коридор тупиком; слева — четыре камеры «собачника», справа — уборная и большая следовательская комната.

Ну вот он, «собачник». Подвал, шагов восемь в длину, шагов пять в ширину, сажени две в высоту; каменный мешок, ярко освещенный электрической лампочкой. Дневного света нет, хотя есть небольшое окно под самым потолком; окно с тройными рамами, стекла густо замазаны мелом, так что свет почти не проникает. Окно выходит на улицу, на Большую Лубянку; днем, когда лучи солнца попадают на окно, и вечером, когда на улице против окна горит фонарь, на меловых стеклах можно видеть беспрерывно двигающиеся пятна — тени ног свободных людей, идущих по тротуару. Каменный пол, голые стены, ни нар, ни стола, ни скамей, только в углу сиротливо ютится зловонная неприкрытая параша; голый пустой каменный мешок — вот он, «собачник».

Попал я в подвал № 4 — как раз против уборной и наискосок от следовательской камеры. Подвал был почти полон, — я был в нем восем-

надцатым; через полгода я убедился личным опытом, что подвальная комната эта может вместить и втрое больше народа. Нашел себе место у стены, сел на пол и перезнакомился с соседями.

Если наша бутырская уборная и баня были почтовыми отделениями № 1 и 2, то «собачник» носил наименование «радиотелеграфной станции». Тут встречались и обменивались сведениями, новостями и впечатлениями обитатели разных московских тюрем; на этот раз здесь была половина из разных камер Бутырки, половина из Таганки. Некоторые сидели здесь дня два-три, другие — дня три-четыре; только один сидел здесь уже пять дней с ежедневными допросами. Население «собачника» было текущее, быстро менялось; за те сутки, которые я просидел в нем, половина заключенных была снова развезена по своим тюрьмам, а три-четыре новичка прибыли к нам, так что я покинул «собачник», когда в нем было человек двенадцать.

Среди заключенных только два обратили на себя мое внимание: профессор какого-то высшего технического заведения и бородатый инженер, вызванный при мне на допрос и вскоре вернувшийся с него. Пожилой человек, он рыдал, как ребенок: за отказ «сознаться» во вредительстве его направляли в Лефортово. Все мы знали по слухам про эту самую страшную из московских тюрем.

Профессор сидел в «собачнике» уже третий день, ежедневно вызывался на допросы, пока еще без применения сильнодействующих средств, но с многочисленными угрозами дойти и до них; ему надлежало «сознаться» в том, что, будучи в 1919 году в Иркутске, где он преподавал, он держался «колчаковской ориентации», сотрудничал в «белых» газетах. Но позвольте, — хотя бы и держался, хотя бы и сотрудничал? Ведь с тех пор два десятилетия прошло! Но для теткиной юрисдикции не существует земской давности.

Остальные заключенные в нашем «собачнике» — все на одну масть: «шпионы» и «вредители» (большинство), «троцкисты» и «террористы» (два ни в чем не повинных студента). Интересно, что ни в «собачнике», ни в бутырских камерах я почти не встречал членов былых политических партий — эсдеков, эсеров, — со всеми с ними рассчитались уже в предыдущие годы.

Скоро после моего водворения в «собачник» пришло время обеда — значит, был полдень. Открылась дверь, за ней тележка с ведрами супа и каши; в Лубянке обед состоял из двух блюд. Тюремный повар наполнял

миску за миской и передавал их нам, иногда купая большой палец в похлебке и тут же облизывая его, чтобы снова погрузить в новую миску. Пока он наливал и подавал восемнадцатую мисочку, первая была уже пуста, и он тем же манером наполнял ее кашей. Когда все было съедено, миски и ложки отбирались и дверь захлопывалась; вся эта обеденная процедура продолжалась с полчаса. Пообедав, мы растянулись на голом полу, подложили шапки под головы и предались отдохновению. Было тесно, но места для всех хватало; можно было даже лежать и на спине, о чем мы напрасно мечтали в бутырской камере.

Недолго я отдыхал — скоро открылась дверь (дверной форточки в «собачнике» не было), и дежурный выкликнул мою фамилию: «На допрос». Идти было недалеко — в дверь наискосок, в следовательскую комнату этого «собачника». Комната была большая и «прилично меблированная»: диван, несколько стульев, шкап для бумаг, письменный стол с настольной электрической лампой. У стола стоял с портфелем в руке высокий, начисто бритый человек лет тридцати в военной форме; он сказал: «Ваш следователь, лейтенант Шепталов; садитесь», — и сам сел против меня.

Заполнив обычный анкетный лист (фамилия, имя, отчество, адрес, профессия, семейное положение), он явно иронически спросил:

— Конечно, как и все обвиняемые, вы не знаете, за что арестованы?

И был очень удивлен, когда я ответил:

— Знаю.

— Вот как! Это очень упрощает дело! За что же?

— За то, что я — не марксист.

Он пристально посмотрел на меня и засмеялся:

— Ну, это — ах, оставьте! За идеологию мы не караем. Нет, у нас есть гораздо более серьезное основание привлечь вас к ответу. Не пожелаете ли прямо, честно и откровенно сознаться?

— Я желаю сделать письменное заявление вам и вашему начальству, — ответил я.

Он снова пристально посмотрел на меня, помолчал, что-то соображая, потом вынул из портфеля лист бумаги, пододвинул ко мне чернильницу и перо и кратко бросил:

— Пишите!

И я стал писать заявление, адресовав его высшим следовательским органам НКВД, ведущим мое дело. Содержание заявления было следующее:

«В 1933 году я был арестован органами ГПУ по обвинению — категорически мною отвергнутому — в «идейно-организационном центре народничества», оторван от литературной работы, которой исключительно занимался, пробыл почти девять месяцев в одиночке ленинградского ДПЗ, а затем три года в ссылке в Новосибирске и Саратове. Отбыв срок ссылки, поселился в Кашире, вел совершенно замкнутую жизнь, работал над большим трудом по предложению Государственного литературного музея; никакой политической деятельностью не занимался, ни с кем, кроме двух-трех литераторов в Москве, не встречался, так что в настоящее время не могло быть никаких новых оснований для нового моего ареста. А между тем 29 сентября сего года я был арестован и вот уже более месяца жду предъявления мне обвинений, в то время как по закону таковые должны быть предъявлены не позже двух недель со дня ареста. Считая этот арест недоразумением, непредъявление обвинения нарушением закона, настоящим заявляю: следственные органы должны либо признать совершенную ими ошибку и немедленно освободить меня, либо немедленно же предъявить статьи обвинения и объяснить мне веские и убедительные, с их точки зрения, причины нового моего ареста, которые мне нетрудно будет опровергнуть. Объявляю голодовку, если не получу немедленного ответа на мое заявление и до исполнения одного из двух моих вышеизложенных требований».

Как видите, я решил «взять быка за рога», без малейшей надежды, конечно, оказаться сильнее этого чекистского животного. Но терять мне было нечего, рога его все равно уже уперлись в меня; я был убежден, что пришел конец если не моей жизни, то свободе, даже эфемерной, «каширской». Конечно, я знал, что животное это не выпустит меня, что со мной так или иначе, но решено покончить. Подавая такое заявление, я не ухудшал своего положения, но, разумеется, и не улучшал его, хотя, быть может, и ускорял неизбежное. А впрочем, кто знает: быть может, это заявление и сыграло роль в том отношении, что со мною, к моему счастью, не стали торопиться? Во всяком случае, настроение мое было мрачное, и добра я ни с какой стороны не ждал.

Следователь лейтенант Шепталов взял и прочел мое заявление, без всяких замечаний, кроме одного: прочтя вслух фразу, что следственные органы должны признать совершенную ими ошибку, он подчеркнул:

— НКВД *никогда* не ошибается!

Сколько раз слышал я из уст следователей эту идиотскую формулу, и сколько тысяч, сколько сотен тысяч раз слышали ее от своих следователей другие, столь же ни в чем не повинные люди! «Энкавэдэ» присвоил себе один из атрибутов Ягве, одно из свойств Господа Бога, даже несколько из них, вроде — безгрешный, всезнающий, вездесущий, всемогущий... Вот только «благим» — никак нельзя было назвать этого взбесившегося зверя.

Прочитав заявление до конца, лейтенант Шепталов помолчал, немного подумал и отрывисто сказал:

— Хорошо. Будет доложено. Можете идти. Вас вызовут.

Этот следователь мне понравился, — немногоречив, отчетлив, сух; каков-то будет он, однако, при допросах? В «собачнике» меня встретили вопросами: «Ну как? не били?» — и удивились, узнав, что следователь был вполне корректен. Только профессор пессимистически заметил:

— Ничего, он еще себя покажет! Все они одним лыком шиты и одним миром мазаны!

Остаток дня прошел без особых событий. Уводили на допрос, приводили с допроса, одних целыми и неприкосновенными, других побитыми, — но не резиновыми палками, а собственноручными кулаками следователя. Часов в шесть вечера сервировали нам ужин, к которому я не прикоснулся, часов в десять — отвели «на оправку» в уборную и умывалку. Полотенец и мыла не было, умывайся как знаешь. Приказа «Ложиться спать!» — тоже не было: в «собачнике» каждый мог спать на голом каменном полу когда угодно и сколько угодно.

Но мне в эту ночь спать не пришлось.

VIII

Наивно было бы думать, что мое заявление может произвести в высших следовательских инстанциях замешательство, но что некоторую сенсацию оно по своей необычайности произвело — это показали события наступившей ночи.

Я крепко заснул на голом каменном полу, довольный уже и тем, что не надо вклиниваться между соседями. Когда окрик в открывшуюся дверь разбудил меня и я услышал свою фамилию — «На допрос!», — я совсем заблудился во времени и думал, что уже глубокая ночь. Встал и пошел, полагая перейти наискосок коридор, чтобы попасть в следовательскую, —

но меня вывели из подвала во двор, потом в оказавшийся рядом подъезд и по довольно грязной лестнице на четвертый этаж; там разными коридорами и проходными комнатами, наполненными людьми и в чекистской форме, и в штатском, ввели в очень большую и парадную следовательскую комнату (как оказалось — кабинет начальника отделения), где я и нашел лейтенанта Шепталова.

Комната была устлана ковром; на стенах — портреты вождей, большие стенные часы, только что пробившие одиннадцать часов. Письменный стол, на нем два телефонных аппарата; широкая ковровая оттоманка, два шкапа с делами, между ними — одинокий стул.

За письменным столом, поставленным наискось в углу, сидел спиной ко входной двери следователь Шепталов; обернувшись и увидев меня, он предложил мне сесть, но не к столу, как это обыкновенно бывает, а указал рукой на стул между двумя шкапами, шагах в шести от письменного стола. Меня это удивило; удивило и то, что у противоположной стены тесно был выстроен в ряд чуть ли не с десяток венских стульев.

Продолжая сидеть за письменным столом спиной ко мне, лейтенант Шепталов снял с аппарата телефонную трубку и кратко сказал в нее: «Привели!», — после чего продолжал заниматься своими бумагами, не обращая на меня внимания. Я сидел и ждал; в шубе и меховой шапке стало жарко.

Прошло минут десять. В комнату быстрыми шагами вошел человек в чекистской форме, со знаком отличия в петлице, небольшого роста, коренастый, лет тридцати пяти, начисто выбритый. Это уж такая у них форма: не видал ни одного следователя с усами. Лейтенант Шепталов встал при его приходе и показал рукой на меня, а потом снова уселся спиной к нам и сделал вид, что всецело погружен в свои бумаги. Новопришедший спросил, указав на меня перстом:

— Этот самый?

Потом подошел, остановился в двух шагах и с минуту разглядывал меня, заложив одну руку в карман, а другою подпершись фертом в бок. Потом — непередаваемо презрительным тоном:

— Писссатель? Иванов-Разумник?

Я молча смотрел на него. Тогда, начав с низких тонов, но постепенно возбуждаясь и повышая голос, он заговорил:

— Писссатель! Иванов-Разззумник! Вы изволили адресовать нам сегодня ваше заявление? Вы позволяете себе обращаться к нам с требованиями?

Вы, господин писатель, требуете соблюдения закона? Да знаешь ли ты, болван, что для тебя закон — это мы! Знаешь ли ты, писательская сволочь, что мы в котлету можем превратить тебя с твоим законом... твою мать! Это тебе не тридцать третий год, когда с вашим братом церемонились! Вот позову сейчас сюда наших молодцов, и они тебе с твоим законом покажут кузькину мать... твою мать! Дерьмо собачье, ты должен дрожать перед нами и во всем сознаться, а не голодовкой угрожать! Испугал, подумаешь ...твою мать! Смеешь наглые требования предъявлять... твою мать! — И, постепенно доходя до дикого крика, завопил: — Встать, когда я с тобой разговариваю!

Продолжая сидеть и стараясь внешне быть спокойным, но внутренне весь дрожа от этого ливня грязных оскорблений, я спросил согнутую над бумагами спину:

— Гражданин следователь Шепталов, это с вашего разрешения и в вашем присутствии производится такое гнусное издевательство над писателем?

Спина ответила (следователь не обернулся):

— Я не имею права вмешиваться: с вами говорит начальник отделения.

А начальник отделения, придя в совершенное неистовство, продолжал вопить, потрясая кулаком:

— Встать, или я сейчас тебе в морду дам! Встать, или я тебя вместе со стулом вышибу из этой комнаты! Встать... твою мать, говорят тебе!

Снова обращаясь к спине и снова стараясь, чтобы голос мой не дрожал (думаю, что это мне плохо удавалось), я сказал:

— Следователь Шепталов, заявляю решительный протест против такого подлого обращения; можете передать вашему начальнику, что он не услышит от меня ни одного слова.

— А, ты, сволочь, не желаешь со мной разговаривать! А, ты не желаешь встать передо мной! Ну ладно же! Не хочу об тебя рук марать! Вот сейчас позову вахтера, увидишь тогда, куда вылетишь вместе со своим стулом! Писссатель! Иванов-Разззумник... твою мать!

И, круто повернувшись на каблуках, он быстро вышел из комнаты. Я его больше никогда не видал, а теперь очень сожалею, что тут же не спросил у следователя Шепталова фамилию этого достойного теткиного сына: приятно было бы огласить ее на настоящих страницах.

Уверенный, что сейчас начнется дикая расправа, я сказал спине следователя Шепталова:

— Еще раз заявляю решительный протест против всех этих гнусностей, угроз и насилия, на которые вы, очевидно, не желаете обратить внимания и поворачиваетесь к ним спиной. Можете быть молчаливым свидетелем того, что здесь произойдет, но после этого и вы не услышите от меня ни одного слова. Я знаю, что мне останется сделать.

Спина ответила:

— Ничего здесь не произойдет.

И действительно: проходили минуты — вахтер не являлся. Потом я понял: заявление мое обсуждалось «на верхах», где было решено — не подвергать писателя насилию, а попытаться взять его страхом, на что и был уполномочен начальник отделения. Взять страхом не удалось — надо было перейти к обычным методам допроса, но без применения палочной системы. Почему? Потому ли, что писатель может впоследствии оказаться печатным свидетелем? (Ведь вот и случилось же!) Не знаю, но должен засвидетельствовать, что после этого первого и последнего дебюта начальника отделения во все последующие полтора года допросов обращение со мной следственных органов было вполне приличным. А через полгода, допрашивая одного из свидетелей по моему делу (об этом эпизоде я расскажу в своем месте), следователь Шепталов заявил, что относится ко мне «с полным уважением»: не за мое ли поведение во время попытки начальника отделения нагнать на меня страх?

Все это я понял только потом, а тогда, ожидая прихода чекистского вышибалы, приготовился ко всему. Когда я сказал следователю «я знаю, что мне остается сделать», то имел в виду план дальнейших действий, решенный за несколько дней перед этим, в минуты исступленных криков о помощи истязаемого на допросе человека, доносившихся из-за фрамуги окна. Если дело дойдет до этого, то жизнь надо кончить, чтобы ответить этим на издевательство и истязания. Легко сказать, но трудно сделать в тюремных условиях; мне казалось, однако, что это хоть и трудно, но не невыполнимо. Надо отломать ручку от выданной мне тоненькой жестяной кружки для чая; в баню водят без обыска — и я легко пронесу с собой эту острую обломанную ручку. А там — шайка горячей воды, незаметно вскрытая вена: кто обратит на меня внимание в густом пару бани?

Надеюсь, что у меня хватило бы решимости привести в исполнение, если бы понадобилось, этот план; не знаю, конечно, увенчался ли бы он успехом. Месяца через два мы узнали из банной переписки, что жена известного сотрудника Ягоды по литературным делам, Агранова[235], сидевшая

в нашем же корпусе в общей женской камере, узнав о расстреле мужа, вскрыла себе вену в бане, была замечена, отправлена в лазарет и вышла из него с парализованной рукой. Судьба избавила меня от подобного испытания, но этого я не знал тогда, когда с минуты на минуту ожидал появления вахтера и всего того, что должно было последовать. Но минуты проходили — вахтер не приходил. Вместо него один за другим стали появляться на сцене другие лица; постепенно их набралось с добрый десяток.

Потому ли, что дикий рев начальника отделения раздавался по всему этажу и по всем следовательским комнатам, потому ли, что следователи были предупреждены обо всей этой сцене и сами желали воочию увидеть арестанта, позволившего себе сделать столь необычное письменное заявление, — но только не прошло и нескольких минут после ухода начальника отделения, как в его кабинет стали входить один за другим молодые люди, кто в форме, кто в штатском: следователи и аспиранты секретно-политического отдела. Они один за другим рассаживались против меня на стульях, точно специально для этого поставленных у противоположной стены, и с любопытством разглядывали меня, очевидно, ожидая продолжения действия. Оно и не замедлило. Но перед действием произошла еще небольшая интермедия.

Следователи смотрели на меня, пересмеиваясь, и чего-то ждали. Но один из них, молодой человек в штатском, рыжий, с ехидно-подлым видом подошел ко мне:

— Вы изволите быть господин писатель?

Я молчал.

— А отчего же вы, господин писатель, не отвечаете?

Я продолжал молчать.

— А отчего же это вы, господин писатель, в шапочке здесь сидите?

— Оттого, что и все вы здесь сидите в фуражках.

— А! Вы изволили заговорить! Но вот видите ли, господин писатель; вы и мы — это две большие разницы! Мы — можем сидеть перед вами в фуражках, а вы — должны снять перед нами шапочку...

И, осторожно приподняв двумя пальцами мою меховую шапку, он столь же осторожно опустил ее на пол. Вид у него был гнусный; я уверен, что на допросах он вел себя как садист-истязатель.

Подняв с пола шапку и надев ее, я еще раз обратился к спине лейтенанта:

— Следователь Шепталов, прошу оградить меня от издевательств ваших товарищей; вы теперь не можете отговариваться тем, что они являются вашим начальством.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, но тут в комнату вошло новое действующее лицо, при появлении которого все почтительно встали — и следователь Шепталов вытянулся у письменного стола. Я сразу узнал вошедшего — «некто в желтом»! Он был так же одет, как и месяц тому назад, когда я видел его в дежурной комнате на Лубянке, 14: желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней знак отличия, желтая клеенчатая фуражка на голове. В эту же ночь я узнал от следователя Шепталова, кто был этот желтый человек: начальник секретно-политического отдела всего московского округа латыш Реденс. Подойдя к Шепталову, он вполголоса перекинулся с ним несколькими не долетевшими до меня фразами; надо полагать, что речь шла обо мне, так как оба они поглядывали в мою сторону. Возможно, что следователь докладывал, каков был успех выступления начальника отделения. Закончив разговор со следователем, Реденс подошел ко мне, продолжавшему сидеть на своем стуле; все, стоя, ожидали — что произойдет? Но никто, и я первый, не мог бы догадаться, на какую тему заговорит со мною «некто в желтом».

— Ну что, — спросил он, — хорошо издаем мы Салтыкова?

— Не так хорошо, как было задумано, но недурно, — в полном изумлении ответил я, — и это доставляет мне большое удовлетворение.

— Вам? Ха! А какое вам дело до нашего издания Салтыкова?

— Очень большое, — сказал я, — так как ваш Салтыков издается в Государственном издательстве по моему плану.

Реденс с минуту молча стоял и смотрел на меня сверху вниз; потом круто повернулся к почтительно стоявшим следователям:

— Вот, обратите внимание: перед вами — один из представителей той контрреволюционной интеллигенции, которую мы, к сожалению, до сих пор еще не всю выпололи до конца. Ярый враг марксизма. Прикрывает свои контрреволюционные мысли легальной литературной формой, с которой наша цензура часто бессильна бывает бороться. Но для того и существует бдительное революционное око НКВД, чтобы выводить этих тайных контрреволюционеров на чистую воду. Они мечтают о возвращении капитализма, хотели бы отнять землю у крестьян и вернуть ее помещикам, рады были бы снова посадить на трон какого-нибудь кровавого деспота, целятся стать министрами в его правительстве. Таков и вот этот

представитель той враждебной нам эсеровской интеллигенции, которую нам теперь нужно, как дурную траву, выполоть вон из нашего коммунистического поля...

Следователи почтительно слушали и поддакивали. Должен сказать, что против первой половины речи Реденса и я не имел бы ничего возразить, но некоторые намеки во второй половине его речи привели меня в недоумение и стали понятны только через два месяца, после одного из очередных допросов. Когда Реденс закончил свою речь, я сказал:

— Если вы внушаете подобное и на своих следовательских курсах, то мне остается только пожалеть о ваших слушателях. Никогда эсеры не мечтали ни о восстановлении самодержавия, ни о возвращении капитализма и помещиков, никогда не целился я на какой-то министерский пост. По отношению ко мне все это совершенный вздор.

Не удостоив меня ответом, Реденс снова перекинулся несколькими фразами с Шепталовым и вышел из комнаты, а за ним гуськом потянулись следователи и аспиранты, сии птенцы гнезда НКВД, питомцы желтого человека. Мы остались вдвоем со следователем Шепталовым. Часы подходили только к полночи, а мне казалось, что я провел здесь Бог знает сколько времени.

Через полгода, когда я сидел в камере № 79 Бутырской тюрьмы, мы обычным путем почты, радиотелеграфа и «газет» узнали, что в соседней камере сидит переведенный из Лефортова Реденс, который там «во всем сознался», а именно — в шпионаже в пользу Латвии... Должен признаться, я очень жалел, что не попал в одну камеру с ним, — то-то было бы интересно повидать его теперь, в его новом обличье! Потом мы узнали, что он снова был взят в Лефортово; наконец — последняя весть о нем была та, что в середине лета 1938 года Реденс был расстрелян...

Фантастические дела творились в застенках НКВД!

IX

Когда мы остались одни, следователь Шепталов предложил мне сесть к столу против него; перед ним лежала объемистая папка в синей обложке — мое «дело». Я не думал, что за мной снова накопилось столько преступлений, сколько должно было заключать в себе это толстое дело!

— В вашем заявлении, — начал следователь, — вы выставили два требования, или, скажем лучше, высказали два пожелания. Первое из них,

о немедленном освобождении, является, как вы сами понимаете, только вполне неуместной в вашем положении шуткой, а второе, о немедленном предъявлении обвинений, я сейчас и исполню. Вот подробный набросок будущего обвинительного акта с целым рядом пунктов, на которые вам надо дать ответ; есть и еще обвинительные пункты, которые мы предъявим вам в ходе следствия. А пока — прослушайте и дайте письменный ответ по всем пунктам.

И он стал читать обширный протокол столь фантастического содержания, что у меня от изумления вылезли бы глаза на лоб, если бы я уже не был достаточно знаком с приемами составления таких филькиных грамот. Вся моя жизнь, вся моя работа с начала революции и за все эти двадцать лет была освещена год за годом с этого бдительного чекистского маяка, и освещение это могло привести только к одному неопровержимому выводу: заслуживает высшей меры социальной защиты!

Начиналось с указания, что с первых шагов своей литературной деятельности я в течение почти двадцати лет до революции был непримиримым противником марксизма, а после революции стал непримиримым противником большевизма. Так, еще в апреле 1918 года, на Втором съезде Советов в Москве, произнес я антибольшевистскую речь и был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов. Этот бывший коммунист сидит теперь за «троцкизм» на Лубянке и уличит меня на очной ставке, если бы я вздумал запираться...

Далее. Знал о плане московского вооруженного восстания левых эсеров в июле 1918 года, но так как жил в Петрограде, то не принял в нем непосредственного участия и вышел сухим из воды. Однако уже в 1921 году, когда остатки разгромленных левых эсеров подготовляли террористические акты, я для одного из них покупал берданку, что тоже устанавливается неопровержимыми свидетельскими показаниями...

Еще далее. В начале 1919 года я был арестован органами ЧК за участие в предполагавшемся новом заговоре левых эсеров; благодаря слабости руки тогдашней Чеки, мне снова удалось избежать кары, но теперь у НКВД накопилось много материалов из той эпохи, которые позволяют вновь рассмотреть это дело и прийти к совершенно иным выводам о моей виновности.

Еще и еще далее. С 1919 по 1924 год я возглавлял «Вольную философскую ассоциацию», хотя и легальную, но контрреволюционную, сущность которой можно усмотреть из артикля[236] «Вольфила» в Большой советской

энциклопедии[237]. В это же самое время в петроградском народническом издательстве «Колос», возглавляемом эсером Витязевым-Седенко, выходили мои книги, все до одной — нежелательного направления, включая сюда даже выпущенный под псевдонимом Влад. Холмского перевод комедии Аристофана «Богатство»[238]. В 1922 году «Вольфила» тоже выпустила сборник «Памяти Александра Блока»; речь моя, напечатанная в нем, является резко антибольшевистской в ряде мест.

Далее, далее. В 1926—1927 годах я редактировал и комментировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина, где позволял себе в комментариях явное издевательство над советским режимом, в доказательство чего к настоящему протоколу прилагается выписанная из комментариев к «Истории одного города» страница[239].

(Прибавлю от себя в скобках: то, что в 1933 году следователи ГПУ стыдливо таили в своей черной книге, то в 1937 году менее стыдливо следователи НКВД смело заносят в протокол! Это же относится и к следующему пункту.)

Еще более явно сделал я это же в 1930 году, в книжке «Неизданный Щедрин», в которой «Сказка о вредном (или ретивом) начальнике» явно целит в настоящее время, что видно и из вырезанной издательством из предисловия фразы, сохранившейся в некоторых экземплярах.

Наконец, чаша терпения ГПУ переполнилась. В 1933 году я был арестован вместе со всеми своими сообщниками и уличен в возглавлении идейно-организационного центра народничества. Сосланный на три года в Новосибирск, вскоре замененный Саратовом, я и там не прекратил своей контрреволюционной деятельности. В Саратове я примкнул к террористической организации местных ссыльных эсеров; весной 1935 года мы выпустили там подпольную прокламацию, автором которой мог быть только я, что и подтверждают ныне арестованные саратовские эсеры-террористы. Летом того же 1935 года я нелегально приезжал в Москву, чтобы принять участие в подпольном съезде группы эсеров, продолжавшемся целую неделю с 10 по 17 июля. Пять из членов этой группировки (перечислены фамилии) подтверждают мое присутствие на всех заседаниях.

Отбыв три года ссылки и незаслуженно получив свободу вместо заслуженной новой тюрьмы, я не угомонился и в Кашире, где поселился с сентября 1936 года и где вел какие-то еще не вполне выявленные контрреволюционные злоумышления — которые НКВД еще вскроет, — что и продолжалось до последних дней перед сентябрьским моим арестом.

Таким образом, с 1918 по 1937 год, в течение полных двадцати лет, жизнь моя была сплошной цепью контрреволюционных антисоветских деяний; дальнейшие, еще более тяжкие обвинения будут мне предъявлены в процессе следствия, теперь же мне предлагается дать письменные показания по всем вышеизложенным пунктам и принести чистосердечное сознание в моих многолетних преступлениях, которое одно только может несколько облегчить мою участь.

Зачитав этот обширный протокол, следователь Шепталов предложил мне тут же приступить к письменным ответным показаниям, предупредив еще раз, что только искреннее раскаяние может способствовать облегчению неминуемой справедливости и тяжелой кары.

Я молча взял перо и стал писать на отдельных листах бумаги. Не буду, конечно, приводить здесь всего моего ответа на эту цепь дико фантастических обвинений, но некоторые пункты приведу — главным образом ввиду характерных реплик на мои слова следователя Шепталова.

Я указал, что не мог произнести никакой — ни контрреволюционной, ни революционной — речи в апреле 1918 года на Втором съезде Советов по той простой причине, что вовсе не был на нем, в чем легко можно убедиться и из списка членов в отчете мандатной комиссии съезда, и из стенограммы речей ораторов; очень прошу поэтому дать мне очную ставку с достоверным лжесвидетелем, стащившим меня за ногу с кафедры. Попутно я предложил следователю Шепталову ознакомиться с моей книгой «Год Революции», вышедшей как раз в апреле 1918 года; содержание ее может показать, что в то время я никак не мог произнести «контрреволюционной речи». Следователь Шепталов ответил на это с величайшим апломбом и с полнейшим пренебрежением:

— Неужели вы думаете, что у нас есть время читать всякий контрреволюционный вздор!

Я заметил ему, что это, к сожалению, является его служебной обязанностью, но из дальнейшего разговора с ним убедился, что он вообще не читал ни одной моей книги и что ссылки на них в протоколе, несомненно, принадлежат какому-нибудь более грамотному человеку, очевидно, оставшемуся в наследство из предыдущего поколения следователей ГПУ нынешним следователям НКВД, безграмотным орлам школы Реденса.

В пункте о покупке берданки я указал, что не только никогда в жизни не покупал берданки или вообще какого бы то ни было оружия, но

даже не знаю, что такое берданка и в чем состоит разница между ею и, например, винтовкой.

— И, однако, вы ее покупали, — ответил мне следователь Шепталов, — человек, продававший вам берданку, теперь тоже сидит в тюрьме по разным делам и на очной ставке подтвердит свое показание. Но как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками!..

Пункты о Салтыкове соответствовали действительности, но их было легко отвести ссылкой на пропустившую мои статьи цензуру, однако ссылку эту следователь Шепталов резонно отвел:

— НКВД — высшая инстанция над цензурой: она недоглядела, мы доглядели...

Что верно, то верно. Но когда я сказал, что справедливее всего было бы привлечь к ответу самого Салтыкова, то, к изумлению своему, услышал такой недоверчиво-чистосердечный вопрос:

— А разве он жив?

Хотелось ответить:

— Ну как же! Могу даже сообщить вам его адрес: Ленинград, Волкова деревня, дом бок о бок с домом Тургенева!

И таким безграмотным следователям поручали ведение литературных дел!

На пункты о террористической организации в Саратове и выпущенной ею прокламации, а также об эсеровском съезде в Москве и недавних моих злоумышлениях в Кашире я кратко ответил решительным протестом против всех этих фантастических обвинений и требовал очных ставок с достоверными лжесвидетелями. Нечего и говорить, что никаких очных ставок ни с одним из этих лжесвидетелей мне так и не дали.

Писал я долго и написал много. Был уже третий час в начале, когда я положил перо и передал написанное следователю Шепталову. Он внимательно все прочел, потом аккуратно сложил листы, спокойно разорвал их и бросил в корзину со словами:

— Отказываюсь принять столь лживые и нелепые показания. Перечтите протокол и распишитесь на нем, что читали его и ни в чем не пожелали сознаться. Но предупреждаю, что вы сами скоро пожалеете о выбранной вами линии поведения.

Когда я вторично стал перечитывать протокол, то на первых же строках официального введения, при первом чтении пропущенных мною (чье дело, фамилия следователя, дата), обратил теперь внимание на нисколько не удивившую меня подделку: протокол был помечен 10 октября 1937

года — законный двухнедельный срок предъявления обвинений... Ничего не говоря следователю Шепталову, я в конце протокола написал:

«Протокол мне предъявлен, а мои ответы на его пункты не приняты следователем лейтенантом Шепталовым — в ночь со 2 на 3 ноября 1937 года», — после чего и подписался[240].

Лейтенант Шепталов прочел — и столь же молча принял мое раскрытие его подделки, насколько молча я ее усмотрел; однако заметил:

— Вы очень неосторожно напрашиваетесь на принятие против вас репрессивных мер. К тому же вместо чистосердечного признания и раскаяния вы обнаружили в своих ответах злостную нераскаянность; это тоже поведет к отягчению вашей кары.

Затем предложил мне пересесть от стола на тот стул между двумя шкапами, на котором я сидел в начале этой многопамятной ночи, а сам снова подставил мне спину и погрузился в свои бумаги. Так прошел час. И еще час. На стенных часах пробило и четыре, и пять, и шесть. Внезапно обернувшись ко мне, следователь Шепталов спросил:

— Спать хочется?

— Не очень, — ответил я.

— Придется не спать! — многозначительно пообещал он, но тут же позвонил и велел дежурному чину отвести меня обратно в «собачник».

Только через месяц я уразумел смысл угрозы «придется не спать!», когда на моих глазах произошла пытка доктора Куртгляса конвейером, недельным лишением сна. Нисколько не сомневаюсь, что за время до второго моего допроса — а он как раз произошел через месяц, в начале декабря, — в высших инстанциях секретно-политического отдела НКВД решался вопрос: как со мною поступить? Передать ли на бессонный конвейер? Прибегнуть ли к резиновым допросам? Или пока что вести допросы, не применяя бессонных и палочных аргументов?

Оказалось, что решено было остаться при последней мере. Почему? — спрашиваю себя еще раз. Потому, что я «писатель» и, чего доброго, когда-нибудь смогу и рассказать о претерпенном? Не знаю, но факт все-таки тот, что со мною, «писателем», обращались корректнее (если исключить эпизод с начальником отделения), чем с десятками моих сотоварищей — профессоров, инженеров, педагогов, генералов, летчиков и всей прочей «интеллигенции» в кавычках и без кавычек. Мне часто бывало стыдно перед сокамерниками, возвращавшимися с тяжелых и частых допросов, в то время как меня месяцами оставляли в покое, а допросы производили всегда

в корректной форме. Что же касается количества допросов, то за все полтора года моего тюремного сидения в Бутырке их было всего-навсего пять: один в августе; за исключением первого, все они происходили всегда днем, были кратковременны — продолжались не более двух-трех часов — и, повторяю, производились в вежливой форме. Правда, через полгода, в апреле месяце, я подвергся преддопросной недельной пытке — но о ней речь будет особая.

Однако я забегаю вперед, пора вернуться и в «собачник». Вернулся я туда в седьмом часу утра, совсем разбитый не столько бессонной ночью, сколько предыдущими переживаниями. Эта ночь со 2 на 3 ноября 1937 года была поистине кульминационным пунктом всех моих юбилейных чествований: ливень гнусных ругательств и оскорблений, вылитых начальником отделения на мою голову. Через полгода мне пришлось перейти через вторую «кульминацию», а спустя новые полгода — еще и через третью, но обе они были уже не моральные, а физические, и несомненно, что первая горше двух вторых. И все-таки — какие все это пустяки по сравнению со всем тем, что переживали физически и морально те подлинные страстотерпцы, о которых я рассказал выше!

Улегся на голый холодный пол «собачника», но заснуть, конечно, не мог. Соседи мои уже не спали; профессор опять участливо спросил: «Ну что, не били?» — и, узнав, что не били, но окатили ушатом грязных ругательств, удивленно протянул: «Только-то?»

Утренний час, «оправка», обед прошли для меня как в тумане. После обеда я собрался было заснуть «всерьез и надолго», как вдруг меня вызвали в комендантскую, там проверили краткую анкету, вернули очки, а оттуда вывели во двор и посадили в «черного ворона», битком набитого мужчинами и женщинами, которых развозили по разным тюрьмам; на этот раз я попал в «черного ворона» иной конструкции — без купе и с одной общей камерой. Это было «почтовое отделение № 3» — столько новостей из разных тюрем надо было узнать и передать во время короткого переезда!

Наконец приехали. Опять бутырский «вокзал», опять повторение пройденного, опять изразцовая труба, опять раздевание «догола», опять фиоритуры известной гаммы: «Встаньте! откройте рот! высуньте язык!» — и так далее. Вставал, открывал, высовывал, нагибался — и так далее. Потом через двор — в свою камеру № 45, «домой»...

Странное существо человек! Ведь действительно я почувствовал себя «дома», в своем обжитом углу, среди знакомых, месячных товарищей:

пожатия рук, приветствия, вопросы и о моем деле, и о радиотелеграфе, и о почтовом отделении № 3. Я рассказал все новости — и завалился в «метро»: отказался потом от ужина и проспал до вечерней поверки, да и после нее спал всю ночь до утра.

X

Прошел месяц — никто меня и никуда не вызывал; очевидно, «дело» мое варилось в высших инстанциях. Наконец 5 декабря, на третьи сутки бессонного конвейера доктора Куртгляса, меня после обеда вызвали «без вещей»: ну, значит, опять «черный ворон», опять Лубянка, опять «собачник». Но нет — повели меня не на «вокзал», а в первый этаж другого корпуса, где тоже оказались следовательские комнаты.

Интересно отметить к слову, как всегда совершались эти шествия через тюремный двор. В разных местах двора стояли деревянные будочки, вмещавшие как раз одного человека; если сопровождавший меня тюремный чин издали усматривал, что навстречу нам ведут другого заключенного, то немедленно открывал дверцу ближайшей будочки, впихивал меня в нее и захлопывал дверь, чтобы я не видел, кто пройдет мимо меня. Иногда встречный конвоир проделывал такую операцию со своим поднадзорным — и тогда мы проходили мимо будочки с заключенным. Оборачиваться на ходу было строго воспрещено под угрозой различных тюремных взысканий.

Меня ввели в следовательскую. Лейтенант Шепталов был настолько любезен, что сам приехал на допрос в Бутырку и избавил меня от лубянского «собачника». Настроение мое было пониженное: весь под впечатлением пыточного конвейера, проделываемого над доктором Куртглясом, я мог ожидать всевозможных аргументов подобного же рода и от следователя Шепталова. Но опасения мои не оправдались. Предложив мне сесть, лейтенант Шепталов сказал:

— Сегодня мы начнем с конца, уточним вопросы о ваших саратовских и каширских преступлениях. Вот появившаяся в Саратове ранней весной 1935 года прокламация; свидетели, саратовские эсеры, указывают, что она написана вами. Признаете свое авторство?

И он протянул мне гектографированный листок, озаглавленный: «Убит Киров, очередь за Сталиным!» Если прокламация эта была изготовлена в недрах НКВД, что почти несомненно, то нельзя не удивляться, каким

безграмотным аспирантам заказывает НКВД подобные литературные произведения. А если бы даже листовку эту и составили саратовские эсеры, что почти невозможно, то и им она — грамматически — не делает чести. Начиналась листовка фразой: «Который был палачем народа — убит!», в середине были призывы «будировать (в смысле «будить») общественное мнение», и много всяких подобных же перлов. Указав следователю Шепталову на все эти безграмотности, достойные учеников начальной школы, я просил избавить меня от авторства этой безграмотной стряпни.

— Однако свидетели подтверждают ваше авторство, — повторил следователь Шепталов.

— Не думаю, чтобы вы мне дали очную ставку с этими лжесвидетелями, — ответил я, — слишком это было бы для них конфузно. А к тому же сообщаю к вашему сведению, что за все три года жизни в Саратове я не был знаком ни с одним эсером.

— А между тем ваш саратовский квартирохозяин, сапожник Иринархов, показал на допросах, что к вам часто приходили незнакомые ему люди, в которых он теперь опознал предъявленных ему арестованных саратовских эсеров.

— Очень огорчен за него, если это так, — сказал я, — это значило бы, что его заставили дать ложные показания.

Впоследствии я узнал, что эта ссылка на показания Иринархова была ложью: при ряде допросов он ни разу не дал ложных показаний, каких от него требовали. Мне повезло на честных квартирохозяев — саратовского Иринархова и каширского Быкова.

— Хорошо, оставим пока в стороне вопрос об авторстве прокламации, — согласился следователь Шепталов, — нам интереснее другое: ваше отношение к этой листовке не по грамматике, а по существу. Согласны вы с призывом к террору?

— Нет, не согласен. Считаю при создавшихся государственных условиях террор и никчемным, и вредным, и гибельным.

— А саратовские эсеры утверждают, что вы были вполне солидарны с их террористической установкой.

— Еще раз повторяю, что за все три года саратовской ссылки не встречался ни с одним из эсеров, и сомневаюсь, чтобы вы пожелали дать мне очную ставку с ними.

— А вот увидите!

И следователь Шепталов что-то отметил на листе бумаги. Само собой понятно, что никакой очной ставки дано мне не было, да и сами эти свидетельские показания были, вероятно, следовательскими измышлениями.

— Вы отрицаете также и свое участие в заседаниях московской эсеровской группировки с седьмого по десятое июля 1935 года?

— Решительно отрицаю.

— И, однако, пять из участников этих собраний утверждают, — тут следователь Шепталов повторил пять совершенно мне неизвестных и сразу же начисто забытых мною фамилий, — утверждают, что вы в течение всей недели принимали в их собеседованиях деятельное участие.

— Названные вами фамилии совершенно мне незнакомы, но дело не в том, а вот в чем: я никак не мог находиться целую неделю июля 1935 года в Москве, так как, пребывая в это время в саратовской ссылке, я должен был через каждые четыре дня в пятый являться в ГПУ на регистрацию, что вам, очевидно, неизвестно, или упущено вами из вида.

— На регистрацию являются три раза в месяц, — недоверчиво заметил следователь Шепталов.

— А я являлся раз в пять дней. Можете запросить об этом саратовский НКВД.

— И в четыре дня можно съездить из Саратова в Москву и обратно.

— Можно. Но, во-первых, где же тогда мое участие в этом мифическом съезде в течение целой недели? А во-вторых, главное: за все три года ссылки я ни на один день не уезжал из Саратова. Это может подтвердить вам и мой квартирохозяин, Иринархов.

— Запросим!

Больше никогда я ничего не слышал об этих «саратовских пунктах» обвинения. Обычная стряпня филькиной грамоты: нагромоздить как можно больше хотя бы самых нелепых обвинений; пусть большинство их в процессе следствия и отпадет, а все же, может быть, кое-что и останется. А если принять во внимание методы физических аргументов при допросах, то нет ничего удивительного в том, что в самых диких и неправдоподобных преступлениях «сознавались» замученные жертвы чекистского террора.

— Теперь перейдем к Кашире, — продолжал следователь Шепталов, — вы там прожили целый год, снимая комнату у гражданина Быкова; он показывает, что к вам часто наезжали из Москвы подозрительные люди, с которыми вы запирались в своей комнате, и что вы вели с ним самим контрреволюционные разговоры.

— Значит, он арестован?

— Кто, Быков? Это вас не касается.

— Почему же нет? Раз я вел с ним преступные разговоры, значит, и он вел их со мной?

— Предоставьте нам знать, кого надо арестовывать, а кого нет!

— Хорошо, пусть же он подтвердит мне свои показания на очной ставке!

Я был вполне уверен, что это чистая выдумка, как и оказалось впоследствии, когда я узнал, что Быкова после моего ареста неоднократно допекали допросами в каширском НКВД, требуя от него нужных им показаний. Он имел мужество стойко выдержать многочисленные допросы и не дать показаний ложных.

— А вот, — протянул мне следователь Шепталов лист, — протокол допроса вашего каширского соседа; извольте ознакомиться.

Я «ознакомился». Неизвестный мне сосед по Кашире (я почти вспомнил, что иногда встречался с ним на улице) при допросе в каширском НКВД показал, что неоднократно видел приезжавших ко мне в Каширу подозрительных людей, которых я иногда провожал потом в Москву; однажды он, железнодорожник, оказался в вагоне рядом с нами и подслушал наши контрреволюционные разговоры. Видно, не хватило у него мужества, подобно Быкову, не пойти на ложные показания, а может быть, кто его знает, был он и «сексотом» НКВД.

— Ну что ж, — сказал я, возвращая следователю Шепталову протокол, — вот и прекрасно: устройте нам тройную очную ставку, и пусть гражданин Быков и доблестный железнодорожник опишут мне тех лиц, которые неоднократно меня навещали. Заявляю, что за весь год моего пребывания в Кашире меня не посетила ни одна живая душа.

— Вы продолжаете одинаково упорствовать в отрицании как крупных, так и мелких фактов, — сказал следователь Шепталов, складывая бумаги, — тем хуже для вас. Хорошо, мы дадим вам все очные ставки, но ведь и без них для нас дело вполне ясно. Вы не можете отрицать, что относитесь враждебно к советской власти; ведь вы думаете, что каждый коммунист — провокатор.

Последняя фраза требует пояснения. В течение ноября месяца мы разоблачили в своей камере трех «куриц» (иногда их именовали и «наседками»); произошли скандалы, в одном случае дело дошло и до потасовки, — «курицу» помяли, — за которую камера была оставлена без «лавочки», но все же все три «курицы» немедленно были переведены от нас в

другие камеры. Наш староста, проф. Калмансон, после изгнания третьей «курицы» сказал мне:

— Удивительно: все три наседки были коммунисты!

— Ничего удивительного нет, — возразил я, — ведь всякий коммунист по своему партийному долгу — доносчик.

Наш разговор à part[241] был, очевидно, подслушан четвертой, еще не разоблаченной «курицей», и следователь Шепталов был осведомлен о моих словах.

— Я действительно думаю нечто подобное, — сказал я, — хотя и не совсем в вашей формулировке. Но мало ли, что я думаю! Государство должно карать за дела, а не за мысли. Еще римское право знало, что cogitationis poenam nemo partitur[242].

— То есть, что это значит?

— Это значит: мысль — ненаказуема. Это установили римские юристы еще две тысячи лет тому назад.

— Вот были идиоты! — искренне удивился следователь Шепталов.

Этим допрос и закончился: следователь куда-то торопился и все время посматривал на часы. Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня обратно «домой», следователь Шепталов посулил мне на прощанье:

— В следующий раз вам будет предъявлено еще одно обвинение, относящееся к тем же последним годам; о более ранних поговорим позднее. Но предупреждаю вас в последний раз: бросьте систему запирательства, она ни к чему хорошему вас не приведет; дайте искренние и чистосердечные показания[243].

— Я их и даю, — ответил на ходу я, когда дежурный страж уже уводил меня из следовательской комнаты.

XI

Следующего допроса мне пришлось ожидать снова почти месяц: с моим делом торопились медленно, и это меня спасло, потому что в тюрьме я досидел и пересидел Ежова на его посту главы НКВД. Иди мое дело быстрым темпом — я к началу 1938 года, несомненно, был бы уже где-нибудь в изоляторе или концентрационном лагере; а как известно —

Легок путь, ведущий в ад,
Но обратный — невозможен.
Нам преданья говорят —

Царь подземный осторожен:
Всех к себе впускает он,
Никого не выпускает...[244]

Попади только в это хтоническое царство концлагерей — и все дороги назад для тебя закрыты. Нелегко было просидеть 21 месяц в общих камерах тюрьмы, но великое спасибо теткиным сынам за их волокиту и медленную в моем случае юстицию.

Днем 31 декабря я был вызван прежним порядком на допрос и приведен в ту же следовательскую комнату. Следователь Шепталов предложил мне сесть не у самого письменного стола, а немного поодаль, пока он закончит разбор своих бумаг. Покончив с этой работой, он встал, прошелся по комнате, закурил папиросу, предложил мне другую, от которой я отказался, и продолжал молча ходить и курить. Вдруг, остановившись передо мной, он воскликнул:

— Какие у вас прекрасные, новые калоши!

Это снова требует небольшого отклонения в сторону — и опять на тему о «курицах».

Одеваясь перед отправкой в тюремные странствия в своей каширской комнате, я выбрал, разумеется, худшее и наиболее поношенное из своего платья, в том числе надел и старые, истоптанные высокие сапоги, оставив в своей комнате новую башмачную пару. Выбор сапог оказался ошибкой, — они так скоро отказались служить, что уже через два месяца подметки стали отваливаться; и как я их ни подвязывал веревочками и тесемочками, к середине декабря пришлось отказаться и от прогулок, которых я тогда еще не бойкотировал. Числа 20 декабря была у нас очередная «лавочка» — и я, «бедняк», вдруг получил неожиданный подарок: наш староста, проф. Калмансон, молодой студент, «троцкист» Зейферт и еще два товарища, фамилии которых я, к стыду моему, забыл, тайно от меня сложились между собой и купили мне калоши. Я был глубоко тронут их вниманием и подарком, о котором в камере знали только они четверо да я пятый. Но мы забыли о шестом — о неизбежной подслушивающей «курице». Казалось бы, ну какой интерес может представлять столь ничтожный факт, как покупка в складчину калош «лишенцу» его состоятельными товарищами? Но нет, и об этом сущем пустяке следователь был осведомлен! Это показывает, под каким внимательным «внутренним освещением» жили все мы в камере.

Немного удивленный восклицанием следователя, я ответил, что калоши действительно новые. А он продолжал разгуливать по комнате и курить, несколько раз останавливался и повторял: «Прекрасные, совсем новые калоши!», так что я скоро догадался, что тут дело не обошлось без «курицы». Следователь продолжал настаивать:

— Замечательные калоши! Вы что же, из Каширы захватили их с собой?

— Может быть, и из Каширы.

— Удивительно! Как это я раньше на вас их не замечал?

— Раньше я их не носил.

— Что же, в мешке их держали?

— Может быть, и в мешке.

— Не вернее ли будет сказать, что вы купили их в тюрьме?

— Может быть, купил и в тюрьме.

— А сколько вы за них заплатили?

— Десять рублей.

— Но ведь вы, кажется, не получаете денежных передач?

— Не получаю. По вашему же распоряжению.

— Откуда же деньги?

— Захватил с собой при аресте.

— Замечательные калоши!

Мне надоели эти шпильки, и я сказал:

— Не понимаю, гражданин следователь Шепталов, какое отношение имеют эти калоши к предъявляемым мне обвинениям!

— Ближайшее отношение. А именно: вы и на все серьезные вопросы обвинения отвечаете столь же правдиво, как и на вопрос о калошах?

— На серьезные вопросы я и отвечаю серьезно. А история с калошами вам известна, очевидно, во всех подробностях, но я не намерен о ней говорить.

— Нам *все* известно, — подчеркнул следователь Шепталов, присаживаясь к столу. — Ну а теперь поговорим по-серьезному.

Серьезное заключалось в новом обвинительном пункте, не занесенном в обширный протокол 2—3 ноября. Произошел следующий диалог.

— Вам известно, что ваш личный секретарь и сообщник по идейно-организационному центру народничества, Д.М. Пинес, в январе месяце этого года был вторично арестован в своей архангельской ссылке?

— Известно.

— А что жена его, женщина-врач, была арестована в Ленинграде в апреле этого года — вам тоже известно?

— Тоже известно.

— Как вы полагаете, за что она арестована?

— Вероятно, за то, что она жена своего мужа.

— Этот ответ столь же пра̀вдив, как и ваши ответы о калошах. Вы прекрасно знаете, за что она арестована.

— Нет, не знаю.

— Нет, знаете.

— Нет, не знаю.

— За то, между прочим, что в апреле прошлого 1936 года она предоставила свою квартиру на 4-й Советской улице, в доме № 8, квартира 11, для тайного и с контрреволюционными, заговорщицкими целями свидания вашего с академиком Тарле.

Пора было бы перестать чему бы то ни было удивляться в недрах ГПУ и НКВД, но я был поражен таким сообщением. Академик Тарле, persona gratissima[245] у кремлевских заправил, процветающий и благоденствующий, большевикам «без лести преданный», вошедший в особенный фавор после академического разгрома, имеющий доступ к «самому Сталину», неоднократно приглашаемый в Кремль — и вдруг обвинение в контрреволюционном заговоре! Поразительно! Но я-то тут при чем?

— Раз *вам* все известно, — сказал я, — то известно и содержание разговора между академиком Тарле и мною во время этого свидания?

— Известно. Гражданин Тарле нащупывал почву, согласитесь ли вы принять пост заведующего министерством народного просвещения в том демократическом правительстве, которое должно заблаговременно быть сорганизованным на случай крушения советской власти при возможной предстоящей войне.

— А что ответил я — тоже известно?

— Тоже известно. Вы ответили, что вполне сочувствуете идее демократического правительства, но желали бы быть более посвященным в его структуру и в его организационную деятельность.

— И при свидании этом никого третьего не было?

— Не было.

— Значит, все это вы узнали из показаний самого академика Тарле?

— Откуда бы ни узнали!

— Во всей этой сказке из тысячи и одной ночи есть только один верный пункт...

— Ну вот видите! Хоть один, да есть! Какой же?

— Тот, что с февраля по май прошлого 1936 года я действительно бывал в Ленинграде, так как приехал из Саратова в Пушкин по случаю тяжелой болезни жены.

— Прекрасно! Значит, в это время вы могли быть и на свидании с академиком Тарле?

— Мог быть. Кроме того, я мог быть и на собрании артистов драматического театра для выработки репертуара на предстоящий сезон, мог быть на вершине Исаакиевского собора, мог быть на опере «Кармен». Мог быть — но не был. Что же касается свидания с академиком Тарле, то довожу до вашего сведения, что не встречался с ним никогда в жизни, не видел даже его фотографии и не знаю, с бородой он или бритый, с шевелюрой или лысый... А организация демократического правительства и предложение мне участвовать в нем — это, извините, такая смехотворная шутка, которой никто не поверит.

— И, однако, это факт. Но все же вы признаете, что в апреле 1936 года бывали в Ленинграде?

— Бывал.

— И посещали квартиру женщины-врача, гражданки Пинес, на 4-й Советской улице, в доме № 8, квартира № 11?

— Посещал не квартиру, а хорошую мою знакомую, жену моего друга Р.Я. Пинес.

— Значит, посещали. Так и запишем. Итак — пишу: «Сознаюсь, что в апреле прошлого 1936 года был в Ленинграде и посещал квартиру гражданки Пинес...»

— Такого протокола я не подпишу.

— Почему? Ведь вы же признали этот факт?

— Не «признал» и не «сознался», а установил.

— Никакой разницы нет.

— Громадная разница. Если «сознался», значит, в чем-то виноват. А я не «сознался», не «признался», а просто утверждаю те факты, которые действительно были. Сознаваться мне не в чем; все это совершенная фантастика.

— Вы тонко разбираетесь в этих глаголах. Обойдемся совсем без них, предлагаю вам подписать чистосердечно такой первый пункт протокола: «В

апреле 1936 года, временно пребывая в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире женщины-врача гражданки Пинес (следует адрес) свидание с академиком Е.В. Тарле, с которым вел беседу по поводу участия моего в ответственном министерстве после свержения советской власти...»

— Вы смеетесь надо мной. Такого факта никогда не было и не могло быть.

— Значит, вы упорствуете в запирательстве?

— Значит, упорствую в правдивых показаниях.

Я так подробно привел этот диалог, чтобы хоть один раз показать, из каких нелепых и мучительных ненужностей и мелочей были сотканы все допросы. Этот допрос закончился тем, что был подписал протокол, начинавшийся словами: «Отказываюсь признать, что...» — а дальше шла формулировка следователя.

Так вот, между прочим сказать, где была разгадка непонятной для меня два месяца тому назад фразы Реденса о том, что я целюсь на какой-то министерский пост! ...Какая же, однако, все неумная шутка!

Подводя итоги этому и предыдущему допросу, следователь Шепталов сказал:

— Итак, вы не желаете ни в чем сознаваться, в то время как тщательно проверенные факты все говорят против вас. Этим вы сами себя губите. Обдумайте все это еще и еще раз. Если бы вы пошли нам навстречу, ваша участь была бы смягчена; вы не очень стары, мы дали бы вам возможность плодотворно работать еще лет десять—пятнадцать. А если нет — пеняйте сами на себя. Мы выбросим вас, как ненужную тряпку, в корзину истории, и никто никогда не вспомнит вашего имени.

— Вспомнит ли мое имя история русской литературы — не знаю, но одно твердо знаю, что это от вас нимало не зависит, — ответил я.

На этом мы и простились — совсем простились, так как следователя лейтенанта Шепталова я больше никогда не видел. Он продолжал вести мое дело, но на следующие допросы меня по его поручению вызывали уже его помощники. Впрочем, ближайший допрос состоялся только через три с половиной месяца, — Festina lente![246]

Позвонив дежурному, чтобы тот увел меня в камеру, следователь Шепталов иронически напутствовал меня:

— Поздравляю с наступающим Новым годом!

Вернувшись в камеру, я шепотом («курицы»!) сообщил проф. Калмансону и двум-трем товарищам сенсационную новость: в Петербурге,

несомненно, арестован академик Тарле! Несмотря на некоторый свой тюремный опыт, я все-таки попался на удочку следователя и поверил возможности ареста почтенного академика (впрочем, таких ли еще китов арестовывали!) под предлогом мифического заговора. Был бы человек, а статья пришьется!

Через год я воочию увидел, как «шьются» такие дела.

Ровно через год, в декабре 1938 года, в камере № 113 Бутырской тюрьмы сидело нас не так много, а среди нас — один моряк, служивший свыше года в Париже, в торговом секторе полпредства. Полпредом (послом) был тогда «товарищ Потемкин», ставший потом заместителем и помощником Молотова в комиссариате иностранных дел. Так вот, моряк этот вернулся как-то вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских аргументов следователя (что, прибавлю в скобках, к концу 1938 года очень редко случалось). Впрочем, он был подавлен не самим фактом таких аргументов, а своим «добровольным сознанием» в том, что в 1937 году в Париже полпред Потемкин организовал среди членов полпредства и торгпредства боевую «троцкистскую» организацию, в которой и он, моряк, принимал участие...

Конечно, все это фантастично: фантастично то, что органы НКВД составляют лживый протокол о человеке, являющемся в это самое время сперва послом, а потом заместителем комиссара по иностранным делам; еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД — на всякий случай: авось пригодится, авось придется арестовать и товарища Потемкина — так вот обвинение уже загодя готово, и достоверный лживый протокол, и лжесвидетель налицо, и человек найден, и дело пришито...[247]

Так шьются эти дела. Представьте себе теперь, что я «сознался» бы в подпольном свидании с академиком Тарле: тогда в руках НКВД было бы готовое обвинение на тот случай, если бы понадобилось изъять из обращения достопочтенного академика. А я-то по наивности подумал тогда, что он, обвиняемый в таком тяжком преступлении, наверное, уже арестован... Ничуть не бывало! Когда я позднее, в 1940 году, встретился с его бывшей женой, пожилой писательницей[248], я узнал от нее же, что и гражданин Тарле нимало не подозревал, какие сети плел вокруг него НКВД. Никто его не трогал и не тронул, он благоденствовал и продолжает благоденствовать даже и до сего дня...

Обвинение, связывавшее меня с преступлениями академика Тарле, кануло в Лету и более не выдвигалось против меня. Но кто мог помешать доблестным птенцам НКВД выдвинуть против меня новую артиллерию столь же обоснованных обвинений? «Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?» — справедливо сказал в одном из своих афоризмов Козьма Прутков.

Но этого непромокаемого пороха мне пришлось ожидать еще три с половиной месяца — до следующего допроса.

XII

Новый, 1938 год камера № 45 встретила угрюмо: участились допросы с избиениями, пошли в ход резиновые палки.

В конце марта исполнилось уже полгода моего сидения в этой камере «под предварительным следствием».

Надо сказать, что по советским «законам» такой предварительный арест может продолжаться только два месяца; по истечении их должно последовать новое разрешение прокурора на продолжение срока еще на два месяца. Нет ничего проще: следователи предъявляют прокурору НКВД списки заключенных, арест которых должен быть продлен ввиду незаконченного следствия, и он механически штампует: «продлить», «продлить», «продлить», отнюдь не входя в рассмотрение существа самих дел. Через новые два месяца — повторение той же истории, и, таким образом, заключенные могут годами сидеть в тюрьме «под предварительным следствием», а «закон» — соблюден.

Люди приходили и уходили, старожилов в нашей камере оставалось все меньше и меньше. Пришла наконец и моя очередь расставаться навсегда с камерой № 45, в которой я так длительно обжился и, пройдя все этажи от «метро» через «самолет» до нар, помещался уже на лучшем месте — на нарах почти у самого окна.

После утреннего чая 6 апреля меня вызвали — на этот раз «с вещами»! Такой вызов всегда был сенсацией: куда-то переводят человека из Бутырки? В другую тюрьму? В этапную камеру? О том, что могут выпустить «на волю», никто не мечтал, таких случаев пока не бывало. Собрав вещи, я попрощался с товарищами; с некоторыми из них очень сжился. Прощай, камера № 45!

Повторение пройденного: «вокзал», обычная изразцовая труба, обычный обыск вещей, обычные и зычные окрики: «Разденьтесь догола! встань-

те! откройте рот! высуньте язык!» — прочее, до конца этой тюремной ектеньи, столько уж раз мною прослушанной. Но и кое-что новое: мне предложили сдать казенные вещи — одеяло, миску, ложку, кружку, а затем повели в анкетную комнату, проэкзаменовали меня по моей анкете и вычеркнули из списков Бутырской тюрьмы. Прощай, Бутырка!

«Черный ворон» — куда-то меня увезет? Приехали, вывели — знакомое место! Двор Лубянской тюрьмы и спуск в подвал «собачника». Комендатура, тщательный обыск, снова отнятые очки — и меня с вещами направляют в один из подвалов. Здравствуй, «собачник»! Случаю угодно было, чтобы я попал в тот же № 4, в котором просидел сутки почти полгода тому назад.

Так как мы дошли здесь до второй «кульминационной точки» моих чествований (первая была в ночь со 2 на 3 ноября), то на ней я остановлюсь несколько подробнее. Но — «найду ли краски и слова»? Тому, кто не видел этого воочию и не испытал на самом себе, всякое описание покажется бледным и неубедительным; тут нужны глаз и рука художника, это поистине «сюжет, достойный кисти» Достоевского! Но попробую просто и протокольно описать быт этого «собачника», в котором я до допроса провел целую неделю.

Когда в ноябре я пробыл сутки в этом «собачнике», в том же подвале № 4, нас было в нем 18 человек, и на сорока квадратных аршинах можно было довольно свободно разместиться на голом каменном полу. Теперь же, когда я вошел... нет, не могу сказать «вошел», так как никакого прохода не было, войти в этот «собачник» было невозможно: все сорок квадратных аршин были заполнены тесно бок о бок сидящими спрессованными голыми людьми — в кальсонах, но без рубашек. Я прибыл шестидесятым — и уже, казалось, не было ни вершка свободного места; стоял в дверях — «собачник» встретил меня ревом негодования: не против меня, а против людей, устраивающих такую пытку «сельдей в бочке». Но дверь за мной захлопнулась — и надо было как-то и самому вклиниться, и мешок с вещами втиснуть на пол между двумя тесно спрессованными голыми людьми. А тут надо было еще снять шубу, пиджак, жилетку, а вскоре и брюки и рубашку, чтобы положить все это на вещи и усесться на них. Как все это удалось мне сделать — до сих пор недоумеваю: ведь не было, казалось, свободного вершка, чтобы поставить ноги. Мне с великими усилиями дал место рядом с собой мой сокамерник «Daunen und Federn», привезенный сюда тоже «с вещами» за день до меня.

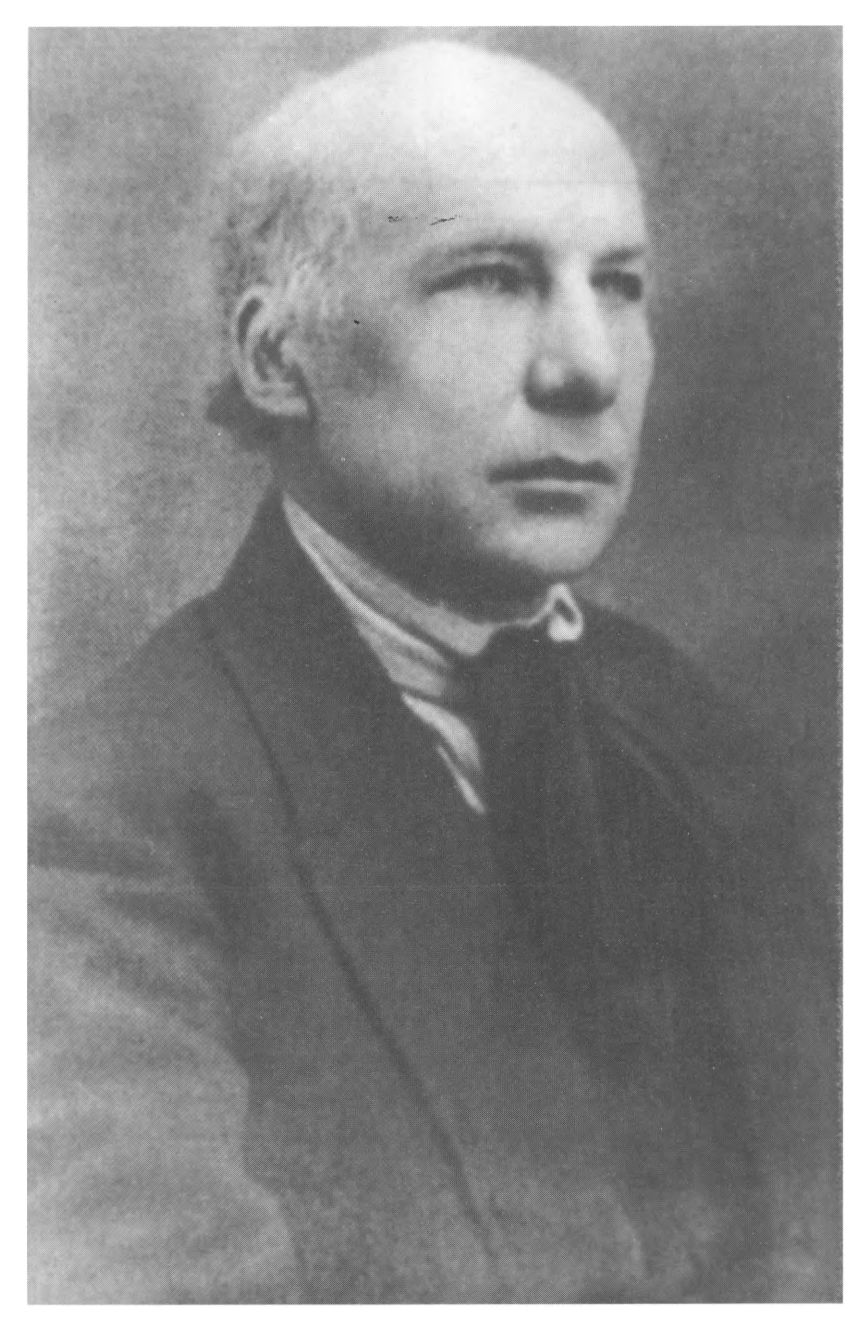


Ф. Сологуб

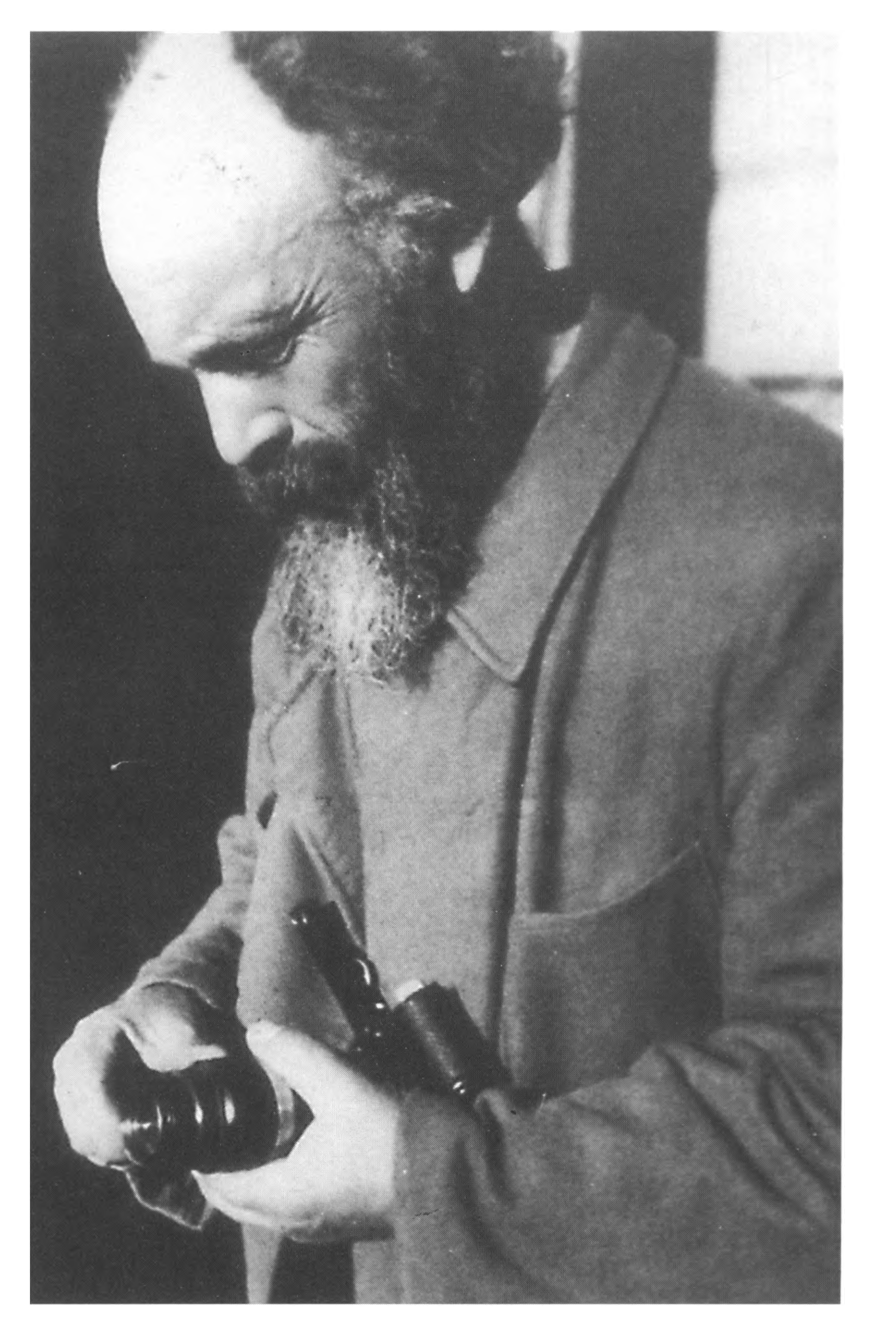
А.Н. Толстой – автор "Петра I".
Шарж Н.Э. Радлова. 1930-е



"Серапионовы братья" (слева направо):
К.А. Федин, М.Л. Слонимский, Н.С. Тихонов,
Е.Г. Полонская, М.М. Зощенко, Н.Н. Никитин, И.А. Груздев, В.А. Каверин



А. Белый. 1933 г.



М.М. Пришвин. 1930-е гг.

С. Есенин и Н. Клюев. 1916 г.

*Дом в Царском Селе (Колпинская ул., 20),
в котором с 1907 г. жил Иванов-Разумник*



Иванов-Разумник. Рисунок М. Мизернюка. 1927 г.

Ивановъ-Разумникъ

Исторія русской общественной мысли

ИНДИВИДУАЛИЗМЪ И МѢЩАНСТВО

ВЪ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ И ЖИЗНИ XIX в.

Томъ II

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 л., 28

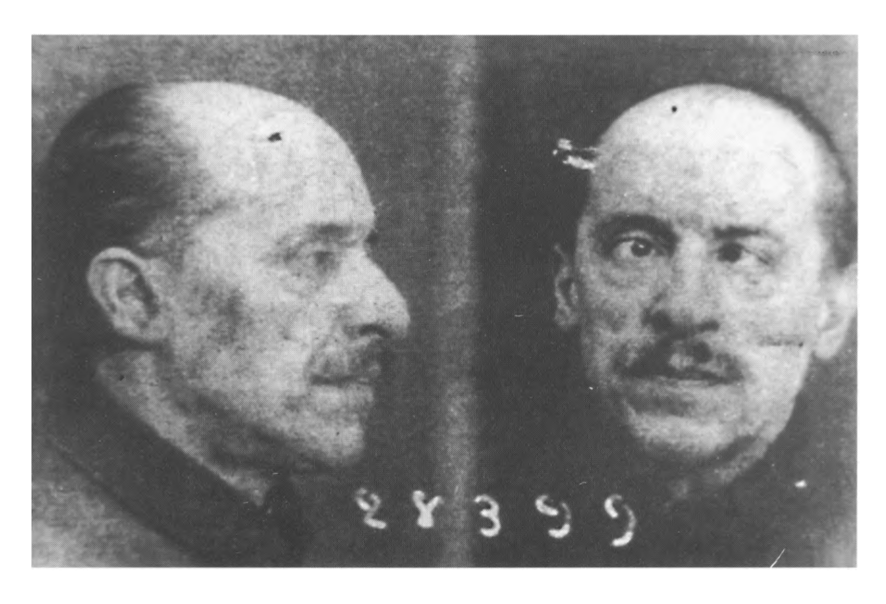
1907

Обложка книги Иванова-Разумника
"История русской общественной мысли"



Бутырский тюремный замок. Угловая башня.
Фото из фондов музея общества "Мемориал"

Иванов-Разумник и В.Н. Иванова



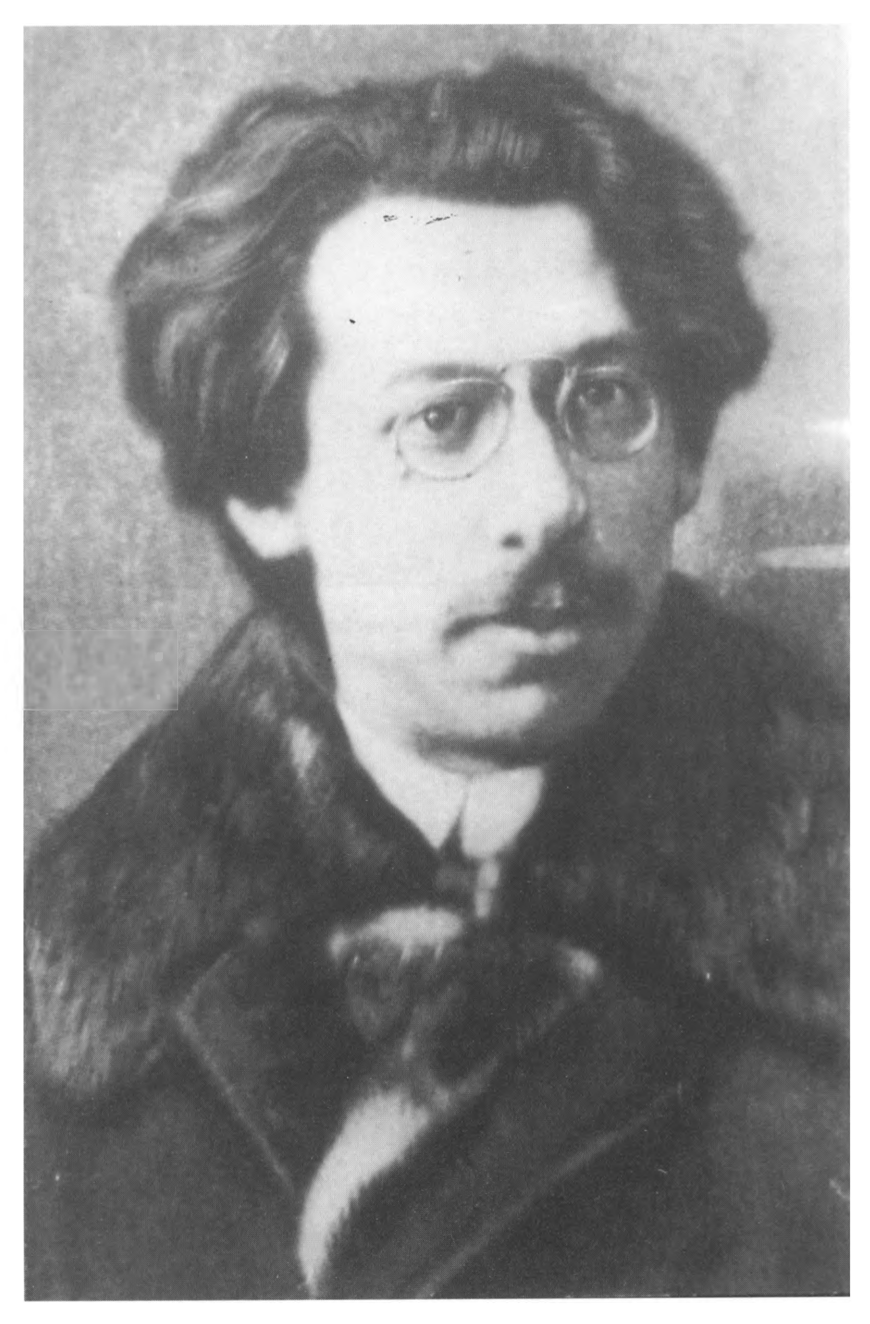
Иванов-Разумник.
Фото из следственного дела 1933 г.

В течении всей своей творческой жизни я являлся идеологом народничества, что отражено во всех моих литературных трудах.
Я примыкал к лево-эсеровскому движению и являлся одним из деятелей этого движения.
В период первых лет революции я наравне с руководителем партии левых эс-эров участвовал в работе партии, формально не являясь её членом.
Моя практическая работа в партии заключалась в участии в редактировании основных её печатных органов. Я был редактором литературных отделов газет и журналов партии. После разгрома партии левых эс-эров, я, после двухнедельного ареста был освобожден и оставался на свободе до последнего времени. Все последующие годы до настоящего времени я сохранил свои мировоззренческие установки, проводя их в своей творческой работе. Моя узенькая деятельность с одной стороны и мое творчество создали условия для тяготения ко мне лиц народнических устремлений и в том числе б. эс-эров.

5 февраля 1933 г. Р. Иванов

[illegible]

Страница из показаний
Иванова-Разумника на следствии. 1933 г.



Д.М. Пинес

Таганская тюрьма.
Фото из фондов музея общества "Мемориал"

Внутренняя тюрьма на Лубянке. Коридор. 1990-е гг.

10

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

ИВАНОВА-РАЗУМНИКА, Разумника Васильевича, от 27 мая 1933г.

В ответ на вопрос о способах и формах связи ленинградской группы членов идейно-организационного центра с московской группой отвечаю:

Связь осуществлялась, как непосредственными поездками членов центра москвичей в Ленинград и наоборот, как и посылкой специальных людей, выполнявших роль связных. Как я уже показывал в предыдущих протоколах моих допросов, из Москвы в Ленинград приезжал БРАУН Я.В., который был у меня и у Д.М. ПИНЕСА. В самое последнее время - в ноябре 1932г. - из Москвы приезжал в Ленинград эсэр ШАБЕР Б.Н. Он привез мне письмо - рекомендацию от БРАУНА из Москвы. ШАБЕР информировал меня о Крымской ссылке-о Мальме, рассказывал, что последний отбывает ссылку в Севастополе, а сам ШАБЕР в Симферополе. В Ленинграде помимо меня - ШАБЕР посетил и имел беседу с Д.М. ПИНЕСОМ. Характер их встречи мне неизвестен.

В письме, которое ШАБЕР привез от БРАУНА, сообщалось, что БРАУН сам собирается в Ленинград.

Из ленинградцев в Москву - часто ездил ПИНЕС Д.М. и несколько раз, но сравнительно реже - был и я.

Разумник-Иванов

ДОПРОСИЛ: ПОМ.НАЧ.4 СПО ПП ОГПУ ЛВО (КАГАН)

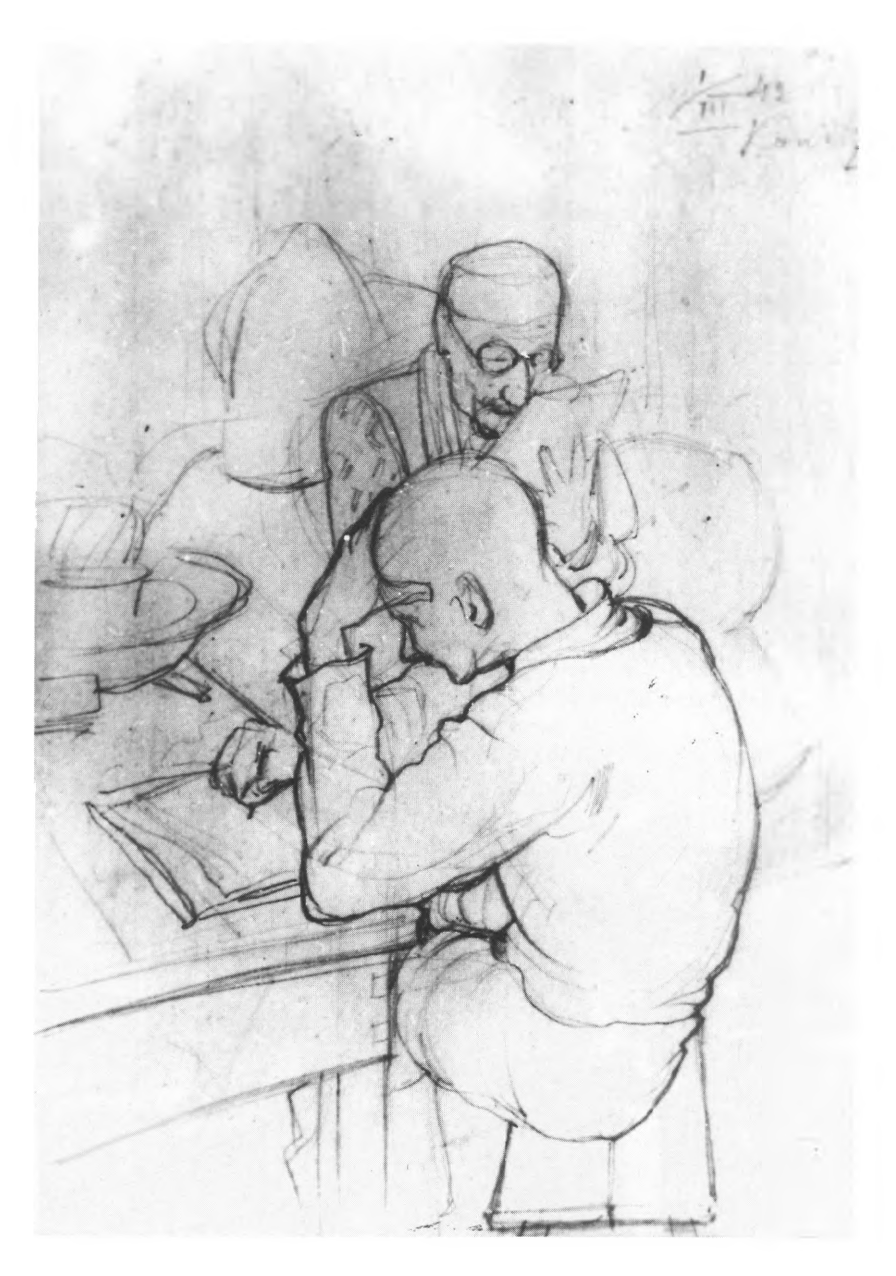
Протокол допроса Иванова-Разумника. 1933 г.



Иванов-Разумник. Июль 1939 г.

“Перемещенные лица” в лагере Кониц (Иванов-Разумник – четвертый слева). Октябрь 1942 г.

Дом в Мюнхене (Зюндтерштрассе, 28), в котором в 1946 г. скончался Иванов-Разумник.



Иванов-Разумник в Конице. Март 1942 г.

Не пробыл я и пяти минут в этом «собачнике», как начал задыхаться. Вентиляции никакой не было, кроме узенькой щели у входной двери; воздух и температура были невообразимые. Сидевший неподалеку от меня какой-то доктор утверждал, что в подвале нашем никак не меньше 40—45 градусов, причем, подумав, прибавил: «По Реомюру...» Не знаю, сколько показал бы термометр, но я снял с себя все, что возможно, сидел без рубашки в одних кальсонах и непрерывно истекал потом. После недели такого сидения на вещах — все они оказались точно в воде побывавшими, настолько были пропитаны потом, моим и чужим. Ручейки влаги пробивались и по полу — не то от нашего пота, не то от протекавшей в углу параши; и все это подтекало под нас и под наши вещи. Впрочем, пришедших с вещами было мало, большинство прибыло из разных тюрем на допросы без вещей и жадно ждало времени возвращения «домой»: Бутырка или Таганка с их перенаселенными камерами казались землей обетованной по сравнению с этим «собачником».

Мы сидели спрессованные, наши голые руки и спины соприкасались, наш пот смешивался — и на другой же день каждый без исключения заражался от соседа мучительной экземой, которую потом долго приходилось лечить. Все это было трудно переносимо, но было сущим пустяком по сравнению с главным мучением: мы задыхались, дышали, открыв рот, как рыбы, вытащенные на берег. А ведь так надо было сидеть не день, не два, а может быть, неделю, а то и больше. Когда я через неделю уходил из этого места пытки, то в нем оставался среди других заключенных один кореец («шпион»!), уже до меня пробывший десять дней в этом набитом собачьем подвале. Семнадцать дней такой пытки!

Температура и духота были невыносимы, а результатом их было главное мучение: беспрерывное отравление организма углекислотой от нашего дыхания. Красные пятна на лицах, ускоренный пульс (доктор говорил: «до двухсот в минуту»...), шум в голове, стук в висках, тошнота, постоянное головокружение, одышка, нестерпимое биение сердца — все это ясно говорило о нашем отравлении углекислотой. Когда приток воздуха из открытой двери освежал нашу собачью пещеру — на минуту становилось легче, а потом мучения возобновлялись с прежней силой.

Особенно трудно было страдающим сердечными болезнями; как страстотерпцы эти не умирали — вот что поразительно! Только один «летальный» случай за всю неделю был в нашем подвале. Полковник Рудзит (латыш — значит, «шпион»!), вернувшись в наш «собачник» после тяжелого

13 — 1478

допроса, стал задыхаться и хрипеть; почти в беспамятстве повторял: «Воздуха! воздуха!» Мы положили его, через ноги сидящих, ничком к двери, он припал к дверной щели ртом и немного отдышался, — что за беда, если ручеек из переполненной и протекавшей параши подтекал прямо под него! Но вскоре припадок повторился, и он впал в бессознательное состояние. Сидевшие около двери стали стучать в нее кулаками, весь подвал стал кричать: «Доктора! доктора!» Явился доктор, пожилой человек в белом халате, — но лучше бы он не приходил. Небрежно пощупав пульс больного и в ответ на наши негодующие заявления, что все мы здесь отравлены, что дышать нечем, что это пытка и морильня, доктор сухо сказал: «Надо сознаваться!» И ушел. В этом совете заключался весь его рецепт, ограничилась вся его помощь больному. Хочется думать, что это был не доктор, а какой-нибудь мерзавец из теткиных сынов, разыгравший роль доктора. Рецепт не помог; но полковник Рудзит отдышался (дверь некоторое время была открыта) и был вызван на следующий день еще на один последний допрос — последний потому, что на следующую же ночь он скончался у нас в «собачнике» от припадка новой астмы. Его унесли.

Истекая потом, мы с утра до ночи и с ночи до утра нестерпимо хотели пить: полцарства за кружку воды! Но воды нам не давали, и к пытке жарой, теснотой, экземой, удушением и отравлением присоединилась еще едва ли не горшая пытка — пытка жаждой. Но если мы не могли допроситься воды и для умирающего полковника Рудзита, то что уж и говорить о нас!

Да, пыток в тюрьмах не было, были лишь «простые избиения» — да вот еще эти собачьи пещеры, из которых так легко было выйти: надо было только «сознаться»...

В течение дня мы испытывали четыре блаженных получаса: два во время обеда и ужина, два во время утренней и вечерней «оправки». Обед или ужин: широко распахивается дверь, и нас, голых, распаренных и с головы до ног облитых потом, охватывает струя холодного воздуха из коридора. Раздача обеда и ужина идет быстро, работает повар и трое дежурных, но все же полчаса мы дышали полной грудью, по-человечески, а не порыбьи; струя холодного воздуха обсушивает за это время наши мокрые тела. После такого проветривания в «собачнике» час-другой дышится легче, но потом температура снова повышается (радиатор отопления — горячий), и снова мы задыхаемся и отравляемся, снова испытываем прежние мучения.

Еще блаженнее были получасы «оправки». Уборная была маленькая, и нас водили в нее четырьмя очередями утром и вечером. Там мы пускали из кранов почти ледяную воду и обмывали до пояса свои потные, распаренные тела, подставляли под кран голову — и пили, пили, пили... Потом освеженные возвращались в собачий подвал, давая место другой очереди. Но беда была в том, что «собачник» за это время не проветривался, и мы сразу попадали в прежнюю пыточную атмосферу и температуру. Впрочем, может быть, только благодаря этому никто из нас не заболел воспалением легких после такого ледяного душа на распаренные наши тела.

Ночь — самое жуткое время. Счастливцы, занявшие места около стен, могли спать сидя, опираясь на стену; остальные спали только сидя, но без всякой точки опоры. Дня через два, когда человек пятнадцать ушло, а новых пришло только пять человек и стало возможно хоть повернуться, мы ухитрились устраивать ночлег таким образом: весь «собачник» образовывал четыре ряда, два крайних сидели у стен и спали сидя, а два средних укладывались на пол и клали головы на ноги сидевших у стен товарищей; свои же ноги клали друг на друга, то сверху, то снизу, причем «нижние ноги» скоро затекали и каждый стремился занять для них верхнюю позицию. Спали в рубашках, так как экзема начала сильно мучить и стало невыносимо быть спрессованным с голой спиной соседа. Рубашки были хоть выжми — мокрые от пота, а у кого и от крови из свежих рубцов на спине... Полгода тому назад мне казалось, что не может быть ничего кошмарнее ночей в нашей камере № 45 с ее ста сорока обитателями, но тогда я еще не знал, чего стоит хоть одна ночь, проведенная в таком «собачнике».

Но ведь и дни были не слаще — с их вечной пыткой от жары, жажды и отсутствия воздуха; однако их надо было чем-нибудь заполнять. Рассказы приходивших с допросов мало занимали и лишь, скорее, отягчали настроение. Мы стали рассказывать друг другу разные истории «легкого жанра» — не до научных лекций тут было! Дня три подряд, с перерывами из-за невозможности дышать, я подробно рассказывал «Монте-Кристо» Дюма; пожилой китаец («шпион»!), хорошо владевший русским языком, занимал нас замечательными народными китайскими сказками. Надо было чем-то и как-то убить время, лишь бы не думать о допросах.

А тут еще свалилась на наши головы неожиданная неприятность, вскоре ставшая причиной столь же неожиданной радости. На второй день моего

пребывания в «собачнике» пришел к нам прямо «с воли» железнодорожный стрелочник, «вредитель» (неправильно перевел стрелку и устроил крушение поезда; ожидал расстрела); хотя его и провели через баню, но и после бани на нем кишели паразиты, головные и накожные. Невероятно, с какой быстротой они одолели всех нас: не прошло и трех дней, как все мы были заражены этими незваными гостями, переползавшими от соседа к соседу. Вызвали коменданта «собачника», показали ему, как соблюдается чистота в вверенных ему собачьих пещерах, — а я уже говорил, что тюремное начальство очень следило за чистотой. Комендант велел немедленно — это было на шестой день пребывания моего в «собачнике» — отправить всех нас в баню, вещи отдать в дезинфекцию, камеры тоже продезинфицировать, а стрелочника после бани перевести в одиночную.

Мы отправились в баню. Нас повели какими-то дворовыми закоулками и переходами; в одном месте остановили у узкого прохода между двумя жарко топившимися на дворе печами для таяния снега, но вместо снега и дров кочегары щедро подкидывали в эти печи книги и бумаги. Это было аутодафе запрещенных книг, а также и отработанных следователями бумаг, не удостоившихся чести остаться в архивах НКВД. Вот в каком крематории были сожжены и мои толстые тетради литературных и житейских воспоминаний! Без очков я не мог прочитать на обложках заглавия сжигаемых книг, попавших в Index librorum prohibitorum[249] самой свободной страны в мире, но мой дальнозоркий сосед прочел кое-что и особенно удивил меня одним заглавием: предавались сожжению экземпляры «Истории материализма» Ланге[250], — очевидно, за ее неокантианское направление...

Баня — вот это было наслаждение! Не было шаек и кранов, были только души, и пока дезинфицировалось наше платье и белье, нам выдали мыло, и мы могли в течение целого часа смывать с себя и насекомых, и пот, и грязь, налипшие на нас за время сидения в «собачнике». Здесь, стоя под душем, я видел зажившие рубцы и свежеисполосованные спины, бока, а иногда и животы моих сотоварищей... Если в бутырской бане такие следы от «допросов» были видны на десятке из сотни заключенных, то здесь, наоборот, из пятидесяти, быть может, только десяток не носил на себе знаков следовательского усердия. Бедный «Daunen und Federn» смывал с себя кровь и охал: мыло больно разъедало свежие раны...

И все это творилось — в XX веке, в Москве, в центре «самой свободной страны в мире»...

Мы вернулись в «собачник», благодарные стрелочнику за временную неприятность и за последовавшее неожиданное удовольствие: отмылись, отдышались и могли с новыми силами продолжать свою собачью пытку. Впрочем, для меня она уже подходила к концу.

XIII

После обеда 12 апреля меня наконец-то вызвали на допрос и повели прежними путями на четвертый этаж, но на этот раз не в памятный мне кабинет начальника отделения, а в обыкновенную следовательскую комнату. Два следователя сидели за столом, предложили мне присесть к нему; без очков я по близорукости не мог разобрать их лиц, но по голосу признал, показалось мне, в одном из следователей Шепталова.

— Вы писатель Иванов-Разумник? — неожиданно спросил он меня.

— Да, — ответил я, удивленный, — а вы разве не следователь лейтенант Шепталов?

— Нет; вы так плохо видите?

— Без очков вижу плохо.

— А где же очки?

— В комендатуре «собачника».

Следователь удивился — не знал или сделал вид, что не знает о таких собачьих порядках.

— А как же вы будете без очков читать и подписывать протокол?

— Ничего, близорукие хорошо видят на очень близком расстоянии.

— Нет, так не годится; но постойте, мы это сейчас уладим.

Ушел — я было подумал, за моими очками — и скоро вернулся с целым подносом очков и пенсне, тут их было, вероятно, с добрую сотню, настоящая гора; он предложил мне выбрать себе на время допроса пару по глазам — и я скоро нашел подходящую пару. Только позднее сообразил я, откуда в недрах НКВД могла появиться такая странная коллекция: несомненно, это были очки расстрелянных, накопившиеся за последнее время. Сообрази я это тогда — категорически отказался бы пользоваться этими реликвиями мучеников.

Следователь сообщил, что он производит допрос по поручению лейтенанта Шепталова, занятого по моему же делу в другом месте, и что фамилия его — Спас-Кукоцкий; второй следователь был молчаливым ассистентом, быть может, только еще и аспирантом.

— По поручению товарища Шепталова, — сказал новый следователь, — имею предъявить вам ряд новых обвинительных пунктов; все старые, разумеется, остаются в силе. Чтобы ускорить дело, предлагаю вам просто прочитать протоколы допросов одного из бывших (он подчеркнул) заключенных; в этих протоколах вы часто встретите свое имя, а значит, и предъявляемые вам обвинения сразу станут вам понятными.

И он передал мне синюю папку с протоколами допросов Ферапонта Ивановича Седенко (литературный псевдоним — П. Витязев). Витязев-Седенко был старый эсер, в свое время, еще до первой революции, член боевой эсеровской организации; после 1905 года попал в ссылку в Вологду, где подружился с ссыльной сестрой Ленина, М.И. Ульяновой. Это высокое знакомство спасало его до 1930 года от тех преследований, каким подвергались остальные видные эсеры[251]. После революции 1917 года он весь ушел в литературную и издательскую деятельность, стал неутомимым исследователем литературного наследства П.Л. Лаврова, печатал его сочинения, открывал неизвестные из них, составил картотеку в 20 000 карточек, посвященную жизни и творчеству Лаврова. В 1918—1926 годах Седенко-Витязев возглавлял кооперативное издательство «Колос», в котором был издан ряд и моих книг; по этим издательским делам мне приходилось очень часто встречаться с ним в «Колосе», но «домами» мы не были знакомы, он никогда не приезжал ко мне в Царское Село. А в 1930 году его, несмотря на высокую протекцию, все же припутали к «монархическому заговору» (это его-то, эсера!) при известном разгроме Академии наук, арестовали, картотеку — работу всей его жизни — разгромили, а самого сослали на три года в карельские лагеря. Высокие связи помогли ему досрочно освободиться и поселиться в Нижнем Новгороде, а вскоре даже и переехать в Москву. Но при воцарении Ежова он снова был арестован в начале 1937 года, сидел на Лубянке, где и подвергался допросам — очевидно, с применением сильно действующих средств. Сужу это по тем протоколам, подписанным им (подпись его руки я сразу признал, если только она не была подделана), которые предъявил мне следователь Спас-Кукоцкий в качестве обвинительного материала против меня.

Пробежав эти протоколы, я пришел в ужас — не за себя, а за несчастного Витязева-Седенко. Протоколы — обширнейшие! — начинались примерно так:

«Теперь, когда я убедился, что следственным органам НКВД все известно, считаю дальнейшее запирательство бесцельным и готов дать чистосердечные показания...»

И дальше на многих листах шло чудовищное признание во всех семи смертных антибольшевистских грехах с перечислением десятков фамилий сообщников, признание в подпольной работе, в организации террористической группировки — и мало ли еще в чем, столь же фантастическом. А что это была сплошная фантастика — в этом я совершенно уверен, так как упоминаемое в десятках мест мое имя связано было с никогда не бывшими делами. Я с изумлением узнал, что мною была налажена связь группы Витязева-Седенко с заграницей, что я доставал для него, Седенко, выходившие в Европе антисоветские книги, что он с имярек таким-то и таким-то (названы были эсер Е.Е. Колосов, народоволец А.В. Прибылев — все покойники) бывал у меня в Детском Селе, где мы вели контрреволюционные разговоры и обсуждали возможности свержения советской власти.

Как должны были замучить на допросах этого стойкого и мужественного человека, чтобы заставить его дать такие самоубийственные показания! Витязев-Седенко был энергичный и закаленный человек, старый боевик, повидавший на своем веку еще в царские времена и тюрьмы, и ссылки, и побеги, и новые аресты. И вот теперь...

— Ну, что скажете? — спросил меня Спас-Кукоцкий, когда я, совершенно потрясенный всем прочитанным, вернул ему эти невероятные протоколы.

— Скажу, что долго же вы собирались меня арестовать: первый протокол Седенко подписан 14 июня 1937 года; чего же вы медлили с моим арестом до конца сентября после таких разоблачающих меня показаний?

— Это дело наших соображений, знать их вам совершенно излишне. Но что вы скажете о самих показаниях?

— Скажу, что все касающееся в них меня — дикий бред. Ни одного раза не был у меня в Детском Селе Седенко, ни один, ни с кем бы то ни было. Никогда ни одной зарубежной книги я ему не передавал по той простой причине, что ни одной из них не имел и даже не видел. Никакой связи с заграницей для него не налаживал, так как и сам ее никогда не имел. Решительно требую очной ставки с Седенко.

— К сожалению, это совершенно невозможно, — снова подчеркнул Спас-Кукоцкий. Я мог догадаться из этого, как и из предыдущего его подчеркивания, что, по всей вероятности, Седенко уже расстрелян. А может быть, отправлен в какие-либо гиблые места «на десять лет без права переписки»?

— В таком случае я ничего больше не имею заявить, кроме категорического отрицания всех этих касающихся меня показаний. Они фантастичны и совершенно ничем не могут быть подтверждены.

— Вы играете в опасную игру, — заметил Спас-Кукоцкий, — система запирательства до добра не доводит. Смотрите, как бы вам не пришлось разделить участь гражданина Седенко!

Эта угроза произвела на меня мало впечатления. Недельная пытка в «собачнике» и прочитанные жуткие протоколы совсем притупили во мне всякое желание бороться за свободу и за жизнь.

— Чем вы можете меня запугать? — спросил я, сильно волнуясь. — Расстрелом? Мне скоро будет шестьдесят лет; от работы вы меня оторвали; жизнь моя кончена. Жена моя, от которой я вот уже полгода не получаю передач, вероятно, тоже арестована. Зачем же вы тянете? Зачем пытаете меня неделю в «собачнике»? Чтобы сломить мою волю? Это вам не удастся. Ложных показаний на себя я не дам. Кончайте скорее — это самое лучшее, что вы можете сделать...

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — спокойно сказал Спас-Кукоцкий, — вот лучше выпейте воды. (Пить мне очень хотелось, но от предложенного им стакана воды я отказался.) Никто не собирается с вами кончать ни в каком смысле. Жены вашей никто не трогал, передач от нее вы не получали и не будете получать по нашим соображениям. А теперь прочтите и подпишите протокол сегодняшнего допроса с вашим отказом признать предъявленные вам обвинения.

Я прочел краткий протокол и подписал его[252]; рука моя сильно дрожала. Я был совершенно разбит и подавлен; недельная собачья пытка сказалась, а прочитанные протоколы совсем меня доконали.

— Вы очень волнуетесь, — повторил Спас-Кукоцкий, — кончим на сегодня допрос, вы можете идти. Сегодня вам еще придется пробыть здесь у нас; завтра мы вас отправим отсюда, а куда — это мы еще обсудим.

И меня отвели в «собачник». Эх,

Улечься бы в пыльном бурьяне,
Забыться бы сном навсегда...[253]

Не тут-то было: сиди и задыхайся в собачьей пещере... Но я думал, что после сегодняшнего допроса дело пойдет быстрым темпом: каких еще обвинений надо, чтобы покончить дело в два счета? Я ошибался: проси-

деть в тюрьме мне предстояло еще больше года, а следующего вызова к следователю надо было ждать еще четыре месяца.

В это самое время, как я узнал потом, в тайниках НКВД собирали обо мне сведения с разных сторон. Известный мне случай: в феврале 1938 года был арестован в Москве писатель Евгений Германович Лундберг, старый мой знакомый, и просидел в Таганской тюрьме до мая. За все эти три месяца его допрашивали в Таганке только один раз — именно 12 апреля; день в день и час в час с одновременным моим допросом на Лубянке. Допрашивал его следователь Шепталов; не предъявлял никаких обвинений, а только предложил дать наиподробнейшее показание обо всем том, что он, Лундберг, обо мне знает. Изумленный Лундберг исполнил предложение, исписал листы, тщетно ожидая, какое же обвинение предъявят лично ему? Но так и не дождался. Следователь Шепталов сказал Лундбергу про меня: «Мы относимся к нему с полным уважением...» Значило ли это, что меня при допросах не били? И затем — опять «уважение»: хоть и не «глубокое», как в 1933 году, а только «полное»; и на том спасибо. Чтобы выказать это полное уважение в полной мере, меня, надо полагать, и держали неделю в пыточных условиях собачьей пещеры...

Но вот что самое удивительное: после этого Е.Г. Лундберга ни разу больше не допрашивали и через месяц выпустили из тюрьмы, не предъявив никаких обвинений. Он три месяца просидел на Таганке только для того, чтобы в три часа написать сводку того, что знал обо мне[254]. Не проще ли было бы вызвать его для этого из дома на три часа к следователю, чем три месяца держать в тюрьме? И на основании какого же «закона» был он арестован «в самой свободной стране в мире»?

Следователь Спас-Кукоцкий сдержал свое слово: промучиться в «собачнике» мне оставалось только сутки. Утром 13 апреля я был вызван «с вещами», прошел через все процедуры, был посажен вместе с измученным «Daunen und Federn» на «черного ворона» и отправлен — куда? «Куда — это мы еще обсудим», — сказал мне на прощанье Спас-Кукоцкий. Вот они и обсудили. Куда же — неужели в Лефортово? Ведь может статься.

Велико было мое удивление, когда, выйдя из «черного ворона», я увидел себя на дворе Бутырской тюрьмы и был введен во всегда шумный «вокзал». Стоило для этого уезжать «с вещами»! «Откуда уйдешь, туда и придешь»! Еще раз — здравствуй, Бутырка!

Повторение пройденного: снова заполнение подробной анкеты, снова внесение меня в списки Бутырской тюрьмы, снова изразцовая труба,

снова тщательный обыск вещей, платья и белья, снова «встаньте! откройте рот! высуньте язык!», снова баня; и, собрав группу человек в десять, ведут нас через знакомый двор в камеру — на этот раз в камеру № 79 на третьем этаже. В ней мне пришлось просидеть тоже более полугода.

XIV

Немного отдохнем на этой точке.
Что — перестать, или *«пустить на пе»*?[255]

«Пустить на пе» мне придется лишь через полгода, когда дело дойдет до моей третьей кульминации, а пока можно перестать рассказывать о самом себе и немного отдохнуть на этой точке, рассказывая о других людях. О некоторых из них я уже рассказал мрачную повесть: «простых избиений», издевательств, истязаний, конвейеров; теперь быстро пробегу памятью по тем лицам, которые запомнились мне во всех перемененных мною камерах. И чтобы установить хоть какой-нибудь порядок в этих беспорядочных записях, начну с самой многочисленной группы — с группы «шпионов».

Шпиономания была повальной болезнью советской власти вообще и органов ЧК и ГПУ в частности с самого начала Октябрьской революции, но достигла своего апогея к началу появления у власти Ежова и дикой брошюры Заковского о шпионаже. Достаточно было носить явно иностранную фамилию, чтобы попасть под подозрение в шпионстве; достаточно было получить командировку в Европу с научной или партийной целью, чтобы по возвращении быть заподозренным в шпионаже; достаточно было переписываться с родственниками или друзьями за границей, чтобы по подозрению попасть в шпионы. А от подозрения был всего один шаг и до обвинения. Когда в камере появлялся новый арестованный, мы по разным этим признакам часто могли определить в нем новую жертву параграфа 6 статьи 58.

Открылась дверь, появился «новичок»; его окружили.

— За что арестован?

— Если бы я сам это знал! За что, за что?

— Ваша фамилия, товарищ?

— Квиринг.

— А, Квиринг! Латыш! Но тогда понятно — шпион!

Видный партийный работник Квиринг совсем озадачен:

— То есть позвольте, как это «шпион»? Какой вздор! Нет, действительно — за что, за что?

— А вот увидите!

В тот же день Квиринг вернулся с допроса совершенно потрясенный.

— Действительно, оказался «шпионом»! Никогда бы этому не поверил! Какой ужас, какой ужас!

Надо сказать, что репертуар восклицаний всех новичков был до крайности однообразен, так что мы знали порядок восклицаний наизусть и называли их «граммофонными пластинками». Явившийся с воли в камеру чаще всего начинал с потрясенного восклицания:

— За что! За что?

Это называлось «пластинкой № 1». Ему кричали:

— Перемените пластинку!

Он удивлялся, а потом бросал свои «за что?» и растерянно повторял:

— Какой ужас! Какой ужас!

Это именовалось «пластинкой № 2»; опять ему предлагали «переменить пластинку». Восклицание «Никогда бы этому не поверил!» шло обыкновенно за двумя первыми и носило название «пластинки № 3». Таких «пластинок» мы насчитывали до семи. Когда новичок всех их пропускал через себя — он немного успокаивался от реплик камеры («перемените пластинку!»), так как видел, что переживания его — не единичны и что надо, подобно всем товарищам по судьбе, подчиниться неизбежному.

Через несколько дней после меня в камере № 45 появился проф. С.Я. Калмансон. Недоумевал: «За что? за что?» (пластинка № 1). После двух-трех вопросов мы твердо определили — «шпион»! Действительно: родился в Болгарии (родители его, известные эмигранты-народовольцы, назвали своего сына Сергеем в честь их друга Степняка-Кравчинского). Среднее образование получил в Софии, высшее — в германских университетах; женился на немке. В 1930 году приехал с женой в Советский Союз, стал профессором зоологии в разных высших учебных заведениях и помощником директора Зоологического сада, Мантейфеля. Жена и он переписывались с родственниками и друзьями в Германии и Болгарии. Ну конечно — «шпион», в этом нет никакого сомнения!

С первого допроса он вернулся в камеру торжествующий и сообщил нам:

— А вот же и не «шпион»! Только «вредитель»!

В Зоологическом саду кроме ученого директора, проф. Мантейфеля, был еще и неизбежный «красный директор», невежественный и наглый коммунист Остроухов, творивший всяческие безобразия. Проф. Калмансон разоблачил его деяния в большой статье, напечатанной в «Известиях» 1 октября 1937 года[256], а 4 октября был арестован — не Остроухов, как следовало бы ожидать, а сам Калмансон: у «красного директора» оказалась сильная рука в НКВД. На первом допросе Калмансону предъявили обвинение во «вредительстве»: он подписывал рационы животным Зоологического сада, а в результате оказалось, что за прошлый год погибло 16 обезьян. Проф. Калмансон указал, что обезьяны погибли не от вредительских рационов, а от климата и что по статистике лондонского Зоологического сада в нем за тот же прошлый год погибло от туберкулеза 22% обезьян. В ответ на эти указания следователь сперва брякнул: «Ну значит, и в Англии есть вредители!»; а потом спохватился и отрезал: «Нам Англия не пример!» (Еще бы! Чехов уже раньше и лучше сказал: «Это тебе не Англия!») Проф. Калмансон вернулся в камеру веселый, хохотал над идиотским обвинением и высмеивал наши камерные «шпионские» прогнозы. Но со второго допроса вернулся восхищенный прозорливостью камеры:

— Представьте себе — ведь действительно «шпион»!

Зафиксировав в протоколе первого допроса «вредительство», следователь теперь сказал: «Ну, все это пустяки; а теперь перейдем к главному вопросу — к вашей шпионской деятельности в пользу Германии...»

Дальнейшей судьбы проф. Калмансона я не знаю; месяца через три его перевели от нас на Лубянку. Через год донеслись до нас слухи, что он сослан в какой-то дальний животноводческий лагерь.

А вот еще один германский «шпион».

Как-то открылась дверь в нашу камеру № 45 и вошел с предельно растерянным видом «новичок» — совсем необычной наружности: одет с иголочки и в такой шикарный костюм, какого мы, полунищие советские граждане, давно не видали: несомненный европеец. Мы не ошиблись: новичок сегодня утром прибыл из Парижа и прямо с вокзала попал в тюрьму. По-русски не понимал ни слова и с ужасом спрашивал нас — куда это он попал? Немецкий еврей, коммунист, член Коминтерна, эмигрировавший четырьмя годами раньше из Германии, председатель антифашистской коммунистической организации в Париже, он получил предписание от своей секции Коминтерна безотлагательно прибыть в Москву по

партийным делам. Был предупредительно встречен на вокзале, усажен в автомобиль и прямым рейсом доставлен в Лубянский распределитель, а оттуда «черным вороном» — к нам, в Бутырку. С круглыми от изумления глазами, совершенно потрясенный, он сразу же завел пластинку № 1: «Wofür? wozu?»[257] Мы объяснили ему, что он — немецкий фашистский шпион; это, разумеется, и подтвердилось на первом же допросе. Можете вообразить, каково ему было в его блестящем европейском костюме лезть в грязное «метро» около параши, — камера ни для кого не делала исключений. Недели две он ходил, как помешанный, потом понемногу обжился, обтерпелся, обтрепался, потерял весь свой лоск и стал таким же, как все мы. Вскоре его взяли от нас не то на Лубянку, не то в Лефортово, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Однако можно одно с уверенностью сказать: в Европу он больше никогда не попадет.

Директор аэропланного завода в Москве, инженер, четыре года работал на разных заводах Соединенных Штатов Америки, вернулся в Советский Союз и блестяще поставил дело на аэропланном заводе; за неделю до ареста получил высшую награду — орден Ленина. Арестован как шпион «в пользу Америки».

Организатор русского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, главный его начальник, видный коммунист Межлаук (латыш!) был собственноручно застрелен Ежовым, как «шпион», во время допроса; погиб и брат Межлаука, не менее видный старый большевик. После этого и организатор павильона был вызван из Парижа в Москву и арестован по обвинению в шпионаже — «в пользу Франции»[258].

Директор одного из ленинградских металлургических заводов, старый партиец из квалифицированных рабочих; гордился, что в первые годы революции одна из улиц Таганрога, где он работал и состоял членом РВС (Революционного военного совета), была названа его именем. Не менее гордился он и тем, что во время наступления немцев на Таганрог расстрелял сидевшего там в тюрьме печально известного генерала Ранненкампфа. На свое несчастие, был в начале тридцатых годов послан в Лондон «для повышения квалификации», провел там три года, вернулся и стал директором завода. Арестован как шпион — «в пользу Англии».

Румынский военный летчик — очень курьезная фигура и едва ли не слегка поврежденный умом человек. В середине двадцатых годов, чем-то обиженный на родине, перелетел на военном аэроплане из Румынии в Советский Союз, где потом и работал в гражданской авиации в Туркес-

тане. Рассказывал нам курьезные вещи из своего военного прошлого; например, как однажды, во время войны Румынии с Болгарией, он, не имея бомб, вылетел на аэроплане с запасом арбузов и бомбардировал ими болгар, чтобы нагнать на них панику... В начале 1937 года пожелал вернуться на родину и начал хлопотать о своем помиловании там и о своей репатриации; немедленно был арестован как шпион — «в пользу Румынии».

Китаец, любимец всей камеры «Пирлачка-шипиона», был, конечно, шпионом «в пользу Китая»...

Не было большой или малой страны в Европе и Азии, «шпионы» которых не проходили бы через тюремные камеры! Писатель Борис Пильняк оказался японским шпионом; писатель Анатолий Гидаш — шпионом венгерским; проходили мимо шпионы финские, шведские, норвежские, эстонские, латышские, литовские, турецкие (член азербайджанского ЦИКа Караев[259]), греческие, болгарские (два сподвижника Димитрова по известному процессу — «рейштаг поджег!»), итальянские, испанские, даже мексиканские, даже бразильские... Не хватало лишь шпиона княжества Монако.

Другая группа, не менее многочисленная, — «вредители».

Профессор Худяков, ученый с европейским именем, виднейший — после провокатора Рамзина[260] — представитель теплотехники, имел несчастие быть в командировке в Париже, был привлечен как «шпион» к рамзинскому процессу, осужден и отправлен в один из сибирских лагерей, где занимался крайне производительным трудом — проектированием для лагеря отхожих мест. Вскоре, однако, был вытребован в Новосибирск для содействия в организации заводов Кузбасса, безустанно работал там годы, получил награды, снятие судимости и разрешение вернуться на жительство в Москву. Но — на новую беду его — это возвращение как раз совпало с воцарением Ежова; не успел проф. Худяков оглядеться в Москве, как уже был арестован — на этот раз по обвинению во «вредительстве» во время своих сибирских работ. Больной, измученный человек подвергался грубейшим допросам с ругательствами и издевательствами; тяжело страдал крайне мучительным воспалением нервных узлов на руке, которой почти не мог владеть. Будучи на десять лет моложе меня, выглядел по крайней мере десятью годами старше. Настроен был безнадежно; часто говорил в ответ на мои подбадривания: «Неужели вы не понимаете, что мы с вами обречены и не выйдем отсюда?» Он, по-видимому, и не вышел: как-то раз упал в обморок и был унесен в лазарет. Оказалось, цинга в острой форме;

черные пятна уже проступили на ногах, что мы заметили еще и в недавней бане, но он перемогался. Вскоре после этого меня увели из камеры № 79, где мы сидели вместе с ним, и я потом ничего не мог узнать о судьбе этого ученого с европейским именем и тихого, скромного человека. Вероятно, погиб в тюрьме, как сам себе напророчил.

Цветков, тоже профессор, картограф, обвинялся во «вредительстве»: не тем цветом заштриховал захваченную Румынией Бессарабию и со злостно-вредительскими целями неправильно обозначил границы Монголии. Получил пять лет лагеря.

Старший ветеринарный врач московского военного округа. В своих лабораторных работах изготовлял, по вредительскому заданию свыше, ядовитые токсины для инъекции лошадям; погубил таким образом 25 000 голов конного состава армии. Приговорен за это вредительство к расстрелу.

Кстати заметить: такая изумительная цифра не должна удивлять: с цифрами следователи НКВД обращались свободно, прибавить лишний ноль им решительно ничего не стоило, как ничего не стоило придумать и саму цифру. Один наш сокамерник, мирный бухгалтер, после многих резиновых допросов наконец «сознался», что был членом террористической организации и по ее заданию получил однажды ящик с двумястами браунингами, который и донес собственноручно с Белорусского вокзала к себе домой на Патриаршие пруды (изрядный кусок Москвы). Через день следователь вызвал его на новый допрос и накинулся с ругательствами:

— Как ты смеешь, негодяй, вводить в обман советскую власть! Как мог ты, скотина, донести с вокзала домой ящик, в котором было 200 браунингов, весом в несколько пудов? Издеваться над нами вздумал! Подписывай новый протокол! Пиши: 20 браунингов!

«Бухгалтер-террорист» попробовал было заикнуться, что цифру 200, как и все «дело», изобрел сам следователь, что никакого ящика и вообще-то не было, но получил предложение не рассуждать и угрозу вновь испытать резиновые допросы; смирился и подписал новый протокол, где в цифре 200 исчез один ноль.

— Двадцать браунингов — это куда ни шло, это возможно, теперь все в порядке, — сказал удовлетворенный следователь, и мирный террорист вернулся к нам в камеру с этим поучительным рассказом.

Наряду со «шпионами» и «вредителями» видной группой в камерах были «тухачевцы» — военные, арестованные по отголоску известного «дела Ту-

хачевского». Среди них были и крупные военные киты, и разная мелкая военная сошка.

Старостой в камере № 79, куда я теперь попал, был «четырехромбовик», красный генерал Ингаунис, начальник всей авиации в Дальневосточной армии при вскоре расстрелянном Блюхере. Ингаунис обвинялся, конечно, и в шпионаже (литовец!), допрашивался в Лефортове, во всем «сознался» и был переведен в Бутырскую тюрьму «на отдых», впредь до решения дела. О допросах в Лефортове ничего не рассказывал, молчал, только усмехался, когда слушал жалобы наших сокамерников, подвергавшихся «простым избиениям». Рассказывал, что вызванный «по делам службы» из Владивостока, немедленно арестованный в Москве и препровожденный на Лубянку, он был уверен, что «недоразумение» это скоро разъяснится. Но во время обыска в распределителе Лубянки производивший обыск нижний чин, который еще вчера стоял бы, вытянувшись в струнку перед генералом, стал спарывать с его кителя многочисленные знаки отличия: «Ведь вот, надавали же орденов всякой контрреволюционной сволочи!» Тут только Ингаунис понял, что дела ему предстоят не шуточные.

Ингауниса скоро увели от нас, куда — неизвестно; сам он был уверен, что на расстрел. На его место тюремное начальство назначило старостой камеры тоже «тухачевца», полковника еще царской службы Балашева. Полковник вовсю старался выслужиться перед начальством, пытался завести в камере «военный порядок», но, получив отпор своим стремлениям создать «тюрьму в тюрьме», скоро стал лебезить и перед камерой. Другой «тухачевец», мелкая сошка, военный писатель Скопин, бывший ярый белогвардеец и эмигрант, потом столь же ярый большевик, сумел привлечь к себе дружную антипатию всей камеры.

Сравнительно много было «каэров» — контрреволюционеров, привлекавшихся по самым разнообразным поводам и причинам. Один из них, арестованный по какому-то «бытовому» делу вроде взятки, был немедленно переведен в разряд «каэров», так как при обыске у него нашли «контрреволюционное» стихотворение. То было как раз в то время, когда побывавший в Стране Советов Андре Жид напечатал в Париже книгу своих впечатлений[261], на которую по приказу свыше обрушилась с воем негодования вся советская печать. Чтобы вышибить клин клином, был спешно выписан из Германии писатель Фейхтвангер, с которым в Москве очень носились и которому поручено было за хорошие деньги написать в виде

противоядия свою книгу о Советском Союзе (он ее и написал)[262]. По этому поводу ходило по Москве следующее безобидное четверостишие:

Леон Фейхтвангер средь друзей
Сидит в Москве с довольным видом.
Боюсь я, как бы сей еврей
Не оказался тоже Жидом.

За обнаружение этой невинной шутки среди бумаг взяточника он получил три года лагеря в Казахстане.

Рад, что мне пришлось просидеть бок о бок три дня с другим «каэром», обвинявшимся в «монархическом заговоре» и скоро уведенным от нас неведомо куда. То был В.Ф. Джунковский, когда-то генерал-губернатор Москвы, потом товарищ министра внутренних дел, неустанно боровшийся в свое время с кликой Распутина, разоблачивший известного провокатора, члена Государственной думы Малиновского[263]. За все это даже большевики относились к В.Ф. Джунковскому с уважением, не трогали его и назначили ему даже персональную пенсию. Но с приходом Ежова немедленно же был состряпан монархический заговор, к которому пристегнули и генерала Джунковского. Это был обаятельный старик, живой и бодрый, несмотря на свои семьдесят лет, с иронией относившийся к своему бутырскому положению. За три дня нашего соседства он столько интересного порассказал мне о прошлых днях, что на целую книгу хватило бы. К великому моему сожалению, его увели от нас, куда — мы не могли догадаться.

Бывали в камерах крупные представители противоположного лагеря, вплоть до «замнаркомов» включительно (по старому чину — тоже «товарищ министра»), а один раз в камеру попал комиссар юстиции Крыленко. Рассказывали, что в камеру, соседнюю с нашей, посадили прямо после ареста и перед отправлением в Лефортово этого патентованного негодяя — «чтоб сбить с него гордость». Он должен был начать свой стаж с «метро» около параши, а потом испытывать и все прочие камерные удовольствия; он хватался руками за голову и вопил: «Ничего подобного я не подозревал!» (вариация «пластинки № 3»). Через несколько дней его отправили в Лефортово, а потом расстреляли или нет — про то один только НКВД ведает.

Почти не было представителей партийных кругов, былых меньшевиков и эсеров; только два прошли передо мною среди всего этого тысячно-

го людского калейдоскопа, все остальные были уже давно «ликвидированы». Зато много было «троцкистов», с которыми, вообще говоря, расправлялись круто. Один из них, Михайлов, заменивший собою профессора Калмансона на посту старосты камеры № 45, был красочной фигурой. Былой гардемарин, потом коммунист, преподаватель диалектического материализма в каких-то школах, он был не так давно «вычищен» из партии, теперь привлекался по обвинению в «троцкизме» и все не хотел «сознаться». Но тут следователь предъявил ему главное обвинение: Михайлов приезжал из Москвы в Ленинград 1 декабря 1934 года, накануне убийства Кирова, — а значит... Дело шло уже не о «троцкизме», а о «терроризме». Вскоре меня увели в «собачник» на Лубянку, и я не знаю, чем кончилось это дело; счастлив его Бог, если не расстрелян.

В «троцкизме» обвинялся и получивший первый приз в стихотворных состязаниях «на всех языках мира» видный агент ГПУ—Коминтерна. Еще до рождения НКВД, во времена ГПУ, он получил задание — объехать ряд стран всех пяти частей света по делам Коминтерна с какой-то тайной миссией. Три года продолжалось это его путешествие; вернувшись в Москву, он сразу попал с корабля на бал — в распределитель Лубянки и оттуда — в нашу бутырскую камеру. Обвиняли его в том, что во время своих путешествий он тайно от ГПУ посетил Троцкого; клялся, что этого не было, но клятвам гэпэушника нельзя, конечно, придавать особой веры. Горько плакался — зачем вернулся в СССР: ведь у него ко дню возвращения оставалось на руках из подотчетной суммы (тайные расходы Коминтерна велики!) еще 75 000 долларов! «С этими деньгами я мог бы начать новую жизнь в какой-нибудь далекой стране, — сетовал он, — ведь я еще не стар, языки знаю, все повадки и тайны ГПУ мне известны, никогда бы меня не нашли!»

После одного из допросов его отправили в карцер, якобы за резкие ответы следователю, а в действительности, чтобы сломить волю и вынудить «сознание»: ведь такой карцер — тоже один из приемов пытки. Просидел в карцере 20 дней — максимальный срок, разрешенный «законом»! Небольшая камера, шага четыре в длину, шага три в ширину; три соединенные деревянные доски вместо кровати, — в шесть часов утра их поднимают и прикрепляют замком к стене, а в двенадцать часов ночи опускают для шестичасового сна заключенного в карцере. Все остальное время он может сидеть на ввинченной в пол железной табуретке, на которую ночью опускается дощатое ложе. Под потолком неугасаемо горит элект-

рическая лампа, силою свечей в двести; этот яркий электрический свет становится источником мучений заключенного. Сбоку на полу в отверстии стены — сильный вентилятор, посылающий в камеру струю холодного воздуха и при этом производящий такой шум, что голоса человеческого нельзя расслышать: тоже мучение, но уже не для глаз, а для ушей. При заключении в карцер раздевают, оставляют только рубашку, кальсоны и носки; если дело происходит зимою, то к пытке светом и шумом присоединяется еще и пытка холодом от беспрерывной струи холодного воздуха вентилятора, — карцер не отапливается. Чтобы согреться, можно ходить и бегать по карцеру, но много ли набегаешь на двенадцати квадратных аршинах? Утром дают 200 грамм хлеба и кружку кипятка — питание на весь день. В углу — обыкновенная параша, куда надо свершать и малые и великие дела: из карцера никуда не выпускают. Умываться не полагается.

Наказание карцером за самые тяжелые тюремные или допросные провинности назначались на два-три дня, редко — на пять суток, а «ГПУ-Коминтерн» (как мы его прозвали) просидел в таком карцере 20 дней. Вернувшись в нашу камеру, отлежавшись и согревшись (дело было в декабре), он сказал: «Никогда не думал, что человек столько вынести может...» Вскоре после этого его отправили в Лефортово, откуда едва ли он вышел живым: со своими бывшими агентами НКВД расправлялось особенно круто.

Из «троцкистов» я встретил в камере № 79 довольно известного венгерского писателя и поэта Гидаша; сидя до этого на Лубянке, он «сознался» и в «троцкизме», и в шпионаже; теперь в Бутырке ждал решения своей участи. Но действительной причиной его заключений был и не «троцкизм», и не «шпионаж», а то обстоятельство, что он был женат на дочери известного венгерского, а потом и крымского палача Белы Куна. Пока был в силе и славе тесть — процветал и зять, а когда в ежовские времена венгерский палач и сам попал по обвинению в шпионаже в лефортовский застенок, где «во всем сознался», то и Анатолию Гидашу пришлось плохо. Тесть его, изломанный допросами в Лефортове, сидел в соседней камере Бутырской тюрьмы и иногда, попадая в лазарет, переписывался с зятем. (Лазарет ходил у нас под названием «Почтовое отделение № 4».) Тесть ожидал расстрела, зять — концлагеря.

Мимолетно встретился я в камере № 45 еще с одним писателем, «троцкистом», безобидным марксистским критиком А. Лежневым (не смеши-

вать с сотрудником «Правды» И. Лежневым — подхалимом, ради выгоды переметнувшимся к большевикам и покорно лизавшим их пятки). А. Лежнев тщетно старался догадаться: «За что? за что?» («пластинка № 1»), никак не мог вспомнить, где же мог оказаться «троцкизм» в его довольно серых критических писаниях? Его скоро увезли от нас на Лубянку.

Не буду продолжать дальше, чтобы не растянуть рассказ до бесконечности, — ведь можно было бы описать еще десятки людей. Тут был бы и председатель районного исполкома, и начальник станции, и фининспектор (взятки!), и брат всесильного диктатора Украины Петровского[264] (звезда которого уже закатилась), и неудачливый «сексот» какого-то месткома, и заместитель комиссара, и шофер, и член коллегии защитников, и агроном, и один из чинов военной охраны Сталина, и рабочий, и педагог, и московский районный прокурор, и престарелый раввин, и шестнадцатилетний хулиган. Целую главу можно было бы посвятить удивительному рассказу об отдельной камере «беспризорников» в нашем коридоре: мальчики лет от двенадцати до пятнадцати были спаяны между собой железной дисциплиной и властью своего старосты, приказания которого исполнялись беспрекословно. Камера эта держала в панике все тюремное начальство, и справиться с нею не было никакой возможности.

В заключение расскажу только об одном нашем сокамернике, инженере Пеньковском, который хоть и не держал в панике тюремное начальство, однако доставлял последнему великие хлопоты и неприятности; начальство, как ни билось, тоже ничего не могло с ним поделать.

Инженер Пеньковский — фигура трагикомическая. Человек, несомненно, «тронутый»: не то чтобы душевнобольной, но и не вполне душевно здоровый. «Инженер» он был маргариновый: просто окончил рабфак (рабочий факультет), потом какой-то техникум и получил звание «инженера стекольного производства» (ведь есть же в СССР и «инженеры молочного производства»!). Человек лет тридцати пяти, малоинтеллигентный; перед арестом состоял директором стекольного завода в Клину под Москвой. Придя в нашу камеру № 79, он почему-то возлюбил меня и часами занимал меня разными разговорами и своей биографией; это было и занятно, и мучительно. Рассказывал, например, как постепенно катился он под житейскую гору:

— Учился на рабфаке, жил в общежитии на широком Ленинском проспекте. Вы понимаете? На Ле-нин-ском! Это что-нибудь да значит! Поступил в техникум — снял комнату в узком Гавриковом переулке. Вы

понимаете? Гав-риков переулок. Гав-гав-риков переулок! Это что-нибудь да значит! Началась жизнь собачья. Кончил техникум — загнали меня в Клин. Вы понимаете! Клин! Это что-нибудь да значит! Клин, клин, вот теперь меня и вышибло клином в тюрьму... Это что-нибудь да значит!

Обвинялся во «вредительстве»: не то недоварил, не то переварил стекло...

Рассказывал совершенно невероятные вещи о встречах и разговорах; вполне несомненно — страдал манией преследования. И в то же время причинял тюремной администрации (а вероятно, и следователям) уйму хлопот: он категорически отказывался подчиняться тюремным правилам и требованиям, которые казались ему «бессмысленными». Чего только с ним не делали, сколько раз в карцер сажали (тюремная администрация не била, этим занимались только следователи) — ничто не помогало, и, наконец, тюремное начальство махнуло на него рукой.

В первый же день его перевода в нашу камеру — была пятница — нас обходил помощник начальника тюрьмы для приема заявлений. Обходя всех, он остановился взять заявление у слишком хорошо ему известного «инженера».

— Ну, гражданин Пеньковский, как проводите время в новой камере?

— Да так же бессмысленно, как и вы: я — бессмысленно здесь сижу, вы — бессмысленно нас обходите...

Помощник коменданта махнул рукой и ушел, по опыту зная, что с этим заключенным лучше не связываться. Вместо заявления инженер Пеньковский написал письмо своей жене, что он регулярно проделывал каждую пятницу...

Особенно трудно было администрации с Пеньковским во время частых наших ночных обысков.

— Разденьтесь догола!

— Не желаю!

— Говорят вам, разденьтесь догола!

— Не желаю! Я не в баню пришел!

— Разденьтесь немедленно!

— Не желаю! Сами можете раздевать меня, если вам это нужно!

И уже наученные опытом нижние чины, зная, что с этим арестантом ничего нельзя поделать, вдвоем начинали раздевать его. Он не сопротивлялся, но и не помогал.

— Откройте рот!

— Не желаю! Я не к дантисту пришел!

— Высуньте язык!

— Не желаю! Я вам не собака, чтобы язык изо рта высовывать!

И так продолжалось до самого конца обыска; вот только одеваться приходилось ему самому. В то время как каждого из нас пропускали через обыск в четверть часа, много — в полчаса, с Пеньковским два нижних чина возились больше часа.

Так поступал он во всех мелочах тюремной жизни, доставляя бездну хлопот администрации. Мне думалось: а что, если бы вдруг вся наша камера, вся наша тюрьма была заполнена такими Пеньковскими? Ведь тогда тюремная администрация с ног бы сбилась, и карцеров на всех бы не хватило! Да, пожалуй, и сама тюрьма не могла бы тогда существовать...

XV

Камера № 79, в которую я теперь попал, имела и плюсы и минусы по сравнению с покинутой мною камерой № 45. В той был асфальтовый и всегда грязный пол, его нельзя было мести из-за переполненности камеры; лишь раз в десятидневку, во время нашей бани, его подметали дезинфекторы. В этой камере — изразцовый пол блестел чистотой: каждое утро нам вручали две половые щетки и тряпку для вытирания пыли, двое ежедневно сменявшихся камерных дежурных должны были наводить безукоризненную чистоту. Та камера выходила на север, на тюремный двор с бывшей церковью, ныне «этапом», посередине и была всегда темной и мрачной; эта камера выходила на юг и была залита солнцем с утра и до вечера. Плюс этот вскоре обратился в чувствительный минус; лето 1938 года оказалось на редкость жарким, палящим, и мы пеклись на нашей изразцовой солнечной сковородке, раздевались до одних трусов и все же изнывали от жары, несмотря на днем и ночью распахнутые окна. Зато из окон этой камеры мы видели не тюремный, мрачный двор, а Москву: если стать на нары, то можно поверх железного щита, закрывающего половину окна, видеть сквозь решетку и крыши, и трубы домов, а вдали — многоэтажный дом с ярко освещенными по вечерам окнами. За ними шла нормальная человеческая жизнь: дальнозоркие товарищи видели за этими окнами то семью за чайным столом, то вечернюю пирушку друзей, то кухонные хлопоты какой-нибудь «домработницы». Живут же, значит, еще люди, не все сидят за тюремными решетками... Это зрелище чужой

«свободной» жизни и радовало, и растравляло тюремные раны: каждый переносился мыслью к своей семье...

Зато здесь мы были лишены той возможности, какою широко пользовались в камере № 45. Там, если прилечь на подоконник, можно было в щель между стеной и нижней частью железного заградительного щита видеть все, что происходит в тюремном дворе. Такое лежание на окне строго каралось, но заключенные, стоя группами перед окном, закрывали от всевидящего ока—«глазка» подсматривающего в щель товарища. А подсматривать было что. Вот, например, вызывают из нашей камеры «без вещей»: куда поведут? Если прямо через двор, на «вокзал» — значит, на Лубянку, в «собачник»; если налево за угол — значит, на местный «бутырский» допрос; если направо — значит, в фотографию и дактилоскопический кабинет. Или — вызывают «с вещами»: куда поведут? Если прямо на «вокзал» — значит, в другую тюрьму, если направо в здание бывшей церкви — значит, в этапную камеру. Или еще: десятками водят каждый день через двор заключенных из других камер; среди них узнавали иногда знакомых или друзей, об аресте которых еще ничего не знали. Особенную сенсацию вызывало, когда оконный наблюдатель — а добровольцы эти сменялись с утра и до вечера — вдруг возглашал: «Женщину повели!» Женский коридор был как раз под нашим. Тогда к окну бросались мужья, имевшие основание думать, а иногда и знавшие наверно, что жены их тоже арестованы и сидят в Бутырке. И не раз случалось мужу увидеть свою жену, а жены из женской камеры таким же способом высматривали своих мужей. Плохое это было утешение и вместо радости доставляло иногда и горькие минуты...

Жизнь в камере № 79 протекала по обычной тюремной колее, достаточно подробно описанной выше: «Вставать!», поверка, «оправка», хлеб, сахар, чай, прогулка (не для меня), ужин, редкие бани и «лавочка», обыски, допросы, заявления по пятницам, переписка в почтовых отделениях № 1 и 2, «газеты», книги, кружки самообразования, тележка фельдшера с лекарствами, кормление голубей, вечерняя «оправка», вечерняя поверка, «Спать!» — и тюремный день закончен. Одно нововведение было в этой камере: после вечерней поверки староста должен был отбирать очки у всех очконосцев и сдавать их на ночь корпусному; утром очки снова раздавались их владельцам. Делалось это, надо думать, для того, чтобы ночью кто-нибудь не вздумал острым осколком стекла вскрыть

себе вену или проглотить его по примеру Сабельфельда... Тюремное начальство очень дорожило нашей жизнью!

Вот только с «культурными развлечениями» дело обстояло плохо: всякие лекции и доклады были строго-настрого запрещены. Мы, однако, продолжали их устраивать, таясь от всевидящего ока; в камере № 79 особенно частыми докладчиками были я (на самые разнообразные темы) и некий коммунист «товарищ Абрамович», бывший начальник одной из северных полярных станций; он без конца рассказывал нам о жизни и быте на далеком Севере, о пушном промысле, об оленьих и собачьих упряжках, о бое тюленей, об охоте на белых медведей, о чукчах и камчадалах, о лыжной тропе, об айсбергах и ледяных торосах. В жаркое, палящее лето слушать это было особенно приятно... Но «курицы» не дремали и взяли нас на учет; в свое время я и «товарищ Абрамович» понесли должную кару за нашу «культурно-просветительную деятельность».

Много часов провел я в этой камере за игрой в шахматы с членом коллегии защитников Малянтовичем. Кстати сказать, вся вина его заключалась в том, что он был племянником своего дяди, министра Временного правительства...

Благодаря своему полугодовому тюремному стажу, я сразу же получил в камере № 79 «приличное место» — на нарах, а через полгода возглавлял уже эти нары у самого окна. Но дни проходили за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами — дело мое не двигалось, как будто обо мне (к счастью для меня) совсем забыли.

Наконец как-то раз в середине августа выкликнули и мою фамилию: «Без вещей!» Вышел в коридор, был схвачен под руки архангелами (об этом я уже рассказал) и доставлен в следовательскую комнату в том же этаже. Меня дожидался там молодой следователь, очевидно, один из помощников Шепталова; предложил сесть.

— Мне поручено сообщить вам, что дело ваше производством закончено и оформлено; в самом ближайшем будущем можете ожидать решения. А теперь на основании § 215 Уложения вы имеете право ознакомиться с обвинительным актом и со всеми материалами дела; если пожелаете, можете дать и дополнительные объяснения.

И он пододвинул ко мне объемистую синюю папку с моим «делом». Прибавлю кстати, что я, быть может, не точно запомнил номер названного им параграфа, во всяком случае, он был из порядка двухсотых.

— Никаких дополнительных объяснений не имею, а с обвинительным актом и материалами дела знакомиться не желаю, — отвечал я.

— Почему? — удивился следователь.

— Потому что, как я уже заявлял следователю лейтенанту Шепталову, считаю все дело придуманным, показания свидетелей подложными или насильно вынужденными, — зачем же я буду с этим всем знакомиться?

— Как хотите, — сказал следователь, — в таком случае напишите вот здесь: «Дополнительных объяснений не имею, а от предложенного мне ознакомления с обвинительным актом и делом отказался», затем подпишитесь и пометьте месяц и число. Дело ваше закончено, теперь ждать уж недолго, скоро покинете эту тюрьму.

— Давно пора, — заметил я, — вот уже скоро год, как я сижу здесь все еще «под предварительным следствием».

— Сидят и больше! — утешил меня на прощанье следователь, и архангелы с прежним церемониалом доставили меня обратно в камеру.

Я уже привык к весьма растяжимому пониманию теткиными сынами слова «скоро», однако никак не мог бы предположить, что на этот раз «скоро» продлится еще почти год! «Скоро покинете эту тюрьму» — для концлагеря? для изолятора? Я не сомневался, что это было уже предрешено годом ранее, еще до моего ареста. Но, к моему счастью, теткины сыны на этот раз торопились медленно.

А пока что — продолжалось тихое, безмятежное, бездопросное камерное мое житие, как раз в то тяжелое время, когда кривая истязательских допросов дошла до своей вершины, когда людей вызывали на такие допросы по нескольку раз в неделю и мучили на них по многу часов подряд; иногда такие «допросы» затягивались на двое-трое суток, шли «конвейером». Тяжело было смотреть на перекошенные лица товарищей, вызывавшихся на допрос: шли они в ожидании избиений, истязаний, а в лучшем случае — издевательств и ругательств; стыдно было смотреть им в глаза, когда они, измученные, возвращались с допросов, а сам ты месяцами спокойно сидел в камере, — чувствовал себя точно чем-то виноватым перед ними...

Эта кошмарная волна истязаний при допросах достигла своей вершины к середине 1938 года, а потом стала медленно спадать; к концу года не только избиения, но и заушения случались лишь в редких, единичных случаях. Но вскоре и на мою долю выпало внести свою часть — хоть и небольшую лепту — в общую сумму переносимых издевательств: прибли-

жался день третьего кульминационного пункта тюремных моих чествований, после ноябрьского ливня ругательств и апрельской пытки в «собачнике». Теперь мой рассказ можно и «*пустить на пе*»...

29 сентября 1938 года исполнился год со дня моего пленения, тюремный стаж мой становился уже почтенным. Но зато вид мой был далеко не почтенный: за этот год я совсем обносился и обтрепался. Не говорю уже о том, что рубашки и кальсоны с каждой новой стиркой обращались все более и более в неописуемые тряпки, так что с трудом можно было разобрать, где рубашка и где кальсоны. Но и брюки дошли до того, что при одном из обходов в пятницу помощник коменданта изволил обратить внимание на мой неприличный костюм и, узнав, что я не получаю передач и не могу купить брюки в лавочке, распорядился выдать мне казенное «галифе», хоть и заплатанное, но еще — по его мнению — «приличное». Зато локти на рукавах пиджака вполне неприлично зияли дырами.

Прошел октябрь, подходил день торжества 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. Надо сказать, что оба пролетарских праздника, 1 мая и 7 ноября (по гениальному предвидению Салтыкова — весенний праздник предуготовления к бедствиям грядущим и осенний праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных[265]), ознаменовывались в тюрьме особыми строгостями: усилением коридорного надзора, ухудшением качества пищи, лишением камеры на два дня прогулок.

Вечером 6 ноября после ужина я, закрытый от всевидящего ока—«глазка», рассказывал камере то, что знал о замечательных опытах парижского психолога профессора Жиро по «гектоплазмии» (материализации)[266]. Раскрылась форточка, и дежурный по коридору выкликнул мою фамилию, — неужели заметил?.. Но нет, тут же выкрикнул он и фамилию «товарища Абрамовича», прибавив: «Оба с вещами!» С вещами — это была уже сенсация! Пока мы собирали вещи, камера оживленно гудела, строя разные предположения, доходившие даже до мысли, что нас собираются выпустить на волю — ввиду подарка к празднику... Подарок нас действительно и ожидал, но только несколько иного рода.

Прощай, камера № 79! Просидел я в тебе более полугода, — куда-то теперь?

Повели на «вокзал», посадили обоих в одну изразцовую трубу — значит, собираются переводить в другую тюрьму; но почему же — в самый канун праздника воспоминаний о бедствиях претерпенных? Нет, никто не приходит с неизбежным обыском. За дверью шум, беготня, голоса: «Боль-

ше в карцерах нет местов!..» Вот оно что! Не переезд в другую тюрьму и тем паче не свобода (дикая мысль!), а праздничный карцер! Мы поняли, что это дело «куриц» и кара за нашу «культурно-просветительную деятельность».

Мы были взяты одними из последних, когда все карцеры были уже заполнены; наши товарищи из других камер, попавшие в первую очередь, испытывали все удовольствия того обычного карцера, о котором я уже рассказал выше; их посадили по двое в каждый такой карцер. А с нами и с немногими нам подобными, пришедшими к шапочному разбору карцеров, очевидно, не знали, как и поступить. Хорошего мы не ждали: tarde venientibus ossa[267]; какими-то костями угостят нас на этом карцерном пиру? Мы долго, сидя в изразцовой трубе, ожидали решения своей участи; за дверью бегали, говорили, кричали. Наконец открылась дверь, и нас повели.

Повели снова на церковный двор, потом, в полутьме, какими-то закоулками и переходами между корпусами, какими-то проходными дворами и двориками; вывели к самой тюремной стене и здесь подвели к ступеням в черную тьму глубокого подвала. Мы спустились ощупью и попали в ярко освещенное холодное и сырое помещение с низким потолком, заваленное чьими-то вещевыми мешками; нас встретили три-четыре нижних чина во главе со своим подвальным командиром. Он велел нам сложить вещи на пол, а самим раздеться, оставив на себе только рубашку, кальсоны и носки; все остальное приложили к нашим остающимся в этом подвале вещам. Посмотрев на меня, увидев мой почтенный возраст и то, что я дрожу от холода, — температура в подвале была ноябрьская, — командир (очевидно, из особой милости) разрешил мне надеть и жилетку. Потом нас вывели в коридор, коротенький тупичок, с двумя дверьми направо; первую из них открыли и предложили войти в полную тьму. Мы вошли во тьму и вступили в грязь. Дверь захлопнулась.

— Осторожно! Тут сидят люди! — раздался голос из тьмы. Сидели тут такие же «карцерники», которым так же, как и нам, не хватало места в обычных карцерах. По случаю праздника 7 ноября мобилизация для наполнения карцеров была произведена «во всем тюремном масштабе».

Ощупью и натыкаясь на сидящих на «полу», стали мы куда-то пробираться; другой голос из тьмы сказал: «Здесь у стены есть место!» — и мы двинулись на этот голос. Действительно, около стены, с которой стекала от сырости вода, нашлось еще два места для меня и моего спутника;

но когда мы попробовали сесть на пол и ощупывали его руками, то руки наши вершка на два погрузились в густую, липкую и холодную грязь. Но что было делать? Не стоять же целые сутки или сколько там придется! И все наши раньше пришедшие товарищи уже сидели в этой грязи, предлагая и нам последовать их примеру. Раздумывать было нечего: я снял с себя жилетку, сложил ее вчетверо, подложил под себя — и погрузился в холодную клейкую жижу. Два из наших сокарцерников долго лечились потом от полученного в этой грязевой холодной ванне мучительного ишиаса. Сколько времени предстояло нам праздновать в этих необычных условиях осенний пролетарский праздник, годовщину Октябрьской революции, праздник воспоминаний о бедствиях, претерпенных за последние двадцать лет?

Подвал был глухой, без окна; очевидно, служивший раньше складочным местом овощей. Холод был осенний, сырость пронизывающая; зуб на зуб не попадал. Полгода тому назад пришлось испытать в «собачнике» пытку жарой; здесь предстояла противоположная крайность. Но мало-помалу мы нагрели подвал своими телами и своим дыханием: через день температура стала приближаться к терпимой, а к концу нашего сидения в этом подвале стала переносимой. Мы не задыхались от углекислоты, — была, очевидно, как и во всех овощных подвалах, вытяжная труба, но мы не могли различить ее в кромешной тьме.

Пока мы устраивались и копошились в грязи, за дверью раздались женские голоса: в соседнюю дверь, очевидно, вели наказанных, как и мы, женщин. Надо было думать, что они пришли в ужас от предстоящего пребывания во тьме, в холоде и в грязи (ведь их тоже раздевали до рубашек), так как мы услышали плач, крики и отдельные голоса: «Я не могу! Я не могу! Я больна! Это издевательство! Доктора!» Послышался шум, последовала возня, еще крики и плач, удары и стоны, потом все смолкло, — очевидно, женщин впихнули в подвал и захлопнули за ними дверь. Издевательство? Конечно, издевательство, но чем же мы могли им помочь? Мы были сами братьями этих сестер по судьбе. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», — объявил во все советское всеуслышание товарищ Сталин...

Все успокоились — и мы успокоились. Наступила ночь — впрочем, она всегда была в этом подвале. Мы спали — если это можно назвать сном; дремали, дрожа в потрясающем ознобе, то и дело просыпаясь, опершись спиной о стену, с которой струйки воды стекали нам за ворот рубашек.

Скоро вся спина рубашки была хоть выжми, а кальсоны насквозь пропитались водой от холодной грязи, в которую мы были погружены. Холод пронизывал до костей, и мокрое белье клейко прилипало к телу.

Счет времени был потерян; пока длилась эта бесконечная ночь, мы могли думать, что прошли уже целые ночи и дни. Но мы знали, что в шесть часов утра нам принесут кипяток и хлеб, и это было единственным за сутки мерилом времени. Мечтали о кружке кипятка как о великом несбыточном блаженстве, — согреться, согреться!

И вот наконец — голоса в коридоре, шум шагов, дверная форточка открылась, и нас ослепил луч света яркого электрического карманного фонаря: дежурный по карцеру просунул его в форточку и, водя фонарем, пересчитал нас, после чего провозгласил: «Пятнадцать!» — и форточка захлопнулась, мы снова погрузились во тьму. Но за короткое время света мы, хоть и ослепленные, успели разглядеть и подвал, и друг друга. Боже, какой неописуемый вид был у нас! В углу мы разглядели ведро — парашу; можете себе представить, как удобно было пользоваться ею в полной тьме и какие последствия это иногда имело... На «оправку» нас не водили, — карцерникам довольно и параши. К счастью, пользоваться ею приходилось мало, ведь обедов и ужинов у нас не было, а кипятка выдавали только по одной кружке в день.

Вскоре снова загремела форточка, снова ослепил нас свет — и мы стали передавать от соседа к соседу наши дневные рационы хлеба, по 200 грамм на человека. Впрочем, веса в них оказывалось больше, столько налипало на них глины и грязи от наших рук. Потом таким же порядком передавали мы друг другу по обжигающей руки кружке кипятка — и форточка захлопнулась. Дрожа от холода, стали мы в полной тьме наслаждаться горячей влагой; хлеб пополам с грязью хрустел на зубах. Это был наш чай, завтрак, обед и ужин — все, до следующего утра. Форточка опять открылась, дежурный по карцеру отобрал у нас кружки; на просьбы некоторых дать вторую, кратко ответил: «Полагается по одной» — и захлопнул форточку. Мы снова остались в полной тьме — на целые сутки.

Горячая вода согрела и оживила нас, да и температура подвала немного поднялась; следующие сутки мы уже не дрожали от холода даже в наших мокрых компрессах с головы до ног. Стали знакомиться друг с другом, переговариваться; завели «граммофонную пластинку № 1»: «За что? за что?» Из разговоров выяснилось, что все мы здесь сидели за одно и то же: за неуместную и запрещенную «культурно-просветительную деятельность» в

своих камерах. Мы немедленно наименовали наш подвал и самих себя «клубом культпросветчиков» и решили, что раз уж начальство собрало здесь такие высококвалифицированные тюремные лекторские силы, то мы не ударим в грязь лицом в этом наполненном грязью подвале, а заполним время беспрерывными лекциями, докладами, рассказами каждого по очереди и по своей специальности. Каждый предлагал свои темы, и они выбирались большинством голосов. Что было делать нам другого, сидя во тьме? А потому заключение наше оказалось менее томительным, чем этого желало бы тюремное начальство. Мы с большим интересом прослушали обстоятельный доклад инженера, специалиста по «ракетной проблеме», ученика Циолковского; организатор русского павильона на парижской выставке очень живо рассказал нам и об этом павильоне, и обо всей выставке; «артист эстрады» развлекал нас сценками и скетчами. Между прочим, рассказал нам, в виде характерного анекдота, за какой анекдот сам он попал в тюрьму. Сам еврей, попал он прямо с эстрады в Бутырку за антисемитизм, проявившийся в следующем, рассказанном им со сцены невинном диалоге еврея с русским:

— У вам грязь на спине!

— Не «у вам», а «у вас».

— У мене?!

— Не «у мене», а «у меня».

— Ну я же и говору, что у вам!

Диалог продолжался в таком же роде, и еврей между прочим объяснял русскому, что обозначают известные сокращения — ЧК и ЦК: «ЧК — это Чентральный Комитет, а ЦК — это Црезвыцайная Комиссия...» За эту антисемитскую агитацию, а попутно и за насмешку над «Црезвыцайной Комиссией» бедный «артист эстрады» уже третий месяц сидел в Бутырке, и его следовательница находила, что дело это «очень серьезное», старались кроме статьи за «контрреволюционную агитацию» «пришить» ему еще и другие параграфы...

Да, дело его вела следовательница — и это в первый раз столкнулся я с таким фактом среди сотен рассказов о допросах. «Следовательница» — этот сочный фрукт революции достался НКВД по наследству еще от ГПУ и ЧК. В начале деятельности Чеки славилась женщина-провокаторша и следовательница-садистка Денисевич; в верхних регионах Чеки восседала беглая политическая каторжанка, а потом левая эсерка Биценко. Несколько позднее террорист и бывший левый эсер Блюмкин[268] (убийца Мирба-

ха), ставший позднее агентом Чеки, был подведен под расстрел своей молодой женой, оказавшейся подосланной к нему следовательницей-чекисткой. Мне только два раза пришлось мимолетно встретиться лицом к лицу с этими выродками рода женского: один раз — когда меня в мае 1933 года ночью везли следователи-гэпэушники из Бутырки на Лубянку; в их числе была и молодая следовательница-чекистка. Во второй раз — несколькими месяцами позднее я встретился с такой же молодой следовательницей в комендатуре Новосибирского ГПУ. Оба раза это были изящные молодые женщины, с маникюром, в прекрасных туалетах, с модно перекрашенными волосами. «Артисту эстрады» пришлось столкнуться с этим типом вплотную, дело его вела именно такая изящная молодая женщина, «модель от Пакена», как он ее именовал. Он был совершенно ошарашен, когда на первом же допросе из уст этой изящной и изысканной «модели от Пакена» полилась такая отборная и изысканная ругань, какую бывалый артист не слыхивал даже от матросов, особенно славившихся фиоритурами многоэтажных и хитро закрученных непечатных ругательств. Облив его этими каскадами, «модель от Пакена» закончила угрозой:

— Погоди, я тебя законопачу в такой лагерь, что ты там десять лет ни одной женщины не увидишь!

При этом она вместо слова «женщина» воспользовалась такой риторической фигурой, которая в учебниках словесности именуется фигурой pars pro totum[269]. Артист эстрады сказал ей: «Гражданка следовательница, — преклоняюсь: вы артистка в своем роде...»

Интересно было бы знать — имеют ли эти выродки рода женского семью? детей? мать? Бывают ли сами матерями? Или слово «мать» доступно им только в трехэтажных ругательствах?

Но я уклонился в сторону от рассказа о нашем «клубе культпросвета» и поочередных наших докладах и рассказах в нем. Когда очередь дошла до меня, то по желанию большинства членов клуба и для поддержания настроения я подробно рассказал о бегстве Бенвенуто Челлини из римской башни Св. Ангела и о не менее фантастическом бегстве Казановы из венецианской свинцовой тюрьмы Пиомби. Устроить побег из Бутырки или Лубянки было бы, конечно, гораздо фантастичнее...

Иногда после доклада или рассказа раздавался чей-нибудь голос:

— Господа члены клуба, а не пора ли спать? Ведь уже, надо думать, ночь!

А другие голоса возражали:

— Что вы, что вы! Да, вероятно, еще и до вечера не дошло!

Мы совершенно заблудились во времени: спали днем, разговаривали ночью, думая, что это день. Очень удивились, когда загремела форточка утром 8 ноября: мы как раз собирались в это время «ложиться спать». Кстати сказать — лечь спать можно было бы, места хватило бы, но ни у кого не хватило решимости всем телом погрузиться в липкую грязь.

Так прошли сутки. И вторые сутки. Утром 9 ноября нам выдали обычный наш суточный рацион из хлеба и кипятка. Странное дело, есть не очень хотелось; я вспомнил свою пятисуточную вагонную голодовку двадцатью годами раньше и находил, что «ГПУ-Коминтерн» прав: можно и двадцать суток выдержать такой режим, ведь он выдержал же! Сколько-то еще нам придется выдержать? Уже двое с половиною суток продолжались наши грязевые ванны в подвале.

Мы потом сравнивали наше подвальное наказание с положением тех товарищей, которые попали в чистые и слишком светлые настоящие карцеры, и находили, что нам очень повезло. Правда, сидели мы в грязи — но в блаженной тиши, без рези в глазах; сидели в жиже — но без неумолчного шума вентилятора; сидели в жиже, но в сравнительном тепле, когда подвал нашими телами обогрелся, и без пронизывающей струи холодного вентиляционного воздуха; сидели во тьме и грязи — но большой компанией, целым «клубом культпросветчиков», и интересно провели время. И настоящие «карцерники» нам завидовали: вот как все относительно на белом свете!

Только что мы утром 9 ноября покончили с хлебом и кипятком, как дверь открылась, нам предложили выйти, одеться и взять свои вещи. Двое с половиною суток сидели мы в грязевой ванне — и зато в каком же виде вышли! Пришлось надевать платье на липкое от грязи тело и белье, сапоги не налезали на облепленные глиной пудовые носки; руки и даже лица наши были черны, как у трубочистов, только не от сажи, а от грязи. На дворе нас ослепило небо восходящего солнца, третьи сутки пребывали мы во тьме. Нас выстроили попарно и повели — но куда же поведут нас, таких с головы и до ног облепленных грязью? Нас повели прямым путем в баню.

Не нахожу слов, чтобы выразить, каким наслаждением была для нас эта баня! Таким же, как полгода тому назад баня после пытки в собачьей пещере. Нам выдали по двойной порции мыла — одним кусочком мы не отмылись бы — и сообщили, что дают нам двойное время на стирку

и на мытье. В обширной, светлой и жаркой бане, вмещавшей полтораста человек, наша горстка в пятнадцать грязных с головы до ног карцерников совершенно распылилась. Мы наслаждались безмерно, мылись бесконечно, стирали белье в десятых водах — и все-таки не отстирали. После этого мое белье, бывшее лохмотьями, превратилось уже окончательно в тряпки.

Совершив весь банный обряд, мы попарно двинулись — куда? Неужели каждый в прежнюю свою камеру? Нет, начальство решило изолировать культпросветную заразу и всем карцерникам отвело отдельную камеру. Нас привели на третий этаж, в камеру № 113, совершенно пустую; мы расположились в ней по-барски (но — по стажу), заняв лучшие места. Вслед за нами стали приводить и других карцерников, кого — из таких же подвалов, а значит, и прошедших через баню, кого и из отдельных карцеров, где они сидели по двое, — им бани не предоставили. Понемногу набралось нас шестьдесят человек — весь «культпросвет» тюрьмы, и с этих пор мы были строго изолированы от всех других камер. Я пробыл после этого в Бутырке еще почти пять месяцев — и за все это время в нашу камеру не ввели ни одного новичка, ни одной «газеты», ни одного из других камер, и число наше все таяло и таяло, так что ко дню моего прощания с Бутыркой в нашей камере «карцерников» (так называли нас в тюрьме) нас оставалось только восемнадцать «закоренелых преступников»...

Так отпраздновал я дни 7—8 ноября 1938 года, осенний пролетарский праздник воспоминаний о бедствиях претерпенных, так чествование мое в третий раз дошло до своей кульминационной точки. И это при том «полном уважении», какое питал ко мне следователь лейтенант Шепталов... Оно и понятно: «Хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник и, стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю...» Впрочем, лейтенант Шепталов был тут ни при чем: на этот раз так чествовало меня тюремное начальство.

XVI

«Клуб культпросвета» — так стали мы называть и нашу камеру № 113— зажил обычной тюремной жизнью. Ввиду перенасыщенности клуба всякими докладчиками и лекторами, время в нем проходило быстро: лекции, рассказы, доклады следовали «конвейером», и мы теперь не так уж опасались всевидящего ока — «глазка»: что могли с нами, «карцерниками», поделать? Кроме того, мы были уверены, что среди нас нет больше «куриц».

И еще одним отличались последние месяцы 1938 года. Не имея под руками материалов, не могу точно установить, когда именно закатилась звезда расстрелянного или попавшего в сумасшедший дом Ежова; по-видимому, это произошло осенью 1938 года[270]. Тюрьма стала это ощущать по одному признаку: прекратились резиновые допросы, физические аргументы стали редкими, а потом и крайне редкими; с начала 1939 года прекратились и они. Люди шли на допросы без перекошенных лиц и возвращались с допросов бодро. Это сразу же сказалось на эпидемии отказов от прежних вынужденных «сознаний»: по пятницам десятками посыпались заявления о том, что нижеподписавшийся, вынужденный «сознаться» вследствие таких-то и таких-то истязаний, берет теперь свое «сознание» обратно и требует начала нового следствия, а о преступных действиях следователя сим доводит до сведения прокуратуры. Заявления эти попадали, конечно, в руки тех же самых следователей, но последние принуждены были теперь давать им ход — начинать новое следствие; при этом дело чаще всего передавали и новому следователю. Камера повеселела и приободрилась; к тому же и камера снова попалась светлая, солнечная, веселая, «с видом на Москву».

Прошел ноябрь; декабрь подходит к середине; наше число таяло: в «клубе культпросвета» оставалось нас человек сорок — это после ста сорока-то год тому назад! Как-то раз открылась дверная форточка и корпусной прокричал мою фамилию. «С вещами» или «без вещей»? Ни то, ни другое: он предъявил мне через форточку некий документ, в котором значилось, что законченное следствием мое дело передано в суд и что я отныне числюсь не за НКВД, а за московской прокуратурой. «За кем бы ни числиться, лишь бы делу конец». Прочел, расписался на документе, что он оглашен мне сего 15 декабря, и стал ждать, когда и в чем проявит прокуратура свое отношение ко мне.

Ждать пришлось больше месяца. За это время мы успели встретить новый, 1939 год — совсем не в том настроении, в каком встречали год проклятой памяти 1938-й. В «клубе культпросвета» к новому году осталось нас человек тридцать — и мы встретили Новый год довольно весело: после приказа «Спать!» улеглись и предоставили артисту эстрады до полуночи развлекать нас новогодними сценками и рассказами. Окрики в дверную форточку не помогали, дисциплина в нашей камере явно падала; а может быть, тюремное начальство снисходительнее относилось к «карцерникам».

25 декабря после ужина меня наконец-то вызвали «К прокурору»! Повели обычным порядком («архангелы» в конце года были отменены) в знакомую мне следовательскую комнату в первом этаже. Сидевший за письменным столом штатский пожилой человек лет пятидесяти, вида вполне «интеллигентного», с усталым лицом и пристальным взглядом, удивленно посмотрел на меня: оборванца в таких лохмотьях трудно было признать за писателя.

— Вы Иванов-Разумник? — спросил он меня, и на мой утвердительный ответ рекомендовался: — Я товарищ прокурора Московского округа (назвал свою фамилию, которую теперь не припомню), мне поручено допросить вас перед передачей дела в суд. Вы ознакомились с обвинительным актом и с материалами своего дела?

«Дело» мое, разбухшая от бумаг папка в синей обложке, лежало перед ним на столе.

— Нет, не знакомился, — ответил я.

— Как так? — удивился прокурор. — Следователь НКВД обязан был по окончании следствия предъявить вам для прочтения все дело.

— Следователь тут ни при чем, — сказал я, — в «деле» этом вы, вероятно, не обратили внимания на самую последнюю бумагу о том, что от ознакомления с делом я отказался.

Прокурор раскрыл «дело» и нашел этот листок.

— Вы имеете право ознакомиться с делом и теперь.

— И теперь не желаю.

— Ваши мотивы?

— Мотивы те, что я считаю все материалы этого дела с начала и до конца подложными, а показания против меня ряда свидетелей — вынужденными из-за палочных методов допроса следователями НКВД, что вам, конечно, хорошо известно.

— Вы ни в чем не пожелали сознаться?

— Мне не в чем было сознаваться. Каждое показание против меня я опроверг вполне убедительными доводами, но следователь лейтенант Шепталов не пожелал заносить их в свои протоколы.

— Он не имеет права не занести в протоколы ваших контрпоказаний. Можете привести примеры?

— Сколько угодно.

И я стал перечислять их один за другим, а прокурор тщательно записывал все мои «контрпоказания»[271]. Я указал, что не присутствовал на

съезде Советов в апреле 1918 года, а когда потребовал очной ставки с лжесвидетелем, мне ее не дали. Подчеркнул, что опровержением самой возможности моей «контрреволюционной» речи в то время является одновременное появление моей книги «Год Революции», — с этой книгой следователь не пожелал ознакомиться. Ответил, что по дикому обвинению в тайном, «с контрреволюционными целями» свидании с академиком Тарле очной ставки с ним не получил, точно так же, как и по не менее дикому обвинению в покупке берданки. По поводу обвинения в участии в мифическом съезде группы эсеров в Москве летом 1935 года не было запрошено ни саратовское ГПУ, ни мой саратовский квартирохозяин, которые могли бы подтвердить, что я ни на один день не отлучался из Саратова за все время моей трехлетней ссылки. И так далее, и так далее, и так далее...

Прокурор тщательно записал пункт за пунктом. Потом перечел написанное, перелистал «дело» и стал писать какое-то заключение. Закончив, сказал:

— Прокуратура не может принять от НКВД дело в таком виде. Придется направить его к доследованию.

— Куда направить?

— Обратно в НКВД.

— Благодарю вас! Я год и три месяца просидел в тюрьме, числясь за НКВД «в порядке предварительного следствия», а теперь вы снова передаете дело в НКВД, чтобы он начал сказку про белого бычка с начала! Ведь это «его же царствию не будет конца»!

— Ничего не могу сделать, — ответил прокурор, — дела в таком виде я принять не могу. Будем надеяться, что на этот раз новое следствие пойдет скорее. Не имеете ли какого-либо заявления?

— Заявления не имею, но имею просьбу, — сказал я. — Вы сами видите, в каком виде я нахожусь; вот уже год с третью, как я лишен денежных передач. Прошу, чтобы жене моей дали знать, где я нахожусь, и разрешили бы мне получать денежные передачи.

— Адрес, имя и отчество? — спросил прокурор и записал их. — Ваша жена будет извещена, и денежные передачи вы будете получать, могу обещать вам это, но, к сожалению, это и все, что я могу для вас сделать.

— Это будет более чем достаточно, позвольте поблагодарить вас, — ответил я прокурору, и свидание наше было закончено. Меня отвели

обратно в камеру, где товарищи жадно набросились на меня: я был первой ласточкой, долетевшей из НКВД до прокурора — и, к сожалению, снова прилетевшей обратно.

Я разочаровал своих товарищей, но и сам был разочарован: возвращение под власть НКВД мне весьма не нравилось. Но, быть может, оказалось, что все к лучшему в сем лучшем из миров...[272] Через неделю, в конце января, корпусной снова предъявил мне прежним порядком в форточку новый документ, в котором меня извещали, что дело мое возвращено из прокуратуры на доследование и что я теперь снова числюсь за НКВД. Прочел и расписался. В этой неприятности слегка утешала меня только мысль, что лейтенант Шепталов получил из-за меня некоторый афронт: прокуратурой признано, что следствие ведено им (мягко выражаясь) неудовлетворительно. Уверен, впрочем, что на его служебной карьере в НКВД это ни в какой мере не отразилось.

Прокурор сдержал свое слово: через месяц с небольшим я действительно получил первую денежную передачу в 50 рублей и к великой своей радости узнал из этого, что следователь Спас-Кукоцкий не обманул и что жену мою действительно «никто не трогал»; да и В.Н. впервые узнала, что за эти полтора года меня тоже «никто не трогал» из тюрьмы. Но чтобы рассказать об этом, надо вернуться на полтора года назад.

Узнав о моем аресте, В.Н. через три месяца, в конце декабря 1937 года, поехала из Царского Села в Москву, чтобы попытаться навести обо мне справки: раньше трех месяцев со дня ареста никому никаких справок о заключенном не давали. Попала в Москву в день самого разлива волны декабрьских арестов: накануне ночью было арестовано несколько сот человек, и первое, что В.Н. увидела у Лубянки, — толпа человек в пятьсот растерянных и плачущих женщин, мужья, сыновья или братья которых были арестованы в эту ночь. Никаких справок они, конечно, не получили, а В.Н. и не пыталась получить их на Лубянке. После тщетных поисков меня по разным тюрьмам — в том числе и в Бутырке, — после долгих скитаний и разведываний узнала наконец, что справку обо мне можно получить там-то, у такого-то прокурора НКВД. Явилась к нему на прием, дождалась очереди и объяснила свое дело: ищет арестованного три месяца тому назад и без вести пропавшего в Москве мужа. Прокурор отыскал «дело», достал синюю папку, на обложке которой красным карандашом ярко значилось мое имя; заглянул в папку и кратко сказал:

— Сослан. Получите письмо от него из лагеря.

Спрашивать, за что сослан, куда, надолго ли, было бы излишним трудом; хорошо и то, что узнала: сослан «с правом переписки»! А я-то сидел в это время в Москве, в Бутырке, не подозревая, что уже сослан куда-то ретивым прокурором.

Так и неизвестно: намеренно ли он обманул, чтобы только отвязаться, или только немного предвосхищал события, а ссылка моя в концлагерь была в это время уже предрешена. Но, к счастью, повторяю, на этот раз теткины сыны торопились со мною медленно.

Надо было вооружиться терпением и ждать письма «с момента ссылки». Но прошел год, прошло полтора года — письмо не приходило. В самом начале марта 1939 года В.Н. снова поехала в Москву, а приехав, получила вдогонку телеграмму из Царского Села о том, что на ее имя пришла бумага от московского прокурора с извещением о пребывании моем в Бутырской тюрьме. Оказалось, что я целых полтора года просидел в Бутырке, в то время как В.Н. ждала от меня письма из какого-нибудь сибирского концентрационного лагеря! Немедленно же отправилась она в Бутырку, где в канцелярии беспрекословно приняли от нее 50 рублей на мой «текущий счет». Принимавший деньги чин, найдя в картотеке мое имя и краткую анкету, ворчливо заметил:

— Чего же это вы, гражданка, полтора года зевали да ждали, денег не передавали?

Не стоило больше объяснять ему, что в этой самой Бутырке на справку обо мне больше года тому назад ответили, что такого заключенного в списках тюрьмы не значится (это было, очевидно, распоряжение следователя). А теперь, когда В.Н. в ответ на его слова попросила разрешения передать больше пятидесяти рублей, чтобы загладить этим свою полуторагодовую преступную небрежность и забывчивость, чин ответил категорическим отказом: больше пятидесяти рублей в месяц вносить не разрешено.

Так через полтора года и узнали мы с В.Н. друг о друге: я — что ее действительно «никто не трогал», она — что меня тоже пока еще «никто не трогал» из Москвы.

Впрочем, скоро «тронули» — если и не из Москвы, то из Бутырки: мне оставалось провести в ней меньше месяца. Этот последний месяц был проведен в условиях исключительных: число наших сокамерников все таяло и таяло, хотя «на волю» еще никто, по-видимому, не выходил, а если и выходил, то это был редчайший случай, как это и раньше за все полто-

ра года бывало. Уходили из камеры главным образом по двум направлениям: одних переводили в другие тюрьмы, других отправляли «на суд».

Перевод в другие тюрьмы был связан с указанной выше эпидемией конца 1938 года — повальным отказом от вынужденных ранее «сознаний». В таких случаях следователь вызывал подавшего заявление и пытался уговорами и угрозами заставить заявление взять обратно; но так как уговоры эти не сопровождались более палочными аргументами, то успеха не имели. Тогда дело передавалось новому следователю, следователи же были прикреплены к разным тюрьмам — к Бутырской, Таганской, Лубянской и иным. Для нового следствия заключенного переводили в ту тюрьму, к которой был прикреплен следователь.

Других уводили «на суд» — в тех случаях, если прокуратура соглашалась принять дело от НКВД. Тогда в один прекрасный день нашего товарища по камере уводили «с вещами» — и о дальнейшей судьбе его мы ничего не знали. Но бывало, что в этот же день подсудимый снова возвращался «с вещами» в нашу камеру: суд либо отложил дело, либо снова отправлял его на доследование обратно. Вернувшиеся красочно рассказывали о суде, но рассказы эти выходят за пределы моей темы.

Так или иначе, но факт оставался фактом: камера наша все редела и редела. Теперь, к весне 1939 года, в «клубе культпросвета» оставалось всего восемнадцать человек! И мы стали именовать нашу камеру «клубом закоренелых преступников».

В один действительно прекрасный февральский день мы получили неожиданный приказ: «Все с вещами!» Неужели же обычный повальный обыск со всеми его ухищрениями? Быть не может, такой обыск бывал только в середине глубокой ночи! Нет, не обыск! Нас повели по тому же коридору и распахнули перед нами дверь одной из соседних камер. Боже, какое великолепие! Вместо деревянных нар — подъемные полотняные койки на железных стержнях, 24 койки по дореволюционной норме, по койке на каждого из нас, да еще шесть пустых коек, которые мы немедленно подняли к стене, образовав таким образом в передней части камеры «зал для прогулок». Мы разместились по прежнему стажу; мне, тюремному старожилу, досталась лучшая койка у окна, «с видом на Москву». Как дети, радовались мы новой игрушке, каждый своей койке, и долго не могли нарадоваться и привыкнуть к такому великолепному обороту в нашей жизни! Впрочем, тюремные сидельцы имеют психологию детей: пустяк их огорчает, пустяк и радует; это еще Достоевский заметил[273].

В остальном жизнь наша, конечно, не переменилась, вот только «культурная деятельность» стала затруднительной: осталось нас мало, мы пересказали друг другу, кажется, все, что знали. К концу марта месяца было даже выдвинуто предложение — переименовать наш «клуб культпросвета» в «клуб беспросвета», но предложение это было отклонено большинством голосов, и мы решили «напрячь последние силы», чтобы сохранить за клубом прежнее наименование. Каждый постарался найти или припомнить новые темы, но я, по французской поговорке, — j'ai épuisé tout mon latin[274]. В таком трудном положении я решил подробно рассказать камере «написанный» мною (в голове шесть лет тому назад, в одиночке петербургского ДПЗ) авантюрный роман «Жизнь Полторацких», выдав его за прочитанный мною роман зарубежного издания. Роман был длинный и занял несколько вечеров; к одному из дней конца марта я довел рассказ до самой драматической точки, и камера с нетерпением ждала вечера, чтобы услышать развязку этого «захватывающего дух романа»... Но в этот день, после обеда, неожиданно отворилась дверная форточка, и дежурный по коридору выкликнул мое имя, прибавив: «С вещами!»

Как всегда, это было сенсацией, взбудораживавшей всю камеру: куда везут? Но на этот раз, пока я укладывал свои вещи, товарищи окружили меня и говорили о другом: стали просить рассказать хоть в двух словах развязку «романа»... Авторское самолюбие мое было приятно польщено, но досказать «роман» не удалось: дежурный стоял у форточки и торопил с отправкой. Пришлось наспех попрощаться с товарищами, бросить последний взгляд на уютную камеру (ведь вот до чего можно довести человека!) — и последовать за своим провожатым в неизвестность. Куда — Бог знает, но уж, во всяком случае, не на свободу.

XVII

Повторение пройденного. Сдача казенного имущества. «Вокзал». Изразцовая труба. Обыск вещей. Обыск личный. «Встаньте! Откройте рот! Высуньте язык!» Анкетная комната. Вычеркивание из списков Бутырской тюрьмы. «Черный ворон». Ну, на этот раз окончательно — прощай, Бутырка! Провел я в тебе день в день ровно полтора года...

Куда везут? По всей вероятности, на Лубянку. Прошло уже два месяца после беседы с прокурором и передачи меня опять под высокую руку НКВД; за это время — ни одного вызова, ни одного допроса, обо мне опять

забыли. Но вот теперь вспомнили, и следствие должно начаться с начала, — сказка про белого бычка...

Куда-то приехали. Вывели из «черного ворона». Нет, не Лубянка — какой-то незнакомый тюремный двор. Повторение пройденного: канцелярия, подробная анкета, внесение в инвентарную книгу и в списки тюрьмы (какой? Спросил — не ответили), обыск вещей, личный обыск — «Разденьтесь догола!» (в который раз?), баня, выдача казенного имущества — одеяла, кружки, миски, ложки, — и меня повели какими-то переходами по первому этажу многоэтажной тюрьмы, распахнули в одном из коридоров дверь в камеру № 62.

После нашей последней парадной камеры в Бутырке мне показалось, будто из светлых и просторных барских апартаментов попал я в мрачную и грязную людскую, к тому же набитую до отказа. Меня окружили, спросили — откуда? Я сказал, что из Бутырки и поинтересовался узнать, куда это я попал. Ответили: «В Таганку!»

Таганская тюрьма на противоположном конце Москвы была по сравнению с Бутырской во всех отношениях тюрьмой второго сорта. Камеры грязнее и темнее, к тому же в первом этаже, полы щербатые, асфальтовые, стены облезлые. Население битком набитой небольшой камеры — я был в ней семьдесят первым — тоже второстепенное по сравнению с нашим «клубом закоренелых преступников»: очень мало «шпионов», все больше «вредители» разных рангов и степеней. Стаж их был тоже второсортным: не было ни одного, сидевшего более полугода, так что я со своим полуторагодовым стажем сразу же получил хорошее место на нарах, рядом с пожилым представительным человеком. Узнав мое имя, он сказал: «Приятно, приятно получить в нашу камеру Разумника», на что я, узнав его фамилию, ответил, что и мне не менее приятно оказаться соседом доктора Здравомыслова[275]. Доктор Здравомыслов, известный московский гомеопат, неудачно лечил жену одного из кремлевских заправил, за что и попал в тюрьму как «вредитель». При мне уже получил он за это три года лагеря и отбыл из Таганки «в неизвестном направлении». Другим моим соседом оказался не менее известный московский окулист, доктор Невзоров, автор ряда научных работ, появившихся и в германских медицинских журналах. Это его и погубило: переписывался с Германией. Был в камере одним из немногих «шпионов».

Еще запомнились мне в этой камере два священника; как ни странно, а в многолюдном бутырском калейдоскопе за полтора года священника я

не встретил ни одного. Первый из них, священник-«обновленец», был упитанный, толстый, веселый, неунывающий человек; считал свой арест «недоразумением», ничего не рассказывал о допросах и не говорил, в чем его обвиняли. Другой — священник-тихоновец, молчаливый благообразный и истовый старик; произнес неудачную проповедь о терпении как долге христианина при всех земных напастях[276]. «Земные напасти» большевики сочли камнем в свой огород и арестовали священника за контрреволюционную агитацию.

Остальные обитатели камеры были все мелкие «вредители», проворовавшиеся исполкомщики, неудачные взяточники и разная «контрреволюционная» мелюзга. Начальник пожарной команды какого-то московского театра недосмотрел короткое замыкание тока в зрительном зале, и хотя быстро потушил возникший пожар, но был произведен во «вредители»; скоро был выпущен «за прекращением дела». Повар фабрики-кухни отравил недоброкачественным студнем несколько десятков рабочих, и хотя продукты были выданы санитарным надзором кухни, однако был для острастки посажен в тюрьму; предстоял «показательный процесс». Молодой парень из подмосковного села в пьяной драке ударил бутылкой по голове председателя сельского исполкома, «коммуниста», и попал в тюрьму за покушение на жизнь представителя большевистской власти. И еще, и еще — десятки подобных случаев прошли передо мною.

Быт Таганской тюрьмы ничем существенным не отличался от быта наших бутырских камер, только все было здесь второго сорта — и обеды, и ужины, и «лавочка», и грязная уборная, и баня. Нет, баня была даже не второго сорта, а чем-то похуже. Баня в Бутырке была праздником, баня в Таганке — наказанием. Нашу камеру водили в баню почему-то всегда в середине ночи; надо было связать все свои вещи узлом в одеяло и, кроме того, тащить с собой тюфяки, — полагался один на двоих. В бане тюфяки и узлы с вещами сдавались в дезинфекцию, а нас загоняли в узкий, тесный и холодный предбанник, через силу вмещавший человек сорок, но в который втискивали нас и все семьдесят. Мы раздевались в невероятной тесноте, платье и белье сдавали тоже в дезинфекцию — стирать белье в этой бане не полагалось. Шаек и кранов с водой не было, было штук пятнадцать душей, под каждым одновременно мылось человек пять. А потом — мука с получением белья и платья, мука с одеванием среди дикой давки, мука с разбором развязанных одеяльных узлов с вещами. Измученные всем этим, возвращались мы под утро в свою камеру.

А один раз после бани нас ожидало и еще одно «удовольствие»: нам не позволили одеваться, оставили дрожать голыми в холодном предбаннике и стали поименно выкликать по списку; водили поодиночке в соседнее и еще более холодное помещение, где молодая женщина-врач, несколько конфузившись, делала нам инъекции — прививку сыворотки против сыпного тифа. Через несколько часов после этой прививки все мы дрожали в потрясающем ознобе, вскоре сменившемся температурой до 40 градусов; в следующую баню эту инъекцию повторили. Удовольствие было ниже среднего.

Еще одно очередное мучение — стирка белья. Два раза в месяц камере раздавали металлические жетоны с номерами; каждый заключенный должен был связать свое грязное белье в узел, прикрепить к нему веревочкой свой номерной жетон и сдать узел в стирку; номера жетонов и фамилии владельцев записывались. Через несколько дней мы получали обратно уже выстиранное белье, но, Боже, в каком виде! Оно было еще более грязное, чем до стирки, только желтым от дезинфицирующего хлорного раствора, смятым и разорванным. Жетоны были перепутаны, владельцы не могли отыскать свое белье, часто попадавшее и в другие камеры.

К счастью для меня, всеми этими таганскими удовольствиями мне пришлось наслаждаться только два с половиной месяца; после образцовой Бутырской тюрьмы мне казалось, что я попал в провинциальную тюрьму где-то на окраинах России.

Но приходившие к нам в Таганку из провинциальных тюрем не могли нахвалиться нашим бытом — пищей, чистотой, порядком, отсутствием тесноты, вежливым обращением администрации. Можно себе представить, что там у них творилось! Вероятно, Бутырская тюрьма показалась бы им землей обетованной.

Так как это камера № 62 Таганской тюрьмы была последней из всех обитавшихся мною, то теперь, прежде чем перейти к эпилогу и к рассказу о собственной судьбе, остановлюсь немного не на быте камер, а на общем впечатлении от всего тюремного калейдоскопа. Прежде всего — мало молодежи и мало пожилых людей; большинство — люди цветущего, среднего возраста. Затем — совершенно неожиданный вывод статистики, сделанный еще в камере № 45 нашим старостой, профессором Калмансоном, когда нас было в ней сто заключенных; среди этой сотни оказалось тридцать процентов коммунистов и тридцать процентов евреев. Если иметь в виду, что и коммунистов, и евреев порознь во всем Советском

Союзе не больше двух-трех процентов всего населения, то нельзя не удивиться этому чрезмерному проценту их в населении тюремном. При этом, конечно, не каждый из тюремных коммунистов был еврей и не каждый еврей — коммунистом. Возможно, однако, что эта статистика в камере № 45 была случайной и исключительной.

Немногочисленные пожилые люди производили в общем хорошее впечатление: они прошли через горнила революции, через огонь и воду и медные трубы, многие из них побывали уже и в тюрьмах, и в ссылках, и в лагерях, — и тем не менее большинство из них еще не утратили бодрости духа. Профессор Худяков, впавший в тихое и безвыходное отчаяние, был среди них не правилом, а исключением, да и то многое можно было отнести за счет его тяжелой болезни.

Совсем иное впечатление производила молодежь, по крайней мере половина ее, но должен сразу оговориться: молодежи было очень мало, и случалось так, что в нашей камере № 45 были сыновья высокопоставленных военных и штатских коммунистов. Очевидно, в этой среде юноши росли с детства развращенными сладкой жизнью и сознанием безнаказанности своих отцов. Юноши эти, лет семнадцати-восемнадцати, сидели по обвинению «в недонесении» на своих родителей. С допросов возвращались веселые, рассказывали, как следователи угощали их чаем с пирожными, а они в благодарность за это подписывали любые оговоры на отцов, все, что приказывали им следователи. Камера относилась к ним с единодушным презрением. Юноши, как на подбор, оказались на редкость тупыми, ни один из них не вошел в какой-либо «кружок самообразования»; они занимались между собой лишь разговорами о футболе и иных видах спорта и рассказывали друг другу сальные анекдоты. Отец одного из них был начальником штаба Московского военного округа, отец другого — начальником милиции города Москвы, отец третьего — замнаркомом. К ним скоро присоединился и четвертый — самый молодой в камере (ему было шестнадцать лет) и самый богатый. В тюремной кассе за ним значилось 17 000 рублей. Когда отец его, видный партиец, был арестован, жена с сыном стали распродавать вещи и обстановку; через две недели арестовали и их обоих. «Я дал мамаше шестьсот рублей, а себе взял семнадцать тысяч: на что ей? Она уже пожила сласть, надо теперь пожить и мне...» Заранее объявлял, что покажет на допросе все, что прикажет следователь, хотя бы пришлось утопить и отца и мать: «Они свое от жизни взяли, а мне надо о себе подумать...» Все эти четверо юношей были законченные мер-

завцы, достойный плод коммунистического воспитания. В стороне от них держался и был приятным исключением сын помощника командующего Московским военным округом Го́рбачёва[277], уже расстрелянного по «делу Тухачевского»: юноша вдумчивый, многим интересующийся; к своим развращенным сотоварищам и он относился с презрением.

Но это были дети развращенной партийной верхушки, обобщать эти наблюдения не приходилось. Рядом с ними в камере сидели и другие юноши (их тоже было немного — трое-четверо), например, мой многомесячный сосед, студент-«троцкист» Зейферт, молодые люди по двадцать лет. Они с презрением смотрели на «партийных ублюдков» (по их выражению), интересовались наукой, искусством, литературой, философией, жадно расспрашивали о всем том, что было запретным плодом в круге высшего советского образования. На допросах вели себя стойко и часто возвращались с них, претерпев и удары, и издевательства, — вроде того студента, заболевшего ангиной, о котором я рассказал в своем месте. Они составляли часть тех «несознавшихся», которых вообще не так много было в камерах.

Я уже указал, что за все время моего пребывания в тюрьме я насчитал только двенадцать человек, имевших мужество «не сознаться», даже после самых тяжелых резиновых допросов. Не сознаваться, если не применялись палочные аргументы, — заслуга не великая, но не сознаться, когда после допроса приходилось иной раз быть замертво доставленным в лазарет, — совсем другое дело; вот таких мужественных людей я насчитал всего двенадцать из тысячи, прошедших передо мною. Громадное большинство «во всем сознавшихся» относилось к этим единицам с явным недоброжелательством, хотя, может быть, и с тайным уважением. Но недоброжелательство брало верх. А, ты после истязаний все же не пожелал сознаться, а я вот не вытерпел, «сознался»; ты, значит, хочешь быть лучше меня? В забытом рассказе Леонида Андреева «Тьма» эта психология выражена в сжатой формуле — в словах проститутки, обращенных к революционеру: «Как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?»[278] Надо сказать, однако, что недоброжелательство это никогда не проявлялось в грубых формах, но в других тюрьмах оно, судя по рассказам, доходило до границ невероятного.

В середине 1938 года в нашу камеру № 79 попал привезенный из Челябинска и Свердловска «вредитель», просидевший по три месяца в тюрьмах каждого из этих городов. Он, конечно, пришел в восторг от «рай-

ких условий» нашей бутырской жизни, рассказал жуткие вещи о быте провинциальных тюрем в этих городах, где спешно были выстроены и новые тюремные бараки. Но бараки эти предназначались только для «уже сознавшихся»; «еще не сознавшиеся» сидели в тюрьме, где к ним применялись провинциальные методы воздействия — вроде тех, о которых рассказывал нам доставленный в Бутырку из Баку член азербайджанского ЦИКа Караев. Если все эти воздействия все же не приводили к желанному результату, то упорствующему говорили: «Ну хорошо же, завтра переведем тебя в барак № 1». Это был барак «сознавшихся», знаменитый на всю тюрьму; староста в нем был некий звероподобный грузин, вполне усвоивший себе формулу андреевской проститутки. Упорствующего доставляли в этот барак и сообщали: «Вот этот не хочет сознаваться!» А, ты не хочешь сознаваться, а я вот сознался? Ты хочешь быть лучше меня? Как ты смеешь быть хорошим, когда я плохой? Ну погоди же! И начинались пытки, перед которыми бледнели все тюремные истязания. Грузин начинал с того, что сажал упорствующего по горло в полную мочи бочку — парашу и держал в ней его сутки. Если это средство не помогало, начинались пытки, о которых и вспоминать не хочется... Слава барака № 1 была столь велика, что многие упорствовавшие в тюрьме предпочитали «сознаться» при первой же угрозе отправки их в тот барак... Грузин был зверь и выродок; но весь барак, сотни людей смотрели и видели, некоторые, быть может, помогали, некоторые, быть может, злорадствовали... Вот до какого озверения может довести людей озверевшая советская власть!

Можно спросить: как же при всем этом люди сохраняли еще свой разум, не сходили с ума? Многие сходили. И еще удивительно, что в общем лишь небольшой процент заключенных заболевал душевно. Впрочем, для них, тихих и буйных, было отведено в Бутырке обширное помещение. Кандидатов в «тихие» мы не один раз наблюдали среди наших сокамерников. Сидит человек и горько плачет, не переставая, никакие утешения и уговоры не помогают; или в полном отчаянии сидит молча, уставясь глазами в одну точку, сидит часами, отказываясь от еды, не вступая в разговоры, не отвечая на вопросы. Потом то один, то другой из них, вызванный на допрос «без вещей», больше не возвращался в камеру; дежурный по коридору приходил за их вещами и уносил их куда-то. Ну, значит — попал уже, бедняга, в тихое или буйное отделение. А о «слегка тронутых», вроде румынского летчика или инженера Пеньковского, я уж и не говорю.

Когда меня в ноябре 1937 года отправляли в первый раз на Лубянку, я, в ожидании отправки, часа три просидел в изразцовой трубе бутырского «вокзала». В соседней трубе безумолчно гудели два голоса: тоненький фальцет и густой бас. Что-то невероятное: в соседней трубе происходил как будто настоящий допрос!

— Так ты, мерзавец, ни в чем не хочешь сознаваться? — гремел бас.

— Товарищ следователь, ну как же я могу признаться?.. Верьте моей совести, ни в чем, то есть ни в чем не виноват! Ах, Господи Боже Ты мой, ну как мне, ну как же мне убедить вас, дорогой товарищ следователь! — жалобно плакался фальцет.

— Я тебе не «товарищ», сукин ты сын! Вот тебе! Получай за «товарища»! — Раздался гулкий звук оплеухи.

— Господин следователь...

— Получай за «господина»!

— Гражданин следователь, ради Бога, не бейте меня!

Я долго пребывал бы в полном недоумении, если бы не раздался стук в соседнюю дверь и окрик: «Не шуметь в изоляторе!» Голоса смолкли, но через минуту-другую диалог возобновился в прежних тонах. Душевнобольной разыгрывал сцену в лицах: густой бас — это был «следователь», плачущий фальцет — он сам, допрашиваемый... И неужели же этого больного человека тоже везли на допрос в Лубянку? Или, может быть, наоборот — из Лубянки привезли его в Бутырку, в камеру душевнобольных?

У многих из нас возникал вопрос: знают ли кремлевские заправилы о нависшем над всем Советским Союзом кошмаре избиений и пыток в тюрьмах!

Надо полагать, что Кремль не мог не знать о всех тех преступлениях, какие именем его творились по всем закоулкам страны, начиная с первопрестольной. А если не знал — тем хуже: чего стоит такая власть, которая не знает, что творится именем ее среди бела дня, в пяти минутах ходьбы — от Кремля до Лубянки!

Сказка про белого бычка началась для меня в середине апреля: меня вызвал на допрос новый следователь, сменивший собою лейтенанта Шепталова. Такого же возраста, как и Шепталов, но небольшого роста, более юркий и подвижный, «старший следователь Чвилев»[279] (как он отрекомендовался) на первом же допросе обнадежил меня следующим сообщением:

— Мы очень разгрузим ваше дело: значительную часть материала мы просто выбросим за борт. Ну вот, например, — он стал перелистывать синюю папку с «делом», — вот, например, покупали вы или нет берданку — это оставим в стороне, тем более, что очной ставки со свидетелем дать вам не могу, он выбыл из Москвы. По той же причине не могу дать вам очной ставки и со свидетелем вашего контрреволюционного выступления на съезде Советов в Москве в апреле 1918 года. Оставим в стороне и дело о свидании с академиком Тарле, — ну, это по особым причинам. Выбросим и обвинение в участии в московском съезде группы эсеров летом 1935 года, так как наведенные справки подтверждают, что все это время вы действительно не выезжали из Саратова. И еще одно за борт: саратовские эсеры взяли назад свое показание о вашем авторстве известной вам прокламации; а обвинение вас каширским соседом о предосудительных разговорах с неизвестными лицами не заслуживает большого доверия... Остается немного, но достаточно веское, о чем мы потолкуем с вами в следующий раз. Но сперва мы хотели бы уяснить себе, чем вы были заняты не десять и двадцать лет тому назад, а вот в самый последний год перед вашим арестом, когда вы жили в Кашире и так часто проживали днями в Москве, не имея на это, прибавлю, никакого права...

После этого предисловия он взял лист бумаги и стал записывать все то, что я ему рассказал о моей работе в 1936—1937 годах для Государственного литературного музея; спросил фамилию директора; поинтересовался — есть ли в библиотеке музея мои книги? Вот оно куда пошло! По-видимому, у этого старшего следователя Чвилева было время читать «всякий контрреволюционный вздор»!

Заполнив все это, он отпустил меня с обещанием «вплотную заняться» моим делом[280]. Весь допрос продолжался не более часа, и старший следователь Чвилев напутствовал меня словами: «До скорого свидания!» Это скорое свидание состоялось, однако, только через месяц, в середине мая, когда тюремному сидению моему пошел уже месяц двадцатый.

За это время много событий свершилось и в самой тюрьме, и за ее стенами. В Таганской тюрьме мы стали замечать, что каждую субботу вечером вызывают поодиночке то одного, то другого «с вещами»; по верным тюремным признакам мы знали, что эти субботние счастливцы идут на свободу... Ничего подобного не приходилось наблюдать в Бутырке. Это нисколько не мешало тому, что одновременно с освобождением единиц на волю десятки шли обычным порядком по этапу в концлагеря; при мне

в камере № 12 это произошло два раза, в апреле и мае: каждый раз вызывали «с вещами» сразу по пятнадцать человек. Во вторую из этих этапных партий попал и мой сосед по нарам, доктор Здравомыслов, к которому питаю живейшую благодарность, — так внимательно старался он разными тюремными микстурами поправить мое значительно пошатнувшееся здоровье. Камера наша редела; к июню месяцу в ней оставалось лишь тридцать человек.

А за стенами тюрьмы в это время происходили следующие касающиеся меня события. Передав в бутырский тюремный банк на мое имя 50 рублей в марте месяце, В.Н. уехала домой в Царское Село, откуда в начале апреля отправила мне почтовым переводом такую же сумму по старому адресу, в Бутырку. Но вскоре перевод вернулся к ней обратно с пометкой: «Адресат выбыл». Куда? Чтобы узнать это, В.Н. в начале мая снова отправилась в Москву. В Бутырке ей подтвердили только, что «выбыл», а куда — не могли или не хотели сообщить, это же их не касается. На Лубянке тоже не удалось ничего добиться. Наконец В.Н. узнала, что все такие справки теперь сконцентрированы в канцелярии областной московской тюрьмы, адрес которой носит идиллическое название — «Матросская Тишина». Отправилась в Матросскую Тишину и узнала, что я переменил местожительство — переведен в Таганку; немедленно направилась туда — и там у нее приняли 50 рублей на мой месячный «текущий счет». Значит, верно — я в Таганке.

Затем В.Н. отправилась в Коллегию защитников, чтобы поручить одному из ее членов ведение моего «дела»; там любезно согласились взять все хлопоты на себя, но для этого предложили сперва узнать, по какой статье или по каким статьям предъявлено мне обвинение?

В.Н. снова вернулась в Матросскую Тишину и добилась нужной справки, которая немало ее поразила: оказалось, что мне еще... не предъявлено никакой статьи! И это после двадцатимесячного содержания в тюрьме «под предварительным следствием»! С такими неутешительными — или утешительными? — сведениями вернулась В.Н. в Коллегию защитников, где были немало удивлены таким сообщением и заявили, что, пока статья не предъявлена, Коллегия защитников лишена возможности взять на себя ведение дела; вот когда предъявят статью — «мы к вашим услугам»...

Наконец последнее, что посоветовал В.Н. сделать один московский друг, писатель, сам недавно испытавший прелесть Таганки[281], — она отправила Молотову и «самому Сталину» по экземпляру первого тома моей

монографии о Салтыкове-Щедрине с приложением писем, в которых указывала, что автор этой книги, ее муж, вот уже двадцать месяцев сидит в московских тюрьмах без предъявления ему обвинительного акта и статьи[282].

Больше В.Н. ничего не могла сделать — и вернулась домой в Царское Село ожидать не у моря непогоды.

В это самое время «вплотную занялся» моим делом и старший следователь Чвилев. Как я потом узнал, он отправился в Государственный литературный музей и попросил его директора, В.Д. Бонч-Бруевича, дать обо мне и моих литературных работах исчерпывающую справку[283]. Мне рассказывали потом сотрудники и сотрудницы музея, что после этого посещения В.Д. Бонч-Бруевич всех их поднял на ноги: посылал в Ленинскую библиотеку (бывший Румянцевский музей) за нужными для моей литературной характеристики книгами, давал перестукивать на машинке выдержки из них и отдельные части составляемой им обо мне литературной «справки». Она вышла объемистой, размером с целую большую статью в два печатных листа. Вот было бы интересно прочитать такую исчерпывающую критическую статью о себе! Но она была передана старшему следователю Чвилеву при вторичном посещении им музея. Думаю, что этой статье я в значительной степени обязан своим освобождением. Конечно, в «ежовские времена» она не произвела бы никакого эффекта, но теперь времена слегка изменились: как раньше попал я в волну арестов, так теперь выплыл на свет Божий в волне освобождений.

Старший следователь Чвилев не ограничился этим — он пожелал прочитать мою книгу «Год Революции», быть может, в чаянии найти там какие-нибудь «контрреволюционные» места; достал эту книгу в Ленинской библиотеке и сделал из нее ряд выписок, которые и приложил к моему «делу». Выписки эти были совершенно неожиданного содержания, как я увидел это на следующем допросе.

Он состоялся в середине мая. В следовательской камере кроме Чвилева находился еще один молодой человек в военной форме — не то помощник старшего следователя, не то обучавшийся следовательскому делу новичок, молчаливый ассистент. Чвилев встретил меня словами:

— Ну-с, теперь я достаточно ознакомился и с вашим делом, и вообще с вашей деятельностью. Должен сказать, что часть материалов, которые мы в прошлый раз выбросили за борт только для облегчения нашего судна, теперь отпала бы и по другой причине — ввиду отсутствия состава

преступления. Вот, например, обвинение в контрреволюционной речи в апреле 1918 года; из вашей книги «Год Революции», вышедшей как раз в то время, я мог убедиться, что такое обвинение не имеет под собой оснований. Я сделал ряд выписок из этой книги и приложил к делу. Вот, прочти, — обратился он к своему молчаливому ассистенту, — это занятно!

Тот стал читать ряд перестуканных на машинке страниц, некоторые строки были густо подчеркнуты красным карандашом. Мне тоже было «занятно», что «занятного» нашел следователь в моей книге и какие выписки из нее сделал? В этом дневнике революции 1917 года есть заметка под заглавием «Улица», помеченная 8 июля, написанная после неудачного июльского восстания большевиков. В ней я с негодованием отзываюсь о брошенном тогда В.Л. Бурцевым обвинении Максима Горького и Ленина в том, что они — шпионы, подкупленные немецкими деньгами[284]. Я, полагая, что именно это место и ему подобные выписаны следователем Чвилевым, спросил его:

— Можно узнать, что именно выписано вами из моей книги?

— Да так, ничего особенного; это ряд ваших отзывов о Максиме Горьком: занятно, очень занятно!

В книге действительно была полемическая заметка о Максиме Горьком как о публицисте; в ней, насколько помню, указывалось, что в 1914 году этот путаный человек был «оборонцем», в 1917 году стал «интернационалистом», а потом струсил Октябрьской революции и стал писать «Несвоевременные речи». Не лучше ли ему, Максиму Горькому, бросить публицистику, в которой он так бездарен, и вернуться к художественному творчеству, в котором его сила?[285] Мне было «занятно», что все это показалось «занятным» теткиным сынам; не в первый раз замечал я, что отношение партийных людей к этому писателю бывало не только отрицательным, но иногда даже и враждебным.

— Так вот, — продолжал между тем старший следователь Чвилев, — мы выбросили за борт весь обвинительный балласт, но после него остался серьезный и тяжелый груз — показания против вас Ферапонта Ивановича Седенко-Витязева. Их за борт не выкинешь, они остаются в полной силе.

Я ответил, что остается в силе и прежнее мое заявление: все, что в этих показаниях касается меня, — дикий бред; установить правду можно только очной ставкой с Седенко, в которой мне было отказано. К тому же я далеко не уверен, что он теперь не взял обратно свои показания.

— Очная ставка продолжает оставаться неосуществимой, взять обратно свои показания он не мог, а потому давайте-ка шаг за шагом пройдем за всеми его выставленными против вас обвинениями.

И мы стали «шаг за шагом» проходить по всем протоколам допроса Витязева-Седенко. Это был самый длительный допрос, выдержанный мною (если не считать памятной ночи со 2 на 3 ноября): допрос продолжался от обеда и до ужина. На каждое обвинение я отвечал решительным его отрицанием, приводя ряд доводов; все это подробно закреплялось в протоколе допроса, продолжавшегося шесть часов. К концу его оба мы устали; молчаливый ассистент давно уже дремал на своем стуле. Заканчивая допрос и как бы подводя ему итог, старший следователь Чвилев бросил:

— А впрочем, Ферапонт Иванович был сволочь порядочная!

Меня больно кольнуло и грубое ругательство, и слово «был», как бы подтверждающее, что Седенко-Витязева нет уже в живых. Но жив он или нет — был он человек честный, убежденный, был энергичный и самоотверженный политический и литературный деятель. Это я и высказал лейтенанту Чвилеву (к слову сказать — он, как и Шепталов, тоже был лейтенантом). Чвилев ничего на это не ответил и, отпуская меня, пообещал:

— Скоро увидимся!

Я давно уже привык к теткиному «скоро» — ведь еще в августе 1938 года следователь сообщил мне, что теперь «ждать уже недолго» и что я «скоро» покину стены тюрьмы. И вот теперь — май 1939 года, девять месяцев прошло, срок женской беременности, а я все еще не могу родиться на свет Божий из чрева тюрьмы — куда бы то ни было: в изолятор, в концлагерь, в ссылку, на свободу...

XIX

На этот раз «скоро» продолжалось только месяц. Суббота 17 июня 1939 года была для меня многознаменательным днем. Начать с того, что после ужина, в совершенно неурочное время, меня выкликнули в дверную форточку и вручили денежную квитанцию на 50 рублей. Обыкновенно такие квитанции выдавались гуртом, десяткам заключенных сразу, и всегда по утрам. Кто-то из товарищей сказал:

— Торопятся; это значит, что сегодня суббота, выпускают на свободу...

И действительно — свершилось...

В десятом часу вечера после поверки, когда мы уже собирались ложиться спать, меня выкликнули: «С вещами!» Камера тихо загудела: «На волю, на волю», раздались поздравления и пожелания. Я, однако, решил не поддаваться этой уверенности, чтобы не испытать горького разочарования: а может быть, переводят в другую тюрьму? В коридоре у меня отобрали казенные вещи — одеяло, кружку, миску, ложку — и повели не в обычную следовательскую комнату во втором этаже тюрьмы, а к канцелярии и выходу. Там велели сложить вещи в небольшой пустой камере, а меня повели в соседнюю, где за письменным столом уже восседал лейтенант Чвилев; перед ним на столе лежала синяя папка с моим «делом».

— Дело ваше закончено, — сказал он мне. — Тщательно обсудив все его обстоятельства, рассмотрев его всесторонне, советская власть, Народный комиссариат внутренних дел и коммунистическая партия решили: приговорить вас...

Тут он сделал эффектную паузу: приговорить — к чему? К расстрелу? к изолятору? к концлагерю? к ссылке? Но, выдержав паузу, он торжественно закончил:

— Приговорить вас — к освобождению![286]

Безграмотно, но эффектно.

Поблагодарив в его лице «советскую власть, Народный комиссариат внутренних дел и коммунистическую партию» за суд скорый и милостивый, я спросил старшего следователя Чвилева — будут ли мне возвращены бумаги, взятые при обыске? Он перелистал мое «дело» (на синей обложке которого я прочел надпись красным карандашом: «К прекращению») и дал мне прочитать акт о сожжении взятых у меня при обыске материалов, как «не имеющих отношения к делу»... Погибли толстые тетради житейских и литературных моих воспоминаний, которые я писал в течение трех лет! Как жалко было затраченного труда! Право, я готов был бы еще месяцы просидеть в тюрьме, лишь бы получить обратно эти тетради...

Критически оглядев меня и мой костюм, следователь Чвилев недоуменно заметил:

— Как же вы в таком виде пойдете по улицам Москвы?

Действительно, вид был возбуждающий сожаление: брюки «галифе» с заплатами — еще куда ни шло, а вот пиджак представлял собою нечто неописуемое. Кроме того, в Таганской тюрьме я ни разу не стригся и не брился; вид лица совершенно соответствовал виду костюма. А если прибавить к этому, что, просидев двадцать один месяц в тюрьме, я за после-

дние пятнадцать месяцев ни разу не выходил из камеры на прогулку, то можно себе представить, как я должен был выглядеть...

— Ничего, — успокоил я следователя, — пиджак я сниму, а надену купленную в лавочке рубашку, подпояшусь веревочкой... А к тому же — мне решительно все равно, что подумает обо мне публика.

— Вам все равно, но нам не все равно; скажут — вот в каком виде выпускаем мы людей из тюрьмы!

Этому разговору приписываю я то обстоятельство, что процедуру выпуска моего из Таганки намеренно задержали до часа ночи, когда народа не так уж много на улицах Москвы.

Старший следователь Чвилев, прощаясь, напутствовал меня:

— Ну, желаю вам никогда больше не попадать к нам!

— Это зависит не от меня, а от вас, — ответил я, прощаясь с ним на ходу.

Меня отвели в соседнюю камеру, где лежали мои вещи. В ней я просидел долго. Странное дело: не испытывал никакого прилива бурной радости. Чувства были притуплены; думалось только: ну, слава Богу, дело кончено...

Через час пришел нижний чин для обыска. Тщательно рассмотрел все мои вещи; потом — «Разденьтесь догола!» — начался в последний раз столь знакомый и всегда столь унизительный ритуал. На берег радостный выносит мою ладью уж не девятый, а пятидесятый вал...[287]

Нижний чин ушел, я оделся и снова долго ждал. Потом он явился, велел оставить вещи в камере и повел меня через двор к корпусу квартир высшего тюремного начальства; поднялись в третий этаж. Во втором этаже квартира коменданта, играли на рояле, раздавались звуки веселых голосов; странно было слышать все это в стенах тюрьмы... В третьем этаже — канцелярия коменданта, меня ввели в его кабинет. Часы показывали одиннадцать. Комендант, усатый старик, вероятно, служака еще царских времен, глядя на лежавший перед ним лист анкеты, стал экзаменовать меня: фамилия, имя, отчество, когда арестован... На мой ответ — 29 сентября 1937 года — еще раз переспросил и, посмотрев на меня, покачал головой: вероятно, такие сроки заключения были необычны для Таганской тюрьмы. Затем он подписал ордер о моем освобождении, передал его конвоиру, который повел меня в соседнюю комнату, где стрекотали пишущие машинки и какой-то тюремный чин сидел за письменным столом.

Он огласил бумагу — мое обязательство: никогда никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что я видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней; неисполнение обязательства грозило арестом и новым возвращением в тюрьму, *без* надежды когда-либо выйти из нее. Я молча подписал обязательство. Как же, однако, боялись «советская власть, Народный комиссариат внутренних дел и коммунистическая партия», что их тюремно-пыточная правда выйдет когда-нибудь на свет Божий! Но, по словам Писания, нет ничего тайного, что не стало бы явным...

Конвоир отвел меня в прежнюю камеру и ушел. Прошел еще час. Но тут события пошли уже быстрым темпом. Меня отвезли в канцелярию тюрьмы, еще раз спросили по анкете, потом вернули мне чемодан, часы, паспорт, золотое обручальное кольцо (все эти вещи неведомо для меня переезжали за мной из Бутырки на Лубянку, оттуда обратно в Бутырку, оттуда в Таганку; надо воздать честь образцовой постановке дела в тюремных кладовых). Взяли у меня денежные квитанции, взамен которых выдали все причитающиеся мне по моему тюремному «текущему счету» деньги, что-то около семидесяти рублей с копейками. Потом начальник канцелярии вручил мне освободительный документ; этот листок лежит теперь передо мною:

СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УПРАВЛЕНИЕ НКВД
по Московской обл.
1-й Спецотдел
17 июня 1939 г.
№ 394

Справка

Выдана гр. Иванову Разумнику Васильевичу 1878 года рожд. уроженец г. Тбилиси в том, что он с 29 сентября 1937 г. содержался под стражей и 17 июня 1939 г. освобожден в связи с прекращением дела.

Справка видом на жительство не служит.

Нач. 1-го Спецотдела УНКВД МО

(печать) (подпись)

В этом документе особенный интерес представляет номер исходящей бумаги: судя по нему, можно предположить, что за полгода, с начала 1939 года, из Таганской тюрьмы вышло на волю 393 человека; я был 394-м. Скромное число, если сравнить его с общим числом заключенных в этой тюрьме, с числом депортированных за эти же полгода в ссылки, концлагеря, изоляторы!

Но — все хорошо, что хорошо кончается. Освобожден в связи с прекращением дела, без предъявления статьи обвинения и за отсутствием состава преступления, просидев за это в тюрьме только 21 месяц... И как мало счастливцев, дела которых закончились бы столь же быстро — столь же благополучно!

Наконец — все формальности закончены; уже час ночи. Я беру свои вещи — в одной руке чемодан, в другой связанная в узел шуба с меховой шапкой, — конвоир ведет меня широким коридором к железным воротам и железной калитке тюрьмы. Там вооруженная стража проверяет ордер о выпуске — и я на улице, глухом и безлюдном таганском переулке. Прощай, тюрьма!

Эти места Москвы мне совершенно незнакомы, но язык до Киева доведет. Где-то вдали гудит трамвай, он ходит до двух часов ночи. Добираюсь после ряда пересадок и ожиданий у трамвайных остановок до другого конца Москвы, с последним трамваем. Еду к родственникам В.Н.[288], на авось — в Москве ли они летом? Немногочисленная трамвайная публика взирает на мою фигуру с диким недоумением.

В глухом переулке, который мне надо было пересечь, сойдя с трамвая, загородили мне дорогу такие же, как я, два оборванца.

— Что в чемодане?

— Вещи из тюрьмы.

— В какой сидел?

— В Таганке.

— Ну, пойдем, Мишка! Это свой!

А Мишка пожелал мне вдогонку:

— Смотри, не засыпься!

Он, вероятно, думал, что чемодан-то я несу из тюрьмы, а узел с вещами где-нибудь по пути да подтибрил...

Был третий час ночи, когда я перебудил стуком в дверь коммунальную квартиру. Из-за двери сонные голоса ворчливо ответили мне, что таких-то нет, они на даче, а ключ от комнаты взяли с собою. Куда мне

было деваться в середине ночи? К счастью, я вспомнил, что в соседней комнате жила знакомая мне милая интеллигентная старушка, которая по доброте своей, вероятно, не раз сокрушалась о моей участи.

— А гражданка Голубева дома?

— Дома. Спит.

— Разбудите ее, пожалуйста, и попросите выйти.

Но она еще не спала, вышла на шум в переднюю и отворила дверь. В передней было темно, и столпившиеся коммунальные жильцы не могли испугаться моего вида. Я громко объяснил ей, что только что приехал в Москву, явился прямо с вокзала и теперь, не найдя родственников, не знаю, как быть. Она предложила мне гостеприимство, увела в свою комнату, там обняла меня и поплакала надо мной; вид мой был, надо полагать, внушающим сострадание. Потом захлопотала, приготовила на электрической печурке чай (настоящий! китайский! сколько времени я его не пил!), угостила какими-то невероятно вкусными яствами, вынула бутылку вина — вообще, говоря словами народной сказки, накормила, напоила и спать положила: постелила мне на диван постель (настоящие простыни! настоящая пуховая подушка!), и сама улеглась за ширмой на кровати.

Но спать я, конечно, не мог. Было уже совсем светло, четыре часа утра, а на столе рядом с диваном лежала пачка свежих газет; я, как голодный, накинулся на них и читал до позднего утра, узнавая, что делается на белом свете. Впрочем, за этот год и девять месяцев на свете не произошло ничего хорошего...

Утром милая старушка продолжала хлопотать. Увидев мой внешний вид, она «экипировала» меня с головы до ног: достала новую пиджачную пару своего за год перед этим скончавшегося мужа, — спасибо покойнику, был он одного со мной роста, — нашла цветную мужскую рубашку, галстук, туфли, летнюю шляпу — и я мог бы сойти за прилично одетого советского гражданина, если бы не волосы и борода. Немедленно же отправился я к парикмахеру; тот, брея меня, заметил: «Видно, с Севера приехали, совсем не загорели!» — «Из-за Полярного круга!» — ответил я, видя в зеркале свое белое, как бумага, лицо. Потом отправился на почту и дал В.Н. телеграмму: «Переменил квартиру, пиши», на что она мне телеграммой же ответила: «Уточни адрес...»

Адрес я «уточнил» у старушки Голубевой: родственники В.Н. жили на даче неподалеку от Москвы. В то же утро поехал к ним, произвел ра-

достный фурор своим появлением и стал жить под их гостеприимным кровом; лежал целый день в саду и в лесу под соснами, загорел, отдышался и приходил в нормальный вид. Только недели через две стал я немного приходить в себя и впервые сознавать — вот она, воля! Можно и отдохнуть после всего пережитого и перенесенного. А много ли я перенес по сравнению с другими тюремными страстотерпцами?..

XX

На этом можно было бы и остановиться — рассказ о тюрьмах и ссылках закончен. Но так как тюрьмы и ссылки эти продолжали отражаться и на последующих годах моей «свободной жизни», то прибавлю еще небольшой эпилог.

Начать с того, что, выйдя из тюрьмы, я немедленно повторил свое ходатайство о «снятии судимости», которое в первый раз я послал еще в марте 1937 года в «Комиссию Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета». Тогда ответа от Комиссии я не дождался, вместо нее ответил через полгода НКВД — моим арестом. Теперь я, повторяя свое ходатайство, указывал, что только что освобожден из вторичной многомесячной тюрьмы — без предъявления статей обвинения и за прекращением дела ввиду отсутствия состава преступления, — а это само по себе должно свидетельствовать, что ныне нет никаких оснований против снятия с меня судимости и против возможности дать мне жить и работать дома, в городе Пушкине. Ответ пришел скорее, чем я мог ожидать, — в виде подарка на Новый год: 31 декабря 1939 года В.Н. получила извещение от Комиссии, что в снятии судимости мне отказано без объяснения мотивов. Это значило, что я не могу вернуться домой, не могу жить в Царском Селе, ныне городе Пушкине. И однако, я жил в нем все время до эвакуации его советской властью в сентябре 1941 года. Обязан я этим московскому Государственному литературному музею и главным образом милой девушке, саратовской блондинке-паспортистке.

Немного отдышавшись под подмосковными соснами и приведя себя в человеческий вид, я отправился в Москву повидать верных друзей-писателей (и всего-то их было два) и побывать в Гослитмузее, как именовался он в сокращении. (Там я узнал, что, вероятно, музею я и обязан своим освобождением.) В музее предложили мне начать с нового года новую работу и для этого дали мне командировку на три месяца в Ленинград по

делам музея, а также дали и справку о моей предыдущей работе в нем. Вот и еще один документ лежит передо мною:

Наркомпрос РСФСР
Государственный
Литературный музей
Москва 19, Моховая, д. 6
№ 19, к/у
(печать)
18 июля 1939 г.

Командировочное удостоверение

Настоящим Государственный литературный музей командирует Иванова-Разумника в г. Ленинград и г. Пушкин сроком на 3 месяца для работы по ознакомлению с литературными архивами, хранящимися как в государственных учреждениях, так и у частных лиц.

Директор ГЛМ (подпись)

Секретарь ГЛМ (подпись)

По этому командировочному удостоверению приехал я в августе месяце домой к семье. Отдельный домик, в котором жила семья, принадлежал местной санатории, и новый управдом, безграмотный и наглый коммунист, товарищ Гущин, встретил меня почему-то в штыки. Он ничего не знал о моей тюремной эпопее, но, видимо, подозревал что-то. Взяв для прописки мой паспорт и командировочное удостоверение, он, вернувшись из участка, сообщил мне, что меня требует к себе начальник паспортного стола; очевидно, товарищ Гущин что-либо наговорил обо мне как человеке подозрительном. Я пошел. Начальник паспортного стола оказался начальницей — женщиной лет сорока в милицейском мундире; испытующе глядя на меня, она сказала:

— Надо заполнить о вас небольшую анкету.

И стала ее составлять. Боже мой, сколько анкет пришлось мне заполнить о себе за эти годы! Уж никак не менее числа раз обряда голого крещения по теткиному ритуалу! Дойдя до конца анкеты, начальница отрывисто спросила:

— В ссылке не были?

И, не дожидаясь ответа, посмотрела в паспорт и сама себе ответила:

— Нет, конечно, не были!

Ах, милая, милая, трижды милая кудрявая блондиночка, саратовская паспортистка! Без твоего «служебного упущения» никакое командировочное удостоверение не помогло бы!

— Не понимаю, для чего вся эта анкета, — сказал я, когда опасный риф был пройден, — перед вами мой паспорт и командировочное удостоверение; если этого вам мало, то вот еще справка из Союза писателей о том, что я являюсь профессиональным литератором, а вот справка от Гослитмузея о моих работах для этого учреждения. В чем же дело?

Рассматривая предъявленные справки, начальница подобрела, прописала и вернула мне паспорт и все документы и на прощанье сказала:

— Простите, товарищ писатель, что потревожила вас!

Так благодаря совместному действию Гослитмузея и милой блондиночки мне удалось временно прописаться в Царском Селе, а когда трехмесячный срок командировки истек — получить продление ее еще на три месяца. За то время я подготовил для музея большую работу — «История стихотворений Александра Блока»[289] и в конце декабря отвез ее в Москву, в окрестностях которой поселился на полгода, чтобы провести для музея еще одну большую архивную работу[290].

В середине 1940 года В.Д. Бонч-Бруевич был отставлен от созданного им музея: старое поколение большевиков не в чести у кремлевских заправил. Назначенный на его место новый директор предложил мне быть представителем Гослитмузея в Ленинграде[291] — и с июля 1940 года я прочно осел в Царском Селе, получая каждые три месяца новые удостоверения о продлении моей командировки еще на три месяца, чтобы иметь возможность каждый раз «временно» прописываться в городе Пушкине.

Так прошел целый год — до начала русско-германской войны летом 1941 года. Вскоре мне пришлось в связи с нею пережить по воле НКВД день, который я считаю *самым опасным* днем моей жизни. Но незадолго до этого опасного дня удалось пережить один и радостный день — все благодаря милой блондиночке.

26 мая 1941 года кончался срок моему паспорту, и я с некоторой тревогой ожидал этого дня, — я знал, что при получении нового паспорта обыкновенно происходит опасная волокита, старый паспорт милиция чаще всего передает в НКВД, заявляя: «Приходите за новым недели через две». А за это время органы НКВД производят тщательное исследование обстоятельств дела, и не раз случалось, что, придя через две недели, гражда-

нин вместо нового паспорта получал предписание немедленно покинуть город Пушкин, а иной раз вместо нового паспорта получал новую тюремную квартиру. Все это меня тревожило, но выхода не было, надо было идти напролом.

В день окончания срока паспорта я явился в милицию, к начальнику паспортного стола; прежней начальницы уже не было, ее заменял молодой человек. Я предъявил ему паспорт и все документы, заявив, что я — уполномоченный московского Государственного музея (очень хорошо действует на советских чинуш слово «уполномоченный») и что паспорт мне необходим спешно — через несколько дней мне надо выехать по делам в Москву (никуда выезжать мне не надо было). Изложив все дело, я спросил, когда могу я зайти за новым паспортом? Рассмотрев внимательно паспорт, начальник стола неожиданно для меня сказал:

— Зачем заходить? Подождите здесь минут двадцать.

Забрал все мои бумаги и ушел с ними к начальнику милиции. Эти двадцать минут провел я в волнении, не зная, поможет ли и на этот раз милая блондиночка?

Вскоре начальник паспортного стола вернулся, вручил мне обратно мои бумаги, положил на стол передо мною новый, уже заполненный и на этот раз бессрочный паспорт и, передавая перо, сказал:

— Напишите свою фамилию вот тут на паспорте.

Я написал, но должен сказать, что вместо моей подписи получилось какое-то гоголевское «Обмокни», так задрожала моя рука — на этот раз от неожиданной радости...

Ну, в последний раз — спасибо тебе, милая девушка...

Благодаря тебе я получил то, в чем отказала мне «Комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по снятию судимости», получил ленинградский паспорт (в графе «Кем выдан паспорт» значилось: «Пушкинским отделением милиции Ленинграда»), получил уже не временную, а постоянную прописку в городе Пушкине. А в графе «На основании каких документов выдан паспорт» было обозначено: «На основании паспорта № 4247752 от 26 мая 1936 г. первого отделения милиции г. Саратова...»

Так маленькая блондиночка оказалась сильнее всесильной московской Комиссии ЦИКа и сняла с меня судимость!

Теперь я спокойно мог жить и работать дома.

Однако «спокойно жить» пришлось недолго. Через месяц, 22 июня, грянула война; фронт быстро откатывался к Петербургу. С 28 июня проезд из Царского Села в Петербург стал разрешаться только по особым

пропускам, и я крепко засел дома на июль и август. А фронт подкатывался. В середине июля был оставлен Псков, в середине августа — Нарва, бои шли уже под Гатчиной; Царское Село ежедневно бомбили немецкие аэропланы. Стало ясно, что скоро будет эвакуировано и Царское Село. Мы с В.Н. решили положиться на судьбу и не трогаться с места.

Но внезапно пришлось «тронуться»: неожиданно и спешно выехать в Петербург. 30 августа, в пять часов утра, разбудил нас милицейский чин и вручил мне повестку от местной милиции — с предложением немедленной явки в нее. Мы с В.Н. отправились в милицию. Там я получил пропуск в Ленинград и повестку, согласно которой я в это же утро должен явиться «в Главное управление милиции на площади Урицкого, дом № 6, этаж 4-й, комната 202, к следователю Николаеву»[292]. Пропуск у меня был, но В.Н. не хотела отпускать меня одного и с великим трудом получила пропуск и для себя, после того как я категорически заявил, что без жены не поеду, могут арестовать меня и везти под конвоем. Не до конвоев им было — и В.Н. получила пропуск.

Часов в девять утра были мы уже в Петербурге, но к следователю Николаеву я не явился, решив отправить к нему сперва лазутчика на разведку. Была суббота — я решил «прорезать» и ее и воскресенье, никуда не являясь. Мы бросили якорь в семье моего друга [А.Н. Римского-Корсакова][293], скончавшегося (быть может, к счастью для него) полгода тому назад; вдова его была человеком решительным, находчивым и энергичным, я и попросил ее отправиться в понедельник 1 сентября вместо меня к товарищу Николаеву — но с письмом от меня. В письме я сообщал, что еще третьего дня прибыл из Пушкина в Ленинград по его вызову, но внезапно захворал и нахожусь теперь на квартире такой-то, адрес такой-то[294].

Пока прошли два дня, мы с В.Н. посетили ряд петербургских друзей; все в один голос советовали не являться по этому вызову НКВД и рассказывали всякие ужасы о судьбе «политически подозрительных» людей, которых немедленно и насильственно эвакуируют из Петербурга. Рассказывали, что все бывшие на учете эсеры и меньшевики были погружены на две баржи и отправлены вверх по Неве; по пути аэроплан (вражеский или свой?) так удачно сбросил бомбу, что обе баржи со всеми пассажирами пошли ко дну. Советовали «объявиться в нетях», перейти на подпольное положение и не лезть добровольно в пасть НКВД, а ждать неминуемого развертывания военных событий.

Но, вернувшись в понедельник утром от следователя Николаева, вдова моего друга успокоила: выслушав ее и прочитав мое письмо, товарищ Николаев милостиво изрек: «Пусть возвращается домой в Пушкин и ждет там...»

Чего «ждать», однако?

Мы с В.Н. решили еще день погостить в Петербурге, благо вырвались в него через запретный кордон. Но вдруг в середине ночи на 2 сентября получил я на квартире в Ленинграде новую повестку от следователя Николаева — об обязательной явке к нему в 11 часов утра, «независимо от состояния здоровья». Посоветовались с В.Н. и решили: надо лезть удаву в пасть, будь что будет!

В назначенный час явился. В приемной перед комнатой № 202— толпа встревоженных людей, вызванных такими же повестками и ожидающих очереди; в комнате № 202 заседают десять следователей НКВД, вершат судьбы призванных к допросу. Толпа человек в полтораста — наполовину лица с немецкими фамилиями, наполовину «репрессированные» в свое время люди, вроде меня. Вызывают по очереди; некоторые после допроса возвращались обратно через приемную комнату, некоторые не показывались больше: их уводят другим ходом, и они исчезают бесследно.

Считаю этот день 2 сентября 1941 года — самым *опасным* днем в своей жизни: решался вопрос — *уцелеть* или *погибнуть*.

Прождав часа два, был вызван к столу следователя Николаева. Последовало составление обычной анкеты (еще раз!), главный упор которой был направлен на вопросы о прежней «судимости», о тюрьмах и ссылках. Отвечая, особенно подчеркнул, что из последней тюрьмы освобожден два года тому назад за прекращением дела, без предъявления статей и ввиду отсутствия состава преступления.

— Судимость снята? — спросил следователь.

— Нет еще.

— По какому же праву вы живете в Пушкине?

Не выдавать же мне было саратовскую паспортистку и мой ленинградский паспорт!

Ответил:

— Живу по временной прописке, как командированный московским Государственным музеем.

Следователь Николаев помолчал, что-то обдумывая (в эту минуту решалась моя судьба)[295], потом написал какую-то резолюцию на анкете и сказал:

— Можете возвращаться в Пушкин. О дальнейшем узнаете на месте.

Что же, однако, должен был я «узнать на месте»? Во всяком случае, я пока что вышел живым из пасти удава. В тот же вечер мы с В.Н. уехали из Петербурга, не подозревая, что прощаемся с ним навсегда.

В Царском Селе за эти четыре дня сильно почувствовалось приближение фронта. Горела Вырица, в немногих десятках верст от нас; на бульваре у Египетских ворот стояло тяжелое шестидюймовое орудие и глухо ухало; рядом с нашим домиком то и дело обстреливала небеса «зенитка», весь дом содрогался от ударов. Стекла наших окон были разбиты, рамы выбиты, двор и сад зияли воронками от аэропланных бомб.

Две следующие недели пришлось почти безвыходно провести в «щели» — канаве в человеческий рост, сверху уложенной бревнами и засыпанной землей. Наконец мы узнали: в ночь на 17 сентября все власть предержащие бежали из Царского Села в Петербург, а утром мы увидели на бульваре около нашего домика авангардные части немецких самокатчиков...

Через несколько дней помещение милиции и местного НКВД было исследовано организовавшимся русским городским управлением; из найденных там бумаг я узнал, как надо было понимать загадочные слова следователя Николаева: «Возвращайтесь в Пушкин, о дальнейшем узнаете на месте». Был найден список четырехсот граждан города Пушкина, которые с семьями подлежали *аресту и высылке*; назначен был и день для этого — *19 сентября...*

Но события на фронте развернулись слишком скоро, органам власти пришлось спешно самим бежать из города, и приказ об аресте и высылке не мог быть приведен в исполнение. Он опоздал только лишь на два дня! В этом проскрипционном списке значились и мы с В.Н. Но судьбе на этот раз было угодно избавить меня от новых тюрем и ссылок, а нас обоих — от верной гибели.

Полагаю, что весь этот характерный эпизод является достаточной концовкой к теме о тюрьмах и ссылках, и заканчиваю им свое растянувшееся на сорок лет повествование...

* * *

В русской ссылке, в 1934 году, начал я писать эту книгу; заканчиваю ее в 1944 году в прусском изгнании... Тоже своего рода десятилетний «юбилей»!..

1944
Кониц (Вестпреусен)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Автобиография 1913 г.

27 ноября 1913

Семену Афанасьевичу *Венгерову*.

Иванов-Разумник, Разумник Васильевич, — родился 12 декабря 1878 года в г. Тифлисе. Родители — Василий Александрович Иванов и Александра Осиповна Иванова, урожденная Окулич, дворяне. Образование получил в СПб. 1-й гимназии в 1888—1897 гг., потом в 1897—1902 гг. в СПб. Университете, на математическом отделении физико-математического факультета, причем параллельно слушал лекции историко-филологического факультета. За «4-е марта 1901 г.» арестован, в марте 1902 года снова арестован и выслан из С.-Петербурга. Первая статья («Н.К. Михайловский») появилась в № 3 «Русской мысли» за 1904 год. Первая книга — в конце 1906 года. Его книги:

1) *История русской общественной мысли*, в двух томах. Изд. 1-е — 1907 г.; 2-е изд. —1908 г.; 3-е изд. —1911 г.; 4-е изд. —1914 г.

2) *О смысле жизни*. 1-е изд. —1908 г.; 2-е изд. —1910 г.

3) *Об интеллигенции*. 2-е изд. —1910 г.; изд. 1-е той же книги, под заглавием «Что такое махаевщина» — в 1908 г.

4) Комментированное «Собрание сочинений В. Белинского» под редакцией, со статьями и примечаниями Ив[анова]-Раз[умника] в трех томах, 1-е изд. —1911 г.; 2-е изд. —1913 г.

5) *Литература и общественность* (Публицистика). 1-е изд. —1909 г.; 2-е изд. —1912 г. Сборник статей 1904—1909 гг.

6) *Творчество и критика* (Критические статьи) —1912 г.

7) *Великие искания* (В.Г. Белинский) —1912 г.

8) *Лев Толстой* —1913 г.

Кроме этих книг — ряд статей, еще не собранных в отдельные книги: статьи о Державине, Пушкине, Белинском и других из «Историко-литературной библиотеки», собр. соч. Пушкина в изд. Ефрона и др. — С осени 1912 г. — участие в редакции журнала «Заветы», где помещен ряд крити-

ческих статей — «Черная Россия», «Русская литература в 1912 г.», «Клопиные шкурки», «Было или не было?» (о В. Ропшине), о Б. Зайцеве, Сергееве-Ценском, о современной молодой поэзии и др.

Ноябрь 1913 г.

Разумник Иванов.

Автобиография 1941 г.

Иванов, Разумник Васильевич — родился в декабре 1878 г. в Тифлисе (ныне Тбилиси), отец — железнодорожный служащий (кассир), мать — кончила С.-Петербургскую консерваторию и была преподавательницей музыки. Образование получил в С.-Петербургской 1-й гимназии (1888—1897 гг.) и С.-Петербургском Университете на физико-математическом факультете (1897—1902 гг.). Дважды подвергался репрессиям за участие в студенческом движении — в 1901 и 1902 гг.; был выслан на два года в Симферополь (1902—1904). Женат с 1903 года. Первая журнальная статья по истории литературы напечатана была в 1904 году; первая книга вышла в 1906 году («История русской общественной мысли», в двух томах, под литературным именем «Иванов-Разумник», выдержавшая 5 изданий). Вслед за нею книга за книгой выходили почти ежегодно до 1915 года: «О смысле жизни» (1908 г., два издания), «Литература и общественность» (1909 г., два издания), «Творчество и критика» (1910 г., два издания), «Лев Толстой» (1911 г.), Комментарии к собранию сочинений Белинского (три тома, 1912 г., два издания), «Пушкин и Белинский» (1914 г.). Во время революции 1917 г. написал ряд статей, собранных в книге «Год Революции» (1918 г.), в которой содержится всемерное признание Октября. С осени 1918 г. работал в научно-теоретической секции ТЕО; напечатал книги «Перед грозой» (1920 г.), «Герцен» (1922 г.), «Книга о Белинском» (1923 г.), «Вершины» (1924 г.), «Неизданный Щедрин» (1929 г.). В 1926—1927 гг. редактировал шеститомное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина; из комментариев к нему составилась книга в 30 печ. листов. В 1930 г. вышел том монографии «М.Е. Салтыков-Щедрин» (изд. «Федерация»). В 1929—1930 гг. редактировал собрание сочинений А. Блока («Издательство Писателей в Ленинграде») и написал комментарии к ним — большой том «Истории стихотворений Александра Блока» (предполагается к изданию в 1941 г.). В 1933 г. был выслан на 3 года в Сара-

тов; с сентября 1936 г. жил в Кашире и приготовил к печати по заказу Гослитмузея книгу «Письма Андрея Белого к Р.В. Иванову». Со второй половины 1939 г. и весь 1940 г. работал по заданию Гослитмузея над описью архивов в Москве и Ленинграде, передаваемых владельцами в Гослитмузей; подробные отчеты — в письмах в Гослитмузей в это время.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Литературные воспоминания
1926 г.

Когда через немного лет тебе стукнет уже пятьдесят, когда вся деятельная жизнь — в прошлом, в настоящем же не жизнь, а лишь прочее время живота, когда будущее за тобой и за твоим (в это — твердо верю), но уже после твоей смерти (а это — твердо знаю), — самое время садиться за толстый том «воспоминаний».

«Дневник» ведешь для себя, «воспоминания» пишешь для других. «Аще переписах, ли недописах» — первое относится к дневнику, второе — к воспоминаниям. В них всего не скажешь; по тысяче причин на каждой странице «недопишешь»; да и не надо. Надо наметить только главное, чтобы не растечься в многословии и многотомии; но и главного этого — столько, что ряда лет жизни не хватит написать о нем.

Наше поколение — родившееся около 1880 года, немного раньше, немного позже — прожило в зрелом возрасте поразительную эпоху: первую четверть XX века. Бурный взлет творческой мысли, революция мысли (Ницше), политическая подавленная революция в России, мировая война, революция 1917—1918 гг., мировое потрясение, начало гибели старой Европы, вихрь, в котором мы жили и живем. Описать все это, хотя бы из своего угла, — для этого надо иметь силы гигантские, надо писать «сосной, вырванной со склонов вулкана, обмакивая ее в кипящую лаву». И прежде всего — надо иметь огромный художественный талант.

Все это — мимо. Ни сил, ни времени не хватит. Я хочу поэтому ограничиться одним уголком картины этой эпохи, записать только «литературные воспоминания», лишь попутно касаясь остального. Правда, литература есть жизнь, но жизнь — не литература; как это вышло, что, подводя четвертьвековой итог своей жизни, пишу «литературные» воспоминания, сам не знаю. Казалось бы, чего проще: литератор. Но в том-то и

дело, что после четверти века литературной работы и двадцати напечатанных томов все еще считаю, что литература моя — чистая случайность.

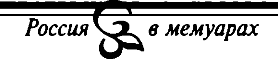
Белинский с гордостью осознавал себя литератором и говорил, что завещает положить в гроб под голову том «Отечественных записок». У меня никогда не было такого сознания. Всегда казалось: вот она, моя жизнь, — это мое, это я; а то, что я пишу и печатаю, — чистая случайность. Я мог бы ничего не писать, ничего не печатать — и прожить ту же самую жизнь; думал, говорил и поступал бы как и в этой своей жизни, сплошь прошедшей в литературе. Ну, конечно же, — не мог бы, и это знаю; но это именно лишь сознание, а не живое чувство. Знаю и великую роль литературы, благодарен судьбе, что приобщился к ней; но все-таки — жизнь моя не в литературе, а литература моя — в жизни. И все-таки — пишу вот не «житейские», а «литературные» воспоминания...

Пусть будет так. Пусть жизнь моя останется за мною, пусть на страницах этих закрепится лишь литературная моя жизнь. Только небольшое введение на первых страницах о себе самом как хронологический стержень для дальнейшего рассказа. И пусть сухой рассказ этот стремится лишь к чистой фактичности, пусть закрепит как можно больше интересных лиц и ценных фактов из литературных событий первой четверти XX века, с которыми так или иначе был я связан.

Еще одно. Всегда казалось мне очень обидным, что писатель почти никогда сам не пользуется своим «архивом». У меня за эти четверть века накопилось несколько тысяч писем; некоторые из них я считаю ценным литературным материалом. Зачем мне ждать, что через пятьдесят лет после моей смерти часть этого материала (если он уцелеет в вихре времени) мертвым грузом ляжет на страницы какой-нибудь новой «Русской (или СССР-ской?!) старины»? Лучше уж сам я на этих страницах «Литературных воспоминаний» широко использую этот материал. Цитаты из писем, целые письма буду приводить как можно чаще. Пусть это отяжелит строение всего тома, пусть из «воспоминаний» сделает «письмовник» — ничего против этого не имею.

«Предисловие — всегда послесловие». Всегда, но не в этой книге. Здесь я начинаю этим предисловием, еще не зная, сколько мне удастся написать, не зная даже, уцелеет ли написанное, или будет gratis pro literatura (говоря кухонной латынью). Но если даже и так — пусть будет так. Не тома, а лучшие люди тысячами гибли и гибнут; о томах ли думать!

Сентябрь 1926 года.
Царское Село



27 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА
(Страница из воспоминаний)

...«Интеллигенция — соль земли», «литература — соль интеллигенции»... Как же случилось, что эта соль оказалась такой пресной с первых же часов революции до последних ее часов? Почему подавляющее большинство писателей в марте (про октябрь уже и не говорю) стало этой «интеллигенцией» в кавычках, потерявшей всякий вкус? Надо бы закрепить ряд характернейших бытовых наблюдений над этой средой в дни февральского переворота, чтобы уяснить неизбежность всего последующего пути. Но об этом — не сейчас.

В Царском Селе более месяца гостил у меня тогда московский писатель А.Б.[1]. Мы по-разному, но согласно верили в грядущую революцию, зная, что политическая перейдет в социальную, и веря, что социальная дойдет до границ духовной. По-разному, но одинаково враждебно относились мы к духовному растлению, вызванному...

Вспоминаю об этих настроениях, ибо в корне противоречили они всему тому, что переживалось в массе «русской интеллигенции» за годы войны и за дальнейшие месяцы революции. Согласны все были в одном: «что-то будет...» Все ждали событий — каких? Помню, накануне революции показывал мне А.Б., вернувшись из Петербурга, полученную от А.В. Карташева[2] брошюру с надписью: «От автора, в канун нового дня». Это было 25 февраля.

Отрезанный от Петербурга коротким нездоровьем, только 28-го рано утром мог я отправиться в штаб-квартиру подготовлявшихся тогда к выходу «Скифов», к С.Д. Мстиславскому. Здесь мы разошлись с А.Б. — он отправился на Сергиевскую к Мережковским[3], куда и я должен был зайти к нему в 12 часов ночи; меня же С.Д. Мстиславский провел в Таврический дворец, где он уже сутки работал в революционном штабе. В «Воспоминаниях» его мы прочтем когда-нибудь много интересного о днях революции*.

Кипели бурным приливом и отливом коридоры Таврического дворца. Первая сцена, на которую я наткнулся у дверей комнаты № 41 (революционного штаба)[5]: к прижатому у окна Керенскому солдаты с криком и бранью подводили какого-то маленького, сердито испуганного генерала; две-три обнаженные шашки безвредно и мирно мелькали в воздухе. Гене-

*Отрывки из них уже напечатаны в его книжке «Пять дней» 1922 г.[4]

рал (оказавшийся «здравоохранителем», проф. Рейном[6]) был немедленно отпущен за ненадобностью, и тут мы перекинулись с Керенским несколькими холодными словами. После наших длинных разговоров в июле 1914 года, после моей статьи 1915 года «Испытание огнем»[7] — даже февраль 1917 года не растопил льда взаимных отношений двух социалистов, стоявших на разных полюсах. Короткими фразами о том, что «революции теперь не остановишь» (в которые мы, очевидно, вкладывали совершенно различное содержание), началась и закончилась наша беседа. Думаю, в душе Керенский охотно мог послать меня далеко, и лишь три-четыре года спустя я с изумлением узнал из «Записок о революции» Ник. Суханова[8], что «послал» он меня гораздо ближе, чем я мог предполагать.

За все время революции я виделся с Керенским только один раз, в начале апреля, когда им было устроено свидание членов редакции «Дела народа» с приехавшим из Франции Альбертом Тома, по желанию этого последнего, хитроватого и хамоватого министра-социалиста[9]. Но рассказ об этом курьезном свидании выходит за пределы моей страницы из воспоминаний; возвращаюсь к вечеру 28 февраля.

Коридоры кипели волнами народа, в боковых комнатах начинали жизнь организационные ячейки, все и вся были в эти дни и ночи в Таврическом дворце, — где же была ты, о соль соли русской земли, российская литература? Были отдельные литераторы, так или иначе связанные с разными политическими партиями, все больше второстепенные и третьестепенные винтики литературно-партийных колес; ходил сумрачный по залам и коридорам М. Горький, не знающий, к чему приложить руки, и находящий, что все идет «не так»; А.В. Пешехонов промелькнул и исчез, командированный занять место пристава Петербургской стороны[10]; три-четыре кадетских публициста вращались в орбите Милюкова в комнатах Думского Комитета... Русскую литературу представляли здесь не они, эти одиночки, а твердо спаявшаяся группа мелких рецензентов «буржуазных и бульварных» газет, уже наладившая издание «Известий». Вот она, соль русской литературы, а остальные — отсиживаются в своих кабинетах, слушают в форточку пулеметную трескотню и загодя начинают брюзжать на «эксцессы» революции.

В комнате № 11 (перед залом Совета) встретил я В.М. Зензинова[11], будущего бессменного духовного секретаря Керенского, взявшего на себя миссию плакать в жилет своего принципала при всех его политических

огорчениях и досадах. Он предложил мне принять участие в организуемых «Известиях Совета Рабочих и Солдатских Депутатов». Я уклонился от этого предложения: для такой работы нужен политический публицист. Но через минуту мне пришлось взяться за политическую статью уже совсем «с другого конца».

Группу рабочих с.-р.-ов, будущих «левых», организовывал тогда Александрович[12]. Встретив меня, он стал убеждать написать воззвание для группы «левых» о ближайших задачах, ввиду необходимости выяснения отношений подлинной «рабочей революции» к той политической хитрой механике, которую уже начинали налаживать будущие «соглашатели» из Совета и Думский Комитет.

Я согласился попробовать, и мы условились, что через час он придет меня искать в зале Совета.

Было часов десять вечера. Полутемный и пустынный зал Совета, с огромным «покоем» покрытых зеленым сукном столов, был удобным местом для работы. Я сел и стал писать статью — ту самую, которую ровно через месяц в значительно дополненном и измененном виде напечатал в «Деле народа» под заглавием «Вольга и Микула» (перепечатана в моей книге «Год Революции»). В ней говорилось о том, что либеральный Вольга из разных партий скоро начнет «колпачиком помахивати» и загодя кричать Микуле революции: «Стой-ка, постой, оратаюшко!», что Микуле с Вольгой не по пути, что скоро дороги их разойдутся, что они лишь временно сошлись на общей задаче взрыва самодержавия; пусть поэтому в ближайшие дни и недели власть будет захвачена Думским Комитетом — вскоре он должен быть и будет свергнут, но нельзя за эту задачу браться сегодня, когда надо еще свергнуть самодержавие, когда еще не организованы силы революции. И ближайшая задача социалистов — организация этих сил.

Когда через час пришел Александрович, то после пятиминутного разговора выяснилось, что статья моя никуда не годится — во-первых, уже потому, что она статья, а нужно острое и резкое воззвание; во-вторых же, Александрович твердо стоял на том, что аппарат власти должен быть захвачен социалистами сегодня, сейчас, немедленно и что они, объединенные левые, приложат все усилия, чтобы слова эти не остались словами. А если при этом tertius gaudens[13], самодержавие, найдет силы, чтобы порознь разбить революцию? Не найдет! Да если и найдет, то ненадолго, и уж лучше гнилое самодержавие, чем крепкая буржуазная республика, которая сильнее закабалит народ...

Милый, бедный Александрович! Я глубоко виноват перед ним: еще в 1915 или в 1916 году, не помню, когда он приехал ко мне из-за границы якобы с литературным предложением от центрального комитета с.-р.-ов, я отнесся к нему крайне недоверчиво — и это недоверие не рассеялось теперь, в эту ночь 28 февраля. Разговор наш был короткий и ясный: он счел меня за «социал-соглашателя», я его — за авантюриста, и мы разошлись, не поняв друг друга. Встретились мы с ним снова и уже дружески — через год, за несколько месяцев до его трагической смерти[14].

Но от трагедии — к комическому интермеццо. Пока я сидел и писал статью в зале Совета, по другую сторону стола передо мной остановилась сухая фигура, жирно жующая бутерброд; пережевывая, она произнесла: «А, и вы с нами! Ну, конечно!» Я поднял голову и узнал будущего автора «Записок о революции», Ник. Суханова[15].

В 1913 году, когда я был в «Заветах», он часто ходил в редакцию со статьями, обижался на редакционную «цензуру», старался вести свою линию «народника-марксиста», потом вел уже более марксистскую линию в угасавшем «Современнике», потом стал при М. Горьком и «Летописи». Теперь он стоял передо мной как член Исполнительного Комитета; сколь мучительно хотелось ему попасть в «политический центр» — об этом сам он подробно рассказал в своих «Записках».

Между нами произошел следующий короткий разговор:

— Что же вы стоите? Присядьте.

— Вечные ваши редакторские замашки! Здесь я могу вам предложить присесть!

— Вряд ли можете, так как я уже сижу, а вы стоите...

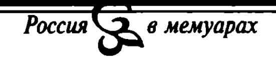
Он круто повернулся и ушел — и не появлялся на моем горизонте до лета следующего года, когда мы встретились с ним на улице Москвы и снова обменялись такими же короткими и столь же приветственными фразами... О первом нашем диалоге я тогда же рассказывал, смеясь, некоторым товарищам, знавшим Н.Н. Суханова и его довольно обидчивое самолюбие.

К моему величайшему изумлению, эпизод этот нашел себе место в его «Записках о революции» — иначе я не стал бы о нем и упоминать. Вот как он там изложен: «...пришел посланный Керенским Иванов-Разумник предлагать свои услуги по литературной части, но тут же исчез и не появлялся на советском горизонте...» (Т. 1. С. 155)[16].

Так вот куда послал меня, оказывается, Керенский! И вот как я предлагал свои услуги по литературной части Ник. Суханову.

Но тогда было не до комических интермеццо. После разговора с Александровичем я с тяжелым чувством ушел на время из Таврического дворца, чтобы по условию встретиться с А.Б. у Мережковских; к ним я шел впервые. Утомленный и усталый, боясь за революцию, я попал в штаб-квартиру будущей духовной контрреволюции. Но это — уже новая страница из воспоминаний, которые никогда мной не будут написаны.

1921 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ II

К истории издания эмигрантских книг Иванова-Разумника: новые данные из американских архивов

После смерти критика и историка литературы Иванова-Разумника в Нью-Йорке были изданы его книги «Писательские судьбы» (1951) и «Тюрьмы и ссылки» (1953). Считается, что они были выпущены благодаря двоюродному племяннику Иванова-Разумника Георгию Платоновичу Янковскому (Янкаускасу, 1904—1981)[1]. На самом деле труды Иванова-Разумника были изданы благодаря самоотверженным усилиям публициста и общественного деятеля Владимира Михайловича Зензинова (1880—1953)[2]. Зензинов знал Иванова-Разумника с 1917 г. по работе в эсеровской газете «Дело народа». Когда Иванов-Разумник попал за границу во время войны и начал печататься в русской газете «Новое слово», выходящей в Берлине, то Зензинов сразу обратил внимание на его публикации[3]. Статьи Иванова-Разумника были богаты фактической информацией и раскрывали многие тайны советской литературы. Так, Иванов-Разумник впервые пролил свет на судьбу ряда репрессированных писателей. Хотя статьи искажались в редакции и Иванов-Разумник был недоволен подобным отношением к его публикациям[4], тем не менее в продолжение года (с 10 мая 1942 г. по 19 мая 1943 г.) Иванова-Разумника напечатали в газете «Новое слово» четырнадцать раз[5]. Несмотря на обвинение в коллаборационизме, которое было выдвинуто против Иванова-Разумника из-за сотрудничества в этой профашистской газете[6], Зензинов высоко оценил публицистические выступления Иванова-Разумника на страницах «Нового слова», как видно из его неопубликованного доклада 1944 г.: «Разумеется, нельзя ни на минуту забыть, где он был напечатан — в гитлеровской газете, выходящей на русском языке в Берлине и имевшей еще до войны и до нападения Германии на Россию самую презренную репутацию. <...> Самый факт опубликования этих статей Иванова-Разумника в этой газете вызывает ряд вопросов. Оправдать их появление именно в данной газете невозможно, да и никто этого делать не будет. Вряд ли меня можно заподозрить в симпатиях к Иванову-Разумнику — если я и пристрастен к нему, то скорее в

смысле слишком критического к нему отношения. И все же я должен сказать, что слышанное мною по адресу Иванова-Разумника обвинение, что он «продался» гитлеровцам, мне кажется несправедливым. Разве в оглашенном мною материале Иванов-Разумник высказался против своих убеждений? Где и в чем высказался он в угоду гитлеровцам? Здесь имеются горькие, резкие и жестокие слова и суждения по адресу большевиков и советской власти, но нет ни одного слова против России. <...> Из написанного в «Новом слове» ясно, что большевиков и советскую власть Иванов-Разумник ненавидит, но кто же из нас их любит?.. Если в чем и можно упрекнуть Иванова-Разумника, то лишь в том, что под давлением этой ненависти он согласился дать свои статьи в такую газету, какой является «Новое слово»»[7].

Через два года после появления первой книги («Писательские судьбы») нью-йоркским Издательством им. Чехова[8] были опубликованы воспоминания Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки» о пребывании его в советских тюрьмах. При издании воспоминаний Иванова-Разумника Зензинову пришлось преодолеть сопротивление со стороны жены племянника Иванова-Разумника, которая из-за страха неприятностей[9] и материальных интересов всячески затрудняла выход книги. В год выхода книги Зензинов умер. Если бы книга Иванова-Разумника вышла на английском языке в 1953 г., то имела бы огромный резонанс (как свидетельствуют факты из переписки Зензинова), но так как после его смерти никто этим не занимался, момент был упущен.

Мы впервые публикуем письма из личного архива Зензинова, хранящиеся в Бахметевском архиве при Колумбийском университете в Нью-Йорке. По ним можно проследить все шаги, сделанные Зензиновым для публикации книг Иванова-Разумника.

В.М. Зензинов — В.И. и Г.П. Янковским
19 июля 1949

Дорогие Валентина Ивановна и Георгий Платонович,

хочу сообщить вам добрую весть: Гарвардский университет (в Бостоне), ознакомившись с рукописью «По тюрьмам родины»[10], очень ею заинтересовался и думает издать ее на английском языке... Сам я в американские обещания не верю и вам не советую. Во всяком случае я буду за

этим очень внимательно следить и держать вас в курсе. Знаю, кто эту рукопись читал (это один английский профессор из Оксфорда, русский по происхождению)[11], — постараюсь с ним войти в непосредственные отношения.

Второе дело — оно мне кажется реальнее! — такого рода. После нашей последней встречи у В.М. Чернова[12] у меня родился план собрать все напечатанные в берлинском «Новом Слове» статьи Разумника Васильевича, выправить их согласно имеющимся замечаниям в «дневниках» и издать отдельной книжкой тем же способом, как изданы «Известия Литературного Фонда» (это будет стоить недорого), — только шрифт должен быть несколько более крупного размера (и, конечно, в форме книжки). Я уже достал полный комплект «Нового Слова»[13] и приступил к разыскиванию и переписке статей Р[азумника] В[асильевич]а. В связи с этим мне необходимо изучить имеющиеся у вас дневники[14]. Могу ли я в ближайшее время приехать к вам, чтобы заняться этим у вас на дому — возьму с собой машинку и сделаю все необходимые выписки. Очень прошу протелефонировать мне, чтобы условиться, когда бы я мог для этого к вам приехать.

В. Зензинов

В.М. Зензинов — М.М. Карповичу[15]
19 сентября 1949

Дорогой Михаил Михайлович,

обращаюсь к Вам вот с какого рода делом. В свое время Окулич[16] прислал Вам из Канады рукопись Разумника-Иванова с воспоминаниями о его странствиях по тюрьмам и ссылке[17]. Рукопись эта — если Вы сами ее не читали — в высшей степени интересная и ценная, и чрезвычайно желательно издать ее, как по-английски, так и по-русски.

С возможностью издания ее в переводе дело сейчас обстоит следующим образом. С ней ознакомился Г. Кеннан[18] в Вашингтоне и, как выразился Н.Д. Набоков[19], пришел от нее в восторг. Его рекомендация, конечно, поможет найти хорошего американского издателя — начаты уже поиски и переговоры по этому поводу. Заняты этим делом Н.Д. Набоков, Николаевский[20] и я. Имеются предположения сопроводить книгу большой вводной статьей либо Кестлера[21], либо Орвилла[22], либо Шлезингера[23] — это

пока из области только наших разговоров и мечтаний. Но надеюсь, что в ближайшие дни выяснятся практические перспективы. Рукопись сейчас находится на руках у Бориса Ивановича[24], который считает, что юридическим распорядителем ее судеб являетесь Вы, так как ее он получил от Вас.

Конечно, весьма желательно издать книгу по-русски (при переводе ее придется сокращать). Абрамович[25] печатает отрывки из нее в ближайших трех номерах «Соц. Вестника»[26] в сопровождении статьи В.М. Чернова о Разумнике-Иванове, он ею доволен — я ее не читал.

Здесь, в Нью-Йорке (вернее, под Нью-Йорком), живут родственники Иванова-Разумника — Янковские (муж и жена); он, кажется, его двоюродный племянник — Иванов-Разумник умер у них на руках в Мюнхене. У них сохранились чрезвычайно интересные дневники Иванова-Разумника за время пребывания его в Царском Селе — до немцев и при немцах — и за время жизни в немецком лагере Коница[27], кроме дневников имеются письма — от Ив. Разумника (в копиях) и к нему[28]. Среди того и другого материала немало интересного. Дневники его — это повседневные записи. Я начал знакомиться с ними, для чего ездил к Янковским и переписывал эти дневники. У меня создалось представление, что это с пользой и интересом можно было бы напечатать в «Новом Журнале», если... он будет выходить. Эти дневники были бы хорошим дополнением и поправкой к дневнику Веры Инбер, который она вела во время осады Ленинграда[29], — те же дни и те же события. Но с этой моей перепиской дневников неожиданно вышло затруднение. Он — Янковский — человек мирный и тихий, но она — его жена — агрессивная и даже вздорная. После того как широкому кругу людей стало известно о рукописи Ив.-Разумника (благодаря напечатанной мною об этом заметке в «Известиях Лит. Фонда»[30]), у нее, по-видимому, разгорелся аппетит и она решила, что все рукописи Ив.-Разумника представляют большую коммерческую ценность (в оправдание ее нужно сказать, что материальные условия их жизни тяжелы и у них имеется двое маленьких детей). Поэтому она вдруг потребовала, чтобы я ей вернул все мною уже переписанное, и затруднила дальнейшее знакомство с материалом, хотя я с самого начала ей заявил, что без ее ведома и согласия ни одной строчки из этого материала напечатано не будет. — А вдруг!.. — вероятно, думала она, — спишет и продаст кому-нибудь за 10 000 долларов!.. — Имел с ней резкое объяснение, и чтобы снять с себя всякую тяжесть, все уже переписанное мною ей вернул. Но она продолжает теперь делать — по глупости и по вздорности характера — затруднения и будет их делать. Особа трудная.

Все это я пишу как предисловие к следующему. Если удастся хорошо устроить американское издание, это может дать средства для русского издания. Н.Д. Набоков надеется, что книга может быть взята каким-нибудь Клубом[31] и сделаться «бест-селлер». И вот для этого надо иметь возможность распорядиться русским манускриптом. И здесь возможны новые глупости со стороны г-жи Я. Чтобы их парализовать, желательно было бы знать, на каких условиях в свое время рукопись Вам переслал покойный Окулич. Я убежден, что, конечно, он никаких коммерческих планов в связи с ней не имел и прислал Вам ее, не ставя при этом Вам никаких условий. Не могли бы Вы поэтому прислать мне его письмо или письма, касающиеся этого вопроса. Я снял бы с них фотостаты и имел бы за пазухой на всякий случай, если — в чем я не сомневаюсь — г-жа Я. предъявит какие-нибудь новые вздорные требования. Письма эти к Вам потом немедленно верну (после фотографирования)[32]. Разумеется, все возможное — в смысле гонораров — и в разумных размерах будет Янковским обеспечено.

Нечего, конечно, говорить, что я и заинтересованные в этом лица хотим лишь одного: чтобы рукопись Ив.-Раз. была опубликована.

Буду Вам очень благодарен за ответ.

В. Зензинов

Н.Д. Набоков — В.М. Зензинову[33]
12-X-1952

Друг мой, Владимир Александрович[34],

Увы, не помню совершенно дальнейшее странствование Разумниковой рукописи. Я ее послал Wilson'у[35] на прочтение. Потом мне звонила пренеприятнейшая Mme. Янковская... Я ей дал адрес Wilson'a и сказал, чтобы она от него непосредственно добывала манускрипт. Адрес Wilson'a следующий: Edmund Wilson, Wellfleet Mass [achusetts]. Добыла ли она этот манускрипт — не знаю... Но ведь где-то по правительственным департаментам или по Гарварду странствует фотокопия манускрипта, сделанная Голосом Америки по указанию Charlie Thayer'a[36]. Справьтесь у George'a Fisher'a[37], а может быть даже и у Thayer'a, который, может быть, помнит, что стало с фотокопией. Адрес Thayer'a: Mr. Charles Thayer, U. S. Consul general, Munich, Germany.

Вот все, что я могу сообщить о манускрипте Разумника. Но мы хотели бы тут иметь отрывки из манускрипта для нашего журнала «Preuves»[38], который печатается нами тут в Париже на французском языке и постепенно приобрел положение одного из лучших европейских журналов интернационального характера. Будьте добры, узнайте, от кого нам достать право напечатать на французском языке 2—3-х отрывков. Я бы не хотел иметь дело с Янковскими, а действовать через Чеховское издательство, которое, между прочим, мне ни разу не прислало ни одной из ими напечатанных книг, ни даже каталога... Странный народ.

Сердечно Ваш,
Н. Набоков

P.S. Отвечаю так поздно, потому что был в отъезде. Н.Н.

В.М. Зензинов — Н.Д. Набокову
Нью-Йорк, 15 октября 1952

Дорогой Николай Дмитриевич,

спасибо за письмо. Дело обернулось с рукописью Иванова-Разумника лучше, чем можно было предположить. Еще до получения от Вас письма Янковские получили эту рукопись (очевидно, от Э. Вильсона) — тут, очевидно, действовали какие-то законы телепатии! Так что все в порядке, и рукопись уже в наборе[39].

Что касается помещения отрывков в Вашем журнале «Preuves», то, конечно, это было бы очень хорошо и это могло бы облегчить издание книги на французском. И Вы можете избавиться от необходимости иметь дело с «пренеприятнейшей» (совершенно согласен с Вами!) г-жой Янковской, так как Янковские поручили дело по изданию книги И. Разумника (на всех языках) некоему Борису Афанасьевичу Вульферту[40], человеку вполне приятному. Я ему сообщил о Ваших планах, и он хотел Вам написать, сославшись на меня. Сообщаю Вам на всякий случай адрес Б.А. Вульферта:

B. Wulfert 41—34 77 Str. Jackson Heights, N.Y.

В. Зензинов

Примечания

[1] См.: Вопросы литературы. 1991. Вып. 6. С. 258; Мера. 1994. № 1. С. 188. Эта путаница возникла из-за того, что в первом издании «Тюрем и ссылок» книга сопровождалась коротким предисловием Г. Янковского. Год рождения Г.П. Янковского установлен по «карточке удостоверения личности перемещенного лица» (Displaced Person Identification Card) в архиве В. Зензинова (Columbia University. Rare Book and Manuscript Library. Bakhmeteff Archive. Zenzinov Collection. Box 39).

[2] О Зензинове см.: Писатели русского зарубежья (1918—1940). Ч. 2. М., 1995. С. 255—259 (статья В. Леонидова); Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1966. С. 216—217 (статья Н. Ерофеева). М. Вишняк отметил заслуги Зензинова в издании произведений Иванова-Разумника: «Многим известно, что немало энергии потратил Зензинов на то, чтобы обширное литературное наследство Иванова-Разумника увидело свет хотя бы частично» (*Вишняк М.* Памяти друга // Новый журнал (Нью-Йорк). 1954. № 36. С. 295.

[3] Статьи Иванова-Разумника привлекли внимание и политического деятеля и публициста Екатерины Дмитриевны Кусковой (1869—1958), как видно из ее письма Зензинову от 5 августа 1949 г.: «В свое время я аккуратно получала эту подлую газету, и мы были страшно поражены, увидав в ней статьи Иванова-Разумника. Пустились в разведки. Тогда получили такую версию: будто бы немцы увезли из Детского Села архив Ив. Раз. и передали Деспотули (главный редактор газеты «Новое слово». — *Ж.Ш*). Он и печатал. Что сам Ив. Раз. тут ни при чем. Значит, эта версия неправильна?» (Bakhmeteff Archive. Zenzinov Collection. Box 1).

[4] В письме критику А. Бему от 7 июня 1942 г. Иванов-Разумник пишет: «О моих статьях — лучше и не говорить: несу наказание в полной мере. Сегодня пришел номер газеты от 7/VI; трудно себе представить, до чего обкорнали мою статью. Хорошо еще, что на этот раз не вписали никакой отсебятины, как это сделали с первой статьей, озаглавив ее «Хождение над бездной» (ужасно!)». (Письмо Бему цитируется по оригиналу, хранящемуся в Литературном архиве Музея национальной литературы в Праге.)

[5] См.: Новое слово. 1942. № 37, 39, 43, 45, 68, 69, 75, 84, 101; 1943. № 1, 33, 35, 38, 40.

[6] См.: Судьба Иванова-Разумника // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1946. 24 июня.

[7] Bakhmeteff Archive. Zenzinov Collection. Box 36.

[8] *Издательство им. Чехова* просуществовало четыре года (1952—1956) при косвенной поддержке американского государства через Восточный Европейский

фонд и Фонд Форда. Несмотря на то, что оно было создано как орудие «холодной войны», за время своего недолгого существования Издательство им. Чехова проделало огромную работу, издав более 150 книг. См.: *Karpovich M.* The Chekhov Publishing House // The Russian Review. 1957. Vol. 16. № 1. June. P. 53—58.

[9] См. письмо В. Янковской Зензинову от 3 июня 1949 г.: «Да, вот еще — главное то: 9 июня (четверг) исполняется 3 года со смерти Разумника Васильевича. Собираюсь отслужить панихиду (если только хватит пороха, мы совсем à sec из-за переезда). Тогда обязательно Вам сообщу, в котором часу и где — следовало бы, может быть, дать объявление в газете — до сих пор (в Мюнхене) мы избегали всякой гласности из боязни привлечь внимание с нежелательной стороны — пожалуй, это и теперь остается в силе, пока вещи не напечатаны» (Bakhmeteff Archive. Zenzinov Collection. Box 7). Янковские очень боялись насильственной репатриации. Об истории насильственной репатриации см.: *Толстой Н.* Жертвы Ялты // Исследования новейшей русской истории. № 7. Париж, 1988.

[10] Подзаголовок книги «Тюрьмы и ссылки». Когда книга вышла отдельным изданием, подзаголовок был снят.

[11] По-видимому, имеется в виду Николай Ефремович Андреев (1908—1982) — историк, критик, до войны — член пражского литературного объединения молодых поэтов «Скит поэтов». См.: *Сквайр П.* Об английском переводе «Тюрем и ссылок» и их авторе Иванове-Разумнике (Воспоминания переводчика) // Мера. 1994. № 4. С. 162.

[12] *Чернов* Виктор Михайлович (1873—1952) — публицист, член партии эсеров. После войны жил в Нью-Йорке. Чернов напечатал свои воспоминания об Иванове-Разумнике в журнале «Социалистический вестник» (1949. № 8/9. 23 сентября. С. 158—159).

[13] На основе статей, печатавшихся в «Новом слове», Иванов-Разумник написал книгу, рукопись которой во время войны погибла. Как явствует из переписки Иванова-Разумника с Бемом, существовало две машинописи каждой книги (ср. письмо от 6 июля 1944 г.). По нашим предположениям, та машинопись, по которой впоследствии печаталась книга «Тюрьмы и ссылки», исходит из архива Сергея Порфирьевича Постникова (1883—1964). Постников был библиографом Русского заграничного исторического архива в Праге, пока тот не был конфискован советской контрразведкой в 1945 г. Жена Постникова тайно передала архивы, оставшиеся после ареста мужа, его друзьям. Таким образом был доставлен В. Чернову архив партии эсеров, который хранился на чердаке дома Постникова. См.: Hoover Institution Archives. Nicolaevsky Collection. Box 390—15.

[14] О дневниках Иванова-Разумника см.: *Раевская-Хьюз О.* Иванов-Разумник в 1942 году // Блоковский сборник. XIII. Тарту, 1996. С. 214—232.

[15] Михаил Михайлович *Карпович* (1887—1959) — историк, главный редактор «Нового журнала» (Нью-Йорк). В письме идет речь об издании книги «Тюрьмы и ссылки».

[16] И.К. Окулич — публицист, сотрудник газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско). После войны был вовлечен в полемику относительно отношения Ивана Бунина к Советскому Союзу. См.: *Седых А.* Далекие, близкие. М., 1995. С. 213—214, 309—310.

[17] См. туманные свидетельства Г. Янковского о судьбе машинописи книги Иванова-Разумника: Note on the subsequent fate of I-R's manuscript // The Memoirs of Ivanov Razumnik / Translated by P.S. Squire. London: Oxford University Press, 1965. P. XXIII.

[18] *Кеннан* Джордж Ф. (р. 1904) — дипломат и историк, один из первых американских «советологов». Американский посол в СССР (1952). Кеннан, благодаря своему дипломатическому статусу, помог вывезти некоторые части архива Постникова за границу; см.: Hoover Institution Archives. Nicolaevsky Collection. Box 390—15. По инициативе Кеннана было создано Издательство им. Чехова; см.: *Гуль Р.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Россия в Америке. Т. 3. Нью-Йорк, 1989. С. 240.

[19] *Набоков* Николай Дмитриевич (1903—1978) — композитор, музыкальный критик. Двоюродный брат Владимира Набокова. Возглавлял русскую секцию радиостанции «Голос Америки» с 1947 г. Автор воспоминаний «Old Friends and New Music» (1951) и «Bagazh: memoirs of a Russian Cosmopolitan» (1975).

[20] *Николаевский* Борис Иванович (1887—1966) — историк и архивист.

[21] *Кёстлер* Артур (1905—1983) — английский писатель венгерского происхождения. Известен своим разоблачительным антикоммунистическим романом «Тьма среди дня» («Darkness at Noon», 1940).

[22] *Оруэлл* Джордж (1903—1950) — английский писатель. Самое известное его произведение — антиутопический роман «Скотный двор» («The Animal Farm», 1945).

[23] *Шлезингер* Артур, младший (р. 1917) — профессор истории Гарвардского университета, впоследствии особый помощник президента Кеннеди.

[24] По фотокопии книги «Тюрьмы и ссылки» из коллекции Б. Николаевского была осуществлена первая полная републикация книги в журнале «Мера» (см. примеч. 3).

[25] *Абрамович* Рафаил Абрамович (1880—1963) — политический деятель, входил в редакцию журнала «Социалистический вестник».

[26] См.: Социалистический вестник. 1949. № 8—12; 1950. № 1—2. После появления этих фрагментов вопрос о сотрудничестве Иванова-Разумника в профашистской газете снова стал темой дискуссии. В переписке между филологом Дмитрием Ивановичем Чижевским (1894—1977) и Б. Николаевским содержится немало интересных наблюдений по этому поводу. Чижевский писал

Николаевскому: «Спасибо за письма и за номер «Социалистического вестника», который переслали мне из Германии. Потрясающие воспоминания Иванова-Разумника мне не открыли новых горизонтов. Надеюсь, что они появятся целиком и, может быть, и по-английски? Не считайте меня только злобствующим поклонником Иосифа Виссарионовича, если я все же скажу Вам, что И.-Р. выехал в Германию не без значительных иллюзий насчет Гитлера! Об этом мне писал с большим волнением покойный Бем» (27 февраля 1949 г.). Николаевский отвечал: «Прогитлеровские иллюзии у Иванова-Разумника, на мой взгляд, говорят не против него, — а против Сталина: если в царстве последнего даже Ивановы способны после двух лет сталинской тюрьмы создавать себе иллюзию о Гитлере, то, наверное, там что-то переходящее все границы» (1 января 1950 г.). Чижевский согласился с мнением Николаевского: «Что касается Иванова-Разумника, то я вполне с Вами согласен. Уже во время войны я, познакомившись с русскими, оказавшимися в Германии и питавшими иллюзии насчет Гитлера, говорил не раз, что эти настроения русской интеллигенции — лучшее доказательство того, что не все благополучно в царстве Сталина» (3 января 1950 г.). Оригиналы писем хранятся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете: Hoover Institution Archives. Nicolaevsky Collection. Box 476.

[27] См.: *Шерон Ж.* Военные годы Иванова-Разумника: реконструкция по письмам и воспоминаниям // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 44—54.

[28] Часть этих писем опубликована, см.: Письма Н.Н. Берберовой и Вл. Иоанна (Шаховского) к Иванову-Разумнику / Вступ. заметка, публ. и примеч. Е.А. Голлербаха и Ж. Шерона // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Вып. 2. С. 154—168.

[29] *Инбер Вера* (1890—1972) — поэтесса. Вместе с мужем Инбер пережила всю блокаду Ленинграда. Этот период своей жизни Инбер запечатлела в дневнике, который издан под названием «Почти три года» (1946).

[30] См.: Известия Литературного фонда (Нью-Йорк). 1949. № 2. 3 мая.

[31] Имеются в виду книжные клубы при американских книгоиздательствах, для которых книги обычно печатаются большими тиражами и продаются достаточно дешево.

[32] Этот материал разыскать пока не удалось.

[33] Письмо написано на бланке французского Конгресса Культурной свободы (Congrès pour la Liberté de la Culture), секретарем которого был Н.Д. Набоков.

[34] Так в оригинале.

[35] Уилсон Эдмунд (1895—1972) — видный американский критик.

[36] *Thayer* Charles W. (1910—1969) — дипломат, один из создателей радиостанции «Голос Америки» при Госдепартаменте США.

[37] Неустановленное лицо.

[38] Речь идет о журнале «Preuves: les idées qui changent le monde» (Paris, 1951—1969).

[39] Книга вышла в начале 1953 г. с коротким предисловием Г. Янковского, но авторские права на книгу остались за Издательством им. Чехова.

[40] Сведениями о Б.А. Вульферте мы не располагаем.

[41] В американском научном журнале «Russian Review» был помещен перевод нескольких фрагментов «Тюрем и ссылок» (1951. Vol. 10. № 1, 3, 4; 1952. Vol. 11. № 1, 2).

Публикация, вступительная заметка и примечания Ж. Шерона

КОММЕНТАРИИ

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ

Текст печатается по отдельному изданию: *Иванов-Разумник Р.* Писательские судьбы. Нью-Йорк: Литературный фонд, 1951.

Без заключительного очерка («Советская литература») книга переиздана в сб.: Возвращение. М.: Советский писатель, 1991. Вып. 1. С. 303—348 (предисловие и публикация А. Лаврова).

Издание «Писательских судеб» было осуществлено В.М. Зензиновым, предпославшим книге свою (неподписанную) биографическую заметку «Разумник Васильевич Иванов»; в ней, в частности, сообщалось: «За годы пребывания в Германии Р. Иванов-Разумник много писал, торопясь записать все пережитое и задуманное, но большая часть написанного при трагических обстоятельствах того времени погибла. Несколько очерков литературно-исторического характера было напечатано в берлинской русской газете того времени «Новое Слово» (ред. В. Деспотули), с добавлениями и искажениями редактора. Они должны были составить отдельную книгу «Писательские судьбы», которая была подготовлена Р. Ивановым-Разумником к печати, — она ныне и публикуется со специально написанной для нее Р. Ивановым-Разумником вводной статьей — «Вместо предисловия» и поправками самого Р. Иванова-Разумника» (С. [IV]).

Над очерками, составившими позднее «Писательские судьбы», Иванов-Разумник работал в Конице (Западная Пруссия), где он находился в лагере для русских немецкого происхождения, в 1942—1943 гг.; начальная стадия работы отражена в его дневниковых записях 1942 г. (готовятся к публикации О. Раевской-Хьюз): «Свои очерки он предложил берлинской газете «Новое слово», еще не зная о прогерманском направлении газеты, о чем впоследствии неоднократно выражал сожаление. В первых записях о работе чувствуется некоторая неуверенность и неудовлетворенность собой (17 апреля): «Собираюсь написать для «Нового слова» — «Две жизни султана Махмуда». Написал восемь страниц. Завтра («е. б. ж.») — закончу <...>». Через несколько дней: «Заканчивал очерк о Ф. Сологубе: по-прежнему мало доволен, — писать совсем разучился, выходит натянуто». Однако чувство неуверенности быстро сменяется боевым духом в переписке с редакцией газеты. 6 мая записан конспект ответа в редакцию «Нового слова» с цитатами из редакторского письма: «1. Писать без «литературной изысканности» и «в чуть более скупой, сжатой трактовке». 2. Избегать

цитат на иностранных языках... 3. «Неизбежные сокращения». — Не лучше ли выслать гранки? 4. Высылка номеров с моими очерками и прошу вообще о регулярной высылке. 5. Не нужны ли деньги? Нужны, но боюсь сильно авансироваться. Пришлите. 6. Лекарства — не нужны, но «лекарство-табак» — очень желательно. 7. Прошу ответа о «Погорельщине» Клюева» (*Раевская-Хьюз О.* Иванов-Разумник в 1942 году // Блоковский сборник. XIII. Русская культура XX века: метрополия и диаспора. Тарту, 1996. С. 222—223).

Редакционные исправления и сокращения в опубликованных текстах статей вызвали у Иванова-Разумника крайне резкую реакцию: «Моя статья под пошлым названием «Хождение над бездной» и с фантастическими купюрами. Надо будет написать — ультимативно. Наглый и безграмотный редакционный первый абзац» (9 мая). Далее дневник отмечает возмущение автора сокращениями и «фантастическим заглавием» в очерке о Сологубе («осталось меньше половины») (Там же. С. 223). Тем не менее Иванов-Разумник не прекратил сотрудничества в «Новом слове». 24 апреля 1943 г. он писал Н.Н. Берберовой: «Спасибо за добрый отзыв о моих газетных очерках, которые пишу через силу, — чем и объясняется почти четырехмесячный перерыв в их появлении. Но недавно пересилил себя и послал сразу 4 статейки, три из которых связаны между собой одной темой: «Советская литература». Я — человек не газетный, своими газетными очерками совсем недоволен, вот почему, вероятно, и пишу их с такой неохотой» (*Cheron George.* The Wartime Years of Ivanov-Razumnik: Correspondence with N. Berberova // Literature, Culture, and Society in the Modern Age. In Honor of Joseph Frank. Part 2. Stanford, 1992. P. 401).

В.К. Завалишин свидетельствует, что Иванов-Разумник не без колебаний согласился участвовать в русской газете, издававшейся в фашистской Германии: «Разумник Васильевич долго не мог решиться на публикацию своих материалов в газете «Новое слово», выходившей в Берлине. Прежде чем попасть на стол редактора «Нового слова», очерки были прочитаны Николаем Николаевичем Брешко-Брешковским <...>, Сергеем Алексеевичем Аскольдовым и знаменитым генетиком Тимофеевым-Ресовским. Тимофеев-Ресовский находил, что оба режима, сталинский и гитлеровский, — ужасны. Но в каких-то отношениях гитлеровская Германия имела преимущества. Так, Разумник Васильевич крайне нехотя сдал цикл очерков в «Новое слово»» (*Шерон Ж.* Военные годы Иванова-Разумника: реконструкция по письмам и воспоминаниям // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1996. С. 47). Сообщая в одном из писем (адресованном, вероятно, С.П. Постникову) о том, что он написал для «Нового слова» четыре статьи, Иванов-Разумник добавлял: «...полагаю, что стыдиться этих писаний мне не придется. Но вот вопрос: не придется ли стыдиться соседей? По крайней мере в одном из номеров этой газеты, только что мною полученной, я прочел статью... и серию статей... от которых разит» (Там же. С. 48; впервые: Социалистический вестник. 1949. № 8. С. 159).

Несмотря на то что очерки Иванова-Разумника, напечатанные в «Новом слове», не были продиктованы политико-идеологическими пропагандистскими установками этой газеты, а отражали лишь его собственные литературно-общественные взгляды и суждения, самый факт сотрудничества писателя в берлинском печатном органе негативным образом сказался на его репутации — как в эмигрантской среде, так и, разумеется, на родине. В анонимной заметке «Судьба Иванова-Разумника», появившейся в нью-йоркской газете «Новое русское слово» 24 июня 1946 г. и почти сплошь состоявшей из заведомо искаженных и тенденциозно перетолкованных сведений, в частности, сообщалось: «...известный в свое время литературный критик Иванов-Разумник, бежавший во время германского вторжения в Россию к немцам и затем активно с ними сотрудничавший, в настоящее время скрывается в Германии. Вместе с артистом Блюменталь-Тамариным Иванов-Разумник стал во время войны ревностным сотрудником берлинского «Нового слова». Теперь, когда ставка на немцев оказалась проигранной, Иванов-Разумник решил выбраться из Германии», и т.д. В СССР еще в 1969 г. кратчайшая информационная справка об Иванове-Разумнике включала фразу: «В годы Вел. Отеч. войны изменил Родине» (указатель имен в кн.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 599). По поводу подобных инсинуаций счел необходимым в свое время заявить протест публикатор «Писательских судеб» В.М. Зензинов, прозаик и публицист, видный деятель эсеровской партии и человек безукоризненной нравственной репутации (см. публикацию в наст. изд.).

Вместо предисловия

Впервые: *Иванов-Разумник Р.* Писательские судьбы. С. 1—2.

[1] Мф V, 13.

[2] Первые строки стихотворения Я.П. Полонского «В альбом К.Ш...» (1864).

[3] Первая строка стихотворения А. Блока (1909).

Две жизни султана Махмуда

Впервые: Новое слово. 1942. № 39 (421). 17 мая.

[4] В признаваемую канонической «египетскую» редакцию «Тысячи и одной ночи» эта сказка не входит. «Две жизни султана Махмуда» включены в свод «Тысячи и одной ночи», составленный Ж. Мардрюсом (Mardrus, 1899—1904,

16 томов; см.: *Герхардт М.* Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». М., 1984. С. 87—97); сюжет сказки Иванов-Разумник передает с большими неточностями. См. ее русский перевод (с французского) в кн.: Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Перевод и предисловие И.Б. Мандельштама. М.; Пг., 1923. С. 9—17.

[5] «молодым человеком сорока лет» (*фр.*).

[6] Эта статья Иванова-Разумника была опубликована в газете «Дело народа» 28 марта 1917 г. (№ 11).

[7] Развернутую полемику со взглядами Г.В. Плеханова содержит статья Иванова-Разумника «Марксистская критика» (1909). См.: *Иванов-Разумник.* Литература и общественность. СПб.: Прометей, [1912]. С. 112—194.

[8] См. о нем: *Мартынов И.Ф., Кукушкина Е.Д.* Александр Александрович Кроленко // Книга: Исследования и материалы. Сб. 28. М., 1974. С. 178—190; *Рац М.В.* Издательство «Academia». Заметки библиофила // «Academia». 1922—1937. Выставка изданий и книжной графики. М., 1980. С. 8—12. В архиве А.А. Кроленко сохранились 6 писем Иванова-Разумника к нему за 1941 г. (РНБ. Ф. 1120. Ед. хр. 388).

[9] Неточная цитата из стихотворения Козьмы Пруткова «Блестки во тьме» (1883), написанного А.М. Жемчужниковым (пародия на стихотворение А.А. Фета «В дымке-невидимке...»). См.: *Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. С. 90, 438 (примечания Б.Я. Бухштаба).

[10] Из стихотворения А. Блока «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны...», 1908).

[11] См.: *Чумандрин М.* Фабрика Рабле. Л.: ЛАПП; Прибой, 1929.

[12] Вероятно, имеется в виду роман М. Чумандрина «Ленинград» (Л.; М.: ЛАПП, 1931), главная героиня которого — партийный секретарь Надя Коробова. Приводимой Ивановым-Разумником фразы в его тексте не выявлено, однако роман изобилует не менее выразительными и не менее безграмотными примерами авторского стиля.

[13] Имеются в виду осуществленные издательством «Academia» издания романов Александра Дюма (отца) в переводах под редакцией М.Л. Лозинского и А.А. Смирнова: «Три мушкетера» (Л., 1928), «Двадцать лет спустя» (Т. 1—2. Л., 1928), «Десять лет спустя, или Виконт де Бражелон» (Т. 1—3. Л., 1928—1929), «Граф Монте-Кристо» (Т. 1—2. Л., 1929).

[14] Из стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850).

[15] См.: Книга тысячи и одной ночи / Перевод, вступ. статья и коммент. М.А. Салье. Ред. И.Ю. Крачковского. Статья М. Горького «О сказках». Предисловие С.Ф. Ольденбурга. Иллюстрации и оформление Н.А. Ушина. Т. 1—8. М.; Л.: Academia, 1929—1939. Заключительный, 8-й том издания вышел в свет под маркой Гослитиздата.

[16] Имеется в виду «Полное собрание романов» Александра Дюма-отца (под ред. П.В. Быкова) в 24 томах (84 книгах), выпущенное издательством П.П. Сойкина (СПб., 1912—1913).

[17] Издательство «Academia» было слито с Гослитиздатом в 1937 г.; в 1938—1939 гг. в Гослитиздате вышло несколько книг с указанием, что они подготовлены издательством «Academia».

Несколько слов о самом себе

Впервые: Новое слово. 1942. № 37 (419). 10 мая (в сокращенной редакции, под редакционным заглавием «Хождение над бездной»; подпись под текстом: И. Иванов-Разумник).

Публикации этого очерка — первому выступлению Иванова-Разумника на страницах «Нового слова» — была предпослана следующая редакционная заметка:

«Имя литературного историка и критика И. [sic!] Иванова-Разумника хорошо известно русскому читателю. Он был всегда (см. «Энциклопедический словарь» Павленкова) резким и боевым противником марксизма, занимая народническую платформу. Советская власть, борясь со всеми инакомыслящими, начиная от «правых» и кончая «эсерами», преследовала и его: аресты, тюрьма, ссылка, затем небольшая пауза, разрешение заниматься «библиографической» деятельностью и снова ссылка и тюрьма. В последние годы И. Иванов-Разумник жил под Петербургом в Царском Селе, где и был освобожден германскими войсками. «Новое Слово» дает место ряду его критических и бытовых очерков, начиная с эпопеи мытарств автора по тюрьмам, этого хождения над бездной в «самой счастливой в мире стране». Редакция».

По газетной публикации и с приведенным редакционным предисловием очерк перепечатан (в рубрике «Обыкновенный фашизм. Национал-социалистическая пропаганда. Крупный план») в петербургской газете «Час пик» (1991. № 26 (71). 1 июля. С. 11).

[18] Более подробное изложение приводимых далее фактов биографии Иванова-Разумника см. ниже в «Тюрьмах и ссылках» и в комментариях к этой книге.

[19] См.: Памяти Александра Блока. Пб.: Вольная философская ассоциация, 1922. С. 35—53 (воспоминания А.З. Штейнберга). Тот же эпизод освещается в новейших публикациях: Блок в 1919 году / Публ. Л.К. Долгополова // Новый журнал. Кн. 180. Нью-Йорк, 1990. С. 350—353; Материалы к творческой биографии Александра Блока революционных лет. Ряд стихотворений под общим заглавием «Двенадцать» / Публ. В.В. Базанова // У истоков русской советской литературы. 1917—1922. Л., 1990. С. 5—11; *Иванова Е.В.* Об аресте

Александра Блока в 1919 году // Филологические науки. 1992. № 4. С. 89–92; *Белоус В.Г.* Александр Блок в «Деле левых социалистов-революционеров»: По материалам архива ФСБ (СПб.) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1996. С. 17–23.

[20] Рукописи этих неизданных книг Иванова-Разумника, готовившихся к печати в 1920-е гг. в издательстве «Колос», не обнаружены. См.: *Белоус В.* Реконструкция «Антроподицеи», или Самооправдание Иванова-Разумника // Русская мысль. 1995. № 4102, 4103.

[21] См.: *Иванов-Разумник.* М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть первая. 1826–1868. М.: Федерация, 1930; *Лавров А.В.* Историко-литературные замыслы Иванова-Разумника // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 98–116.

[22] Верстка этих комментариев легла в основу неизданной книги Иванова-Разумника «История стихотворений Александра Блока» (РГАЛИ. Ф. 1782. Оп. 1. Ед. хр. 2), которая готовилась к печати Гос. литературным музеем в 1940–1941 гг. и не вышла в свет из-за начавшейся Великой Отечественной войны. См.: Лит. наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 383–384.

[23] Ср. аналогичные признания в письме Иванова-Разумника к В.Д. Бонч-Бруевичу от 7 декабря 1940 г. (*Лавров А.В.* О Блоке и Пушкине (Царском Селе). Письмо Иванова-Разумника к В.Д. Бонч-Бруевичу // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 146–147, 149).

[24] Это издание не было осуществлено. В архиве Иванова-Разумника сохранились машинописный текст (не полностью и в дефектном виде) писем Андрея Белого к нему (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 81), а также предисловие (датированное: 1 мая 1937 г.) и комментарии Иванова-Разумника (автограф в тетради) к этим письмам (Там же. Оп. 1. Ед. хр. 110). Недавно эти письма были опубликованы, см.: *Андрей Белый, Иванов-Разумник.* Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А.В. Лаврова и Д. Мальмстада. СПб., 1998.

[25] Е.В. Тарле, однако, арестовывался ранее — в январе 1930 г. по «академическому делу»: провел более полутора лет в Доме предварительного заключения в Ленинграде, после чего был выслан на пять лет в Алма-Ату; изгнан из Академии наук; во второй половине 1932 г. был возвращен из ссылки, введен в Государственный ученый совет при наркомате просвещения РСФСР. Являлся лауреатом Сталинских премий. См.: *Каганович Б.С.* Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 38–41; *Дунаевский В.А., Чапкевич Е.И.* Евгений Викторович Тарле: человек в тисках беззакония // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М., 1995. С. 108–127.

[26] Ср. свидетельства Л. Осиповой (О.Г. Поляковой) в ее царскосельском дневнике (6 февраля 1942 г.): «...погибла библиотека Разумника Васильевича. Она находилась в его квартире, на территории нашего санатория. Сейчас этот район совершенно недоступен для гражданского населения. А там было собра-

но несколько тысяч томов и всё уникумы. Солдаты рвут и топчут и топят печки ими. А там была его переписка с такими поэтами, как Вячеслав Иванов, Белый, Блок, и прочими символистами и всеми акмеистами. Несколько раз умоляли немцев из этого дурацкого СД вывезти все эти сокровища. Всякий раз обещали и ничего не сделали. И теперь все это пропало <...> И сколько ни вдалбливали в их телячьи головы, что эта библиотека, кроме своего культурного значения, имеет также и огромную материальную ценность и что хозяин отступается от своих прав на нее, только бы она не погибла, а была бы где-то в сохранности, — ничего не помогло!» (*Осипова Л.* Дневник коллаборантки // Грани. 1954. № 21. С. 122).

[27] Ср.: «Ему честь и держава вечная!» (1 Тим. VI, 16); «...отдавайте всякому должное: <...> кому честь, честь» (Рим. XIII, 7).

[28] В письме к Константину Эрбергу от 6 июня 1941 г. Иванов-Разумник уточнял, что Сологуб провел в Детском Селе «два года (1923—1925), сохраняя в то же время и pied à terre [жилище. — *фр.*] в Петрограде. (Вернее: два лета и одну зиму)» (Собрание М.Л. Лесмана — Н.Г. Князевой).

[29] Иванов-Разумник передает исторические сведения с неточностями: Константинополь пал в 1204 г. во время 4-го Крестового похода в правление династии Ангелов (1185—1204), из осажденной столицы бежал император Алексей III Ангел (1195—1203); Византийская империя была восстановлена в 1261 г. никейским императором Михаилом VIII Палеологом после отвоевания у Латинской империи Константинополя.

Федор Сологуб

Впервые: Новое слово. 1942. № 43 (425). 31 мая; № 45 (427). 7 июня («Писательские судьбы. Федор Сологуб»).

[30] Неточная цитата из триолета «Каждый год я болен в декабре...» (1913), входящего в книгу Сологуба «Очарования земли». См.: *Сологуб Ф.* Стихотворения. Л., 1975. С. 387.

[31] Неточно приводится первая строфа стихотворения Сологуба «Перехитрив мою судьбу...» (1910). См.: *Сологуб Ф.* Собр. соч. Т. 13. Жемчужные светила. Стихи. СПб.: Сирин, 1913. С. 198.

[32] Имеется в виду Дмитрий Михайлович Пинес, библиограф и историк литературы, секретарь Вольной философской ассоциации в 1923—1924 гг. См. о нем: De Profundis. (Письма Д.М. Пинеса к А.Н. Римскому-Корсакову) / Публ. М.Д. Эльзона // Историко-библиографические исследования. Вып. 4. СПб., 1994. С. 129—133. О совместной работе с Пинесом Иванов-Разумник пишет и в «Тюрьмах и ссылках».

[33] Д.М. Пинес был арестован (в третий раз) 26 января 1933 г., приговорен (как один из организаторов мифического «Идейно-организационного центра народнического движения») к двум годам лишения свободы 28 июня 1933 г. (Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 78, 402). Подробнее см.: *Белоус В.Г.* «Ближайший и многолетний сотрудник мой по историко-литературным работам». О Дмитрии Михайловиче Пинесе (1891—1937) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследование. СПб., 1998. Вып. 2. С. 217—227.

[34] В четвертый раз Д.М. Пинес был арестован по месту отбывания ссылки в Архангельске 6 февраля 1937 г., расстрелян 27 октября 1937 г. См.: *Ю.Д.* Большой террор в Архангельске // Русская мысль. 1996. № 4110; *Спивак М.Л.* Письма Д.М. Пинеса Андрею Белому // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 28; *Дойков Ю.В.* К переписке Д.М. Пинеса и А.Н. Римского-Корсакова//Историко-библиографические исследования. Вып. 6. СПб., 1996. С. 220—222.

[35] Директор Пушкинского Дома академик С.Ф. Платонов был арестован 12 января 1930 г., по «сценарию» ОГПУ рассматривался как главная фигура «дела Академии наук»; 8 августа 1931 г. приговорен к высылке на пять лет в Самару, где и скончался в январе 1933 г. См.: *Перченок Ф.Ф.* К истории Академии наук: снова имена и судьбы... Список репрессированных членов Академии наук // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 193.

[36] О Н.В. Измайлове см.: Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 196—199. Измайлов был арестован в ноябре 1929 г.; по замыслу следствия, при фабрикации «Академического дела» ему была отведена роль главы военной организации «заговорщиков» (см.: *Ананьич Б.В., Панеях В.М.* Принудительное «соавторство» (К выходу в свет сборника документов «Академическое дело 1929—1931 гг.». Вып. 1) // In memoriam. С. 103—108); приговорен к пяти годам, выслан на поселение в Печору, освобожден в 1934 г. Б.Н. Молас был арестован в декабре 1929 г., в 1931 г. приговорен к расстрелу, замененному на десять лет концлагеря; с 1934 г. — в архангельской ссылке; в 1938 г. расстрелян (см. комментарий Ф. Благовещенского в кн.: Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 423; *Дойков Ю.В.* Указ. соч. С. 220—221).

[37] О разборе архива Ф. Сологуба и его передаче в Пушкинский Дом подробно рассказывает О.Н. Черносвитова в письме к Т.Н. Чеботаревской от 13 апреля 1928 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. СПб., 1993. С. 317—320. Публикация М.М. Павловой). В архиве Иванова-Разумника сохранился машинописный текст (без окончания) составленной им предварительной описи «Архив и библиотека Федора Сологуба» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 33).

[38] Имеется в виду издание: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Сочинения: В 6 т. Редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Биографический очерк и примечания Иванова-Разумника. М.; Л.: ГИЗ, 1926—1928.

[39] Экземпляр этого несостоявшегося издания «Стихотворений» Сологуба (98 листов машинописи) сохранился в собрании М.Л. Лесмана — Н.Г. Князевой.

[40] Это стихотворение, датированное 9 (22) января 1927 г., впервые увидело свет в составе настоящего очерка; текст (видимо, приводимый Ивановым-Разумником по памяти) имеет разночтения с автографом. По автографу впервые напечатано: Дружба народов. 1989. № 1. С. 168 (публикация А.В. Лаврова).

[41] Имеется в виду публикация Д.И. Шаховским в «Литературном наследстве» (т. 22—24. М., 1935) пяти «Философических писем» (II—V, VIII) П.Я. Чаадаева, обнаруженных исследователем в архиве А.Н. Пыпина (копия М.И. Жихарева), хранящемся в Пушкинском Доме. В середине 1930-х гг. Шаховской подготовил два издания сочинений Чаадаева, ни одно из которых не увидело света. В брошюре «Издательство Academia к XVII съезду ВКП(б). Задачи. Перечень изданий. План». (М.; Л.: Academia. 1934) указано (с. 90): «Выходят в 1934—36 гг.: П.Я. Чаадаев. Сочинения в 2-х тт. под общей ред. и со статьей И.Т. Смилги. Подготовка текста, статья и комментарии Д.И. Шаховского. Т. 1—2». Шаховской был репрессирован; сохранившиеся материалы, относящиеся к этому неосуществленному изданию, хранятся в Пушкинском Доме. См.: *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991. Т. 2. С. 634 (указатель В.В. Сапова).

[42] Ан. Н. Чеботаревская покончила с собой вечером 23 сентября 1921 г.: бросилась в реку Ждановку с дамбы Тучкова моста; жили тогда Сологуб и Чеботаревская, однако, не на Ждановке, а на Васильевском острове (10-я линия, дом 5, кв. 1), в квартиру семьи Черносвитовых (Ждановская наб., дом 3, кв. 22) Сологуб переехал после гибели жены.

[43] Это стихотворение Сологуба (написанное 30 июля 1927 г.) впервые увидело свет в составе настоящего очерка; видимо, Иванов-Разумник привел его текст по памяти, чем и объясняются значительные разночтения по отношению к автографу. По автографу впервые опубликовано М.И. Дикман в кн.: *Сологуб Ф.* Стихотворения. Л., 1975. С. 495—496, 567—568 (варианты строк по «Писательским судьбам»); текст, напечатанный по автографу, полностью совпадает с тем, который приводит Иванов-Разумник в письме к Андрею Белому от 7 декабря 1927 г. (*Андрей Белый, Иванов-Разумник.* Переписка. С. 554).

I. Погибшие

Впервые: Новое слово. 1942. № 68 (450). 26 августа; № 69 (451). 30 августа («Писательские судьбы. I. Погибшие»).

[44] Н.С. Гумилев был приговорен к расстрелу 24 августа 1921 г. Сообщение о приведении приговора в исполнение появилось в «Петроградской правде» 1 сентября 1921 г.

[45] Б. Пильняк был арестован 28 октября 1937 г.; расстрелян 21 апреля 1938 г. См.: *Шенталинский В.* Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. [М.], 1995. С. 192—206.

[46] Л.Л. Авербах был расстрелян в 1937 г., М.Е. Кольцов —2 февраля 1940 г.

[47] См. новейший анализ легенды о нескольких письмах, якобы оставленных Маяковским перед самоубийством: *Парнис А.Е.* Из новых материалов о Владимире Маяковском // De Visu. 1993. № 11 (12). С. 11—13.

[48] Валентина Александровна Агранова была расстреляна. Ср. свидетельство Л.Ю. Брик в беседе с Соломоном Волковым (1975): «...мне потом рассказывала женщина, которая была с женой Агранова в одной камере, что Валентину приволакивали с допросов всю совершенно в клочьях. Так там ее избивали! Ее приволакивали полуживой. И один раз жена Агранова сказала: «Если кто-нибудь из вас останется жив, расскажите другим, что с нами тут делали»» (*Брик Л.* В его револьвере была только одна пуля // Литературная газета. 1998. № 36).

[49] С.А. Есенин был в Ленинграде с середины июня до 31 июля 1924 г. О встрече его с Ивановым-Разумником в это время см.: *Карохин Л.Ф.* Иванов-Разумник и Есенин // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 86—87.

[50] ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей) было ликвидировано после Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

[51] М. Кольцов не был «членом редакции», но постоянно сотрудничал в «Правде» с 1922 до 1938 г., когда был арестован.

[52] Ср. сведения об участи Д.П. Святополк-Мирского (арестованного в начале июня 1937 г.) в письме Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве от 21 декабря 1962 г.: «Знаю я очень мало о нем (по рассказам тех, кто был с ним), хотя мы были одно время на соседних приисках по большой Магаданской трассе. Он был глубоко подавлен всем, что с ним произошло после ареста его «попечителей» — Ягоды и Авербаха (Горький умер раньше). Он бесконечно скорбел по поводу своего перехода в новую веру и приезда в Россию, проклинал коммунизм, издевался над своими иллюзиями. Много говорил о своих планах истории русской поэзии (он верил, что останется жить). Умер он мучительно — от пеллагры особой формы <...>. Под конец жизни, до болезни, он работал ночным сторожем при каких-то мастерских» (*Флейшман Л.* Из архива Гуверовского института. Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. Vol. 1. P. 38). См. также: О смерти князя Святополка-Мирского / Публ. Ю. Иваска // Новый журнал (Нью-Йорк). 1977. Кн. 127. С. 290—292; *Бирюков А.М.* Последний Рюрикович: Документальные очерки. Магадан, 1991. С. 47—61.

[53] В.М. Киршон был расстрелян 28 августа 1938 г.

[54] Летом 1928 г. П.А. Флоренский был выслан в Нижний Новгород; в том же году, по возвращении из Нижнего Новгорода в Москву, был восстановлен в должности заведующего отделом материаловедения Государственного экспериментального электротехнического института (позднее — Всесоюзного электротехнического института); 5 января 1930 г. назначен помощником директора этого института по научной части.

55 П.А. Флоренский был арестован 26 февраля 1933 г., осужден особой тройкой на десять лет; вторично осужден тройкой УНКВД Ленинградской области к высшей мере наказания 25 ноября 1937 г., расстрелян 8 декабря 1937 г.

56 А. Лежнев был расстрелян 29 ноября 1938 г.

57 И. Лежнев заведовал отделом литературы и искусства газеты «Правда» в 1935—1939 гг.

58 Антал Гидаш, бывший в Москве в 1926—1932 гг. секретарем Международного объединения революционных писателей, находился в заключении в 1938—1944 гг., реабилитирован в 1955 г.; в 1959 г. возвратился в Венгрию.

59 В издательстве «Колос» вышли следующие книги Иванова-Разумника: А.И. Герцен. 1870—1920. Пг., 1920; Русская литература XX века (1890—1915 гг.). Пг., 1920; Творчество и критика: Статьи критические 1908—1922. Пб., 1922; Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923; Перед грозой: Статьи 1916—1917 гг. Пг., 1923. О Ф.И. Седенко см.: *Ратнер А.В.* Под псевдонимом «Петр Витязев» // Советская библиография. 1986. № 3. С. 55—56; в его архивном фонде сохранилось 158 писем Иванова-Разумника к нему за 1918—1932 гг. (РГАЛИ. Ф. 106. Оп. 1. Ед. хр. 64).

60 П.В. Орешин был арестован в конце октября 1937 г., расстрелян 15 марта 1938 г. (см.: «Растерзанные тени»: Избранные страницы из «дел» 20—30-х годов ВЧК—ОГПУ—НКВД, заведенных на друзей, родных, литературных сотрудников, а также на литературных и политических врагов Сергея Есенина / Сост. Ст. Куняев, С. Куняев. М., 1995. С. 398—419).

61 Цикл из четырех стихотворений «Облачные кони» и стихотворение «Причастье Тайны» А. Ганина были напечатаны в сб. 2 «Скифы» ([Пг.], 1918. С. 188—193).

62 Имеется в виду книга А. Ганина «Звездный корабль. Стихи» (Вологда, 1920).

63 А.А. Ганин был расстрелян не в 1920-м, а в 1925 г. (30 марта) — как один из учредителей антикоммунистического «Ордена русских фашистов». См.: С.А. Есенин. Материалы к биографии. М., 1992. С. 47, 372—373 (комментарии Н.И. Гусева, С.И. Субботина, С.В. Шумихина); «Растерзанные тени»... С. 19—58; *Карохин Л.* Алексей Ганин — друг Сергея Есенина. СПб., 1999.

II. Задушенные

Впервые: Новое слово. 1942. № 75 (457). 20 сентября («Писательские судьбы. II. Задушенные»).

64 Имеется в виду полемика, проходившая в наиболее острой форме в 1926—1929 гг. между двумя группами советских философов и естествоиспытателей — «диалектиками» (А.М. Деборин и др.) и «механистами» (Л.И. Аксельрод, И.И. Скворцов-Степанов, А.К. Тимирязев и др.). На Второй Всесоюзной кон-

ференции марксистско-ленинских учреждений (1929) механицизм подвергся преследованию за отход от марксистско-ленинских философских установок; вслед за этим, в 1930—1931 гг., «диалектики» были официально разоблачены как «меньшевиствующие идеалисты». См.: *Митин М.* Боевые вопросы материалистической диалектики. М., 1936; *Ксенофонтов В.И.* Ленинские идеи в советской философской науке 20-х гг. (Дискуссия «диалектиков» с механистами). Л., 1975.

[65] В 1927—1930 гг. А.Ф. Лосев выпустил в свет (с пометой: «Издание автора») восемь своих книг: «Античный космос и современная наука» (1927), «Философия имени» (1927), «Диалектика художественной формы» (1927), «Музыка как предмет логики» (1927), «Диалектика числа у Плотина» (1928), «Критика платонизма у Аристотеля» (1929), «Очерки античного символизма и мифологии» (1930), «Диалектика мифа» (1930). Местом издания всех книг была указана Москва, однако печатались они в типографии Иванова в г. Сергиеве Московской губ. Тираж «Диалектики мифа» вскоре после выхода книги в свет был конфискован.

[66] А.Ф. Лосев был арестован в апреле 1930 г. (по обвинению в публикации запрещенных цензурой фрагментов «Диалектики мифа») и после 17 месяцев пребывания на Лубянке приговорен к десяти годам лагерей; отбывал срок в Свирлаге, на строительстве Беломорканала; досрочно освобожден в ноябре 1933 г. в результате ходатайств М.И. Ульяновой и Е.П. Пешковой.

[67] О жизни С.А. Аскольдова в 1920—1930-е гг. см.: *Аскольдов С.А.* Письма к А.А. Золотареву / Вступ. заметка и примеч. А.А. Сергеева. Подготовка текста А.И. Добкина // Минувшее. Исторический альманах. 9. Paris, 1990. С. 352—379; *Аскольдов С.А.* Из писем к родным (1927—1941) / Публ. А. Сергеева // Минувшее: Исторический альманах. 11. Paris, 1991. С. 292—331; *Лихачев Д.С.* Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов) (По юношеским воспоминаниям) // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 383—386; *Аскольдов С.А.* Четыре разговора. Мысленный образ Христа / Публ. А.В. Лаврова // Там же. С. 387—401.

[68] А.А. Мейер был арестован 11 декабря 1928 г.; приговорен к расстрелу, замененному на десять лет заключения на Соловках; вышел на свободу в начале 1935 г. См. предисловие С. Далинского (псевдоним А.И. Добкина и А.Б. Рогинского) к «Философским сочинениям» А.А. Мейера (Paris, 1982. С. 18—20), а также мемуарный очерк о Мейере Д.С. Лихачева (*Лихачев Д.С.* Воспоминания. СПб., 1995. С. 220—230).

[69] Роман Е.И. Замятина «Мы» (1920), с чтением которого автор выступал в Вольной философской ассоциации 10 августа 1923 г. (см. письмо Иванова-Разумника к Е.И. Замятину от 7 августа 1923 г. // ИМЛИ. Ф. 47. Оп. 3. Ед. хр. 91), был впервые опубликован в английском переводе (1924), затем — в чешском (1927) и французском (1929) переводах; по-русски — в пражском журнале «Воля России» (1927. № 2, 4, 5/6).

[70] О своем выходе из Всероссийского Союза писателей Замятин заявил письмом в редакцию «Литературной газеты» (1929. № 25. 7 октября). См.: *Галушкин А.* «Дело Пильняка и Замятина»//Новое о Замятине. М., 1997. С. 89—146.

[71] Историческая трагедия «Атилла» (1928) была запрещена к постановке Губреперткомом, несмотря на поддержку М. Горького, которому Замятин сообщил 8 января 1929 г.: «Пьеса все-таки похоронена» (*Келдыш В.А.* Е.И. Замятин // Замятин Евг. Избранные произведения. М., 1989. С. 32—33); впервые опубликована в «Новом журнале» (1950. Кн. 24).

[72] Имеется в виду начало второго абзаца в рассказе «Икс» (впервые опубликован: Новая Россия. 1926. № 2): «Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия <...>» (*Замятин Евг.* Избранные произведения. С. 437).

[73] Замятин выехал вместе с женой за границу в октябре 1931 г., с февраля 1932 г. поселился в Париже.

[74] Письмо Сталину (июнь 1931 г.) было опубликовано в книге Евг. Замятина «Лица» (Нью-Йорк, 1955. С. 277—282). См. также: *Замятин Е.И.* Избранные произведения. М., 1990. Т. 2. С. 404—409.

[75] «Лиц, на заставах команду имеющих» Салтыков-Щедрин упоминает в гл. XII «Современной идиллии» (1882). См.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1973. Т. 15, кн. 1. С. 117.

[76] Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия» (ч. 1—2) впервые был напечатан в московском журнале «Россия» (1925. № 4. С. 3—99; № 5. С. 3—82); третья часть романа, набранная для № 6 «России», тогда в свет не вышла, поскольку журнал прекратил существование. Полностью роман был опубликован отдельным изданием в Париже под заглавием «Дни Турбиных» (Т. 1—1927; Т. 2—1929).

[77] Имеется в виду повесть «Собачье сердце» (1925); предполагавшаяся ее публикация в альманахе «Недра» не состоялась. В СССР напечатана впервые в журнале «Знамя» (1987. № 6).

[78] Драматический памфлет М.А. Булгакова «Багровый остров» (1927) был поставлен Камерным театром в 1928 г. (премьера —11 декабря); в результате развернутой идеологической кампании в прессе пьеса была исключена из репертуара к концу театрального сезона 1928/29 г. Пьеса «Кабала святош» («Мольер») (1929) была поставлена во МХАТе (премьера —16 февраля 1936 г.), спектакль был снят после семи представлений.

[79] Булгаков был принят во МХАТ на должность режиссера-ассистента в мае 1930 г.; этому повороту в судьбе Булгакова предшествовали его письма Правительству СССР (28 марта 1930 г.) и телефонный разговор со Сталиным (18 апреля). См.: *Чудакова М.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 433—440; *Смелянский А.* Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989. С. 203—206.

[80] Осуществленная Булгаковым инсценировка «Мертвых душ» (1930) была поставлена во МХАТе В.Г. Сахновским и Е.С. Телешевой под художественным руководством К.С. Станиславского (премьера —28 ноября 1932 г.).

[81] Сборник В. Казина «Рабочий май. Стихи» был издан в Петрограде в 1922 г.; 5-е изд. — М.; Л., 1930.

[82] Поэма В. Казина «Лисья шуба и любовь» была выпущена в свет отдельным изданием (М.: Современные проблемы, 1926).

[83] П.Н. Васильев был арестован в третий раз в 1935 г. за «оголтелое хулиганство фашистского пошиба» и приговорен к трем годам заключения (выпущен на свободу досрочно), вновь арестован 8 февраля 1937 г., расстрелян в Москве 15 июля 1937 г. (см.: *Тюрин Г.* «Литература — моя кровь и плоть...» О поиске архивно-следственного дела Павла Васильева // Простор. 1991. № 3. С. 101—111; «Растерзанные тени»... С. 264—304).

[84] Свод документальных свидетельств о подготовке этого несостоявшегося издания (первоначально готовившегося в 1926 г. в издательстве «Петроград») см. в предисловии Р.Д. Тименчика в кн.: *Ахматова А.* Requiem. М., 1989. С. 10—12.

[85] Опала Демьяна Бедного продолжалась с 1938 г. до начала Великой Отечественной войны; книги его в эти годы не выходили, публикации в периодической печати не появлялись, произведения Демьяна Бедного были изъяты из школьных и вузовских программ. Подвергнутый критике за «клеветническое» истолкование русской истории и сатирическое изображение событий, связанных с крещением Руси, в либретто для оперы-фарса «Богатыри» (поставленной А.Я. Таировым в 1936 г. в Камерном театре), Демьян Бедный 13 июля 1938 г. был исключен из партии (восстановлен посмертно в 1956 г.). См.: *Демьян Бедный.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1965. Т. 7. С. 503—505 (примечания А.Р. Монастырского и Д.Е. Придворова); *Придворов Д.* Об отце // Воспоминания о Демьяне Бедном. М., 1966. С. 218—225.

[86] Имеется в виду сборник Анны Ахматовой «Из шести книг» (Л.: Советский писатель, [1940]).

[87] Статья А. Ахматовой «Последняя сказка Пушкина» была опубликована в «Звезде» в 1933 г. (№ 1. С. 161—176).

[88] В составленном Ивановым-Разумником сборнике статей «Современная литература» (Л.: Мысль, 1925) имя его, как редактора книги, не фигурирует, открывающее сборник редакторское Предисловие (С. 3—4) анонимно.

III. Приспособившиеся

Впервые: Новое слово. 1942. № 84 (466). 21 октября («Писательские судьбы. III. Приспособившиеся»).

[89] Наиболее вероятно, что описываемая Ивановым-Разумником встреча состоялась в Пушкине, в кругу писателей-«царскоселов», сложившемся в 1920-е гг. При таком допущении почти с полной уверенностью можно утверждать, что

одним из «орденоносцев» был В.Я. Шишков (награжденный орденом «Знак Почета»).

[90] Роман А.Н. Толстого «Черное золото. Зарисовки девятнадцатого года» (Л.; М.: Гослитиздат, 1932) позднее получил заглавие «Эмигранты», под которым неоднократно переиздавался.

[91] В журнале «Безбожник» С. Городецкий опубликовал стихотворения «Ведьма», «Красное яичко» и «частушки» (1925. № 2. С. 3; № 3. С. 7, 14; № 4. С. 13).

[92] Для новой постановки оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» (1836; либретто барона Е.Ф. Розена) Городецкий написал новый текст либретто (устраняя из прежнего «монархические» мотивы) под заглавием «Иван Сусанин». Отрывки из либретто «Иван Сусанин» в редакции Городецкого были опубликованы 5 сентября 1937 г. в газете «Советское искусство». См.: «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Текст С.М. Городецкого. М., 1955 (3-е изд. — М., 1976).

[93] РАПП была ликвидирована Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

[94] Непосредственный источник этих слов в текстах А.И. Герцена установить не удалось; ср. в статье «Русский народ и социализм. Письмо к И. Мишле» (1851): «Эта Россия начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает <...> новую силу зла, новую степень разврата и жестокости» (*Герцен А.И.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 329. Оригинал по-французски).

[95] См.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934 (переиздание — М., 1990).

[96] Имеются в виду строки из стихотворения Тараса Шевченко «Кавказ» (1845):

Од молдаванина до фіна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

[97] Источник выражения — речь Цицерона «Против Катилины» (VIII, 21).

[98] Л.К. Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института в 1921—1930 гг., был одним из основных обвиняемых во «вредительстве» на процессе «Промпартии» (25 ноября —7 декабря 1930 г.), сфабрикованном ОГПУ; в числе пятерых обвиняемых был приговорен к расстрелу, замененному на десять лет тюремного заключения; наряду с другими осужденными по делу был в начале февраля 1936 г. освобожден и восстановлен во всех политических и гражданских правах. Находясь в заключении, Рамзин пользовался всевозможными льготами, читал лекции и работал по своей основной специальности (см. свод свидетельств в кн.: *Флейшман Л.* Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. С. 27—28).

[99] В.Э. Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 г., расстрелян 2 февраля 1940 г. З.Н. Райх была убита в своей московской квартире в ночь с 13 на 14 июля 1939 г. — по всей вероятности, сотрудниками НКВД; это убийство связывали с ее обличительным письмом, направленным Сталину после ареста Мейерхольда. См.: *Эрдман Н.* Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. С. 487 (комментарии А.В. Гутерца).

Николай Клюев

Впервые: Новое слово. 1942. № 101 (483). 20 декабря.

[100] Неточная цитата из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». См.: *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 79.

[101] Отец Клюева Алексей Тимофеевич служил в армии в жандармском корпусе, получил чин фельдфебеля. См.: *Грунтов А.К.* Материалы к биографии Н.А. Клюева // Русская литература. 1973. № 1. С. 119.

[102] Памяти матери, Парасковьи Дмитриевны, Клюев посвятил цикл стихов «Избяные песни», впервые опубликованный в сб. 2 «Скифы» ([Пг.], 1918. С. 104—118). В данном случае, однако, Иванов-Разумник подразумевает, скорее всего, поэму Клюева «Песнь о Великой Матери» (см. ниже, примеч. 113), прообразом героини которой послужила мать поэта.

[103] Ср. сведения, сообщаемые Клюевым в заметке «От автора» (*Клюев Н.* Братские песни. М., 1912. С. XV).

[104] Передаваемые здесь рассказы Клюева о самом себе частично соотносятся с его автобиографическим повествованием «Гагарья судьбина» (1922; см.: Новое литературное обозрение. № 5. С. 104—121) и включают в себя сведения легендарного характера, не подтверждаемые — а в ряде случаев и опровергаемые — документальными данными. См.: *Азадовский К.* О «народном» поэте и «святой Руси» («Гагарья судьбина» Николая Клюева) // Там же. С. 97—98.

[105] Первая книга Клюева «Сосен перезвон» (М., 1912) с предисловием Валерия Брюсова вышла в свет в ноябре 1911 г. См.: *Азадовский К.М.* Переписка В.Я. Брюсова с Н.А. Клюевым (1911—1914) // Русская литература. 1989. № 3. С. 184—186, 192—194.

[106] Далее цитируются (с неточностями) начальные строфы стихотворения, впервые напечатанного в составе клюевского цикла «Земля и железо» в сб. 1 «Скифы» ([Пг.], 1917. С. 105—106; с посвящением: «Прекраснейшему из сынов крещеного царства, крестьянину Рязанской губернии, поэту Сергею Есенину») и вошедшего во 2-ю книгу собрания стихотворений Клюева «Песнослов» (Пг., 1919).

[107] См.: Письма Н.А. Клюева к Блоку / Вступ. статья, публ. и коммент. К.М. Азадовского // Лит. наследство. М., 1987. Т. 92, кн. 4. С. 427—523.

[108] «Я последний поэт деревни» — первая строка стихотворения С. Есенина (1920).

[109] В этом утверждении Иванов-Разумник едва ли прав: «Песнослов» (Кн. 1—2. Пг., 1919) был выпущен в свет Литературно-издательским отделом Наркомпроса в июле 1919 г. — в период, когда Клюев был членом РКП(б) (исключен из партии весной 1920 г.) и когда советская идеологическая цензура еще только начинала формироваться.

[110] Ср.: «Приблизительно в июле 1923 года Клюев был арестован в Вытегре и доставлен в Петроград, но через несколько дней выпущен. Причины ареста не вполне ясны <...>. Освободившись, поэт принимает решение не возвращаться в Вытегру <...>» (*Азадовский К.* Николай Клюев. Путь поэта. Л., 1990. С. 248).

[111] Поэма «Погорельщина» была закончена Клюевым в октябре 1928 г.; опубликована впервые Борисом Филипповым в «Полном собрании сочинений» Н. Клюева (Нью-Йорк, 1954), в СССР впервые — в 1987 г. в журнале «Новый мир» (№ 7).

[112] Клюев был арестован в Москве 2 февраля 1934 г. и отправлен в административную ссылку на пять лет (в поселок Колпашев Нарымского края).

[113] Рукопись поэмы «Песнь о Великой Матери» (1930—1931) была обнаружена в архиве КГБ; опубликована В.А. Шенталинским (Знамя. 1991. № 11. С. 3—44).

[114] Клюев был переведен в Томск в середине октября 1934 г.; арестован он там был гораздо позднее —5 июня 1937 г.

[115] Текст поэмы «Кремль», написанной в Колпашеве в 1934 г., утрачен. См.: *Азадовский К.* Николай Клюев. Путь поэта. С. 310—312.

[116] Эти сведения, как выясняется из следственного дела Клюева, извлеченного из архивов КГБ, не соответствуют действительности. Арестованный в Томске по сфабрикованному сибирским НКВД делу о «Союзе спасения России», Клюев был расстрелян там же между 23 и 25 октября 1937 г. См.: *Шенталинский В.* Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. [М.], 1995. С. 273—274; *Пичурин Л.* Последние дни Николая Клюева. Томск, 1995.

Лакейство

Впервые: Новое слово. 1943. № 1 (487). 3 января («Писательские судьбы. Лакейство»).

[117] Кн. 1 романа А.Н. Толстого «Петр Первый» вышла в свет в ленинградском издательстве «Прибой» в 1930 г., после ареста С.Ф. Платонова (12 января 1930 г.).

[118] Первый драматургический опыт А.Н. Толстого о Петре I — трагедия «На дыбе» (1928) — не был переработкой романа «Петр Первый», а, наоборот,

непосредственно предшествовал работе над ним (начатой в феврале 1929 г.). См.: *Крестинский Ю.А.* А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. М., 1960. С. 178—179, 184.

[119] Премьера пьесы «Петр Первый» («На дыбе») в МХТ-2 состоялась 23 февраля 1930 г. (постановка Б.М. Сушкевича).

[120] Второй вариант пьесы «Петр Первый» (в 4 действиях, 12 картинах) был опубликован в журнале «Новый мир» в 1935 г. (№ 1); в нем усилена линия Петра как государственного деятеля и ослаблен акцент на личной психологической драме. Сам Толстой писал о поставленной перед собой задаче в статье «Роман, пьеса, сценарий» (1934): «Вторая редакция пишется в ином, чисто реалистическом стиле, по-новому даются характеры действующих лиц, по-новому дается прежде всего фигура самого Петра. Теперь это человек реального действия. В первом варианте «Петр» попахивал Мережковским. Сейчас я изображаю его как огромную фигуру, выдвинутую эпохой. Новая пьеса полна оптимизма, старая — сверху и донизу насыщена пессимизмом» (*Толстой А.Н.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. 13. С. 575).

[121] Третий вариант пьесы «Петр Первый» (в 4 действиях, 10 картинах) был опубликован в журнале «Молодая гвардия» в 1938 г. (№ 3); в этом варианте пьеса была поставлена в ленинградском Гос. академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (режиссер — Б.М. Сушкевич).

[122] Иванов-Разумник в утрированном виде передает слова Петра, заключающие пьесу «Петр Первый» (1938): «В сей счастливый день окончания войны сенат даровал мне звание отца отечества. Суров я был с вами, дети мои. Не для себя я был суров, но дорога мне была Россия. Моими и вашими трудами увенчали мы наше отечество славой. И корабли русские плывут уже по всем морям. Не напрасны были наши труды, и поколениям нашим надлежит славу и богатство отечества нашего беречь и множить. Виват!» (*Толстой А.Н.* Полн. собр. соч. Т. 10. С. 358).

[123] Роль Петра в этой постановке исполнял В.В. Готовцев; И.Н. Берсенев выступал в роли царевича Алексея.

[124] См. мемуарный фрагмент из дневника Алексея Жемчужникова (15/27 ноября 1883 г.) (*Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. / Вступ. статья, редакция и примеч. П.Н. Беркова. М.; Л.: Academia, 1933. С. 488—489).

[125] Кн. 2 романа «Петр Первый» вышла в свет в 1934 г. (Л.: Гослитиздат).

[126] В печати, однако, в связи с постановкой «Петра Первого» в МХТ-2 появились многочисленные статьи разгромного характера; нападки исходили в основном от критиков РАПП (см.: *Крестинский Ю.А.* А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. С. 181—182). Тем не менее то, что изложенная Ивановым-Разумником история прямо или косвенно соответствует действительному ходу событий, подтверждает сам А.Н. Толстой в своей «Краткой автобиографии» (1943): «Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТе была встречена РАППом

в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе» (*Толстой А.Н.* Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 1. С. 87).

Фантастическая история

Впервые: Новое слово. 1943. № 33 (519). 25 апреля («Писательские судьбы. Фантастическая история»).

[127] Н.А. Заболоцкий был арестован 19 марта 1938 г., 2 сентября 1938 г. приговорен к пяти годам заключения. В феврале 1939 г. этапирован в Комсомольск-на-Амуре, где находился на различных лагерных работах в системе Востлага НКВД до мая 1943 г.; после этого работал в системе Алтайлага. Был вызван в Москву и восстановлен в Союзе писателей в начале 1946 г., благодаря многообразным хлопотам, в том числе ходатайству Н.С. Тихонова и А.А. Фадеева. О ходе следствия Заболоцкий рассказал в мемуарном очерке «История моего заключения» (1956), впервые опубликованном в переводе на английский язык в 1981 г. («The Times Literary Supplement», 9 Oct.) Робином Милнер-Гулландом, а по-русски — в историческом альманахе «Минувшее» (Вып. 2. Paris, 1986. С. 310—333. Вступ. статья и примечания Е. Эткинда). Свод документальных, мемуарных и эпистолярных свидетельств об аресте и заключении Заболоцкого см. в разделе «Тюрьма и лагеря. 1938—1944» в кн.: *Заболоцкий Н.А.* Огонь, мерцающий в сосуде... / Сост., жизнеописание, примеч. Никиты Заболоцкого. М., 1995. С. 365—453. См. также: *Заболоцкий Никита.* Жизнь Н.А. Заболоцкого. М., 1998. С. 259—356, 548—589 (Документы из дела по обвинению Н.А. Заболоцкого в антисоветской деятельности).

[128] Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1939 г. «О награждении советских писателей», были награждены «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы» орденом Ленина —21 писатель, орденом Трудового Красного Знамени — 49 писателей, орденом «Знак Почета» —102 писателя. См.: Литературная газета. 1939. № 7.

[129] Н.С. Тихонов был награжден орденом Ленина, К.А. Федин — орденом Трудового Красного Знамени.

[130] Н.И. Ежов был расстрелян 4 февраля 1940 г.

[131] По предварительному «сценарию» разрабатывавшегося в НКВД дела о контрреволюционной писательской организации в Ленинграде на роль ее руководителя был намечен Н.С. Тихонов, а среди участников фигурировали К.А. Федин, И.Г. Эренбург, Н.К. Чуковский и другие писатели, репрессиям не подвергшиеся. См.: О Марсиевых ранах: поэт Бенедикт Лившиц / Публ. Е.В. Лукина // Русская литература. 1993. № 2. С. 216—230; *Шнейдерман Э.* Бенедикт Лившиц: арест, следствие, расстрел // Звезда. 1996. № 1. С. 82—126;

Парнис А. Первая книга по истории русского футуризма // *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец: Воспоминания. М., 1991. С. 246, 250—251.

«Пролетарская литература» и «социалистический реализм»

Впервые: Новое слово. 1943. № 35 (521). 2 мая («Писательские судьбы. Пролетарская литература и социалистический реализм»).

[132] Евангельская реминисценция; ср.: «...из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин I, 46).

[133] Имеется в виду статья историка, филолога и литературного критика П.М. Бицилли «Зощенко и Гоголь» (Числа. (Париж). 1932. Кн. 6. С. 211—215); в ней прослежена разработка в произведениях Зощенко гоголевских стилевых приемов и сюжетных построений.

[134] Имеется в виду кампания против Д. Шостаковича, развязанная после появления в «Правде» 28 января 1936 г. редакционной статьи «Сумбур вместо музыки», в которой была разгромлена его опера «Катерина Измайлова»; вторую статью о Шостаковиче, направленную против его балета «Светлый ручей», «Правда» поместила 6 февраля 1936 г.

[135] Возможно, имеется в виду рецензия П. Бицилли на книгу Тэффи «Ведьма» (Берлин, 1936), в которой, однако, фигурируют другие классические параллели к творчеству русской писательницы: «На тысячу ладов она разрабатывает одну и ту же тему, никогда, однако, этим не наскучивая, ибо тема эта вечная, неисчерпаемая <...> Это тема Шиллеровой оды и бетховенской симфонии на ее текст, тема радости» (Современные записки (Париж). 1936. Кн. 61. С. 472).

[136] *Антон Крайний* — псевдоним З.Н. Гиппиус, которым она подписывала свои литературно-критические и публицистические статьи.

Советская литература

Впервые: Новое слово. 1943. № 38 (524). 12 мая («Писательские судьбы. Советская литература. I. Поэзия»); № 40 (526). 19 мая («Писательские судьбы. Советская литература. II. Проза»).

[137] Выражение из первого очерка («Материалы, сообщенные фельдшером Кузьмичовым») цикла «Скучающая публика» (1884): «А поглядите-ка на нее так, со стороны, или, как говорится, с птичьего, например, дуазо, так она, Анна-то Ивановна, оказывает из себя довольно миловидную брюнетку...»(*Успенский Г.И.* Полн. собр. соч. [Л.], 1949. Т. 9. С. 23—24).

[138] В библиографическом перечне критических отзывов о романе Л. Леонова «Скутаревский» (М.: Федерация, 1932) статья К.Л. Зелинского не зафиксирована. См.: Русские советские писатели. Прозаики: Биобиблиогр. указатель. Л., 1964. Т. 2. С. 699—701.

[139] О поэме Вл.В. Гиппиуса «Лик человеческий» (Пб.; Берлин: Эпоха, 1922) Иванов-Разумник писал в статье «Три богатыря» (Летопись Дома литераторов. 1922. № 7. С. 5).

[140] Отношения Иванова-Разумника с Юргисом Балтрушайтисом завязались в 1913 г. на почве сотрудничества в журнале «Заветы». См.: *Балтрушайтис Ю.К.* Письма к В.С. Миролюбову и Р.В. Иванову-Разумнику / Публ. Б.Н. Капелюш // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 159—177.

[141] В.А. Пяст скончался от рака в Голицыне (Московской обл.) 19 ноября 1940 г. (см. письмо Н.А. Павлович к В.Н. Княжнину от 2 декабря 1940 г. // ИРЛИ. Ф. 94. Ед. хр. 57).

[142] Из баллады М.Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840).

[143] Из «Современной песни» (1836) Дениса Давыдова. См.: *Давыдов Д.* Стихотворения. Л., 1984. С. 115.

[144] См. примеч. 83 к очерку «II. Задушенные».

[145] Указом от 31 января 1939 г. Н.Н. Асеев был награжден орденом Ленина.

[146] Андрей Белый работал в Московском Пролеткульте (литературная студия, беседы-семинарии, курсы лекций «Ритмика» и «Теория художественного слова») с октября 1918 по май 1919 г. В архиве Иванова-Разумника сохранились наброски Белого к анализу стихотворения В. Казина «Бреду я вечером на Пресню...» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 69). См. стихотворение В. Казина «А. Белому» («Все жесты, жесты у него...») (Гудки. 1919. № 2. С. 18).

[147] Автобиографический очерк М.М. Пришвина «Охота за счастьем» был впервые опубликован в «Новом мире» (1926. № 11), вошел в сборники Пришвина «Погоня за счастьем» (М.: Федерация, 1927), «Охота за счастьем» (М.: Московское товарищество писателей, 1933).

[148] Из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» («Вот наш патент на благородство...», 1883).

[149] Мысль о «золотом веке» русской литературы начала XX в., эпохи расцвета символизма, и о «серебряном веке» последовавшей литературной эпохи (писатели 1920-х гг.) Иванов-Разумник впервые обосновал в статье «Взгляд и нечто» (1924), опубликованной под псевдонимом Ипполит Удушьев (Современная литература: Сб. статей. Л.: Мысль, 1925. С. 161—162).

[150] Возможно, имеется в виду статья И. Гринберга «Автор “Двадцатого века”» (Резец. 1932. № 25/26. С. 34—35). «Двадцатый век» — роман И.И. Уксусова (Кн. 1. Л., 1930; Кн. 1—2. Л.; М., 1933). Об И.И. Уксусове см.: *Дичаров З.* Распятые: Писатели — жертвы политических репрессий. СПб., 1998. Вып. 4. С. 194—232.

[151] Роман «Цемент», опубликованный впервые отдельным изданием в т. 3 Собрания сочинений Ф.В. Гладкова (М.; Л.: Земля и фабрика, 1926), в 1926—1927 гг. выдержал 11 изданий.

[152] Роман П.С. Романова «Русь» (кн. 1—2) был впервые опубликован московским издательством М. и С. Сабашниковых в 1923—1924 гг.; 5-е издание романа (ч. 1—3) — в составе Полн. собр. соч. П. Романова (Т. 10—12. М.: Недра, 1929—1930).

[153] «Севастополь» (1931) — роман А.Г. Малышкина. В советской литературе 1930-х гг. Малышкин пользовался репутацией одного из наиболее значительных ее представителей.

[154] Указом от 31 января 1939 г. Евг. Петров был награжден орденом Ленина.

[155] См. примеч. 45 к очерку «I. Погибшие».

[156] Имеются в виду романы И.Г. Эренбурга «Любовь Жанны Ней» (М.: Россия, [1924]; Л.; М.: Новелла, 1925) и «Жизнь и гибель Николая Курбова» (Берлин: Геликон, 1923; М.: Новая Москва, 1923).

[157] Проведенная Ивановым-Разумником параллель между «Тихим Доном» и произведениями Ф.Д. Крюкова примечательна в аспекте позднейших разработок вопроса об авторстве «Тихого Дона»; И.Н. Медведевой-Томашевской и А.И. Солженицыным Крюков был назван как вероятный автор первоначальной версии текста романа. См.: *Д**. Стремя «Тихого Дона» (Загадки романа). Paris, 1974; Загадки и тайны «Тихого Дона». Т. 1: Итоги независимых исследований текста романа. 1974—1994. Самара, 1996; *Мезенцев М.Т.* Судьба романов: К дискуссии по проблеме авторства «Тихого Дона». Самара, [1998].

[158] Во второй половине 1920-х гг. Иванов-Разумник работал над большой статьей, посвященной анализу романа Андрея Белого «Москва»; сохранился развернутый машинописный план этой работы 1926 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 79). К 1941 г. относится статья Иванова-Разумника о жизни и творчестве М.М. Пришвина, сохранившаяся не полностью (Там же. Ед. хр. 49). См. также статью Иванова-Разумника «Мелкая форма» (1930), напечатанную с подзаголовком «Из работы Романа Новосельского “Очерк об очерке”» в кн.: *Пришвин М.* Скорая любовь: Избранные произведения. М.: ГИХЛ, 1933. С. 11—18 (подпись: Роман Новосельский).

[159] Сформулированные в статье общие оценки советской литературы и характеристики ее основных представителей сложились у Иванова-Разумника ещё в 1930-е гг.; в частности, в письме к А.Н. Римскому-Корсакову от 10 ноября 1934 г. из Саратова он высказал ряд соображений, которые можно рассматривать как предварительный набросок будущей панорамы: «...отвечаю Вам кратко и аподиктично, но мог бы развернуть эту краткость в доказательную статью. Жаль, «Красная Новь» не напечатает. Все, упоминаемое Вами, прочел, да сверх того еще и «Я люблю» Авдеенки, и «Похищение Европы» Федина, и второй том «Петра» глупого Алеши, и «Похождения факира» Вс. Иванова (лучшее

из прочитанного), и еще многое другое. Общее впечатление: все это, как и все упоминаемое Вами, — очень второсортно и еле-еле держится на уровне средних романов старых сборников «Знания». Почему это и не может быть иначе — понятно для того, кто прочел статью «Взгляд и нечто» Ипполита Удушьева <...> В «Поднятой целине» — все по шаблону, вплоть до увеселительного деда; «Похищение Европы» — написано по лучшим образцам и адски скучно; «Петр» — не роман, а сборник сцен, иной раз очень живых и выпуклых; «Я люблю» — технически до жалости беспомощно; «Капитальный ремонт» — вещь совершенно мертвая. Перед всеми этими писателями Сергеев-Ценский, например, — совершенный Монблан, а «Золотой Рог» Пришвина (и особенно «Корень Жизни» в нем) — недосягаемый Эверест. О «Масках» А. Белого — не говорю: не всякому по зубам» (Российский институт истории искусств (С-Петербург). Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ

В настоящем издании полный текст воспоминаний публикуется по машинописи, хранящейся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира (США), в фонде Б.И. Николаевского (Hoover Institution Archives. B. Nicolaevsky Collection. Box № 166. Folders 1—2). Пунктуация и орфография приведены в соответствие с современными требованиями. Очевидные опечатки исправлены. Ранее этот текст воспоминаний был опубликован в петербургском журнале «Мѣра» (1994, № 1, 2, 4; 1995, № 1).

Впервые книга была опубликована племянником автора — Георгием Янковским (Янкаускасом) с издательскими сокращениями (*Иванов-Разумник Р.В.* Тюрьмы и ссылки. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953). По этому изданию был сделан английский перевод (The Memoirs of Ivanov-Razumnik / Transl. by P.S. Squire. London: Oxford University Press, 1965; см. также: *Сквайр П.* Об английском переводе «Тюрем и ссылок» и их авторе Иванове-Разумнике (Воспоминания переводчика) // Мѣра. 1994. № 4. С. 160—163). Здесь же была опубликована «Заметка о последующей судьбе рукописей Иванова-Разумника после его смерти» Г. Янковского, написанная в ноябре 1964 г.:

«В августе 1946 г., почти шесть месяцев спустя после смерти Иванова-Разумника, один человек странной внешности посетил меня и осведомился о бумагах моего друга. Он подчеркнул, что был его другом и учеником. Он сказал, что ему известно про работы Иванова-Разумника, которые должны быть опубликованы, и что он хочет это сделать, потому что чувствует себя обязанным исполнить долг по отношению к своему безвременно ушедшему учителю. Мне запомнилось, что он был очень настойчив. Я до сих пор не знаю, кто это был.

Осенью 1946 г. были подготовлены две машинописные копии оригинальной рукописи. Одна из них была послана родственнику автора, проживавшему тогда в Канаде.

В 1948 г. моя семья покинула Германию и перебралась в США. Другая копия находилась на дне чемодана, хранившегося в корабельном трюме. Оригинальную рукопись я вез в маленьком чемоданчике. Когда мы сошли на берег и наконец-таки оказались в США, рукопись из моего чемоданчика пропала без вести — как она исчезла, я не имею понятия. Кража была совершена очень искусно. Тем не менее машинописная копия в трюме доплыла невредимой. Четыре года спустя она была отправлена в типографию. Тем временем вторая копия из Канады также оказалась у меня.

Итак, рукопись пережила деревянную могилу в «буфете», захоронение в консервной банке, войну, мир, кражу, корабельный трюм — пережила, как автор предсказывал, чтобы увидеть свет литературного мира и рассказать людям, как в старые времена их деды наслаждались жизнью» (перевод с английского В.Г. Белоуса).

В рецензии Бориса Филиппова отмечалось: «...книга Иванова-Разумника писалась клочками, писалась более десяти лет, рукопись пряталась в СССР, где ее держать было опасно, продолжалась в немецком лагере Кониц, все это урывками, иногда — по горячим следам вчерашних истязаний, иной раз — под наплывом уже иных, немецких лагерных и военных переживаний. Но, может быть, поэтому, благодаря этой встревоженности и неровности изложения, благодаря тому, что в этой книге Иванов-Разумник сам — герой страстного и взволнованного рассказа, — может быть, благодаря этому, его книга и производит такое потрясающее впечатление. А какой клад эта книга для исследователей литературы советского периода! <...> Прекрасны портретные зарисовки населения ленинградских и московских камер следственных тюрем <...>» (Новый журнал. (Нью-Йорк). 1953. Кн. 33. С. 306).

Публикация выполнена в рамках темы «Судьба архивов Р.В. Иванова-Разумника», поддержанной OSI/HESP The Research Support Scheme (грант № 995/1997). Публикатор выражает благодарность специалисту Hoover Institution Archives Рональду М. Булатову за плодотворные консультации.

[1] В архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. № 197, 198, 200) сохранилось 153 письма к В.Н. Ивановой, охватывающих период с 1901 по 1937 г. Ответные письма В.Н. Ивановой не сохранились. См.: «Дорогая моя и любимая Варя...» Письма Иванова-Разумника В.Н. Ивановой из саратовской ссылки / Публ. В.Г. Белоуса // Минувшее: Исторический альманах.. СПб., 1998. [Вып.] 23. С. 419—447.

[2] Речь идет о Михаиле Михайловиче Пришвине, с которым Иванова-Разумника связывали многолетние дружеские отношения. В архиве Пришвина (РГАЛИ) хранятся письма к нему Иванова-Разумника; из ответных сохранились всего три письма (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 315—317).

[3] В архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 102) сохранилась беловая рукопись статьи «Письма без адресатов» (под заглавием «О переводах вообще и о переводах Аристофана в частности»), написанная в Саратове в 1934—1935 гг. В искаженном и сокращенном виде она была напечатана в журнале «Литературный критик» (1936. Кн. 8. С. 170—185) под псевдонимом Р. Новосельский. Судьба книги под таким же названием, написанной в 1942—1944 гг., неизвестна.

[4] Рукопись была уничтожена в НКВД после ареста 1937 г. См. примеч. 217.

[5] Вариация эпической формулы, завершающей многие русские былины. См., напр.: Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977. С. 24, 62, 106, 120 и др.

[6] Имеется в виду Пришвин. Вероятно, это произошло в сентябре 1936 г. См.: *Пришвин М.* «Жизнь стала веселей...» Из дневника 1936 г. / Публ. Л.А. Рязановой // Октябрь. 1993. № 10. С. 14.

[7] Вероятно, фамилия хозяина дома сознательно изменена. Материалы «Дела» Р.В. Иванова 1937 г. свидетельствуют, что Иванов-Разумник жил в Кашире, по Пролетарской ул., д. 9а у Орлова Василия Герасимовича, который на допросе дал следующие показания: «Я лично от Иванова никаких антисоветских слов не слышал, так как он на политические темы со мной разговоры не вел» (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165).

[8] По свидетельству В.М. Зензинова — автора вступительной заметки к нью-йоркскому изданию «Писательских судеб», «работа была закончена и уже набиралась в типографии, когда в нее попала бомба — набор и рукопись сгорели» (*Иванов-Разумник Р.* Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951. С. 2). О жизни Иванова-Разумника в оккупированном немцами Пушкине см.: *Осипова Л.* Дневник коллаборантки. Царское Село (город Пушкин) // Грани. 1954. № 21. С. 92—131.

[9] Речь идет о Янковских (Янкаускасах) — родственниках Иванова-Разумника по материнской линии. В архивном фонде Департамента земельной реформы, в деле за 1928—1938 гг. об имении Данилишкес, волости Сурвилишкис, Кедайняйского уезда, имеются сведения, что с 7 мая 1891 г. имением владел Константин Янкаускас, после его смерти — Барбара Янкаускене, которая своим завещанием оставила его своему единственному сыну Платону Константиновичу Янкаускасу (Литовский центральный государственный архив. Ф. 1248. Оп. 9. Ед. хр. 717). П.К. Янкаускас — двоюродный брат Иванова-Разумника. См. также примеч. 24.

[10] Судьба книги «Оправдание человека» («Антроподицея») неизвестна. См.: *Белоус В.* Реконструкция «Антроподицеи», или Самооправдание Иванова-Разумника // Русская мысль. 1995. № 4102—4103.

[11] В 1944 г. Иванов-Разумник поселился в Конице у судебного советника Олафа Велдинга. См.: *Cheron G.* The Wartime Years of Ivanov-Razurnnik: Correspondence with N. Berberova // Literature, Culture, and Society in the Modern Age. Part 2. Stanford, 1992. P. 403—404, а также: *Раевская-Хьюз О.* Иванов-Разумник в 1942 году // Блоковский сборник. XIII. Русская культура XX века: метрополия и диаспора. Тарту, 1996. С. 214—232.

[12] Имеются в виду Бестужевские курсы — женское высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге (1878—1917). См.: С.-Петербургские Высшие женские курсы за 25 лет. 1878—1903: Очерки и материалы. СПб., 1903.

[13] П.В. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н.П. Боголепова, утвердившего в 1899 г. правило об отдаче студентов в солдаты за участие в «беспорядках»; был осужден на 20 лет каторги.

[14] См., напр.: *Выдрин Р.* Основные моменты студенческого движения в России. М., 1908; *Чертков В.Г.* Русские студенты в освободительном движении. М., 1908; *Энгель Г., Горохов В.* Из истории студенческого движения 1899—1906. СПб., 1908; *Орлов В.И.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934.

[15] В кружке на историко-филологическом факультете, руководимом А.С. Лаппо-Данилевским, Иванов-Разумник выступал с рефератами «Значение М. Горького в современной русской литературе» (7 ноября 1900 г.) и «О «декадентстве» (в современной литературе» (30 октября 1901 г.).

[16] В статье, подготавливаемой для «Словаря революционных деятелей» (1925), Иванов-Разумник писал: «Александр Александрович Лекаст, мой двоюродный брат, — переселился во Владивосток под именем Вл. Колобова (присужденный, как Лекаст, к тюрьме за издание в Курске 1905—6 гг. революционной газеты). Дальнейшая судьба его (после 1917 г.) мне неизвестна» (ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. № 69). А.А. Лекаст — автор книги, изданной под псевдонимом Адам Лель, — «Записки студента. 1900—1903 гг. “В погоне за крамолой”» (СПб., 1908). В 1934 г. Лекаст, проживавший в это время в Подмосковье, возобновил переписку с Ивановым-Разумником, продолжавшуюся до 1941 г. (ИРЛИ. Ф.79. Оп.1. № 286).

[17] См.: Реферат Иванова-Разумника «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции» (1900) / Публ. Е.В. Ивановой и А.В. Лаврова // Лит. наследство. М., 1988. Т. 95. С. 727—741.

[18] Ср. рассказ Иванова-Разумника о первых днях пребывания в заключении в письме к А.Н. Римскому-Корсакову от 7 марта 1901 г.: «...ночь с 4 на 5-е провел вместе с 200 товар[ищами] в Конногвардейском манеже, на соломе, при

температуре в 5°. На следующий день, 5-го м[арта], нас перевели в Пересыльную тюрьму (Казачий плац); нас тут 219 студентов и 169 курсисток: сегодня в 2 ч. дня привезут еще партию. Конечно, это не все арестованные 4-го марта; остальные сидят в других местах — напр[имер], медики на гауптвахте; здесь только — универсанты, лесники и технологи.

Говоря откровенно, здесь довольно-таки скверно. Не говоря уже о том, что нас в камере 20 человек, что мы слоняемся целый день без дела в своей клетке — но и кормят нас далеко не важно: — щи с тараканами и каша; есть все это довольно трудно, и мы питаемся всухомятку — колбасой, сыром, чаем. <...> Мы изобретаем разные развлечения, издаем газеты и журналы, поем хором; я с одним colleg'ой играю à l'aveugle [вслепую. — *фр.*] в шахматы, читаем старые газеты (новых не дают).

Свидания пока не разрешены. Масса народа приходит со стороны Обводного канала, по льду, и мы перекликаемся с ними из окошка. Также говорим с другими номерами по водосточным трубам, перестукиванием и т.п.» (Российский институт истории искусств, далее — РИИИ. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[19] 14 марта 1901 г. Иванов-Разумник писал А.Н. Римскому-Корсакову из Пересыльной тюрьмы: «...сегодня вечером устраивается большой «спектакль» (!); по всем камерам вывешены большие афиши. Одна из них висит теперь передо мной и гласит следующее:

Арестантский театр.
Сегодня, 14-го марта 1901 года
Большой спектакль
1) Медведь. Комедия Чехова
2) Предложение, его же
Пишутся новые декорации.
Занавес и костюмы изготовляются у курсисток в камерах № 10—16.
Цена местам от 15 до 2-х копеек» (Там же).

[20] 17 марта 1901 г. Иванов-Разумник сообщал А.Н. Римскому-Корсакову об этом выступлении: «...вчера был у нас литературный вечер, где я подвизался в чтении реферата о М. Горьком и был единственным исполнителем. Сперва я прочел в верхнем этаже, для студентов, а потом внизу у курсисток. Курсисток всех поместили в одну камеру, а меня поставили по сю сторону решетки — так был прочитан реферат, так же происходили и прения. С одной курсисткой я сцепился жестоко из-за определения понятия культуры и интеллигенции» (Там же).

[21] Пьеса Генрика Ибсена «Доктор Штокман» («Враг народа», 1882) с К.С. Станиславским в главной роли, поставленная Московским художественным театром в октябре 1900 г., в Петербурге была впервые сыграна на гастролях 23 февраля 1901 г.; об этих спектаклях, совпавших с днями студенческих вол-

нений и воспринимавшихся под их знаком, Станиславский вспоминал: «...театральный зал был до крайности возбужден и ловил малейший намек на свободу, откликался на всякое слово Штокмана <...>» (*Станиславский К. С.* Моя жизнь в искусстве. М., 1962. С. 306). У Иванова-Разумника был билет на представление «Доктора Штокмана» 13 марта, которым он не мог воспользоваться; 7 марта он писал А.Н. Римскому-Корсакову из Пересыльной тюрьмы: «13-го числа вызовите за меня 100 раз Доктора Штокмана»; 14 марта — ему же: «Вчера вечером я жестоко скучал и завидовал Вам, помня, что 13-го марта идет «Доктор Штокман». Скажите, как он прошел? С урезками или без оных?» (РИИИ. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[22] Драма Герхарта Гауптмана «Одинокие» (1891), поставленная в Московском художественном театре К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко (премьера —16 декабря 1899 г.), имела огромный зрительский успех.

[23] Статистик Самарской губернской земской управы М.К. Лаговский 9 марта 1901 г. стрелял в окно квартиры обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева.

[24] О прибытии в Данилишки Иванов-Разумник известил А.Н. Римского-Корсакова 24 марта 1901 г. (РИИИ. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[25] В университетском деле Иванова-Разумника имеется его прошение ректору Петербургского университета (от 26 марта 1901 г.) о выдаче вида на проживание летом 1901 г. в Ковенской губернии (почт. отд. Кракиново, имение Данилишки): «т[ак] к[ак] по серьезным причинам я вынужден был поспешно выехать из СПб., 20-го сего мая» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 34311. Л. 13). Поспешный отъезд был вызван болезнью — последствиями простуды (в ночь ареста с 4 на 5 марта 1901 г.) с угрозой скоротечной чахотки. 18 мая 1901 г. Иванов-Разумник писал А.Н. Римскому-Корсакову: «Ровно два месяца тому назад меня, раба Божьего, выслала из СПБурга полиция; теперь, из этого же города и на гораздо более продолжительное время, меня высылают доктора» (РИИИ. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[26] кого хочет погубить — лишает разума (*лат.*).

[27] Поэт-символист Л.Д. Семенов — в университете «академист», затем участник революционного движения. После смерти невесты порвал с петербургской средой и ушел «в народ». В 1910-е гг. Семенов жил крестьянским трудом, в 1917 г. подвергался травле со стороны банды уголовника Чванкина: 13 декабря убит выстрелом из дробовика, а его дом разгромлен. Вероятно, здесь Иванов-Разумник имеет в виду книгу В.А. Пяста «Встречи» (М., 1929), в которой Семенову посвящена отдельная глава. См. также предисловие В.С. Баевского к публикации автобиографической книги Семенова «Грешный грешным» // Русская филология. Ученые записки Смоленского гуманитарного университета. Смоленск, 1994. Т. 1. С. 189, а также: *Семенова-Тян-Шанская—Болдырева В.* О Леониде Семенове // Collegium (Киев). 1994. № 1.

[28] В университетском деле Иванова-Разумника сохранилась справка (датируется мартом 1902 г.) о прослушанных им лекциях за I—VII семестры (1897—1901) и увольнении «за участие в бесп[орядках] <...> 5 февр[аля] с. г., с правом обратного поступления не ранее янв[аря] 1908 г., но без запрещения поступления в другие универ[ситеты]» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 34311. Л. 9—9 об.).

[29] Еще в письме к А.Н. Римскому-Корсакову от 28 июня 1901 г. Иванов-Разумник сообщал, что врач рекомендует ему, с целью предотвращения туберкулеза легких, «уехать на зимний семестр либо в какой-либо из загран[ичных] южных универс[итетов], либо в Киев или Одессу, а лучше всего на Кавказ или в Крым» (РИИС. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[30] 13 марта 1902 г. Иванов-Разумник писал А.Н. Римскому-Корсакову из Симферополя: «Вот я уже и на месте назначения, после трехдневной остановки в Москве. Приехал сюда вот уже два дня, все это время убил на поиски помещения <...> Начал искать работу, которую, кажется, найти будет не так легко, как комнату: на высланного студента все косятся» (Там же).

[31] Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Все это было, было, было...» (1909).

[32] О.Д. Хвольсон — автор трудов по электричеству, магнетизму — был известен своим «Курсом физики», выдержавшим несколько изданий в дореволюционное и советское время.

[33] В архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 22) сохранилась монография «Философия физики» (1899—1900).

[34] Точное название курса А.С. Лаппо-Данилевского, который слушал Иванов-Разумник, — «Систематика социальных явлений разных порядков».

[35] Имеется в виду главный труд Д.С. Милля «Система логики» (1843), неоднократно издававшийся в русском переводе.

[36] Речь идет о первой книге Иванова-Разумника «История русской общественной мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.», принесшей ему литературное имя и выдержавшей пять изданий в 1906—1918 гг. Самые ранние сведения о замысле этого труда — в письме Иванова-Разумника к А.Н. Римскому-Корсакову от 6 апреля 1902 г. из Симферополя: «...я решил употребить 2 года предстоящего симферопольского сидения на колоссальную и окончательную «умственную рвоту» (как весьма неэстетично выражаетесь Вы); именно, решил воздвигнуть себе мавзолей уже не предполагавшейся шеститомной «Философией Физики» (на что мне не хватит ни знания, ни времени), а однотомной — этак в 300 печ. стр. — книгой, посвященной вопросу (— величайший секрет!! —) о постепенном развитии индивидуализма в русской жизни и русской литературе последних десятилетий» (РИИИ. Ф. 8. Р. VII. Ед. хр. 216).

[37] В архиве Иванова-Разумника сохранилось печатное извещение: «Елена Павловна и Николай Густавович Оттенберг покорнейше просят Вас пожаловать

на бракосочетание дочери их Варвары Николаевны с Разумником Васильевичем Ивановым имеющее быть января 1903 года в имении их «Даче Новоселки» Владимирск. губ. Юрьевского уезда» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 33). Точная дата —20 января — в извещении не проставлена.

[38] «История русской общественной мысли» Иванова-Разумника, отпечатанная в Петербурге в типографии М.М. Стасюлевича, вышла в свет в середине октября 1906 г. (см. письмо Иванова-Разумника к М.К. Лемке от 17 октября 1906 г. // ИРЛИ. Ф. 661. Ед. хр. 469).

[39] Подразумевается статья «Марксистская критика», вошедшая в сборник статей Иванова-Разумника «Литература и общественность» (СПб., 1910).

[40] О С.П. Постникове см.: «Нельзя упустить им созданную библиотеку...»/ Публ. А. Чернова // Источник. 1993. № 4. С. 122—127; *Янгиров Р.* «Заветный друг» Евгения Замятина. Новые материалы к творческой биографии писателя // Russian Studies. 1996. Т. II. № 3. С. 478—520. В 1942 г., проживая в годы эмиграции в Праге, Постников возобновил контакты с Ивановым-Разумником. Об обстоятельствах вхождения Иванова-Разумника в редакцию «Заветов» в 1912 г. см.: *Леонтьев Я.В.* Иванов-Разумник и освободительное движение в России. Дореволюционный период // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 7—16.

[41] Речь идет об издававшейся группой петербургских эсеров (М.А. Лихач, А.В. Неручев и др.) легальной рабочей газете «Трудовой голос», выходившей в феврале — июле 1913 г. и после ее закрытия властями выходившей под другим названием (всего —10), в которых варьировались прилагательные к слову «мысль» — «Живая мысль», «Заветная мысль» и т.д., с началом Первой мировой войны она была окончательно закрыта.

[42] Вероятно, имеется в виду статья Иванова-Разумника «Н.К. Михайловский и интеллигенция», напечатанная 29 января 1914 г. в эсеровской газете «Верная мысль» к 10-летию со дня смерти Михайловского.

[43] Правильно — Михаил Михайлович Исаев (у Иванова-Разумника неверно указан второй инициал).

[44] Речь идет о так называемом «мятеже левых эсеров» 6—7 июля 1918 г. Подробнее см.: Красная книга ВЧК. М., 1989. Т. 1; Левые эсеры и ВЧК: Сборник документов. Казань, 1996. С. 66—233.

[45] Издания партии левых социалистов-революционеров, литературные отделы которых возглавлял Иванов-Разумник.

[46] О работе близких к Иванову-Разумнику «скифов» в ТЕО Наркомпроса см: Блок в Театрально-литературной комиссии и ТЕО Наркомпроса. Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензия Блока / Предисл. и публ. Е.В. Ивановой // Лит. наследство М., 1993. Т. 92, кн. 5.С. 134—222; *Заблоцкая А.Е.* Конст. Эрберг в научно-теоретической секции ТЕО Наркомпроса (1918—1919)

// Минувшее. М.; СПб., 1996. [Вып.] 20. С. 389—403. Идейные и творческие связи Блока с Ивановым-Разумником отражены в их переписке, опубликованной А.В. Лавровым. См.: Лит. наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2. С. 366—414.

[47] Речь идет о петроградской Вольной философской ассоциации (1919—1924), у истоков которой стояли Иванов-Разумник, Блок, Конст. Эрберг, Белый, Штейнберг, Мейерхольд, Петров-Водкин и др. См.: *Иванов-Разумник Р.В.* О Петроградской Вольфиле 1921—1923 гг. / Публ. Я.В. Леонтьева // Вопросы философии. 1993. № 12. С. 69—77; *Иванова Е.В.* Вольная Философская Ассоциация. Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 3—77; *Белоус В.Г.* Петроградская Вольная философская ассоциация (1919—1924) — антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране. М., 1997.

[48] В заведенном тогда «Деле № 8000» Иванова-Разумника имеется телеграмма, отправленная из Москвы и принятая Петроградской ЧК 13 февраля в 5 час. 5 мин., где говорится: «Произведите тщательный обыск и арестуйте Разумник Иванова Детское Колпинская 20 Препроводите Москву Лацису <...> = Председатель». Следующим документом является ордер Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией Союза коммун Северной области от 13 февраля 1919 г., выданный в 13 час. 30 мин. и подписанный председателем ЧК Скороходовым и секретарем Шимановским: «Поручается товарищу Клиновскому произвести обыск и арест Иванова-Разумника, Детское село, Колинская (так!) ул., 20» (Архив ФСБ СПб. Дело № П—53416. Т. 2).

[49] Часть рукописей этой книги была во время обыска изъята. 17 февраля 1919 г. Иванов-Разумник писал жене: «...переписанное вступление к «Антроподицее» <...> на Гороховой; надо будет потом добыть его оттуда» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200).

[50] Основная часть протокола была написана Ивановым-Разумником собственноручно:

«Протокол допроса гр-на Разумник Васильевич Иванов-Разумник прожив. в Детском Селе, Колпинская ул., д. № 20, кв. 2 на допросе в Чрезвком 14 февраля 1919 год[а] показал следующее: — *в Детском (б. Царском) Селе живу подряд с 1907 года, занимаясь литературой. Редактировал в 1912—1914 гг. лево-народнический журнал «Заветы», литературный отдел. С марта 1917 года по октябрь заведовал литературным отделом газеты «Дело народа», а после разделения партии с.-р. на «правых» и «левых» — был редактором литературного отдела сперва газеты лев[ых] с.-р. — «Знамя труда», а затем такого же отдела и журнала «Наш путь» (вышли две книги — Апрель и Май 1918 г.). Кроме того в издательстве лев[ых] с.-р. вышла моя книга «Год революции» и брошюра о поэме Александра Блока «Двенадцать». За последнее время — дал согласие редактировать литературные отделы долженствовавшего легально выходить в Москве еженедельника «Знамя».*

Членом партии лев[ых] с.-р. не состоял и не состою, как не состою членом и какой бы то ни было другой партии.

14 февр. 1919 г. Разумник Иванов-Разумник»
(Архив ФСБ СПб. Дело № П—53416. Т. 2).

[51] О своем «хождении по Гороховым мукам» А.М. Ремизов повествует в разделе «Лошадь из пчелы» книги «Взвихренная Русь». См.: *Ремизов А.* Взвихренная Русь. Париж, 1927. С. 274—292.

[52] Е.И. Замятин вступил в РСДРП(б) осенью 1905 г.; в «Автобиографии» (1928) он писал в этой связи: «В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком» (*Замятин Е.* Избранные произведения. М., 1989. С. 39). См.: *Любимова М.Ю.* Е.И. Замятин в годы первой русской революции (Из писем Замятина 1906 г.) // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ. История России XIX—XX веков: Сб. научных трудов. Л., 1991. С. 97—107.

[53] Цитата — из стихотворения Блока «О, я хочу безумно жить...», открывающего его цикл «Ямбы» (1907—1914). Сборник «Памяти Александра Блока» — единственное печатное издание Вольфилы — вышел в Петрограде в 1922 г. тиражом в 5 тыс. экземпляров и включал в себя тексты выступлений А. Белого, Штейнберга и Иванова-Разумника на LXXXIII открытом заседании Ассоциации 28 августа 1921 г., посвященном умершему поэту. О совместном с Блоком пребывании под арестом А.З. Штейнберг рассказывает также в воспоминаниях «Друзья моих ранних лет (1911—1928)» (Париж, 1991. С. 35—42). См. дневниковые записи Блока от 14—17 февраля 1919 г. (*Блок А.* Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 449—450), а также: *Иванова Е.В.* Об аресте Александра Блока в 1919 году // Филологические науки. 1992. № 4. С. 89—92; *Белоус В.Г.* Александр Блок в «Деле левых социалистов-революционеров». По материалам архива ФСБ (СПб) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 17—23.

[54] Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Братья разбойники» (1821—1822; ст. 5—6).

[55] Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» (1837).

[56] Сохранилась открытка, отправленная Ивановым-Разумником жене «из Гороховой, 2» (от 15 февраля 1919 г.: «Дорогая Варя, я здоров и выспался» и т.д.) и содержавшая бытовые просьбы о передачах; выслана она была по адресу, как свидетельствуют почтовые штемпели, лишь 6 марта, а получена 7 марта 1919 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200).

[57] В архиве Иванова-Разумника сохранились две открытки, отправленные перед отъездом в Детское Село детям — Ирине и Льву. В одной из них (датированной: «15-II—1919. 8 1/2 ч. в СПб. Николаевский вокзал») он писал: «Дорогая Ина, что привезти тебе из Москвы, куда я еду? Президент-Колокол или Президент-Пушку? Привезу лучше каравай хлеба, а ты пока с Левой не

вою, расходящиеся гаммы играй, маме помогай» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 201); в другой (датировка не сохранилась: текст смыт и стерт; штемпель отправления из Петрограда: 16.2.19): «Дорогой Лева, вот не [думал не] гадал, а еду сейчас в Москву, да еще в особом купе I класса, да еще с охраною — вот оно как! Целую тебя, помогай во всем маме, пока меня не будет, и живи дружно с Иной. Догони сам все пропущенное в гимназии» (Там же. Ед. хр. 203).

[58] Во время пути Иванов-Разумник отправил домой несколько открыток; две из них — в воскресенье 16 февраля («Вагон. Малая Вишера»), дочери: «Здравствуй, дочка, и расскажи маме вот что: вчера вечером я уехал из Питера не в 9 ч. веч., а в 1 ч. ночи, с «максимками» (но в служебном вагоне). Езды до Москвы — двое суток. Тепло, но скучновато» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 201) — и сыну: «Дорогой Лева, обнимаю тебя и целую, а ты скажи маме вот что: если она посылала мне в Питер пакеты с вещами, то пусть подаст заявление о возврате вещей (кроме съедобных), ввиду моего переезда в Москву. В Москву я прибуду завтра вечером (или во вторник утром), а долго ли пробуду в ней — не знаю» (Там же. Ед. хр. 203. Вторник —18 февраля). 17 февраля Иванов-Разумник писал жене: «Любимая моя Варя, хотя я и выехал из СПб. в ночь на воскресенье, но в Москву прибуду вряд ли раньше завтрашнего утра. <...> Что же касается возвращения, то одно из двух: либо вернусь домой очень скоро, либо очень не скоро — середины нет. А так как решение этой дилеммы зависит не от меня, отнесемся к делу философски — чему быть, того не миновать» (Там же. Ед. хр. 200).

[59] Имеется в виду М.Д. Бонч-Бруевич — в 1918 г. военрук Высшего военного совета, под началом которого 10—11 марта состоялся переезд Совнаркома в Москву.

[60] Речь идет о трех книгах А.А. Суворина, вышедших в белградском издательстве «Возрождение» в 1931 г. под общим заголовком «Метода Суворина»: «Оздоровление пищей», «Лечение голоданием. Основы методы» и «Лечение голоданием. II. Практика голодания».

[61] *Гросс* — двенадцать дюжин, или 144 штуки каких-либо однородных предметов.

[62] Умные люди совпадают (*фр.*).

[63] Документы «Дела № 8000» Иванова-Разумника свидетельствуют, что допрос и процедура составления «подписки» имели место 19 февраля:

«Протокол дознания

по делу гр. Иванова-Разумника, обвиняемого в соучастии в заговоре л[евых] с[оциал-] р[еволюционеров], составленный членом колл[егии] Юрид[ического] следст[венного] отд[ела] ВЧК Михаилом Романовским 19 февраля 1919 г.

Спрошенный по делу в качестве обвиняемого Разумник Васильевич Иванов-Разумник, литератор, беспартийный, проживающий в Детском Селе, Колпин-

ская ул., д. № 20, кв. 2, показал: по конспиративному адресу Васильевский остр[ов] 11 линия, д. 48, кв. 42 я и сам не был и никого не посылал, т.к. просимые в письме рукописи не были готовы. Статья «Марфа и Мария» мною не написаны. Сборник статей «Духовный максимализм» не окончательно подготовлен к печати. Что же касается материалов из «Нашего пути» — серия стихов Блока под заглавием «Ямбы» печаталась в другом месте и др. статьи помещены в другие издания. Все три статьи были приготовлены для № 3 июльского «Нашего пути», так как в июле м[есяце] этот журнал прекратился изданием в связи с убийством Мирбаха и последующим выступлением л. с.-р., то, естественно, они были размещены по другим издательствам. Эти статьи касались первого отдела журнала и имели характер чисто литературно-беллетристический. Евгений Германович Лундберг, до июльского выступления л. с.-р. был по взглядам близок к этой партии, но политически к ней не принадлежал. Впоследствии он стал настолько близок к большевикам, насколько раньше был близок к л. с.-р. Формально в партии не состоит. В настоящее время Лундберг работает в Н[ародном] К[омиссариате] по просв[ещению]. Мысль об образовании «Вольной философской академии» возникла в Петрограде в марте—апреле 1918 г. среди петроградцев: А. Блок[а], меня и Эрберг[а], а в Москве: Андр. Белый и Лундберг. Эта академия имела целью дополнить пробел Социалист[ической] акад[емии] в части, касающейся гуманитарных наук. Все организационные дела в Петрограде вел Эрберг, он же говорил с Луначарским. 11 января с.г. мною получена телеграмма от Шрейдера с предложением прислать книгу А. Блока «Катилина» и мою «Духовный максимализм» в издательство л. с.-р. Я был редактором литературных отделов «Знамя труда» и «Нашего пути» и для издательства л. с.-р. предоставлял свои статьи. Это обстоятельство объясняется тем, что я примыкал к идеологии лево-народнического течения, начиная со своей первой книги в 1906 г. «История русской общественной мысли» в двух томах. После разделения с.-р. на левых и правых, я, естественно, примкнул к левому течению. Идеология марксизма мне чужда. В политической жизни как левых, так и правых с.-р. я не принимал участия. Я [и] мои друзья (Блок, А. Белый, Эрберг и др.) по своей идеологии, противоположной марксистской, примыкали к л. с.-р., хотя бы и не все сочувствовали их политической борьбе. Так как я полагаю, что политическая борьба за преобладание той или другой партии не может исключить идеологической борьбы. Я не был посвящен своими друзьями из л. с.-р. об их политических выступлениях, и для меня было совершенной новостью последнее подготовляющееся выступление, поскольку я об этом узнал из газет. Я в последнее время не могу предвидеть свою линию поведения по отношению к л. с.-р., так [как] 1) не знаю, насколько серьезны их выступления и преступления и 2) какова будет их работа впоследствии. Во всяком случае я буду проводить линию на-

роднической идеологии, как это делал до сих пор в течение 15 лет, не принимая участия в той или другой политической борьбе.

Разумник Иванов».

(Архив ФСБ СПб. Дело № П—53416. Т. 2).

Упомянутые в показаниях письмо и телеграммы — так называемые «вещественные доказательства», изъятые при обыске. Письмо опубликовано (см.: *Леонтьев Я.В.* К истории взаимоотношений левого народничества и «скифов» // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1996. [Вып.] 7. С. 457—459); в телеграммах помимо издательских дел речь идет об усилиях по организации Вольной философской академии (ассоциации) (см.: *Белоус В.Г.* Петроградская Вольная философская ассоциация (1919—1924) — антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране. С. 6—11). Кроме того, в «Деле» имеется резолюция Лациса от 19 февраля 1919 г.: «Освободить под расписку. Явка при первом вызове», а также собственноручная расписка Иванова-Разумника: «Даю сию расписку в том, что проживать буду в Детском Селе по Колпинской ул., д. 20, кв. 2 и являюсь по первому требованию во В. Чр. Ком. по ее вызову. О перемене адреса буду ставить в известность ВЧК. Не собираюсь принимать участия в политической борьбе против Советской власти, как не принимал ее и до сих пор. 19 февр. 1919 г. *Разумник Иванов*» (Архив ФСБ СПб. Дело № П—53416. Т. 2).

[64] еще одну минуту, господин палач, еще минутку! (*фр.*)

[65] В трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» (1864) «Кириллин день, осьмнадцатое марта» — предсказанный волхвами день кончины царя; «Кириллин день еще не миновал!» — слова Бориса Годунова в заключительной сцене 5-го действия. См.: *Толстой А.К.* Собр. соч. М., 1963. Т. 2. С. 254.

[66] Фраза, которой Н.А. Римский-Корсаков завершает описание юбилейных чествований, посвященных 35-летию его композиторской деятельности: начавшиеся 19 декабря 1900 г. и продолжавшиеся в течение месяца, они оказались подобны, по словам композитора, «затяжной болезни» (*Римский-Корсаков Н.А.* Летопись моей музыкальной жизни. 4-е., испр. и доп. изд. М., 1932. С. 290).

[67] «только оттенки», ибо «все прочее — литература» (*фр.*). Иванов-Разумник цитирует стихотворение П. Верлена «Искусство поэзии» («L'art poétique», 1874).

[68] Неточная цитата. Ср.: «Все люди всяческого рода, которые сделали что-либо доблестное или похожее на доблесть, должны бы, если они правдивы и честны, своею собственною рукою описать свою жизнь; но не следует начинать столь благого предприятия, прежде нежели минет сорок лет. Убеждаясь в этом теперь, когда я переступил за возраст пятидесяти восьми полных лет... — и вспоминая о кое-каких благих отрадах и кое-каких неописуемых бедствиях, каковые, когда я оборачиваюсь назад, ужасают меня удивлением, что я достиг до этого возраста пятидесяти восьми лет, с каковым, столь счастливо, я, благодаря милости божией, иду вперед» (Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Чел-

лини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М.; Л., 1931. С. 53. Перевод М.Л. Лозинского).

[69] Имеется в виду отставной офицер в рассказе «Из записок вспыльчивого человека» (1887): «Он пишет «Мемуары военного человека». Подобно мне, он каждое утро принимается за свою почтенную работу, но едва только успеет написать: «я родился в...», как под балкончик является какая-нибудь Варенька, или Машенька, и раненый раб Божий берется под стражу» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1976. Т. 6. С. 294—295).

[70] Речь идет о двухтомной «Истории русской общественной мысли», вышедшей в конце 1906 г.

[71] В начале 1930-х гг. Иванов-Разумник занимался подготовкой полного собрания сочинений М.Е. Салтыкова-Щедрина. См.: *Щедрин Н. (Салтыков М.Е.)* Полн. собр. соч: В 20 т. / Под ред. В.Я. Кирпотина, П.И. Лебедева-Полянского, П.Н. Лепешинского и др. Л., 1933—1941. См. также: *Макашин С.* Изучая Щедрина (Из воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 120—150.

[72] См.: *Блок А.* Собр. соч. Л., 1932—1936. В предисловии к изданию сообщалось: «Общий план издания выработали: К.А. Федин, Л.Д. Блок, Иванов-Разумник и С.М. Алянский. Редакция текста Иванова-Разумника при участии Д.М. Пинеса» (Л., 1932. Т. 1. С. 13). См. также: *Лавров А.В.* О Блоке и Пушкине (Царском Селе). Письмо Иванова-Разумника к В.Д. Бонч-Бруевичу // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 143—150.

[73] О Д.М. Пинесе см.: *Белоус В.Г.* «Ближайший и многолетний сотрудник мой по историко-литературным работам»: О Дмитрии Михайловиче Пинесе (1891—1937) // Иванов-Разумник. Личность. Творчество. Роль в культуре. Публикации и исследования. СПб., 1998. Вып. 2, а также: De profundis. (Письма Д.М. Пинеса к А.Н. Римскому-Корсакову) / Публ. М.Д. Эльзона // Историко-библиографические исследования. СПб., 1994. Вып. 4. С. 129—157.

[74] См.: *Салтыков-Щедрин М.Е.* Сочинения / Ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. Биогр. очерк и примеч. Иванова-Разумника. М.; Л., 1926—1928. Т. 1—6.

[75] *Иванов-Разумник.* М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 1826—1868. Ч. 1. М., 1930. Последующие тома не вышли.

[76] Неизданный Щедрин / Предисл. и примеч. Иванова-Разумника. [Л.], 1931.

[77] Сорокалетний юбилей литературной деятельности Ф. Сологуба, главным инициатором которого был Иванов-Разумник, праздновался Ленинградским отделением Всероссийского союза писателей 11 февраля 1924 года.

[78] См.: *Завалишина Н.* Детскосельские встречи: Главы из воспоминаний // Звезда. 1976. № 3. С. 172—183.

[79] Приведенные строки пародируют, видимо, следующие строки 8-й гл. поэмы «Комсомолия» (1923):

Ах, Комсомолйя! Мы — почки
Твоих стволов, твоих ветвей! <...>
Чтоб только быть достойным сыном
Огромной мамы — РКП!

(*Безыменский А.* Комсомолия. Страницы эпопеи. 2-е изд. М.; Л., 1930. С. 63). Ср. также со статьей Г. Лелевича в «Литературной энциклопедии», посвященной Безыменскому: «Не «скифская» стихия, а сознательная стратегия пролетарского авангарда вдохновляет Б[езыменского]» (М., 1930. Т. 1. С. 390).

[80] Установить источник этих слов не удалось.

[81] Г.М. Котляров с 1908 по 1919 г. работал в Царскосельском реальном училище преподавателем истории и заведовал библиотекой; в 1918—1919 гг. — директор этого училища. С 1919 г. стал заведующим 3-м отделением V секции Центрального архива. С 1928 г. перешел на работу в Библиотеку АН, где с начала 1930-х гг. заведовал Русским отделением Библиотеки. В 1933 г. был арестован и выслан на жительство в Алма-Ату, затем в Чимкент. В 1935 г. по ходатайству А.Н. Толстого возвращен в Ленинград для пересмотра дела. Но в связи с убийством Кирова был вынужден вернуться в Чимкент, где в конце 1937 г. был арестован и выслан по этапу в Дальлагерь около г. Свободного. 31 марта 1938 г. умер от гангрены (сообщено Н.Г. Завалишиной и Л.Ф. Карохиным).

[82] Об А.Д. Скалдине см.: *Царькова Т.С.* Терпение и верность // Аврора. 1993. № 10/12. С. 29—35; *ее же.* «Скалдиновщина» (Саратовский период в жизни А. Д. Скалдина) // Лица.. М.; СПб., 1994. Вып. 5. С. 460—486. Роман «Странствия и приключения Никодима Старшего» впервые был опубликован в Петрограде в 1917 г. В обвинительном заключении по делу о «Ленинградской областной эсеровско-народнической контрреволюционной организации» Котляров и Скалдин проходили как члены «ячейки народнической интеллигенции»:

«В состав ячейки входили:

1. Котляров Г.М. — из дворян, старший библиотекарь Б-ки Академии наук.
2. Скалдин А.Д. — зав. библиотекой Дома ИТР.
3. Гребенщиков Я.П.
4. Брюллов Б.П. — преподаватель искусствоведения.
5. Катков Н.П. — литератор.
6. Розов Б.А.»

(Архив ГПБ. Ф. 16. Обвинительное заключение по следственному делу № 169—33 г. Л. 158).

[83] Имеются в виду гражданская казнь, которой был подвергнут Чернышевский, и казни Лавуазье, Рылеева и Шенье. Взгляды, которые развивает здесь Иванов-Разумник, близки основным положениям стоицизма. Ср., напр.:

«...смерть настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно. Поэтому слушай угрозы врага со спокойствием» (*Сенека Луций Анней.* Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 46).

[84] благо республики (или революции, или монархии) — высший закон (*лат.*).

[85] Подразумеваются слова Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. IV): «...от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя одного только <...> замученного ребенка <...> Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 223).

[86] в себе и для себя (*нем.*).

[87] См., напр., очерки (1924—1929 гг.), вошедшие в состав второй главы («Лето») книги «Календарь природы» (*Пришвин М.М.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1983. Т. 3. С. 258—299).

[88] серьезнейшее преступление (*лат.*).

[89] В.Н. Фигнер принимала активное участие в ходатайствах по политическим процессам 1920—1930-х гг., в частности, по «делу Иванова-Разумника». См.: Незапечатленный труд: Из архива В.Н. Фигнер / Публ. Я.В. Леонтьева и К.С. Юрьева // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб, 1992. Вып. 2. С. 424—488.

[90] См.: *Замятин Е.* Автобиография. История одного города / Публ. А. Галушкина // Странник. М., 1991. Вып. 1. С. 11—30. Иванов-Разумник участвовал в подготовке этого проекта как соавтор, предполагая привлечь к постановке пьесы К.С. Петрова-Водкина, С.С. Прокофьева, Ю.А. Шапорина. См. письма Иванова-Разумника к Мейерхольду от 15 ноября, 16 декабря 1926 г., 6 февраля 1927 г. (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. № 1626).

[91] Ср. дневниковую запись Иванова-Разумника, кратко фиксирующую описанные события:

«1933 год
Февраль
2 День нашей свадьбы —30 лет —20 янв. ст. ст. 1903 г.
Ночь со 2—3 февр.
5 час. утр. уехали»

(ИРЛИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9).

[92] См.: Академическое дело 1929—1933 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993.

[93] Имеется в виду стихотворная шутка Пушкина «Сравнение» («Не хочешь ли узнать, моя драгая...»).

[94] и вот где гнездится контрабанда! (*фр.*)

[95] Говорят, что человек предполагает;
Говорят, что Бог располагает;
Предполагайте или располагайте —
Все равно вы в Де-Пе-Зе (*фр.*).

[96] Рефрен из стихотворения Генриха Гейне «Du hast Diamanten und Perlen...» (в переводе Н.А. Добролюбова: «У тебя есть алмазы и жемчуг...»), входящего в цикл «Возвращение на родину» («Die Heimkehr». 1823—1824).

[97] Имеется в виду картина Н.А. Ярошенко «Заключенный» (1887).

[98] А.И. Байдин в 1925 г. был заключен в Суздальский политизолятор. После освобождения жил в Ленинграде, работал библиотекарем в сельхозинституте. А.А. Гизетти критиковал «скифство» Иванова-Разумника в статье «Стихия и творчество. (Русская литература перед лицом революции)» (Мысль. Сб. 1. Пг., 1918. С. 226—248). В 1924 г. был арестован и сослан в Туркестан. В ходе следствия по «делу о народническом центре» был вызван из ссылки.

[99] Речь идет о рисунке М.В. Добужинского «Дьявол» (1907), помещенном в журнале «Золотое руно» (1907, № 1).

[100] сладостном безделье (*ит.*).

[101] по желанию (*лат.*).

[102] Обыгрываются строки Пушкина.: «И полку, с пыльной их семьей, // Задернул траурной тафтой» («Евгений Онегин», гл. 1, строфа XLIV).

[103] К этому месту в первом издании книги Г. Янковский дал следующее примечание: «Здесь необходимо упомянуть о необыкновенных свойствах памяти Разумника Васильевича.

В мае 1946 года, после тяжких потрясений, уже 68 лет от роду, Р[азумник] В[асильевич] вновь приступил, после долгого перерыва, к писанию своих воспоминаний. Писал он обычно стоя за моим чертежным столом. Когда я входил к нему утром, чтобы позвать его к завтраку, он захлопывал свою тетрадочку и говорил: «Ну, а я успел уже немного поработать; теперь можно и позавтракать». После этой фразы тетрадочка и чернила со стола им убирались и лишь мой чертеж оставался пришпиленным.

Что же впоследствии оказалось? В эту тетрадочку он переписывал с небольшими переделками III часть своих воспоминаний — «Юбилей», написанную им еще в 1934 году в сов[етской] России, переписывал *мысленно*. Прежняя рукопись, большого формата, хранилась в чемоданчике. А между тем новый текст сошелся слово в слово с первоначальным, написанным за 12 лет до того! (Работа эта остановилась на 3-й главе.)

Однажды мы с Р[азумником] В[асильевичем] сыграли партию в шахматы, причем он играл «вслепую», т.е. диктовал мне ходы, не смотря на доску; я же играл на доске. Партия была мною проиграна. Я тогда не обратил на это должного внимания и лишь теперь оценил столь редкую способность сосредоточиваться. Кроме того, почти ежедневно я находил по возвращении домой с работы ожидавшую меня шахматную доску с расставленной на ней очередной задачей или этюдом, которые мне предоставлялось решить. Задачи или этюды эти подготовлялись Р[азумником] В[асильеви]чем также лишь по памяти и, казалось, были неисчерпаемыми».

[104] Оперы «Садко» (1898), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907) Римского-Корсакова и «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868) Р. Вагнера.

[105] вслепую (*фр.*).

[106] хвастливый воин (*лат.*). Имеется в виду герой пьесы Плавта «Хвастливый воин» Пиргополиник.

[107] Согласно записям Иванова-Разумника, за время заключения (с 3 февраля по 9 сентября 1933 г.) он получил 32 передачи и имел 19 свиданий (18— с женой, одно — с дочерью) (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9). О том, что Иванову-Разумнику в Доме предварительного заключения были созданы более льготные условия содержания, чем другим арестованным, свидетельствует рапорт-ходатайство следователя Л. Когана от 21 февраля 1933 г. (с положительной резолюцией 22 февраля):

«Нач. ДПЗ Богданову Н. В.

В кам. 2 кор. № 7 содержится очень серьезный арестованный — Иванов Разумник Васильевич — руководитель ликвидированной организации эс-эров.

По оперативным соображениям прошу Вашего распоряжения об оказании Иванову особого внимания. По разрешению Нач. СПО т. Горина Иванову можно: пользоваться литературой по собственному выбору из библиотеки ДПЗ в неограниченном количестве, продлить прогулку до 30 минут, лежать на койке днем, пользоваться чернилами и бумагой.

Пом. Нач. 4 отд. *Коган*»

(Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 225).

[108] Обыгрывается заглавие пьесы А.Н. Островского «Комик XVII столетия» (1873).

[109] Речь идет о работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (*Ленин В.И.* Собр. соч. 1-е изд. М.; Пг., 1923. Т. 10).

[110] Ср.: «Протокол допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича от 4 февраля 1933 г.»:

«Я не марксист. В области идеологии стою на позиции народничества. Идеологией народничества проникнуты все мои научно-литературные и политические труды. Исходя из своей идеологической установки, я примкнул к эсеровской партии — к ее левому крылу. Я был одним из идеологов лево-эсеровского движения. Практическая деятельность моя в эсеровском движении состояла в участии в редактировании ряда органов партии левых социалистов-революционеров. Идеологически я по сие время остаюсь на прежних своих позициях.

По вопросу о детализации своих политических убеждений отвечать в обстановке следствия отказываюсь.

Разумник Иванов 4 февраля 1933 года.

Допросил *Коган*»

(Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 7—8).

[111] См.: Краткий отчет о работах 4-го съезда Партии социалистов-революционеров (26 ноября —5 декабря 1917 г.). Пг., 1918. С. 72.

[112] Ср.: «Наша «скифская» группа соединилась не на политической платформе, не на этом пути сошлись все мы с А.А. Блоком, и только те, которые именовали всех нас «прихвостнями правительства», говорили, что мы, дружно работавшие вместе и в газете «Знамя труда», и в журнале «Наш путь», состоим на иждивении партии левых социалистов-революционеров. Нет, «скифы» — не партийны, но они и не аполитичны. Правда вот в чем: левые эсеры были тогда единственной политической партией, понявшей все глубокое значение культуры вне всякой политики, партией, предоставившей нам экстерриториальность в своих органах (весь «нижний этаж» газеты, весь литературный отдел журнала были в нашем полном распоряжении)...» (Выступление Иванова-Разумника на LXXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 г., посвященном А.А. Блоку // Памяти Александра Блока. С. 58—59).

[113] См.: *Иванов-Разумник*. О смысле жизни. Ф. Сологуб. Л. Андреев. Л. Шестов. СПб., 1908.

[114] Опубликована в первом сборнике «Скифы» (Пг., 1917. С. 261—304). Открытое чтение статьи состоялось 6 марта 1916 г. на квартире у Ф. Сологуба. Ср.: «Обширный зал Сологуба был свидетелем докладов и политического характера. Помню, например, пораженческий доклад Иванова-Разумника на международную тему. Председательствовал и, конечно, возражал «Дарданельских дел мастер» П.Н. Милюков, говорил Карташев, всегда и слушавший и выступавший с закрытыми глазами, говорил Л. Андреев, Пантелеев, говорили еще несколько человек «кадетов», но все с оглядкой (дело было во время войны в марте 1916 г.)» (*Сюннерберг К.А.* Примечания мемуарного характера к собранию писем из архива Конст. Эрберга (К.А. Сюннерберга) // ИРЛИ. Ф. 474. № 53. Л. 97—98).

[115] Имеются в виду проходившие в Швейцарии международные Циммервальдская (5—8 сентября 1915 г.) и Кинтальская (24—30 апреля 1916 г.) социалистические конференции, на которых были приняты антивоенные манифесты.

[116] Речь идет о статье «Свое лицо», опубликованной 27 октября 1917 г. в газете «Знамя труда». См.: *Иванов-Разумник*. Год Революции: Статьи 1917 года. СПб., 1918. С. 78—79.

[117] Ср. с протоколом допроса Иванова-Разумника от 5 февраля 1933 г.:

«В течение всей своей творческой жизни я являлся идеологом народничества, что выражено во всех моих литературных трудах.

Я примыкал к левоэсеровскому движению и являлся одним из деятелей этого движения.

В период первых лет революции я наравне с руководством партии левых эсеров участвовал в работе партии, формально не являясь ее членом.

Моя практическая работа в партии заключалась в участии в редактировании основных ее печатных органов. Я был редактором литературных отделов газет и журналов партии. После разгрома партии левых эсеров я, после двухнедельного ареста, был освобожден и оставался на свободе до последнего времени. Все последующие годы до настоящего времени я сохранил свои мировоззренческие установки, проводя их в своей творческой работе. Моя прежняя деятельность, с одной стороны, и мое творчество создали условия для тяготения ко мне лиц народнических устремлений и в том числе б[ывших] эсеров.
5 февраля 1933 г. *Р. Иванов*

Допросил *Коган*»
(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 9).

[118] положение обязывает (*фр.*).

[119] Имеется в виду герой одноименной драматической поэмы Г. Ибсена (1867).

[120] Неточная цитата из поэмы «Современники» (ч. 2, «Герои времени»; 1875). См.: *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 214.

[121] 8 и 11 февраля были составлены три протокола «А», записанных следователями:

«Протокол № 2 показаний Иванова Разумника Васильевича.

В настоящее время я являюсь единственным идеологом народничества, сохранившим без изменений свои дореволюционные мировоззренческие установки.

Идеологию народничества я претворил во все свои без исключения литературные труды, ранее опубликованные, и планы будущих работ составлены мною под знаком преобладания в них народнических идей. В 1917 г. я примкнул к партии левых эсеров как к партии, в своей политической программе выражающей народнические идеи.

В период первых дней революции я наравне с руководством партии левых эсеров участвовал в работе партии, состоя в редакциях основных ее печатных органов.

После разгрома партии левых социалистов-революционеров и народнического движения вообще — я, один из немногих крупных идеологов народничества, не был выслан из Ленинграда и в продолжение всех лет революции оставался на свободе.

Своему мировоззрению и политическим убеждениям я никогда — и до революции, и после нее — не изменял.

Как идеолог народничества, пропагандирующий народнические идеи, я концентрировал вокруг себя —

1) сохранившиеся после революции кадры эсеровской партии, частью не подвергавшиеся после революции вовсе репрессиям, а частью возвратившиеся в последние годы из ссылки;

2) представителей оставшейся верной народническим идеям интеллигенции;

3) народнически настроенную молодежь, воспринявшую идеи народничества в последнее время и стремящуюся к непосредственному общению с идеологами народничества, на литературных работах к[отор]ых она воспиталась.

Моя квартира в Детском Селе в силу этого является идейно-организационным центром народнического движения, куда тяготеют названные группы.

8 февраля 1933 г. *Р. Иванов*

Допросили *Коган Бузников*»

(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 10—10 об.).

«Протокол № 3 показаний Иванова-Разумника Р.В.

С известным народовольцем Прибылевым меня познакомила Вера Николаевна Фигнер в Детском Селе. Знакомство состоялось после беседы В.Н. Фигнер с Прибылевым обо мне. С тех пор наша связь с Прибылевым укрепилась и последний систематически посещает меня в дни своего пребывания в Детском Селе. В свою очередь я посетил несколько раз Прибылева на его квартире в Ленинграде.

В 1929 году я обратился специально к Прибылеву в связи с арестом органами ГПУ Дмитрия Михайловича Пинеса, с просьбой принять соответствующие меры через Политический Красный Крест к его освобождению.

Поддержание связи с Прибылевым меня интересует в плане роли Прибылева в народническом движении.

Прибылев — крупнейший народоволец, народник по убеждениям, своему мировоззрению не изменил.

8 февраля 1933 г. *Р. Иванов*

Допросил *Коган*»

(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 11).

«Показания Иванова Разумника Васильевича.

В развитие предыдущего протокола моего допроса показываю, что в группу кадров социалистов-революционеров, концентрирующихся вокруг меня и составляющих вместе со мной идейно-организационный центр народничества, входили следующие лица:

Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская, с которой я познакомился в 1917 году по партийной линии и затем не встречался до 1922 года, т.к. последняя в первые годы революции работала на партийной работе на юге. Живя летом 1922 года в Детском Селе, Брюллова-Шаскольская посещала мою квартиру. В том же году она была арестована, отправлена в политссылку, и связь с нею возобновилась, уже более не прерываясь, после ее возвращения из ссылки в конце 1929 года.

Дмитрий Михайлович Пинес, ближайший и многолетний сотрудник мой по историко-литературным работам, с которым я лично познакомился по партий-

ной линии в 1917 году и ближе сошелся по совместной работе [в] Вольно-философской ассоциации, административно закрытой в 1924 году, товарищем председателя которой являлся я, а секретарем был Пинес.

Байдин Алексей Иванович, с которым я познакомился после возвращения его из Суздальского политизолятора и устройства на жительство в Детском Селе, где он получил место библиотекаря Сельхозинститута, — в 1927 году.

Названные три лица являются близкими ко мне людьми из числа б[ывших] членов партии социалистов-революционеров, проживающих в Ленинграде.

Кроме того, со мной как с идеологом народничества непосредственно и через вторых лиц поддерживают связь и некоторые члены партии, как проживающие в Ленинграде и Москве, так и в других городах, из числа которых показываю о следующих:

Яков Вениаминович Браун и Колосов, Евгений Евгеньевич, проживающие в Москве. О последнем я часто слышал от Надежды Влад. Брюлловой и недавно она передала мне просьбу Колосова выслать ему мою книгу о Салтыкове.

*** ([Пропуск в тексте. Речь идет об Иване Андреевиче Шабалине (1889—после 1935), бывшем левом эсере, научном сотруднике Военно-морского музея, арестованном по делу о «Народническом центре». — *Комм.*] — по профессии моряк, автор ряда трудов по истории революционного движения во флоте, несколько лет тому назад возвратившийся из ссылки.

Группирующиеся вокруг меня б[ывшие] члены партии социалистов-революционеров из числа проживающих в Ленинграде поддерживали по причинам идейной близости связь с членами ПСР, находящимися в настоящее время в политссылке в различных местностях республики.

Показываю о следующих персонально связанных со мною политссыльных. Мария Александровна Спиридонова, с которой я познакомился по партийной линии в 1917 г. В настоящее время она находится в политссылке в Уфе. Совместно с нею проживают лично известные мне, о которых М.А. Спиридонова сообщает в своих письмах, — Каховская, Измайлович и Майоров.

Ферапонт Иванович Витязев-Сиденко, который в настоящее время проживает на «минусах» в гор. Горьком. Наиболее близко с последним сошелся по делам изд-ва «Колос», во главе которого он стоял. Участвовал в его работах над литературным наследием Лаврова. При его активном содействии в Москве в 1930 году вышел мой 1-й том монографии о Салтыкове.

Алексей Александрович Гизетти, с которым знаком с 1912 года. В 1917 году в политических вопросах с последним радикально разошелся, но в послереволюционные годы знакомство с ним возобновил.

Мы оказывали вышеназванным лицам материальную помощь. Персонально я, по сообщению Н.В. Брюлловой о тягостном материальном положении М.А. Спиридоновой, выслал последней несколько раз по пятидесяти рублей.

11 февраля 1933 г. *Р. Иванов*

Допросили *Коган Бузников*»

(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 12—12 об.).

[122] В архиве Иванова-Разумника сохранились только два письма М.А. Спиридоновой к нему за 1917—1918 гг. См.: *Леонтьев Я.В.* К истории взаимоотношений левого народничества и «скифов» // Лица. [Вып.] 7. С. 455—457.

[123] Колпак белый — белый колпак (*фр.*) .

[124] Я.В. Браун — литературно-театральный критик, в 1909—1914 гг. участник молодежных эсеровско-народнических кружков, с 1917 г. член партии эсеров. Первоначально стоял на центристских позициях, с 1919 г. левый эсер, редактор партийных изданий. В марте 1921 г. арестован и около года провел в лагере. С 1922 г. член Центрального бюро «Объединения Партии левых эсеров и Союза эсеров-максималистов», сотрудник ряда московских журналов. Летом 1923 г. арестован за выступление на вечере в Политехническом музее, посвященном П.Л. Лаврову. Отбыл трехлетний срок заключения в Ярославском политизоляторе. Затем находился в ссылке в Коми, заочно был принят во Всероссийский союз писателей (1926). После освобождения вернулся в Москву, написал ряд художественных произведений. 14 февраля 1933 г. арестован, в июне того же года постановлением ОСО при ОГПУ приговорен к трем годам ссылки в Самару. Работал в ссылке завлитом Драматического театра. В феврале 1937 г. арестован, по постановлению «тройки» УНКВД по Куйбышевской области расстрелян.

Упоминаемый Ивановым-Разумником «молодой человек», оказавшийся левым эсером, — поэт Борис Николаевич Шабер, московский знакомый Брауна (см. также примеч. 158).

[125] Е.Е. Колосов был редактором сочинений Н.К. Михайловского и хранителем его архива. В 1925 г. заключен в Верхнеуральский политизолятор, затем в ссылке. В 1933 г. — научный сотрудник Публичной Библиотеки СССР им. В.И. Ленина, в том же году арестован по одному делу с Я. Брауном, отправлен в Суздальский политизолятор, позже сослан в Тобольск.

[126] А.В. Прибылев в 1920—1930 гг. — член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, жил в Доме ветеранов революции в Детском Селе.

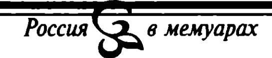
[127] А.П. Прибылева-Корба в 1920—1930 гг. — член Общества политкаторжан.

[128] М.П. Сажин в 1920—1930 гг. — член Общества политкаторжан.

[129] Ср. показания А.И. Байдина: «С Ивановым-Разумником я познакомился в 1928 году, будучи работником в библиотеке с/хоз. института в Детском Селе, у Иванова-Разумника бывал несколько раз на квартире, но никого, кроме москвички — писательницы Крандиевской, у него не встречал» (Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 90).

[130] А.А. Гизетти, служивший в Межрайонном музее Коканда, был арестован там 5 февраля и отправлен спецконвоем из Ташкента в Ленинград 9 февраля 1933 г. (Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 42).

[131] В «Деле» Иванова-Разумника сохранились два собственноручно написанных им протокола «Б» от 15 и 23 февраля:



«Показания Иванова Разумника Васильевича

Третьего дня (13 февраля) мною была высказана в показании та основная социально-философская предпосылка («человек-самоцель»), которая является исходным пунктом для решения вопросов окружающей действительности. Главнейшими из них являются в настоящее время следующие четыре: вопрос о диктатуре, вопрос о земле, вопрос об индустриализации страны, вопрос о формах культурного развития (в частности — о формах развития литературы).

Вопрос о диктатуре. С точки зрения, отмеченной выше, с той основной предпосылки, о которой уже сказано, — неприемлема какая бы то ни было диктатура — будь то диктатура партии, класса или вообще одной части общества над другой. Октябрьский лозунг — «Вся власть Советам» остается для меня в силе и до сих пор именно в том его понимании (широко демократическом), какое он имел тогда. Поскольку ныне в этот лозунг вкладывается совершенно иное содержание (содержание диктатуры), он противоречит основному принципу моего мировоззрения — и в этом новом понимании является для меня неприемлемым.

Вопрос о земле. Третьего дня (13 февраля) я достаточно четко высказал в своем показании, в какой мере принцип осуществленной коллективизации является конечным идеалом и народнического социализма, и коммунизма, но в то же самое время — в какой мере методы осуществления являются на этих двух путях противоположными. Исторический путь коммунизма (диктатура) и в этом вопросе неприемлем для меня именно в силу основного принципа моего мировоззрения. Если для насаждения колхозов и совхозов как единой формы землепользования среди 100 миллионов крестьян надо сперва обречь на гибель хотя бы один миллион из них, то, хотя бы в результате этого получился рай на земле, — путь этот не мой путь.

Вопрос об индустриализации. Здесь может идти речь не по существу дела (ибо, кроме разве толстовцев, никто не возражает против необходимости индустриализации страны), здесь может идти спор лишь о темпах. Но и в этом разногласии решающим является все тот же основной принцип. Если для ускорения темпов индустриализации необходимо пожертвовать хотя бы сотнями или десятками тысяч человеческих жизней и если без этих жертв можно провести ту же индустриализацию темпом замедленным, то первый из этих путей (путь коммунизма) является неприемлемым.

Вопрос о культуре, и в частности, о литературе. Почти десять лет тому назад я писал на эту тему в сборнике «Современная литература» (статья «Взгляд и нечто») и могу здесь высказать этот взгляд еще более четко, ибо — без цензуры. Перед русской литературой (и вообще культурой) — громадное будущее, но не на путях диктаторского насаждения заранее заданных форм. Вот почему такие неудачные плоды дало искусственное культивирование «пролетарской литературы». Здесь вопрос был тоже в темпах и в диктатуре (на этот раз — РАППа),

но результаты были крайне неудачны и привели к отказу от этого пути постановлением от 23 апреля прошлого года. То, что относится к литературе, справедливо и относительно форм культуры вообще. Они не декретируются, а если декретируются, то гибнут. Поскольку путь диктатуры является и в этой области путем коммунизма — он является неприемлемым для того мировоззрения, которое я всю жизнь высказывал в своих книгах.

Итак — по всем этим основным вопросам исторический путь коммунизма для меня неприемлем. Здесь я лишь на конкретных примерах детализировал то, что со всею определенностью было выражено мною в предыдущем показании от 13 февраля.

15 февраля 1933 года *Разумник Иванов*

Допросил *Коган*»

(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 14—14 об.).

«Показания Иванова-Разумника Васильевича

В развитие мыслей, высказанных мною в прошлый раз (15 февраля) по четырем основным вопросам современности (диктатура, коллективизация, индустриализация, культура), мог бы прибавить еще многое, но главным образом по вопросу четвертому, наиболее мне близкому и о котором более всего приходилось думать и отчасти даже писать (статья «Взгляд и нечто» 1924 года). Что касается первых трех, то в развитие их могу ограничиться сравнительно лишь немногим. Причина этого в том, что я — не политик и сама политическая терминология мне по существу чужда, совершенно не моя область. Пример: у меня были совершенно определенные взгляды на империалистическую войну 1914—1917 гг., но когда я высказал их в большой статье «Испытание огнем» (в 1915 году появилась подпольно и без имени автора, а в 1917 году напечатана мною в т. I сборника «Скифы»), то оказалось, что злободневнейшие политические вопросы того времени выражены в этой статье в терминологии отнюдь не политической, что они являются только тем трамплином, который помог автору перенестись в область основных для него вопросов — социально-философских.

Точно так же и теперь: первые три из четырех отмеченных выше вопроса могут быть для меня (и не только могут быть, но и были) лишь исходными пунктами для определенных социально-философских выводов, и в показании от 15 февраля я и высказал эти выводы вполне определенно, не затушевывая их полного расхождения с выводами общеобязательными и общепризнанными. Переводить же их на язык политической терминологии — значило бы для меня насиловать не только свой язык, но и свою мысль. Здесь следует особенно отметить, что и во всех разговорах и личных беседах с кем бы то ни было за последние годы на отмеченные выше темы я всегда высказывал о них вполне определенное суждение, но лишь с той принципиальной высоты, которую я называю мировоззрительной. Если те или иные собеседники понимали меня в этих слу-

чаях по линии политической терминологии — то это значит, что они переводили на свой язык и на свое понимание высказанное мною в совершенно иных планах.

В виде примера, который одновременно будет и некоторой детализацией моих суждений по четырем основным отмеченным выше вопросам, приведу содержание одного очень запомнившегося мне спора, который имел место в декабре 1931 года среди собравшихся у меня гостей. Разговор на эти общие темы современности возник с А.Н. Толстым, К.С. Петровым-Водкиным и Б.Н. Бугаевым (Андреем Белым). Мне тем легче назвать здесь эти имена, что они все трое стояли в споре на точке зрения приятия того, что для меня являлось неприемлемым. Разговор этот, продолжавшийся несколько часов, очень мне запомнился, и так как он являлся типичным, то здесь в кратких чертах и может быть изложен как детализация сделанных мною в прошлый раз выводов.

Разговор зашел о молодом поколении. Так как в данную минуту представляет интерес не то, что говорили мои собеседники, а то, что высказывал я, то здесь и ограничиваюсь этими последними высказываниями. Я утверждал (и теперь полагаю то же самое), что в условиях *диктатуры*, расширяющей свои права и на человечную мысль, молодежь лишена единственно правильного пути развития мысли, которая может пустить прочные корни лишь в условиях столкновения противоположных мнений. Кстати сказать, на днях в статье Н.К. Крупской об изучении Лениным философских идей Маркса (в «Ленинградской правде», кажется, от 18 февраля) я прочел, что любимой поговоркой Ленина при изучении любого вопроса была известная французская поговорка — истина рождается от столкновения мнений. Так вот: этой возможности изучать столкновение противоположных мнений и из этого столкновения получать «истину»— лишена современная молодежь. В условиях диктатуры одной мысли молодежь, естественно, может воспринять только ее одну. Видимый плюс тут — необходимое в условиях диктатуры «единомыслие»; но плюс этот зачеркивается громадным минусом, который заключается вот в чем: во-первых — получаемые таким образом мысли не возбуждают в молодежи доверия (недаром сами коммунисты иной раз иронически именуют политграмоту — «законом божиим»), во-вторых — мысли эти являются крайне непрочными, не пустившими корней, совершенно поверхностными. Можно засеять пшеницей опытный участок поля и взращивать хлеб в условиях искусственных — под стеклянной крышей, без ветра и дождя, с искусственным освещением и поливанием. А рядом, на другом, нормальном участке, хлеб будет расти под дождями и ветрами, крепко пуская корни. Снимите стеклянный колпак с первого поля — и зерна мысли погибнут от естественных условий. Там, где этих условий (свободного столкновения мнений) нет, не может быть и прочности мировоззрения. Отсюда и все эти столь многочисленные «уклоны» и шатания мысли среди молодежи: в условиях диктатуры мысли нет возможности создать мысль,

глубоко укоренившуюся. Правда, можно создать сотни тысяч критически не мыслящих людей, повторяющих зазубренные слова, но велика ли цена для государства этих сотен тысяч, какое развитие мысли могут дать они? Диктатура в области мысли ставит непреходимую преграду для всякого развития этой самой мысли. Как же это примирить с основным положением марксизма о диалектическом развитии через тезис и антитезис к синтезу? Какой возможен или мыслим «антитезис», раз в тезисе (т.е. в признаваемом сегодня) есть уже вся истина, а все думающие иначе — «уклонисты»? В целях собственного развития коммунизму раньше или позже придется отказаться от диктатуры в области мысли: вообще диктатура ведет к догматизму, в каких бы областях она себя ни проявляла. А догматизм ведет к неизбежному распаду.

Лучшим примером в то время (декабрь 1931 года) являлась коллективизация — быстрый рост колхозного строительства до весны 1931 года, «головокружение от успехов» — и столь же быстрый развал колхозов летом и осенью того же года. Тот же случай, что и в примере с мыслью: взращенное при искусственных условиях не пускает глубоких корней и гибнет при первом же проявлении условий естественных. Естественные же условия не требуют тех жертв тысячами и десятками тысяч, которые неизбежны при искусственном пути насаждения. Этот искусственный путь для меня именно потому и неприемлем. Прибавлю: теперь (февраль 1933 года) делается грандиозная попытка овладеть колхозным строительством изнутри (съезд колхозников-ударников); возможно, что попытка эта и увенчается успехом, — осень 1933 года это покажет. Но если бы даже успех был полный — свидетельствовало ли бы это о прочности коллективизации? Для ответа стоит лишь представить, что вдруг вновь появилась бы официальная статья вроде «головокружения от успехов» — какой новый развал колхозов повторился бы в этом случае? Значит, о прочности дела говорить не приходится. Повторяется то же самое, что и в примере с мыслью: прочно лишь то, что в борьбе с естественными условиями пускает глубокие корни. И совершенно то же самое, слово в слово, можно повторить и об индустриализации: успехи ее несомненны, но прочность этих успехов должно подтвердить лишь будущее. Государство форсирует темпы и, очевидно, имеет для этого основания; для моего кругозора основания эти не представляются достаточными. Привык думать по Герцену: ни одно поколение не может служить намеренным средством для другого.

Последний вопрос — о культурном строительстве. Напоминаю, что разговор, схематически воспроизводимый мною сейчас, имел место в декабре 1931 года, т.е. еще за четыре месяца до известного постановления от 23 апреля 1932 года, а значит, во время полной диктатуры РАППа в области литературной. Плоды этой многолетней диктатуры достаточно известны: литература стала приходить в совершенный упадок. Искусственно культивировались бездарности, лишь бы они безоговорочно проводили рапповскую линию. В области жи-

вописи царил АХР, повторявший худшие зады передвижничества; в области музыки в загоне были самые талантливые композиторы, а процветала бездарная толпа так называемых «пролетарских композиторов». С такими союзниками новой культуры не построить — и я подробно развивал этот взгляд в том разговоре, о котором вспоминаю теперь. Не стоит подробно говорить о том, насколько все это изменилось в основном и существенном (хотя и не в деталях) за последний год: здесь само государство признало ошибочным путь форсированного насаждения той новой культуры, которая насаждается не диктаторскими декретами, а растет естественным ходом, от глубоких корней. Стоило подуть свежему ветру, чтобы бесследно погибли десятки и сотни искусственно выращенных и не имевших никаких прочных корней в культуре — писателей, художников, композиторов. Еще раз повторю: культуру диктаторскими декретами не насадить.
Разумник Иванов 23 февраля 1933 г.

Допросил *Коган*»

(Архив ГПБ. Ф.16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 15—16 об.).

[132] Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г.

[133] над схваткой (*фр.*).

[134] испытание крестом (*лат.*).

[135] Иронически обыгрывается приводимая в «Примечании издателя», завершающем повесть И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850), запись:

«Сѣю рукопись. Читалъ

И Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрилъ

Пѣтр Зудотѣшинъ»

(*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч: В 12 т. М., 1980. Т. 4. С. 215).

[136] Ошибка мемуариста. Имеется в виду 1931 год.

[137] Об отношениях Иванова-Разумника и Андрея Белого в начале 1930-х гг. см.: *Андрей Белый, Иванов-Разумник.* Переписка. СПб., 1998; Письма Андрея Белого Д. М. Пинесу / Публ. Дж. Мальмстада // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 85—100; *Белоус В.Г.* Андрей Белый и его роман «Москва» в эпистолярном наследии Р.В. Иванова-Разумника 1930-х гг. // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 440—452.

[138] Обыгрывается первая строка стихотворения А.С. Пушкина «Вурдалак» («Трусоват был Ваня бедный») из цикла «Песни западных славян» (1834).

[139] Ср.: «...А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». — Мф. XVIII.6.

[140] Упоминаются книги Андрея Белого «Ветер с Кавказа. Впечатления» (М., 1928), «Москва» (ч. 1— «Московский чудак», ч. 2— «Москва под ударом». М.,

1926), картина Петрова-Водкина «Смерть комиссара» (1928), роман А.Н. Толстого «Петр Первый».

[141] «Слугой Личардой верным» называет себя Смердяков («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. VI; ч. 4, кн. 11, гл. VIII); *Личарда* — слуга короля Гвидона в переводной повести о Бове Королевиче, известной на Руси с XVI в. и ставшей популярным произведением лубочной литературы.

[142] Сокращенная цитата из 4-го тома «Войны и мира» (ч. 1, гл. IX) (*Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1981. Т. 7. С. 40).

[143] *Луи-Наполеон Даву* — командующий образцовым первым корпусом армии Наполеона, выдающийся стратег и военный администратор. За склонность к беспрекословной дисциплине и порядку получил прозвище «железного маршала».

[144] Слова Хлестакова из «Ревизора» (действие 3-е, явление VI) «...по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. [Л.], 1951. Т. 4. С. 50).

[145] Обыгрываются слова из басни И.А. Крылова «Обезьяна» (1811): «Хлопот // Мартышке полон рот».

[146] Всего по «делу контрреволюционной и эсеровско-народнической организации Ленинградской области» проходило 763 обвиняемых.

[147] Цитата из басни И.А. Крылова «Волк и Ягненок» (1808).

[148] По «сценарию», разработанному в ГПУ, «идейно-организационный центр народничества» находился в связи с «контрреволюционной организацией», якобы действовавшей во Всесоюзном институте растениеводства и других учреждениях, имевших отношение к сельскому хозяйству. В обвинительном заключении по следственному делу «Ленинградской Областной эсеровско-народнической контрреволюционной организации» (февраль—апрель 1933 г.) значится:

«Организация состояла из следующих формирований:

а) Идейно-организационный центр — в составе пяти видных теоретиков ПСР и ПЛСР — Иванова-Разумника Р.В., Брюлловой-Шаскольской, Байдина, Гизетти, Пинеса.

б) Практический центр — в составе профессоров-агроспециалистов — Писарева, Таланова, Кулешова, Максимова, Говорова, Катин-Ярцева.

в) 9 ячеек, непосредственно организованных идейно-организационным центром и руководимых им — в совшколах 98-й, 32-й, 76-й, Толмачевской ФЗС, б[ывшей] «Новой Василеостровской школе», в об[щест]ве б[ывших] Политкаторжан, Библ[иотечных] работников, литературн[ой] молодежи, народнической интеллигенции — с 54 участниками.

г) 8 ячеек, непосредственно организованных практическим центром и руководимых им — две ячейки во Всесоюзном Ин[ститу]те растениеводства, ячейки во Всесоюзном Ин[ститу]те растений, в ОБЛЗУ, в Ин[ститу]те механиза-

ции С.-Х., в Ин[ститу]те реконструкции соц[иалистического] земледелия в АИПС, в Стройтехникуме — с 49 участниками.

д) 42 формирования с 85 ячейками и участниками в количестве 650 чел. в 34 районах Ленобласти, связанных с практическим центром через сеть кулацких «крестьянских корреспондентов»<...>» (Архив ГПБ. Ф. 16. Обвинительное заключение по следственному делу № 169—33 г. Л. 4).

[149] увеселительная прогулка (*фр.*).

[150] Ср. записи Иванова-Разумника: «Май. 2— увезен в Москву. 30— возвращен в Лен[инград]» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 9).

[151] Имеется в виду фраза из рассказа «Дочь Альбиона» (1883): «— Это, брат, ей не Англия!» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1975. Т. 2. С. 198).

[152] «Nel mezzo del cammin di nostra vita» («На половине пути нашей жизни») — начальная фраза «Божественной комедии» Данте («Ад», I, 1; в переводе М.Л. Лозинского: «Земную жизнь пройдя до половины»).

[153] А.И. Михайлов являлся старшим инженером ленинградского объединения «Котлотурбина», тогда как техническим директором завода «Большевик» накануне ареста был П.А. Карпович. Первый из них был арестован 23 февраля 1933 г., второй — 23 марта. Тройка Полномочного представительства ОГПУ по Московской области приговорила Михайлова к расстрелу по обвинению в «контрреволюции, шпионаже и вредительстве». Карпович, вероятно также побывавший в числе сокамерников Иванова-Разумника, был приговорен к расстрелу Коллегией ОГПУ.

[154] преступление, состоящее в оскорблении величества (*лат.*).

[155] Ср.: «Наш майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Л., 1972. Т. 4. С. 63—64).

[156] В частности, в берлинском издательстве «Скифы» в 1920—1922 гг. вышли книги «Vom Sinn des Lebens» (1920), «Das eigene Gesicht» (1920), «Was sinn d. Intellektuellen» (1920), «Majakowski» (1922).

[157] В «Деле» хранятся собственноручный протокол показаний Иванова от 14 мая 1933 г. и его машинописная копия:

«На вопросы вновь мне поставленные в развитие и дополнение моих предыдущих показаний отвечаю:

Ленинградская группа идеологов и теоретиков народнического движения, концентрирующаяся вокруг меня как идеолога народничества (Брюллова-Шаскольская, Гизетти, Пинес), поддерживала политическое общение с рядом руко-

водящих деятелей эсерства, в частности, политические связи имелись между названной группой и М.А. Спиридоновой, Е.Е. Колосовым и Я.В. Брауном.

Совместно с последними ленинградская группа, в предыдущих показаниях названная мною идейно-организационным центром эсеровско-народнического движения, являлась единым центром общесоюзного эсеровско-народнического движения, распадающегося на ряд связанных между собою и с центром групп и отдельных деятелей в различных городах СССР и пунктах политссылки.

Народнический центр является блоком между б[ывшими] правыми и б[ывшими] левыми народниками на основе договоренности по основным идейно-политическим вопросам.

Протокол написан собственноручно.

14 мая 1933 г. *Разумник Иванов*

Допросил: уполномочен[ный] 4 СПО ПП ОГПУ в ЛВО

(*Бузников*)

(Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 214).

[158] «Протокол допроса Иванова-Разумника, Разумника Васильевича, от 27 мая 1933 г.» также представлен в двух копиях: в следовательской записи и в машинописи:

«В ответ на вопрос о способах и формах связи ленинградской группы членов идейно-организационного центра с московской группой отвечаю:

Связь осуществлялась как непосредственными поездками членов центра москвичей в Ленинград и наоборот, так и посылкой специальных людей, выполнявших роль связных. Как я уже показывал в предыдущих протоколах моих допросов, из Москвы в Ленинград приезжал Браун Я.В., который был у меня и у Д.М. Пинеса. В самое последнее время — в ноябре 1932 г. — из Москвы приезжал в Ленинград эсер Шабер Б.Н. Он привез мне письмо — рекомендацию от Брауна из Москвы. Шабер информировал меня о Крымской ссылке — о Мальме, рассказывал, что последний отбывает ссылку в Севастополе, а сам Шабер в Симферополе. В Ленинграде помимо меня — Шабер посетил и имел беседу с Д.М. Пинесом. Характер их встречи мне неизвестен.

В письме, которое Шабер привез от Брауна, сообщалось, что Браун сам собирается в Ленинград.

Из ленинградцев в Москву — часто ездил Пинес Д.М. и несколько раз, но сравнительно реже — был и я.

Разумник-Иванов

Допросил: Пом. Нач. 4 СПО ПП ОГПУ ЛВО (*Коган*)

(Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 220).

[159] Начальные строки главки «С Наполеоном» (гл. 9) романа «Маски» (1932). См.: *Белый А.* Москва. М., 1990. С. 690.

[160] «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart», 1871—1893) — цикл романов Эмиля Золя.

[161] в совокупности с другими обстоятельствами (*лат.*).

[162] Речь здесь идет об аресте А.А. Кроленко. См. с. 28—30 наст. изд.

[163] Весной—летом 1884 г. в Москве появились два нелегальных издания сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина — «Новые сказки Щедрина», отпечатанные Летучей гектографией Народной партии, и два выпуска литографированного издания «(Новые) сказки для детей изрядного возраста. Щедрин», осуществленного Общестуденческим союзом.

[164] Вероятно, Иванов-Разумник слышал эту историю от кого-либо из своих друзей: Н.О. Лернер скончался в 1934 г.

[165] Перефразированы слова Городничего из «Ревизора» (действие I, явление 1): «Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне» (*Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 15).

[166] с особым отличием (*лат.*).

[167] со знанием дела (*фр.*).

[168] Неточно цитируются заключительные слова Звездочета в опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1909; либретто В.И. Бельского).

[169] Слова Фамусова («Горе от ума», действие IV, явление 14).

[170] См.: *Блок А.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 5. Поэмы: 1911—1921. Л., 1933.

[171] В выписке из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 28 июня 1933 г. значится:

«Слушали: 44. Дело № 5758 по обв[инению] гр. Иванова Разумника Васильевича, Брюлловой-Шаскольской Надежды Владимировны и др. в числе 8-ми человек, по ст. 58/10, 11 УК.

Постановили:

1. Иванова Разумника Васильевича — выслать в г. Новосибирск, срок на ТРИ года, сч[итая] ср[ок] с 2/II 33 г. <...>»

(Архив ГПБ. Ф. 16. Следственное дело Иванова-Разумника. Л. 402).

[172] Иоан. XXI, 18.

[173] Слова из «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина.

[174] Книга М.М. Пришвина «Золотой Рог» была издана в 1934 г. Издательством писателей в Ленинграде.

[175] Цитата из «Отрывков из путешествия Онегина» (1830) Пушкина.

[176] Имеется в виду купальня при Силоамском источнике на юго-восточной стороне Иерусалима, вода которого считалась священной (Исх. VIII, 6; Иоан. IX, 7—11).

[177] В.А. Кильчевский в 1920-х гг. находился в заключении в Верхне-Уральском политизоляторе.

[178] И.С. Гвиздон (правильное написание фамилии) неоднократно подвергался арестам начиная с 1901 г. В 1906 г. сослан на поселение в Западную Сибирь (утверждение Иванова-Разумника о том, что он отбывал каторгу, ошибочно).

[179] Возможно, по ходатайству Е.П. Пешковой.

[180] Имеется в виду доклад Сталина «Итоги первой пятилетки» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г. или его речь «О работе в деревне» на том же пленуме 11 января. В обоих выступлениях речь идет о «вредительстве» на селе.

[181] В книге Иванова-Разумника «Вершины. Александр Блок. Андрей Белый» (Пг., 1923) из выступления на LXXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 года, впервые опубликованного в сборнике «Памяти Александра Блока» (Пб., 1922), в частности, были изъяты следующие строки: «Мы знаем теперь: не душа Блока изменилась — изменилась душа революции; ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился. Не в радостный час победы умер Блок; но смерть была его победой» (Памяти Александра Блока. С. 55). «Слушайте революцию! — говорил нам поэт годом раньше. Этого клича теперь не повторит — и не потому, что отказался от него. Слушайте революцию, конечно; но помните, что есть революция и революция, что есть революция, которая строит новый мир, и есть революция, которая укрепляет корни мира старого, — «и если лик свободы явлен, то прежде явлен лик змеи, и ни один сустав не сдавлен сверкнувших колец чешуи»... Этой змеей, этим змием была для поэта государственность, и в ее возрождении чуял он возвращение старого мира. Помните, в «Двенадцати»: «скалит зубы — волк голодный — хвост поджал — не отстает»... И из волка вырос он в огромного всепожирателя Левиафана. И какими бы лозунгами ни прикрывалась победа Левиафана, но для поэта стихии, для поэта, который так чувствовал «дух музыки», она — всегда победа старого мира, уничтожение ростков мира нового!» (Там же. С. 60). «И разве случайно заболел он и умер после марта 1921 года, того марта, когда окончательно определился последний уклон революции, новый ее круг?» (Там же). «Начался спад, революция кончилась — и Блок ее не пережил» (Там же. С. 60).

[182] Указывая в комментарии к «Истории одного города» параллели между книгой Салтыкова-Щедрина и памфлетом Лабуле «Le prince-caniche» («Принц-пудель»), появившимся в русском переводе в 1868 г. в «Отечественных записках», Иванов-Разумник, в частности, цитирует: «...«новый законопроект о благоустроении книг и журналов» («Статья 1: В наших владениях будет только одна газета: Официальная Правда. Статья 2: Все плательщики податей обязаны подписаться на нее и читать ее утром и вечером» и т.д.). Все это очень близко к темам сатиры Салтыкова, в частности — к «оправдательным документам» из "Истории одного города"» (*Салтыков (Щедрин) М.Е.* Сочинения. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 615).

[183] О «Сказке о ретивом начальнике, как он сам своими действиями в изумление был приведен» (1882) Иванов-Разумник пишет в предисловии к изданию и в примечаниях, где характеризует пять редакций ее текста (Неизданный Щедрин. С. 10—11, 324—327).

[184] Тайная организация придворной аристократии (лето 1881 г. — конец 1882 г.), созданная для борьбы с революционным движением в России после покушения на Александра II. Деятельностью «Священной дружины», куда входили великие князья, министры и генералы, руководил центральный комитет во главе с П.П. Шуваловым. «Священная дружина» имела своих шпионов и провокаторов, свои издания в Женеве (газеты «Вольное слово» и «Правда»), а также двойную конспирацию — не только от революционеров, но и от полиции.

[185] Речь идет о М.М. Пришвине.

[186] Выступая с докладом «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г., Сталин, в частности, сказал: «Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю его тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, сие от меня не зависит»».

[187] о тебе басня рассказывается (*лат.*).

[188] Книга Андрея Белого «Начало века» вышла в свет в ноябре 1933 г. с предисловием Л.Б. Каменева (в те годы — директора издательства «Academia»), которое вызвало негодование автора и ускорило его кончину. Книга Белого «Мастерство Гоголя» (М.; Л.: ГИХЛ, 1934) с предисловием Каменева вышла в свет уже после смерти автора.

[189] Ср.: «Сказать, что данная работа Иванова-Разумника не стоит ни в какой преемственной и методологической связи с его прежними работами, у читателя исследования о Салтыкове-Щедрине нет решительно никаких оснований» (*Десницкий В.А.* Предисловие // Иванов-Разумник. М.Е. Салтыков-Щедрин. С. 10).

[190] Ср. в письме Иванова-Разумника В.Н. Ивановой от 11 марта 1934 г.: «За бумагу спасибо; почтовой бумаги и тетрадей больше не высылайте, а писчую бумагу, если понадобится, еще попрошу. Последнее в значительной мере зависит от результатов переговоров Алпатова. — Об этих переговорах я уже писал тебе; недавно получил новое письмо от него, — все еще без каких-либо «конкретностей». Вопрос о редактировании Гл. Успенского пока отложен, впредь до результатов переписки «Academi'и» с Академией по поводу рукописей Успенского. Заведующий собирается предложить мне редактировать Щербину, но я уже ответил Алпатову, что это невыполнимо — ввиду того, что необходима для этого кропотливая работа (я вел ее в 1928, кажется, году) в Публичной Библиотеке и Пушкинском Доме. Так что по-прежнему — сижу у Волги и жду погоды. От «двух Г» (Груздева и Горнфельда) писем нет». («Дорогая моя и

любимая Варя...» // Минувшее. [Вып.] 23. С. 435). Упоминаемые в письме Л.М. Пришвин-Алпатов — сын М.М. Пришвина, И.А. Груздев и А.Г. Горнфельд безуспешно хлопотали о работе для Иванова-Разумника.

[191] Ср. в письме Иванова-Разумника В.Н. Ивановой от 4 февраля 1934 г.: «Но вот что из его [М.М. Пришвина. — *Комм.*] письма я тебе сообщу и что меня глубоко тронуло, — фантастический его проект начать хлопоты о том, чтобы меня отдали ему на поруки вкупе с Мейерхольдом и поселили бы в Загорске! Я хохотал, но скажу правду — тронут был почти до слез, сравнивал этот его, пусть фантастический, проект с поведением таких «старых друзей», как Петров-Водкин и всех подобных (увы! вплоть до Б.Н., не тем будь помянут), спрятавшихся в кусты» («Дорогая моя и любимая Варя...» // Минувшее. [Вып.] 23. С. 426). *Б.Н.* — Б.Н. Бугаев (Андрей Белый).

[192] Ср. в письме Иванова-Разумника В.Н. Ивановой от 22 апреля 1934 г.: «Получил (от М.М. Пришвина. — *Комм.*) 200 р[ублей] и следующее письменное сообщение на переводе: “Этот уголок перевода есть единственная для меня возможность написать: все пропадает. С работой плохо: Лева все еще не добился ничего. Год по 200 р[ублей] гарантирую. С поруками отговаривают: что это Вам будет в отношении меня стеснительно”» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 200). *Лева* — Л.М. Пришвин-Алпатов.

[193] Ср.: «Руководители Ленгихла справедливо полагают, что научность будущего издания (М.Е. Салтыкова-Щедрина. — *Комм.*) «заключается также в марксистско-ленинском истолковании художественного творчества Щедрина, в извлечении из этого творчества революционного опыта для современности». Именно с этой точки зрения и подчеркнул я в своем выступлении [на совещании ленинградских критиков и литературоведов 16.1.1934 г. — *Комм.*] необходимость некоторых гарантий от повторения Ленгихлом таких, например, ошибок, как имевшее место монопольное закрепление всех примечаний по всем томам Салтыкова за Р.В. Ивановым-Разумником и его учениками» (*Оксман Ю.Г.* Письмо в редакцию // Литературный Ленинград. 1934. 10 февраля. № 7. С. 4). Ю.Г. Оксман был тогда профессором Петроградского университета (с 1923 г.), заместителем директора Пушкинского Дома (1933—1936). См. о нем: *Пугачев В.В., Динес В.А.* Историки, избравшие путь Галилея. Статьи, очерки. Саратов, 1995. С. 5—84. В связи с этим «Письмом в редакцию» Л.С. Флейшман в своей публикации «Из архива Гуверовского института. Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве», приводя комментируемый фрагмент из «Тюрем и ссылок», отмечает: «Выступление Оксмана против Иванова-Разумника связано со старой враждой «формалистов» с последним. С книгой «Тюрьмы и ссылки» Оксман познакомился позднее, в середине 60-х годов, и, коснувшись (в беседе с нами) цитируемого здесь пассажа, признался: «Когда я прочел это, мне стало стыдно»» (Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. Vol. 1. С. 66). Вместе с тем, прочитав «Писательские судьбы», Оксман писал Г.П. Струве (2 июня 1963 г.):

«...самого Ив[анова]-Разумника я очень не люблю. О его двусмысленном поведении во время процесса эс-эров и во всех последующих дознаниях 1930—1937 гг. мне много рассказывал Е.Е. Колосов, с кот[орым] я случайно встретился в Омской тюрьме, где К. был потом расстрелян вместе с другими эсэрами, привезенными из Тобольска в июле 1937 г.» (Там же. С. 62).

[194] Ю.Г. Оксман был арестован 6 ноября 1936 г., осужден Особым Совещанием на пять лет, в 1941 г. получил второй срок — еще пять лет; пробыл в лагере на Колыме до 1946 г.; по освобождении назначен в 1947 г. профессором Саратовского университета, где проработал до осени 1956 г., когда получил разрешение поселиться в Москве и был принят старшим научным сотрудником в Институт мировой литературы им. А.М. Горького.

[195] молодой человек сорока лет (*фр.*).

[196] Герой романа А. Франса «Преступление Сильвестра Бонара» (1881).

[197] бывают ли старики в 62 года! (*фр.*) .

[198] Речь идет о работе австрийского физиолога Э. Штейнаха об омоложении (1921) путем перевязки семенных канальцев. См.: *Шмидт П.Ю.* Теория и практика омоложения (Операции Штейнаха). Пг., 1923.

[199] «когда старость придет» (*фр.*).

[200] пока дышу, надеюсь (*лат.*). Выражение это принадлежит Овидию («Скорбные элегии», 1).

[201] для данного случая (*лат.*).

[202] Иронический намек на «Историю фабрик и заводов», с инициативой создания которой в начале сентября 1931 г. выступил М. Горький. В октябре было принято постановление ЦК ВКП(б) о создании книжной серии «История заводов».

[203] М. Горький писал П.П. Крючкову 23 октября 1934 г.: «Нельзя ли сократить Иванову-Разумнику срок высылки из Ленинграда? И возвратить его. Он — в Саратове, срок высылки еще год и 8 месяцев. Болен, работы нет» (Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 233).

[204] Иванов-Разумник писал об Арсении Крогиусе в рекомендательном письме к Ф. Сологубу от 18 октября 1926 г.: «Студент-саратовец, только что переселившийся в Петербург, начинающий поэт; я говорил Вам о нем, и Вы разрешили ему посещать Ваши Вторники, которые могут принести ему большую пользу» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 296. Л. 105).

[205] Иванов-Разумник неверно указывает второй инициал Коробова; его отчество — Степанович.

[206] В настоящее время эти дневники опубликованы. См.: «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подгот. текста М.М. Павловой. Вступ. статья и примеч. М.М. Павловой и Д.И. Зубарева // Звенья. Вып. 2. С. 11—173. В 1918 г. Гиппиус, перечисляя «интеллигентов-перебежчиков» к большевикам, так характеризовала Иванова-Разумника: «литер[атурный] критик очень среднего да-

рования и вкуса, тип не Чуковского, иной. Лев[ый] эсер, в сущности без влияния. Озлобленный» (С. 58).

[207] Иронически обыгрывается фраза из «Повести временных лет»: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нѣтъ» («Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»). См.: Повесть временных лет. СПб., 1996. С. 13, 149.

[208] В.Н. Перетц 16 июня 1934 г. был выслан Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ на три года в Саратов (по 58-й статье), где и умер 23 сентября 1935 г. См.: *Перченок Ф.Ф.* К истории Академии наук: снова имена и судьбы... Список репрессированных членов Академии наук // In memoriam: Исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. М.; СПб., 1995. С. 192.

[209] *Е.П. Пешкова* — жена М. Горького, до революции член партии эсеров, одно время входила в состав ЦК партии. С 1909 г. участвовала в деятельности «Общества помощи политическим каторжанам», созданного В. Фигнер. В 1917 г. возглавляла Московское бюро «Общества помощи освобожденным политическим», с 1918 г. входила в состав Московского комитета Политического Красного Креста, отвечая в нем за посещение тюрем. С 1921 г. стояла во главе Политического Красного Креста, с 1922 по 1938 г. — во главе правозащитной организации «Общество помощи политическим» (Помполит). Подробней о ее деятельности на этом посту см.: *Леонтьев Я.* Политический Красный Крест в стране серпа и молота // Общая газета. 1996. № 42; *Он же.* Политический Красный Крест в Москве: опыт источниковедческого анализа // Археографический ежегодник за 1997 год. М., 1997. С. 159—165. Заявление, о котором пишет Иванов-Разумник, не найдено, однако в фонде Политического Красного Креста сохранилось другое его письмо Е.П. Пешковой:

«Станц. Кашира *15 марта 1937*

Ряз.-Ур. ж.д.

Пролетарская, 9а

Многоуважаемая Екатерина Павловна,

обращаюсь к Вам вот с какой просьбой: я написал заявление о «снятии судимости» для направления его в соответствующую комиссию ВЦИКа, — но совершенно не знаю, как и куда направить это заявление. Поэтому направляю его к Вам (прилагаю к этому письму), и просьба моя — передать или переслать его по назначению.

Простите, что утруждаю Вас этим и примите уверения в совершенном уважении.

Разумник Иванов».

В том же деле имеется машинописная копия ответа:

«Р.В. Иванову-Разумнику

В ответ на В[аше] обращение сообщаю, что В[аше] заявление мы переслали в Комиссию по делам частных амнистий при Цик'е. Ответ получите непосредственно» (ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Ед. хр. 1566. Л. 29, 30).

[210] Иванов-Разумник, хорошо знавший С. Есенина, неоднократно обращался к характеристике его творчества, а также к воспоминаниям о поэте. Ср. в письме Иванова-Разумника З.Н. Райх от 16 января 1927 г.: «Я за этот год закончил свои записки о С[ергее] А[лександровиче], — листов на пять и совершенно не для печати, за исключением, быть может, нескольких страниц общего содержания» (РГАЛИ. Ф.998. Оп. 1. № 3697. Л. 3). Воспоминания не сохранились. См.: *Карохин Л.* Сергей Есенин и Иванов-Разумник. «Человек, перед которым я не лгал...». СПб., 1998.

[211] Обыгрываются слова арии Германна («Сегодня — ты, а завтра — я») из оперы П.И. Чайковского (либретто М.И. Чайковского) «Пиковая дама» (1890; действие III, картина 3).

[212] Имеется в виду издание: *Блок А., Белый А.* Переписка / Редакция, вступ. статья и коммент. В.Н. Орлова. М., 1940. (Летописи Гос. литературного музея. Кн. 7). Книга подписана к печати 15 сентября 1940 г.

[213] См. выше примеч. 24 к «Писательским судьбам».

[214] повторенье — мать ученья (*лат.*).

[215] Пересказывается поучительная басня «Великодушие», написанная по-русски приехавшим в Петербург швейцарцем Петитомом, героем рассказа В.И. Даля «Находчивое поколение»: «Один молодой козел пошел себя немножко прогуливает; вдруг на встречу ему попадался городовой. Городовой, по должность свой, спросил: Господин молодой козел, вы пьян? Нет, отвечал молодой козел, я не пьян, я только немножко себя прогуливает. Городовой обратился, по должность свой, к другой прохожий.

Эта басня показывает, что один был великодушнее другого, а другой великодушнее одного» (*Даль В.* Полн. собр. соч. СПб.; М., 1897. Т. 3. С. 398. Благодарим за указание Леа Пильд).

[216] за одно и то же дважды не наказывают (*лат.*).

[217] В «Деле» имеется опись конфискованных документов с резолюцией «Изъятые блокноты и переписка изъятая при обыске уничтожены»:

«1. Паспорт Иванова за № 516004 серия НАС.

2. Разных писем и открыток от разных лиц 407 шт.

3. Блокнот с адресами написанными на 19 листах.

4. Папка с материалами и письмами Университет 1899—1905.

5. Письма без адресата о переводах вообще и о переводе на 68 л.

6. Опись архивных на 33 листах.

7. Печатный архив журнала «Мысль» («Заветы» на 14 лист[ах]).

8. К материалам о Блоке на 50 листах.

9. Опись откуда поступали письма с адресами по материалу Андрея Белого на 18 листах и пакет с поправками.

10. Переписка 1912—1917 гг. А.М. Горького с Ивановым на 12 листах». (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165. Л. 3). Кроме того, здесь же имеется дополнительный акт об уничтожении переписки. (Там же. Л. 4).

[218] свидание наедине (*фр.*).

[219] См.: *Заковский Л.* Шпионов, диверсантов и вредителей уничтожим до конца! М., 1937.

[220] Иронически обыгрываются слова из речи В.И. Ленина на X съезде РКП(б) о введении новой экономической политики.

[221] Начало «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносова.

[222] См.: *Григорьев Ап.* Воспоминания / Редакция и коммент. Иванова-Разумника. М.; Л.: Academia, 1930.

[223] Речь, вероятно, идет о Д.А. Быстролетове, докторе права Парижского университета и докторе медицины Цюрихского университета, завербованном в 1925 г. Иностранным отделом ОГПУ и объездившим со спецзаданиями (в качестве разведчика-вербовщика) многие государства Азии, Африки, Америки и Европы. О его пребывании в Бутырской тюрьме в 1938 г. см.: *Быстролетов Д.А.* Путешествие на край ночи. М., 1996.

[224] С.Я. Калмансон до ареста являлся заместителем заведующего научно-исследовательским сектором Зоологического парка Моссовета.

[225] См.: Суд. V, 1—31.

[226] не глазами, но ушами (*лат.*).

[227] Немецкий вариант заглавия цикла «новых творений Кузьмы Пруткова», напечатанного в сатирическом журнале «Свисток» (1860. № 4): «Пух и перья (Daunen und Federn). К досугам Кузьмы Пруткова». См.: «Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок». Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859—1863. М., 1982. С. 112; *Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. С. 425.

[228] Возможно, речь идет о В.К. Сабельфельде, начальнике культурно-воспитательного отдела Устьвымлага НКВД Коми АССР.

[229] Имеется в виду финальный эпизод повести М. Горького «Трое» (1900) — самоубийство Ильи Лунева, на бегу разбивающего голову о каменную стену. См.: *Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1970. Т. 5. С. 316—317.

[230] О «заговоре» в Красной Армии см.: *Сувениров О.Ф.* Трагедия РККА, 1937—1938. М., 1998.

[231] Перефразирована реплика Телегина из 4-го действия пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897): «Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1978. Т. 13. С. 105).

[232] Иванов-Разумник исказил фамилию, правильно — Ломтатидзе. Отец его, В.Б. Ломтатидзе (Воробьев) — меньшевик, депутат 2-й Государственной думы; по процессу социал-демократической фракции в 1907 г. приговорен к каторге, замененной семилетним тюремным заключением. Иванов-Разумник путает этот

процесс с процессом над членами 4-й Государственной думы, депутатами-большевиками А.Е. Бадаевым, М.К. Мурановым, Г.И. Петровским, Ф.Н. Самойловым и Н.Р. Шаговым, который состоялся в феврале 1915 г.

[233] Р.П. Катанян в описываемый период был старшим помощником прокурора СССР.

[234] Наркомом легкой промышленности СССР был И.Е. Любимов, арестованный в сентябре 1937 г. Расстрелян. Согласно справочнику «Вся Москва» на 1936 г., его личным секретарем являлся В.В. Катанян.

[235] На Я.С. Агранова (перед арестом — зав. наркома внутренних дел), проводившего следствия по ряду крупнейших политических дел, в 1920—1930 гг. был возложен надзор за интеллигенцией. Иванов-Разумник имеет в виду его вторую жену В.А. Агранову-Чернявскую (урожд. Кухареву).

[236] То есть статьи.

[237] Ср.: «Вольная философская ассоциация (Вольфила) учреждена была в Петрограде в ноябре 1919, прекратила работы в мае 1924. Формально она была основана «с целью исследования и разработки в духе философии и социализма вопросов культурного творчества». Учредителями ее были: Андрей Белый, А. Блок, Р.В. Иванов-Разумник, К. Эрберг, А. Штейнберг, В. Мейерхольд, К. Петров-Водкин, С. Мстиславский и др. Вольная философская ассоциация объединяла философов и поэтов различных течений, но решающее большинство стояло на платформе реакционного идеализма и мистицизма. В Москве в 1921—24 существовало отделение Вольной философской ассоциации» (Большая советская энциклопедия. М., 1929. Т. 13. С. 48).

[238] См.: *Аристофан.* Богатство (Плутос). Комедия / Пер. размером подлинника Вл. Холмского [Иванова-Разумника]. Л., 1924.

[239] Ср.: «“История одного города” — не историческая сатира, не политический памфлет, вернее — не только политический памфлет, не только историческая сатира. Элементы и того и другого есть в этой «Истории» как материал, из которого воздвигается здание, но само здание в цельности своей построено и по другим законам, и с другой целью. Это не историческая, а общенациональная сатира на государственный абсолютизм и народную пассивность. Эта сатира Салтыкова бессмертна потому, что из тысячелетней истории государства и народа русского сатирик взял и с громадной силой воплотил в художественных образах те два элемента, которые являлись типичными, за малыми исключениями, для всей истории взаимоотношений власти и народа» ([*Иванов-Разумник.*] Комментарии и примечания // Салтыков (Щедрин) М.Е. Сочинения. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 620).

[240] Ср. с «Протоколом допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича от 4 ноября 1937 г.»:

«*Вопрос:* К какому времени относится ваша принадлежность к партии социалистов-революционеров?

Ответ: К партии социалистов-революционеров я никогда не принадлежал.

Вопрос: Из ваших объяснений видно, что Вы дважды репрессировались за активную эсеровскую деятельность и, в частности, за принадлежность к идейно-организационному центру. Дайте по этому вопросу подробные показания.

Ответ: Подтверждаю, что при советской власти я дважды привлекался к следствию и последний раз был выслан в 1933 году и проживал в гор. Саратове, после чего переехал работать в новой обстановке по гор. Москве как писатель.

Вопрос: Из этого видно, что Вы оставались на эсеровских позициях и продолжали вести борьбу с существующим строем. Это Вы признаете?

Ответ: Борьбы с существующим строем я не вел и никакой эсеровской деятельностью не занимался. Я это категорически отрицаю.

Вопрос: Следствию известно, что Вы продолжительное время занимались и продолжали вести борьбу с существующим строем, являясь неразоружившимся эсером. Предлагаем прекратить запирательство и дать на это прямой ответ.

Ответ: Да, я признаю, что идейно по некоторым вопросам примыкал и был связан с партией социалистов-революционеров, принимал деятельное участие как писатель в эсеровских изданиях: газете «Знамя труда» и журнале «Наш путь», являлся редактором литературного отдела партии социалистов-революционеров, ее левого течения.

Вопрос: Значит, Вы не отрицаете, что по своим политическим убеждениям Вы являетесь эсером, идеологически были связаны с П.С.Р.?

Ответ: Я отрицаю свою принадлежность к партии социалистов-революционеров, по убеждениям я эсером никогда не был, я сторонник народничества.

Вопрос: Вы заявляли, что к партии эсеров Вы никогда не принадлежали, но были идейно связаны с П.С.Р. Из этого явствует, что Вы разделяли программные вопросы партии социалистов-революционеров. Дайте на это четкий ответ.

Ответ: Программные вопросы партии социалистов-революционеров я не разделял и идейно примыкал к этой партии потому, что считал, что эсеры кое в чем позаимствовали у народников, сторонником которых я являюсь.

Вопрос: Здесь Вы желаете обмануть органы следствия. Вы не указали, что принимали деятельное участие в эсеровских изданиях, являясь редактором одного из ее отделов. Из этого также видно, что Вы были активным участником эсеровского движения, целиком и полностью разделяли линию П.С.Р., вели борьбу против сов. власти. Вам предлагается: прекратить упорствовать и рассказать о своей деятельности как эсера, как в прошлом, так и в настоящее время.

Ответ: К партии социалистов-революционеров я не принадлежал, программных вопросов ее в жизнь не проводил и если являлся редактором отдела эсеровских изданий, то лишь потому, что, будучи последователем идеологии Герцена, Чернышевского и Лаврова, я на страницах эсеровской печати осве-

щал их идеи, так как считал, что эсеры кое-что взяли из философских учений «моих» предшественников.

Вопрос: Это не правдоподобность, это ваша демагогия, ни на чем не обоснованная. Вы идейно и организационно были связаны с левыми социалистами-революционерами, принадлежали к партии С.Р. при ее легальном существовании, а уже в наше время, оставаясь верным идеям эсеров, вели активную борьбу с советской властью. Требуем рассказать следствию о вашей к/революционно-эсеровской работе, которую вы вели до последнего времени, будучи на свободе. Вы решили говорить?

Ответ: На этот вопрос мне ответить нечего, считаю, что нового, что мною сказано было ранее, ничего дополнить не могу и отвечать на эти [вопросы] больше не желаю.

Вопрос: Вы и на следствии продолжаете вести борьбу с органами советской власти. У Вас не хватает мужества отвечать за свою контрреволюционную деятельность. Из этого видно, что Вы с советской властью ничего общего не имели и не имеете. Вы продолжаете оставаться врагом сов. власти, а не писателем, каким себя именовали. У Вас остался единственный выход: это чистосердечно рассказать органам следствия о своей принадлежности к эсеровскому центру и о его участниках. Последний раз предупреждаем, что в вашем лице сов. власть видит своего врага, которого будет [судить] как за к/р деятельность, так и за сопротивление при расследовании дела по Вашему вопросу.

Ответ: К эсеровскому центру я никогда не примыкал, заговоров против сов. власти не делал и к партии социалистов-революционеров не принадлежал, врагом себя, по отношению к советской власти, не считаю.

Вопрос: Кем Вы были приглашены в качестве редактора для работы в эсеровских изданиях?

Ответ: Сейчас я затрудняюсь ответить, кем персонально был приглашен на редакторскую работу в эсеровские издания «Знамя труда» и «Наш путь», и это еще и потому, что в то время я со многими эсерами находился в близкой связи.

Вопрос: Назовите лиц, коих Вы знали по партии социалистов-революционеров и с кем из них Вы сталкивались до последнего времени?

Ответ: Отвечать на этот вопрос отказываюсь, могу только сослаться на мои показания, которые я дал на следствии в органах НКВД в 1933 г. Могу дополнить свой ответ тем, что начиная с 1933 года, с момента моей ссылки в гор. Саратов, я из числа эсеров больше ни с кем не встречался.

Вопрос: Чем Вы занимались в гор. Саратове во время вашей ссылки и на какие средства жили?

Ответ: В городе Саратове во время своей ссылки я продолжал вести работу над II и III тт. монографии Салтыкова-Щедрина, за что я денег не получал, и над книгой черновиков стихов Блока, за что также никакого возмездия

не получал. Жил на средства, присылаемые мне моим другом ежемесячно по 200 (двести) руб., фамилию которого я не желаю называть.

Вопрос: Почему не желаете называть фамилию друга, от которого получали помощь?

Ответ: Это я делаю потому, чтобы не запутывать его в это дело.

Вопрос: Следствие требует назвать лицо, которое оказывало Вам материальную помощь как ссыльному.

Ответ: Требования следствия выполнить не могу по чисто моральным моим качествам. Отвечать на этот вопрос категорически отказываюсь.

Вопрос: В ходе предварительной беседы в начале допроса Вы назвали писателя Михаила Михайловича Пришвина и говорили, что Пришвин Михаил регулярно каждый месяц присылал Вам 200 руб. как материальную помощь. Вы это подтверждаете?

Ответ: Отвечать на этот вопрос категорически отказываюсь.

Вопрос: Вы не имеете права отказываться от своего заявления о Пришвине, ведь это Вами было сказано в присутствии ряда сотрудников. Вы обязаны в этот вопрос внести ясность.

Ответ: Вторично отказываюсь отвечать на поставленный мне вопрос.

Вопрос: Это же дикое упорство?

Ответ: А это как Вам желательно, так и рассматривайте.

Показания зачитаны с моих слов верно, мною прочитаны

Разумник Иванов.

Допросил п/нач. 4 отд. МО

мл. лейт. *Шепталов*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дело П—7165. Л. 30—32 об.).

[241] в сторону (*фр.*).

[242] нельзя наказывать за мысли (*лат.*).

[243] В «Деле» имеются два протокола допросов Иванова-Разумника от 14 и 15 декабря 1937 г.:

«Протокол допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича

от 14 декабря 1937 г.

Вопрос: Кого Вы знали из членов партии С.-Р.?

Ответ: Пинеса Дмитрия Михайловича. Брюллову-Шаскольскую Надежду Владимировну. Спиридонову Марию Александровну. Гоца (имя и отчество не помню). Чернова Виктора Михайловича. Русанова (псевдоним Кудрин) Николая Сергеевича. Масловского (псевдоним Мстиславский) Сергея Дмитриевича.

Вопрос: Когда и где Вы встречали вышеперечисленных лиц?

Ответ: Пинеса Дмитрия Михайловича знал с 1922 г., когда Пинес Д.М. был секретарем «Вольной философской ассоциации (Вольфила)», официально существовавшей в гор. Ленинграде с 1919 по 1924 г. После 1924 г. Пинес

Дм. Мих. неоднократно помогал мне в редактировании ряда литературных работ (Воспоминания Панаева, Записки Греча и т.д.).

С 1930 г. принимал ближайшее участие при моем редактировании Сочинений Блока в 12 томах по 1933 г. В 1933 г. Пинес Д.М. был арестован по делу «идейно-организационного центра народничества». После чего я его не видел. Но в период с 1936 по 1937 г. я с ним переписывался по литературным вопросам.

Брюллову-Шаскольскую Надежду Владимировну впервые встретил в 1908 г., когда она работала в Университете (в Петрограде). После 1908 г. я ее не видел до 1917 г., когда встретился в редакции «Дело народа» (центральная эсеровская газета), где я был заведующим литературным отделом. Позже я встречал ее в Ленинграде в 1928—1929 гг., когда она вновь приехала, и поддерживал знакомство до 1933 г. С 1933 г. я с ней не виделся и не переписывался.

Спиридонову Марию Александровну знал с 1917—1918 г. в Ленинграде по работе в редакции газеты «Знамя труда» левоэсеровского направления и журнала «Наш путь» также левоэсеровского направления.

После этого времени я ее не видел.

Гоца я видел в 1917 г. неоднократно в редакции газеты «Дело народа». Позже я его не встречал и ничего о нем не слыхал.

Русанова Николая Сергеевича знал с 1906 г., когда он вернулся из эмиграции в Россию, знакомство продолжалось до конца 1917 г. в редакции «Дело народа».

Дальнейшая судьба Русанова мне неизвестна.

Масловского Сергея Дмитриевича знал как газетного работника в газете «День». Встречался позднее в 1917 и 1918 г. в редакциях «Дело народа» и «Знамя труда».

Последний раз я его видел приблизительно в 1929 г. в Москве (адрес Гагаринский пер., д. 8а).

Чернова Виктора Михайловича встречал в редакции «Дело народа» в 1917 г. После чего я о нем никаких сведений не имею, кроме того, что он эмигрировал за границу.

Мною прочитано, с моих слов записано верно *Разумник Иванов.*

Допросил п. оп. уп. 4 отд. 4 отдела *Карякин*»

(ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Дело П—7165. Л.34—34 об.).

«Протокол допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича

от 15 декабря 1937 г.

Вопрос: Вы работали в редакции эсеровских газет с какого времени?

Ответ: В редакции «Дело народа» заведовал литературным отделом с начала марта по начало сентября 1917 г. В редакции «Знамя труда» с декабря 1917 г. по март 1918 г. и в журнале «Наш путь» с марта по май 1918 г.

Вопрос: Кто Вас рекомендовал на работу в эти редакции?

Ответ: Кто лично рекомендовал меня в редакции «Дело народа», «Знамя труда» и журнала «Наш путь», я не знаю. Но предполагаю, что ими (рекомендовавшими меня) могли быть член эсеровской организации Масловский и член партии народных социалистов Русанов, знавшие меня ранее работы в вышеупомянутых редакциях по литературным трудам и лично.

Кроме того, мое убеждение, что я являюсь народником, дало возможность мне работать в этих редакциях, т.к. эсеры также считали себя выходцами из народничества и в этом отношении расхождений по литературно-философским вопросам у нас быть не могло.

Вопрос: Знали Вы Орлова Василия Герасимовича? Откуда Вы его знали и где?

Ответ: Василия Герасимовича Орлова я знаю как квартирохозяина, у которого я жил в Кашире с сентября 1936 по сентябрь 1937-го. Он бывший работник по страхованию, где работал, я не знаю. В последнее время он нигде не работал, был на пенсии.

Вопрос: Вы знали Шатковского и Моринова?

Ответ: Нет. Фамилию Моринова я впервые слышу. Фамилию Шатковского я где-то слыхал, но сейчас не припоминаю.

Вопрос: Знали Вы Юрковского Бориса Борисовича?

Ответ: Нет, Бориса Борисовича Юрковского я не знаю.

Вопрос: С кем Вы имели близкое знакомство в Саратове?

Ответ: Не отказываясь отвечать на конкретные указания имен, не могу отвечать на этот вопрос по моральным соображениям.

Вопрос: Следствие располагает данными, что Вы неполно осветили свои связи с бывшими членами партии с.-р. в прошлом. Предлагаем дать более полные показания.

Ответ: Да, вспоминаю, что в «Вольной философской ассоциации» в период до 1924 г. принимал участие Гизетти Александр Алексеевич, читавший ряд докладов на философско-литературные темы. С ним я поддерживал знакомство и позднее, до 1930 г. Я встречал его в 1917 г. в редакции газеты «Дело народа». В 1933 г. Гизетти был привлечен к делу об «идейно-организационном центре народничества», и дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Больше по этому вопросу сказать ничего не могу.

Вопрос: Имея убеждение народника, Вы признаете, что в период 1917—1918 г. Вы разделяли взгляды эсеров?

Ответ: Нет, я этого не признаю, т.к. политические воззрения эсеров были мне во многом чужды.

Вопрос: Какие взгляды Вы высказывали по отношению к коллективизации 1929—30 гг.?

Ответ: В период 1929—30 гг. я сомневался в успешности коллективизации. С кем разговаривал я по этому вопросу, сейчас не припоминаю.

Вопрос: Вы признаете, что разделяли взгляды левых эсеров в период работы в редакциях эсеровских изданий?

Ответ: Нет, не признаю, потому что разделял не все взгляды полностью. Но заявляю, что взгляды левых эсеров были во многих отношениях мне ближе, нежели центральных или правых эсеров.

Мною прочитано, с моих слов записано верно *Разумник Иванов.*

Допросил пом. оп. уп. 4 отд. 4 отдела УГБ МО *Карякин*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дело П—7165. Л. 11—12).

[244] Вольное переложение фрагментов «Энеиды» Вергилия (кн. VI, ст. 126—130).

[245] самое желательное лицо (*лат.*).

[246] Торопись медленно! (*лат.*)

[247] В.П. Потемкин репрессирован не был, похоронен у Кремлевской стены в Москве.

[248] Имеется в виду О.Г. Тарле.

[249] Индекс запрещенных книг (*лат.*).

[250] См.: *Ланге Ф.А.* История материализма и критика его значения в настоящее время. СПб., 1881—1883. Т. 1—2.

[251] Ф.И. Седенко, будучи студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета, в 1911 г. был выслан в Вологду за участие в студенческих беспорядках; прожил там до 1914 г. В письме к нему в ссылку от 7 мая 1933 г. В.Н. Фигнер сообщала о хлопотах за него М.И. Ульяновой (см.: Звенья. Вып. 2. С. 448).

[252] Ср. с «Протоколом допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича от 3 апреля 1938 г.»:

«*Вопрос:* Дайте показания о вашем отношении к партии социалистов-революционеров?

Ответ: По идеологии я народник, и вся моя литературная деятельность покоится на идеях народничества — в свое время выраженных в трудах Герцена, Чернышевского и Лаврова. С этой точки зрения утверждения о том, что я являюсь одним из идеологов или продолжателей народнической [а последнее время перед Октябрьской революцией эс-эровской — Зачеркнуто. *Разумник Иванов*] идеологии — считаю правильным. Возражать против этого утверждения не могу, потому что до 1918 года работал в ряде эс-эровских изданий — журнал «Заветы», газета «Земля и воля», заведуя в них литературными отделами. Организационно с партией социалистов-революционеров связан не был.

Вопрос: Отбывая ссылку в Саратове в 1933—36 году, вы получали денежную помощь от врага народа Каменева?

Ответ: В одном случае при содействии Михаила Михайловича Пришвина я получил от Каменева денежный перевод в сумме триста рублей как аванс за литературную работу.

Записано верно с моих слов и мною прочитано.

Добавление: деньги я получил от издательства «Академия», во главе которого стоял Каменев.

Записано с моих слов верно и мною прочитано: *Разумник Иванов.*

Допросил нач. 4 отд. 4 отдела *Ф. Челноков*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дело П—7165. Л. 14—15).

[253] Неточно цитируются строки из последней строфы стихотворения Блока «Друзьям» (1908): «Зарыться бы в свежем бурьяне. Забыться бы сном навсегда!»

[254] Е.Г. Лундберг в 1917—1918 гг. сотрудничал в левоэсеровских изданиях вместе с Ивановым-Разумником, принимал активное участие в организации Вольной философской ассоциации; в начале 1920-х гг. возглавлял берлинское левонародническое издательство «Скифы», в котором выходили книги Иванова-Разумника. См.: *Лундберг Е.* Записки писателя. Берлин, 1922; *он же.* Записки писателя. Кн. 1—2. Л., 1932. В 1938 г. Е.Г. Лундберг был арестован 16 февраля по делу Иванова-Разумника, но никаких показаний в пользу обвинения не дал и был освобожден 7 мая. После освобождения Иванова-Разумника Лундберг возобновил с ним контакты и оказывал другу посильную помощь в поисках литературно-издательской работы (см.: ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. № 289—290). Хотя Лундберг и не избежал иллюзий, характерных для той эпохи, все же нельзя согласиться с версией А.З. Штейнберга о его сотрудничестве с ЧК (см.: *Штейнберг А.* Друзья моих ранних лет. С. 99—101).

[255] Первые две строки VI строфы поэмы Пушкина «Домик в Коломне»:

> Немного отдохнем на этой точке.
> Что? перестать, или *пустить на пе*?..

«*Пустить на пе*» — карточный термин, означающий «повторить ставку».

[256] Речь идет о статье «Зоологические нравы директора зоопарка» (Известия. 1937. 1 сентября), подписанной «Группа работников Московского зоопарка», где, в частности, говорится: «Дольше терпеть нельзя. Пока еще дело можно поправить, Островский (директор зоопарка. — *Комм.*) должен быть немедленно снят с работы и привлечен к ответственности». Следует отметить, что помимо ошибки в датировке этой статьи мемуарист допустил еще две неточности. Согласно справочнику «Вся Москва на 1936 год», П.А. Мантейфель являлся заведующим научно-исследовательским сектором зоопарка. Кроме того, Иванов-Разумник исказил фамилию директора Л.В. Островского.

[257] почему? (*нем.*)

[258] В.И. Межлаук в 1934—1937 гг. — заместитель председателя СНК и СТО СССР, председатель Госплана СССР. «Генеральным комиссаром» советского павильона на Международной выставке в Париже (открылась 24 мая 1937 г.) был его старший брат И.И. Межлаук, в тот момент председатель Комитета по де-

лам высшей школы при СНК СССР. Братья Межлауки были арестованы в декабре 1937 г., расстреляны.

[259] А.Г.К. оглы Кариев начиная с 1919 г. долгое время являлся членом и секретарем ЦК Компартии Азербайджана, а также первым секретарем Гянджанского окружного комитета партии. Перед арестом учился в Институте красной профессуры и работал в Исполкоме Коминтерна.

[260] Л.К. Рамзин был одним из главных обвиняемых на процессе Промпартии (ноябрь—декабрь 1930 г.). Подтвердил все обвинения в свой адрес, был приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением. После выхода из заключения стал лауреатом Сталинской премии.

[261] См.: *Gide A.* Retour de l'U.R.S.S. Paris, 1937.

[262] См.: *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. М.,1937. Недавно книги А. Жида и Л. Фейхтвангера переизданы в одном томе: Два взгляда из-за рубежа: *Жид А.* Возвращение из СССР. *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. М., 1990.

[263] В.Ф. Джунковский добился увольнения в отставку директора Департамента полиции С.П. Белецкого, тесно связанного с Распутиным. Позже Белецкому удалось обвинить Джунковского в связи с «либеральным направлением» и в «сочувствии освободительному движению». Р.В. Малиновский с 1910 г. — агент московской охранки; в 1912—1914 гг. — член ЦК РСДРП, большевик; депутат 3-й и 4-й Государственной думы. В 1914 г. сложил с себя депутатские полномочия и выехал за границу после того, как председатель Думы М.В. Родзянко узнал от В.Ф. Джунковского о его провокаторской деятельности.

[264] Мемуарист допустил неточность: репрессиям подвергся не брат, а сын Г.И. Петровского — советский экономист, редактор «Ленинградской правды» и журнала «Звезда». Подробнее о нем см.: *Петровский Л.П.* Петр Петровский. Алма-Ата, 1974.

[265] Имеется в виду следующий фрагмент из «Истории одного города» (1870; глава «Подтверждение покаяния. Заключение»): «Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1969. Т. 8. С. 404—405).

[266] Возможно, имеется в виду Фернан Жиро — лауреат Французского магнетического общества, автор книги «Опытный магнетизм». (Кн. 1—2. Пг., 1915).

[267] поздно приходящим [к обеду] — кости (*лат.*).

[268] Я.Г. Блюмкин, сотрудник ВЧК, затем Иностранного отдела ОГПУ, был арестован и расстрелян за связь с высланным из СССР Л. Троцким. Был выдан не своей женой, а возлюбленной Лизой Горской (Е.Ю. Розенцвейг), со-

трудницей ИНО ОГПУ. Подробнее об этом эпизоде: *Велидов А.С.* Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина. М., 1998.

[269] часть вместо целого (*лат.*).

[270] В декабре 1938 г. Н.И. Ежов был переведен на пост наркома железнодорожного транспорта. 10 апреля 1939 г. он был арестован, а 4 февраля 1940 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР (см.: Конец карьеры Ежова / Публ. Г.В. Костырченко, Б.Я. Хазанова // Исторический архив. 1992. № 1. С. 123—131).

[271] В «Деле» Иванова-Разумника имеется протокол допроса 1 декабря 1938 г.:

«*Вопрос:* На предыдущих допросах вы скрыли от следствия свои эсеровские связи. Назовите всех эсеров, которых вы знаете?

Ответ: Назвать всех эсеров, которых я знаю, я не могу, так как я знаю их всех и считаю, чтобы ответить на этот вопрос, надо восстановить в памяти сотни людей, с которыми я был знаком в 1917—18 годах.

Вопрос: Следствию известно, что вы до последнего времени поддерживали связь с эсерами Витязевым-Седенко Ф.И., Колосовым Е.Е., Бровкиным В.П., Лункевич[ем] В.В., Трутовским В.Е., Чижиковым А.Л., Столяровым И.В., Смертиным Е.П., Масловым С.Л., Андреевым М.И., Стерн Г.А., Львовым М.И., Байдиным, Никитиной Е.Д. и Черновым В.М. Зачем вы скрываете это?

Ответ: Да, Витязева-Седенко я знаю с 1917 года по 1924 год, когда Витязев-Седенко стоял во главе издательства «Колос», где печатались мои книги. С 1924 по 1930 год я вел с Витязевым-Седенко переписку, т.к. жил в то время в Детском Селе, а литературные дела мои были связаны с Москвой, где жил Витязев-Седенко. С 1930 по 1932 год я с Витязевым-Седенко раз или два раза имел переписку, точно не помню. С 1932 года я с Витязевым-Седенко всякую связь порвал, никаких сведений о нем не имею, где находится он сейчас, мне неизвестно. Колосова Е.Е. я знаю с 1917 года, когда я его встретил в редакции газеты «Дело народа», где я был заведующим литературно-критическим отделом. В начале 20-х годов Колосова я встречал еще раза два или три и с тех пор о нем никаких сведений не имею. Бровкина В.П. я знал с 1917 по 1924 год по издательству «Колос», кем он там работал, я не знаю, так как дел с ним не имел никаких. С 1924 года о Бровкине я ничего не знаю и встреч с ним никогда не имел. Лункевич[а] В.В. знаю с 1917 года, с которым мы были хорошо знакомы, последний раз виделся с ним в 1927—28 годах в Ленинграде, куда он приезжал с женой в отпуск из Симферополя, где он работал в педвузе. С 1928 года я [с] Лункевич[ем] больше не встречался и где он сейчас находится, мне неизвестно. Трутовского В.Е. я знаю с 1917 года по совместной работе с ним в редакции газеты «Знамя труда». С 1918 года связь с Трутовским прервалась, и больше никогда я с ним не встречался, переписки не вел и где находится он сейчас, мне неизвестно. Чижикова А.Л. я знаю с 1917 года по совместной работе в газете «Знамя труда», с 1918 года я его больше не встречал и где нахо-

дится он сейчас, мне неизвестно. Столярова И.В. я не знаю и никогда с ним не встречался. Смертина Е.П. тоже никогда не знал и не видел. Маслова С.Л., Андреева М.И., Стерн Г.А. и Львова М.И. я никогда не встречал, и кто они, я не знаю. Байдина я знаю с 1930 года по совместному местожительству в Детском Селе, где он работал библиотекарем в с/х академии. В 1933 году, ввиду моего ареста, я о Байдине потерял всякие сведения и никогда его не встречал и где он находится сейчас, мне неизвестно. Никитину Е.Д. я знаю как секретаря «Издательства Писателей в Ленинграде», в котором печатались мои работы, что она эсерка или нет, мне неизвестно, и встречался я с ней только в издательстве и только по вопросам литературной работы. С Черновым В.М. я никогда не встречался и ничего общего с ним не имел.

Вопрос: Следствие располагает данными, что вы в 1917 году на Всероссийском чрезвычайном съезде советов — в Ленинграде, являясь представителем фракции левых эсеров, выступили против большевиков. Подтверждаете вы этот факт?

Ответ: Как я уже показал на предыдущих допросах, на съезде советов в 1917 г. в Ленинграде не был, а потому и выступать с какой-либо речью не мог.

Вопрос: Следствию известно, что вы в период с 1917 по 1923 год принимали активное участие в нелегальных совещаниях, происходивших в помещении эсеровско-народнического издательства «Колос», где обсуждались вопросы борьбы с Советской властью. Дайте показания по существу заданного вам вопроса.

Ответ: Ни на каких нелегальных совещаниях в период с 1917 по 1923 год я не был, о существовании их не знал и виновным себя в этом не признаю.

Вопрос: Следствию известно, что в 1926 г. вы, будучи в Ленинграде, встретившись с Витязевым-Седенко, информировали его о том, что после арестов, произведенных органами ОГПУ, в частности, Колосова и других, — ленинградскими эсерами продолжается работа по воссозданию эсеровского подполья и что в Москву выехали эсеры Столяров И.В. и Смертин Е.П., с которыми ему, Витязеву-Седенко, следует связаться. Дайте показания по существу заданного вопроса.

Ответ: Да, в 1926 году в Ленинграде я с Витязевым-Седенко встречался, но никаких разговоров о том, что ленинградские эсеры продолжают работу по воссозданию эсеровского подполья и что в Москву выехали эсеры Столяров И.В. и Смертин Е.П., которых, как я уже раньше показал, не знаю, — не было.

Вопрос: Следствию известно, что в 1927 г. Витязев-Седенко передал вам книгу о сельском хозяйстве, написанную Масловым, в которой в черных красках отражено положение сельского хозяйства в Советском Союзе, с тем, чтобы вы передали ее руководителям заграничной делегации партии эсеров. Вы подтверждаете этот факт?

Ответ: Виновным себя в этом не признаю, т.к. Витязев-Седенко никакой книги, написанной Масловым, мне не передавал и ни о какой заграничной делегации партии эсеров, куда я должен был передать книгу, мне ничего не известно.

Вопрос: Следствию известно, что в 1928 г. в Ленинграде при встрече с Витязевым-Седенко вы дали последнему задание установить связь с руководителями контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия» — Кондратьевым и Чаяновым. Вы подтверждаете этот факт?

Ответ: Виделся ли я в 1928 г. с Витязевым-Седенко, я не помню, но задание установить связь с руководителями контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия» я Витязеву-Седенко никогда не давал.

Вопрос: Следствию известно, что в 1936 году на квартире Нарбекова в присутствии Нарбекова Н.В., Ракитникова Н.И., Чернова В.М. и других вы знакомились с нелегальной эсеровской литературой, полученной из-за границы. Вы подтверждаете этот факт?

Ответ: Никогда на квартире Нарбекова я не был, с литературой, полученной из-за границы, не знакомился и кто такой Нарбеков, Ракитников и Чернов я не знал, так что виновным себя в этом не признаю. Поправляюсь: Ракитникова я знал, с 1917 г. по 1921 г. видел его только два раза. С 1921 г. я его больше не видел, и где он сейчас находится, мне неизвестно.

Вопрос: Следствию известно, что вы, проживая в Ленинграде (в Детском Селе), устраивали на квартире совещания так называемого «идейно-организационного центра народнического движения». Дайте показания по существу заданного вопроса.

Ответ: Виновным себя в этом не признаю, никакого «идейно-организационного центра народнического движения» не было, никаких совещаний я у себя на квартире не устраивал.

Вопрос: Вы хотите внести в свои показания поправку?

Ответ: Да, я хотел внести поправку о том, что в своих показаниях, где я показал, что знаю Никитину Е.Д., я вспомнил, что ту Никитину, которую я знал, звали Зоя, а не Екатерина.

Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан

Разумник Иванов.

Допросил: о/упол. 2 от-ния 4 от-ла УГБ МО сержант гос. без. *Иванов*» (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165. Л. 17—22).

«Допрос обвиняемого Иванова Разумника Васильевича» представителем прокуратуры состоялся 24 января 1939 г.:

«*Вопрос:* Вы с материалами следствия знакомы?

Ответ: Следователь знакомил меня с материалами следствия и предлагал мне их прочитать, но я не пожелал читать, т.к. полагал, что дело будет передано в особое совещание. Сейчас, как видно, дело мое будет передано в суд, поскольку я перечислен за Прокурором делами, и поэтому желаю более детально ознакомиться с материалами следствия.

[Дело передано обвиняемому для ознакомления.]

Вопрос: Вы познакомились с материалами следствия?

Ответ: Да, материалы следствия я прочитал.

Вопрос: Вы знаете, в чем Вас обвиняют?

Ответ: Да, это мне известно, я обвиняюсь в контрреволюционной деятельности, т.е. по ст. 58, п. 10, 11, ч. I, УК.

Вопрос: Вы признаете себя виновным в предъявленном Вам обвинении?

Ответ: Нет, виновным в предъявленном мне обвинении я ни в чем не признаю.

Вопрос: Из показаний Чернова Вл. Мих. видно, что вы летом 1936 года бывали в квартире Нарбекова, где знакомились с нелегальной эсеровской литературой, полученной из заграницы. Вы признаете это?

Ответ: Нет, не признаю. В квартире Нарбекова летом 1936 г. не был и быть не мог, т.к. до 6 сентября 1936 года находился в ссылке в гор. Саратове с 1933 года. Из Саратова ни в Москву, ни в Ленинград с 1933 по 1936 г. я не выезжал, это можно проверить по материалам НКВД г. Саратова, куда я являлся через три дня.

Вопрос: Витязев-Седенко показал, что Вы входили в состав ЦК подпольной партии эсеров и длительный период вели борьбу против советской власти. Вы признаете это?

Ответ: Нет, не признаю. Я ни в какой партии не состоял. Будучи беспартийным, я не мог быть членом ЦК партии эсеров. Витязев-Седенко показывает ложно потому, что у меня с ним были обостренные взаимоотношения. О том, что я не состоял в партии эсеров, можно установить по брошюре Съезд партии социалистов-революционеров ..... ноябрь 1917 год, а что касается моих отношений к Октябрю, то это можно установить по моей книге «Год Революции», которая вышла в 1917 году. Эта книга опровергает показания Крисанова о моем погромном выступлении в 1917 г. на съезде советов, т.к. я на этом съезде не был и выступать не мог. Я действительно разделял и разделяю мировоззрение народничества, между которым и эсерами нельзя ставить знак равенства.

Показания прочитал. Записаны верно *Разумник Иванов.*

Пом. прокурора Моск. обл. по спецделам *Шленский*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165. Л. 35—36).

[272] Тезис Панглоса — героя повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

[273] Ср. в «Записках из Мертвого дома» (ч. 1, гл. 3): «Довольство хорошо одетого доходило до ребячества; да и во многом арестанты были совершенные дети» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Л., 1972. Т. 4. С. 35).

[274] Я исчерпал все познания в латыни (*фр.*).

[275] Возможно, речь идет о В.И. Здравомыслове — в 1930-е гг. профессоре 1-го Московского медицинского института, авторе книг по гинекологии.

[276] «Обновленцы» — сторонники самопровозглашенного архиепископа А.И. Введенского, петроградского протоиерея, провозглашавшего «коммунистическое христианство» и приверженность Советской власти. Одновременно выступали за «обновление» церковных служб и не признавали консервативных первоиерархов русской православной церкви. «Обновленцы», наряду с другим оппозиционным течением — «живоцерковниками», — стали инициаторами цер-

ковного раскола в начале 1920-х гг. «Тихоновцы» — духовенство и миряне, оставшиеся приверженцами завещания первого (после восстановления патриаршества) главы русской церкви Тихона (Белавина), избранного патриархом на Поместном Соборе в 1917 г. В 1922 г. по обвинению в антисоветской деятельности патриарх Тихон был заключен под домашний арест. После его кончины в апреле 1925 г., должность местоблюстителя патриаршего престола, согласно завещанию, должен был занять митрополит Петр Крутицкий (Полянский). Однако, ввиду нахождения местоблюстителя в ссылке, на эту должность вступил митрополит Сергий (Старгородский), опубликовавший 27 июля 1927 г., по сути дела, капитулянтское «Послание пастырям и пастве». Это обстоятельство привело к еще одному церковному расколу, так как одни священники во время совершения служб поминали митрополита Сергия и власть, а другие продолжали поминать митрополита Петра. Последние сразу же начали активно подвергаться преследованиям.

[277] На момент ареста в мае 1937 г. Б.С. Горбачев занимал пост командующего войсками Уральского военного округа.

[278] Имеются в виду слова проститутки Любы из рассказа «Тьма» (1907): «— Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?» (*Андреев Л.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 287).

[279] Правильно — Чмелев.

[280] Ср. с «Протоколом допроса обвиняемого Иванова Разумника Васильевича от 28 апреля 1939 г.»:

«*Вопрос:* Когда и за что вы арестовывались при советской власти?

Ответ: Первый раз я был арестован 13 февраля 1919 года. Я был арестован в Петрограде вместе с группой писателей Александром Блоком, Венгеровым, Ремизовым и другими по подозрению в участии в заговоре левых эсеров. Но я и ряд других писателей были немедленно освобождены. Второй раз я был арестован второго февраля 1933 года и обвинялся в том, что являлся идеологом народничества, и как мотив ареста было то, что якобы где-то собиралась молодежь и читали мои книги. И третий раз я арестован 29 сентября 1937 года в городе Кашире и был этапирован в Москву.

Вопрос: Когда и как вы встречались с Витязевым-Седенко в последние годы?

Ответ: Мои последние встречи с Витязевым-Седенко относятся к 1928 году. Я с ним встречался как с лицом, стоящим во главе издательства «Колос». Это издательство закрылось примерно в 1926 или 1927 году, после издательства я с ним встречался несколько раз, так как у него была богатейшая картотека по писателю Лаврову, а для моей работы о Герцене мне нужны были сведения из этой картотеки. До 1930 года я с Витязевым-Седенко переписывался, он жил в Москве, переписка носила чисто литературный характер, опять-таки в связи с писателем Лавровым. С 1930 года я никакой связи с Витязевым-Седенко не имел.

Вопрос: Когда вы видели в последний раз Чернова Владимира Михайловича?

Ответ: С марта 1917 года я был редактором литературного отдела «Дело народа» (орган Ц.К. эсеров) но [с] июльских дней 1917 года я, осуждая позицию эсеров, вышел из состава редакции и порвал связи с этой газетой. В моей книге «Год Революции» есть статья «Улица», в которой я осуждал позиции эсеров и говорил, что эсеры позорно и по-хамски пятнают революцию и такие имена, как Ленин, Горький и ряд других революционных деятелей. После июльских дней я никого из Черновых не видел.

Разумник Иванов.

Ответы в протоколе допроса записаны с моих слов верно, мною лично зачитаны и соответствуют действительности. *Разумник Иванов.*

Допросил: старш. следователь следственной части УНКВД гор. Москвы сержант гос[ударственной] безопасн[ости] *Чмелев*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П—7165. Л. 64—66).

[281] Имеется в виду Е.Г. Лундберг.

[282] К делу Иванова-Разумника приложено письмо В.Н. Ивановой, адресованное Л.П. Берии со штампом «Пол[учено] 31 апр[еля] 1939» и резолюцией «Проверить по картотеке с/ч. города»:

«Многоуважаемый

Лаврентий Павлович,

Муж мой — Разумник Васильевич Иванов — писатель с более чем 35-летним стажем, автор ряда капитальных работ по истории литературы, проживавший в г. Кашире Моск. Обл., был арестован органами НКВД 30 сентября 1937 г. и с тех пор находится вот уже ГОД ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ без предъявления статьи, как мне сообщило областное управление НКВД на Матросской тишине. Пребывание в продолжение 1 года 8 месяцев в подследственной тюрьме в его возрасте (60 лет) и при тяжком заболевании туберкулезом невольно внушает мне самые серьезные опасения.

Зная своего мужа в течение 35 лет совместной жизни, я не могу допустить, чтобы он совершил какое-либо преступление против Советской власти; он никогда ни в какой партии не был, да и кроме того муж мой никогда не был активным политическим деятелем, он всю жизнь отдал литературе (псевдоним его — Иванов-Разумник). В последние же годы он был занят всецело собиранием материалов и подготовкой большой работы о Салтыкове-Щедрине: монографии в 3-х томах (над которой он работал с 1914 г. и 1-й том которой вышел в изд. «Федерация» в 1930 г.) и почти готовое к печати исследование о черновиках поэта А.А. Блока (том в 40 печ. листов). Эти книги — как полагал Разумник Васильевич без самомнения — внесли бы немало нового в область литературоведения — этими трудами ему хотелось завершить свою более чем тридцатипятилетнюю литературную работу.

Я прошу Вас обратить внимание на исключительно тяжелое положение, в котором находится Разумник Васильевич Иванов. Принимая во внимание воз-

раст, болезнь и литературное прошлое Р.В. Иванова-Разумника, прошу Вас поставить его в условия, где бы он мог пользоваться моим уходом; быть может, Вы найдете справедливым дать ему возможность прожить те немногие годы, которые ему суждены, за его любимой работой и закончить начатое им исследование о Салтыкове-Щедрине.

В. Иванова

29 мая 1939 г.

г. Пушкин, Ленингр. обл.

Ляминский пер., д. 4.»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165. Л. 103—103об.).

[283] В «Деле» сохранилось письмо В.Д. Бонч-Бруевича, написанное на именном бланке директора Государственного литературного музея: «На Ваш запрос по поводу литератора Иванова-Разумника сообщаю, что лично мне Иванов-Разумник очень мало известен. Я его в своей жизни видел по делам Музея несколько раз и ранее с ним никогда не был знаком. Так что сказать о нем что-либо более основательное для меня затруднительно. Знаю его как литератора по его работам и книгам и могу определить его как несомненно прогрессивного писателя-демократа, по своему мировоззрению примыкавшего к направлению журнала «Русское богатство», а политически, как я могу его понять, определяющегося как народный социалист, т.е. примыкавшего к той небольшой политической группе, в которую входили когда-то Короленко, Анненский и целый ряд др[угих] литераторов, группировавшихся около «Русского богатства».

В своих книжках «Испытание огнем» (1919 г.), «Заветное» (Черная Россия) (1922 г.), «Творчество и критика» (1922 г.) он высказывается против империалистической войны, причем империалистическую войну он сравнивает с бедами рабочего класса в мирное время и говорит: «и почему истреблять ближнего своего огнем и мечом значит стать безумным, а позволять этому ближнему мирно гибнуть от голода, болезней и от нашей сытости, значит быть разумным — боюсь, что я этого не пойму никогда» («Испытание огнем», стр.3).

Конечно, он не нашего поля ягода. Конечно, его мировоззрение эклектическое, он часто думает художественными фикциями и образами, вводя их в свои критические статьи. Но довольно жестко бичует писателей правых направлений, октябристов и пр. и т.п. представителей буржуазных партий и групп. Вместе с тем он никогда не возвышается до правильной классовой точки зрения, которая могла бы его вывести на настоящий путь нашей большевистской революционной борьбы.

Из тех его книг, которые я прочел, я не нашел высказывания против Октябрьской Революции. К сожалению, я не мог найти его книгу «Воспоминания», где, как мне говорили, он довольно ясно понимает значение и смысл Октябрьской Революции и отнюдь не восстает против нее, а наоборот, приемлет самую сущность великой Октябрьской Революции, но, повторю, что я этой книги сам не читал, а потому не могу сказать что-либо более подробное, и насколько это верно, я не знаю.

Мои сношения с ним по Гослитмузею завязались потому, что я узнал, что у него имеется очень хороший архив, где собрана огромная переписка Андрея Белого (Б.Н. Бугаева), причем эта переписка всецело литературного характера. Так как в нашем Гослитмузее А. Белый представлен очень полно, мне хотелось и эту его переписку присоединить к нашему архиву. Отыскав адрес Н.В. [так!] Иванова (Иванова-Разумника), я написал ему письмо с просьбой о передаче его архива нам. Это было в конце 1936 и в первой половине 1937 года. Иванов-Разумник согласился продать нам этот архив и поставил условием, что он хотел бы эти письма комментировать по особому договору для издания в «Летописях» нашего Музея. Я приветствовал это его начинание, так как понимал и понимаю, что именно он, так хорошо знавший А. Белого, мог нам многое разъяснить, рассказать то, что люди, не соприкасавшиеся с покойным писателем и не знавшие близко этого оригинального писателя, не могли, конечно, сделать.

Когда мы узнали, что Иванов-Разумник был арестован органами НКВД, мы прекратили выплату ему как по договору, так и за материалы. Но через некоторое время нам была доставлена доверенность на имя его жены, выданная органами НКВД, и, согласно закона, мы возобновили платежи, и за материалы все заплатили; теперь мы полагаем, что скоро выплатим и за его работу по договору, которую он производил над письмами А. Белого.

После сдачи им работы наши отношения с ним закончились, причем он обещал, что когда выберет свободное время, то отберет еще кое-что, оставшееся у него по материалам, связанным с литературой, искусством и литературоведением, и на каких-либо условиях передаст это нам.

В работах над материалами, а также в личных кратких разговорах со мной, я не нашел и не усмотрел ничего сколько-нибудь предосудительного в общем смысле. Наоборот, Иванов-Разумник высказывал большую радость о том, что вот именно только теперь при советской власти удается создать такие огромные архивохранилища, каким является Гослитмузей, и что он считает, что такие учреждения играют огромную роль в деле культурности и образования нашей страны. Очень был рад, что мы устраиваем постоянные и передвижные выставки и рассылаем их по всему Союзу, так как придавал этим выставкам большое значение для самообразования и поднятия культурного уровня широких масс.

В его комментариях к письмам А. Белого также нет никаких намеков на возврат к старому и желание толковать какие-либо события несогласованно с общепринятым направлением в литературоведении, которое уже установилось во всех наших работах.

Что касается его поездок в Ленинград для получения материалов из Детского Села и вывозки их к нам, то мы давали ему маленькие удостоверения, кажется, один или два раза, о том, что ему действительно поручено эти материалы перевезти из Детского Села в Гослитмузей. Такие удостоверения мы всегда выдаем всем тем, кто транспортирует наши материалы, дабы не было

никаких недоразумений на почте, или на железной дороге, или в пути. Срок действия этих удостоверений обыкновенно был не больше одного или двух дней.

Никаких иных поручений или сношений с Ивановым-Разумником мы не имели, а также никаких письменных поручений ему не давали ни на Ленинград, ни на Детское Село и ни в какие другие города.

Договор с Ивановым-Разумником на его литературную работу был заключен 1-го декабря 1936 г. В книжке должно быть 45 печатных листов, причем из них 40 листов текста писем по 100 руб. за лист и 5 листов комментария и указателя по 400 рубл. Как видите, комментарии очень сжатые, так как занимают только 11-ю часть всей книги, так как из 5 листов 2 листа падают на указатель имен. Работу он сдал вовремя, 1-го июля 1937 г. и сделал ее очень аккуратно и с литературной стороны очень хорошо.

Вот и все, что я могу сообщить по поднятому Вами вопросу.

С коммунистическим приветом

Директор Гослитмузея *Влад. Бонч-Бруевич*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр. П—7165. Л. 78—79 об.).

[284] Имеются в виду статьи В.Л. Бурцева «Или мы, или немцы и те, кто с ними» (Русская воля. 1917. № 159. 7 июля) и «Не защищайте М. Горького» (Русская воля. 1917. № 161. 9 июля), обвинявшие Горького и Ленина (как «агентов Вильгельма II») в работе «над разрушением России». Иванов-Разумник откликнулся на первую из них памфлетом «Улица», опубликованным под псевдонимом Тугарин (Дело народа. 1917. № 79. 8 июля).

[285] Речь идет о статье «О художнике и публицисте», где Иванов-Разумник называет Горького «большим писателем и неудачным публицистом» (см.: *Иванов-Разумник.* Год Революции. С. 97—99). Ее машинописная копия была приложена к отзыву В.Д. Бонч-Бруевича.

[286] Ср. с «Постановлением об освобождении» Иванова-Разумника:

«Утверждаю
Нач. управления НКВД г. Москвы
Капитан госуд. безопасности
/Мальцев/
17 июня 1939 г.

Постановление
(об освобождении из-под стражи, о прекращении
и сдаче след[ственного] дела в архив).
По след[ственному] делу № 5376 по обвинению
ИВАНОВА Разумника Васильевича
по ст. 58 п. 10 ч. I и п. 11 УК РСФСР

г. Москва, июня « » дня, 1939 г. Я, ст. следователь следчасти УНКВД г. Москвы сержант госуд[арственной] безопасности Чмелев, рассмотрев след-

ственное дело № 5376 по обвинению Иванова Разумника Васильевича по ст. 58 п. 10 ч. I и п. 11 УК РСФСР, —

нашел:

Иванов Разумник Васильевич, 1878 г. р., ур. г. Тбилиси, русский, гр-н СССР, б/п, из дворян, в 1919 г. арестовывался ВЧК, но был освобожден, в 1933 г. был выслан на 3 года как член народнического центра, наказание отбыл. Писатель. До ареста проживал: ст. Кашира, Пролетарская ул., д. № 9-а.

Иванов Р.В. был арестован 29/IX—1937 г. без санкции прокурора и справки на арест, так что мотивы, послужившие аресту Иванова Р.В., неизвестны. Иванов Р.В. был арестован по распоряжению врагов народа Радзиволовского, Якубовича и Сорокина.

Иванов Р.В. обвиняется, как быв[ший] член ЦК партии эсеров и участник контрреволюционной террористической организации. В деле имеются показания обвиняемых: Витязева-Седенко, Чернова, Крисанова, данные обвиняемыми уже значительно позже ареста Иванова, которые являются основными уличающими документами, так как показания Пинеса, Брюлловой-Шаскольской и Гизетти относятся к 1933 г. и изобличают Иванова в той деятельности, за которую он уже отбыл наказание с 1933 по 1936 г. в г. Саратове.

Обвиняемый Крисанов показывает, что Иванов эсер и на 1-м съезде Советов в Петрограде выступал с «погромной речью против коммунистов».

Проверкой по архиву революции, а также на основании справки из Гос. Лит. Музея установлено, что Иванов Р.В. эсером, а тем более членом ЦК партии эсеров не был и на 1-м съезде не только не выступал, но даже не присутствовал.

Иванов Р.В. примыкал к небольшой политической группе литераторов, группировавшихся вокруг «Русского богатства» (Короленко, Анненский и др.). Это критик-публицист, идеолог мелкой буржуазии, субъективист-индивидуалист, в период империалистической войны и первые годы советской власти в своих книгах резко осуждал империалистическую войну и выступал против правых и др. буржуазных партий.

Показания обвиняемого Витязева-Седенко [об] Иванове Разумнике Васильевиче также построены на том, что он член ЦК эсеров, суть показаний относится к 1921—23 гг. и 1926—28 гг. — показания не конкретные. В показаниях имеются противоречия: Витязев-Седенко показывает, что, находясь в ссылке, он переписывался по вопросам а/с деятельности эсеровской организации с 1930 по 1933 г. с Ивановым Р.В., который в то время якобы находился под Москвой, в то время, как Иванов Р.В. проживал в Детском Селе (под Ленинградом).

Обвиняемый Чернов показывает, что летом 1936 г. в квартире Нарбекова происходили читки нелегальной эсеровской литературы из-за кордона.

Проверкой установлено, что Иванов Р.В. прибыл в Моск. область только в сентябре 1936 г. По заявлению обвиняемого Нарбекова не знает. В показаниях

Чернова не указаны сведения о Нарбекове, а также и месте нахождения его квартиры, поэтому проверить не представляется возможным.

Обвиняемые, уличающие Иванова Р.В., осуждены.

На основании материалов, имеющихся в распоряжении следствия, оснований для передачи дела по обвинению Иванова Разумника Васильевича в судебную инстанцию — нет, а по сему, руководствуясь ст. 204 п. «б» УПК РСФСР —

Постановил:

Дело № 5376 по обвинению Иванова Разумника Васильевича по ст.58 п.п.10 ч. I и II УК РСФСР следственным производством — прекратить и дело сдать в архив. Иванова Разумника Васильевича из-под стражи освободить.

Ст. следователь следчасти УНКВД

г. Москвы — сержант гос[ударственной] безопасности *Чмелев*

Согласен:

Нач. следчасти УНКВД г. Москвы

Лейтенант госуд. безопасности *Ореханов*»

(ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Ед. хр П—7165. Л. 104—107).

[287] Перефразированы строки из «Отрывков из путешествия Онегина» Пушкина: «На берег радостный выносит // Мою ладью девятый вал».

[288] Речь идет о брате В.Н. Ивановой — Н.Н. Оттенберге и его семье.

[289] Хранится в РГАЛИ: Ф. 1782. Оп. 1. Ед. хр. 2.

[290] Под «большой архивной работой» подразумевается разбор и описание литературного архива М.М. Пришвина, хранившегося в Москве и Загорске. Сохранилась копия заявления Иванова-Разумника в Гос[ударственный] литературный музей от 9 января 1940 г., в котором сообщается, что работа по описанию этого архива будет закончена им в мае 1940 г. (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 62—62 об.). См.: *Лавров А.В.* О Блоке и Пушкине (Царском Селе). Письмо Иванова-Разумника к В.Д. Бонч-Бруевичу // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 143—150.

[291] В письме из Москвы к жене от 17 марта 1940 г. Иванов-Разумник сообщал о состоявшемся накануне «разговоре с Бончем»: «обещает переговорить о моих делах с новым директором, как только все дела будут сданы»; 30 марта писал ей же: «Вчера в 12 ч. дня был в музее, познакомился с новым директором: Николай Васильевич Боев. Подписал мне продление командировки в Загорск еще на 3 месяца. Сообщил, что работ впереди предвидится много <...> предложил мне командировку в Ленинград-Пушкин дней на десять, причем музей даст мне ряд поручений». О предстоящем приезде в Пушкин на длительное время Иванов-Разумник известил жену письмом от 13 июля 1940 г.: «...вчера днем был в музее, имел аудиенцию у директора. Решение: музей дает мне пока что командировку на два месяца, с 25/VII, с оплатой по 400 р. в месяц и с % от суммы приобретенных музеем через меня архивов. А там дальше — видно будет» (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 200).

[292] Ср. с «Повесткой № 304140» Иванову Разумнику Васильевичу от 29 августа 1941 г.: «Прошу Вас явиться к 10 час. 30/VIII 1941 г. по адресу г. Л[енингра]д, пл. Урицкого 6, этаж 4, комн № 202 к сотруднику Николаеву. При явке необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: паспорт. Зам. нач. Пушк[инского] отделения: Подпись» (Архив ФСБ СПб. Д. № П—53416. Т. 1). К этому времени уже было подготовлено «Постановление» о высылке Иванова-Разумника «в административном порядке».

«Утверждаю Санкционирую

Начальник Упр[авления] НКВД ЛО Прокурор гор. Ленинграда

Комиссар гос. безопасности

3-го ранга *Курбаткин*

28 августа 1941 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гор. Ленинград, 27 августа 1941 года, — я, зам. нач. 2 отделения СПО-УНКВД ЛО — мл. лейтенант гос. безопасности — Вдовиченко, рассмотрев сего числа имеющиеся в УНКВД ЛО материалы в отношении — Иванова Разумника Васильевича, 1873 г. р[ождения], урож[енца] гор. Тбилиси, русского, гр[аждани]на СССР, б/п, по профессии писателя, работает на договорных началах научным сотрудником института истории литературы. Проживает в г. Пушкине, по Пролетарской улице, д. 46 —

нашел:

что Иванов Р.В. в прошлом являлся одним из идеологов и теоретиков партии соц[иалисто]в-рев[олюционеро]в, принимал участие в редактировании целого ряда эсеровских печатных органов. Имел близкие связи с членами ЦК ПСР. На протяжении всего периода существования Советской власти занимался активной контрреволюционной работой, принимая участие во всевозможных организациях и группах эсеровского направления. Так, например, в период 1930—1933 г. Иванов Р.В. создал в Ленинграде нелегальную эсеровскую организацию, которая имела свои филиалы в виде ячеек в целом ряде районов Ленинградской области. Упомянутая организация имела подпольную типографию и готовила массовый выпуск к/р листовок.

Постановил:

Иванова Разумника Васильевича на основании приказа № 0055/00262 от 26 августа 1941 г. выслать из пределов Ленинграда и Ленобласти в административном порядке.

Зам. нач. 2 отд-ия СПО УНКВД ЛО

мл. лейтенант гос. безопасности *Вдовиченко*

Начальник 2 отд-ия СПО УНКВД ЛО

лейтенант гос. безопасности *Казаринов*

Согласен: Начальник СПО УНКВД ЛО

капитан гос. безопасности *Ефимов*» (Там же).

[293] Речь идет об Ю.Л. Вейсберг.

[294] Нехарактерным для него «дрожащим» почерком Иванов-Разумник сообщал: «Вызванный повесткой к Вам на утро субботы 30/VIII и опоздав на утренний поезд из Пушкина, я мог прибыть в Ленинград только к вечеру — из-за нарушенного движения по жел[езной] дороге и переполненных поездов. Вчера, в воскресение 31/VIII, был выходной день, а сегодня, 1/IX, я собирался быть утром по Вашему вызову. Ночью у меня произошло кровоизлияние из легких — и я лежу теперь в квартире Римской-Корсаковой — по адресу Советский просп., д. 48, кв. 47. Если кровоизлияние не повторится, то смогу быть у Вас завтра, во вторник 2/IX, утром. Если повторится — буду лежать по указанному выше адресу. 1/IX 1941 *Р. Иванов*» (Архив ФСБ СПб. Д. № П—53416. Т. 1).

[295] 2 сентября, во время последнего допроса Иванова-Разумника, на столе у начальника паспортно-регистрационного отдела, старшего лейтенанта милиции И. Николаева, уже лежала бумага — «Заключение по делу №» (номер отсутствовал), где было записано: «1941 г. сентября м[есяца] 2 дня. Я, оперуполномоченный Пасп[ортного] рег[истрационного] отдела ЛОУМ Парфенов, рассмотрев материал об адм[инистративной] высылке гр[аждани]на Иванова Р.В., прож[ивающего] г. Пушкин, Пролетарская улица, дом 46, нашел: что у Иванова Разумника Васильевича дочь Иванова Ирина Разумниковна рож[дения] 1908 г. служит в РККА в воинской части п/я 529, а поэтому полагал бы материал в отношении Иванова поставить на пересмотр» (Архив ФСБ СПб. Д. № П—53416. Т. 1). Таким образом, И.Р. Иванова своей краткосрочной, трехмесячной службой в рядах Красной Армии, оборвавшейся как раз по причине «неблагонадежности» родителей, спасла жизнь отцу и матери.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Р.В. Иванов-Разумник

[Автобиография 1913 г.]

Текст печатается по автографу, хранящемуся в собрании автобиографий С.А. Венгерова (ИРЛИ. Ф. 377).

Автобиография [1941 г.]

Текст печатается по автографу, хранящемуся в архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. . Ед. хр. 1).

Четверть века
Литературные воспоминания

Текст печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в архиве Иванова-Разумника (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 4—4 об.; там же — и беловая рукопись). Других рукописей, относящихся к этому замыслу, в бумагах Иванова-Разумника не сохранилось.

27 февраля 1917 года
(Страница из воспоминаний)

Текст печатается по автографу (РЦХИДНИ. Ф.274. Оп.1. Ед. хр.39. Л.91—95). Впервые опубликован под названием «Страница из воспоминаний» в непериодическом бюллетене Заграничной делегации ПЛСР «Знамя Труда» 15 марта 1922 г. (Берлин); затем данный текст был включен автором в сборник «Перед грозой» (Пг.: Колос, 1923).

[1] Речь идет об Андрее Белом, гостившем у Иванова-Разумника в Царском Селе с 30 января по 8 марта 1917 г.

[2] Имеется в виду книга историка церкви и богослова А.В. Карташева «Реформа, реформация и исполнение Церкви» (Пг.: Корабль, 1916).

[3] Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус жили на Сергиевской ул. (д. 83), по соседству с Таврическим дворцом, где в этот момент заседал Временный комитет Государственной думы.

[4] См.: *Мстиславский С.* Пять дней. Начало и конец Февральской революции. М.,1922.

[5] Комн. № 41 и 42 в Таврическом дворце занимал в дни Февральской революции так называемый «штаб восстания».

[6] Главноуправляющий Государственным здравоохранением Г.Е. Рейн был 28 февраля арестован, но в тот же день освобожден.

[7] Антивоенный памфлет «Испытание огнем» был опубликован Ивановым-Разумником в 1-м сборнике «Скифы». В предреволюционный период распространялся им в гектографированном виде и публично обсуждался в 1915 г. на квартире Ф.К. Сологуба; оппонентами на обсуждении выступали, в частности, П.Н. Милюков и Г.И. Чулков.

[8] См. примеч. № 14, 15.

[9] Альберт Тома с 1910 г. был одним из лидеров парламентской фракции Социалистической партии, в начале войны вошел в состав правительства Франции; с декабря 1915 г. по сентябрь 1917 г. занимал пост министра вооружений.

[10] Один из лидеров партии народных социалистов и редактор журнала «Русское богатство» А.В. Пешехонов во время Февральской революции был временно назначен приставом (комиссаром) Петроградской стороны. Затем стал членом исполкома Петроградского Совета и входил в один из составов Временного правительства в качестве министра продовольствия. Подробней см.: *Пешехонов А.В.* Первые недели. (Из воспоминаний о революции)// Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991.

[11] Известный эсер Владимир Михайлович Зензинов (1880—1953) был активным участником первой русской и Февральской революций, членом Боевой организации эсеров и ЦК ПСР. В 1917 г. стал одним из инициаторов образования Временного исполкома Совета рабочих депутатов. С 1919 г. — в эмиграции, умер в США. В комнате № 11— бывшем помещении бюджетной комиссии Госдумы— разместилась канцелярия-секретариат организуемого Петроградского Совета.

[12] Александрович Петр (наст. фамилия и имя: Дмитриевский Вячеслав Александрович, 1884—1918) — эсер-интернационалист, один из организаторов партии левых эсеров. На первом заседании Исполкома Петросовета ему вместе с меньшевиком Н. Сухановым и большевиком Ю. Стекловым было поручено руководить комиссией по заведованию издательско-типографским делом. Впоследствии Александрович был избран членом ВЦИК и представлял ПЛСР в ВЧК, занимая должности товарища председателя (Ф.Э. Дзержинского) и заведующего Отделом по борьбе с преступлениями по должности.

[13] Третий радующийся (*лат.*) — о выигрывающем от борьбы двух сторон.

[14] Из видных левых эсеров Александрович оказался первым, кто был расстрелян большевиками за участие в событиях 6—7 июля 1918 г. Высказывания Иванова-Разумника в его адрес становятся понятны при сравнении с воспоминаниями эсера Н.В. Святицкого «Война и предфевралье»: «В начале декабря [1916], в один из четвергов, в каковой обычно заседала комиссия помощников присяжного поверенного, один из членов ее, старый эсер и мой родственник, отвел меня в сторону.

— Из-за границы приехал какой-то тип, — сообщил он. — Ищет ночевки, сегодня ночевал у меня. Нельзя ли переночевать у тебя?

— Что же это за тип? — спросил я.

— Какой-то эсер из эмигрантов. Говорит, что приехал от Чернова. Но никаких рекомендаций и писем предъявить не может, будто бы уничтожил их по дороге. Вообще, тип подозрительный. <...>

На следующий день в мою квартиру на Большой Болотной явился человек лет под тридцать. Крепко сложенная фигура небольшого роста. Продолговатая сплошь лысая голова с торчащей шишкой. Жесткие черные усики, недобрые глаза.

Это был Петр Александрович.

Действительно, всего несколько дней, как он приехал из Стокгольма, а раньше был в Женеве. Принадлежит к эсеровской интернационалистской группе Чернова—Натансона—Камкова, издававшей левый печатный орган «Мысль». Отправлял его на работу в Россию Камков. Пришлось выдержать долгий и трудный путь через страны Антанты и нейтральные государства. Было много приключений. Пытался провести небольшой транспорт «Мысли», вез с собой и рекомендательные письма. Но то и другое пришлось уничтожить во время одного из приключений. Запомнил один из петроградских адресов, куда и явился. <...> Понятно было, почему мой родственник адвокат считал Александровича подозрительным. <...>» (Каторга и ссылка. 1931. Кн. 2 (75). С.40).

[15] Суханов (наст. фамилия — Гиммер) Николай Николаевич (1882—1940) — журналист, экономист, политический деятель. В 1903—1907 гг. член ПСР, позже выступал за объединение марксистских и народнических течений в единую социалистическую партию. Редактор журналов «Современник» (1911—1915) и «Летопись» (1915—1917), сотрудник журнала «Заветы». В 1917 г. — внефракционный социал-демократ, один из организаторов Петроградского Совета и редакторов газеты «Новая жизнь». В конце 1920 г. вышел из РСДРП; в 30-е годы неоднократно репрессировался, расстрелян.

[16] 1-й том книги Суханова «Записки о революции» вышел в начале 1922 г. в издательстве З.И. Гржебина. В более полном виде цитируемый Ивановым-Разумником отрывок звучал так: «Был, вероятно, десятый час. Дворец уже наполовину опустел и был полуосвещен. В полутемной зале Совета сидели и рассуждали часовые и немногие темные штатские фигуры. В комнате № 13 сидели одни обрывки Исполнительного Комитета. Никаких общих вопросов ставить не приходилось, но технических мелочей по-прежнему набралась масса... Помню пришел посланный Керенским Иванов-Разумник [далее по тексту]».

[17] Иванов-Разумник посетил Белого на квартире Мережковских поздним вечером 1 марта (ср.: *Гиппиус З.* Петербургские дневники. 1914—1919. Нью-Йорк, 1990. С. 92).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

*В указатель не внесены лица, упомянутые только в тексте предисловия и комментариев, а также мифологические персонажи.

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов-Разумник

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ. ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ

Редактор
Л.Н. Клименюк

Корректор
Л.Н. Морозова

Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 34. Заказ № 1478

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-86793-088-2
9 785867 930882

россия в мемуарах

